



"Идут белые снега,
как по нитке скользят...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя!"

Головцов Александр Леонтьевич,
родился 28 октября 1946 года в
городе Умань.

Окончил Ленинградский электро-
технический институт. Кандидат
технических наук. До 1991 года –
специалист по компьютерной обра-
ботке аэрокосмических изображе-
ний, после 1991 года – специалист
по выживанию в условиях всепо-
глощающего олигархического ка-
питализма.

Киевлянин, автор книг «Праздник
жизни – молодости годы», «Дом
над парком», «Феномен Анцифе-
рова».

ISBN 978-966-288-098-4



9 789662 880984 >



PRIMUS INTER PARES

A. A. Golovtsov

A. A. Golovtsov

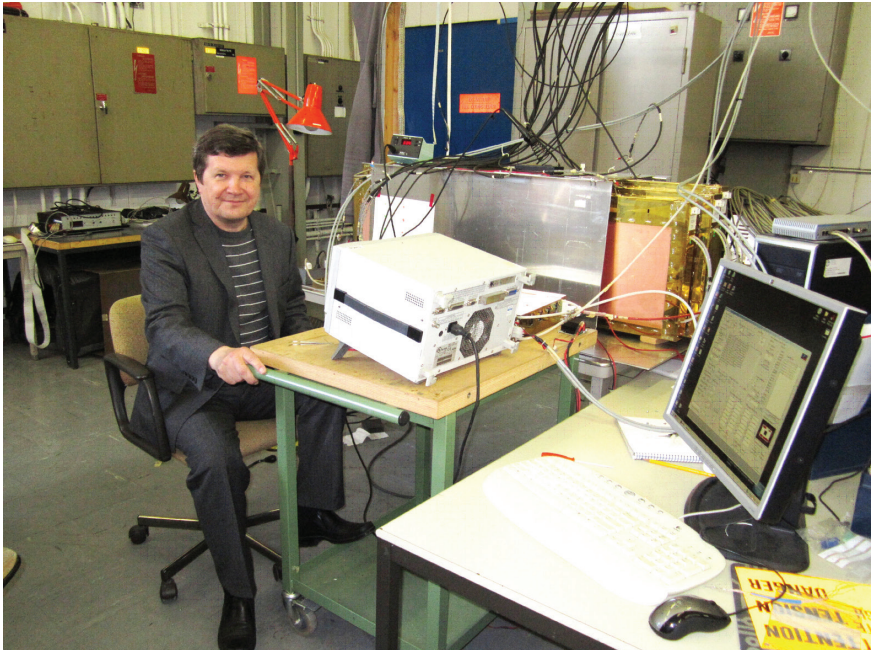
PRIMUS INTER PARES

(О первых меж равных)

Книга Первая



*Виктору Леонтьевичу Голоцову –
моему младшему брату, другу
и пожизненной опоре
посвящаю*



За «прослушкой» адронного коллайдера (ЦЕРН, Женева)

А. Л. ГОЛОВЦОВ

PRIMUS INTER PARES

(О первых меж равных)

Книга Первая

Киев

АЛЬФА  РЕКЛАМА

2018

УДК 821.161.1'06(477)-94

Г61

Г61 **Головцов А. Л.**
PRIMUS INTER PARES (О первых меж равных). Книга первая /
Головцов А. Л. — К.: Альфа Реклама, 2018. — 328 с.
ISBN 978-966-288-183-7

Книга — об уроженцах украинской земли, как пишет автор, «*достойно отметившихся на исторических и культурных скрижалях вне родины*» (Безбородко и Никитенко), её представителей, проявивших себя как меценаты и собиратели художественных ценностей (Галаган и Тарновский), а также современных представителях украинской науки и культуры (Патон, Малиновский, Лукашёв и Ирина Нестеренко). Построенная в традиционном для автора стиле сборника новелл-эссе, книга насыщена действующими лицами и событиями давних и нынешних дней.

УДК 821.161.1'06(477)-94

ISBN 978-966-288-184-4
ISBN 978-966-288-183-7

© Головцов А. Л., 2018

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

*«Чем дальше жизнь, тем время безначальней,
И смутен в нём порядок дней и лет...
Минувшее — как некий берег дальний,
Чей пёстрый мир сравняла синева,
Пустынная...»¹*

Чем больше и больше отдаляюсь от «берега дальнего» весны моей жизни, тем чаще и пристальней вглядываюсь в контуры оставшегося там детства моего святого, в его изначальную пору, когда у всякого, вступающего в жизнь человека проявляются первые ростки самосознания, когда он начинает ощущать себя личностью, а среда обитания и окружающие его люди становятся основой будущей кристаллизации в нём чувства «малой родины» — со всеми ему присущими эмоциональными окрасками.

Моя малая родина — на Уманщине, в тамошнем селе Верхнячка. В нём появился на белый свет во второй послевоенный год, в нём был воцерковлён — полутайно окрещён бабушкой и тётушкой в сельском, скоро порушенном храме над Поповым «ставком». Здесь рос-подрастал, пошёл «в первый раз в первый класс» в одну из двух местных школ, где меня учили каллиграфии, грамоте, арифметике, науке жизни мои добрые наставники, лица которых и сейчас, будто вчера это было, стоят передо мной.

Здесь организовался круг моих маленьких друзей — «хлопців-горобців та дівчат-курчат», с которыми прожил совместную увлекательную детскую жизнь, со всем набором её восхитительных прелестей, во всех щедротах здешней земли, её плодотворных «украинских полей, где дни так солнечны, а зори так румяны, где в воздухе стоят напевы кобзарей и веют призраки Вакулы и Оксаны».²

Так сложилось, что из-за служебных перемещений отца, дважды получавшего назначения в сельскохозяйственный институт, наша семья столько же раз (с возвращением в родное село) переезжала в Умань, с малолетства ставшей составной частью моей малой родины, со всей обозначенной мной её атрибутикой. Уманская часть моего детства связана прежде всего с изумительным, мирового значения парком «Софиевка», возле которого мы жили, который тысячу раз обходил-оббегал, каждый уголок которого изучил доскональнейше.

Из Умани, летом 1964 года, как выпускник местной школы номер четыре, отправился в дальний Ленинград — изучать мудрёную науку «кибернетика» в знаменитом электротехническом институте. Помню (об этом пишу в одной из своих книг), как, сдав успешно вступительные экзамены, вернулся на несколько дней в любимый город, как, чувствами переполненный, шёл по проложенной через институтский сад дороге к дому, где меня ждали. Палило нещадно августовское солнце, в безоблачном небе носились, щебеча-чирикавая, жаворонки, с груш к ногам моим падали, разбиваясь, перезрелые плоды. Одолев пару десятков метров пути, я остановился, оглянулся, убедился, что нет сторонних глаз и, донельзя взволнованный, опустился на колени — поцеловал землю моей малой родины.

По окончании института и армейской службы я перебрался в Киев и вот уже почти полвека являюсь его жителем. Здесь долгое время реализовывал свой запас научно-технических знаний в знаменитом производственном объединении «Электронмаш», в его специализированном управлении, занимавшемся внедрением электронной продукции её знаменитого производителя.

И много раз, приезжая с коллегами к дальним заказчикам наших разработок, слышал от их представителей радостно произнесённую фразу «киевляне приехали», озна-

чавшую не просто фиксацию ситуационного события, а свидетельствовавшую о положительных эмоциях принимающей стороны, видевших в гостях из города на Днестре классных специалистов, способных оперативно разрешить компьютерные проблемы их учреждения, производства. Слышанное наполняло меня чувством гордости за мою, уже большую, Родину, которую я, по жизненным обстоятельствам, представлял. Уверен, такие же эмоции испытывали тысячи моих сограждан, трудившихся в научно-исследовательских институтах, высокотехнологичных предприятиях Украины, гордившиеся, как и я, высоким уровнем своих разработок и продукции не только в пределах всей страны, но и далеко за её окоёмами.

Ныне всё переменялось, и тысячи моих сограждан выезжают за рубеж, покидают ради заработка практически лишённую научно-производственной базы землю предков, сохраняя в душах своих им дарованное природой чувство родины, сохраняя волнительное чувства к ней. И мне совершившееся социально несправедливое переустройство общества, его оскудение, добавляет боли, но не умаляет силы моих чувствований к земле, где родился и вырос, к людям, меня воспитывавшим, образовывавшим, как личность формировавшим, моей самореализации способствовавшим. И не потому я столь категоричен в этом мнении, что возраст и ему соответствующее состояние здоровья не позволяют мне отправиться за лучшей жизнью в иные палестины (хотя такая возможность имеется), а потому, что «*воздух родины — он особенный, не надышишься им*», потому, что привязанность к родному гнезду, к родине определяется не очередной державной системой, а является состоянием моего духа, образом моей жизни — от её начала до её завершения:

Отсель пойду к последнему порогу,
Не ведая, что кроет сон его!
Кто даст мне вновь отрадную тревогу,
Волшебный трепет детства моего? ¹

Свои чувства к малой родине — Верхнячке, Умани с её неповторимой «Софиевкой» — выразил в трёх, последовательно вышедших книгах: «Праздник жизни — молодости годы», «Дом над парком» и «Феномен Анциферова». В них — история мне родных мест, личности и события в той или иной мере с ними связанные.

Четвёртой книгой «*Primus inter pares*» открываю серию книг, выстроенных на высокой благодарности уроженцам украинской земли, отменно на исторических скрижалях отметившихся, меценатам и собирателям художественных ценностей, тем моим современникам, которые, как полагаю, многое для нашей общей Родины сделали и делают.

Приглашаю, как говорил Николай Семёнович Лесков, в прошлом тесно с киевской жизнью связанный, «...взглянути доброе житиє крепких людей и предложити вашей любви слово нехитроречивое, но истинною украшенное. Вам же любезно будет слышати добрые вести о мужах благостных».

А. Л. Головцов
Киев, Новосёлки
Декабрь 2017 года



Безбородко Александр Андреевич

На историческом небосклоне государства Российского, ближе к концу восемнадцатого века, звездой первой величины просиял, оставив долгое послесвечение, неординарный представитель черниговской части земли украинской (тогда именовавшейся Малороссией), несравненный Александр Андреевич Безбородко. Сам он, уже на склоне лет, любил говаривать молодым политикам, что в пору царствования матушки Екатерины ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без её позволения, скромно умалчивая о том, что в дни, когда звезда его была в зените славы, императрица ни одного значимого политического решения не принимала без предварительной проработки оногo её первым государственным советником.



Был Александр Андреевич одним из главных инициаторов окончательного раздела Польши: по его, тонко выверенным дипломатическим лекалам, усилиями князя Потёмкина, в 1783 году, без единого выстрела к России было присоединено Крымское ханство; им было наилучшим образом реорганизовано российское почтовое ведомство, долгое время им же возглавлявшееся, и прочая и прочая.

Русские посланники при европейских дворах, а также европейские дипломаты и другие государственные лица, которым привелось общаться с Безбородко, высоко ценили его дипломатические способности, умение быстро и легко решать самые сложные дела. Он был прекрасно осведомлен обо всем, что творилось за пределами России. Михаил Сперанский писал: «В России, в XVIII столетии, было только четыре гения: Меньшиков, Потемкин, Суворов и Безбородко...»

О феноменальной одарённости Александра Андреевича Безбородко пишет в своих воспоминаниях граф Евграф Федотович Комаровский:

«Ничего не было приятнее, как слышать разговор графа Безбородки; он одарен был памятью необыкновенною и любил за столом много рассказывать, особливо о фельдмаршале графе Румянцеве, при котором он находился несколько лет. Беглость, с которою он читавши схватывал, так сказать, смысл всякой речи, почти невероятна; мне случалось видеть, что привезут к нему от императрицы преогромный пакет бумаг; он после обеда обыкновенно садился на диван и всегда просил, чтобы для него не беспокоились, а продолжали бы между собою разговаривать, и он только переворачивал листы и иногда еще вмешивался и в разговор своих гостей, не переставая между тем переворачивать листы читаемых им бумаг. Если то, что он читал, не заключало в себе государственного секрета, то он пересказывал оногo содержание».³

Родился Александр Безбородко 14 марта 1747 года, в Глухове, в козацко-старшинской семье, в которой и получил первоначальное воспитание-образование; далее образовывался в Киевской академии, где выказал свои его блестящие способности, подтвердив одновременно высокий уровень знаний, дававшихся своим воспитанникам этим старинным учебным заведением. Природа наделила его пассионарностью, немалым — им развитым до степени высокого совершенства — умом, феноменальной памятью, способностью вникать в корень проблемы и давать ей наилучшее разрешение, судьба же благоволила к нему, дав возможность реализовать сумму всех его достоинств во благо государства, коему он служил по присяге — беззаветно и преданно.

Никто из сотрудников Екатерины *«не мог в труднейших случаях и по какой бы то ни было отрасли государственного управления представить государыне такого ясного доклада... когда императрица давала приказание написать указ, письмо или что-либо подобное, то он уходил в приемную и, по расчету самой большой краткости времени, возвращался и приносил сочинение, написанное с таким изяществом, что ничего не оставалось желать лучшего»*.⁴

Часть первая. Корни рода

Как утверждает один из исследователей жизни и деятельности Александра Андреевича Безбородко: *«Безбородкины происходят от древнего польского, благородного поколения Ксенжицких, которых наименование они удерживали в Малороссии до войны (1648 г.) между Польшею и Малороссиею. Демьян Ксенжицкий, по находившимся в Малороссии его владениям, поступил в службу козацкую; участвовал в войне против Польши, и в то время получил прозвание Безбородко. Причину этого прозвания малороссияне объясняют тем, что в одной битве с поляками он лишился подбородка...»*⁵

«Малороссийский родословник» Вадима Модзалевского род Безбородко начинает с Якова Безбородко, небогатого *«значкового товарища»*, родом из местечка Березани, ловкостью и деловитостью сумевшего заложить материальную основу своего рода, подтверждённого в 1717 году универсалом гетмана Скоропадского: *«...лес при р. Трубеже; в Кулажинцах — гай; в Козлове — хутор с полем рабочим и гаями: в с. Войтовом — двор, став с греблями, млинок-вешняк с сеножатями, хуторами, полями и гаями; в Березане — дворов два, поля пахатные и гаи; в Пристромах — гаи при р. Трубеже; в Лесниках — лес под Супоем»*. Другим, в 1721 году изданном, универсалом Скоропадский утвердил *«пану Якову Безбородко, полку переяславскому обывателю борзненскому»*, в спокойное владение купленный хутор — Тыкаловский.⁶

Все перечисленные маетности следующий гетман Даниил Павлович Апостол универсалом 1728 года утвердил за Яковом Безбородко, величая его в это время уже *«значковым полку переяславского товарищем»*.⁶

При выдаче последнего универсала сын Якова Безбородко, Андрей, служил в генеральной канцелярии канцеляристом и скоро, по своим способностям, был замечен Апостолом, который *«изведавши Безбородка добропорядочно и по чистой совести поступающа, к должности старшего канцеляриста, в 1733 г. в сентябре месяце, определил словесно»*.⁷



При генерале Иване Фёдоровиче Бяратинском, сменившем в 1736 году умершего гетмана Апостола, уже в роли правителя Малороссии, Андрей Яковлевич ещё более укрепил своё положение в генеральной канцелярии. Через него правитель решал, в том числе, проблемы деликатного свойства, что видно из письма Андрея Безбородко полтавскому полковому писарю Руновскому, в сентябре 1737 года написанному: *«Его сиятельство изволил*

приказать мне писать пану партикулярно, дабы приискать доброго пива куф за две и прислать как можно скорее возможно...»⁶

Александр Иванович Румянцев, занявший в 1838 году место скоропостижно скончавшегося (в неполных пятьдесят лет) Барятинского, в свою очередь приласкал расторопного канцеляриста, а Джеймс Кейт, пришедший на смену Румянцеву, утвердил — в 1741 году — Андрея Яковлевича Безбородко генеральным писарем.

За это время успел Безбородко получить «в вечное владение» ещё три села и породниться — женитьбой на дочери генерального судьи Михаила Тарасовича Забелы — с местной знатью. Но с вступлением в должность правителя Малороссии (в 1742 году) Ивана Ивановича Бибикова чуть было не потерял всё «нажитое непосильным трудом» — яготинский сотник Филипп Купчинский написал на генерального писаря донос в Петербург.

«Купчинский обвинял Безбородко, прежде всего, во взяточничестве, которое будто бы он, пользуясь безграничным доверием правителей, довёл до прежде невиданных размеров; затем — «в лицепрятии» к родичам и приятелям. Купчинский утверждал, что Безбородко начал определять полковую и сотенную старшину без выборов, по личному своему произволу, за деньги. За сотничьи уряды брал по 100, по 70 рублей; а для того, чтоб доход свой с сотников увеличить — убедил Румянцева многие сотни поделить пополам и таким образом учредил новые уряд, которые раздал также за деньги; не довольствуясь этим, Безбородко установил новые должности «вакансовые», т. е. при неимении вакантного уряда, выдавал свидетельство на «вакантовое» сотничество и даже полковничество, с тем что имеющий на руках такое свидетельство имел право получить первый открывшийся уряд. Затем Безбородко увеличил число канцеляристов в своей канцелярии до 200 человек, а при Апостоле их было всего 30; за принятие в канцелярию Безбородко также брал взятки, а для увеличения их размеров стал определять канцеляристами людей «посполитой породы», т. е. крестьян и мещан... Выкрещенный еврей Крыжановский сначала получил в откуп два полка, лубенский и миргородский, а потом определён в Глинск сотником; за это Безбородко получил от него 200 червонцев да жемчугу для жены рублей на триста. Родственникам раздал места: свояку Ивану Сахновскому — черниговского обозного, а сыновьям его Григорию и Якиму Сахновским — старосанжаровского и менского сотников; племяннику жены, Василию Быковскому — гадяцкого судии».4

Вяло текший, завершившийся уже в пору возобновившегося с Кириллом Разумовским гетманства, процесс разбора жалобы завершился вынесенным в 1751 году судебным решением оправдать зятя бывшего генерального судьи и наказать жалобщика Купчинского сотней ударов киями.

При Разумовском Безбородко продолжал пользоваться значением, хотя уже и не прежним, так как первыми лицами при новом гетмане сделались его родственники, в первую очередь Теплов и Кочубей. В 1762 году Андрей Яковлевич Безбородко был уволен в отставку с чином генерального судьи; умер он 1780 году и был похоронен в местечке Стольном.

Его жена, Евдокия Михайловна Забела, имевшая в обиходе кличку «Безбородиха», была моложе мужа на пять лет, слыла смышлёной, гостеприимной женщиной — к ней в гости «прежде обеда заходили в гости водковать». Была она для своего времени весьма образованной женщиной, пережила своего знаменитого сына Александра, скончавшись на 87-ом году жизни.

У супругов Безбородко было большое семейство, но из не умерших в младенчестве детей известны три сына и дочери, расположившиеся по времени рождения в следующей очереди: дочери Анна и Ульяна, сыновья Александр и Яков, дочь Татьяна и сын Илья.

О раннем возрасте будущего сподвижника императрицы Екатерины можно только сказать общими фразами, бездоказательно, что мальчик рос и здоровел в скромной и у-

динённой жизни в имении отца — тогда находившегося под следствием — Стольном. *«Литературные известия об этом возрасте Безбородко настолько маловажны и, главное всего, сомнительны, что трудно безусловно доверять им. Они свидетельствуют лишь о необыкновенно быстром развитии умственных способностей мальчика и о проявлении особой любви его к труду, которая впоследствии развилась академическим воспитанием и отличала его, в продолжении всей последующей жизни, от других людей».*⁴

Начальное воспитание, азы грамоты юный Безбородко получил от отца, свободного от государевой службы в пору его вынужденного сидения в Стольном. *«Как скоро научил Безбородко своего сына хорошо читать, он преимущественно стал занимать его чтением Библии. Говорят, что молодой Безбородко должен был три раза прочитывать отцу всю Славянскую Библию от начала до конца».*⁷

Дальнейшее обучение Александр Безбородко проходил в Киевской Академии, в которой — в период времени с 1755 по 1765 год — преподавались богословие, философия, риторика и поэзия, всеобщая и естественная история, география, математика, латинский, немецкий, еврейский, греческий и французский языки. *«Чтобы приучить к правильному размышлению и выражению мыслей, заставляли воспитанников писать церковные поучения, которые сказывались в академическом зале; также производились публичные диспуты».*⁴

Курс обучения в Академии Александр Безбородко завершил в 1765 году. Полученное образование дало ему возможность правильно писать по-русски, что было в то время очень важно, ибо, как пишет современник о времени Екатерины II, *«бывшие при государыне вельможи, кроме князя Потёмкина, не знали русского правописания. Это уже одно ставило Безбородко выше многих».*⁷

В ноябре 1764 года был обнародован манифест об уничтожении гетманства, *«в расуждении пространства многотрудных дел Малороссийских».* Правителем Малороссии был назначен граф Пётр Александрович Румянцев, получивший от матушки Екатерины обширную инструкцию по более тесному административному соединению Малороссии с Россией. *«Для исполнения повелений государыни потребовались новые деятели, готовые и способные разделять труды его. К графу Румянцеву, как только что он поселился в Глухове, не замедлила явиться местная аристократия, знакомая с ним, как с сыном прежнего правителя Малороссии. К числу аристократии, конечно, принадлежало и семейство генерального судьи Безбородки, который пользовался особым расположением графа П. А. Румянцева».*⁴

Представляясь новому правителю, старик Безбородко представил ему и своего семнадцатилетнего сына Александра, только одолевшего успешно курс наук в Киевской Академии. Судьба юноши была решена — он получил чин *«бунчукового товарища»*, коим жаловались обыкновенно сыновья знатнейших малороссийских фамилий, фактически дававший им обер-офицерское звание, соответствовавшее чину титулярного советника, обязывавшее его носителя находиться в военное время при гетмане, а в мирное время — жить, сибаритствуя, дома.

Безбородко же с определением его в бунчуковые товарищи был прикомандирован к канцелярии графа Румянцева, где встретился со служившим при графе Петром Васильевичем Завадовским, с которым он был дружен, как с соседом по имениям их родителей *«и к которому до конца дней своих он был (как сам выразился в письме к нему за несколько месяцев до своей кончины) «привязан» и «чистосердечен».*⁴

Граф Румянцев, заметив вскоре способности молодого Безбородко, приблизил его к себе и по истечении короткого испытательного срока назначил судьёю в генеральный суд. В новом звании Александр Андреевич пробыл только год, так как пришлось ему — по случаю разрыва отношений России с Турцией — идти со своим начальником на войну.

Императрица Екатерина II, возведя на польский престол Станислава Понятовского, приняла под своё покровительство диссидентов — как именовались православные

и протестанты, — ввела в Польшу войска. В результате такого демарша в ноябре 1767 года был подписан акт терпимости, по которому польский сейм прежних изгоев, диссидентов, уравнивал в правах с католиками.

В ответ на это, в 1768 году, в городе Бар образовалась конфедерация, вознамерившаяся силой оружия уничтожить противное шляхте решение сейма о веротерпимости. Екатерина отреагировала на действия возмутителей спокойствия посылкой отряда, который, перешёл границу и сжёг турецкое местечко Балту, где укрылись конфедераты. Несмотря на предложенную императрицей материальную компенсацию, Турция, подстрекаемая Францией, объявила войну России, которая — в ответ — сформировала две боевые армии.

Первая армия находилась под началом графа Александра Михайловича Голицына; графу Румянцеву была поручена вторая армия с входившими в неё Черниговским и Нежинским полками, под командованием Петра Милорадовича и Петра Разумовского (и бунчукового товарища Александра Безбородко). Сражаясь в строю, последний действовал и как дипломат. Граф Румянцев вверил ему переписку и особенно «*многие секретные и публичные дела и комиссии*».

В это время Завадовский, Безбородко и полковник Евдоким Степанович Простоквашин заведовали каждой одной из трёх экспедиций походной канцелярии графа Румянцева. О трудностях боевого быта в эту пору Александр Безбородко писал — в сентябре 1772 года — отцу:

*«Десять дней тому, как Евдоким Степанович и я, по повелению Румянцева, призваны в Яссы, а с 24-го переехали, при графе, в село Корнешти, в 8 верстах от Ясс лежащее, где в малой компании в самых худых квартирах живём, а от дела, можно сказать, не отгрёбёмся. Не дай Боже, чтоб сбылось общее предсказание о пребывании здесь графском. Лучше в Яссах, где и чума по закоулкам проскакивает. Пётр Васильевич Завадовский с 31 августа болен был гнилою горячкою, которая чуть было не лишила нас сего любезного друга, но наконец, по 21-ом пароксизме и беспамяත්стве, начал он подавать знаки к выздоровлению. Все дела его мне поручены; к скучному и невыгодному житию неприятности прибавляют. У нас, и по разрыве конгресса, военные действия не возобновляются. Перемирие продолжено до 20 октября: желать надобно, чтоб скорее всё венчано было славным и полезным миром».*⁴

Желание молодого Безбородко сбылось — в деревне Кучук-Кайнарджи открылись переговоры о мире, и на Александра Андреевича была возложена забота о бриллиантах и драгоценностях, назначенных в подарки турецким уполномоченным. Подписанный в этой деревне — 10 июля 1774 года — мирный договор стал важнейшим в истории России, после него Турция надолго перестала быть для неё опасной.

Празднование этого мира, состоявшееся в следующем 1775 году в Москве, приблизило Безбородко ко Двору, но оставило в нём осадок тем обстоятельством, что в течение десятилетней службы при графе Румянцеве был он оценён — только за выслугу лет — чином коллежского асессора. Это заставило его прибегнуть к покровительству Потёмкина, поздравляя которого с получением звания генерал-адъютанта, он просил «замолвить словечко» и о себе «с пожалованием в Малороссийский Киевский полк с чином армии полковника». Впрочем, спешка молодого Безбородко была напрасной, как и обида на графа Румянцева; тот дважды в течение турецкой кампании представлял своего фактотума к указанному чину, но «тянул» с утверждающим решением Государственный Совет.

В это же время озаботился Александр Безбородко устройством своего младшего пятнадцатилетнего брата Ильи на армейскую службу, добившись назначения его адъютантом в Белозерский пехотный полк, квартировавший во Львове, о чём сообщал отцу в письме, датированном 18 ноября 1771 года:

«Фельдмаршал рекомендовал его 2-му полковнику Ушакову который обещал мне все способы употребить к дальнейшему его производству. Я отделил ему экипаж небольшой (поелику в городе так знатном ни в чём нужды не будет), состоящий в кибитке новой и палубе на 6 лошадах, да в двух верховых, одной моей здешней, молдавской и одной из домашних гнедых, способной и лучшей, каракула и жеребца. Из людей поедут Моргун, повар Ворона и ещё человек из надёжнейших. Ему сделан здесь мундир новый и прочие офицерские надобности, а для расходу дано сто рублей».⁴

Беспокоился Александр Безбородко устройством жизни сестры Татьяны, вышедшей замуж за бунчукового товарища Бакуринского, помог дальнейшему карьерному росту зятя. Старшая его сестра, Ульяна, бывшая замужем за Павлом Васильевичем Кочубеем, болела чахоткой, умерла 24 марта 1777 года и была похоронена в селе Диканьки, в Троицкой церкви.

Часть вторая. Начало службы в Петербурге

После заключения мира с турками Завадовский и Безбородко, по рекомендации графа Румянцева, были — в 1775 году — назначены кабинет-секретарями при императрице Екатерине. Очевидец сообщает, что отправляя бывших своих секретарей на службу в Петербург и как бы предугадывая их блестящую карьеру, граф Румянцева вышел на крыльцо и, прощаясь, сказал: *«Не забывают меня, старика»*.

«Безбородко приехал в Петербург 30-ти лет, не зная никакого иностранного языка, кроме латинского, но в два года выучился по-французски, а потом по-немецки и по-итальянски. По-французски он говорил и писал отлично, только чрезвычайно бегло...

В несколько месяцев жизни в столице Безбородко, естественно, не мог ознакомиться с Петербургским обществом и потому, иногда охотно, по просьбе своих товарищей дежурил за них в праздничные дни. Однажды, на масляной, угодно было Государыне приказать пригласить к завтраку, на блины, дежурных кабинет-секретарей. Камер-лакей доложил, что никого из них нет во дворце.

— Как, — спросила Императрица, — неужели нет даже дежурного?

— В секретарской есть какой-то Безбородко, — отвечал камер-лакей.

— Пригласите его; ведь он тоже кабинет-секретарь, — сказала Императрица.

В разговоре с Безбородкою Императрица коснулась какого-то закона; Безбородко прочёл его наизусть, и когда Государыня, для поверки, приказала подать книгу, то, пока её принесли, он сказал на какой именно странице напечатаны самые слова.

Этот случай имел большое влияние на судьбу Безбородки: он показал Екатерине всю пользу и исключительность дарований, отличавших Безбородку от прочих царедворцев.

...С 8 декабря 1775 года начинается настоящая деятельность Безбородки как на гражданском, так и на политическом поприще, давшая ему возможность в самое короткое время приобрести полную уверенность Императрицы, благодаря единственно своим необыкновенным способностям и строгому исполнению обязанностей по должности кабинет-секретаря.

...никто из государственных министров не мог, даже в труднейших случаях и по какой бы то ни было отрасли государственного управления, представить Государыне такого ясного доклада, как Безбородко. Одним из главнейших его дарований было искусство в Русском слоге...»⁴

Сообщают современники, читавшие бумаги, написанные рукою Безбородко, что речь его была чужда всякой напыщенности, громких фраз и сложных научных терминов, отличалась необыкновенным лаконизмом и выразительностью. В первые годы службы при Екатерине Безбородко был усерден до педантизма и, спустя три года после начала службы при Дворе, 1 января 1779 года был произведён из полковников в бригадиры.

Не прошло и четырёх месяцев со времени производства его в бригадирский чин, как пожалованы ему были — в день крещения 8 мая 1779 года великого князя Константина, новорождённого внука царицы Екатерины — «за ревностную службу» девни в Полоцкой губернии, о чём он уведомил родителей:

«День сей наиболее великолепен был многими милостями, в оный излиянными. Я сделан также их участником всемилостивейшим пожалованием мне в вечное и потомственное владение Полоцкой губернии, Усвятского староства частей Будницкой и Веретинской, в коей по ревизии показано душ мужского пола ... тысяча двести двадцать две...»⁴

Ко времени первых лет службы Александра Безбородко при дворе Екатерины относится написание и издание — в 1777 году — им в соавторстве с Василием Григорьевичем Рубаном книги под названием «Краткая летопись Малыя России с 1506 по 1776 год с изъяснением настоящего образа тамошнего правления, с приобщением списка прежде бывших гетманов, генеральных старшин, полковников и иерархов; також землеописания, с показанием городов, рек, монастырей, церквей, числа людей, известий о почтах и др. нужных».⁵ Рубан, уроженец города Белгорода и воспитанник Киевской духовной академии, занимал должность переводчика в Военной Коллегии.

В 1780 году политические соображения императрицы Екатерины Второй привели к свиданию её с австрийским императором Иосифом Вторым в Могилёве. Государыня пожелала также осмотреть присоединённые к России, вследствие первого раздела Польши, области. Невзгоды Австрии заставили её императора искать поддержки и дружбы с государыней, она также видела в нём сильного и полезного союзника.

Почти за год до путешествия императрица поручила Безбородко сообщить о том начальникам тех губерний, которые она вознамерилась посетить, что и было тем исполнено рассылкой писем указанным адресатам, с мельчайшими подробностями путешествия и детальнейшими инструкциями в них.

«Ещё перед отбытием из Царского Села, как сказано в «Дневной записке» путешествия, Екатерина повелеть соизволила господам сенаторам, графам Я. А. Брюсу и А. С. Строганову, бригадиру Безбородко и полковнику Турчанинову, во время сего путешествия, в каждом городе, уездном или губернском, осведомлять о порядке в управлении, о нуждах и пользах всякого места, снабдив каждого запискою, в чём таковые сведения состоять должны».⁴

Дневная записка путешествия, в состав которой вошла и инструкция, была составлена Александром Андреевичем. В инструкции, данной для обревизования присутственных мест, Безбородко предусмотрел, кажется, всё возможное и невозможное, в том числе ремёсла и промыслы по сёлам. С её помощью была проведена детальная ревизия присутственных мест в Нарве, Гдове, Пскове, Великих Луках, а также Полоцкой, Могилёвской, Смоленской и Новгородской губерний.

9 мая 1780 года, в три часа по полудни, императрица выехала из Царского Села и, проехав Нарву, Псков, с незначительными остановками на промежуточных станциях, 24 мая со свитой прибыла в Могилёв, где её уже три дня ждал император Иосиф.

Двустороннее общение двух монархов в этом городе продолжалось до 30 мая. В этот день императрица вместе с австрийским «коллегой» заложила каменный храм. Посетив затем с Иосифом города Оршу, Красный и Смоленск, Екатерина отправилась в Петербург, а Иосиф — в Москву.

Во всё время пребывания императора в России Екатерина оказывала ему «искреннее радушие» и заботилась, чтобы ничто не могло встревожить его. Об этом, в частности, Безбородко писал Александру Романовичу Голицыну:

*«С гостем нашим обходимся, кажется, с довольною пристойностью. Он немало не тягостен, лишь бы только не женировали сами себя... Время наше мы проводили в Могилёве весело; почти во всегдашнем угаре от забав. О великолепии Шкловском впрёдъ на словах расскажу, а теперь спешу отправить курьера, обнимая вас искренно».*⁴

В городе Шклове, об увеселениях в котором поминает Безбородко, царский поезд задерживался дважды. В первый раз — по дороге в Могилёв, второй — уже вместе с императором Иосифом, после могилёвского свидания монархов. За два года до означенного путешествия Екатерина, отправив в отставку своего очередного, неполный год продержавшегося фаворита Семёна Гавриловича Зорича, в качестве части отпускной премии (включавшей в себя графский титул, звездопад драгоценностей и денежных ассигнаций, недвижимость) выкупила для него у князя Августа Чарторыйского за четыреста пятьдесят тысяч рублей город Шклов, точнее — тридцать девять находившихся в нём усадебных имений с тысячами душ крепостного населения. Ценность подарку добавляло то обстоятельство, что был этот город деловым центром края; на часто проводившихся в нём ярмарках собирались торговцы из Лейпцига, Франкфурта, Москвы.

Семён Зорич, происходивший из сербского рода Неранчичей и пленивший своей красотой (но отнюдь не умом и образованностью) императрицу Екатерину, был пятым по счёту её фаворитом, коего она много позже оценила письменно: *«Можно сказать, что две души имел: любил доброе, но делал худое, был храбр в деле с неприятелем, но лично трус»*. Боевую храбрость майор Зорич продемонстрировал в последней войне с турками, коими — после неравной схватки, тяжело раненый — был пленён.



Много позже, уже в николаевскую пору стосемилетний ветеран Шидловский рассказал (а ещё позже бытописатель Петербурга Михаил Иванович Пыляев воспроизвёл печатно) обстоятельства того боя: *«Храбрый майор Зорич был окружён турками, защищался мужественно и решил дорого продать свою жизнь. Многие пали от руки его; наконец, видя необходимость уступить и поднятые над собой сабли, он закричал, указывая на свою грудь: «Я капитан-паша!» Это спасло ему жизнь. Капитан-паша у турок — полный генерал, и его отвезли к султану в Константинополь. Здесь его важный вид, осанка, рассказы, всё побуждало султана отличить его и даже предложить ему перейти на турецкую службу, впрочем, с тем, чтобы он переменял веру»*.⁴

Свободу Зорич получил только в 1775 году, когда по заключении помянутого выше Кучук-Кайнарджийского мира был произведён размен пленными. По возвращении в Россию, он — выделенный и оценённый — с важными депешами отправился в Стокгольм, а по исполнении ответственного поручения его, тридцатилетнего писаного красавца, князь Григорий Александрович Потёмкин оставил при себе в звании адъютанта и 26 мая 1777 года представил государыне доклад о назначении Зорича командиром лейб-гусарского эскадрона и лейб-казачьих команд.

Затем в качестве носителя сильных мужских достоинств он был явлен Светлейшим Екатерине, оценившей дар со всеми последующими ритуалами перевода новопредставленного красавца в ранг «фаворита», в том числе с предварительным тестированием его мужских достоинств небезызвестной Перекусихиной. Судя по всему, князь Потёмкин немало поспособствовал и лишению этого ранга своему протеже, ставшему излишне самостоятельным.

Лишившись в 1778 году интимной близости с царицей, Семён Зорич некоторое время путешествовал по европейским странам, затем поселился в пожалованном Шклове, основал в городе благородное кадетское училище, из коего воспитанники

выпускались офицерами в полевую армию. Жил Семён Гаврилович весело и хлебосольно — частыми были всевозможные увеселения, богатые пиры, на которых кадеты вместе с юницами из балетного «серая» графа забавляли гостей.

Скоро на поддержание подобного образа жизни, на фактически устроившийся «вертеп» денег стало решительно не хватать. (Тем более что Сенат решением от 15 октября 1789 года запретил ввоз и вывоз ассигнаций в империю, а 6 декабря 1780 года вообще закрыл границу по причине моровой язвы.) Не спасало Зорича закладывание и перезакладывание крепостных, зачастую «мёртвых душ». В этот критический момент — в 1781 году — появились в Шклове, при содействии брата Зорича полковника Дмитрия Неранчича, братья Марк и Ганнибал Зановичи, виртуозы карточной игры и прочих сомнительных забав.

Они уговорили Зорича передать им всё управление Шкловом с ежегодной выплатой его владельцу по сто тысяч рублей. Занялись братцы Зановичи на абонированных ими землях предельно выгодным, но смертельно опасным «бизнесом» — изготовлением фальшивых ассигнаций. Этот исторический факт, известный под собирательной фразой «Шкловская ассигнация», описан как в публицистике, так и в художественной литературе, в повестях Даниила Лукича Мордовцева и Александра Николаевича Энгельгардта (прямого потомка могилёвского губернатора Николая Богдановича Энгельгардта, в управление которого означенное событие совершалось).

Раскрыл и дал ход делу о подделывании денежных купюр прежний покровитель Зорича, князь Потёмкин, купивший неподалёку от Шклова местечко Дубровно. Здесь ему местный еврей продемонстрировал фальшивую сторублёвую ассигнацию, на которой по типографской небрежности фальшивомонетчиков в слове «ассигнация» вместо буквы «н» была выпечатана буква «и»; сообщил также князю гость, что изготавливают фальшивки *«графы Зановичи и карлы Зоричевы»*.

Светлейший дал делу ход, которое завершилось решением Сената от 20 апреля 1784 года, признавшим Зорича ... невиновным. Находившиеся во время следствия под арестом братья Зановичи были освобождены из-под стражи и высланы из России — через Архангельск, на английском купеческом корабле, 4 июля 1789 года. (До этого, в марте 1786 года, правительство выпустило денежные знаки нового образца, назначив держателям старых ассигнаций два года на их обмен.)

По завершении судебных дел Семён Зорич прежнему образу жизни, с безудержным мотовством связанным, не изменил; влезая обманными маёврами в долги, продолжил проматывать шкловское состояние. К моменту восшествия на престол — в 1796 году — императора Павла долги его превысили миллион рублей и не имели перспективы быть возвращёнными займодавцам.

Правда, новый император, многое делавший покойной матери наперекор, погасил долги Зорича, выдал ему восемьдесят тысяч рублей наградных и зачислил Шкловское училище в казённое ведомство, а год спустя произвёл Семёна Гавриловича в генерал-лейтенанты и назначил шефом Изюмского полка. В новом качестве генерал-лейтенант Зорич, ничтоже сумняшеся, основательно запустил руки в полковую казну, в чём был уличён пострадавшими от безденежья ему подчинёнными офицерами и, по результатам расследования, был уволен императором от службы с приказанием безвыездно жить в Шклове.

Приказ обожаемого монарха Семён Гаврилович Зорич со скандалом исполнил, но вернувшись в родные пенаты, стал нещадно, с применением грубой силы преследовать так ему прежде насолившее местное еврейство, выколачивая из его небедных представителей средства на приличествующий графу образ жизни. По этому поводу шкловские евреи четырежды обращались с жалобами на ими терпимое угнетение к царю, получая с каждой очередной ламентацией более и более изощрённое преследование от хозяина города и его клевретов, ещё большую потерю капиталов.

Наконец, 15 июня 1799 года император Павел повелел послать в качестве проверяющего известного своим правдолюбием сенатора и поэта Гавриила Державина, поручив тому *«взять суд беспристрастной и наиточнейшим образом войти во все обстоятельства до дела и без всякого лицепрятия предать законному суждению всех тех, кои виновными приключатся»*. В Шклове Гавриил Романович убедился в справедливости жалоб местного еврейства: вдруг обнаружил, что в ежегодных доходах графа Зорича, колеблющихся около двухсот тысяч рублей, долги его превысили два миллиона рублей, из коих он сумел выплатить менее десятой части (в основном из средств преследуемых евреев). Сенаторская ревизия завершилась 6 ноября 1799 года, в день скоропостижной кончины Зорича, после чего вся его шкловская недвижимость поступила в опеку сенатора Державина.

Всё это случилось много позже рассматриваемого путешествия Екатерины в Белоруссию, во время которого она дважды в начале лета 1780 года заезжала к экс-фавориту. Тогда для приёма высокой гостьи генерал-лейтенант Зорич устроил для неё спальню в точности повторявшую другую, в Зимнем дворце бывшую, в которой он провёл не одну ночь с сердцу его любезной Екатериной Алексеевной. Кроме того, при содействии финансового советника Ноты Ноткина, потратил Зорич на один из лучших в Европе саксонский фарфор немислимые деньги — шестьдесят тысяч рублей.

Можно понять восторг Александра Андреевича Безбородко по поводу оказанного приёма в Шклове царице и её свите. Вся переписка, которую в пору этого путешествия он вёл, свидетельствует о том, что император Иосиф нашёл в Безбородко приятного и полезного собеседника.

По возвращении в Петербург, в середине июня 1780 года, Безбородко озаботился исполнением поручения императрицы — сооружением собора в Могилёве, в честь знаменитого свидания Екатерины II с императором Иосифом. После рассмотрения и непринятия императрицей нескольких кандидатур архитекторов Безбородко подал мысль поручить это дело секретарю Коллегии Иностранных Дел Николаю Александровичу Львову, с которым он познакомился у Петра Васильевича Бакунина. Эту идею Безбородко императрица поддержала.

Часть третья. Карьерный рост

В конце сентября 1780 года Безбородко, по поручению государыни, разработал — для дипломатического ведомства Австрии — записку, известную под названием *«мемориал по делам политическим»*, которая выражала предложения России по её территориальным приобретениям, в том числе:

«1) Очаков с частью земли между Бугом и Днестром, 2) Крымский полуостров, 3) один, два или три острова в Архителаге, для пользы и нужды и по торговле, 4) восстановление независимости: а, Молдавии, Валахии и Бессарабии, под именем Дакии и б, Греческую империю, в пользу младшего внука императрицы».⁴

На полученный документ австрийский император Иосиф II — 13 октября 1780 года — отвечал, что с его стороны *«не будет затруднений в исполнении всех этих желаний, если только будут исполнены и его желания»*, на которые Россия могла смело соглашаться. Вышедшая из-под пера Безбородко записка произвела настолько сильное впечатление на императрицу, что через два месяца после её подачи, 24 ноября того же 1780 года, её сочинитель был причислен к Коллегии Иностранных дел в звании *«полномочного для всех переговоров»* и в тот же день произведён в генерал-майоры.

Ещё до официального определения Безбородко в Коллегию Иностранных дел он (вместе с первым членом Коллегии, Никитой Ивановичем Паниным) реализовывал

разработанный императрицей проект, известный в истории под именем «*вооружённого морского нейтралитета*», которым призывались к союзу для защиты нейтрального флага все европейские державы, не принимавшие участия в продолжительной борьбе Англии с её колониями. В рамках этого проекта Безбородко — до января 1782 года — заключил конвенции с Нидерландами, Швецией и Данией.

Не прошло и года со времени определения Безбородко в Коллегию, как он уже занял в ней видное место. Именным указом Сенату от 4 января 1782 года императрица повелела «*генерал-майору Безбородку присутствовать в нашей коллегии Иностранных Дел по секретной экспедиции, и при том поручаем ему в точное ведение и наблюдение почтовый департамент, оставляя, впрочем, его, Безбородко, при прежней должности*».⁷

Екатерина высоко ценила Безбородко и отличала его больше других, находившихся при ней кабинет-секретарей. К очередному дню восшествия на престол, 28 июня 1782 года, каждому состоявшему при ней секретарю было пожаловано по пять тысяч рублей, Безбородко же — десять тысяч. Празднуя — 22 сентября 1782 года — двадцатипятилетие своей коронации, наградила царица Александра Андреевича только учреждённым орденом святого равноапостольного князя Владимира, статут которого был разработан Безбородко. В выпущенном по поводу награждения рескрипте царица отметила:

*«Усердная и ревностная ваша служба, доказанная пред нами особливým радением в делах, вам вверенных, искусством в порченных частях и личными способностями, обращает на себя наше императорское внимание и милость».*⁵

Обширные предприятия Екатерины, как по распространению пределов России, так и по внутренним учреждениям истощали государственные доходы, которыми далеко не покрывались расходы. Государственный дефицит правительство, обыкновенно, покрывало новыми выпусками ассигнаций. Но уже в конце 1782 года было замечено, что ассигнации выменивались с платежом так называемого лажа, что возбудило опасения и принудило изыскивать другие, более разумные способы для улучшения финансов.

Для достижения этой цели была образована особая комиссия из членов, хорошо владевшими вопросами отечественных финансов. К апрелю следующего 1783 года член комиссии генерал-прокурор Сената князь Александр Алексеевич Вяземский представил государыне всеподданнейший доклад, из которого следовало, что расходные статьи государственного бюджета превысили его доходные статьи более чем на девять миллионов рублей.

Покрыть недостающую сумму комиссия предложила путём усреднения налоговых сборов (до трёх рублей), в число которых входили платежи всех категорий крестьян (государственных, экономических — бывших монастырских, вольных однодворцев) с крестьянами помещичьими. Устанавливались также подати для казачества, для купечества и крестьян вновь присоединённых Малороссийских, Белорусских, Рижской, Ревельской, Выборгской губерний. Все эти одобренные государыней предложения были узаконены сенатом и дали некоторое прибавление государственному бюджету.

За первые труды свои на поприще государственных финансов были пожалованы Александру Андреевичу — указом от 22 августа 1783 года — деревни в Малороссии. Комиссия же свою работу продолжила из-за всё же недостаточного для покрытия денежного дефицита пополнения казны, и Безбородко своими стратегическими направлениями предложениями ей в дальнейшем существенно способствовал.

В разгар работы финансовой комиссии, 31 марта 1783 года, скончался граф Никита Иванович Панин, ещё за два года до этого удалившийся от дел по причине раз-

ногласия с князем Потёмкиным в крымском вопросе. Его решение Потёмкин видел в присоединении Крыма к России, в чём с ним соглашалась императрица, подготовленная служебными записками Безбородко, о чём тот позже сообщал:

*«Ещё в конце 1775 года, когда Государыне угодно было употребить меня в дела политические, я предлагал г. Бакунину, которому от её величества поручено было сочинение наставления фельдмаршалу, что независимость татар в Крыму ненадёжна для нас и что надобно помышлять о присвоении сего полуострова; тогда ещё о Кубани не было дела. Всё, однако же, осталось не по нашим желаниям; для того, что мы, отложив попечение о наших собственных делах, вмешались в посторонние».*⁴

В развернувшейся вокруг «Греческого проекта» прениях Безбородко твёрдо и последовательно поддержал Потёмкина, а не Панина. Когда Григорий Александрович представил императрице план завоевания Константинополя, обнадеживая её, что греческая корона справедливо украсит её, как единоверную государыню, та отдала это предложение на рассмотрение Государственного Совета, желая получить ответ на вопрос: *«Можно ли приступить к завоеванию Царьграда?»*.⁷

Панин такому военно-политическому решению вопроса противился, хотя Потёмкин усиленно убеждал его согласиться. В итоге Панин оставил заседание Совета, и огорчения, претерпленные им от давления Потёмкина, и противостояние ему Безбородко, державшего сторону князя, весьма расстроили его. Далее он отошёл от дел, удалился на покой, заболел и умер.

В апреле 1783 года манифест, написанный Александром Андреевичем Безбородко, возвестил о присоединении к России Крыма. Дипломатически подавленная Турция трактатом, заключённым 28 декабря того же года, узаконила эту аннексию, а также согласилась с присоединением к России татарских земель, полуострова Тамань и значительной части Кубанской земли. Потёмкин и Безбородко, как наиболее трудившиеся по этому делу, приобрели славу государственных мужей и обильные награды, которые были обнародованы в начале 1784 года. Имена их воспел одою Гаврила Романович Державин, указавший также, что *«Перо Безбородки, водящее по мысли князя Потёмкина, получило успех, т. е. чрез их совет приобретён Крым»*.⁵

Турки вскоре опамятались от сделанной ими России территориальной уступки стратегического масштаба и возбудились ненавистью, распалились желанием отомстить, но Екатерина к этому времени уже заручилась поддержкой императора Иосифа. Оставалось присмирить шведского короля, поддерживавшего Турцию и её интересы. Екатерина, хорошо знавшая особенности характера и наклонности шведского монарха, пригласила его — организационным усердием Безбородко — в Фридрихсгам (так именовался по-шведски финский город Хамина) на встречу, которая состоялась 16 июня 1783 года.

Проведённые переговоры монархов ничего не дали, оставили императрицу разочарованной. Густав III, король Шведский, Готский и Венедский (только на год старше Безбородки) в вопросах политических оказался несговорчивым, в отличие от вопросов денежных — принял в качестве гостинца от русской царицы двести тысяч рублей, которые без остатка истратил в последовавшем осеннем путешествии по Европе.

По возвращении из Фридрихсгама, в октябре 1783 года, Безбородко был избран членом Российской академии. В подготовленном им для государыни указе (от 30 сентября 1783 года) на имя княгини Дашковой повелевалось *«составить Российскую Академию из желающих добровольно трудиться в ней, но имеющих нужные для её трудов знания и способности»*. Торжественное открытие учреждённой Академии и первое её заседание последовали 21 октября 1783 года. Из избранных тридцати одного академиком Безбородко был поставлен одиннадцатым номером, хотя в последующих академических собраниях участия не принимал, но академической общественностью

чтился — после кончины Александра Андреевича его портрет, копия с оригинала Лампи, был вывешен в зале Академии.

После ухода из жизни Панина первое место в Коллегии Иностранных Дел занял граф Иван Андреевич Остерман, имевший звание вице-канцлера, а вторым присутствующим членом был назначен Безбородко, с оставлением *«при всех тех местах и должностях, кои на него по доверенности возложены»*. При этом Безбородко был произведён из генерал-майора в чин тайного советника, награждён орденом Святого Александра Невского с пожалованием ему в вечное и потомственное владение мало-российских сёл с тремя тысячами крепостных; также было увеличено ему штатное жалование *«по 6000 руб. на год, да на стол по 500 руб. на месяц»*. В январе 1785 года императрица передала Александру Безбородко диплом на присвоение ему австрийским императором (и его брату-бригадиру Илье) потомственного графского достоинства с девизом *«labore et zelo»* («трудом и рвением»). По этому поводу, 12 октября 1784 года, Екатерина отписала своему, ею оценённому, доверенному секретарю:

*«Труды и рвение привлекают отличие. Император даёт тебе графское достоинство. Будешь comes. Не уменьшится усердие моё к тебе. Сие говорит Императрица. Екатерина же дружески советует и просит не лениться и не спесивиться за сим».*⁵

В конце мая 1785 года Безбородко сопровождал государыню в её инспекционной поездке к усовершенствованной (трудами Якова Ефимовича Сиверса) Вышневолоцкой водной системе, учреждённой ещё Петром I, далее отданной в собственность купца Сердюкова, а после его кончины (и безразличия к ней его наследников) обратно выкупленной казной. По возвращении в столицу императрица, вновь в компании с Безбородко, поехала осматривать оружейный завод в Сестребеке (Сестрорецке).

Из столицы Безбородко в письме к другу Александру Романовичу Воронцову поделился впечатлениями от совершённых поездок и, уже как истинный муж государственный, изложил свой взгляд на текущие дела политические, на проанглийскую суету во немецких землях, известил также о неважных делах китайских: *«Они нам прислали два бранных листа, затворили ворота и пресечение торгу ознаменили пушечным выстрелом».*⁷

Последние строки письма Безбородко в итоге оказались формой умягчения передаваемого адресату от императрицы поручения отправиться с дипломатической миссией за тридевять земель: *«Государыня решила, если китайцы не отрекутся, послать вас с полною мочью и властью, придав вам якобы и Соймонова для переводов и Леонтьева для негоциации с ними, считая, что вы не только преуспеете успокоить нынешние дела, но и до того доведёте, что можно будет обостаться взаимными посольствами, дабы они увидели, что мы не те, коих знали они лет за 50».*⁵

Соимонов Пётр Александрович, генерал-майор, занимал должность кабинет-секретаря у императрицы *«у принятия челобитен»*, и в его ведении находились все дела, касающиеся управления Кольванскими горными заводами; Леонтьев Алексей Леонтьевич в 1785 году занимал должность *«канцелярии Коллегии Иностранных дел советника при переговорах»*.

Закругляет это чрезвычайно интересное — с исторической точки зрения — письмо Александр Андреевич сообщением о делах внутренних, о разработанных методах поднятия благополучия российских городов:

«Средства наши суть следующие.

- 1) Банк Ассигнационный назначит сумму от 5 до 6 миллионов для пособий городам.*
- 2) Пособие сие должно заключиться в заведении каждому городу банка, из коего раздавать деньги желающим строить каменные дома или лавки на пять лет без процентов, в другие пять лет с процентами.*
- 3) Из процентов Банк Ассигнационный присвоит себе три процента, а два остальные дать в доход городу на его нужные и полезные заведения.*

4) Трём или четырём назначаемым особам разобрать города по их состоянию и назначить по надобности сумму для каждого, исключая те, кои имеют великие доходы или богатых граждан и без того знатный торг, или же кои и звания сего недостойны.

5) Все нынешние ссудные суммы, городам розданные, росписать в их пользу, разумея кабинетные и из казначейства, и оных из городов не взыскивать, а обратить в вечный доход городам.

6) Для приведения городов в состояние по планам скорее выстроиться, поелику нужно немощных переселить на предместья или кварталы (где дозволено и деревянное строение или мазанки, но хорошего виду) на каждый город, смотря по пропорции, дать дачу, обыкновенно от Её Величества в проездах жалуюмую, от двух до шести тысяч на каждый, пожаловав всю сию сумму из Кабинета или казначейства лет в пять, ибо тут не менее миллион потребно.

Я уверен, что сими средствами в десять лет весьма застроятся города, поспеют многие заведения, и ещё жители получают одобрение и пособие в их торге и промысле...»⁴

Занимало Безбородко, если судить по концовке письма, и «приведение в исполнение двух проектов Петра Великого, «и именно: 1) о сделании водной коммуникации чрез Вытегру, где струги, по перегрузке, вниз возвратятся, а галиоты также оба пути удобно свершать могут, 2) о соединении двух рек в Устюжской области для водяной связи в Сибири... Первое взял на себя генерал-прокурор, и наряжает туда своих гидравликов, а для последнего посылаются инженеры: подполковник фон-Сухтелен и майор Князев».⁴

Помянутое письмо Безбородко показывает, что он глубоко понимал как политические обстоятельства государств, так и направление дипломатии того времени, что он занимал исключительное положение в Коллегии Иностранных Дел. Хотя формально первенствовал в ней шестидесятилетний граф Иван Андреевич Остерман, приверженный к старым обычаям, «более осторожный, чем искательный», важный по наружности, он легко поддавался влиянию людей, чем не преминул воспользоваться Безбородко. Все важнейшие и секретнейшие дела по Коллегии шли исключительно через руки Александра Андреевича, оставившего Остерману всю ту внешнюю, так сказать, обрядовую сторону его первенства, в формальностях проявлявшуюся.

Часть четвёртая. Занятие почтовым делом

Преимущественному влиянию Безбородко на государственные дела, несомненно, способствовало и то обстоятельство, что он, занимая по-прежнему должность кабинет-секретаря, мог прежде Остермана согласовывать своё мнение с мнением государыни. И в оценке Безбородко, как способнейшего и преданного императрице дипломата, сходились во мнении многие, близко знавшие дипломатические дела того времени люди.

Французский посланник, с 1785 по 1789 год, граф Сегюр писал, что «политические тайны того времени оставались в ведении Екатерины, Потёмкина и Безбородки». О Безбородко он сообщал, что «он скрывал тонкий ум под тяжёлою наружностью». Сардинский чрезвычайный посланник и полномочный министр, находившийся при дворе Екатерины с 1783 по 1789 год, сравнивая Потёмкина и Безбородко, писал о последнем: «Вслед за князем Потёмкиным, по этому порядку вещей, следует говорить о графе Безбородко, который ровностью своего характера, кротостью и даже, небрежною простою костюма, представляет странный контраст с пышностью, самоуверенностью и горделивою осанкою упомянутого министра. Судя по наружности, можно бы подумать, что граф пользуется второстепенным кредитом при Дворе и играет

*роль подчинённого, но если всмотреться поглубже, нельзя не заметить тотчас, что он стоит выше в мнении Государыни, чем первый, вся сила которого зависит единственно от убеждения её в том, что он необходим».*⁴

В приведённых оценках — историческая беспристрастность. При основательном знании политических обстоятельств своего времени да при доверии императрицы, Безбородко принимал главное участие в дипломатических делах.

В первую половину царствования Екатерины почтовое дело России находилось в ведении «Почтового Департамента», одного из трёх департаментов «Публичной Экспедиции Коллегии Иностранных Дел». Безбородко отношение к почтовым делам получил с 1776 года, когда — только определённый ко Двору — стал докладывать о них время от времени императрице, демонстрируя солидную осведомлённость в делах почтового департамента. По этой причине он, указом императрицы с декабря 1781 года, был назначен заведовать этим ведомством с целью привести почтовое дело к европейскому уровню. Став на новое место, Безбородко исхлопотал у государыни ещё один указ, согласно которому почтовое управление в России сделалось самостоятельным, находящимся в ведении Сената.

На Руси уже в десятом веке существовал «повоз» — особая повинность населения выставлять лошадей с повозками для княжеских гонцов. В середине тринадцатого века монголы ввели ямскую гоньбу, ставшей в итоге самобытным русским учреждением, просуществовавшим до второй половины девятнадцатого века. На дорогах, отходящих от Москвы, были поставлены ямские дворы, где гонцы сменяли лошадей. В шестнадцатом веке, при Великом князе Василии Ивановиче, для руководства ямской гоньбой было создано государственное учреждение — Ямской приказ, заведовавший ямщиками, наблюдавший за отправлением ими ямской повинности, за сбором ямских денег — подати, собиравшей на содержание ямов. (Ям — селение, ямская слобода казённых ямщиков или охотников, перевозивших казённые грузы, гонцов сухопутным или речным путём.)

Реформой Безбородко 1782 года и созданием Почтового департамента ямские дворы стали называться почтовыми станциями. До Безбородко почтовое управление в России развивалось чисто эмпирически, «*под влиянием случайных указаний опыта*». Новый глава ведомства внёс в его работу систему обдуманного усовершенствования, произведя в нём важные улучшения и изменения, в духе и темпе екатерининских реформ, встряхнувших патриархальную гладь России.

Первым делом озаботился Александр Андреевич улучшением помещения почтового двора и центрального управления почтами. Он писал: «*Её Императорское Величество повелеть соизволила купить дом гр. Сергея Павловича Ягужинского, в Новой Исаакиевской улице состоящий, который тем сходнее для сего употребления, что кроме множества покоев для помещения Санкт-Петербургского Почтамта и самого главного почтового правления, на двух супротив лежащих пустых местах можно будет построить конюшни, и всё то, что принадлежит к станции для почты конной и колясочной, когда она учреждена будет*».⁴ Покупка дома для почтовых помещений оказалась делом нелёгким — в денежные делах граф Ягужинский запутался до разорения; дом его с публичного торга перешёл в руки гоф-маклера Барца.

Граф Сергей Павлович Ягужинский, 1731 года рождения был единственным сыном сподвижника Петра I генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского. Больше от праздности, чем от деловых устремлений занялся Сергей Павлович горным делом — взял под льготные проценты пятилетний кредит у казначейства, влез в другие долги. Капиталиста из него — подобного Демидовым или Строгановым — не получилось; в 1764



году Екатерина произвела ревизию предприятий незадачливого заводчика, по результатам которых ему насчитали под четверть миллиона рублей недоимок. Поскольку граф не мог их оплатить, над его именьями была учреждена опека

Впрочем, дабы не создавать прецедент уголовного и имущественного наказания для прочих расточительных вельмож, дело Ягужинского фактически замяли. *«Граф Ягужинский только что достиг всего того, чего он хотел от короны; ему уступили все те суммы, которые он должен был короне, и дали больше 15 000 рублей серебром, считая и одно имение в 1500 крестьян»,* — сообщал Анне Михайловне Строгановой в феврале 1764 года Павел Васильевич Бакунин, коллега Безбородко по Коллегии Иностранных Дел.

Чуть было не угодив в долговую яму, Граф Ягужинский продолжил занятия производством металлов, но снова прогорел, от него (дабы спасти приданое) ушла жена. В 1777 году Екатерина выкупила за долги его имение для последующей передачи в дар Потёмкину. В эту пору второй волны банкротств Ягужинского был выкуплен его дом на Новой Исаакиевской улице для служб почтового ведомства.⁸

По просьбе Безбородко наши посланники за рубежом собрали сведения об устройстве почт в странах их пребывания, которые позволили вновь назначенному руководителю российских почт выбрать наиболее ему понравившуюся и более других приемлемую схему обустройства в России почтовой службы.

*«Действительно, изучив доставленные гр. Остерманом рукописные записки и печатные брошюры, Безбородко нашёл лучшим и более соответственным с потребностями России устройство почт во Франции и, сообразно с её законоположениями, приступил к преобразованию и улучшению почтовой части во всей России».*⁴

Впрочем, решать проблемы державного почтового ведомства Александр Андреевич начал ещё до принятия французской схемы его обустройства. Так, 7 января 1782 года *«высочайше было повелено»* подчинить Малороссийский почтамт Почтовому Департаменту и *«доходы его присоединить к общим доходам»*. Тогда же был учреждён почтамт в Чернигове. Следующий указ императрицы обязывал всех генерал-губернаторов обеспечить Почтовый департамент подробными картами вверенных тем губерний и дать предложения по местам обустройства почтовых служб в каждой губернии, при условии расположения пары соседних станций на расстоянии не более пятнадцати — двадцати пяти вёрст одна от другой.

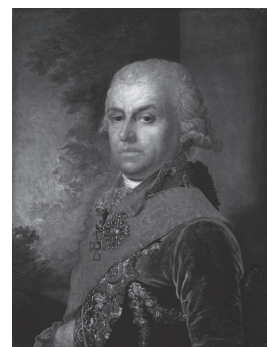
Следующий, Безбородко предпринятый шаг — подготовка указа об отправлении почты из Санкт-Петербурга в Москву и обратно два раза в неделю, о разделении её на лёгкую и тяжёлую, об обязанностях Почтамта и губернских почт при отправлении почты и о правилах выдачи подорожных на почтовых лошадей.

Стремясь ускорить доставку почтовых отправок, отказываясь от прежде проложенных маршрутов, Безбородко доносил — 23 марта 1783 года — Сенату:

*«Для поспешнейшего доставления переписки между присутственными местами и частными людьми, по мнению моему, весьма нужно распорядить следующие дороги от здешней столицы: первую к Тобольску не чрез Москву, как до сего было, но чрез Новую Ладугу, Кириллов. Вологду, Тотьму, Устюг-Великий, Вятку, Пермь и Алапав, которая будет ближе прежнего и по нынешним расстояниям 200 вёрст...»*⁴

В конце 1783 года был издан указ о единообразной таксе за доставку писем и посылок (от одной копейки при расстоянии менее ста километров, более ста вёрст — 2 копейки и так далее по расчёту вёрст). Основная деловая и законотворческая деятельность Безбородко в делах почтовых завершились указом сената от 24 марта 1785 года, после чего дела он передал к нему назначенному помощнику, надворному советнику Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому — человеку светлого и основательно-го ума, неутомимому труженику.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский, земляк Безбородко, 1749 года рождения, образование получил в Киевской Академии, начав службу с нижних чинов в тогдашней Малороссийской коллегии в звании младшего писаря. В 1773 году поступил секретарём в штат князя Николая Васильевича Репнина и во время войны с Турцией занимался делами княжества Молдавского; через год был сделан флигель-адъютантом князя.

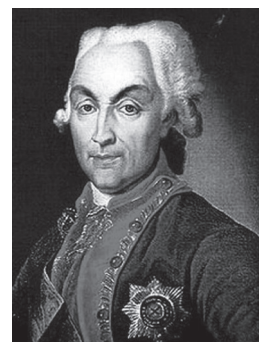


Трощинский сопровождал Репнина, как его секретарь, в Константинополь, куда князь был направлен чрезвычайным и полномочным послом. Был он при Репнине в 1779 году в Тешине, где — под гарантии России — был подписан мирный договор между Австрией и Пруссией, борющихся за Баварское наследство. Далее Трощинский заведовал канцелярией князя Репнина во время его генерал-губернаторства в разных губерниях, находился неотлучно при Репнине в пору его пребывания в Польше, куда того в 1763 году отправила Екатерина в помощь русскому посланнику Кайзерлингу — добиваться уравнивания в правах с католиками так называемых диссидентов (православных и протестантов).

После смерти Кайзерлинга, случившейся в 1764 году, Репнин, ставший полномочным министром в этой стране, активно продвигал возведение на освободившийся (после смерти Августа III) польский престол Станислава Понятовского, полностью устраивавшего как петербургский двор, так и поддерживавших его влиятельных родственников — Чарторыйских. Репнин удачно защищал диссидентов и образовывал дружественные России «конфедерации». *(Конфедерация в Польше — союз, заключавшийся шляхтой либо всей страны, либо какой-нибудь ее части в тех случаях, когда стране угрожала опасность извне или изнутри, а также когда шляхта находила необходимым выступить на защиту своих интересов, прав и привилегий.)*

Первой из таковых стала образованная 28 апреля 1764 года литовская конфедерация, обратившаяся к России (при содействии её посла) за военной защитой. 7 мая 1764 года был открыт конвокационный сейм, позволивший провести в стране ряд реформ (не все из которых, особенно ограничение *liberum veto*, устраивали Россию), а 7 сентября Понятовский был избран королём Польши. После этого Репнин начал склонять монарха к решению вопроса об уравнивании прав диссидентов с католическим большинством и урегулированию пограничных споров, однако стоявшие за Понятовским Чарторыйские всячески этому противились.

В сложившейся ситуации Репнин с начала 1767 года образовал сразу несколько новых «конфедераций» в Польше и Литве, дружественных России, число состоящих в которых вскоре превысило восемьдесят тысяч человек, что могло угрожать Понятовскому свержением. Испуганный монарх созвал 15 октября 1767 года чрезвычайный сейм, предварительно согласившись выполнить все условия Репнина, однако в ходе выборов представителей на этот сейм русскому посланнику не удалось добиться необходимого большинства. Репнин в итоге решил этот вопрос радикально — ввёл в Варшаву части русской армии и сначала арестовал, а затем выслал в Россию епископа Солтыка и членов семейства Ржевуских, возглавлявших польскую оппозицию.



Под влиянием этих событий и давлением Репнина польский сейм в конце концов принял, 13 февраля 1768 года, так называемые «кардинальные законы», обеспечивавшие свободу вероисповедания и гражданские права для всех диссидентов, уравнивая их с католиками, а также подтвердил привилегии

шляхты, выборность короля и *liberum veto*. (*Liberum veto* — свободное вето — принцип парламентского устройства в Речи Посполитой, позволявший любому депутату сейма прекратить обсуждение вопроса в сейме и работу сейма вообще, выступив против.)⁷

24 февраля 1768 года Репнин добился заключения с Речью Посполитой Варшавского договора, условия которого фактически позволяли Российской империи вмешиваться в любые внутренние дела последней. Среди польских аристократов возник заговор с целью убийства им ненастного посланника России, и только Понятовский своевременным извещением о надвигающейся угрозе спас его от смерти.

Новые указы привели вскоре к мятежу конфедератов — сторонников сохранения привилегий католическому большинству населения и политической независимости Польши, для чего предполагалось свергнуть Понятовского и начать войну с Россией. С началом мятежа Репнин потребовал от Понятовского его подавления, однако в итоге для этого пришлось использовать в очередной раз введённые в Польшу русские войска. Разбитые конфедераты частью вступили в партизанскую борьбу против русских, частью отступили в соседние страны.

Французский посланник при екатерининском дворе Шевалье де Карберон язвил в своём дневнике по поводу князя Репнина: «Обладая довольно живым, но поверхностным умом, он нравится женщинам, но зато и подчиняется им всецело, удовольствие есть единственный мотив всех его поступков. Работой его в Польше здесь все недовольны, так как он только запутал дела к невыгоде России. Он был влюблён в жену Адама Чарторыйжского, самого страшного врага русских. Подчинившись этой женщине, он, говоря, заплатил ей за ночь покровительством Барской конфедерации, вопреки интересам своего двора».⁴

В апреле 1769 года, когда политическая ситуация несколько изменилась, Репнин был заменён в Польше князем Михаилом Николаевичем Волконским. Касательно оценки всех сторон деятельности Репнина в Польше, то за неё был он обласкан императрицей орденом Александра Невского, чином генерал-поручика и пятьюдесятью тысячами рублей наличных денег, а что до его скоротечной интимной связи с Анной Чарторыйжской, то отдалась прелестная полька русскому князю исключительно из патристических соображений.

Четыре десятка лет спустя, в 1807 году, отважный поступок Чарторыйской повторила целомудренная Мария Валевская, которая, подталкиваемая польскими патриотами, в видах будущей независимости Польши оказалась в постели самого Наполеона Буонапарте.

От этой связи родился императорский сын, Александр Колонна-Валевский, судьбу которого романически выписал Мариан Брандыс. У Николая Репнина законных сыновей не было, внебрачным же сыном считался рождённый от его связи с очаровательной «панной» — Адам Ежи Чарторыйский, будущий министр иностранных дел России, один из лидеров польской эмиграции, бывший на короткой ноге с императором Александром I.

Работая с Репниным, Трошинский прошёл большую управленческую и дипломатическую школу и, «получив опытность в делопроизводстве разнообразного свойства, под руководством знаменитого воина и дипломата, перешёл к Безбородке».⁴

В начале 1786 года, почти одновременно, состоялись два высочайших повеления, из которых одним граф Безбородко назначался членом «Комиссии о дорогах в государстве», а вторым — «Совета при Её Императорском Величестве». О работе Комиссии о дорогах информации сохранилось мало. Действовала она, под управлением императрицы, десять лет. Участие в ней Безбородко, было, скорее всего, связано с зависимостью качества почтовой связи от состояния дорог и когда возбудился вопрос о недостаточности средств, коими располагала Комиссия, то Безбородко «объ-

явил, что суммы до 10 000 ежегодно и до 3 000 одновременно могут быть ассигнованы из почтовых расходов».⁴

Часть пятая. Работа в составе Государственного Совета

Более значима и более известна деятельность Безбородко в учреждённом императрицей Государственном Совете, работать в котором он начал 18 апреля 1786 года. Совет, учреждённый императрицей Екатериной II ещё в 1768 году «для соображения всех дел, относящихся к ведению Турецкой войны», только что тогда объявленной, принадлежал к высшим государственным учреждениям.

Первоначально в числе членов его были граф Кирилл Григорьевич Разумовский, князь Александр Михайлович Голицын, графы Никита и Пётр Панины, князь Михаил Николаевич Волконский, граф Захар Григорьевич Чернышёв, граф Григорий Григорьевич Орлов, князь Александр Алексеевич Вяземский. В первый год существования Совет имел характер чрезвычайного собрания, в котором председательствовала сама императрица.

Подсчитано, что в царствование Екатерины Совет имел более двух тысяч собраний, что Безбородко принимал участие в около девятистот из них. Призванный быть членом этого державного органа, он сразу же занял в нём особое положение. До его назначения воля императрицы Совету, а также доклады императрице о принятых Советом решениях делались по очереди каждым его членом. С приходом в Совет Безбородко указанные функции стали его исключительной прерогативой, кроме того, теперь все предназначавшиеся Совету документы адресовались на имя Александра Андреевича.

К числу последних относятся указы императрицы о назначении новых членов Совета, написанные рукой Безбородко и только подписанные Екатериною, которая, следует полагать, назначала их не без рекомендации Александра Андреевича.

Как отмечали архивисты второй половины девятнадцатого века, с поступлением в Совет Безбородко протоколы его заседаний стали более содержательными, более интересными:

«До Безбородко протоколы были излагаемы чрезвычайно сжато; записывались в них только предметы рассуждений и состоявшиеся определения Совета; со вступлением Безбородко, они становятся просторнее и полнее. Безбородко понимал, что Совет величайшего в свете государства работает не для временного только обихода, но и для истории своей страны, для всемирной истории. В этом отношении он достиг того, что Совет поставил своей задачей «излагать весь ход рассуждений со всем разнообразием обращавшихся в нём мнений»».⁴

Первым по времени делом, которым — уже в новом качестве — занимался Безбородко, было рассмотрение Советом записки графа Андрея Петровича Шувалова об учреждении Заёмного банка.

Сей граф Шувалов, 1744 года рождения, сын известного фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова, в детстве и отрочестве своём много времени проводил при дворе, будучи ласкаем императрицей Елизаветой Петровной. В возрасте четырнадцати лет, став камер-юнкером, был избран Почётным членом Российской Академии Художеств. В юности и зрелых годах, много путешествуя по Европе, он отдавал предпочтение



Франции и её столице. Близкое знакомство с самим Вольтером, добавляло ему веса в общении с императрицей Екатериной, которая, в частности, назначила его членом учреждённой ею комиссии, премировавшей лучшие литературные переводы.

Возглавлял Шувалов некоторое время комиссию «О древней, преимущественно русской истории». В 1768 году он был назначен директором двух вновь открывшихся в Москве и в Петербурге ассигнационных банков. Запиской, поданной в Совет в апреле 1786 года, при протекции Светлейшего князя Потёмкина, граф Шувалов преследовал цель соединить указанные банки в одно учреждение.

По итогам рассмотрения указанного вопроса Александр Андреевич Безбородко записал в протокол, подписанный всеми его коллегами по Совету (за исключением засомневавшегося генерал-прокурора Вяземского):

«Совет, уважая изображённую в докладе надобность в деньгах для уплаты долга и для разных государству полезных и нужных предприятий, как то строения Московской дороги, делания Вытегорского канала и прочих, не может не быть согласен на предложенное устройство государственных банков с определением новой цели, для раздачи в займы, суммы и разных выгод, для самих банкиров, яко на средство, человеколюбию Её Императорского Величества и матернему её о благе верноподданных своих попечению столь сообразное: ибо без отягощения народного удовлетворяет оно вышеозначенному предмету, доставляя при том дворянству и городам вспоможение на пользу земледелия, хозяйства и торговли».⁴

Как известно, присоединенный — Указом от 8 апреля 1783 года — Крым императрица Екатерина передала в управление князю Потёмкину, переименовав покорённое ханство в Таврическую губернию, а спустя четыре года решила лично обозреть приобретённый край, определив ответственным за историческую поездку графа Безбородко. Уже за месяц до выезда тот писал «главному по Малороссии», Румянцеву — просил его подготовить для императрицы приличное помещение в Киеве.

«На второй день нового 1787 года, в 11 часов утра, при громе пушек, остановилась Екатерина у церкви Казанской Божией Матери, что на Невской перспективе и, помолвившись по Русскому обычаю, выехала в Царское Село, из которого предположила отправиться в Тавриду. Через четыре дня, 7 января, императрица тронулась из Царского Села в путь в раззолоченных экипажах, которых насчитывалось до 200. Её сопровождали знатные придворные лица, дипломаты и всё лучшее общество, которым славился Русский Двор».⁴

Маршрут императрицы пролегал через Смоленск, Новгород-Северский, Киев, где предполагалось дожидаться вскрытия рек ото льда и потом уже продолжать путь по Днепру до Кременчуга, в область Таврическую, оттуда в Черкасск и Азов и обратно — через Харьков, Курск, Орёл и Москву. Прибыв в Чернигов, Екатерина пожелала увековечить своё путешествие и выбить в его память медаль, в чём попутчики государыни увидели ясный знак монаршьего удовольствия от совершаемой поездки. В Нежине «Её Величество имела ночлег в доме Безбородки, и когда государыня восхищалась красотой Украйны, то Безбородко, горячо любивший свою родину, воспользовался случаем и указал на ближайшие пути к благоустройству земли, богато наделённой природою».⁴

Пожив более двух с половиной месяцев в Киеве, императрица, 22 апреля 1787 года, оправилась в дальнейшее путешествие по Днепру, на галерах. «Государыня, в кругу многочисленной и блестящей свиты, была не более, как любезною хозяйкою, и её обворожительное обращение не замедлило отозваться на её спутниках, которые старались перещеголять друг друга веселонравием. Не щадивший издержек, изобретательный князь Потёмкин строил по обоим берегам Днепра селения и разводил сады, чтобы усладить взгляд высокой путешественницы. Ему хотелось доказать Государыне, что

одна только ненависть и злобы недоброжелателей могли осуждать правительство за приобретение Крыма».⁴

Ранним утром 25 апреля императорская флотилия — двадцать две мачтовые галеры в сопровождении шлюбов, дубов и челнов — подплыла к местечку Канев. Девятую по счёту галеру, именованной «Днепр», занимала Екатерина, на десятой, названной «Буг», находился Потёмкин со своими племянницами. В Каневе русскую императрицу ждал, вместе с накопившимися проблемами, польский король Станислав Август, получивший от неё — только за несколько часов общения — обещание разрешить их и Андреевскую бриллиантовую звезду впридачу.

По пути следования к Кременчугу судно, на котором находилась Екатерина, оказалось повреждённым и, чтобы избежать порогов, князю Потёмкину и графу Ангальту, помогая гребцам, пришлось взяться за вёсла. После Кременчуга Потёмкин выбрался на берег и отправился встречать императора Иосифа, прибывшего на встречу с государыней под именем графа Фалькенштейна.

«После встречи, 14-го мая, Екатерина с Иосифом и со всею своею свитою обедала у графа Безбородки, в его слободе Белозерке, в 15-ти верстах от Херсона. Здесь ... они были угощаемы самим хозяином, и Государыня, обозрев тамошнее приятное местоположение, возвратилась в город в пятом часу. Император Иосиф положил вместе с нею первый камень в основание Екатеринослава, посетил Севастопольскую гавань, осмотрел Черноморский флот и другие сооружения, быстро возникшие в стране, незадолго перед тем приобретённой Россией, и всем восхищался».⁴

Усердие Безбородко в пору подготовки путешествия и его совершения, большое число всевозможных документов, им в это время подготовленных, императрица отблагодарила своим к нему благоволением, посещением его имений. Так, 3 июля, отобедав в Кривом Роге, Екатерина остановилась ночевать в полусотне вёрст от города, в слободе Анновке, принадлежавшей Безбородко. Затем, во время пребывания в Москве императрица пожаловала Безбородко дом покойного канцлера, графа Бестужева-Рюмина, о чём радостно возбуждённый Александр Андреевич отписал матери: *«Во время пребывания в здешней столице, Её Императорское Величество всемилостивейше пожаловала мне дом в Москве покойного великого канцлера графа Бестужева-Рюмина, у наследников его купленный в казну, повелев при том оный починкою исправить, надстроить и перестроить по данному от меня плану на счёт казённый от Екатерининского здесь дворца. Таким образом, по милости Её Величества буду я иметь в Москве один из лучших домов и в самой здоровой части города».⁴*

Часть шестая. Войны с Турцией и Швецией

Путешествие Екатерины на юг, флот, заведённый в Чёрном море, присоединение Крыма произвели сильное негативное впечатление на Турцию и подготовили новую войну между двумя странами. Турция разорвала ранее подписанные трактаты, посадила русского посланника Александра Яковлевича Булгакова, вместе со всем личным составом посольства, в Семибашенный замок и объявила России войну.

По этому поводу 31 августа 1787 года был созван Совет, заседание которого открыла императрица следующими словами:

«Я, чаю, вы знаете, что турки нарушили мир с нашею империею и дерзнули даже посадить в Семибашенный замок министра моего. Вы сами рассудите, какие меры должны быть приняты и с моей стороны в таких обстоятельствах. Для изъяснения же всего коварного и вероломного поведения Порты, с заключения мира при Кайнардже до нынешнего времени сообщена вам будет от департамента иностранных дел записка, которую я нарочно составить велела».⁴

После речи государыни Безбородко прочёл составленную им записку о причинах разрыва мира с Турцией, с подробным анализом её политики по отношению к России. Здесь были и примеры возбуждения антироссийских сил в Крыму, таможенные препятствия русским товарам, репрессивные меры по отношению к молдавским господам, принявшим сторону России. После одобрения представленной записки Советом, по указанию императрицы Безбородко подготовил манифест о начале военных действий против Турции.

Предводителем российского войска был назначен князь Потёмкин и граф Румянцева-Задунайский, общения их с императрицею шло через Безбородко, которой он предоставлял, с анализом, всю текущую информацию, с военными делами связанную. Россия была застигнута войной врасплох. Безбородко видел и сознавал превосходство сил Турции, которая, задумав войну, готовилась к ней несколько лет. Интриговали Пруссия и Англия, выступила против России Франция. Держал своё союзное слово австрийский император Иосиф. Боевые действия начались для России неудачно — буря уничтожила в Севастополе русский флот, а упавший духом Потёмкин медлил с осадой Очакова.

К исходу 1787 года, когда война с османами только разгоралась, новая беда обрушилась на Россию: 4 ноября Государственному Совету было доложено письмом русского посла в Стокгольме к вице-канцлеру «о неприятных видах короля Шведского на Финляндию». Совет, «соображая сие известие с беспокойным нравом и легкомыслием этого соседа нашего, признал за нужное, в осторожность, укомплектовать гарнизонные батальоны в Ревеле и Аренсбурге».⁸

В феврале следующего года Выборгский наместник, генерал-поручик Гинцель, рапортовал «о примечаемом на шведской стороне необычайном тщании обучать расположенные в соседстве к границам нашим войска». На последовавшем мартовском заседании Совета Безбородко доложил о мерах, предпринятых для охраны Лифляндских и Финляндских границ, в том числе с учётом возможной агрессии со стороны Пруссии. «Осторожности пограничные в здешней части приняты быть должны такие, чтоб оную обеспечить не токмо противу Шведского нечаянного нападения, но и на случай каких-либо покушений со стороны короля Прусского. Хотя многие из мер, тут представляемых, требуют времени, но необходимо за них приняться и по крайней мере впрёд отвратить подобные недостатки, каковы ныне имеются».⁸

Далее Александр Андреевич предлагает по части морской свести все балтийские эскадры воедино и подчинить одному адмиралу, должным образом обустроить порты Кронштадтский, Ревельский и Балтийский. По части сухопутной записка рекомендует привести Лифляндские, Эстляндские и Финляндские крепости «коликó возможно в оборонительное состояние», снабдить их артиллериею и людьми, применив укомплектование пограничных гарнизонов «излишними церковниками», а также «формирование хоругв Белорусских из мелкой шляхты».

Принятые меры оказались отнюдь не избыточными. В конце марта 1788 года было получено из Швеции известие от графа Алексея Кирилловича Разумовского о подготовке шведами десятка фрегатов и кораблей для отправки к берегам Финляндии, о поиске шведским правительством внешнего займа для планируемых боевых действий.

«20-го июня выяснилось окончательно, что война у нас с Швециею неминуема. В этот день Безбородко объявил Совету полученное от гр. Разумовского известие, что король, будучи недоволен некоторыми выражениями в записке его, Разумовского, объявил через церемониймейстера, что не признаёт его более министром и назначает для выезда его восьмидневный срок. Совет признал это явным нарушением дружественных отношений, или лучше прямым объявлением войны и, чтобы надёжнее приготовиться к ней и к защите государства, постановил просить Императрицу о назначении главнокомандующего, который

бы, по своему усмотрению, приступил к надлежащим военным распоряжениям против Шведского вторжения. С своей стороны гр. Безбородко предложил Совету записку, с обозначением, каким образом должны быть расположены и ведены наши военные действия и с расписанием находящихся здесь войск. Записка предлагает атаковать Шведский флаг и высадить на Шведский берег сухопутное войско, чтобы отвлечь короля Густава от Финляндии, в которой он усилился...»⁴

Кажется, Екатерина не чувствовала реальной опасности войны на два фронта, особенно, если учесть, что европейские державы (за исключением разве что Австрии) всячески способствовали такому сценарию развитию событий, укрепляя связку Турции со Швецией. Слухи о данной турками взятке шведскому королю, по твёрдому убеждению Безбородко, имели под собой реальную европейскую основу: *«Но едва бы Швеция, или Густав III согласились принять подкуп Турции, засвидетельствованный Пруссией, едва бы и Турция решилась предложить свой подкуп Швеции, если бы этим подкупом, и следовательно возбуждением Шведской войны против России в 1788 году, не руководили великие Европейские державы.»*⁴

Правительство Екатерины II предпринимало контрмеры и планировало привлечь к русско-австрийскому союзу Францию и Испанию, у которых были напряженные отношения с Англией. Это было должно нейтрализовать Лондон. Однако планы Петербурга были разрушены Французской революцией 1789 года, временно исключившей Париж из затеянной политической игры. В феврале 1790 года умер австрийский государь Иосиф II. Его преемник Леопольд II под политическим давлением Пруссии и Англии и из-за неудач австрийской армии на фронте заключил с османами мир. Россия в итоге в своих военных противостояниях осталась одна.

Тем не менее, война с Турцией для России складывалась удачно — 6 декабря 1788 года пал Очаков. Да и начавшиеся баталии со Швецией озаменовались морской победой русского флота при Гохланде, благодаря которой был закрыт доступ шведам к Петербургу с его южной стороны. Столь же неудачны были сухопутные действия шведской армии в Финляндии. *«Тогда Пруссия, Англия и Голландия заключили между собой союз для помощи Швеции и заставили Данию отказаться от содействия России... Пруссия помышляла присоединить к своим владениям Данциг и Торн. Об этом было сообщено Венским двором, который, со своей стороны, советовал Петербургскому кабинету вооружить против Пруссии Польшу, предложив ей возврат земель, уступленных Пруссии по первому разделу.»*⁴

При таких обстоятельствах Государственный Совет признал выгоднейшим для России её союз с Францией. Взгляд этот разделяла и Екатерина, но с ним не согласились граф Шувалов, подавший в Совет особое мнение, и граф Безбородко, представивший по этому поводу императрице две записки, в которых указал на возможность заключить мир при посредстве Берлинского двора (союз с Францией он отвергал). Против союза с Францией был и князь Потёмкин. Последующие события показали, что соображения Безбородко были приняты Екатериною.

Пока шли рассуждения о необходимости заключения мира с одной из воюющих держав, при дворе явилось новое лицо, оказавшее существенное влияние на судьбу графа Безбородко. Зоркий Храповицкий, 19 июня 1789 года, в дневнике своём назвал имя двадцатидвухлетнего караульного секунд-ротмистра Платона Александровича Зубова, продвинутого в сторону спальни императрицы старой её подругой, Анной Никитичной Нарышкиной, коей для ускорения процесса бравый караульный подарил часы, стоимостью в две тысячи рублей.⁹

Безбородко прежде, ещё при фаворите Мамонове, выражал неудовольствие передачей тому ведения дел канцелярии императрицы, что было обязанностью её личного секретаря Храповицкого. Значение, которое в начале июля 1789 года получил Зубов быстро росло, что ещё больше беспокоило Александра Андреевича. Правда, ходили

слухи, что содействовал он удалению Мамонова, предполагая сменить его своим племянником, Григорием Петровичем Милорадовичем. Это обстоятельство будто бы послужило одной из важнейших причин ненависти Зубова к Безбородко.

Впрочем, интриги двора шли своим чередом, как и политические события. Попытки России в конце 1789 года добиться мира со Швецией успехом не увенчались. И только в августе следующего года, после кровопролитного для каждой из противоборствующей сторон сражения при острове Сексаре был заключён мирный и оборонительный союз России со Швецией. По этому поводу Безбородко сказал: *«Мы своё кончили, пусть князь Потёмкин своё кончит»*. За труды свои на шведском фронте был удостоен Александр Андреевич чина тайного советника.

Князь Потёмкин в последний раз приехал в Петербург (по слухам, разобраться с Зубовым — *«чтобы вырвать зуб»*) в середине февраля 1791 года, о чём Безбородко, поминая нового фаворита, писал своему приятелю графу Семёну Романовичу Воронцову: *«Прибытие князя Потёмкина, если не принесло пособия нам большого в публичных делах (ежели позволено иногда и личное рядом за тем полагать), для меня, по крайней мере, доставило хотя может минутное облегчение. Уже ненавидящий меня до того простирает свои происки, чтоб меня привести в ничтожество и по части политической. Колобродства, нередко выходявшие, и недоумения в трудных случаях за ставили по необходимости за нас браться; а я решившись трудное нынешнее для государства время перенести, не уважая никакими особенными огорчениями, никогда ни от чего не отказываться и противу всех нападений твёрдо и смело воевал. Князь Потёмкин приехал, не инако как со мною по делам работал и чрез меня во всё относился и, по крайней мере, я им лично доволен, зная, что он отдаёт мне справедливость во всяком случае»*.¹⁰

Политическое положение тогдашней России было небезопасным: Пруссия двинула свои войска к пределам Курляндии, грозила возмущением Польша, флот Англии изготавился двинуться в Балтийское море.

Екатерине II пришлось выстоять перед давлением Англии и Пруссии, которые хотели выступить в качестве посредников в русско-турецких отношениях и навязать России мир на основе status quo ante bellum. Правительство Уильяма Питта Младшего собиралось угрозой военного вмешательства вынудить русскую императрицу к уступкам. Однако его планы были сорваны из-за внутренней оппозиции, которую возглавлял Фокс.

Приложил к этому руку и русский посол в Лондоне Семён Романович Воронцов. Предложения премьер-министра Великобритании Питта о вотировании кредитов для войны с Россией встретило серьёзное сопротивление в парламенте и обществе, что в итоге заставило британское правительство сбавить обороты. Прусский король Фридрих Вильгельм II, оставшись в одиночестве (без английского золота), не решился на активные действия. Антироссийская коалиция европейских держав распалась и. Россия смогла победно завершить войну с Турцией.

В ходе военной кампании русская армия под началом Александра Голицына заняла Яссы и Хотин. В 1788 году Черноморский флот под командованием Марка Ивановича Войновича и Фёдора Фёдоровича. Ушакова разбил турецкую эскадру у Фидониси, а русская армия под началом князя Потёмкина взяла Очаков.

В 1789 году войска Петра Александровича Румянцева нанесли туркам трехкратное поражение: седьмого апреля — у Бырлада, десятого — у Максими и двадцатого — у Галаца. 21 июля и 11 сентября Александр Васильевич Суворов одержал две блестящие победы — при Фокшанах и Рымнике; пали Гаджи-бей, Аккерман и Бендеры.

Во время кампании 1790 года русские войска взяли Килию, Тульчу, Исакачу и Измаил. На Кавказе генерал Иван Иванович Герман разбил турецкий корпус Батал-паша. Русский флот одержал победы в Керченском проливе и у Тендры. К 1791 году возможности Турции воевать были исчерпаны, она жаждала мира, альтернативой ко-

тому могла стать реализация так называемого «греческого проекта», графом Безбородко прописанного.

Окончательно военно-политическую ситуацию в пользу России переломили две её победы над турецкими войсками. Первую из них, в Молдавии, при городке Мачине, одержал — 1 июня 1791 года — Николай Васильевич Репнин, закрепивший её подписанием с великим визирем Юсуфом-пашой в Галаце прелиминарных условий мира

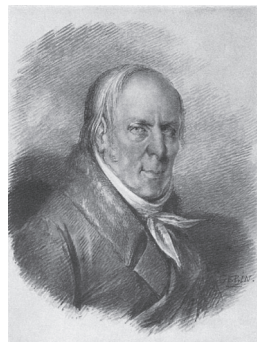
Вторую «викторию», завершившуюся взятием турецкой крепости Анапы, добыл малороссиянин, бравый боевой генерал Иван Васильевич Гудович. В начале этого дворянского рода, согласно Малороссийскому гербовнику Вадима Модзалевского, стоит Павел Гудович, *«значный полку Стародубского товарищ (1686 — 1688), сотник Бакланский (1697 — 1700), убит под Нарвою (1700)»*.

Его праправнук, Иван Васильевич Гудович, 1741 года рождения, учился в Кенигсберге, Галле и Лейпциге. Начав службу в возрасте восемнадцати лет инженер-прапорщиком, он через десять лет, в декабре 1790 года — *«генерал-майор за победу под Букурештом, взятие его и завладение княжеством Валахским»*. Далее *«28 июня 1777 г. — генерал-лейтенант; 12 ноября 1790 г. — генерал от инфантерии за взятие Кили; был в походах: 1764—1765 г. — в Польше при избрании короля»*.⁵ Весь послужной список генерала Ивана Гудовича — это богатое победами описание его боевых походов и сражений. Только в 1785 году получил он относительную передышку для мирной жизни — был назначен, на четыре года, Рязанским и Тамбовским генерал-губернатором, получил по итогам своего губернского управления орден Владимира I степени.

С 1789 года генерал Гудович вновь в боевом строю: *«... 1789 г. — командовал главным корпусом при Очакове; 14 сент. 1790 г. взял Гаджибейский замок и 14 пушек; 1790 г. — командовал 2-й дивизией на Буге. 1790 г. — после смерти бар. Меллера командовал всем корпусом под Килией, которую заставил сдаться, взял 72 орудия и военное судно с пушками, за что получил чин генерал-от-инфантерии; с нояб. 1790 г. — командир на Кавказской линии, взял штурмом Анапу с 95 орудиями и Суджук-Кале с 30 орудиями, за что получил орден Георгия 2-й степени и шагу с лаврами...»*⁶

Важность и ценность победы генерала Гудовича при Анапе состояла в том, что прежде него взять эту турецкую твердыню русские войска пытались дважды, но безуспешно и с большими потерями. Выстроенная, в 1781 году, турками — по схемам французских инженеров, — эта крепость служила опорным и направляющим пунктом для им подвластных, омусульманенных народов Кавказа. Крепость была возведена на вдающемся в море мысе, её примыкающая к суше восточная сторона была защищена высоким валом и глубоким рвом. Первая попытка штурмовать это фортификационное укрепление была предпринята русским отрядом под командованием генерал-аншефа Петра Абрамовича Текели и закончилась боем под крепостными стенами, штурмовать которые генерал не отважился.

В начале февраля 1790 года для штурма Анапы был отправлен семитысячный отряд генерал-поручика Юрия Богдановича Бибикова. Поход этот готовился на скорую руку, впопыхах — провианта было взято только на две недели, и уже в походе в отряде начался голод. После боя — 15 апреля 1790 года — в предместье Анапы турки, татары и черкесы укрылись в крепости, оставив русских воинов под стенами умирать от голода и холода. В итоге генерал Бибиков вынужден был отправиться в обратный путь, ставший дорогой смерти для части его солдат — к берегам Кубани 4 мая 1790 года вернулось чуть больше пяти тысяч единиц его исходного личного состава. (Позже генерала Бибикова судили, оправдали и отправили в отставку.)



Генерал Гудович в третьем проходе на Анапу учёл все просчёты предшественников. Его корпус был хорошо укомплектован и оснащён, обеспечен продовольствием. Перекрыв пути нападения горцев со стороны суши, генерал, после основательной артиллерийской бомбардировки, преодолев ров и вал, штурмом взял турецкую твердыню, оборону которой возглавлял чеченский шейх Мансур. Все укрепления Анапы были взорваны и срыты, население её переселено в Тавриду. Позже городские руины, по Ясскому миру, были переданы Турции.

После Анапы генерал Гудович привёл в покорность России Тарковское шамхальство (государственное образование кумыков, занимавшее северо-восточную часть нынешнего Дагестана, с центром в городе Тарки). Далее жизненный путь Ивана Васильевича Гудовича имел следующие значимые меты: «...1795 г. — в Грузии против Аги-Магомет-Хана; 2 сент. 1793 г. — Андрея Первозванного; 1796 г. — пожаловано 1800 душ в Подольской губ.; 5 апр. 1797 г. — граф Российской империи; Киевский генерал-губернатор; 1798 г. — пожаловано 3000 душ в Подольской губ.; 1799 г. — главнокомандующий армией, назначенной к выступлению за Рейн; 1800 г. — отставлен от службы; с 1806 г. — главнокомандующий войсками на Кавказской линии и в Грузии, управляющий там же по гражданской части; разбил при р. Арпачае Юсуф-пашу, за что 30 авг. 1807 г. получил чин генерал-фельдмаршала; с 7 авг. 1809 г. — главнокомандующий в Москве с званием члена Государственного Совета и сенатора; в февр. 1812 г. — уволен от службы...» Умер Иван Васильевич Гудович 22 января 1820 года.⁶

Был женат Гудович на Прасковье Кирилловне Разумовской, дочери гетмана, 1755 года рождения. Скончалась супруга бравого генерала 2 октября 1808 года и была погребена в Фёдоровской церкви Александро-Невской Лавры.

Падение Анапы и поражение турецких войск в Молдавии (плюс разгром турецкого флота Фёдором Фёдоровичем Ушаковым — 30 июля 1791 года — у мыса Калиакрия) вынудили султана вступить с Россией в переговоры о мире. Князь Потёмкин доверил их ведение, на принципах ультиматума, князю Репнину и 31 июля 1791 года тот заключил с турками перемирие, с взаимным подписанием «*прелиминарных мирных артикулов*».

Что до этих артикулов, то основным замечанием императрицы по их тексту были долгие сроки приведения их в исполнение, необходимость включить в него запрет туркам строить укрепления на остающихся за ними территориях северного Причерноморья.

Но судьба распорядилась иначе. «12 октября 1791 года члены Совета получили повестку собраться во дворец к 8 часам вечера. Необыкновенный час собрания указывал, что случилось что-то чрезвычайное. В начале заседания Безбородко объявил, что Императрица в этот самый вечер получила нечаянное известие о кончине генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потёмкина-Таврического, и потому указать изволила, чтобы Совет представил своё мнение относительно распоряжений по этому случаю, как по начальству над армией, так и по мирной с Турцией негоциации. К этому Безбородко присовокупил, что ещё до своей смерти фельдмаршал поручил начальство над войском генерал-аншефу Каховскому и что относительно мирных переговоров он, Безбородко «осмелился представить её величеству готовность свою отправиться в Яссы для руководства и произведения оных...»⁴

На следующий день, 13 октября 1791 года, генерал-майору Попову, правителю канцелярии покойного князя Потёмкина, был послан указ, извещавший о назначении Безбородко представителем России в мирных переговорах с Турцией. Последовавший процесс проведения этих негоциаций и им сопутствовавшая переписка Безбородко с императрицею стали важным документальным материалом этого периода российской истории. В частности, Екатерина давала следующие инструкции: «*Весьма нужно, ежели мир пойдёт в лад, чтоб соображены были выход войск и возвращение*

флотилии из Дуная со возможностью. Старайтесь при мире, по плану фельдмаршала, буде возможность только, Средиземноморскую флотилию с Греками, и продолжайте греков ласкать и принимать с своими наравне, также духовенство и самых Молдаван не давайте в разорение ни своих, ни чужих».⁴

Часть седьмая. Завершение войны с Турцией. Соперники

В Яссы Безбородко прибыл 2-го ноября и, первым делом ознакомился с составом участников переговоров с турецкой стороны, о коих обстоятельно отписал Екатерине:

*«Первый из них — Абдулах-эфенди, человек, по их образу понятия, в делах искусный, скромный и вежливый, но слывающий у них за самого хитрого и дельного человека. Опасаясь потерять голову, будет он искать протянуть дело, в ожидании перемены какой-либо в обстоятельствах. Но, впрочем, робкий и такой, когда увидит, что не допустят его продолжать время, то непременно в отвращение разрыва и возобновления неприязненных действий согласится на все пристойные и удобные к тому средства. Второй — Измет-бей, воинский судья, сын известного рейс-эфендия Измаил-Бея, был отцом своим посвящён в число улемов, отличается между ними ненавистью к христианам и сильным фанатизмом. Он не любит войны и боится, что продолжение её не обратилось к разрушению Империи их, особливо после опытов, что нельзя им надеяться на защиту и пособие в Англии и Пруссии; желает окончания сей войны, но думает, чтоб сделать мир сколько можно для себя выгоднее. Третий — Дури-Заде-Рузнабенджи, или генерал-контролёр, военный, человек в разных делах употребляемый, великий приятель рейс-эфендию, весьма миролюбивый и, в бытность его при Порте, от миссии нашей с пользою по разным надобностям употребляемый».*⁴

Вместе с этим донесением Безбородко препроводил к императрице и другое, также секретное, о прибывших в Яссы польских графах Потоцком и Ржевусском: *«По прибытии моём в Яссы, сведав от генерал-майора Попова и статского советника Билера, что граф Потоцкий и граф Ржевуский находятся в Буковине, в 170 верстах от Ясс, ожидая высочайшей вашей отповеди на письма их ... от многих я слышал, что бытности Ржевусского и Потоцкого даются разные толки. Я, однако ж, видел в пути моём, близ Могилёва генерал-поручика князя Любомирского и, узнав, что было у покойного фельдмаршала намерение купить Гумань, стараюсь внушать, что приезду Потоцкого не иное что, как подобная спекуляция была причиною...»*⁵

Ознакомившись с ходом переговоров, которые — на двух «конференциях» — состоялись до его приезда в Яссы, Безбородко убедился, что дело не продвинулось ни на шаг: уполномоченные строго и точно выполняли лишь все церемонии этикета. Подобным манером пытались вести себя турецкие переговорщики в на первых встречах-конференциях с участием Безбородко. Тот же, обменявшись рядом писем с Петербургом, получив оттуда инструкции самой матушки Екатерины и её клеветы Зубова, методично, артикул за артикулом стал готовить текст мирного договора, предьявляя его ультимативно турецким переговорщикам:

«С помощью Божию первый и второй артикулы мирного договора их превосходительствами, господами уполномоченными Её Имп. В-ва и вашими превосходительствами, уже совершены. Следует сим артикул третий, определяющий, чтоб отныне впредь река Днестр была границею между империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою таким образом, чтоб вся земля, лежащая на левом берегу реки Днестра, оставалась на вечные времена в полном и беспрекословном владении Её Имп. В-ва и Её высочайших наследников и преемников Всероссийского императорского престола, а земля, лежащая на правом берегу помянутой реки, осталась на вечные

*времена в полном и беспрекословном его величества императора Оттоманского и его наследников и преемников престолонаследии. Сими точно краткими, но с ясными словами расположен помянутый артикул в нашем проекте, вашим превосходительством врученном. Оный уже принят со стороны блистательной Порты в основание мира, при соглашении о прелиминарных пунктах, и я должен сказать вам, что сей артикул составляет один из тех, которые Её Имп. Величество сущим ультиматумом своим предложить изволила».*⁴

Русская сторона, осведомлённая через своих агентов в составе османской делегации обо всех намерениях турецких уполномоченных, зная о том, что им приказано закончить переговоры миром, заняла твёрдую позицию и при строптивости турков, угрожала прервать перемирие. Турки, лишённые поддержки Лондона и Берлина, были вынуждены пойти на уступки, даже согласились выплатить контрибуцию в двенадцать миллионов пиастров (семь миллионов рублей). Правда, Безбородко от имени императрицы великодушно отказался от вознаграждения, так как Порта испытывала большие финансовые затруднения.

Ясский мирный договор подтверждал условия соглашения от 1774 года, переход в состав России Крыма и Кубани. Новая граница с Османской империей была установлена по Днестру, в состав России перешли земли между Южным Бугом и Днестром, так как за Петербургом было закреплёно всё Северное Причерноморье. На Кавказе граница была установлена по реке Кубань, турки отказались от всех претензий к Грузии и обязались не предпринимать враждебных действий в отношении грузинских территорий, а также сдерживать подконтрольные им кавказские народности от набегов на русские земли. Сверх того, Турция обязалась возместить убытки русским купцам, которые подверглись нападению алжирских, тунисских и триполитанских корсаров.

*«Не меньше нужно объяснить в трактате будущем и артикул о корсерах Алжирских, Тунисских и Трипольских. Постановленное об них в договоре Кайнарджиском и изъяснённое в коммерческом трактате не могло предотвратить Российский купеческий флаг от прикосновения сих варваров купцов и мореходцев наших от уз неволи и собственности их от хищения оных разбойников. Блистательная Порта оттоманская учинила ясные и точные о том постановления с Венским двором, дав даже право репрессалий в случае медления. С другой стороны доказала она власть свою над оными кантонами, когда могла употребить из них Алжирцев с судами их в службу свою, не токмо на Белом, но и на Чёрном морях. Мы требуем, чтобы она ту же власть свою употребила к обузданию сих разбойников касаться собственности и флагу Российским...»*⁴

О завершении переговоров и подписании мирного договора Турция Безбородко, поспешая, отпрапортовал императрице, завершив послание словами: «Счастливым почитаю себя, что был избран орудием к окончательному исполнению высочайших намерений Ваших и повергаю к священнейшим стопам Вашим поздравление».

6 января 1792 года в Петербург прибыл майор Ираклий Иванович Морков (или Марков), доставивший Екатерине чайный Ясский трактат и получивший от без меры счастливой императрицы чин генерал-майора и две тысячи червонных.

Ираклий Иванович Морков (или Марков), брат Аркадия Ивановича Моркова, сотоварища Безбородко по Иностранной Коллегии; 1753 года рождения, из дворян Московской губернии; воспитанник Шляхетского сухопутного корпуса в Санкт-Петербурге, получил по окончании его звание подпоручика и 22 сентября 1769 года был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. Ушёл добровольцем на фронт Русско-турецкой войны 1771–1773 годов, заслужив за боевые заслуги звание премьер-майора Софийского пехотного полка.

6 декабря 1788 года Ираклий Морков возглавлял передовой отряд третьей штурмовой колонны во время штурма Очакова; первым взобрался на ретраншемент, за что

— по представлению Александра Васильевича Суворова — было присвоено ему звание полковника и вручены золотая шпага и орден Св. Георгия 4-го класса.

В 1789 году он участвовал в боях против османских войск при Фокшанах и Рымнике, после которых ему было присвоено звание секунд-майора Преображенского полка. В 1790 году он возглавлял третью колонну во время штурма Измаила, в ходе штурма получил тяжёлое ранение. «Самый храбрый и непобедимый офицер», по словам Суворова, получил после этого звание бригадира, а 25 марта 1791 года — орден Святого Георгия 3-го класса.

Далее, в том же 1792 году, Ираклий Морков принимал участие в боях против польских войск, возглавлял один из отрядов корпуса генерала Каховского, получил орден Св. Георгия 2-го класса за отличие в битве при Городище. Он командовал кавалерией в битве при Дубенках и был награждён золотой саблей с алмазами; также ему было пожаловано поместье в Минской губернии. В июне 1796 года он, вместе с братьями Аркадием и Николаем, был возведён в графское Священной Римской империи достоинство. В феврале 1798 года получил звание генерал-лейтенанта, должность инспектора Кавказской инспекции с назначением шефом Кавказского гренадёрского полка. В конце 1798 года он вышел в отставку.



В августе 1812 года Ираклий Морков вновь оказался на военной службе — возглавил Московское народное ополчение; участвовал в сражениях при Бородине, Вязьме и Красном; за военные заслуги получил орден Святого Александра Невского. В 1813 году окончательно вышел в отставку с военной службы по состоянию здоровья. Умер в 1828 году и был похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище. (Выдающийся русский художник Василий Тропинин был крепостным помещика Ираклия Ивановича Моркова, эксплуатировавшего талант подвластного ему человека, долго не дававшего тому вольную.)

Получив — через Ираклия Моркова — мирный договор с Турцией, императрица отписала Безбородко: «С крайним удовольствием получили мы донесение ваше от 29 декабря о подписании взаимными полномочными мирного договора, между нами и Портою Оттоманскою заключённого. Труды и искусство, какое вы оказали, руководствуя сею неограниченною, благополучным успехом увенчанною, а равно и усердие полномочных наших суть такие деяния, коими вы оправдали в полной мере нашу к себе доверенность, явили Отечеству знаменитую услугу и приобрели по всей справедливости вящее наше к себе благоволение, которого несомненные доводы на деле увидите...»¹¹

Начало 1792 года Безбородко провёл в Яссах, дожидаясь «взаимных государственных ратификаций» мирного договора, которая была совершена 29 января. О полном завершении переговоров и подготовке к отъезду в Петербург он известил посла Якова Ивановича Булгакова, завершив письмо списком подарков, которыми переговаривающиеся стороны обменялись друг с другом: «От визиря именем Порты присланы мне: перстень, бриллиантовый солитер, тысяч до 25 рублей, табакерка в 8000 и часы тысяч в семь, лошадь с богатым убором, палатка шитая, но весьма ветхая, ковёр Салоникский, 37 пуд с лишком кофею, множество бальзаму, Индийского и Меккского, табаку, губки, трубки, амбра, 24 куска материй и шалей, все мелкие и разные. Я ему послал: прекрасный кинжал в 9 000 рублей, соболий мех в 6 000 рублей и до сорока соболей в 4 000 рублей с чаем и ревенем...»¹¹

«Для милого дружка и серёжка из уха». Безбородко возвратился в Петербург 10 марта 1792 года и на следующий день получил от императрицы распоряжение написать указ о производстве её юного любовника, Платона Зубова, в чин генерал-поручи-

ка и генерал-адъютанта.. В нём, двадцатилетнем адонисе, постельном партнёре разменявшей седьмой десяток лет императрицы прославленный, умудрённый жизненным и политическим опытом Александр Андреевич Безбородко нашёл окрепшего соперника и непримиримого врага при дворе. Все дела, которые до отъезда Безбородко в Яссы производились в его канцелярии, теперь шли через руки Зубова, которого матушка Екатерина назначила своим советником.

Естественно, не обладая ни опытностью, ни государственным умом, свежий советник должен был найти интеллектуальную и профессиональную опору в правительственных кругах, подобрать и приблизить к себе толкового помощника.

Таковым стал для него Аркадий Иванович Морков (или Марков), сослуживец Безбородко по Коллегии Иностранных дел. *«Разумеется, в новых руках дела не могли*



идти тем твёрдым и разумным порядком, как они шли при Безбородке: обнаружались колебания и противоречия. Так, Польскому делу, для которого с такою поспешностью Безбородко отозван был из Ясс, чтобы «учинить с Польскими вельможами решительное положение», у Зубова были пущены в ход и давно оставленный план князя Потёмкина, и измышления самого Маркова...»⁴

Из ведения Безбородко была изъята и передана Зубову обязанность докладов по всем делам; за Александром Андреевичем осталась честь являться по важным случаям к государыне, *«в тех именно, когда требовались испытанный государственный ум и преданнейшая верность»*. Естественно, что заслуженный сотрудник императрицы не мог не испытать раздражения, увидев все свои дела в руках новоявленного фаворита. Огорчения добавляло и то обстоятельство, что вслед за Зубовым при дворе выдвинулась новая группа людей, не разделявших убеждений Безбородко. *«Прогибаться»* перед новым «светилом» Александр Андреевич не собирался, *«считал себя унизительным обнаружить искательство перед новым любимцем придворного счастья, когда и к покойному князю Потёмкину «не учащал», даже во время «самого тесного согласия с ним».*⁴

Екатерине же мечталось, чтобы опытный, умный политик и придворный Безбородко взял под воспитательную опеку её возлюбленного, «выковал» из него энергичного дипломата, но соперники были непримиримы. Как писал Александр Семёнович Воронцов брату своему, российскому посланнику в Лондоне, Семёну Романовичу Воронцову: *«...Безбородко отсутствием своим приобрёл славу имени, но сей случай лишил его прежней мочи в делах; ибо господин Зубов, в его отлучку, вступя во все экспедиции, удерживает их в своих руках, а на удел Александру Андреевичу мало что остаётся, и то почти для одной формы. Марков, войдя непосредственно в доклады по иностранным делам, приобрёл доверенность молодого человека и стал пружиною в том, совращающую участие вице-канцлера Безбородки.»*¹⁰

Ровесник Безбородко, Аркадий Иванович Морков образовывался в Московском университете, по окончании которого — в 1764 году — начал службу в Коллегии Иностранных дел; находился на разных должностях в составе миссий в Испании, Польше, Голландии и Турции. Был он посланником в Швеции, из которой — по требованию короля Густава — его отозвали и за усердие в делах дипломатических дали ему солидное служебное повышение третьим членом Коллегии иностранных дел (после Остермана и Безбородко). В новой должности он организовывал и совершал — в 1787 году — подписание торговых договоров с Португалией и Францией.

Измена графу Безбородко и переход на сторону Зубова принесли Моркову в очень короткое время титул графа, ордена Святого Александра Невского и Владимира, четыре тысячи крестьян в Подольской губернии и *«...многочисленные денежные подарки,*

в которых он очень нуждался, чтобы удовлетворить роскошной жизнью мадемуазель Гюс, знаменитую, очень хорошенькую и очень расточительную французскую актрису, с которой Марков жил в гражданском браке».¹¹

В годы зубовского фавора граф Морков оказывал, пожалуй, наибольшее влияние на внешнюю политику России. Он подписал союзные договоры с Австрией (в 1792 и в 1795 годах), с Пруссией (в 1792 году), с Англией (в 1795 году), а также принял деятельное участие в дипломатической подготовке второго и третьего разделов Речи Посполитой и подписал Петербургские конвенции 1793 и 1795 годов.

Уволенный в 1796 году вместе с другими ставленниками Зубова в отставку императором Павлом I, Морков до 1801 года находился не у дел и жил в своём подольском имении Летичеве, где ему приходилось вести судебные тяжбы по поводу границ своих земель с польскими помещиками. По свидетельству графа Евграфа Федотовича Комаровского, *«поляки старались оказывать ему всевозможное презрение, считая его одним из главных виновников последнего раздела Польши»*, а генерал-губернатор Гудович, желая наказать Моркова за вероломство по отношению к Безбородко, чаще всего становился на их сторону.

Летом 1801 года Александр I назначил Моркова послом в Париж, возложив на него, как на человека, по отзыву Карамзина, *«знаменитого в хитростях дипломатической науки»*, заключение мира с Францией. В ходе переговоров Морков требовал восстановления занятых французами итальянских государств (Сардинии и Неаполя), рассчитывая на заинтересованность Наполеона в заключении с Россией союза для продолжения борьбы с Англией. Но подписание в Лондоне прелиминарного мира между Англией и Францией (1 октября 1801 года) побудило Моркова согласиться на компромиссное решение спорных вопросов и подписать с Талейраном, 8 октября 1801 года, Парижский мирный договор. Одновременно Морков подписал с испанским послом в Париже Азарой русско-испанский мирный договор (4 октября 1801 года).

Как свидетельствует Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» (часть третья), Бонапарт, желая испытать русского посланника Маркова, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, что Марков услужит ему и подаст оброненный платок. Марков же тотчас уронил рядом свой платок и поднял его, не поднимая платка Бонапарта.

Независимое поведение Моркова, часто граничившее с дерзостью, настойчивость, проявленная им в вопросе о выполнении Францией договора 1801 года, и его открытые антифранцузские настроения привели к натянутым отношениям с французским правительством. По настоянию Наполеона Александр I отозвал Моркова из Парижа, одновременно наградив в знак одобрения его деятельности орденом Святого Андрея Первозванного, со знаками которого Морков демонстративно явился на последний приём к Наполеону. В ноябре 1803 года он покинул Париж.

Назначенный по возвращении в Россию членом Государственного совета, Аркадий Иванович Морков отошёл от политической деятельности, но в 1826 году был назначен в Верховный уголовный суд по делу декабристов. Скончался он в феврале 1827 года и был похоронен на Лазаревском кладбище Санкт-Петербурга. Говорят, что когда Екатерина II хотела женить Моркова на своей интимной любимице фрейлине Анне Степановне Протасовой, особе далеко не красивой, Морков отказался от этого брака, сказав: *«Она дурна, я дурен, что же мы с нею будем только безобразить род человеческий»*.⁴ Он так и остался не женатым, но от французской актрисы Гюс имел дочь Варвару Аркадьевну (родившуюся 3 апреля 1797 года, умершую — 6 февраля 1835 года), получившую (в 1801 году) титул и фамилию отца.

Часть восьмая. Возврат влияния. Разделы Польши

Обида, перемешанная с чувством неопределённости собственного придворного положения вынудили Безбородко составить для Екатерины обстоятельную записку, в которой он перечислил сдержанно все труды свои державные и соглашался на любое монаршее решение на свой счёт: «...*Всемиловитейшая Государыня! Если служба моя вам уже негодна, и ежели, по несчастю, лишился я доверенности вашей, которую вящее заслужить последним подвигом моим уповал, то, повинувся достождно воле вашей, готов от всего удалиться; но если я не навлек на себя такового неблаговоления, то льщу себя, что сильным вашим заступлением охранён буду от всякого уничтожения, и что, будучи членом Совета вашего и вторым в иностранном департаменте. Имея под начальством моим департамент почти и нося при том на себе один из знатных чинов двора вашего, не буду я обязан принятием прошений и тому подобными делами, которыми я ни службе вашей пользы, ни вам угодности сделать не в состоянии. Готов я, впрочем, всякое трудное и важное поручение ваше исправлять, не щадя ни трудов моих, ниже самого себя*».⁴

Записку эту граф Безбородко, находясь в Царском Селе, 30 июля 1793 года передал императрице, по совету Храповицкого, через её камердинера Захара Константиновича Зотова. На следующий, после этого события день Храповицкий записал в своём дневнике: «*По утру записка читана с вниманием, никому не показана, и с ответом на трёх страницах запечатана, и к графу Безбородко возвращена. Зотов сказывал, что ни при чтении, ни при писании ответа не сердились, но задумчивость была приметна. Граф, получив свой ответ, уехал в город*». Позже Храповицкий коснулся вновь этой темы в своих дневниковых записях: «*Граф Безбородко дал мне прочитать упомянутый на записку его собственноручный Её Величества ответ. В нём изображена: ласка, похвала службы и усердия. Писано в виде оправдания против графской записки... Граф мне сказал, что после сего никакого с ним разговора не было*».¹¹

Ответ императрицы дал Безбородко почувствовать, что та понимает вполне и находит естественным его обиды на происшедшие в его положении перемены. Екатерина показала, что продолжает ценить и дарование, и службу Безбородко, что интриге не удалось поколебать её взглядов в этом отношении. В то же время в ответе явно просвечивается намёк на Зубова, на то, что он есть более близким ей лицом, в том числе в делах государственных.

Граф Фёдор Васильевич Ростопчин писал в эти дни Семёну Романовичу Воронцову о предпринятой Безбородко поездке в Москву:

«Граф Безбородко уезжает послезавтра; его отсутствие продлится месяц, и он предполагает посетить вашего брата. Ему поручено изготовить все бумаги, относящиеся к наградам по случаю празднования мира. Они до сих пор не подписаны, и даже у Императрицы никто не знает, когда будет это празднование... Я вижу с крайним огорчением, что граф Безбородко удаляется от дел, и что единственная страсть и привычка к пышности его удерживают: ничего более не делает и ни о чём не говорит. Это я слышал от графа Завадовского... несколько жалких людей злобно отзываются о графе Безбородке; но его можно упрекнуть разве за излишнюю доброту. Всё, что он сделал хорошего, уже забыли, а помнят только некоторые слабости, и ещё выдумывают их».¹⁰

Вполне милостивое расположение Екатерины к Безбородко скоро обнаружилось в начале сентября 1793 года, когда праздновалось заключение Ясского мира, им совершённое. Было ему милостиво пожалованы похвальная грамота, масличная ветвь и деревня с пятью тысячами крепостных неподалёку от Брацлава. Более того, в скоро состоявшемся венчании внука Александра и принцессы Баденской её шафером, монаршей чрезвычайной милостью, был назначен Александр Андреевич Безбородко.

Дальше — больше. Не прошло и недели после радостного брачного события в императорской семье, как было пожаловано Безбородко звание обер-гофмейстера, обяза-

вавшее его заведовать штатами и финансами императорского двора. И, говорят, этому всячески споспешествовал Платон Зубов, подтвердивший своё желание подпасть под профессиональную шлифовку мастера политики и дипломатии. Это сближение вскоре отразилось и на усилении внепридворного влияния Безбородко, выразившееся в избрание его *«Почётным благотворителем С. Петербургского Опекунского Совета»*.

Сближение с Зубовым, на которое решился Безбородко для возвращения своего придворного веса, произошло именно в той форме, в которой её желала видеть императрица. Безбородко вступил в деловые отношения с Зубовым и вновь получил контроль над всеми принципиальной важности государственными делами, что вполне устраивало фаворита, который в чисто представительских, декоративных функциях рассматривал все предложения.

Эту ситуацию точно отобразил граф Ростопчин: *«Граф Безбородко сам по себе никогда не будет опасен для тех, кто захочет овладеть исключительным влиянием: он слишком ленив, слишком дорожит своим спокойствием и в то же самое время слишком уверен в своей полезности, чтобы стеснять себя и хвататься за власть, которую он столько раз имел в руках»*.⁵

Полезность Безбородко в очередной раз проявилась в связи с затруднениями, возникшими для России в Польском деле, в основе которого лежала идея Безбородко занять Польшу русскими войсками. В её реализации автор принял самое деятельное участие.

Как известно, после Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году, Россия заняла восточную Белоруссию и часть Ливонии, Пруссия — Поморье, Австрия — Галицию. После Второго раздела, совершённого в 1793 году Россией и Пруссией, к первой отошли старинные русские земли — Правобережная Украина и Белоруссия с Минском. Пруссия получила все балтийское побережье Польши с Гданьском и Великую Польшу с Познанью.

Последовала реакция — в Варшаве и Кракове образовались тайные комитеты, призывавшие к вооружённой борьбе население как уцелевших, так и отторгнутых областей. Уже в 1794 году восстание началось в Кракове, Варшаве, Вильне и других городах. В Варшаве образовалось временное правительство. Оно захватило в плен короля, объявило войну России и Пруссии и провозгласило диктатором и главнокомандующим генерала Тадеуша Костюшко, одного из самых популярных и талантливых патриотов. Стоявшие гарнизоном в Варшаве русские войска были выбиты из города с большим уроном (было вырезано ночью около двух тысяч русских солдат).

Императрица Екатерина очень серьезно отнеслась к происшедшему и послала против восставших своих лучших генералов, графа Румянцева-Задунайского и графа Суворова-Рымникского. По дряхлости первого из них главное руководство военными действиями перешло к Суворову. Он быстро направился к Варшаве и туда же велел идти генералу Ивану Евстафьевичу Ферзену с уцелевшими от Варшавской резни полками.

Под Варшавой решилась судьба Речи Посполитой. Ферзен разбил и взял в плен Костюшко в битве под Мацейовицами (недалеко от польской столицы); Суворов же, после страшного по кровопролитию штурма, взял предместье Варшавы Прагу (4 ноября 1794 года). Варшава сдалась; вожаки движения бежали из Польши. Русские и прусские войска усмирили весь край, вслед за которым последовало окончательное (в 1795 году) уничтожение Польши.

«В конце описываемого 1794 года устранено затруднение, возникшее для России по Польскому делу, в основе которого лежала непосредственная мысль Безбородки занять Польшу Русскими войсками. Варшавское возмущение, вызванное вторым разделом Польши, было подавлено, и 20 ноября 1794 года Безбородко читал «объяснение о причинах войны с Польшею», написанное его гибким пером... 25 ноября того же 1794 года Безбородко отправил к Литовскому генерал-губернатору, князю Н. В. Репнину, два замечательных письма: одно о значении России среди европейских держав и о мерах обращения с завоёванными у Польши провинциями, а другое о переговорах с Ав-

стриею относительно раздела Польских провинций...: «Опыты прошедшего времени доказали, что помышлять сделать для себя друзьями поляков, и особливо после раздела 1792, есть вещь невозможная. При всяком случае, по крайней мере столько, сколько в прошедшую войну. Малая обширность земли сей не могла уже быть достаточным барьером между нами и соседями нашими; инако с Австрийцами учинилась уже у нас и непосредная смежность... Тут представляется, и та невыгода, что образ мыслей в поляках, наипаче в молодых, соделался такого рода, что зараза легко и далее распространиться может; что вольность крестьян и тому подобное удобны раздражить наших поселян, крестьян, один почти язык и нравы в соседстве имеющих; что, напротив того, непосредственное соседство с Австрийцами для нас нимало не опасно: для того, что сии две державы никогда соединиться между собою не могут по непримиримому их соперничеству и зависти; Россия же, порознь каждого из них сильнее, конечно, имеет весь повод надеяться, что всегда одного на своей стороне иметь будет. Сии рассуждения решили на уничтожение Польши и на раздел её земель, и вследствие того же всякая мысль о составлении конфедерации или собственной нашей партии в Польше, которая обозначала бы тем законную участь... Сочтено у нас, что, поставя сию землю однажды вверх дном, испровергнув её правление, и (отняв) всю почти оружием, заставим по неволе и других с нами соображаться».⁴

После совершившегося Третьего раздела король Польши отказался от престола и переехал на житье в Петербург, где вскоре и умер. Россия получила Литву и Курляндию, Пруссия и Австрия поделили прочие области (причем Варшава отошла к Пруссии, Краков и Люблин — к Австрии). Безбородко за труды по «Польскому делу» было пожаловано пятьдесят тысяч рублей единовременно и по десять тысяч рублей пожизненной пенсии, как выразилась в рескрипте Екатерина, «в изъявление отличного благоволения к усердной нашей службе и ревностным трудам в исправлении разных дел и должностей, по особой нашей доверенности, на вас возлагаемых, споспешествующим пользе государственной и приращению доходов... Екатерина поручила дознанной опытности Безбородки довершить и устройство Польских земель в существеннейших отношениях, воссоединение униатов, населявших приобретённый от Польши край, и составление акта об обеспечении герцога Курляндии, отошедшей к России по третьему разделу Польши».⁴

По указанию императрицы в апреле 1795 года представлены были на рассмотрение Государственному Совету «ведомости об имениях в губерниях Минской, Изяславской и в Брацлавской и в отделяемых от них частях к другим смежным наместничествам, принадлежащих под разными титулами Полякам, участвовавшим в последнем бунте, також отлучившимся вне пределов империи Всероссийской».¹¹ Государственный Совет, рассмотрев представленные ведомости решил, что лишить бунтовщиков следует только «благоприобретённых имений», не трогая имений наследственных. Безбородко с этим решением не согласился и подал императрице своё особое мнение, в котором — с точки существовавших в России юридических норм — бунтовщики должны лишиться всего имущества, и наследственного и приобретённого.

Занавес упал 5 ноября 1796 года — в этот день скончалась Екатерина Великая. События этого дня в деталях выписаны Александром Михайловичем Тургеневым:

«По заведённому с давнего времени порядку, императрица Екатерина в 6 часов утра 5 числа ноября встала с постели, по обыкновении сварила себе кофе (Екатерина утром сама готовляла себе кофе), вытила, как то всегда делала, одну чашку. Всегдашние бессменные в комнатах её величества служители горничная (камер-юнгфера) Мария Савишна Перекусихина, и камердинер Захар Константинович Зотов не заметили ни малейшего изменения на лице, постуте, в речах государыни; ни какого самомалейшего признака нездоровья или изнеможения; императрица ходила по комнате твёрдо, бодро, занималась прочтением представленных накануне докладов, казалось была в хорошем, весёлом расположении духа — шутила в разговорах с ними.

В 8 часов Екатерина вошла в комнату, куда цари ходят своими ногами.

Захар Зотов заглянул в кабинет, чтоб доложить ей о чём-то; не увидев её в креслах за бюро, притворил дверь и ожидал возвращения. Прошло минут 10-ть. Зотов заглянул в кабинет и, не увидев императрицы на креслах, бросился в ту комнату, куда государыня пошла, отворил дверь и увидел государыню, лежащую на полу. От испуга камердинер Зотов закричал, на крик его все бывшие в комнатах камеръёнокферской и в дежурной камердинеры прибежали.

В продолжении 10 минут вся прислуга в Зимнем дворце и весь гвардейский караул знали уже о приключившейся болезни её величеству — матушке-государыне, как тогда Екатерину называл старьей и мальей. Послали ту же минуту за Роджерсоном, лейб-медиком, и другим докторам. Императрицу перенесли в кабинет её и положили посреди комнаты на матрасе; съехались доктора, прибежал генерал-адъютант Платон Александрович Зубов. Екатерина не могла говорить, будучи поражена ударом апоплексическим, но сохранила память и волю; знаками изъясняла, что она никакого пособия врачебного искусства не хочет и наконец с напряжением силы отёрнула руку, когда хотели ей пустить кровь.¹²

Князь Зубов, последний интимный наперсник императрицы, настолько был поражён неожиданностью происшествия, что потерял дар действовать. Правда, отправил в Гатчину, за наследником престола Павлом брата Николая («...он был тогда, помнится, уже генерал-поручик: мужчина большого роста, широкоплечий, рожка рябая, всею поступью и хватками своими представлявший более тоснинского ямщика, нежели генерал-поручика»). Вечером ещё только великий князь Павел Петрович с супругою прибыл в Зимний дворец, где, встреченный членами Синода и Сената, высшими государственными сановниками, высказал им «искреннее соболезнование о постигшем августейшую родительницу несчастии».

«Великий князь Павел, только успевший выйти из кабинета, услышал, как все, в комнате находившиеся, в кабинете ужасный стон, кинулся в кабинет и едва отворил двери, лейб-медик Роджерсон встретил его приветствием: tout est finit (всё кончено). Великий князь Павел повернулся на каблучках направо кругом на пороге дверей, накрыл голову огромной шляпой, палка по форме в правой руке, охрипшим голосом возгласил:

— Я ваш государь! Попа сюда!

Мгновенно явился священник, поставили аналой, на котором были возложены Евангелие и Животворящий крест Господень. Супруга его, Мария Фёдоровна, первая произнесла присягу. После её величества великий князь, старший сын и наследник, Александр, начал присягать; император подошёл к великому князю и изустно повелеть изволил прибавить к присяге слова: «и ещё клянусь не посягать на жизнь государя и родителей моего!» Прибавленные слова к присяге поразили всех присутствующих как громовой удар...»¹²

Далее новый император, в сопровождении первого секретаря Екатерины графа Безбородко, отправился в кабинет упокоившейся матушки и занялся разбором и уничтожением части её бумаг, в числе которых было и духовное завещание, переданное ему сообразительным Безбородко (хотя по закону оно должно было поступить на рассмотрение в Сенат).

«Говорят, и утвердительно, при вступлении на трон императора Павла, что духовное завещание действительно было Екатериною написано и вверено в хранение кабинет-министру графу Безбородко, которым Екатерина назначала преемником престола велик. князя Александра, родителя же его, в князя Павла назначала быть генералиссимусом всех войск. Если первое назначение и действительно было определено духовным завещанием, то второму нельзя дать веры...

Рассказывали, что лукавый малоросс Безбородко немедленно по прибытии великого князя из Гатчины, поднёс его высочеству вверенное хранению его духовное завещание. Великий князь, приняв от Безбородко духовную, изорвал и бросил в камин. Если это справедливо, то должно согласиться, что Безбородко поступил как высокий ум государственного правления.

При коронации в Москве, Павел пожаловал Безбородко 15 или 23 тысяч душ крестьян. Безбородко, за пять месяцев службы императору, получил награждения во сто раз более, сколько был награждён императрицею за всё время службы при лице её величества».¹²

Часть девятая. При новом монархе

Манифестом 6 ноября 1796 года русскому народу было объявлено, что *«к крайнему прискорбию всего императорского дома, от сея временныя жизни, по 34-х-летнему царствовании, переселилась в вечность императрица Екатерина II»*, и что её место на престоле занял сын и наследник, император Павел I.

Павел вступил на престол на сорок третьем году от роду, *«с накопившеюся жаждою к работе, с стремлением к педантичной исполнительности и с рыцарскою честностию»*. Жизнь двора и высшего круга столицы совершенно изменились с его воцарением. Теперь к семи часам утра вельможи должны были являться к государю, роскошная и праздная жизнь, к которой привыкли его представители в последние годы царствования Екатерины, сменилась скрытностью из-за опасения за одно неосторожное слово попасть из дворца в деревню или в Сибирь. Из прежнего круга императрицы, кажется, только граф Безбородко сумел сохранить доверие Павла до последних дней своей жизни.

На третий день после воцарения Павел возвёл его *«в первый класс и повелел остаться ему при прежних должностях, получая жалование и столовые деньги по сему чину, сходно как в штате Коллегии Иностранных Дел положено»*. Стал Александр Андреевич первым меж приближённых к престолу царедворцев.

По словам Андрея Тимофеевича Болотова, *«говорили и писали около сего времени, что при Государе только два человека, Безбородко и Трощинский: один — министр, а другой секретарь, что все другие докладчики замолчали... Безбородко, как первый министр, должен был являться к Государю каждое утро»*.

В 1783 году Безбородко, по совету Александра Николаевича Львова, заказал художнику Дмитрию Григорьевичу Левицкому для своего дома, который только отстраивался, портрет Екатерины во весь рост. Художник изобразил императрицу в белой тунике и парчовой мантии возле жертвенника, на котором курится фимиами из маковых лепестков.

По завершении строительства дома Безбородко пользовался всяким случаем приобрести какое-нибудь редкое произведение искусства. По этой причине Академия Художеств в мае 1794 года избрала его *«в почётные художеств любители за любовь и почтение к достохвальным художникам»*.



Безбородко составил замечательную картинную галерею, превосшедшую качеством и количеством собранных в ней экспонатов, славившуюся в то время Строгановскую галерею. Загородная дача Безбородко располагалась на правом берегу Невы, точно напротив Смольнинского монастыря. По проекту Джакомо Кваренги здесь был выстроен роскошный дом, вокруг которого был разведён сад, украшенный статуями.

Славился Безбородко в Петербурге своим хлебосольством. Помимо роскошных пиров, им устраивавшихся для представителей высшего света, в его петербургском доме накрывался ежедневно стол на сто человек, и за этот стол мог садиться всякий, *«имеющий шпату»*. Известен случай, когда бедный черниговский помещик, приехавший в столицу по тяжёлому делу и не имевший ни копейки в кармане, обедал регулярно за этим столом; он был замечен Александром Андреевичем, посодествовавшим земляку.

В домашнем кругу, среди друзей и близких был Безбородко весел, увлекателен и откровенен. Как пишет граф Евграф Федотович Комаровский, *«Зять мой Алексей Николаевич Астафьев служил тогда при графе Безбородке и имел казённую квартиру в почтовом доме; я получил приглашение от графа ходить к нему обедать, когда я пожелаю. Кроме знатных гостей, обыкновенное общество состояло из особ, живущих у графа, и нескольких человек коротких знакомых. Ничего не было приятнее слушать разговор графа Безбородки. Он одарён был памятью необыкновенною и любил за столом много рассказы-*

*вать, в особенности о фельдмаршале, при котором он находился несколько лет. Безглость, с которою он, читая, схватывал смысл всякой речи, почти невероятна... Я слышал от графа Маркова, что он не мог никогда надивиться непостижимой способности графа Безбородко читать самые важнейшие бумаги с такою безглостью, и так верно и скоро постигать смысл оных».*³

Безбородко чрезвычайно любил уроженцев Малороссии и неизменно им покровительствовал. Приёмная его была постоянно наполнена приезжими из Полтавы и Чернигова, являвшимися в столицу искать мест или определять детей на службу. С каждым из посетителей вельможа говорил дружелюбно, каждому помогал своим положением, своим советом, если в том была надобность. Даже когда один из названных посетителей с полной серьёзностью обратился к сановнику-хозяину с просьбой определить его на должность театрального капельмейстера, «*чтобы палочкой махать да по шести тысяч брать*», Александр Андреевич только снисходительно улыбнулся и объяснил просителю, что для махания палочкой в оркестре и получения шести тысяч нужно хоть немного в музыке разбираться.

Безбородко не был женат, «*был чужд всяких обстоятельств и самого в них намерения*», как выразился он в одном из своих писем к отцу, но был большим поклонником прекрасного пола. Екатерина часто журила его за любовные проказы, отвлекавшие его от присутствия в министерской канцелярии (но никак по причинам морального свойства).

Михаил Антонович Гарновский, адъютант и доверенное лицо князя Потёмкина, писал его секретарю, Василию Степановичу Попову, о гареме, сопровождавшем графа Безбородко в его поездке в Москву: «*Вследствие полученного фирмана, первая из серала рейс-эффендия наложница, Мария Алексеевна Грекова, соизволила отправиться на сих днях в Москву, в препровождении кизляр-аги (чёрного евнуха), г. Рубана, казначея, бывшего откупщика Лукина и немалой свиты, помещённой в двух четырёхместных и одной двухместной каретах, да на нескольких российского изобретения повозках*».

Много интересного из личной жизни Александра Андреевича рассказывает известный знаток старого Петербурга Михаил Иванович Пыляев в книге «*Забывтое прошлое окрестностей Петербурга*», изданной в 1889 году:

«Где стоит бывшая дача Безбородки, теперь распроданная по частям пивному заводу и другим владельцам, там во время шведского владычества находился сад коменданта города Ниеншанца. Местность эта впоследствии принадлежала просвещённому человеку эпохи Петра III и Екатерины II тайному советнику Гр. Ник. Теплову, воспитаннику известного архиепископа Феофана Прокоповича; от сына последнего капитана А. Г. Теплова купил эту дачу, в 1782 году, князь А. Безбородко за 22,500 рублей. Безбородко здесь построил роскошный загородный дом по плану архитектора Гваренги и развёл при нём громадный сад, славившийся барскими затеями и прихотями, на удовлетворение которых богатый вельможа не жалел денег.

Гарновский в воспоминаниях своих рассказывает, что граф был много должен, что он, подражая Потёмкину, пустился в строение дачи и т. д. По словам Георги, он имел сад, в длину и ширину был около 25 сажен, в английском вкусе, с излучистыми дорожками, каналами, островками, беседками и пр. В саду, говорит Георги, есть высокие развалины в два этажа, похожие на обветшавший замок, всходить на них удобно и весьма хорошо. Можно оттуда видеть город и окрестности. Одна из уцелевших прихотей и до сих пор украшает запустевший сад, в глубине его находится храм Сивиллы, с колоссальною статуею древне-языческой предвестницы будущего. Георги говорит, что Сивилла изображает императрицу Екатерину II. Статуя, весом в 200 пуд. и по словам «С.-Петербургских ведомостей» 1788 г. (см. №82), отлита из меди в октябре 1788 года при Императорской Академии Художеств, и модель для неё была сделана академиком Рашетом, во вкусе древних греческих статуй. На статуе надпись: «Rachette fecit, отливал и отделявал Императорской Академии Художеств мастер Василий Можалов».

На даче до 1783 года находились и другие остатки прежней роскоши: как например, громадный бюст Безбородко, вылитый из меди; теперь от него остался один гранитный пьедестал, похитить который едва ли возможно.

Загородный дом построен с большим вкусом, о двух этажах, с башнями по сторонам; также с обоих концов некогда шла прекрасна покрытая колоннада, отчего площадь перед домом против Невы получила вид амфитеатра. Берег Невы был выкладен диким камнем и здесь стояли медные пушки. Относительно этих пушек существует рассказ, записанный Карабановым. Безбородко просил у Екатерины позволения стрелять из пушек на своей даче. Государыня удивилась его просьбе, потому что он не служил в армии, но не отказала своему любимому секретарю. Вскоре лейб-медик Рожерсон, играя в вист, по рассеянности начал делать ошибки (ренонсы), а хозяин граф приказал каждый раз извещать об этом пушечными выстрелами; шутка эта так раздражила вспыльчивого медика, что едва не кончилась ссорой.

Безбородко был большой охотник до карт, но ещё большим поклонником женщин всякого разбора и, гоняясь за ними, посещал самые неблагопристойные дома.

Маркиз де-Палерэ, сардинский посланник при нашем дворе, говорил, что женщины, впрочем, не отвлекали его от важных дел и власть их над ним ограничивается протекциею некоторых личностей, незначительных для политической машины.

Но это кажется, не верно; граф С. Р. Воронцов писал брату своему из Пизы, что многие лица в Петербурге получали места через актрис Давию и Ферьеру; у Храповицкого в дневниках находим, что Екатерина II ему не раз за женщин «выражала неудовольство»; так, например, под числом 3-го июля 1788 года отмечено: «Недовольны, что граф Безбородко на даче своей празднует, посылали сказать в его канцелярию, чтоб по приезде скорее пришёл; он почти не показывается, а до него почти всякий час есть дело».

Энгельгардт в записках рассказывает, что императрица, узнав, что граф подарил итальянской певице Давиа 40,000 рублей, сочла нужным выслать её из столицы. Граф Безбородко особенно любил итальянок, но не брезговал и русскими актрисами.

Гарновский в своих Воспоминаниях, по поводу первых, отмечает: «Четвёртого дня возвратился сюда из Италии певец Капаскини и привёз для графа Безбородко двух молодых итальянок, проба оным сделана, но не знаю, обе ли либо одна из них принята будет в сераль».

Что сераль у графа Безбородко существовал на даче, это не подлежит сомнению. В 1860 годах, когда здесь жил летом граф Г. А. Кушелев-Безбородко, мы имели случаи видеть, как комнаты, где он помещался, так и большую картину, написанную масляными красками с изображением его десяти одалисок, сидящих в одной из этих комнат на софе. На картине были изображены женщины разных национальностей, здесь были итальянки, немки, чухонки, русские и даже одна негрятка.

Старшей его одалиской была балетная танцовщица О. Д. Каратыгина, привязанность к которой Безбородки продолжалась до самой его смерти. Он имел от неё дочь, которую называл своей воспитанницей; это была очень хорошенькая, богатая и прекрасно воспитанная девушка, Наталья Александровна Верецкая (фамилия Верецкой дана ей была в воспоминание первой деревни, пожалованной императрицею графу). Несмотря на свою серьёзную привязанность к Каратыгиной, Безбородко не покидал своих привычек и одно время употреблял все возможные хитрости, чтобы сблизиться с известною в то время опереточною певицею Лизанькой Урановой (Сандуновой) и даже намеревался похитить силой упрямую артистку». ¹³

Точнее, фамилия актрисы Урановой, кажется, была Семёнова, но, как приме театральной труппы придворного театра «Эрмитаж», просвещённая императрица Екатерина дала новую фамилию в честь недавно открытой астрономом Гершелем («на кончике пера») планеты Уран. Была Елизавета, со взаимностью, влюблена в партнёра по сцене Силу Сандунова, дело шло к свадьбе, которую чуть было не расстроил Безбородко. Почуввав недоброе, Уранова решилась на смелый по ступок. Играя однажды в присутствии императрицы оперу «Федла с детьми», она превзошла себя. Екатерина была в восхищении, бросила певице букет. Уранова схватила его, прижала к груди, выбежала на авансцену, упала на

колени и закричала: «*Матушка-царица, спаси меня!*» — и подала императрице заранее заготовленную жалобу.

Безбородко в это время находился в Москве. Разгневанная Екатерина уволила директоров театра Соймонова и Храповицкого с формулировкой «*за содействие к сближению воспитанницы театрального училища Урановой с графом Безбородкою*». Храповицкий об этом событии чистосердечно записал в своём дневнике 11 февраля 1791 года: «*В вечер играли в Эрмитаже «Федула» и Лизка подала на нас просьбу. В тот же вечер послана записка к Троицкому, чтоб заготовить указ об увольнении нас от управления театрами. Троицкий в полночь был у меня для совета об указе*».⁹

Через день, по словам того же Храповицкого, «*венчали Лизу в маленькой придворной церкви...*», причём императрица пожаловала новобрачным богатые подарки. Далее молодые супруги, от возможных проблем подальше, перебрались в Москву, где Сила Сандунов купил участок земли на Неглинной, выстроил на нём общественные бани и по сей день под его именем действующие. Жёну он регулярно поколачивал, чем — по старорусским установлениям (по «Домострою») — доказывал силу своей любви к ней. Но Лизанька была не из «простых» и мужниных любовных проявлений не оценила — брачный союз бывших артистов долго не продержался.

Помянутая история с Елизаветой Урановой случилась в то время, когда Александр Андреевич сожительствовал с Ольгой Дмитриевной Каратыгиной, актрисой придворного театра Эрмитаж, дочерью училищного эконома Дмитрия Васильевича Каратыгина. Безбородко, регулярно посещавший эрмитажные спектакли, прельстился молодой артисткой, родившей ему впоследствии дочь Наталью. Каратыгина в середине девяностых годов оставила сцену и поселилась в доме у Безбородко. Впоследствии она вышла замуж за правителя его канцелярии, Николая Ефремовича Ефремова, который в качестве приданого получил за нею село и значительную сумму денег.

В пору достатка сил физических развлекался с дамским собранием Александр Андреевич самым непотребным образом, о чём пишет Николай Иванович Греч: «*Безбородко был то же, что ныне Вронченко, только в большем размере. Каждую субботу после обеда надевал он синий сюртук, круглую шляпу, брал трость с золотым набалдашником и клал сто рублей в карман. Вооружённый таким образом, посещал он самые неблагоприятные дома у Лиона и проводил время среди прелестниц до пяти часов утра. В 8 часов его будили, обливали холодной водою, одевали, причёсывали, и полусонный он ехал во дворец с докладами; но, пред входом в кабинет Екатерины, он стряхивал с себя ветхого человека, становился умным, серьёзным, дельным министром*».¹⁴

O tempora, o mores! Таковы были нравы. Не стоит сомневаться в справедливости подобных известий или делать из них заключение об особо низкой нравственности замечательного государственного человека. Граф Фёдор Васильевич Раstopчин, хорошо знавший Безбородко, называет его «*большим поклонником прекрасному полу*», и таковыми были едва ли не все придворные, пожилые современники Александра Андреевича. По этому поводу нравственно строгий Александр Васильевич Суворов наставлял письменно свою дочь: «*Когда будешь в придворных собраниях, и если случится, что тебя отступят старики, покажи вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай. Это И. И. Шувалов, графы Салтыковы, старики Нарышкины, старый князь Вяземский, также граф Безбородко, Завадовский, гофмейстеры, старый граф Чернышёв и другие*».¹⁵

Сардинский посланник в Петербурге маркиз де-Парелло, говоря о влиянии сластолюбивых утех Безбородко на ход его служебной деятельности, очень справедливо отметил:

«Для завершения беспристрастной характеристики описываемого министра, следовало бы, может быть, прибавить кое-что о женщинах, которых он публично содержит. Но так как они не отвлекают его от важных дел, и власть их над ним ограничивается протекцией некоторых личностей, не значительных для хода политической машины, то зачем указывать на слабости, которые здесь тем менее принимаются во

внимание, что Государыня, имея явно фаворитов, которых роскошно содержит в императорском дворце, потворствует собственным примером распущенности нравов?»⁴

Часть десятая. Финал

Совершив торжественное погребение матери (и ему сопутствовавшее перезахоронение вместе с ней много лет назад убиенного родителя), Павел занялся налаживанием отношений с иностранными государствами, суть которых была сформулирована в циркуляционных нотах, присоединённых к дипломатическому уведомлению о вступлении на престол. Став царствующим монархом, Павел радикально изменил внешнюю политику покойной императрицы, в частности, прекратил все приготовления к участию в войне между Австрией и Францией.

В начале 1797 года на Безбородко была возложена важная дипломатическая работа по устройству Мальтийского ордена, переговоры с которым начались ещё при Екатерине. Она, после первого совместного с Австрией и Пруссией раздела Польши, поддержала орден. Ещё в 1773 году, под влиянием политики императрицы, Польский сейм принят акт, которым на Мальте утверждено было великое приорство и шесть командорств с выделением на их содержание сто двадцать тысяч злотых с Острожского имения, отошедшего к России после первого раздела Речи Посполитой. Полномочным представителем орденом в России был назначен служивший в ней контр-адмиралом граф Литта. Начатые с ним при Екатерине переговоры при Павле были продолжены Безбородко и Куракиным и завершились подписанием, в конце 1796 года, конвенции о восстановлении на Вольни Мальтийского приорства. По этому случаю император Павел получил титул протектора и старинный крест и назначил Куракина и Безбородко *«кавалерами большого креста»*.

В середине января 1797 года было пожаловано Безбородко звание сенатора: *«Графу Безбородко повелеваем присутствовать в Сенате нашем, когда он от прочих возложенных на него дел время иметь будет»*. (Тем не менее, Александр Андреевич ни на одном заседании Сената до конца дней своих не присутствовал.)

Первые месяцы этого года занимался он подготовкой к проведению коронации нового монарха, которая состоялась в Москве 5 апреля 1797 года и в которой Александр Андреевич был одним из главных действующих лиц. В чине действия коронавания было сказано: *«Его Имп. Величество соизволил указать подать императорскую корону, которую действ. Тайный советник первого класса граф Безбородко передал митрополитам, а они поднесли Его Величеству на подушках»*.¹¹

Далее был осыпан Безбородко государём исключительными милостями, о чём он отписал наиболее подробнейшим образом в письме к матери:

«По крайней усталости, в которую привели меня заботы как по приуготовлению, так и в самый праздник, не в состоянии я был писать и уведомить вас о всех тех милостях и щедротах, которыми Государю угодно было взыскать весь дом наш. Учинённым с трона в Грановитой Палате провозглашением о сделанных по сему случаю разным особам награждениях пожалована мне в потомственное владение, в Орловской губернии, вотчина Дмитровская, по духовной покойного князя Кантемира... в которой 10 т. душ с лишком и 30 т. десятин земли в Воронежской губернии по реке Битюгу. Когда я пришёл на трон, для принесения всеподданнейшей благодарности, то был поражён новым и всякую меру превосходящим знаком монаршего благоволения, о котором и предварён я не был. Тут прочтён был указ Сенату, коим Его Величество возводит меня в княжеское Российской империи достоинство, присвоая мне титул светлости и жалую, сверх того, ещё 6 т. душ в потомственное владение... Граф Илья Андреевич получил кавалерию св. Александра Невского и в Литве 1350 душ... Якову Леонтьевичу (Бакуринскому) и Григорию Петровичу (Милорадовичу) пожалованы деревни в Малой России... После обеда, когда Её Величество Государыня Императрица,

в своей аудиенц-зале, для раздачи милостей от неё, по дозволению Государя-супруга, ею пожалованных, указала допустить пред себя дам, то в числе первейших пожалованы были вы, милостивая государыня матушка, статс-дамою Её Величества и дамою большого креста ордена святой великомученицы Екатерины... Большая дочь графа Ильи Андреевича пожалована фрейлиною Её величества. Все сии милости тем вящую имеют цену, что я никогда не просил об них, а сделаны собственными подвигами Государя и Государыни...»⁴

После завершения коронационных торжеств, там же, в Москве, 21 апреля 1797 года был отправлен (по преклонному, семидесятилетнему возрасту) в отставку канцлер граф Остерман — «... уволен с полным трактamentом (жалованьем, окладом), и кроме того с подарком серебряного сервиза, находившегося у него по месту канцлера». В тот же день императором Павлом был дан указ Сенату о пожаловании канцлерского звания князю Безбородко. «Император пожелал предоставить важнейшее государственное место тому самому лицу, которое давно уже направляло к пользе и внутренне, а в особенности внешние дела Отечества».⁴

Не прошло и недели после этого, как 26 апреля 1797 года (уже в Петербурге) Павел подарил Безбородко в вечное и потомственное владение «порожнее место в Москве, купленное в прошлом году у генерал-майора Львова, у Яузы, у Николы в Воробине». Этим подарком царь компенсировал выкупленный им для себя за год до этого роскошный дом Безбородко (за 670 000 рублей) «со всеми в доме имеющимися уборами, исключая только серебряные буфет и фухлеты».

Достигнув в год своего пятидесятилетия вершин государственной власти, был готов Андрей Александрович к решению следующих, высокой политической значимости дел, не предполагая, что отмерила ему судьба ещё лишь два года жизни. Открывшаяся у него (возможно, от нервного перенапряжения) после смерти Екатерины жёлчная лихорадка периодически мучила его.

В мае 1797 года он сопровождал императора Павла, пожелавшего осмотреть области, присоединённые к России после третьего раздела Польши. По возвращении в столицу Александр Андреевич расхворался и весь месяц провёл в лечении «сильнейшей рожы на ноге». К этому времени относится его активная переписка с родными. Племяннику Григорию Павловичу Кочубею он, сообщая о выздоровлении, в августе 1797 года, в частности, писал:

«...Насилу я выздоровел и не знаю, надолго ли? Мне жить покойно; да, правду сказать, и время такое в Европе, что надо быть очень беспокойным министром, чтобы захотеть туда впутаться. Лишь бы у нас дома шло хорошо, то все прочие в дураках останутся, а мы все людьми будем. Правду сказать, и масса большая: не скоро кто опрокинет, и много лет надобно... В Москве я начинаю дом строить озорнее прежнего. План делает Гваренги...

Коллекция моя знатно умножается... Да ещё получил четырёх Вернетов, один другого лучше. Тут же приехали две медные группы славного Жирандена... Одна представляет похищение Плутоном Прозерпины, а другая такое же Оретрия Бореем на булечных (деревянной мозаике) пьедестале. Прощайте: спешу ехать в Гатчино, и верьте моей к вам искренней преданности».⁴

Внутреннее убранство дворца Безбородко, по словам Михаила Ивановича, Пыляева, блистало великолепием. Светлейший князь был не только влиятельным государственным деятелем, но и просвещённым меценатом: собранная им коллекция картин и других произведений искусства считалась богатейшей и тогда едва ли не единственной в России. Возможно даже, что страсть к собиранию редкостей отразилась и в архитектурном замысле дворца Безбородко: «По свойству построек его дома... видно, что они возникали один салон за другим, одна галерея за другою», — отмечал Генрих фон Реймерс в своей книге «Санкт-Петербург в конце своего первого столетия».

По аналогичному поводу граф Фёдор Васильевич Ростопчин сообщал: «...Если он не перестанет собирать картины, то его галерея, через несколько лет будет одною из богатейших в Европе; ибо она уже стоит ему около 250 000 рублей и содержит несколько образцовых произведений».

На недолгое время сошёлся близко Безбородко в это время с развенчанным королём польским Станиславом Августом Понятовским, с которым он познакомился во время крымского путешествия Екатерины в 1787 году. В записках своих Понятовский оставил воспоминания о гостеприимстве князя Безбородко, у которого он обедал:

*«15 декабря (1797 года) король на обеде у князя Безбородки. Чрезвычайная пышность! Воображение повара, который, между прочим, приготовил и славную Сарданопалу бомбу с Этикуровым соусом, изобретённым кухмистером Фридриха II, испортило всё своё богатство. Подавали вина всякого рода и самые лучшие; везде курились драгоценнейшие благовония, и все десертные блюда накрыты были хрустальными колоколами с прекрасными Этрусскими фигурами здешней фабрики».*⁴

Недолго прожил в России польский экс-король — скончался от апоплексического удара 12 февраля 1798 года в своей резиденции, в Мраморном дворце, оставив в наследство заботам русского императора огромное число придворных чинов и прислуги, долгое время не получавших денежного вспомоществования. По поводу этого обстоятельства в рескрипте на имя князей Безбородко, Куракина и барона Васильева император Павел, между прочим, повелел: «*Нашли мы сходственным с человеколюбием нашим призреть оставшихся после Станислава-Августа разных чинов и служителей*».

За труды по устройству дел покойного польского короля Безбородко получил очередную дозу царских милостей: «*в вечное и потомственное владение земли и состоящие при них из числа Астраханских ловел воды*», бывшие, как писали современники, неисчерпаемым источником богатства. (Частью этих вод Безбородко владел ещё с 1785 года по повелению Екатерины, которая в видах заселения края русскими раздавала здешние земли и воды близким к Потёмкину сановникам.)

В начале марта 1798 года Безбородко выехал в Москву, где прожил около двух месяцев. Здесь, в начале лета, состоялась торжественная закладка, по плану знаменитого Гваренги, его дома, сопровождавшаяся фейерверком да хором певчих.

*«Безбородко был в своё время одним из лучших знатоков изящного и одним из просвещённейших любителей комфорта. Джакомо Гваренги был также одним из даровитейших того времени художников-архитекторов. Талантливый артист вполне уловил утончённые желания князя и в своём плане удачно совместил блеск, достойный неизмеримого богатства и совершеннейшего вкуса, и удобства, требуемые самую взыскательную и вместе самую покойною семейною жизнью. Гваренги начертил великолепные гостиные, залы, скульптурную и картинную галерею, нумизматический кабинет, библиотеку, театр и даже указал на то, что должно было находиться в доме по требованию вкуса и роскоши. Дом спланирован был двухэтажный, с огромным садом и с 25-ю жилыми покоем в каждом из обеих этажей... Смерть Безбородки прекратила работы по возведению дома, когда ещё не был окончен даже фундамент к нему...»*⁴

Отпраздновав закладку дома, Безбородко в первых числах июля 1798 года вернулся в Петербург. По долгу службы занимается дипломатическими дилеммами, связанными с формированием антифранцузского фронта совместно с Австрией, Пруссией и «присоединившейся» к нему Турцией: «*Ничего нового не нахожу дополнить со стороны политики, кроме, что Турки, утеснённые бунтом Паслан-Оглу и быв утрачены затеями Французскими, приступают к нам с настояниями о союзе с приступлением Англии и Пруссии...*»⁴ Впрочем, более других в эту пору у него было желание получить покой, к чему его более и более побуждала усилившаяся болезнь. Решив твёрдо отойти от дел, он видел преемни-

ком своим своего старинного друга, посланника России в Лондоне, Семёна Романовича Воронцова, но тот не желал менять покойную жизнь на туманном Альбионе на канцелярские волнения на родине.

В итоге пришлось Александру Андреевичу, болезни вопреки, решать задаваемые ему императором задачи серьёзного политического свойства, в числе которых — выработка обширного плана действий против революционной Франции. Но творцу этого плана не суждено было увидеть его осуществления. В конце декабря получил он от государя месячный отпуск для поправки здоровья и уехал в Москву, здесь болезнь обострилась, и Александр Андреевич вернулся в Петербург.

В воскресенье 20 февраля 1799 года князь Безбородко, несмотря на сильнейшую боль в ногах, явился во дворец и участвовал в церемонии обручения великой княжны Александры Павловны с эрцгерцогом Австрийским Иосифом. Покидая дворец, Александр Андреевич вручил князю Лопухину (доверенному лицу императора Павла) свою просьбу об отставке:

«При самой кончине блаженной памяти Государыни Императрицы угодно было Вашему Императорскому Величеству употребить меня не только по департаменту, где я находился, но и по другим делам. Возведя меня на первую степень чинов государственных, щедроты наши упредили мои заслуги. Краткость времени и болезненные припадки, коими одержан я был в последнее время прошедшего царствования, соединяясь с усилиями, которые и при сем случае делать был должен, совершенно расстроили моё здоровье; но если силы, время и обстоятельства не дозволяли мне заслужить столь великие монаршии милости, ревность моя не оставалась втуне. В возвышении государственных доходов и разных казённых распоряжениях, как Вашему Величеству известно, имел я немалое участие. Все учинённые от меня представления по делам политическим и другим были чужды всяких иных уважений, кроме вашей славы и пользы. Охотно продолжал бы я усердную мою службу, если бы телесные немощи, производя в действие их и над душевными дарованиями, не ослабили до крайности память и другие способности, к доброму и успешному делу производству необходимо-нужные. В таком положении дерзаю прибегнуть к тому же самому великодушью, с каковым благоволили вы взыскать меня по мере службы моей и, повергая себя к священнейшим стопам вашим, прошу всеподданнейше, дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было меня, по болезненному состоянию, уволить от всех дел и для пользования здоровья моего всемилостивейшее дозволить отлучиться в чужие края»⁴

Император, не желая расставаться с князем, медлил с исполнением его желания. Между тем, быстро развившаяся болезнь Безбородко не позволила ему ехать за границу, куда его готовился провожать племянник, вице-канцлер Кочубей. По словам камердинера Безбородко Степана, во время болезни его хозяина тот *«был спокоен, но задумчив, любил уединяться; один граф Пётр Васильевич Завадовский входил к нему без доклада»*. Однажды Степан отворил дверь его кабинета. Граф в удивлении на пороге остановился. *«Помилуйте, князь, Александр Андреевич, какое малодушие!» — говорил Завадовский: князь на коленях молился. Услышав голос гостя, вскочил, отирал слёзы и извинялся»*.

Как только болезнь Безбородко приняла опасный характер, император Павел приказал ежедневно докладывать о состоянии здоровья канцлера, нередко сам навещал его — до той поры, когда в очередном докладе дежурный адъютант не сообщил ему в Михайловском дворце: *«Государь! Россия лишилась Безбородки!»*

Светлейший князь Александр Андреевич Безбородко скончался от *«ревматизма с последовательным развитием водяной»* на пятьдесят втором году своей жизни, 6 апреля



1799 года в своём петербургском доме. Обряд погребения был совершён 13 апреля в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры.

Надгробие на его могиле было изготовлено в 1803 году трудами архитектора и художника Николая Александровича Львова, имевшего дружеские и служебные отношения с почившим канцлером, и скульптора Жана-Доминика Рашетта. Его описание дал в 1837 году Александр Терещенко в книге «Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России: *«Над прахом воздвигнут памятник, великолепный по искусству и по мысли, он весь из меди и разделен на три части, в верхней части возвышается медная колонна с бюстом ... и надписью ... С правой стороны гений мира в человеческий рост, задумчиво наклонившись, держит масличную ветвь, второй гений с левой стороны освещает факелом открытую хартию и указывает на слова: «мир с турками в 1791 году». Третий держит в одной руке венец, а другой закрывает свои слезы. У самого подножия мавзолея изображен орел с опущенными крыльями и княжеский щит со словами: «Labore et Zelo» — «Трудами и усердием»».*⁷

Заказал памятник на могилу Александру Безбородко его младший брат Илья Андреевич Безбородко, которому почивший оставил всё своё огромное состояние. Младший Безбородко, имевший воинский чин генерал-поручика по смерти брата вышел в отставку. Храбрый солдат, прекрасный семьянин, благожелательный ко всем окружающим, он не обладал государственными способностями, коими славился его старший брат, но пользовался всеобщим уважением за свою честность и отчуждённость от всех придворных интриг.

В июле 1805 года император Александр I возложил на графа Илью Андреевича Безбородко орден Святого Владимира Первой степени, главным образом за то, что он по-



жертвовал на основание в Нежине гимназии дом и сад, выдав для этой цели двести тысяч рублей, назначенные его братом для благотворительных дел, и обязался вносить по сто пятьдесят тысяч рублей ежегодно, обеспечив взнос тремя тысячами крестьян. Гимназия, получившая название «Нежинской гимназии высших наук» была открыта в 1820 году. Интересно, что начало комплектования фондов её библиотеки, также было положено личным собранием книг Александра Безбородко.

Поскольку единственный сын Ильи Андреевича умер прежде отца, титул графа Безбородко был передан сыну его дочери, Александру Кушелеву (годы жизни: 1800 — 1855). Кроме того, своим возвышением (и назначением послом в Константинополе) хлопотам князя Александра Безбородко был обязан его племянник Виктор Кочубей, при Николае I возглавлявший Комитет министров Российской империи.

В 1862 году в Великом Новгороде был воздвигнут монумент в честь тысячелетия России. В обрамляющей постамент многофигурной композиции выдающихся историче-



ских фигур державы помещён и горельеф государственного деятеля, представителя консервативной традиции государственно-правового развития России восемнадцатого века Александра Андреевича Безбородко, так при жизни — в своей «записке о потребностях империи Российской» — изложившего своё державное кредо: *«Россия есть самодержавное государство. Обширность ея, составление из разных языков и обычаев и многия другие уважения сей единый образ правления делают ей свойственными. Тщетны всякие попреки того умствования, и малейшее ослабление самодержавной власти навлекло бы за собою отторжение многих провинций, ослабление государства и безчисленные народныя бедствия».*⁴



Никитенко
Александр Васильевич

Не так уж широко известно среднестатистическому читателю, любителю культурного прошлого имя Александра Васильевича Никитенко. Между тем, этот замечательный человек, уроженец Слободской Украины, бывший от рождения в крепостном состоянии, силой дарованных ему природой качеств (подобно всеукраинскому кумиру Шевченко) из этого состояния вышел, добившись выплаты тиранившему его крепостнику отпускной суммы, и совершеннолетие своё встретил свободным человеком.

В истории отечественной культуры Александр Васильевич Никитенко — литературовед и литературный критик, профессор кафедры русской словесности Санкт-Петербургского университета, действительный член Академии Наук, редактор ряда газет и журналов, цензор — потомками особо не выделен, хотя свой заметный след в ней оставил. В размерах и качестве последнего можно убедиться, перечитав вдумчиво тексты его замечательных «Дневников», в трёх томах собранных, и дополняющих их ещё одну мемуарную авторскую книгу «Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был».

Совершенно эти два труда являют собой аналитическую пропись основной части жизненного пути автора, начавшегося 12 марта 1804 года (в слободе Алексеевке Воронежской губернии) и завершившегося 21 июля 1877 года (в Павловске, под Петербургом).



Вторая книга сборника, написанная Никитенко незадолго до кончины, есть авторский сказ, изложенный изысканным, лёгким и сочным русским языком, об ужасах крепостного состояния, в котором он (сын крепостного малороссиянина) вступил в жизнь и восемнадцать начальных лет в нём пребывал, о его борьбе за выход из рабства, о его победе в этой тяжкой борьбе — силой его Богом дарованного таланта, великого упорства и трудолюбия. В книге этой есть всё для взыскательного, чувствующего стиль и гармонию читателя — тонкая психология, хороший слог, характерность из реальной жизни взятых персонажей.

Современный просвещённый читатель может только подивиться и восхититься глубине мыслей (и стилю изложения) в отрывке из неоконченного романа «Леон, или идеализм» двадцатисемилетнего профессора Санкт-Петербургского университета, бывшего украинского «кріпака» Александра Никитенко: *«Человек тогда только знакомится с самим собою, когда начинает изучать внутреннюю жизнь духа. Поприще его учения неизмеримо и предметы оно бесконечно разнообразны, особенно для наблюдателя людей современных нам, которые рвутся весь мир воссоздать в груди своей и силою единой свежей мысли обновить дряхлеющую жизнь поколений. Но любопытна*

*и каждая черта, изнесенная из глубины сердца, из сей лаборатории страстей, где человек является или жертвою самого себя, или создателем своей судьбы. Дело состоит только в том, чтобы силою искусства запечатлеть черту сию в живом образе, который творит свободная фантазия. Успел ли в этом сколько-нибудь автор предлагаемого здесь отрывка, покажет целое создание романа, который уже близок к окончанию. Здесь представляется на суд просвещенных читателей род пролога к оному».*¹⁶

В «Дневниках», начатых Никитенко ещё в юности и завершённых волей судьбы в предпоследний день жизни, он описал не только многие, им прожитые дни, не только зафиксировал и дал личную оценку многим звучным событиям и значимым личностям своей эпохи. В них — и это главная ценность всего книжного собрания — рассыпанные по страницам размышления Александра Васильевича эстетического и этического свойств, поднимающие его на высокий уровень интеллектуала-моралиста, мыслителя.

По складу ума бы он рационалистом и подвергал анализу не только события внешней жизни, но и своего внутреннего мира, результаты которого доверял своему «Дневнику», ставшему в итоге не просто хронологическим документом, но и сборником афоризмов, суждений глубокого мыслителя — Александра Васильевича Никитенко.

«В реке, что жизнью называем,
И мы — зеркальная струя
И мимоходом отражаем
Все впечатленья бытия».

(П. А. Вяземский)

Часть первая. Краеведческий экскурс

Предки Александра Васильевича Никитенко, выходцы из Правобережной Украины переселились на южное пограничье России, за Слободскую Украину, гадательно, не ранее осени 1651 года. Импульсом, задавшим тогдашний массовый исход украинцев с насиженных мест за левый днепровский берег, стало поражение Богдана Хмельницкого от поляков в печально знаменитой битве под Берестечком, обеспеченное предательством временно союзных украинскому войску крымских татар. Достигнутой победой ляхи перечеркнули сравнительно успешный для восставших, ими в бою добытый Зборовский договор 1649 года, дававший Украине статус некоего вассального княжества в составе Речи Посполитой. Вынужден был мятежный гетман временно капитулировать — подписать с победителями в Белой Церкви, 17 сентября 1651 года, договор, возвращавший Украину в status quo ante bellum (в положение, существовавшее до восстания).¹⁶

Страх перед угрозой возврата польско-шляхетского господства привел к массовой миграции украинцев к южным границам России, в сторону малозаселённых степей между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны, издревле именовавшихся Диким Полем. Большими и малыми ватагами, на телегах и пешком двинулись в дальний путь козаки, крестьяне, мещане, духовенство; шли со своими пожитками, скотом, даже с церковными книгами, иконами, колоколами. Предводительствовали ими активные, ловкие, сообразительные вожаки, бравшие на себя расселение («осаживание», как тогда говорили) переселенцев на новых местах жительства.

Таковым пассионарием был, в частности, Иван Дзыковский из-под Острога на Волыни, сумевший вывести к южной российской границе тысячу казаков с женами и детьми, расселить их на берегах реки Тихая Сосна в им учреждённом городе Острогожске, позже вошедшем в состав Воронежской губернии. Факт этот подтверждает историк

Александра Яковлевна Ефименко: *«После Берестеческого поражения двинулись волинцы из своей опустошённой страны, затем поднепряне и бужане, которые сами поистреляли своё имущество, чтобы не досталось врагам. Московское правительство принимало украинцев очень радушно: казна помогала им в первом обзаведении и им позволялось устраиваться на казацком положении. Волинцы, поселённые на Тихой Сосне, образовали первый слободской полк — Острогожский. В самое короткое время появилось на пространстве от Путивля до Острогожска много слобод, из которых в скором времени выросли города и большие местечки: Харьков, Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белополье, Короча и т.п. Возникла новая Слободская Украина вместо пустешей старой».*¹⁷

Получая начальную материальную поддержку от центрального правительства, новопоселенцы образовавшейся Слободской Украины — преимущественно украинские крестьянство и козачество — в дальнейшем сами устраивали свою жизнь, осваивая Дикое поле, превращая его в хозяйственный край.

Став заметным в пору Берестейской катастрофы, поток вынужденных мигрантов в южное приграничье России не спадал и в следующие три десятилетия, ещё более усилившись в период так называемой «Руины». Её началом историки полагают 1663 год, когда на Чёрной Раде в Нежине гетманом промосковского толка был избран Иван Брюховецкий, продолжением — гетманство (с 1668 года) Демьяна Многогрешного, завершением — время гетмана Ивана Самойловича, «подвинувшего» своего предшественника (со ссылкой в Сибирь) в 1672 году и не по своей воле передавшего гетманскую булаву Ивану Мазепе в 1687 году.

Это было время многосторонней вооружённой борьбы между Россией, союзных ей гетманских формирований и Турцией, вкуче с её верными гетманами-оппортунистами, вылившейся в так называемую Первую и Вторую Чигиринскую войну, а также вооружённого, политического маневрирования Речи Посполитой между противоборствующими сторонами с привлечением ею в союзники местных сателлитов. Эти, почти четверть века длившиеся многосторонние военно-политические противостояния привели украинское правобережье (вернувшееся к Польше) к его политической нестабильности, хозяйственной разрухе, катастрофическому положению трудового народонаселения, обратили этот прежде цветущий край в пустыню.

Описывая миграционные итоги этого нового всеукраинского раздора, гадяцкий полковник Григорий Грабянка, автор известной «Летописи», сообщает: *«...жители Правобережья поселились на безлюдных землях к самому Дону и учредили много городов и слобод. Как только, бывало, станет не до шуток нашим людям — поднимаются всем селом с семейством и хлебом, который можно взять — и идут, куда глаза глядят, не зная даже куда идти... Нелегко было народу бросать свою благодатную страну, но и новые места Слобожанщины тоже влекли к себе переселенцев своими самородными богатствами».*¹⁸

Под влиянием указанных выше причины сформировался в эту пору отряд переселенцев из посёлка Алексеевка, расположенного близ старинного малороссийского города Богуслава; предводительствуемый Иваном Степановичем Штурбой, отправился в Слободскую Украину, где на берегах реки Тихая Сосна, по соседству с ранее здесь поселившимися волянянами, устроили (предположительно в 1685 году) свою слободу, дав ей наименование своего прежней малой родины — также Алексеевка.

«...необходимо заметить, что род Штурбы — очень древний, чисто казачий род. В семейных преданиях Штурб очень долго хранилось передававшееся из уст в уста, от поколения к поколению, сказание, что они выселенцы из-за Днепра, из г. Богуслава, что на р. Роси. В этом же роде, как более развитом и отличавшемся интеллигентностью, сохранилось предание о первом переселении малороссов на московские земли.

Это было во второй половине XVII-го века, в тот период, который хорошо знаком читателю под именем «Руины».

В это смутное безвременье малороссы, предводимые Штурбой, двинулись на левый берег Днепра. Ближайшие к реке места были заселены, и правобережные выходцы не тотчас осели, а отправились дальше в глубь края, на вольные московские степи, прилегавшие к Дону. По семейным преданиям Штурб, заднепровским выходцам не мешали селиться где угодно на пустынных землях нынешней харьковской и южной части курской и воронежской губерний; они выбирали места, где есть хорошие воды, луга, леса, а качество земли определяли по кротовикам...

Трудно было заднепровским поселенцам устраиваться на новых местах. Орды диких степняков и на придонских равнинах не переставали тревожить их, и потому, немедленно по переселении, пришлось им держать стражу от набегов крымских татар. Все полевые работы проводились под наблюдением вооружённой стражи из козаков. С другой стороны, пришлось им вести постоянные ссоры с соседями, великороссами, из-за пользования разными угодьями, а особенно лесами».¹⁹

Возглавившее переселение козачество перенесло в новую среду обитания не только свои обычаи и традиции, но и свой полковой уклад. На территории Слободской Украины было создано пять полков: Острогожский, Сумской, Ахтырский, Харьковский, Изюмский, пользовавшихся в рамках Московского государства значительной автономией и самоуправлением.

Полково-сотенный уклад здесь был в целом таким же, как и на Левобережной Украине, хотя демократичность его была заметно меньше, а зависимость от царской администрации — больше. С началом заселения края Московское правительство начало — шаг за шагом — ограничивать поначалу данную автономию. Предоставляя козакам право внутреннего самоуправления, московские чиновники, во-первых, практиковали назначение на должности полковников вместо их избрания; во-вторых, на должности полковников, кроме украинцев, назначались также не украинцы — россияне и другие иностранцы; в-третьих, не допускалось объединение слободских полков под руководством одного лица — гетмана. Сначала полки были подчинены Разрядному приказу, а затем (в 1688 году) — Великороссийскому, а с 1700 года — Посольскому приказу. Непосредственно же полки подчинялись Белгородскому воеводе, который утверждал полковников в их должностях, предлагал царю кандидатов на эти должности.

Козачество вместе с наибольшими привилегиями получало и максимальную служебную нагрузку не только в виде регулярной охранной службы, но и — со временем — участия в борьбе против антимосковских сил в самой Украине, в многочисленных походах против Крыма, Турции, Ирана, в европейских войнах. Помимо исполнения чисто военных функций козаков принуждали: рыть каналы на российском севере, строить крепости, сооружать так называемые украинные линии против татар и тому подобное. Многие козаки погибали от холода, болезней, голода. Во время походов российской армии в Крым, когда войско двигалось по Слобожанщине, местное население обязывалось обеспечивать его транспортными средствами, едой.²⁰

Как отдельное социальное сословие выделялось на Слобожанщине сословие посполитых, то есть крестьян-хлеборобов. Они селились как свободное простонародье, независимое ни от каких властителей в местах, где были свободные посполитые. Но чаще крестьяне-хлеборобы оседали на землях так называемых властителей — козакой старшины, российского дворянства и даже на землях зажиточного козачества.

Суть дела состояла в том, что пребывание в козацком сословии, особенно в козаках-компанейцах, требовало значительных расходов. (Компанейцами именовались легковооружённые казаки, служившие в «компании» — легкоконном гетманском полку, набиравшемся из добровольцев и несшем преимущественно полицейскую службу.) Между тем, немало переселенцев-мужчин пришли на новые земли без денег и скота и в козаки не вписывались. К тому же многие из них не хотели менять плуг на саблю, свое привычное дело на новое, трудное и ответственное. Владельцы же засе-

ляемых земель, не имея рабочих рук на их обработку, сдавали переселенцам в аренду свои угодья на льготных условиях.

В пору начальной колонизации (в шестнадцатом — середине семнадцатого столетий) расчёты за пользование землёю не особо тяготили новопоселенцев. Крестьяне были обязаны вспахать землю дядича, на земле которого они поселились, собрать хлеб — в конце лета. Однако со временем повинности росли. Пример крепостных отношений в соседних регионах Московского государства делал свое дело. К тому же помещики-россияне выводили своих крепостных из центральных областей и селили их на подаренных царем землях Слобожанщины.

Социальное угнетение, появление первых элементов крепостничества, притеснения со стороны козацкой старшины, царских воевод, дворян — все это способствовало тому, что среди населения Слобожанщины постепенно накапливался горячий материал, давший мощный социальный взрыв в 1668 году, когда на Левобережной Украине вспыхнуло массовое крестьянское восстание, быстро перекинувшееся на Слобожанщину. На масштабы, целеустремленность и формы козацко-крестьянского восстания на Левобережье и Слобожанщине имело влияние восстание во главе с Степаном Разиным, начавшееся в 1667 года на Дону, в отрядах которого было немало запорожских козаков. В середине 1670 году несколько отрядов казацкого войска, в которых было много козаков-украинцев, по приказу Степана Разина, выступило из-под Царицина на Слободскую Украину. Значительную роль в восстании сыграл полковник Острогжского полка Иван Дзыковский, который еще в 1668 году договорился с Разиным относительно общего выступления.

Причин для восстания было более чем достаточно. Почти все крестьяне, которые еще совсем недавно были свободными хлеборобами, очутились в зависимости от того или другого феодала. Земельные наделы значительно сократились, вплоть до полного обезземеливания значительной части козацких и крестьянских дворов. Население не в состоянии было уплачивать налоги, число которых росло в геометрической прогрессии (на полковую и сотенную администрацию, на церковь, на ввоз и вывоз товаров и так далее, и так далее). Следствием этих процессов стало постепенное закрепощение прежде вольных крестьян и козаков. Но, как говорится, плетью обуха не перешибёшь и прежде вольная Слобожанщина обрела полный набор крепостных скреп Российской империи.

Первым владельцем выше поминавшейся Алексеевки был боярин Фадеев, в 1732 году продавший это село князю Алексею Михайловичу Черкасскому, представителю старинного рода кабардинских мурз, перешедших на службу России. На дочери одного из них, Марии, женился вторым браком Иван Грозный, и вместе с нею переселились в Русское царство три её брата, принявшие православие и получившие титулы князей Черкасских. Они прочно укоренились в новую почву, включились в так называемую «береговую службу» — охрану государственных границ. Два представителя фамилии числились в претендентах на царское звание после окончания Смутного времени, в 1613 году. Дав сильное ветвление новым родам, некоторые из линий князей Черкасских в течение столетия пресекались, передав свои баснословные состояния другим фамильным отрогкам.

Один из представителей фамилии, князь Михаил Яковлевич Черкасский, умерший в 1712 году, оставил все свое состояние сыну — князю Алексею Михайловичу, который и приобрёл Алексеевку. (К слову, в пору его владения Алексеевкой крепостной Даниил Семёнович Бокарёв открыл способ получения подсолнечного масла, на основе которого стал действовать первый в России маслобойный завод.)

В московском доме князя, на Никольской улице, составлена была (при участии Феофана Прокоповича и Кантемира) знаменитая челобитная об уничтожении «кондиций», благодаря которой Анна Иоанновна восстановила себя как самодержица.



Вследствие этого князь Алексей Михайлович Черкасский пользовался особым расположением императрицы. Его дочь, Варвару Алексеевну (1711 года рождения) пожаловали во фрейлины и ей одной из всех придворных дам и девиц разрешили *«носить локоны»*, что доказывало благоволение государыни.

Сама императрица посватила свою любимицу за обер-гофмаршала Лёвенвольде, но помолвка расстроилась: вероятно, княжну оскорбляли бесконечные любовные связи жениха, после которых *«объявлялись публично»* их «плоды». Личным символом Варвары Алексеевны был лев с девизом *«Не свирепствую, но непреодолим»*. За такие черты характера она получила от знаменитого Антиоха Кантемира прозвище «тигрицы». В течение многих лет он пытался приручить её гордое сердце. Антиох читал княжне свои стихи и переводы, у него она почерпнула познания о театре и драматургии. Однако этот брачный союз также не состоялся: мать княжны *«ждала кого-нибудь из сынов Юпитера, чтобы выбрать себе зятя»*.

Несмотря на расположение Анны Иоанновны, княжна Черкасская часто жила в Москве, где общалась с приближёнными цесаревны Елизаветы Петровны (её тетка,



Анастасия Ивановна Кантемир, являлась в те годы близкой приятельницей будущей императрицы). После восшествия на престол Елизаветы, Варвару Алексеевну определили в камер-фрейлины ко двору новой государыни, не без участия которой, уже после смерти отца, совершился (в 1743 году) её брак с Петром Борисовичем Шереметевым, ещё одним представителем рода с восточными корнями.

Кроме огромного приданого и начинавшей уже блекнуть красоты Варвара Алексеевна принесла в дом своего мужа любовь к всевозможным развлечениям. Среди них — домашние музицирование и театр. Ей было легко удовлетворить эту свою страсть: с участием целых семейств «собственных» талантливых мастеровых, художников, музыкантов — Аргуновых, Красовских, Фунтусовых, Смагиных — мог сладиться и оркестр, и капелла, и театр.

Княжне повезло, она вышла замуж за человека, родившегося под счастливой звездой, благополучно проводившей его через препоны и интриги нескольких царствований. Возвышались и падали Долгорукие, Голицыны, Лопухины, Головкины, а Шереметев оставался не только невредимым и богатым, но даже оказывался с политической «прибылью» после очередной придворной пертурбации.

Не принесло перемен в его жизнь и воцарение Петра III, назначившего Шереметева обер-камергером. Вручение золотого ключа — знака сего отличия — должно было состояться 29 июня 1762 года, но императора к этому времени уже свергли и придушили. Однако взявшая власть Екатерина II, нуждавшаяся в поддержке дворянского сословия, особенно именитых его представителей, приказала придворному ювелиру Позье за ночь переделать на камергерском ключе инициалы Петра III на свои собственные, и граф получил этот знак отличия в точно назначенный срок.



После кончины в 1788 году Петра Борисовича Шереметева всё семейное богатство унаследовал его сын Николай Петрович Шереметев. Прославился он как покровитель искусств, меценат и музыкант, а также своей неординарной жеманностью, в 1801 году, на своей крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой, которой ещё в 1798 году дал вольную. 3 фев-

раля 1803 года у них родился сын — Дмитрий, а Прасковья Ивановна спустя три недели, 23 февраля 1803 года, умерла.

После смерти супруги Николай Петрович Шереметев, выполняя волю умершей, посвятил свою жизнь благотворительности. Согласно завещанию Прасковьи Ивановны, он пожертвовал часть капитала на помощь бедным невестам и ремесленникам, а также начал строительство в Москве Странноприимного дома, открытого уже по смерти его основателя, в 1810 году. Указом 25 апреля 1803 года император Александр I повелел вручить графу Николаю Петровичу в общем собрании Сената золотую медаль с изображением на одной стороне его портрета, а на другой — надписи: «в залог всеобщей признательности к столь изящному деянию и дабы память оно́го сохранилась и пребыла незабвенной в потомстве».

«Екатерина II закрепостила за гр. Шереметевыми почти половину Бирюченско-го уезда, населённого бывшими малороссийскими козаками, в том надо сказать, что местное народное управление они оставили в том виде, как оно было и как создал его сам народ, а крестьян обложили лишь лёгким оброком по количеству владеемой ими земли, разделив на «тяглых» и «полутяглых». Так продолжалось вплоть до уничтожения крепостного права.

Некоторые Шереметевские крестьяне были богаче многих, даже богатых помещиков, чем очень гордились Шереметевы. Один из Шереметевых вздумал как-то побывать в Алексеевке. Малороссы чествовали своего графа от всего сердца; приглашали его в свои дома, и граф не отказывался. Был граф и у старого Штурбы. Помнят, что молодой граф с бокалом шампанского любовался на себя в огромном зеркале штурбинского дома. Увидев трёх громадного роста сыновей Штурбы, граф сказал: «Какие же, старик, у тебя сыновья молодцы!» Алексеевцы, зная желание Штурбы выкупиться из крепостной зависимости, говорили: «Ну, Иван Степанович, теперь уже граф тебя не выпустит». Действительно, Шереметевы не любили, когда от них уходили какие-нибудь заметные люди: певцы, музыканты, учёные и т. д. «Чем вам плохо у нас», — говорили таким господам Шереметевы. Но те же Шереметевы без всякого выкупа увольняли из крепостной зависимости дочерей богатых крестьян, которые выходили за чиновников, офицеров, священников и т. д., чего не делал в то время ни один помещик в России».¹⁹

Судилось и Александру Васильевичу Никитенко, крепостному графа Шереметева, бороться за своё освобождение от крепостной зависимости, ибо, достигнув юных лет, показал он себя личностью незаурядной, а таких граф на волю не отпускал.

Часть вторая. Выход из рабства

Отец Александра Васильевича Никитенко, Василий Михайлович, был крепостным графа Николая Петровича Шереметева, дополнявшего свои крестовы богатства покровительством искусствам и меценатством. Как большой любитель пения, содержал граф и певческую капеллу, в которую, благодаря хорошему голосу попал его крепостной Никитенко, предварительно окончивший действующую при ней школу. Это начальное образование дало его многие познания (в том числе — знание французского языка), значительно превышающие минимально значимый уровень человека «подлого». (Кстати, слово «подлый» пришло в русский язык в семнадцатом веке из языка украинского, в котором укрепилось в шестнадцатом веке под влиянием польского языка в качестве названия простого народа; первоначально в русском языке слово «подлый» означало принадлежность к крестьянскому, податному сословию и употреблялось без бранного оттенка.)

«В слободе Алексеевке жил сапожник Михайло Данилович, с тремя прозваниями: Никитенко, Черевика и Медяника. То был мой дед по отцу. Я помню добродуш-

ное лицо этого старика, окаймлённое окладистою, с проседью, бороною, с большим носом, обременённым неуклюжими очками, с выражением доброты и задумчивости в старых глазах. Руки его были исчерчены яркими полосами от дратв. Он некрасиво, но добросовестно тачал крестьянские чоботы и черевки, был чрезвычайно нежен ко мне, ласков и добр ко всем, но любил заглядывать в кабак, где нередко оставлял не только большую часть того, что зарабатывал днями тяжких трудов, но кушак свой, шапку и даже кожу». ²¹

Бабушка Александра Васильевича была дочерью священника и, как пишет её внук, «...считала себя принадлежащей к сельской аристократии и чувствовала своё достоинство» и имела строго ею очерченный круг общения, исключительно из слободских мещан состоящий. При всей семейной бедности она не изменяла малороссийскому гостеприимству, отличалась редкой добротой, делясь последними крохами с нищими. «В ней было врождённое благородство, которое заменяло ей образование и сообщало поступкам и обращению её особый тон приличия». На неё легли семейные тяготы после того как, купаясь, утонул, в возрасте шестидесяти лет, дед. Было у них с мужем две дочери и два сына, из которых старший, Василий, стал отцом мемуариста. Бабушка дожила до ста лет, сохранив до последних своих дней хорошую память и способности (только немного ослабело зрение).

Когда Василию Никитенко исполнилось одиннадцать лет, в Алексеевку прибыл уполномоченный графа Шереметева для выбора мальчиков в певчие. У мальчика оказался отличный дискант, и его отправили в Москву, для обучения в графской капелле. При капелле существовала школа, в которой маленький Никитенко обучился грамоте, проявив при этом недюжинные умственные задатки (выучился попутно французскому языку). Но к семнадцати годам голос у Василия «спал», и, по принятому у графа обычаю, несостоявшегося певца отправили на родину — заведовать, в звании старшего писаря, канцелярией в Алексеевке, к которой вместе с разными хуторами было приписано до двадцати тысяч душ.

«Население слободы разделялось на две партии: зажиточные мещане из русских и хуторян-малороссов. Первые постоянно обижали последних. У хохлов слово «москаль» было ругательным, вмещавшим в себя понятие о воровстве, обмане, московской удали, надувательстве — вещах неслыханных у малороссов», — прибавляет автор, вообще пристрастный к своим сородичам и ни разу не упомянувший об их хитрости, лености, упрямстве и других национальных недостатках...

Между тем, отец Никитенки задумал действовать в пользу крестьян и их общего блага. Отделившись не только умственно, но и нравственно от окружавшей его среды, он начал бороться с неурядицей...»²¹

В это время он женился по любви на бедной девушке. Его мать ужаснулась, узнав, что избранницей сына стала не зажиточная мещанка, а дочь полуннищего кравца, шившего мужские тулупы. Невесёлой была по этой причине семейная жизнь Василия Никитенко, и жена его «не знала в жизни ничего, кроме страданий, но с редким достоинством прошла свой скорбный путь».

При первом, в его новой должности, рекрутском наборе Никитенко-отец вступился за одну вдову, у которой отнимали единственного сына и кормильца, написал, по простоте душевной, жалобное письмо самому Шереметьеву. В итоге был он признан «клеветником», посажен в тюрьму, из которой его, закованного в цепи, привезли обратно в слободу, где велели жить под надзором местной власти, всячески измывавшейся над ним.

Александр Васильевич Никитенко родился «кажется 12-го марта 1804 или 1805 года». Случилось это в деревне Ударовке, где отец его был учителем четырёх детей помещицы Александровой, крестной матери новорождённого Александра, «барыни

лет сорока, любившей особенно общество офицеров квартировавшего в окрестностях полка и угощавшей их не только вкусными обедами и наливками, но и своими отцветающими прелестями. Это была в сущности добрая женщина, хотя и была скалкой свою любимую горничную, брила голову другой, надевая ей на шею тяжёлую рогатку, а остальных секла крапивой, наделяя их пощёчинами... Это никого не возмущало, потому что было в нравах общества и времени».²¹

Василий Никитенко, кончив обучать детей Александровой, переехал в родную слободу, на заработанные деньги купил хату, стал добывать средства к существованию уроками в школах и у частных лиц. «Малороссы выказывали гораздо более, чем русские, склонность к учению, и Малороссия до соединения с Россией была образованней чем теперь», — отметил позже Александр Васильевич в своём дневнике.

После нескольких лет мирной жизни в селе пришла новая беда — анонимный мерзавец отправил властвующему графу донос на неблагонадёжность старшего Никитенко. От графа пришло предписание конфисковать имущество «смутьяна», а самого его с семейством отправить в одну из вотчин Смоленской губернии. Зимой, увеличившаяся вторым сыном (годовалым Григорием) семья, в сопровождении графских сторожей, отправились в малую — в тридцать дворов — деревушку Чуриловку Гжатского уезда. Водворили переселенцев в курной, дымной избе, где помещались её хозяева с домашним скотом.

Впрочем, ссылка была непродолжительной — через год умер старый граф, над его сыном Дмитрием учредили опеку. Никитенко-старший написал вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, прося возвратить его на родину и позволить ему приехать в Петербург, дабы снять с себя незаслуженные обвинения. В итоге из столицы пришёл приказ местным властям вернуть опальную семью на место, компенсировав ей все понесённые путевые расходы. Правда, из имущества правдолюбцу Никитенко ничего не вернули, и жил он вместе со своими домочадцами далее сирыми и нагими аки Иов библейский.

*«Но около этого времени во мне уже начала проявляться самостоятельная страсть к чтению. У отца был порядочный запас книг, и я мог беспрепятственно следовать своему влечению. Читал я, конечно, без разбора всё, что попадало мне под руку, — и охотнее сказки и повести, чем учебные книги. Но это, во всяком случае, отвлекало меня от грубых игр моих сверстников и помешало мне сделаться настоящим уличным мальчишкой. Одновременно заговорила во мне и другая склонность — к авторству. Все клочки бумаги, какие мне только удавалось добыть, исцелялись изливанием моих мыслей и чувств».*²¹

Никитенко-отец достиг в столице чего желал — полного оправдания, выхлопотал себе полную независимость от волостных властей и право жить, где пожелает. Он вернулся в Алексеевку, здесь неудачная операция с покупкой покосных лугов лишила его семью средств к существованию. Стал Никитенко-старший заглядывать в чарку, увлёкся молодой вдовой-хуторянской, и эта неразделённая любовь мучила его до конца жизни. Он получил вскоре место управляющего в имении малороссийской помещицы Бедряги, в Богучаровском уезде. Здесь крепостничество — при полном отсутствии москалей — процветало во всей силе; жестокое обращение сопровождалось развратом: «помещик безнаказанно лакомился каждою красивою женою или дочерью своего вассала, как арбузом или дынею со своей бахчи».

Людьми торговали не только дворяне, но и зажиточные мужики, записывая крепостных на имя какого-нибудь чиновника. Помещица Бедряга обрекала своих горничных на вечное целомудрие, не позволяя им выходить замуж, нарушительниц беспощадно и мастерски сёк на конюшне хромоногий садовник.

По достижении одиннадцати лет Сашу Никитенко отвезли за двести вёрст, в Воронеж, и отдали в уездное училище, которое он завершил с похвальным листом. Пе-

ред выходом его из училища отец отказался от места у Бедряги. Та приказала своим крестьянам оцепить дом «возмутителя спокойствия» и не выпускать никуда ни его самого, ни его семью. Кто-то из сочувствующих крестьян помог бежать, после чего Никитенко-старший подал в суд на не признающую никаких законов барыню.

После всех этих «бедряг»-передряг, тюремных отсидок очутился Василий Никитенко с семьёй в Острогожске. Здесь его четырнадцатилетний первенец начал зарабатывать деньги, давая уроки. Он много читал серьёзных авторов, поставив себе целью поступление в университет.

Года через два юноша имел уже много уроков и пользовался репутацией отличного, умелого преподавателя. Местное общество отнеслось к нему с тёплым сочувствием и память сердца Никитенко, до преклонных лет его, хранила добрые чувствования к своим благодетелям: *«Никого из них уже нет на свете, но память о них жива в моём сердце. Их тёплому участию, гуманному забвению моего гражданского ничтожества, их снисхождению к моим юношеским, часто невоздержанным стремлениям и, наконец, великодушному содействию и отрезвляющему влиянию обязан я тем, что не изнемог в борьбе с судьбою, не утонул, так сказать, в себе самом, в бездне бесплодного самосозерцания, не утратил веры в добро, в людей, в самого себя. Я жил в их среде. Их общество было моим. И теперь, на склоне лет, проходя мыслями совершённый мною с тех пор длинный путь, я с умилением и благодарностью вспоминаю, как много им обязан. Они первые протянули мне руку помощи и помогли подняться на те ступени общественной лестницы, где я мог, наконец, безнаказанно считать себя человеком».*²¹

Расширился у юного Никитенко и круг общения с умными и образованными людьми, в том числе с генералом Юзефовичем, жившим в Острогожске с сестрою, десятилетней дочкой и племянницей. Александр Никитенко был приглашён давать уроки юным барышням. *«Юзефович долгое время дарил юного педагога расположением и покровительством».* Тем временем отец его умер в Тирасполе, куда генерал отправил Василия Михайловича вести тяжёлое дело. Осиротевший сын его последовал за семьёй Юзефовича, переведённого в Елец, а через год — в Чугуев, где генерал устраивал военные поселения по рецепту Аракчеева; здесь он сошёл с ума.

Вернувшись в Острогожск, Никитенко открыл школу в своём доме, чем — как конкурент — породил доносы и интриги со стороны казённых учителей, акцентировавших свои кляузы на невозможности крепостному заниматься преподаванием. По примеру отца, Александр Никитенко обратился к молодому графу, Дмитрию Николаевичу Шереметьеву, с просьбой отпустить его на волю, но тот только отмахнулся.

Помог случай — в виде открывшегося в Острожске (в 1822 году) отдела так называемого Библейского общества. *«Такие отделы утверждались по всей России под названием «сотовариществ».* (Российское библейское общество было основано в январе 1813 года для издания и распространения Священного Писания на русском языке и языках других народов Российской империи. Князь Александр Николаевич Голицын, бывший тогда обер-прокурором Святейшего Синода, стал первым президентом общества. На открытии этой христианской внеконфессиональной организации, состоявшегося на квартире Голицына, присутствовали представители всех основных христианских церквей в России. (В феврале 1816 года Александр I повелел осуществить перевод Нового Завета на русский язык, что и было исполнено.)



Никитенко, будучи избран секретарём острогожского отделения Библейского общества, написал речь о пользе и значении этого богоугодного учреждения. Для печатания речи потребовалось разрешение самого Голицына, которому труд молодого секретаря понравился. Это обстоятельство

попытались использовать друга Никитенко для освобождения последнего от крепостной зависимости, но нашла коса на камень — Шереметьев не хотел отпускать на волю нужного ему человека. Составилась большая интрига с участием Кондрата Рылеева, Евгения Баратынского, вырвавших у графа нужное обещание дать вольную Никитенко.

«Но, несмотря на данное обещание, он всё ещё не решился расстаться со своим крепостным. На одном вечере графиня Чернышёва поблагодарила его за то, что он подарил обществу члена с выдающимися дарованиями. Граф растерялся, расшаркался и пробормотал, что рад доставить удовольствие её сиятельству, но всё-таки тянул дело. В свои именины он дал ещё раз собравшимся у него товарищам категорическое обещание — отпустить на свободу человека, у которого было столько заступников. Но и тут начальнику графской канцелярии Мамонтову надо было употребить много усилий, чтобы бесхарактерный аристократ подписал отпускную. Он сделал это, наконец, в октябре 1924 года, с раздражением и со словами: «Надо ему, всё-таки, хорошенько намылить голову за то, что он наделал столько шума. Точно я не мог сам по себе сделать того, что делаю теперь из уважения к другим...»²¹

В этом году вольный человек Александр Никитенко поступил в университет без экзамена, но с обязательством выдержать его при поступлении на второй курс. Средств к жизни у него не было — великодушный вельможа вместе с отпускной выдал ему только сто рублей ассигнациями. В столице вольноотпущенник принял приглашение князя Евгения Оболенского жить вместе с ним в качестве воспитателя его младшего брата. Квартира благодетеля служила центром тогдашнего прогрессивного движения, скоро ставшего именоваться «декабристским», но друзья и покровители Никитенко не посвящали его в тайны замышляемого ими государственного переустройства.

Прожитое и пережитое в начальную пору жизни отразилось в этической сути дневниковых записей Александра Васильевича, поэтому в них постоянно варьируются темы презрения к родовому дворянству, только по праву рождения владеющему крепостными людьми; критическое отношение к державным бюрократам, злоупотребляющим своим положением, защищающим крепостной строй. В них — глубокое уважение к простому народу, противопоставление его аристократии.

Часть третья. Студенческие годы

С первых страниц дневника 1826 года видно, что автор очень близко сошёлся с Яковом Ивановичем Ростовцевым, и связь эта была долгое время достаточно прочной, хотя со временем друзья охладели друг к другу. Ростовцев был знаменит тем, что предупредил, без указания фамилий, будущего императора Николая о выступлении офицеров-мятежников в декабре 1825 года.

Учился Никитенко хорошо, не давался ему только латинский язык и, оценивая слухи о грядущем введении классической системы обучения, он отзывается о ней с едкой иронией: *«Восстановление классической учёности в России — мера важная. Мы будем изучать древних, подражать им — и творческий самостоятельный дух наш мало-помалу притупится: мы научимся повиноваться, чтобы не сказать — рабствовать... Насилие может только на время остановить законы человеческого развития: варвар и раб отживают своё урочное время, человечество же всегда существует».*

И в целом, делая обзор тогдашнему общественному воспитанию, он высказал свои, не по возрасту зрелые суждения:

«Добрые нравы составляют в воспитании предмет почти посторонний. Наука преподаётся поверхностно. Начальники учебных заведений смотрят больше

в свои карманы, чем в сердца своих питомцев. В одном только среднем классе заметны порывы к высшему развитию и рвение к наукам. Таким образом, по мере того, как наше дворянство, утопая в невежестве, мало-помалу приходит в упадок, средний класс готовится сделаться настоящим государственным сословием... Существа, населяющие наш большой свет, суице автоматы, они живут, мыслят и чувствуют, не сносаясь ни с умом, ни долгом, налагаемым на них званием человека. Вся жизнь их укладывается в рамки светского приличия. У них те же пороки, что и в низшем классе, только без прирождённых ему добродетелей. В женщинах большого света самоуверенность исключает скромность...

... в наше время стали появляться писатели, отвергающие здравый смысл и думающие, что вместо всяких знаний достаточно обладать фантазией и сомнительным остроумием. Мы вообще мало любим углубляться в суть предметов. Всё, что отзывается трудом, для нас нестерпимо. Я удивляюсь невежеству модных литераторов и резкости их суждений о предметах, им очень мало известных».²¹

В этом же 1826 году журнал «Сын Отечества» опубликовал сочинение Никитенко «О преодолении несчастий». Статью хвалили, но сам автор остался недоволен своим творением. Возможно, по той причине, что не получил он за первую свою публикацию ни копейки от редакторов журнала — Булгарина и Греча. Вторым студенческим трудом Никитенко стало рассуждение, им прочитанное на университетском акте 1827 года: «*О политической экономии вообще, и в особенности о производительности, как главном предмете оной*».

Никитенко много читал, но о прочитанном в дневнике своём отзывается только в общих фразах. Так, о Байроне он говорит, что его поэзия «*подобна Эоловой арфе, на которой играет буря: нет гармонии, но слышны такие аккорды, которые нас потрясают, как стоны умирающего друга или любовницы*». Или же, сравнивая, Плутарха с Тацитом, строил собственное умозаключение: «*Плутарх возвышен, Тацит велик; в одном сила; в другом могущество. Плутарх изобразил деяния великих людей золотыми буквами, Тацит изобразил их неизгладимыми чертами на страницах истории*».

В эту пору от безденежья и нужды Никитенко избавил попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Константин Матвеевич Бороздин, давший ему место в своей канцелярии с жалованьем в 500 рублей годовых.

Квартиру и стол студенту Никитенко предложила госпожа Серафима Ивановна Штерич, как плату за уроки, которые он давал её сыну, молодому камер-юнкеру, официально причисленному к посольству России при Сардинском дворе в Турине и недавно начавшему службу на дипломатическом поприще. Молодой наставник с поставленной задачей справился — Евгений Петрович Штерич, в 1809 году родившийся, отпрыск старинной сербской фамилии, осевшей в России в начале восемнадцатого века, стал образованным дипломатом, выехал к месту службы, но затем, разболевшийся, вернулся в материнский дом и умер от чахотки в 1833 году.

Отец Евгения, Петр Иванович Штерич, 1768 года рождения, в продолжение фамильной традиции, долгое время занимался поиском рудных ископаемых в славяно-сербском крае Малороссии. Его успешные изыскательские труды дали жизнь Луганскому литейному заводу, за них он получил в собственность громадные земельные наделы с большим числом крепостных крестьян на них. Крепким «лендлордом», однако, геолог Штерич не стал и после кончины в 1802 году жены Надежды (урожденной Лутковской), подарившей ему в браке пятерых детей, перебрался в Петербург.²²

В столице Пётр Иванович шесть лет пожил на холостую ногу, после чего, в 1808 году, составил вторую партию с Серафимой Ивановной Борноволоковой, пошедшей под венец в немалые для девицы тридцать лет. В новом браке Пётр Штерич пожил ровно год, после чего отдал Богу душу, оставив супругу далее мыкать свой век с единственным общим чадом, горячо ею любимым сыном Евгением, возможно, неудачный

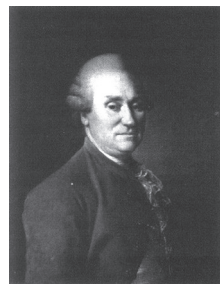
генетический код отца унаследовавшим. О нём Никитенко записал в дневнике: «Он благороден, добр, постигает всё прекрасное и возвышенное». Дружил с Евгением Штеричем и Михаил Глинка, позже вспоминая его: «Он ... отличался редкими душевными качествами... Я ним подружился, и нередко с Сергеем Голицыным, мы посещали его в Павловске, где он жил в летние месяцы».²³

Обладая значительными материальными ресурсами, вдовствующая Серафима Ивановна купила, предположительно в 1823 году, трёхэтажный каменный дом на Фонтанке (ныне имеющий номер сто один), располагавшийся ближе к истоку этой знаменитой речушки, у Обухова моста. Продавцом сей недвижимости выступила её исконная владелица, Елизавета Марковна Оленина-Полторацкая, жена президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки, Алексея Николаевича Оленина, получившая означенное, только выстроенное жилище в качестве приданого от своего отца (или матери — Агафоклеи Александровны) в 1793 году, перед венчанием со своим именитым суженым.



Отец Елизаветы Олениной, Марк Фёдорович Полторацкий, родился в апреле 1729 года в сотенном городке Сосница Черниговского полка, в семье священника. Учился первоначально в «латинских школах» Чернигова, затем — в Киево-Могилянской академии. С детства обладал красивым голосом и, будучи студентом, пел своим прекрасным бас-баритоном в академическом хоре.

В 1744 г. голос Марка услышал земляк и бывший певчий, граф Алексей Разумовский, сопровождавший императрицу Елизавету Петровну в поездке по Малороссии. Её волей юношу отправили в Санкт-Петербург — для певческой службы в хоре при императорском дворе. В 1750 году он первым из славян был зачислен в итальянскую оперную труппу, далее выступая в ней под именем «Марко Португацкий». Назначенный вскоре регентом Придворной Певческой капеллы (и получив в 1754 году звание полковника), Марк Фёдорович с именными указами императрицы неоднократно выезжал на родину отбирать лучшие голоса для капеллы. Так, в реестре «малых певчих» от 30 октября 1760 года, которых он отобрал, прослушав церковные, монастырские, школьные и другие хоры в гетманских полках, помимо других, был записан Дмитрий Бортнянский, девяти лет от роду, — сын казак Глуховской сотни Нежинского полка. За усердные труды свои был Марк Фёдорович высочайше пожалован именьями в Малороссии, немалой земельной делянкой при Фонтанке-реке.



И по смерти императрицы Елизаветы Петровны Полторацкий не потерял своего значения. Напротив, назначенный Екатериной Второй директором Придворной Певческой Капеллы и переименованный в статские советники, он стал очень близок ко двору, был неоднократно приглашаем императрицей к «Высочайшему столу» и даже некоторое время, с 1782 года, числился в штате великих (но ещё малолетних) князей Александра и Константина.

Вторым браком, рано овдовевший бездетный Полторацкий сочетался, в 1752 году, с пятнадцатилетней Агафоклеей Александровной Шшиковой. Красавица собою, умная и даровитая, она обладала железным характером и необычайной деловитостью — начав с небольшого хозяйства, сумела составить крупное состояние в четыре тысячи душ, ставшее залогом успеха Полторацких в свете. Она завела винокуренные и другие заводы, позволявшие держать на откупе почти всю Тверскую губернию. Отличалась властолюбием, строгостью и даже жестокостью в отношениях не только с дело-



выми конкурентами, но и с домашними — перед ней трепетали и муж, и дети, коих в её подчинении было двадцать две единицы.

В 1783 году Марк Фёдорович был повышен в чине до действительного статского советника, избран в члены Вольно-Экономического Общества. Умер он в Петербурге в ноябре 1795 года и был похоронен на Лазаревском кладбище Александрово-Невской лавры. Супруга пережила его на двадцать семь лет.

Строго говоря, на монаршем подарке — участке земли при Фонтанке — Марк Фёдорович и Агафоклея Александровна Полторацкие выстроили три дома. Помимо помянутого «сто первого», дочери доставшегося строения, ещё два (в нынешней нумерации — «девяносто седьмой» и «девяносто девятый») отошли их сыновьям — Александру и Алексею.

Николай Иванович Греч вспоминал о визите к Оленину, состоявшемся в мае 1801 года: «*А. Н. Оленин жил тогда в собственном доме своем у Обухова моста, отделенном ему из имени тещи его, знаменитой тиранки Агафоклеи Александровны Полторацкой. Он выстроил себе посреди двора отдельный флигель с итальянскими окнами, странный и неудобный. Взбираться к нему должно было по тесной каменной лестнице забегами (теперь все это перестроено). Мы нашли его, как я находил его потом в течение сорока лет, за большим письменным столом, заваленном бумагами, книгами, рисунками, бюстами и пр.*»¹⁴

Как выяснили петербургские градоведы, в 1813 году в собственность Олениных перешли — по сложной схеме внутрисемейных отношений — и два дома братьев Елизаветы Марковны, в один из которых («девяносто седьмой») супруги перебрались с домочадцами своими, позже выставив на продажу родительский свадебный подарок дочери (дом за номером «сто один»).

Дом Олениных (имеется ввиду «девяносто седьмой» номер) стал широко известен в Петербурге как место, где собирался интеллектуальный цвет столицы — писатели, художники, музыканты, актёры. Здесь часто гащивали, общаясь друг с другом, Крылов, Жуковский, Гнедич, Батюшков, Озеров, Кипренский, Вяземский, Глинка. Завсегдатаем этого литературно-художественного салона был Александр Сергеевич Пушкин, со всей пылкостью своего сердца влюбившийся в дочь хозяев дома, блистательную Анну Алексеевну Оленину, как полагали современники, одну из образованнейших женщин своего времени.

Их первая встреча произошла, когда она была совсем ребёнком. Позднее, в 1827 году, после возвращения из ссылки в Михайловском, Пушкин увидел перед собой уже девятнадцатилетнюю красавицу, фрейлину императорского двора, а она — взрослого мужчину. Оба к тому времени всерьёз размышляли о семейных узах. В своем дневнике — в том же 1827 году — Анна записала: «*Сама вижу, что мне пора замуж: я много стою родителям, да и немного надоела им. Пора, пора мне со двора, хотя и это будет ужасно.*»²⁴

Заметно возмужавшему Александру Сергеевичу, как возможному кандидату в женихи, юная чаровница дала весьма нелицеприятную характеристику: «*Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых, или, лучше сказать, стеклянных, глазах его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава, природного и принужденного, и неограниченное самолюбие — вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия.*»²⁴

Возможно, почувствовав настроения своей пассии, Пушкин отреагировал на них в «Евгении Онегине» саркастическими строками: «*Уж так жеманна, так мала», «... Что поневоле каждый гость / Предполагал в ней ум и злость».*

Тем не менее, в 1828 году, после очередного визита к Олениным поэт настолько увлекся мыслью о женитьбе на Анне Алексеевне, что не только рисовал ее на полях своих рукописей, но и примерял ее имя к своей фамилии — Annete Pouchkine (Аннет Пушкина). В итоге, приняв твердое решение жениться на Анне, он отправился к её родителям просить руки их дочери, но получил категорический отказ, окутавший его сердце горечью, им излитой в его прощальном, изумительного слога и духа, стихотворном томлении:



«Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим».

Только в возрасте тридцати двух лет вышла Анна Оленина замуж за офицера лейб-гвардии Гусарского полка Фёдора Александровича Андро де Ланжерона, сына французского эмигранта. Семейная пара переехала в Польшу, где Фёдор Александрович служил поначалу адъютантом наместника Царства Польского князя Ивана Фёдоровича Паскевича, а затем — президентом Варшавы. Спустя сорок лет, после смерти мужа, Анна Алексеевна вместе с детьми переехала в Волынскую губернию, предалась воспоминаниям. Завершила она земные дни свои в 1888 году, в возрасте восьмидесяти лет.

Кто знает, возможно, помимо материальной недостаточности и невидного положения в высшем обществе, причиной отказа Александру Сергеевичу в искательстве руки дочери для её матери, урождённой Полторацкой, стало ею невольно увиденное в своём доме ухаживание поэта за её племянницей, Анной Петровной Керн-Полторацкой, о котором последняя сообщает в воспоминаниях: «В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого... На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его; моё внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие... За ужином Пушкин уселся с братом позади меня и старался обратить моё на себя внимание льстивыми возгласами, как например: «Можно ли быть столь прелестной». Потом завязался между нами шуточный разговор о том, кто грешник, и кто нет, кто будет в аду и кто попадёт в рай...»²⁵

Анна Петровна Керн-Полторацкая, 1800 года рождения, приходилась внучкой помянутым выше Марку Фёдоровичу и Агафоклее Александровне Полторацким по их сыну Петру Марковичу, проживавшем с семейством в городе Лубны Полтавской губернии. Благодаря силе красоты своей Анна Петровна рано заневестилась, чем дала повод её властному и своекорыстному родителю скоро отправить под венец свою семнадцатилетнюю дочь с пятидесятидвухлетним генерал-майором Ермолаем Фёдоровичем Керном, ветераном битв с Наполеоном, командовавшим располагавшимся в Лубнах конно-егерским полком.



Старого мужа молодая жена его не то что не любила — ненавидела за погубленную юность свою. В те времена полувековой возраст для мужчин считался чертой жизни, за которой начина-

ется их физическое увядание и открывается пора подведения итогов, о чём, к слову, писал Николай Алексеевич Некрасов:

«А может быть, мне знать себя дает,
Друзья мои, пятидесятый год.
Да, он настал — и требует отчета!
Когда зима нам кудри убелит,
Приходит к нам неожиданная забота
Свести итог...
Бог старости — неумолимый бог...»²⁶

Впервые приехав в столицу, молодая Керн у тётки появилась без постылого мужа и, обаяв с первой же встречи Пушкина, со скрытым удовольствием приняла его ухаживания. И вновь им порадовалась в июле 1825 года, когда, уже будучи матерью двух дочерей (Екатерины и Анны), гостила у своей тётушки Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф в её селе Тригорское, близ пушкинского сельца Михайловское распластавшегося.

За шесть лет, что они не виделись, Александр Сергеевич постранствовал в качестве ссыльного с семейством Раевских по югу и Кавказу, в этом же качестве послужил в Кишинёве затем — в Одессе, откуда генерал-губернатор Новороссии Михаил Семёнович Воронцов, небезосновательно заподозрив поэта в интимной связи с супругой, Елизаветой Ксаверьевной, выслал его продолжать ссылку в родовое имение.



В день отъезда Анны Петровны из Тригорского Александр Сергеевич передал ей экземпляр второй главы «Онегина», в который был вложен лист со стихотворением «Я помню чудное мгновение...» и когда она (согласно её дневниковым записям) собиралась спрятать подарок в шкатулку, Пушкин пристально посмотрел на нее, выхватил листок со стихами и не хотел возвращать. «*Насилу выпросила их опять. Что у него промелькнуло в голове, не знаю...*».²¹

Можно только предположить гадательно о промелькнувшей в голове поэта мысли, что чувствования его к красавице Керн — только яркая, но не долгая вспышка, и, кажется, полунамёком он писал об этом Анне Николаевне Вульф, с которой её кузина Анна Петровна Керн отправилась в Ригу, к месту службы Ермолая Фёдоровича: «*Каждую ночь я гуляю в своем саду и говорю себе: здесь была она... камень, о который она споткнулась, лежит на моем столе подле увядшего гелиотропа. Наконец я много пишу стихов. Все это, если хотите, крепко похоже на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет*».²¹

Переписка между Пушкиным и Керн, завязавшаяся после встречи в Тригорском, длилась около полугода (далее они общались уже «голосом» во время свиданий в Петербурге). Её письма не сохранились, но она сберегла для потомства послания поэта, галантные, с намеренным легкомыслием граничащие:

«*Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень он мне нужен — разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главное — это глаза, зубы, ручки и ножки... Как поживает ваш супруг? Надеюсь, у него был основательный припадок подагры через день после вашего приезда? Если бы вы знали, какое отвращение испытываю я к этому человеку! ...Умоляю вас, божественная, пишите мне, любите меня.*».²⁵

Но, кажется, докторальный тон поэта, на Анну Петровну особого впечатления не произвёл — в Риге у неё начался и несколько лет продолжался роман с кузеном, Александром Николаевичем Вульфом (причём её кавалер одновременно «ухлёстывал» за её сестрой Елизаветой).

В первых числах сентября 1826 года Александр Сергеевич был срочно вызван в Москву, где имел длительное общение с императором Николаем Первым, давшим опальному поэту вольную и взявшим на себя (точнее — на подвластного ему Бенкендорфа) функции цензора. Зимой 1826 — 1827 года поэт провёл в Москве, далее выезжал то в Михайловское, то в Петербург, где его пути снова пересеклись с Анной Петровной Керн. В мае 1827 года она окончательно порвала отношения с мужем и поступком этим обрела статус «соломенной вдовы», навсегда похоронив в глазах света репутацию приличной женщины, что её особенно не беспокоило.

В Петербурге Анна Петровна сняла жильё в «сто первом» доме на Фонтанке, у госпожи Штерич. Пару недель её соседом по дому был студент Никитенко, на которого опытная оболстительница раскинула свои любовные силки и тот некоторое время потрепетал в них без серьёзных для себя последствий, что подтверждают его дневниковые записи:

23 мая 1827 года.

«Несколько дней тому назад г-жа Штерич праздновала свои именины. У ней было много гостей и в том числе новое лицо, которое должен сознаться, произвело на меня довольно сильное впечатление. Когда я вечером спустился в гостиную, оно мгновенно приковало к себе моё внимание. То было лицо молодой женщины поразительной красоты. Но меня всего больше привлекала в ней трогательная томность в выражении глаз, улыбки, в звуках голоса.

Молодая женщина эта — генеральша Анна Петровна Керн, рождённая Полторацкая. Отец её, малороссийский помещик, вообразил себе, что для счастья его дочери необходим муж генерал. За неё сватались достойные женихи, но им всем отказывали в ожидании генерала. Последний, наконец, явился. Ему было за пятьдесят лет. Густые эпoletы составляли его единственное право на звание человека. Прекрасная и к тому же чуткая, чувствительная Аннета была принесена в жертву этим эпoletам. С тех пор жизнь её сделалась сплетением жестоких горестей. Муж её был не только груб и вполне доступен смягчающему влиянию её красоты и ума, но ещё до крайности ревнив. Злой и необузданный, он истощил над ней все роды оскорблений. Он ревновал её даже к отцу. Восемь лет промаялась молодая женщина в таких тисках, наконец потеряла терпение, стала требовать разлуки и в заключение добилась своего. С тех пор она живёт в Петербурге очень уединённо. У неё дочь, которая воспитывается в Смольном монастыре.

В день именин г-жи Штерич мне пришлось сидеть около неё за ужином. Разговор наш начался с незначительных фраз, но быстро перешёл в интимный, задушевный тон. Часа два времени пролетели как единый миг. Г-жа Керн имеет квартиру в доме Серафимы Ивановны Штерич, и обе женщины потому чуть не каждый день видятся. И я после именинного вечера уже не раз встречался с ней. Она всякий раз всё больше и больше привлекает меня не только красотой и прелестью общения, но ещё и лестным вниманием, какое мне оказывает.

Сегодня я целый вечер провёл с ней у г-жи Штерич. Мы говорили о литературе, о чувствах, о жизни, о свете. Мы на несколько минут остались одни, и она просила меня посещать её.

Я не могу оставаться в неопределённых отношениях с людьми, с которыми меня сталкивает судьба, — сказала она при этом. — Я или совершенно холодна к ним, или привязываюсь к ним всеми силами сердца и на всю жизнь.

Значение этих слов ещё усиливалось тоном, каким они были произнесены, и взглядом, который их сопровождал.

Я вернулся в свою комнату отуманенный и как бы в состоянии лёгкого опьянения.

24 мая 1827 года.

Вот самый короткий роман, следовательно, и лучший. Вечером я зашёл в гостиную Серафимы Ивановны, зная, что застаю там г-жу Керн... Вхожу. На меня смотрят очень холодно. Вчерашнего как будто и не бывало. Анна Петровна находилась в

упоении радости от приезда поэта А. С. Пушкина, с которым она давно в дружеской связи. Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю вытало всего два-три ледяных комплимента, и то чисто литературных.. Старая дружба должна предпочитаться новой — это верно. Тем не менее я скоро удалился в свою комнату. Даю себе слово больше не думать о красавице.

26 мая 1827 года

Я вышел к себе на балкон. Она из окна пригласила меня к себе. Часа три быстро пролетели в оживлённой беседе. Сначала я был сдержан, но она скоро меня расшевелила и опять внушила к себе доверие. Нельзя же в самом деле говорить так трогательно, с таким выражением в глазах — и ничего не чувствовать. Я совсем забыл о Пушкине в это время. Она говорила, что понимает меня, что желает участвовать в моих литературных трудах, что она любит уединение, что постоянно в своих чувствах, что её понятия почти во всём сходны с моими... Наконец просила меня дня на три приехать в Павловск, когда она там будет.

После 24-го я держал сердце на привязи и решился больше не видаться с ней, но она сама позвала меня к себе...

29 мая 1827 года

Сегодня я хотел идти к ней, подошёл почти к самым дверям её и вернулся назад. Направился к Брилевичевой, а очутился у Боборькиных. Там оставили меня обедать. Смиск важничал; какая-то сухая и бледная дама усердно старалась доказать, что молодость её ещё не миновала. Какой-то старик с брильянтовой Анной на шею расказывал про свою службу при Державине. Анета Боборькина кокетничала.

1 июня 1827 года

День начался для меня дурно. Я болен. От меня только что ушёл попечитель, приходивший узнать о моём здоровье. Он от меня пошёл прямо к доктору, ускорить его визит ко мне. Доктору будут платить из сумм попечительской канцелярии. Доброте Константина Матвеевича нет границ.

8 июня 1827 года

Мне гораздо лучше. Доктор позволил уже выходить... Г-жа Керн переехала отсюда на другую квартиру. Я порешил не быть у неё, пока случай не сведёт нас опять. Но сегодня уже я получил от неё записку с приглашением сопровождать её в Павловск. Я пошёл к ней: о Павловске больше и речи не было. Я просидел у ней до десяти часов вечера. Когда я уже прощался с ней, пришёл поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нём до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи — прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства. Об обращении его и разговоре не могу сказать, потому что я скоро ушёл.

12 июня 1827 года

Сегодня мы с Анной Петровной Керн обменялись письмами. Предлогом были книги, которые я обещался доставить ей. Ответ её умный, тонкий, но неуловимый. Вечером я получил от неё вторую записку: она просила меня принести ей мои кое-какие отрывки и вместе с нею прочитать их. Я не пошёл к ней за недостатком времени.

22 июня 1827 года

Сегодня г-жа Керн прислала мне часть записок своей жизни, для того чтобы я принял их за сюжет романа, который она меня подстрекает продолжать. В этих записках она придаёт себе характер, который, мне кажется, составила из всего, что

почерпнуло её воображение из читанного ею. В самом деле, люди, одарённые пламенным воображением, но без сильного рассудка и твёрдой воли, напрасно думают, что они сотворены с таким-то сердцем или такими то наклонностями: я полагаю, что при лучшем воспитании то и другое было бы у них лучше. Мечтательность, неопределённость и сбивчивость понятий считаются ныне как бы достоинствами, и люди с благородными наклонностями, но увлекаемые духом времени, располагают своё поведение по примеру героев нынешних романтической поэзии. Не знаю, пересилит ли философия сию болезнь века.

Но я в самом деле желал бы написать философский роман и в нём указать какое-нибудь простое, но действительное лекарство против оной. Мы заблудились в массе сложных идей. Надо обратиться к простоте. Надо заставить себя мыслить: это единственный способ сбить мечтательность и неопределённость понятий, в которых ныне видят что-то высокое, что-то прекрасное, но в которых на самом деле нет ничего, кроме треска и дыма разгорячённого воображения.

23 июня 1827 года

Вечером читал отрывки своего романа г-же Керн. Она смотрит на всё исключительно с точки зрения своего собственного положения, и потому сомневаюсь, чтобы ей понравилось что-нибудь, в чём она не видит самоё себя. Она просила меня оставить у неё мои листки.

Не знаю, долго ли я уживусь в дружбе с этой женщиной. Она удивительно неровна в обращении и, кроме того, малейшее противоречие, которое она встречает в чувствах других со своими, мгновенно отталкивает её от них. Это уж слишком преутончённо.

Вчера, говоря с ней о человеческом сердце, я сказал:

— Никогда не положусь я на него, если с ним не соединена сила характера. Сердце человеческое само по себе беспрестанно волнуется, как кровь, его движущая: оно постоянно и изменчиво.

— О, как вы недоверчивы, — возразила она, — я не люблю этого. В доверии к людям всё моё наслаждение. Нет, нет! Это не хорошо!

Слова сии были сказаны таким тоном, как будто я потерял всякое право на её уважение.

— Вы не так меня поняли, — в свою очередь с неудовольствием отвечал я, — кто всегда боится быть обманутым, тот заслуживает быть обманутым. Но если ваше сердце находит своё счастье только в сердцах других, то благоразумие требует не доверять счастью земному, а величие души предписывает не обольщаться им.

После этого мы дружно окончили вечер.

24 июня 1827 года

Я не ошибся в своём ожидании. Г-жа Керн раскритиковала, как говорится, в пух отрывки моего романа. По её мнению герой мой чересчур холодно изъясняется в любви и слишком много умствует, а не то просто умничает.

Я готов бы её уважать за откровенность, тем более что по самой задаче моего романа главное действующее лицо в нём должно быть именно таким. Но требовательный тон её последних писем ко мне, действительно выражаемое желание, чтобы я непременно воспользовался в своём произведении чертами её характера и жизни, упреки за неисполнение этого показывают, что она гневается просто за то, что я работаю не по её заказу.

Она хотела сделать меня своим историографом и чтобы историк сей был панегиристом. Для этого она привлекала меня к себе и поддерживала во мне энтузиазм к своей особе. А потом, когда выжала бы из лимона весь сок, корку его выбросила бы за окошко, — и тем всё кончилось бы. Это не подозрения мои только и догадки, а прямая вывод из весьма недвусмысленных последних писем её.

Женщина эта весьма тщеславна и своенравна. Первое есть плод лести, которую, она сама признавалась, беспрестанно расточали её красоте, её чему-то божествен-

ному, чему-то неизъяснимо в ней прекрасному, — а второе есть плод первого, соединённого с небрежным воспитанием и беспорядочным чтением.

В моём ответе на её сегодняшнее письмо я высказал кое-что из этого, но, конечно, в самой мягкой форме.

26 июня 1827 года

Сегодня получил от г-жи Керн в ответ на моё письмо записку следующего содержания: «Благодарю вас за доверие. Вы не ошиблись, полагая, что я умею вас понимать».

4 июля 1827 года

Был у г-жи Керн. Никто из нас не вспоминал о нашей недавней размолвке, за исключением разве маленького намёка в виде мщеница с её стороны. Я застал её за работой.

— Садитесь мотать со мною шёлк, — сказала она.

Я повиновался. Она надела мне на руки моток, научила, как держать его, и принялась за работу.

— Говорят, что Геркулес пряд у ног Омфалы, — заметил я. — Хоть я не Геркулес, а очутился в подобном ему положении, с тою только разницей, что г-жа Омфала вряд ли могла бы сравниться с той особю, которой я имею честь служить.

— Хорошо сказано, — отвечала она. — Однако посмотрите, вы всё путаете шёлк. — И начала опять учить меня, как его держать.

Это не помогло.

— Дайте я сам это сделаю.

Я взял, поправил, надел на руки по-своему: дело пошло как следует.

— Теперь хорошо — сказала она с приятною улыбкой.

— Это оттого, что я самостоятельно, собственным умом постиг эту тайну, — заметил я.

Она промолчала.

— Попробуйте вот так повернуть нитки, — начала она опять через несколько минут.

Я послушался, и в самом деле работа пошла ещё гораздо лучше. Я заметил ей это. — Вот видите, — сказала она с торжествующим видом, — ум хорошо, а два лучше.

Позже пошли мы гулять в сад герцога Виртембергского. Народу было множество. В двух местах гремела музыка. Но мне гораздо приятнее было слушать малороссийские песни, которые пела сестра г-жи Керн по нашем приходе с гулянья. У ней прелестный голос, и в каждом звуке его чувство и душа. Слушая её, я совсем перенёсся на родину, к горлу подступали слёзы...»²¹

На этом записи в дневниках прозревшего Никитенко, свидетельствующие о продолжении его общения с было увлékшей его Анной Петровной Керн, прекращаются. Есть только краткая запись о встрече у неё дома 18 сентября того же года: «Вечером был у г-жи Керн... Анна Петровна встретила меня очень любезно и, очевидно, собиралась пустить в ход весь арсенал своего очаровательного кокетства».

Из записей в дневнике Никитенко следует, что познакомился он с Пушкиным 8 июня 1827 года, встретившись с ним на новой арендованной квартире у Анны Петровны Керн (в весьма неприличное для посещения одиноких дам время). Александр Сергеевич к этому времени, после сомнительной царской «милости», давшей ему возможность свободного жительства и бенкендорфскую цензуру (удавке подобную), пожил некоторое время в Михайловском.

Зиму 1826–1827 годов Пушкин провёл в Москве, где был восторженно встречен друзьями, всеми поклонниками его гения. В белокаменной, в начале января 1827 года, он встретился с Александрой Григорьевной Муравьёвой, отъезжавшей к мужу-декабристу в Сибирь, и передал для ссыльных товарищей стихотворение «Во глубине сибирских руд». В это же время до него «добралось» дело штаб капитана лейб-гвардии конно-егерского полка Алексева, арестованного ещё в сентябре 1826 года за чтение рукописного варианта пушкинского «Андрея Шенье».

«О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! О позор!..»

(Позже к этому делу подключили кандидата Московского университета Леопольдова, также почитавшего «скоромное» произведение, но скоро настрочившего на него донос Бенкендорфу в Третье отделение, с призывом наказать автора.) Пушкин, оправдываясь, утверждал, что его неизданное сочинение описывает события французской революции и никакого касательства к мятежу 14 декабря 1825 года не имеет. Оправдываться ему пришлось чуть не весь 1827 год, в том числе месяц спустя после выше помянутого его общения с Никитенко и Керн на квартире последней. Позже, как сообщает Александр Васильевич, Пушкин, предварительно в пух проигравшись в карты, вновь уехал в деревню:

«22 сентября 1827 года

Поэт Пушкин уехал отсюда в деревню. Он проигрался в карты. Говорят, что он в течение двух месяцев ухлопал 17 000 руб. Поведение его не соответствует человеку, говорящему языком богов и стремящемуся воплотить в живые образы высшую идеальную красоту. Прискорбно такое нравственное противоречие в соединении с высоким даром, полученным от природы.

Никто из русских поэтов не постиг так глубоко тайны нашего языка, никто не может сравниться с ним живостью, блеском, свежестью красок в картинах, созданных его пламенным воображением. Ничьи стихи не улаждают души такой пленительной гармонией.

И рядом с этим, говорят, он сомнительный сын, плохой друг. Не верится!.. Во всяком случае в толках о немного преувеличений и несообразностей, как всегда случается с людьми, которые, выдвигаясь из толпы и приковывая к себе всеобщее внимание, в одних возбуждают удивление».²¹

И только в начале марта 1828 года Новгородская палата уголовного суда в «Приговоре по делу Алексева и других о стихах Андре Шенье» определила «строжайше подтвердить Пушкину впредь отнюдь никаких сочинений без просмотра цензуры не распространять».

Александр Сергеевич, думается, это решение принял с безразличием, тем более, что только-только, на исходе февраля, он получил, после долговременной осады чувственную сатисфакцию от Анны Петровны Керн, о чём не преминул сообщить в письме другу, Сергею Александровичу Соболевскому: «Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о М-те Керн, которую с помощью божией я на днях <...>...»

И на Солнце есть пятна. Но трудно понять, почему «Солнце нашей поэзии» озадачено таким пятном согреваемые им души почитателей — прошлых и нынешних. (Возможно, объяснение может дать психолог узкого профиля, с привлечением к оценке фрейдовской теории взаимоотношения полов.)

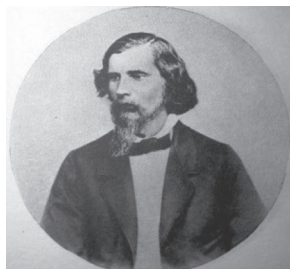
Анна Петровна Керн (после Пушкина) продолжала жизнь очаровательной и независимой женщины, принимая ухаживания нравившихся ей мужчин, сближаясь с теми из них, кто увлекал сердечно её. В возрасте тридцати шести лет она страстно и искренне (со взаимностью) влюбилась в своего троюродного брата, Александра Васильевича Маркова-Виноградского, бывшего ровно на два десятка лет моложе своей пассии.

Зажила составившаяся пара в любви, согласии и взаимоуважении, через три года у них родился сын, Александр. В законный брак сожители вступили только после кончины Ермолая Фёдоровича Керна, случившейся 25 июля 1842 года. Как вдова генерала, Анна Петровна, оставшись в сожительстве с любимым мужчиной, могла получать

приличную пенсию, но от такого развития событий отказалась — стала Марковой-Виноградской.

Дальше жила разновозрастная пара в любви и согласии, перебиваясь с хлеба на воду, часто и подолгу проживая в крохотном имении Александра Васильевича — в селе Сосницы Черниговской губернии.

В те годы Анна Петровна писала сестре мужа: *«Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, потому что в нас много любви... может быть, при лучших обстоятельствах мы были бы менее счастливы. ...Мы, отчаявшись приобрести когда-нибудь материальное довольство, дорожим всяким моральным впечатлением и гоняемся за наслаждениями души и ловим каждую улыбку окружающего мира, чтоб обогатить себя счастьем духовным. Богачи никогда не бывают поэтами... Поэзия — богатство бедности...»*.²⁵



Клад да жена на счастливого. Александр Васильевич вторил супруге: *«Благодарю тебя, Господи, за то, что я женат! Без нее, моей душечки, я бы изныл, скучая. Все надоедает, кроме жены, и к ней одной я так привык, что она сделалась моей необходимостью! Какое счастье возвращаться домой! Как тепло, хорошо в ее объятьях. Нет никого лучше, чем моя жена. Семейная жизнь, освященная любовью, есть величайшее счастье — она уравновешивает все несчастья наши»*.

Вместе супруги Марковы-Виноградские жили долго-долго и умерли в один и тот же 1879 год, в начале года — он, летом — она, в Москве, в меблированных квартирах на углу Грузинской и Тверской улиц.

Их сын, Александр Александрович, похоронил Анну Петровну на погосте возле старой каменной церкви в деревне Прутня, что в шести километрах от Торжка — дожди размыли дорогу и не позволили доставить гроб на кладбище, «к мужу». Могилы супругов со временем затерялись, однако на кладбище есть символическое, им посвященное надгробие — кенотаф. Существует легенда о последней «встрече» Анны Петровны с Пушкиным — когда похоронный возок с её гробом проезжала по Тверскому бульвару, на нём как раз устанавливали памятник человеку, навеки её прославившему.

Дочь Анны Петровны Керн от первого брака, Екатерина Ермолаевна Керн, 1818 года рождения, в детстве и юности родительским вниманием была обделена, воспитывалась в Смольнинском институте благородных девиц, который с отличием окончила в 1836 году. Далее, почти три года жила со стариком-отцом, Ермолаем Фёдоровичем, служившим в то время комендантом Смоленска; затем вернулась в Альма-матер — классной дамой.



Весной 1839 года с ней познакомился Михаил Иванович Глинка, часто навещавший в институте свою сестру, Марию Стунееву, и так описавший — в письме к «маменьке» — свои начальные чувства к новой возлюбленной: *«...мой взор невольно остановился на ней: её ясные выразительные глаза, необычайно стройный стан ... и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей её особе, всё более и более меня привлекали. ... Я нашёл способ побеседовать с этой милой девицей. ... Чрезвычайно ловко высказал тогдашние мои чувства. ... Вскоре чувства*

*мои были вполне разделены милою Е. К., и свидания с нею становились отраднее. Всё в жизни контрапункт, то есть противоположность ... Мне гадко было у себя дома, зато сколько жизни и наслаждения с другой стороны: пламенные поэтические чувства к Е. К., которые она вполне понимала и разделяла...»*²³

Увлечение Михаила Ивановича Глинки Екатериной Керн, музыкально им отражённое в прелестном вальсе-фантазии, пришлось на время выяснения им отношений

со своей законной супругой (и дальней родственницей) Марией Петровной Ивановой, с которой он уже четыре года пребывал в не сложившемся браке. И последнее обстоятельство было сильным катализатором его новых любовных чувствований.

В начале 1841 года Екатерина Керн заболела, переехала к матери на Дворянскую улицу Петроградской стороны. Здесь Глинка часто навещал возлюбленную, в эту пору написал в её честь романс на посвящённые её матери стихи Пушкина — «Я помню чудное мгновенье». В 1841 году Екатерина забеременела. Начавшийся незадолго до этого бракоразводный процесс Глинки с женой, уличённой в тайном венчании с корнетом Николаем Васильчиковым (племянником фаворита Николая I князя Иллариона Васильевича Васильчикова) давал ей надежду стать женой композитора.

Она часто плакала, упрекала его в нерешительности, требовала от него решительных действий. Но суд затянулся, и Глинка, во избежание публичного скандала, дал Екатерине деньги на аборт, после совершения которого мать увезла дочь на Украину, выздоравливать.

«Прошла любовь явилась муза и просветила тёмный ум...» — так Пушкин описал итог своих отношений с Елизаветой Воронцовой. Об окончании связи с Екатериной Керн Михаил Глинка отписал языком прозы другу, либреттисту оперы «Руслан и Людмила», Валериану Фёдоровичу Ширкову: «К счастью, муза к этому времени воспрянула от долговременного сна и подкрепила меня в новом разочаровании. Идеал мой разрушился — свойства, коих я столь долгое время и подозревать не мог, высказались неоднократно и столь резко, что я благодарю провидение за своевременное их открытие».²³

В 1842 году Екатерина Керн вернулась в Петербург, Глинка не раз встречался с ней, но уже «без прежней поэзии и прежнего увлечения». Летом, покидая Петербург, он в очередной раз простился с Екатериной Ермолаевной, как выяснилось — навсегда. Развод он получил только в 1846 году, но брачными узами себя впредь не связывал.

Как и мать, Екатерина Ермолаевна Керн вышла замуж только в возрасте тридцати шести лет — за юриста Михаила Осиповича Шокальского. Через два года родила сына Юрия, ещё через десять лет овдовела. Сына (в будущем — Председателя Русского Географического Общества) она выводила в люди, будучи недостаточна в средствах. Поддерживал её денежно в эти тяжкие годы сын Пушкина — Григорий Александрович Пушкин. Умерла Екатерина Керн в 1904 году, но до последнего вздоха своего сохранила в сердце не иссякающую любовь к Михаилу Глинке. «Таинственны предначертания и неисповедимы пути Господни».

Часть четвёртая. После университета

Выпущенный кандидатом из университета, Никитенко прехотительно устроил свои дела — попечитель округа Константин Матвеевич Бороздин перевёл его на должность секретаря с жалованьем 1200 рублей в год. Под началом этого замечательного человека, коренного петербуржца, профессионального историка и археолога, Александр Васильевич проработал до 1832 года. Далее Бороздин был назначен сенатором, получил чин тайного советника и до конца дней своих, наступивших в 1848 году, занимался родословными дворянских фамилий. (В 1809 году по высочайшему повелению Бороздин предпринял учёное путешествие по России, результатом которого стало собрание великолепных акварельных рисунков. В их числе — план Киева с окрестностями, планы Чернигова и других городов, с историческими и археологическими рисунками, с описаниями хранящихся в них древностей.)



«1 января 1829 года

12 часов ночи. Новый год встречаю я с пером в руке: przygotowляю юридические лекции. Но нынешний вечер дело это особенно затруднено. Квартира моя граничит с обиталищем какой-то старухи, похожей на колдунью романов Вальтера Скотта. Там до сих пор не умолкают буйные песни вакханок, которые сделали, кажется, порядочное возлияние в честь наступающего года. Удивительно, как наши женщины низкого сословия преданы пьянству. Весь дом, в котором я квартирую, не исключая и моей хозяйки, наполнен сими грубыми творениями, которые не упускают случая предаться самому бесшабашному разгулу. Ссоры и форменные побоища обыкновенно заключают их беседы, и одна угроза квартального заставит их мести улицы усмиряет этих жалких детей невежества.

Но вот новый год встречаю я рассуждениями о предметах весьма неизящных. Впрочем, природу человеческую надо наблюдать во всех её видах, и, к несчастью, представляют обильную жатву истин, конечно, горьких, но необходимых для точного познания человека...

Моё личное положение следующее: я служу секретарём при попечителе С.-Петербургского учебного округа Константине Матвеевиче Бороздине. Я не знаю человека с более благородным сердцем... Он не учился систематически, но читал много и, что чудо между нашими дворянами и администраторами, размышлял ещё более. Он имеет обширные познания в русской истории, которую изучал, как патриот, и вместе как философ. Ум его возвышен. Поэтическая фантазия нередко уносит его из области нашей мёртвой и горестной действительности в чистую, светлую область идей, и, хотя он не любит немецкой философии, но это только на словах, ибо, сам того не замечая, почти во всё следует её могучему гению. Он ждёт для России лучшего порядка вещей и, любя её превыше всего, превыше самого себя, со смирением несет тягости общественные».²¹

Новую служебную деятельность под началом Бороздина Никитенко начал с выполнения порученной ему работы по составлению «Примечаний» к цензурному уставу 1828 года. Этот только введённый устав был значительно, либеральнее предшествовавшего ему «чугунного устава» 1826 года, но в нём имелось немало неясных, местами и двусмысленных формулировок, затруднявших работу цензоров и давивших на печатное слово. «Это моя первая работа в законодательном смысле и направлена к тому, что мне всего дороже — к распространению прав русских граждан на самостоятельную духовную жизнь», — записал Александр Васильевич в дневнике 23 августа 1828 года.

Основную работу Александр Васильевич совместил с чтением лекций в пансионе Курнанда (за 1600 рублей) и уроками русской словесности, кои он, хлопотами Якова Ивановича Ростовцева, начал читать родственнику последнего, Уварову (по десяти рублей за два часа). Стал Александр Никитенко фактотумом для Ростовцева, делившегося с ним самым сокровенным, выпытывавшем при встречах с ним мнение того о его поступке в канун выступления декабристов, когда он предупредил будущего императора Николая о возможном мятеже офицеров. «Что скажет обо мне потомство? — спрашивал он, — я боюсь суда его. Поймёт ли оно и примет ли побудительные причины, руководившие мною в бедственные декабрьские дни? Не сочтёт ли оно меня доносчиком, трусом, который только о себе заботился?»

Никитенко утешил друга рассуждением, что судить потомство о нём будет не по одному поступку, а по характеру всей деятельности. (Ростовцев был основным и активным деятелем по подготовке крестьянской реформы 1861 года, за год до которой он скончался.). Об известном «Письме Ростовцева», поданном государю накануне бунта 14-го декабря 1825 года, Никитенко отметил в дневнике, что «кроме республиканской смелости, видна некоторая затейливость и натяжка патриотизма. Ростовцев хотел показаться слишком благородным, а это, в соединении с сомнительным положением,

в каком он находился, может показаться многим только хитрою стратегиею, посредством которой он хотел в одно время выпутаться из беды и явиться человеком доблестным». (Переводя заключение Никитенко на современный язык, хотел Яков Иванович Ростовцев «и невинность соблюсти, и капитал приобрести»).

Сопровождая Бороздина в его инспекторских поездках по округу, Никитенко в то же время деятельно готовился занять кафедру естественного права. Потерпев в этом неудачу, он в 1830 году по избранию совета университета начал преподавать в нем теорию о народном богатстве по Адаму Смиту.

«21 марта 1829 года

Философско-юридический факультет здешнего университета предложил мне занять кафедру естественного частного и публичного прав, которая по болезни профессора Лодия остаётся праздною. Я согласился с удовольствием. Это прекрасное средство к собственному моему усовершенствованию, особенно в дикции. Весь факультет единогласно был за меня. По его мнению, я, владея даром слова и добросовестным отношением к делу, мог бы принести университету большую пользу моими лекциями. Недоставало только утверждения университетского совета. Там ректор Дегуров, который ко мне недоброжелательно относится, восстал против моего назначения и я был отвергнут. Вот его причины: «С некоторых пор мы беспрепятственно получаем выговоры от министра и от попечителя. Никитенко пользуется доверием последнего, следовательно, он в этом виноват, следовательно, он не имеет философского духа, следовательно, не должен преподавать собственное право в университете». Сильно и убедительно! Признаюсь, мне крайне хотелось воспользоваться неожиданным предложением факультета, и потому неудача меня опечалила...

3 января 1830 года

Университет предложил мне на нынешний год кафедру политической экономии, которую буду занимать в качестве помощника ординарного профессора Бутырского, а вчерашний день я начал преподавать в пансионе Курнанда, сверх прав и статистики, русскую словесность по два часа в неделю».²¹

В этом году Никитенко пригласили преподавать в Екатерининский институт, более точно именовавшийся «Училищем ордена Святой Екатерины» для благородных девиц. После Смольного института, это было второе по счету подобного рода специализированное учебное заведение в столице, основанное в 1798 году императором Павлом I для бедных «благородных девиц». Указанный орден, первоначально именовавшийся орденом Освобождения, был учреждён царём Петром в 1714 году в честь царицы Екатерины Алексеевны, которая в критической ситуации Прутского похода 1711 года убедила супруга начать мирные переговоры с окружившими русское войско турками и, по легенде, отправила великому визирю свои драгоценности.



В общей иерархии российских государственных наград орден Святой Екатерины занимал второе место — после ордена Андрея Первозванного — и награждались им «особы женского пола». Главой ордена, в том числе после смерти императора, оставалась императрица, которая подписывала грамоты на пожалование этой наградой. (В случае с императором Павлом таковой была вдовствующая императрица Мария Фёдоровна.)

С каждой награждённой орденом дамы взимался денежный взнос на богоугодное заведение, а начиная с Марии Фёдоровны, все они брали на своё попечение благотворительные и образовательные учреждения России. К таковым относились открытые, сначала в Санкт-Петербурге, а затем (в 1803 году) в Москве училища ордена Святой Екатерины.

Благотворительные взносы обладательниц ордена составляли десятую часть училищных расходов, остальные средства добавлялись казной, императорской фамилией, различными учреждениями и частными лицами. (На содержание Петербургского института, в котором воспитывались двести девиц, расходовалось ежегодно шестьдесят тысяч рублей.)

Изначально в училища принимали на казённое содержание дочерей или воспитанниц кавалерственных дам и «лиц, не ниже штаб-капитана, штаб-ротмистра и надворного советника». Для поступления требовалось знание основных молитв — «Отче наш», «Богородица Дево» и других, умение читать и списывать с книги на русском и французском языках, складывать и вычитать в пределах ста. Обучение длилось шесть лет. Перед преподавателями и воспитателями Екатерининского института ставилась задача «подготовить девиц к будущему их состоянию и не выводить их из того круга, который природа для них начертала, ... остерегаться, чтобы не дать им новых потребностей и даже знаний, которые могут обратиться в тягость их родителям, когда они возвратятся домой». (Позже институт стал давать желающим и профессию — гувернанток и домашних учительниц.)

Петербуржскому Екатерининскому институту первоначально был выделен Итальянский дворец на Фонтанке, выстроенный ещё в 1711 году императором Петром Первым для его дочери Анны. В 1796 году было решено отдать это здание под военно-сиротский дом, но в 1800 году перерешили разместить в нём вновь организованное Екатерининское училище. Обетшавший к тому времени дворец снесли, и на его месте Джакомо Кваренги построил (в 1804 — 1807 годах) новое здание. (В нём и поныне существующем, размещается филиал Публичной библиотеки, в которой автор этих строк, будучи студентом Ленинградского электротехнического института, в середине шестидесятых годов готовился к сессионным экзаменам.)

«3 декабря 1830 года

Сегодня поутру я был в институте. Помощник инспектора, Тимаев, представил меня начальнице, г-жен Кремпиной. Мне объяснили план преподавания, которому я должен следовать. Девицам остаётся год до выпуска. Они почти ничего не знают из словесности, и в этот год надо сделать то, на что обыкновенно полагается три года. Жалованье невелико: 1050 руб. за девять часов преподавания в неделю. Впрочем, место это считается почётным и представляет обширное поле для учебной практики. Сверх того, приятно беседовать с мильми существами; приятно вселить хоть одну из своих идей в сердце матерей будущего поколения и содействовать их образованию, содействовать успехам русского общества».²¹

Далее, подводя итоги 1830 года, Никитенко высказывается тоном совершенного пессимиста: «Истекий год принёс мало утешительного для просвещения в России. Над ним тягостел унылый дух притеснения. Многие сочинения запрещались по самым ничтожным причинам можно сказать, даже без всяких причин, под влиянием овладевшей цензорами паники. Нам пришлось удостовериться в горькой истине, что на земле Русской нет и тени законности. Умы развращаются, видя, как законы, сокрушаются теми же самими, кто их составляет.

«1 января 1831 года

Новый год встретил у Деля. Собрание было большое, и все, кажется, веселились. Старинный обычай являться в масках еще держится. Многие и сюда в них явились. Дам было мало красивых. Инспектриса Екатерининского института, г-жа Штатникова, пышна, величава, но уже зрелых лет. Моей поэзией на нынешний вечер была сама хозяйка дома, Анна Петровна Дель. Она не хороша собой и не первой молодости: ей лет под тридцать. Но эта женщина меня очаровывает своим нежным женским умом, своею сердечною любезностью и невыразимо милым простодушием. Все это сообщает ее лицу такое выражение, что ее предпочтешь всякой красавице.

Путру в Новый год я был осажден поздравителями. Никогда еще не бывало у меня такой толпы разнородных лиц — знак, вероятно, что и меня начинают считать за человека. Сам я был с визитами у институтского начальства, у князя Голицына. Вечер провел у Троицкого, который сегодня праздновал обручение свое с невестою».²¹

Бич рода человеческого — холера, объявившись в 1830 году в Оренбургской и Астраханской губерниях, поздней осенью докатилась до Средней России, захватила Москву, а летом 1831 года — Петербург. Только за первые две недели эпидемии в столице заболело этой страшной болезнью более трёх тысяч человек, полторы тысячи из которых скончались.

На истребление холеры были брошены как гражданские, так и военные медицинские силы, однако их мощи оказалось недостаточно для того, чтобы побороть страшную хворь, природа которой и пути её передачи не были известны медицинскому миру. К тому времени император Николай I, опасаясь за жизнь и здоровье своё и семьи, покинул Петербург, переехал в Петергоф. Его примеру последовали состоятельные жители столицы, заколотившие свои городские особняки и устремившиеся в пригород, на дачи, куда болезнь ещё не успела добраться благодаря объявленному карантину.

Несмотря на отсутствие императора, в столице поддерживалась видимость порядка. Обезлюдившие улицы, на которые выходили по крайней необходимости, «прочёсывали» конные полицейские, отлавливавшие больных и всё больше и чаще допускавшие произвол в отношении простолюдинов, не могших как получить должной медицинской помощи, так и покинуть город из-за действовавшего для них запрета, подкреплённого оцепившими Петербург войсками.

Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иностранцы, распространявшие заразу для того, чтобы известить русский народ. И, подобно зажженной соломе, вспыхнул холерный бунт — дикий и беспощадный. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу. Кроме того, активно искали «отравителей», учиняя обыски. Особенно страдали те, кто, слушая рекомендации лекарей, имел при себе специальную хлориновую известь, которой рекомендовалось протирать некоторые участки тела, чтобы обезопасить себя от заразы. Обезумевшие люди, обшаривая едва держащегося на ногах от страха человека, извлекали из кармана пузырёк, и избивали его владельца до полусмерти, подозревая в нём отравителя.



Больных становилось всё больше, власть откровенно бездействовала, и 22 июня 1830 года на улицах Петербурга начались беспорядки: люди ходили группами и нападали на «отравителей», обыскивали холерные кареты, пытались обнаружить отраву, вступали в драку с полицией. Встречая на улицах «подозрительно» выглядящих людей, набрасывались с криками и обыскивали. Бесчинства и сумасшествие дошли до апогея, когда огромная возбуждённая толпа, собравшаяся на Сенной площади, где стояла временная холерная больница, ворвалась в её палаты, выбила оконные стёкла, переломала мебель, выгнала больничную прислугу и до смерти избивали врачей.

«20 июня 1831 года

Мы учреждаем для своих чиновников лазарет. Сегодня я целый день хлопотал с попечителем об этом. Ездил к Кайданову просить совета о докторе.

В столице мало докторов, и теперь их трудно достать.

В городе недовольны распоряжениями правительства; государь уехал из столицы. Члены Государственного совета тоже почти все разъехались. На генерал-губернатора мало надеются. Лазареты устроены так, что они составляют только пе-

реходное место из дома в могилу. В каждой части города назначены попечители, но плохо выбранные, из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки.

Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отправляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей, и т.п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят всех их перебить. Правительство точно в усыплении: оно не принимает никаких мер к успокоению умов.

21 июня 1831 года

На Сенной площади произошло смятение. Народ остановил карету, в которой больных везли в лазарет, разбил её, а их освободил. Народ явно угрожает бунтом, кричит, что здесь не Москва, что он даст знать себя лучше, чем там, немцам лекарям и полиции. Правительство и глухо, и слепо, и немо...»²¹

Только после такого взрывчатого, массовому бешенству подобного проявления людской психики генерал-губернатор столицы Пётр Кириллович Эссен принял энергичные меры для пресечения беспорядков — гвардейские полки, усиленные артиллерией, окружили площадь, а на бесновавшуюся толпу массированным ударом обрушился пехотный, а также Сапёрный и Измайловский батальоны.



Засим на Сенной площади появился император Николай, укоривший по-отечески собравшихся там обывателей с искореженной холерой психикой, даже поцеловал кого-то из них, чем вызвал у наиболее чувствительных представителей публики слёзы умиления и крики «умрём за батюшку царя». Поговаривали также, что царь действительно был на редкость убедителен в своём воззвании, однако история остаётся непреклонной: бунтующую толпу усмирили войска, но отнюдь не красноречие и поцелуи батюшки-царя.

Впрочем, последнее обстоятельство нисколько не очернило его реноме в глазах потомков, и на одном из барельефов, украшающих постамент памятника Николаю I на Исаакиевской площади, можно увидеть горельефную сцену царского умиротворения народа в июне 1831 года, на столичной Сенной площади.

«28 июня 1831 года

Болезнь свирепствует с адскою силой. Стоит выйти на улицу, чтобы встретить десятки гробов на пути к кладбищу. Народ от бунта перешёл к глубокому безмолвному унынию. Кажется, настала минута всеобщего разрушения, и люди, как приговорённые к смерти, бродят среди гробов, не зная, не пробил ли уже и их последний час.

3 июля 1831 года

Вчера был у меня доктор Гассинг. Он говорит, что холера начинает несколько ослабевать. Третьего дня умерших было 277 человек, вчера 235.

Сейчас получил записку от Дея, в которой он извещает меня, что в институте умерли от холеры четыре девицы, из них две моего класса — одна Львова, другая — Якубовская из второго отделения.

30 июля 1831 года

Давно уже не писал я ничего в моём дневнике. Между тем холера почти прошла. Меня судьба пощадила — для чего? Я об этом так же мало знаю, как мало размышляла она, выдёргивая наудачу имена тех, которым надлежало погибнуть...»²¹

Часть пятая. Набор высоты

После холерного лета 1831 года, Никитенко, как и другие выжившие петербуржцы, отсидевший на карантине дома, только в сентябре вышел в «литературный свет», появился на одной из традиционных «сред» у критика и поэта Петра Александровича Плетнёва. Земляк Александра Васильевича, 1791 года рождения, он в эту пору преподавал литературу цесаревичу Александру Николаевичу и великим князьям. В 1832 году занял кафедру словесности в Санкт-Петербургском университете (а с 1840 года два десятка лет был его ректором). Человек мягкий и деликатный, Плетнёв был верным и заботливым другом — к нему обращались за советом Жуковский, Пушкин, Гоголь, всем им он служил делом и советом; мнением его они очень дорожили.

«23 сентября 1831 года

Был вечером у Плетнева. Я думал найти там А.С. Пушкина, однако его там не было. Вместо себя он прислал едкую критику на Булгарина и Греча и несколько новых стихотворений для «Северных цветов».

Здесь в первый раз видел барона Розена, автора нескольких весьма приятных стихотворений, в которых выражается душа, страстная к идеалам. Был неизменный наш собеседник по средам, Сомов, который теперь очень озабочен по случаю издания «Северных цветов». Я обещал ему по его просьбе отрывок из моего «Леона».²¹

Барон Егор Фёдорович Розен, с которым познакомился Никитенко у Плетнёва, был выходцем из остзейских дворян. Выучившись (по его словам) русскому языку, он писал на нём стихи, прохладно воспринимавшиеся его коллегами по поэтическому цеху. В Петербурге, где — после отставки — он жил с 1828 года, подружился с Дельвигом и Пушкиным, ободрившим барона в стихосложении. Яков Фёдорович Розен известен как автор первого либретто оперы Глинки «Жизнь за царя», большая часть которого была написана на готовую музыку.

Орест Михайлович Сомов, 1797 года рождения, земляк Никитенко по Слобожанщине, выпускник Харьковского университета, в описанную Александром Васильевичем встречу активно, по просьбе Пушкина, готовил к изданию новый номер журнала «Северные цветы», весь доход от которого должен был пойти, по замыслу Александра Сергеевича, «в пользу двух сирот», братьев покойного Дельвига, скончавшегося в январе 1831 года от тифа (ставшего следствием нервного потрясения, пережитого Антоном Антоновичем после допроса у Бенкендорфа).

Выпуск благотворительного номера журнала выгоды не дал, за что Пушкин (напрасно) обиделся на милейшего Сомова, не имевшего склонности к коммерческим предприятиям. Так уж случилось, что этот рано умерший литератор, уйдя из жизни, ушёл и из памяти своих литературных друзей и недругов, хотя того не заслужил (достаточно вспомнить его «Письмо украинца из столицы», опубликованное в издававшемся в Харькове журнале «Украинский вестник» в 1818 году). Отрывок из романа Никитенко «Леон или идеализм», о котором просил Сомов, был опубликован в журнале «Северные цветы» за 1832 год.

В тот бедоносный холерный 1831 год занятия в Екатерининском институте возобновились, как и полагалось, в первых числах сентября. В ноябре прошли экзамены, за которые Никитенко получил благодарность «за успехи девиц» от инспектора и началь-

ницы. Долго не соглашался утвердить Никитенко в звании адъюнкта министр просвещения Ливен; «не немец» — объяснял он своё несогласие попечителю округа.

«20 апреля 1832 года

В настоящее время у нас в России есть, так сказать, средний род умов. Это люди образованные и патриоты. Они составляют род союза против иностранцев, и преимущественно немцев. Я называю их средними потому, что они довольно благородны и довольно просвещённые: по крайней мере они уже вырвались из тесной сферы эгоизма. Но они сами себе не умеют дать отчёта: хорошо ли безусловное отвержение немцев? Они односторонни и, действуя по страсти, разумеется, увлекаются дальше надлежащих границ.

Немцы знают, что такая партия существует. Поэтому они стараются сколь возможно теснее сплотиться, поддерживают всё немецкое и действуют столь же методически, сколько неуклонно. Притом деятельность их не состоит, как большей частью у нас, из одних возгласов и воззваний, но в мерах. Эта борьба может при случае иметь вредные последствия. Она будет у нас не между сословиями и партиями, как во Франции, сражающимися за идеи, а будет племенная, что всего хуже для России многоплеменной.

По сердцу и чувству мы, русские, богаче всех других европейских народов. Но по твёрдости духа мы ниже их: вот почему так много несообразности в наших страстях и понятиях.

22 апреля 1832 года

Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, особенно для малороссиянина, «Повестей пасечника Рудого Панька». Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие.

У него застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанники нежинской гимназии. Между ними никого замечательного. Любич-Романович, правда, не без дарований, но, вспыхнув маленьким огоньком, он уже быстро гаснет. Он принадлежит к категории тех писателей, которым никогда не приходит в голову, что для того, чтобы быть поэтом, надо учиться, много учиться в школе жизни, опыта, природы и истории человечества».²¹

Василий Игнатьевич Любич-Романович, 1805 года рождения, воспитанник Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко — писатель, автор «Сказания о Богдане Хмельницком», опубликованном в 1829 году в журнале «Сын Отечества». В его переводах Байрона, Мицкевича, с французского и итальянского критики отмечали искренность чувств и прекрасное понимание подлинника.

Помимо Петербургского и Московского Екатерининских институтов в ведение вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны с 1818 года попал и Харьковский институт благородных девиц, учреждённый в 1812 году тамошним Обществом Благотворения, оказывавшим поддержку дворянам, «по разным причинам впавшим в бедность». Такое переподчинение позволило институту укрепить финансово, увеличить число воспитанниц, улучшить качество преподавания. Председателем Совета института был избран губернский предводитель дворянства, подполковник Андрей Фёдорович Квитка. Членом совета института (и его преподавателем) был профессор Харьковского университета Пётр Петрович Гулак-Артемовский, выдающаяся личность в истории украинской культуры — педагог, писатель, историк, филолог, переводчик, поэт, родоначальник украинской сатиры и баллады. В январе 1833 года он, находясь в Петербурге, вместе с Григорием Ивановичем Вилламовым, руководителем канцелярии ведомства Марии Фёдоровны (или Четвёртого отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии) посетил Екатерининский институт, присутствовал на уроке земляка, Александра Васильевича Никитенко:

«26 января 1833 года

В институте у меня в классе был Вилламов вместе с Гулаком-Артемовским, профессором Харьковского университета и членом совета тамошнего женского института. Я экзаменовал девиц. Они робели, но отвечали хорошо, только говорили немного тихо. Инспектриса заметила, что я не лучших вызывал. У нас все делается для парада и показа...»²¹

Рубеж двадцатых-тридцатых годов девятнадцатого века был временем активного переустройства системы народного образования, устроенного императором Николаем Павловичем по следам выступления декабристов, выстраивавшегося по формуле министра Уварова: «*православие, самодержавие, народность*». Системе образования был возвращен сословный характер, её общее устройство осталось тем же, но все школы были выведены из подчинения университетам и переведены в прямое подчинение администрации учебного округа

Было сильно изменено преподавание в гимназиях, где главными предметами стали греческий и латинский язык («реальные» предметы разрешалось преподавать как дополнительные). Гимназии рассматривались лишь как ступень к университету; таким образом, учитывая сословный характер гимназий, разночинцам был практически закрыт доступ к высшему образованию. Благородные пансионы и частные школы, плохо поддававшиеся тотальному контролю со стороны государства, были закрыты или преобразованы, их учебные планы должны были быть согласованы с учебными планами государственных школ.

В университетах и других высших учебных заведениях была отменена выборность ректоров, проректоров и профессоров — они теперь прямо назначались Министерством народного просвещения. Поездки профессоров за границу были резко сокращены, прием студентов ограничен, была введена плата за обучение. Для всех факультетов стали обязательными богословие, церковная история и церковное право. Ректоры и деканы должны были наблюдать, чтобы в содержании программ, в обязательном порядке представляемых профессорами перед чтением курсов, «*не укрылось ничего, несогласного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений*». Из учебных планов была исключена философия, признанная — «*при современном предосудительном развитии этой науки германскими учеными*» — ненужной. Чтение курсов логики и психологии возложили на профессоров богословия.

Император самолично контролировал ход учебно-воспитательных процессов в учебных заведениях всех уровней, малейшее отступление от введённых в учебные процессы норм и правил сурово наказывались. Так случилось, в частности, с попечителем Бороздиным.

«10 апреля 1833 года

Сегодня Николай Павлович посетил нашу первую гимназию и выразил неудовольствие. Вот причины. Дети учились. Он вошёл в пятый класс, где преподавал историю учитель Турчанинов. Во время урока один из воспитанников, впрочем, лучший и по поведению и по успехам, с вниманием слушал учителя, но только облокотясь. В этом увидели нарушение дисциплины. Повелено попечителю отставить от должности учителя Турчанинова.

После сего государь вошёл в класс к священнику — и здесь та же история. Все дети были в полном порядке, но, к несчастью, один мальчик опять сидел, прислонясь спиной у заднему столу. Священнику был сделан выговор, на который он, однако, отвечал с подобающим почтением:

— Государь, я обращаю более внимания на то, как они слушают мои наставления, нежели на то, как они сидят...

12 апреля 1833 года

Посещение государем первой гимназии имело более важные последствия, чем сначала казалось. Попечитель, наш благородный, просвещённый начальник, исполненный любви к людям и к России, — человек, которому недоставало только воли и счастья, чтобы занять один из важнейших постов в государстве, — одним словом, Константин Матвеевич Бороздин принуждён подать в отставку. Вчера он уже написал письмо к министру...»²¹

Отставка Бороздина произошла уже при новом министре просвещения — Семёне Семёновиче Уварове, назначившего на ставшее вакантным место попечителя Петербургского учебного округа князя Михаила Александровича Дондукова-Корсакова. Произошли существенные перемены и в профессиональном положении Никитенко — его назначили цензором Петербургского цензурного комитета.

«16 апреля 1833 года

Министр избрал меня в цензоры, а государь утвердил в сем звании. Я делаю опасный шаг. Сегодня министр очень долго со мной говорил о духе, в каком я должен действовать. Он произвёл на меня впечатление человека государственного и просвещённого.

— Действуйте, — между прочим сказал он, — по системе, которую вы должны постигнуть не из одного цензурного устава, но из самых обстоятельств и хода вещей. Но при том действуйте так, чтобы публика не имела повода заключать, будто правительство угнетает просвещение.

Я хотел было попросить у него увольнения от должности управителя попечительской канцелярией, но он изъявил своё решительное желание, чтобы я остался ещё в этом звании».²¹

Два с половиной года Никитенко занимал кафедру политической экономии, последнее полугодие уже в звании адъюнкта, полученном им за диссертацию «О главных источниках народного богатства». Вместе с тем, одновременное преподавание им русской словесности в Екатерининском училище благородных девиц создало ему в кругу столичных ценителей содержательного, одухотворённого русского слова солидный вес, что много позже засвидетельствовал академик Афанасий Фёдорович Бычков: «Живая и одушевлённая речь, стремление снять оковы, наложенные на предмет устарелыми правилами риторики и пиитики, и положить в его основание эстетические начала сделали вскоре известным в Петербурге имя молодого преподавателя. О нём заговорили и в среде педагогической и в высших слоях общества».

По указанной причине решил Александр Васильевич Никитенко переменить университетскую кафедру политической экономии на университетскую же кафедру русской словесности, что и исполнилось в начале августа 1832 года с последующей вступительной речью неопита, на новом поприще:

«26 августа 1832 года

Сегодня читал я в университете первую лекцию из русской словесности, или, лучше сказать, речь, в которой хотел изложить дух моего преподавания. Слушателей собралось много, не одних студентов, но и посторонних. В результате должен сказать, что я читал дурно. По крайней мере я чувствую глубокое недовольство собой. Мне советовали написать речь и читать ее по тетради, но я, по обыкновению, хотел импровизировать, а для этого я был слишком взволнован и у меня не хватило присутствия духа. Вышло слабо и бледно, и я сошел с кафедры с весьма неприятным чувством».²¹

В самобичевании, в оценке итогов вступительной лекции Александр Васильевич, кажется, переусердствовал. Известно, что его лекция «О происхождении и духе литературы», слушанная небывало большой аудиторией почитателей его интеллекта,

была ими горячо встречена, хотя и неоднозначно оценена. (Впоследствии её напечатали в журнале «Сын Отечества».) По свидетельству одного из слушателей, в лекции «было разбросано много светлых, здравых мыслей, составлявших у нас для того времени новизну, например, что постигнуть дух языка — значит постигнуть таинственное отношение его к духу народа, и что история первого может служить историей глубокой внутренней жизни второго, что на преподавателе теории словесности лежит обязанность распространять чистые понятия о сущности изящного и о высоком значении литературы, чтобы, с одной стороны, поднять её уровень, а с другой по достоинству оценить истинные дарования...»

За время своей многолетней службы в университете Никитенко не раз являлся оратором на университетских актах. Так, в 1836 году он произнёс речь «О необходимости теоретического или философского исследования литературы», в 1838 году — блестящее «Похвальное слово императору Петру Великому». В 1841 году Александр Васильевич открыл университетский акт речью «О современном направлении отечественной литературы», а год спустя сделал прекрасное выступление «О критике».

Перемена профессиональной ориентации в университете у Александра Васильевича произошла месяц спустя после — где-то в конце июля 1832 года случившейся — женитьбы. Избранницей его стала Казимира Казимировна Любощинская, племянница студента Петербургского университета (в будущем — известного цивилиста и знатока тюрьмоведения) Марка Николаевича Любощинского, дворянина, уроженца Витебской губернии. Любощинские были католиками, так что венчался Александр Васильевич с Казимирой в католическом храме Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте.

Можно осторожно предположить, основываясь на обыденной дневниковой записи Никитенко от 25 декабря 1839 года, что его супруга была выпускницей Екатерининского института:

*«Институтка, приятельница моей жены, умньенькая, хорошенькая Е.И.Ш., до сих пор очень бедная и жившая в гувернантках, вдруг сделалась обладательницей полумиллиона. Она выиграла в польскую лотерею 900 000 золотых. Вчера она была у нас; богатство пока не изменило ее: она по-прежнему проста, мила, точно не подозревает, каким могуществом вдруг подарила ее судьба. Между тем весь город толкует о ней. Императрица пожелала видеть ее».*²¹

Была Казимира Казимировна женщиной сильного очарования, что подтверждает мнение о её внешности художника Карла Брюллова, высказанное им во время посещения семейства Никитенко, 8 августа 1840 года, на даче в Павловске:

*«Брюллов уехал поздно вечером. За обедом он любовался моей женой. — Чудесная голова, — говорил он, — так и просится под кисть художника. Покончу с «Осадой Пскова» и стану просить вашу супругу посидеть для портрета».*²¹

Как и дядя, Марк Николаевич, была Казимира Казимировна родом из Витебской губернии, где её родителям, кажется, принадлежала деревня Тимоховка. На это указывают дневниковые записи, сделанные Никитенко в начале лета 1839 года, в пору посещения его с семьёй этих, весьма дремучих мест, дающие дополнительно сведения о скотском положении, в которое ввергало простой селянский люд крепостное право, о вседозволенности барствующим:

«30 мая 1839 года

... Из пребывания моего в деревне Тимоховке Могилевской губернии 13 июня, во вторник, выехал я из Петербурга. Ехал на почтовых довольно скоро, без насильственных задержек на станциях. Я рад был, что видел опять откры-

тое небо и широкий горизонт полей и лесов. Впрочем, небо здесь печальное и зелень бледная. Везде песок и глина; в деревнях тишина и неопрятность; города по пути жалкие, за исключением Порхова, который имеет довольно приличный вид.

В воскресенье, 18-го, приехал я в Шклов; там ожидали меня лошади из деревни, где уже с января месяца живет моя семья. Местоположение деревни и господского дома красивое. Особенно хороша большая березовая роща и за ней широко раскинувшийся свежий луг, как роскошный ковер, испещренный цветами.

23 июня. Хозяйки наши, две сестры Л., очень оригинальные женщины. Они девушки, уже немолодые, с остатками яркой красоты, католички, старинного польского рода, с аристократическими замашками, умные и властолюбивые до деспотизма...

30 июня. Я входил в избы здешних крестьян: что за нечистота и бедность! Дети в отрепьях, грязные; почти все или страдают болезнью глаз, или с вередями на лицах и на теле. Лица взрослых безжизненны и тупы, хотя уверяют, будто они под этою маскою скрывают и ум и хитрость. Эти люди, по-видимому, терпят крайнюю нужду и угнетение: о том свидетельствуют их лица, движения, одежда, или, вернее, рубища, которыми они прикрыты, их жилища. В последних вместо окон щели с грязными обломками стеклышек; в тюрьмах больше света. Глубочайшее невежество и суеверие гнездятся в этих душных логовищах. Религиозные понятия здесь самые первобытные. Крестьяне и крестьянки, отправляясь в церковь, говорят, что они «идут молиться богам и божкам».

Ко мне явились молодой парень и девушка. Они упали на колени и, распростерты на полу, пытались целовать мне ноги. Озадаченный и в негодовании, я спросил:

— Что это значит? Чего они хотят от меня?

— Это жених и невеста, — отвечали мне, — и таков здесь обычай.

А мой лакей-малороссиянин с оригинальным малороссийским юмором прибавил:

— Видите, они явились пред пана!

— Так что же?

— Да видите, оно как-то страшно подходить к господам.

— Почему же?

— Да так: все кажется, что по ухам заедут.

Невольно подумал я: какую национальную философию можно вывести из наблюдений над человеком в России — над русским бытом, жизнью и природой? Из этого, пожалуй, выйдет философия полного отчаяния.

Я дал жениху с невестой по пяти рублей и просил их больше так не кланяться.

— Довольна ли ты, что выходишь замуж? — спросил я, между прочим, у невесты.

— Нет, — отвечала она.

— Почему же?

— На воле жить лучше.

«Это недурно», — подумал я и спросил еще:

— Но зачем же ты идешь замуж, если не хочешь?

— Господа велят!

— Да, их соединяют, как скотов, для приплода!

26 июля 1839 года

Сегодня я приехал в Петербург в четыре часа утра, выехав из Тимоховки 20 числа. В Витебске, где был проездом, познакомился с прокурором, Яковом Петровичем Рожновым. Он мне показался человеком образованным и благородным. Много наслушался я тут любопытного об управлении этого края и особенно о генерал-губернаторе Дьякове. Несколько лет уже он признан сумасшедшим, и тем не менее ему поручена важная должность генерал-губернатора над тремя губерниями. Каждый день его управления знаменуется поступками, крайне нелепыми или пагубными для жителей. Утро он обыкновенно проводит на конюшне или на голубятне: он страстный любитель лошадей и голубей. Всегда вооружен плетью, которую употребляет для собственноручной расправы с правым и виноватым. Одну беременную женщину он велел высечь на конюшне за то, что она пришла к его дворецкому требовать сто пятьдесят рублей за хлеб, забранный у нее на эту

сумму для генерал-губернаторского дома. Портному велел отсчитать сто ударов плетью за то, что именно столько рублей был ему должен за платье. Об этих происшествиях и многих подобных, говорят, было доносимо даже государю. На днях он собственноручно прибил одну почтенную даму, дворянку, за то, что та, обороняясь на улице от генерал-губернаторских собак, одну из них задела зонтиком. Она также послала жалобу государю.

Что же после этого и говорить об управлении края? В Могилеве тоже хорошо: генерал-губернатор сумасшедший; председатель гражданской палаты вор, обокравший богатую помещицу, у которой был управляющим (он же и камергер); председатель уголовной палаты убил человека, за что и находится под следствием».²¹

Часть шестая. Цензорские хлопоты и проблемы

В Петербургском цензурном комитете Александр Васильевич отработал с 1833 по 1848 год, далее, до выхода на пенсию в 1865 году, работал в других цензурных ведомствах. За это время он, как известный «человек с пером», написал сотни деловых бумаг по цензурному законодательству — различные законы, проекты, инструкции, доклады, записки, предложения, примечания, объяснения, добавления. Работал Александр Васильевич напряжённо, порой без оплаты труда, ставя всегда перед собой высокие цели: «Я готов на всякий труд, который давал бы хоть тень надежды на пользу делу, столь дорогому для меня, как наука и литература».

«7 январь 1834 года

Барон Розен принес мне свою драму «Россия и Баторий». Государь велел ему переделать ее для сцены, и барон переделывает. Жуковский помогает ему советами. От этой драмы хотят, чтобы она произвела хорошее впечатление на дух народный.

Между бароном Розеном и Сенковским произошла недавно забавная ссора. По словам Сенковского, барон просил написать рецензию на его драму и напечатать в «Библиотеке для чтения», рассчитывая, конечно, на похвалы. Сенковский обещал, но выставил в своей рецензии баронского «Батория» в такой параллели с Кукольниковым «Тассо», что последний совершенно затмил первого. Барон рассердился, написал письмо к критику и довел его до того, что тот решился не печатать своего разбора, не преминув, впрочем, сделать трагиком не слишком-то лестные замечания. Оба были у меня, оба жаловались друг на друга. Но с Сенковским кому бы то ни было опасно соперничать в ядовитости».²¹

Осип (Юлиан) Иванович Сенковский, 1800 года рождения, на время дневниковой записи бывший коллегой Никитенко по цензурному комитету, широко и громко прославился меж современниками как писатель, журналист, литературный критик, учёный-лингвист, востоковед, а также как весьма вздорная и язвительная личность, за что Герцен назвал его «*Мефистофелем Николаевской эпохи*». Сын родовитого, но обедневшего польского землевладельца, он, усилиями матери, получил прекрасное домашнее образование, по окончании Виленского университета, в котором напитался идеями всемирно-исторического значения Востока, был причислен к константинопольской миссии и, начиная с 1819 года, совершил двухлетнее путешествие по Турции, Сирии и Египту. Освоил турецкий, арабский, сирийский, новогреческий и итальянский языки вдобавок к основным европейским. В 1821 году определился на службу переводчиком в Иностранную коллегию: в 1822–1827 годах занимал в Санкт-Петербургском университете должность ординарного профессора по кафедре арабской и турецкой словесности.

Начиная с 1828 года, в течение пяти лет Сенковский служил цензором в Петербургском цензурном комитете и, после ухода



из этого контрольно-исправительного ведомства (в 1833 году) его место занял Никитенко. Находясь в этой должности цензора, Александр Осипович в 1830 году издал сатирический роман одного английского писателя, указав на титульном листе имя автора «вольного перевода» — Барон Брамбеус. Сам же он выступил и цензором им переведённой книги и этим ловким шагом преодолел положение цензурного устава, запрещавшего автору произведения цензурировать собственные произведения. (Помимо «Барона Брамбеуса», бывшего главным псевдонимом Сенковского, он имел ещё с добрый десяток других разностильных «прикрытий» собственного авторства). Под этим же именем он выпустил в 1833 году сборник «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», имевший огромный успех у читателей.

Из всех литературно-издательских начинаний наибольшую известность Сенковскому принесло его долгое и бессменное редакторство в «Библиотеке для чтения» — первом в России толстом журнале, начавшем выходить с 1834 года, отличавшемся универсальностью содержания и имевшем серьёзную финансовую основу (в лице Александра Филипповича Смирдина, основавшего журнал и им владевшего с 1837 по 1840 год). Славившийся завидной лёгкостью пера, Александр Осипович основательно заполнял своё издание собственными сочинениями — повестями, фельетонами, критическими эссе, учёными трактатами разнообразной (от музыки до медицины) тематики, порой бесцеремонно переделывая труды своих сотрудников.

Невысоки писательские достоинства Сенковского, да и как журналист он заслужил репутацию человека, не имеющего определённой эстетической позиции и нетвёрдого в своих критических приговорах. Хотя даже литературные противники признавали его начитанность и одарённость, глубокие познания в науке востоковедения.

Правда, в славянских древностях, как и в журналистике, его порой заносило в экстравагантность — языком Несторовой летописи он считал польский. Незадолго до смерти, наступившей в 1858 году, он высказал убеждение, что «Слово о полку Игореве» есть плод творчества «*питомца Львовской академии из русских или питомца Киевской академии из галичан на тему, заданную по части риторики и пиитики*».

«8 январь 1834 года

«Библиотека для чтения», журнал, издаваемый Смирдиным, поручен на цензуру мне. Это сделано по особенной просьбе редакции, которая льстит мне, называя «мудрейшим из цензоров».

С этим журналом мне много забот. Правительство смотрит на него во все глаза. Шпионы точат на него когти, а редакция так и рвется вперед со своими нападениями на всех и на все. Сверх того, наши почтенные литераторы взбеленились, что Смирдин платит Сенковскому 15 тысяч рублей в год. Каждому из них хочется свернуть шею Сенковскому, и вот я уже слышу восклицания: «Как это можно? Поляку позволили направлять общественный дух! Да он революционер! Чуть ли не он с Лелевелем и произвели польский бунт». Сам Сенковский доставляет мне много хлопот своею настойчивостью. У меня с ним частые столкновения. Одним словом, я осажден со всех сторон. Надо соединить три несоединимые вещи: удовлетворить требованию правительства, требованиям писателей и требованиям своего собственного внутреннего чувства. Цензор считается естественным врагом писателей — в сущности это и не ошибка».²¹

В продолжении всего срока профессионального общения с Никитенко Сенковский часто обращался к нему, по поводу цензурной оценки как своих, так и чужих книг, о чём свидетельствует немалое число сохранившихся писем его к Александру Васильевичу. Они говорят, что, несмотря на случавшиеся разногласия и следовавшие за ними периоды охлаждения, за долгие годы тесного сотрудничества между цензором и редактором сложились добрые неформальные отношения, дававшие возможность Сенковскому просить Никитенко не сдавать материалы в Цензурный комитет,

а решать все спорные вопросы между собой, полагаясь на честное слово: *«Милостивый государь Александр Васильевич. Смирдин сказывал мне вчера, что, просмотрев бегло моё «Сентиментальное путешествие», Вы находите необходимым представить его в Комитет. Я уже формально просил Вас о том, чтоб Вы никогда моих сочинений не представляли туда, и Вы мне то обещали; теперь ещё раз повторяю свою просьбу: не представляйте ничего моего в Комитет. Если какие-нибудь места усомнят Вас и г. попечителя, я готов смягчить, переменить, переделать и даже выкинуть. Но не сводите меня с Вашим народом...»*²⁷

Несмотря на комплименты и уступчивость в письмах редактора, нотки иронии и высокомерия, порой проскальзывавшие в них, не оставили у Никитенко неприязненного чувства, которое, увы, часто возникало у людей, общавшихся с Сенковским, и мешало их дальнейшего сближения с ним, оставляя его в одиночестве, литературном и личном.

«16 январь 1834 года

*На Сенковского, наконец, воздвиглась политическая буря. Я получил от министра приказание смотреть как можно строже за духом и направлением «Библиотеки для чтения». Приказание это такого рода, что если исполнять его в точности, то Сенковскому лучше идти куда-нибудь в писари, чем оставаться в литературе. Министр очень резко говорил о его «полонизме», о его «площадных остротах» и проч. Приметив во мне желание возражать, министр круто повернул разговор и немедленно затем отпустил меня. Говоря по совести, я решительно не знаю, чем виноват Сенковский как литератор. Безвкусице? Но это не касается правительства. Он не хвалит никого, а больше бранит; впрочем, его сатира общая. Конечно, я не могу поручиться за патриотические или ультрамонархические чувства его. Но то верно, что он из боязни ли или из благоразумия никогда не представляет себя либералом...»*²¹

В целом, если не брать во внимание естественную шероховатость профессионального взаимоотношения, цензор Никитенко и редактор-литератор Сенковский составляли вполне гармоничную пару и дневниковые записи Александра Васильевича подтверждают его неизменную уважительность к своему невольному оппоненту: *«Он восстал, но в заключение уступил мне, однако не столько как цензору, сколько приятелю, который убеждал его со стороны вкуса и приличия. Мы расстались вполне миролюбиво».*

Сотрудничавший в «Библиотеке для чтения» Нестор Васильевич Кукольник, подобно редактору журнала долгой литературной славой не имел, но, в отличие от него, сохранился в памяти потомков благодаря Михаилу Ивановичу Глинке, озвучившего стихи друга любезного Нестора прелестными романсами, песнями. Взлёту на литературный Олимп Кукольник был обязан патриотической драме «Рука Всевышнего Отечество спасла», с благодарным восторгом воспринятой верноподданными зрителями и читателями, но не принятой вкусом истинных знатоков русской литературы. (Николай Алексеевич Полевой отреагировал на премьеру драмы наполеоновским афоризмом: *«От великого до смешного один шаг».*)

Нестор Васильевич Кукольник родился 8 сентября 1809 года в Санкт-Петербурге, в семье известного Закарпатского просветителя Василия Григорьевича Кукольника. Прежде, в 1803 году, тот переехал в Россию, стал профессором Санкт-Петербургского педагогического института, на базе которого вскоре был учреждён университет; давал уроки великим князьям, Константину и Николаю, за что был обласкан их братом, императором Александром I, подарившим педагогу имение в Виленской губернии. В 1820 году Василий Григорьевич, не будучи избранным, как ожидал, ректором университета, переехал



с семьёй в Нежин, где возглавил Гимназию высших наук князя Безбородко, но только год в ней поработал. В 1821 году, видимо, не оправившись от полученной в столице обиды, покончил с собой, выбросившись из окна гимназии.

Его вдова с детьми переехала в Виленское имение, где вскоре скончалась. В 1823 году, когда директором Нежинской гимназии стал друг отца Нестора, Иван Семёнович Орлай, он, вместе с опекавшими его старшими братьями, вернулся в Нежин, где продолжил обучение в гимназии; его соучениками были Николай Гоголь-Яновский, Евгений Гребинка, Николай Прокопович. После событий декабря 1825 года и им сопутствовавшего восстания Черниговского полка Нестор был обвинён в недопустимом вольнодумстве и по окончании гимназии, вместо полагавшейся ему Золотой медали и аттестата, получил только справку об окончании этого учебного заведения.

Увезённый старшим братом Платоном в Вильно, Нестор пару лет весьма успешно преподавал в тамошней гимназии, а в 1831 году — в пору вспыхнувшего Польского восстания, перебрался в Петербург. Здесь раскрылся его писательский талант — в пьесе «Тортини», в драматической фантазии «Торквато Тассо». Постановкой патриотической драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла», на скорую руку написанную и в январе 1834 года в Александринском театре поставленную (при содействии Василия Андреевича Каратыгина, роль князя Пожарского исполнявшего), Нестор Кукольник весьма потрафил императору Николаю I и, в итоге, благонамеренным слоям общества. (Журнал «Московский телеграф», основатели которого, братья Полевые, усомнились в высоких художественных достоинствах драмы Кукольника, высочайшим повелением был закрыт.)

В начале тридцатых годов Кукольник сблизился сначала с композитором Михаилом Глинкой, а затем с художником Карлом Брюлловым, только что вернувшимся из Италии. Молодые, талантливые, полные творческих сил, они гордо называли себя союзом трех искусств: музыки, литературы и живописи. По средам на квартире у братьев Кукольников собиралась вся столичная богема: актеры, художники, писатели, музыканты, композиторы.

Кукольник был музыкально образованным человеком и понимал толк в живописи. Он печатно пропагандировал труды Брюллова и Глинки, участвовал в создании либретто обеих опер композитора (ему, в частности, принадлежит сцена Вани в «Иване Сусанине») и помогал ему в написании его произведений — в 1840 году Глинка написал цикл романсов «Прощание с Петербургом» на стихи Кукольника, музыку для его драмы «Князь Холмский».

В течение всего петербургского периода жизни (1832–1847 годы) Кукольник много сочинял, создал массу пьес, а в начале сороковых годов постепенно отошёл от лирики и начал активно писать в прозе. Смена жанра удалась, — по словам Белинского, в это время *«г. Кукольник один пишет в год больше, чем все литераторы наши, вместе взятые»*. За семилетие — с 1840 по 1846 год — Кукольник опубликовал семь больших романов и несколько десятков рассказов и повестей, одновременно редактируя журнал «Русский вестник» и еженедельник «Иллюстрация». В конце сороковых годов перешёл на государственную службу, много поездил по России.²⁸

Личная жизнь у Нестора Васильевича не сложилась. Две его первые серьёзные влюблённости остались втуне, женился он на немке, проститутке из петербургского борделя. К концу жизни, испытывая серьёзные проблемы со здоровьем, поселился в приморском Таганроге, где и закончил дни свои.

Александр Васильевич Никитенко, державшийся умеренных взглядов (в духе пушкинского: *«Привычка — душа держав»*), в отличие от автора этой драматической сентенции, весьма положительно оценивал творчество Кукольника:

«10 января 1836 года

Кукольник читал у меня своего «Доменикина». Это высокое произведение. Здесь Кукольник является истинным художником: поэтом и мысли и формы. Мы долго говорили наедине. Он разочарован двором. Не знаю, искал ли он его милостей или только хотел прикрыться его щитом. Как бы то ни было, а его положение незавидно. Каждое произведение свое он должен представлять на рассмотрение Бенкендорфа. С другой стороны, он своими грубыми патриотическими фарсами, особенно «Скопным-Шуйским», вооружил против себя людей свободомыслящих и лишился их доверия. Я не говорю о происках мелкой зависти, которая обыкновенно кидает грязью в таланты: талант не должен этого и замечать.

Интересно, как Пушкин судит о Кукольнике. Однажды у Плетнева зашла речь о последнем; я был тут же. Пушкин, по обыкновению грыз ногти или яблоко — не помню, — сказал:

— А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли.

Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным.

Чтение «Доменикина» продолжалось у меня до второго часа ночи. Все разошлись еще позже».²¹

Долгое время цензорский надзор сочинений Пушкина вёл, по собственной прихоти, император Николай I, что очень тяготило поэта, предпринявшего ряд попыток освободить хотя бы часть своих печатных трудов от монаршего внимания. Он неоднократно обращался к шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу с просьбой предоставить ему свободу относительно цензуры своих новых стихотворений.

В декабре 1833 года, получив предложение от Смирдина участвовать в новом журнальном проекте, Александр Сергеевич снова обратился к Бенкендорфу с просьбой предоставлять сочинения, публикуемые в «Библиотеке для чтения», в общую цензуру наравне с другими писателями. Просьба поэта была удовлетворена, и первым его сочинением, попавшим на просмотр к цензору Никитенко, стала поэма «Анджело». Александр Васильевич затруднился сам решить вопрос пропуска поэмы в печать и предоставил её на рассмотрение министра Уварова. Тот, прочтя пушкинское сочинение, велел исключить восемь стихов.

«1 апреля 1834 года

Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он просил меня рассмотреть его «Повести Белкина», которые он хочет печатать вторым изданием. Я отвечал ему следующее:

— С душевным удовольствием готов исполнить ваше желание теперь и всегда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями, а мы готовы. (Что сказать? — обрезать крылья ему? По крайней мере рука моя не злоупотребит этим.) Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведоьте, к какому времени вы желали бы окончания этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто, процензувань, — и т.д.

Между тем к нему дошел его «Анджело» с несколькими урезанными министром стихами. Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!»²¹

После скандальной ситуации с цензорскими урезками «Анджело» отношения Пушкина с цензорским ведомством пошли по скандальной спирали противостояния поэта с министром Уваровым, достигшей наивысшей своей точки с написанием Алек-

сандром Сергеевичем (в декабре 1835 года) стихотворения «На выздоровление Лукулла», направленного против его высокопоставленного противника.

История, положенная в основу стихотворения, следующая. Граф Дмитрий Николаевич Шереметев, крепостным которого в своё время был цензор Никитенко, находясь в Воронеже, тяжело заболел и вскоре по Петербургу поползли слухи о его кончине. Министр просвещения Уваров и князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский, женатые на сёстрах Разумовских, мать которых приходилась родной тёткой бездетному на то время Шереметеву, как ближайшие родственники могли претендовать на часть гигантского наследства.

Уваров опечатал петербургский дом Шереметева, не проверив предварительно слуха, который оказался ложным. Шереметев (читай — Лукулл) выздоровел, и Сергей Семёнович Уваров оказался в очень некрасивом положении.

«20 января 1836 года

Весь город занят «Выздоровлением Лукулла». Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор.

Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал вроде «Эдинбургского трехмесячного обозрения»: он будет называться «Современником». Цензором нового журнала попечитель назначил А.Л. Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело».²¹

С помянутым выше бывшим своим барином Дмитрием Николаевичем Шереметевым довелось Никитенко вторично пообщаться в 1841 году, когда он обратился к тому с просьбой выкупить из крепостной зависимости мать и брата, и, не получив от того никакого ответа, гневно на то отреагировал в дневниковой записи от 11 марта 1841 года: «Писал по этому поводу графу Д.Н. Шереметеву. Приближенные его меня обнадежили в успехе, но от него до сих пор ни слова. Боже великий! Что за порядок вещей! Вот я уже полноправный член общества, пользуюсь некоторой известностью и влиянием и не могу добиться — чего же? Независимости моей матери и брата! Полоумный вельможа имеет право мне отказать: это называется правом! Вся кровь кипит во мне, я понимаю, как люди доходят до крайностей!.. Жду с нетерпением приезда из Москвы Жуковского: может быть, его влияние в состоянии будет что-нибудь сделать...»¹⁸ (Действительно, только вмешательство добрейшего Василия Андреевича Жуковского вынудило графа Шереметева в середине апреля 1841 года дать выкупную свободу родным Никитенко.)

Работая в Цензурном комитете бок о бок с известными государственными лицами, Никитенко держал себя не послушным чиновником, приспособливающимся к тому или иному начальнику, а человеком-гражданином, гордым, с высоко стоящим чувством самоуважения, бескорыстным и честным, знавшим своё нравственное, интеллектуальное, деловое превосходство над ними и соответственно с этим действовал — для общества, науки, литературы. Такая гражданская позиция ему не раз «аукалась», в том числе в при выдаче разрешения на допуск к печати очередного тома «Библиотеки для чтения»:

«1 января 1835 года

Последние дни прошедшего года были для меня очень бурные. Я восемь дней провёл под арестом на гауптвахте.

Вот история сих дней.

В XII книжке «Библиотеки для чтения», коей я цензор, напечатаны следующие стихи, переведенные М. Делярю из Виктора Гюго:

КРАСАВИЦЕ

*Когда б я был царем всему земному миру,
Волшебница! тогда б поверг я пред тобой
Все, все, что власть дает народному кумиру:
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру,
За взор, за взгляд единый твой!
И если б Богом был — селеньями святыми
Клянусь — я отдал бы прохладу райских струй
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй!*

Более двух недель прошло, как эти стихи были напечатаны; меня не тревожили. Но вот, дня за два до моего ареста, Сенковский нарочно приехал уведомить меня, что эти стихи привели в волнение монахов и что митрополит собирается принести на меня жалобу государю. Я приготовился вынести бурю.

В понедельник, 16 декабря, в половине лекции моей в университете, я получаю от попечителя записку с приглашением немедленно к нему приехать. В записке было упомянуто: «по известному вам делу». Ясно было, какое это дело. Я привел свои душевные силы в боевой порядок и явился к князю спокойный, готовый бодро встретить обрушившуюся на меня беду.

Мой добрый начальник М.А. Дондуков-Корсаков с сокрушением объявил мне, что митрополит Серафим в воскресенье испросил у государя особенную аудиенцию, прочитал ему вышеприведенные стихи и умолял его как православного царя оградить церковь и веру от поруганий поэзии. Государь приказал: цензора, пропустившего стихи, посадить на гауптвахту. Я выслушал приговор довольно спокойно. Самая тяжкая вина, за которую меня можно было корить, — это недосмотр. Следовало, может быть, вымарать слова: «Бог» и «селеньями святыми» — тогда не за что было бы и придаться. Но с другой стороны, судя по тому, как у нас вообще обращаются с идеями, вряд ли и это спасло бы меня от гауптвахты». ²¹

Пострадал и переводчик этого чудного стихотворения — поэт Михаил Данилович Деларю, служивший секретарём в канцелярии военного министерства. В результате вспыхнувшего скандала он был вынужден подать прошение об отставке.

С Александром Сергеевичем Пушкиным в последний раз свиделся Никитенко за неделю до роковой для поэта дуэли — 21 января 1837 года, на вечере у Петра Александровича Плетнёва:

«21 января 1837 года

Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин; он все еще на меня дуется. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть баринком, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре.

7 февраля 1837 года

Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, — все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней — ни одного тулупа или зипуна. Церковь была напол-

нена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль — по крайней мере наружная. Возле меня стояли: барон Розен, В.И. Карлгоф, Кукольник и Плетнев. Я прощался с Пушкиным: «И был странен тихий мир его чела». Впрочем, лицо уже значительно изменилось: его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с Кукольником.

— Утешительно по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед, — сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов.

Ободовский (Платон) упал ко мне на грудь, рыдая как дитя.

Тут же, по обыкновению, были и нелепейшие распоряжения. Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так было назначено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему.

Попечитель мне сказал, что студентам лучше не быть на похоронах: они могли бы собраться в корпорации, нести гроб Пушкина — могли бы «пересолить», как он выразился.

Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности».

Краевский, редактор «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», тоже имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэту.

Я получил приказание вымарать совсем несколько таких же строк, назначавшихся для «Библиотеки для чтения».

И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись — но чего?

Церемония кончилась в половине первого. Я поехал на лекцию. Но вместо очередной лекции я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет».²¹



Ночью тело Пушкина тайно увезли в Псковскую губернию, где находилось родовое имение семьи — Михайловское. За год до смерти Пушкин похоронил в этих местах, в Святогорском монастыре, мать и купил место для себя. Гроб в специальном ящике обернули рогожей, поставили в простую телегу без кузова, называемую дроги, и завалили соломой. Сопроводять тело поэта Николай I повелел Александру Тургеневу, приятелю Александра Сергеевича. Единственным по-настоящему близким к Пушкину человеком оказался его слуга Никита Козлов — «дядька», который был приставлен ещё к мальчику Саше и находился рядом с бариним всю жизнь.

Траурный санный поезд мчался, останавливаясь только на станциях для смены лошадей. Как записал в дневнике Никитенко:

«Дня через три после отпевания Пушкина, увезли тайком его в деревню. Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

— *Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.*

— *А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи — как собаку».*²¹

Подробные воспоминания о погребении Пушкина оставила Екатерина Осипова, дочь приятельницы Александра Сергеевича, хозяйки Тригорского, Прасковьи Александровны, которая в те дни была нездорова. *«Мы обе — сестра Маша и я — поехали, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни похоронили Александра Сергеевича в присутствии Тургенева и нас, двух барышень. Уже весной, когда начало таять, распорядился настоятель монастыря отец Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно».* Действительно, поначалу в промёрзшей земле выдолбили лишь небольшое углубление и закидали гроб снегом.

Кирпичный склеп в земле для «окончательных похорон» был сделан на средства Прасковьи Александровны Осиповой. Никто из родных так на могиле и не был; жена покойного, в сопровождении Матвея Юрьевича Виельгорского и Григория Александровича Строганова, приехали на могилу лишь через два года. И только в 1840 году заказала Наталья Николаевна памятник супругу из итальянского мрамора *«каменных дел мастеру Александру Пергамонову»*. Памятник установили на могиле 19 мая 1841 года.

Запрет на посмертное поминание Пушкина действовал еще некоторое время после убийства поэта. Касательно нового издания его сочинений состоялась царская резолюция: *«согласен, но с тем, чтобы всё найденное мною неприличным в изданных уже сочинениях были строго рассмотрены»*. Уваров и Дондуков-Корсаков растолковали государеву повеление как указание повторно подвергнуть строгой цензуре все выпущенные произведения Александра Сергеевича, чему и категорично, и победно (при поддержке Жуковского) воспротивился цензор Никитенко: *«Что выиграет правительство, искажая в Пушкине то, что знает наизусть вся Россия? Да и вообще не худо бы иногда уважать общественное мнение, хоть изредка. Россия существует не для одного дня и, возбуждая без всякой надобности негодование в умах, мы готовим для неё неутешительную будущность»*.²¹

Играет фантазия — быть может, пожар в Зимнем дворце, случившийся в год смерти Пушкина, в ночь на 18 декабря, был некой карой императору Николаю за его бездушное отношение к русскому поэтическому гению, за умаление его посмертной славы. В таком случае можно было бы без особого сожаления оценивать этот исторический факт, если бы не гибель в пламени стихии многочисленных произведений искусства, выдающихся интерьерных шедевров Кваренги, Монферана, Росси и других знаменитых художников-оформителей; рукописей поры русско-турецких войн, восстания декабристов et cetera.

Пожар возник из-за возгорания сажи в одной из дымовых труб дворца, его источник прибывшие пожарные долго не могли отыскать, пока не была разрушена одна из фальшивых зеркальных дверей. Из-за неё вырвались языки пламени во весь человеческий рост, быстро перекинувшиеся вверх по деревянным балкам.

Император Николай в это время находился в театре. Прибыв на место пожара и обнаружив сильное задымление, он приказал разбить окна на хорах Фельдмаршальского зала, дабы спасти обитателей дворца (числом за три тысячи) от удушья. Но с приливом свежего воздуха огонь начал распространяться ещё бы-



стрее. Двигаясь в двух направлениях, к утру огонь охватил весь дворец. Пожарные и добровольцы продолжали качать воду со стороны Эрмитажа. По свидетельству очевидцев, в первую ночь пожара огненное зарево было настолько велико, что его видели крестьяне и путники за полсотни вёрст от столицы. В пожаре погибли люди, в том числе некоторые пожарные. Полностью ликвидировать пожар удалось только через три дня. Всё это время погорельцы и всё спасённое имущество находились у Александровской колонны.

Вся площадь Главного Штаба была загромождена диванами, столами, стульями, картинами, сервизами. Были спасены и портреты генеральской гвардии 1812 года, а также многочисленное собрание исторических картин и портретов, мраморные статуи, китайская мебель из комнат Екатерины II. Из дворцовой церкви была вынесена вся богатая утварь, императорский трон из Георгиевского зала, трон императрицы Марии Федоровны, литого серебра люстры, канделябры, все императорские регалии и бриллианты. (И что примечательно, ничто из спасенного имущества не пропало.) Пожар длился более суток, а само здание тлело почти три дня.

«18 декабря 1837 года

*Ночью произошел пожар в Зимнем дворце: он горел целую ночь и теперь еще горит. Я сейчас (в два часа пополудни) проходил по площади. Теперь горит на половине государя, его кабинет и проч. На Невском проспекте, особенно ближе к площади, ужасная суматоха. Народ сплошную массу валит поглазеть на редкий спектакль. Из дворца беспрестанно вывозят вещи. Я встретил государя; он ехал в санях и очень приветливо кланялся; бледен, но спокоен. Мне показалось, что физиономия его была менее сурова, чем обыкновенно».*²¹

Восстановление Зимнего дворца продолжались свыше двух лет. Работами руководил Василий Петрович Стасов, который использовал новые конструкции перекрытий (для облегчения сводов он использовал полые глиняные горшки). На Александровском заводе, по проекту инженера Матвея Егоровича Кларка, были разработаны специальные металлические конструкции, позволившие перекрыть значительные пролёты залов и смонтировать кровлю из негорючих материалов. Новым художественным убранством жилой половины дворца занимался также архитектор (и акварелист) Александр Павлович Брюллов, спроектировавший новые жилые апартаменты в западной части Зимнего дворца. В конце пасхальной недели, 31 марта 1839 года, во дворце был устроен «народный праздник в роде маскарада» для всех сословий, после чего всё наступившее лето дворец просушивался и доделывался.

Для самого Никитенко, в плане профессиональном, 1837 год оказался успешным — он защитил в стенах университета диссертацию на степень доктора философии «О творческой силе в поэзии или о поэтическом гении». Но как цензору пришлось Александру Васильевичу, сразу после защиты диссертации, потратить немало нервной энергии по случаю публикации нового цензурного закона. Сей, драконовский по сути, документ вводил правило, по которому каждая журнальная статья должна была рассматриваться двумя цензорами, работу которых проверял третий цензор-контролёр. «Спрашивается: можно ли что писать и издавать в России? Поневоле иногда опускаются руки, при всей готовности твердо стоять на своем посту охранителем русской мысли и русского слова».²¹ Попытался было Александр Васильевич уйти из Цензурного ведомства, но его отговорили от отставки.

Продолжая чтение лекций в университете, Никитенко стал преподавать также в верхних классах аудиторского училища (с января 1833 года по май 1839 года); в римско-католической духовной академии (с января 1843 года до конца жизни), в институте корпуса путей сообщения (в 1844 года); в офицерских классах артиллерийского училища (с января 1835 года по апрель 1838 года).

Ещё одна потеря для русской литературы 1837 года, отмечена в дневнике Никитенко записью от 5 июля: «Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!». (Писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист Александр Александрович Бестужев публиковался под псевдонимом «Марлинский». За участие в заговоре декабристов 1825 году был сослан в Якутск, а оттуда в 1829 году переведён на Кавказ солдатом. Участвуя здесь во многих сражениях, он получил чин унтер-офицера и георгиевский крест, а затем был произведён и в прапорщики. Погиб он в стычке с горцами, в лесу, на мысе Адлере.)

Потерял в 1837 году Александр Васильевич Никитенко своего университетского друга, Владимира Сергеевича Печерина, образовывавшего вместе с ещё одним однокурсником, Чижевым, триумвират друзей «однокашников», традиционно собиравшихся ежегодно, в феврале, на квартире у Никитенко. (О Фёдоре Васильеве Чижове много пишу в этой книге, в связи с его многолетним общением с Галаганами).

Чужая душа — потёмки. Печёрин — выходец из небогатой, незнатной дворянской семьи семнадцатилетним юношей приехал в Петербург из малороссийской глубинки в год восстания декабристов. Начал карьеру зауряд-чиновником, затем поступил в университет, где основательно преуспел, сдружился с Чижевым и Никитенко. После университета, в марте 1833 года, он в числе шестнадцати молодых ученых (среди них — будущий основатель полевой хирургии Николай Иванович Пирогов, историк философии и правовед Пётр Григорьевич Редкин) был послан на два года в Берлин. Здесь, набравшись за казённый счёт новых знаний, Владимир Печёрин одновременно сформировался как западник-космополит.

Далее, он ещё пару раз выезжал за рубежи отечества, им всё менее и менее любимого пока — после выезда в декабре 1836 года — не решил навсегда покинуть его. Загадочная личность, хотя многие «из начитанных» о нём и не знают, чаще помня лермонтовского Печорина.



«3 апреля 1837 года

*Печерин написал письмо Чижову. Он сообщает, что решил навсегда оставить Россию; что он не создан для того, чтобы учить греческому языку; что он чувствует в себе призвание идти за своей звездой, — а звезда эта ведет его в Париж».*²¹

Бездомный и нищий, он на первых порах пытался найти себе место в рядах революционеров-социалистов, потом, разочаровавшись в них, бродяжничал, меняя одну работу за другой. Наконец, в возрасте Спасителя, худой, без гроша в кармане, обросший так, что встречные называли его сумасшедшим, он принял католичество и после годового срока испытания стал монахом, а спустя два года принял сан католического священника (падре).

«8 октября 1841 года

Получены письма от Чижова из-за границы; ко мне он писал из Дрездена, к Гебгардту из Бельгии. Он виделся с Печериным. Недалеко Люттиха есть иезуитский монастырь св. Витта: в него удалился Печерин и принял монашество. Итак, два прозелитизма разом: политический и религиозный. Странный переворот, и какие потрясения должны произойти в душе человека, чтобы привести его к таким результатам. Чижев говорит с негодованием о нравственном упадке, в каком застал нашего Печерина: он принял не только идеи своего звания, но и все предрассудки его.

Чижев полагает, что его увлекли бедность и обольщения иезуитов, которым он может быть полезен своими обширными сведениями, особенно по части филологии. Из этого выходит, что поступок Печерина не есть следствие смелой, обду-

манной решимости и твердого убеждения, а только случайный выход из затруднительного положения под давлением обстоятельств — плод незрелой мысли.

Он укорял Чижова и всех товарищей, в особенности меня, за то, что мы потворствовали его самолюбию, внушая ему слишком высокое мнение о его дарованиях. Но это, помимо всего другого, еще и несправедливо. По возвращении его из-за границы я сильно восставал против его эгоизма и полуфилософии, следствием чего даже было наше взаимное охлаждение. Когда он уехал в Москву занять там профессорскую кафедру, отношения наши были уже далеко не прежние. И все-таки я не могу прийти в себя от изумления и не нахожу объяснения столь странному моральному явлению. Печерин — католический монах! Это просто непостижимо! Поистине горе человеку, одаренному сильными чувствами и широкою мыслью без равносильной им силы воли и характера».²¹

Выйдя через двадцать лет из монашества, Печёрин сохранил за собой священнический сан и провел следующие, последние двадцать с лишком лет своей жизни в Ирландии, служа простым капелланом в Дублинской больнице для бедных. Здесь он изучал естественные науки, делал опыты в своей лаборатории, написал воспоминания «Замогильные записки («Apologia pro vita mea»)».

Часть седьмая. Дела семейные

Тем более требовалось профессору Никитенко укрепление своего финансового положения — в 1837 году у него родилась дочь Екатерина. Следующая дочь, София, родилась в 1840 году. Были, кажется, у супругов Никитенко ещё дети, в малолетстве умершие, что видно из дневниковой пометы начала июня 1847 года, в которой Александр Васильевич сообщает о смерти сына, и из записи 14 февраля 1859 года, сделанной после похорон воспитанницы Никитенко по Екатерининскому училищу, детской писательницы Корсини:

«Похороны Марии Антоновны Корсини... Я был у обедни и на панихиде и проводил ее до могилы. Ее хоронили на Волковом кладбище, направо, между малою и большою новыми церквями. После я зашел поклониться праху моих детей...

Непонятно, как можно предаваться пошлым житейским сплетням после того, как встретишься со смертью и побеседуешь с могилами!

Две живые развалины подошли ко мне на похоронах:

Дубельт, столь некогда страшный — впрочем, страшный только своим местом, а не сердцем и характером, — и Греч, тоже некогда знаменитый. Обменявшись общими местами, мы расстались».²¹

Известно, что в 1850 году у супругов Никитенко родился сын Александр, о здоровье которого — «беспримернейшего шалуна» — в 1860 году справлялся у дочерей Никитенко писатель (и цензор) Иван Александрович Гончаров. В этом году он, уже утвердившийся писатель и коллега Александра Васильевича Никитенко по цензурному ведомству, сопровождал его, решившего оздоровить себя и детей, в Германию, на воды — минеральные и океанические.

Пройдя обязательные лечебные процедуры, Никитенки вернулись в Россию, а их спутник остался в Германии, откуда отправил весточку дочерям Никитенко — Екатерине и Софии: «Но оставляю его и переселяюсь мысленно в Pragerstrasse. Прежде всего благодарю вас обеих за милое, дружеское сопутничество и сообщество, за то, что вытерпели меня, что так благосклонно и кротко глядели на мою хандру и даже улыбались моему шальному веселью. Что касается до меня, мне давно не было так покойно и хорошо, как с Вами. Вас, Екатерина Александровна, благодарю за личное участие ко мне самому (Вы

выразили его сожалением о моем одиночестве и скуке), а Вас, Софья Александровна, за горячее участие — не ко мне, нет, от этого Вы отrekliсь, а к моему делу, и то не к моему, а к делу литературы. Не одну острую иглу вонзили Вы в мою дремлющую совесть вдобавок к тем иглам, которые я вонзал сам, но вонзал осторожно, почти без боли...»²⁹

В цензурном ведомстве Гончаров приступил к службе 19 февраля 1856 года, после возвращения из путешествия на борту фрегата «Паллада» к берегам Японии, состоявшегося в 1852 году. Здесь, на новом поприще, он накоротко сошёлся с Никитенко:

«10 сентября 1858 года, среда

*Вечером у Гончарова слушал новый роман его «Обломов». Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести. Со мною вместе были слушателями его: Краевский, который и купил его для «Отечественных записок», Дудышкин и Манков, издатель детского журнала («Подснежник»). Положено читать продолжение в субботу».*²¹

Довелось Гончарову быть цензором дополнительного, седьмого, тома собрания сочинений Пушкина, которое в 1857 году завершал его издатель Павел Васильевич Анненков. Представляя цензурному комитету доклад о седьмом томе, указав сомнительные в цензурном отношении места, Гончаров все же полагал, что можно разрешить к печатанию весь том без всяких изменений. Доклад Гончарова подвергся рассмотрению по пунктам и против каждого из пунктов, признанных им сомнительным, положена была резолюция, а затем на основании этих резолюций была поставлена выписка мест, подлежащих исключению из рукописи седьмого тома.

Санкт-Петербургский цензурный комитет, найдя донесение Гончарова «*вообще заслуживающим уважения*», представил и рукопись тома, и донесение Гончарова «*на благоусмотрение*» Главного управления цензуры, которое и дало разрешение к печатанию седьмого тома Пушкина с некоторыми исключениями.

Одним из таких сомнительных пунктов касался пушкинского пасторального стиха, описывающего скорую реализацию взаимных пылких чувств между пастухом и пастушкой:

«...Корсетом прикрыта
Вся прелесть грудей,
Под фартуком скрыта
Приманка людей.

И вмиг зарезвился
Амур в их ногах;
Пастух очутился
На полных грудях.

И вишню румяну
В соку раздавил,
И соком багряным
Траву окропил».

Цензор Гончаров на фривольные экивоки стихотворения отреагировал сдержанно, целомудренно: «*В стихотворении «Вишня» (стр. 6) в последних двух строфах, в описании «раздавленной вишни» можно подозревать намек на другое, но намек это прикрыт свойственною Пушкину грацией и не оскорбляет приличия*».²⁹

Ещё до поступления на службу в цензоры случилась у Ивана Александровича Гончарова пренеприятнейшая история с коллегой по писательскому цеху, Иваном Сергеевичем Тургеневым, описанная некоторое время спустя в «Дневнике» Никитенко:

«29 марта 1860 года, вторник

Лет пять или шесть тому назад Гончаров прочитал Тургеневу план своего романа («Художник»). Когда последний напечатал свое «Дворянское гнездо», то Гончаров заметил в некоторых местах сходство с тем, что было у него в программе его романа; в нем родилось подозрение, что Тургенев заимствовал у него эти места, о чем он и объявил автору «Дворянского гнезда». На это Тургенев отвечал ему письмом, что он, конечно, не думал заимствовать у него что-нибудь умышленно; но как некоторые подробности сделали на него глубокое впечатление, то немудрено, что они могли у него повториться бессознательно в его повести. Это добродушное признание сделалось поводом большой истории. В подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом характере Гончарова закрепилась мысль, что Тургенев с намерением заимствовал у него чуть не все или по крайней мере главное, что он обокрал его.

Об этом он с горечью говорил некоторым литераторам, также мне. Я старался ему доказать, что если Тургенев и заимствовал у него что-нибудь, то его это не должно столько огорчать, — таланты их так различны, что никому в голову не придет называть одного из них подражателем другого, и когда роман Гончарова выйдет в свет, то, конечно, его не упрекнут в этом. В нынешнем году вышла повесть Тургенева «Накануне». Взглянув на нее предубежденными уже очами, Гончаров нашел и в ней сходство со своей программой и решительно взбесился. Он написал Тургеневу ироническое странное письмо, которое этот оставил без внимания.

Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, он грубо и злобно сказал ему: «Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги» (Тургенев получил за свою повесть от «Русского вестника» 4000 руб.). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае угрожал ему дуэлью. Впрочем, это не была какая-нибудь фатская угроза, а последнее слово умного, мягкого, но жестоко оскорбленного человека.

По соглашению обоюдному, избраны были посредниками и свидетелями при предстоящем объяснении: Анненков, Дружинин, Дудышкин и я. Сегодня в час полудни и происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был, видимо, взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между им и г. Гончаровым отныне прекращены, и удалился.

Самое важное, чего мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, не деликатной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus belli [повод к раздорам] был отстранен. Вообще надобно признаться, что мой

*друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высоко образованного общества».*²¹

Ряд жёстких эпитетов в адрес Гончарова в описанном им эпизоде противостояния двух классиков Никитенко, возможно, свидетельствуют о беспристрастности его суждений, равно как и то, что в них он, как отец, подсознательно высказал негативную эмоцию к уже немолодому (сорокавосемилетнему) мужчине, которым увлеклась его двадцатилетняя дочь София. Любимица отца, она получила прекрасное домашнее образование, делала переводы с европейских языков, обладала тонким художественным вкусом.

Её дружеские отношения с Гончаровым были начались в 1860 году, когда она вместе с сестрой Екатериной переписывала черновые листы второй части будущего «Обрыва», которые автор вновь испещрял многочисленными поправками и уточнениями.

Исключительно серьезно относившаяся к жизни, обладавшая высокоразвитым чувством долга, доходившим до аскетизма, двадцатилетняя девушка увидела в Гончарове легко ранимого, одинокого человека, глубоко преданного литературному делу, но страдающего от уязвленного авторского самолюбия, — и, по-видимому, полюбила его.

Не отвечая взаимностью на чувство Софьи Александровны, Гончаров, тем не менее, привязался к ней и неоднократно признавался ей в своей «оригинальной» любви: *«...я никогда не был влюблен в Вас и теперь никогда, конечно, не буду, а наслаждаюсь Вами по-своему, как в своем роде chef-d'oeuvre доброты, ума и женского сердца. Все это я вижу, знаю и люблю, и это тем более не имеет цены, что меня не подкупает к Вам лукавое влечение, как к женщине, которое всегда более или менее ослепляет, следовательно преувеличивает и лжет».*²⁹

Испытывая к Софье Александровне искреннюю, как признавался он в том же письме, «дружбу-любовь без влюбленности», Гончаров постоянно ощущал свою ответственность за ее судьбу, чувствовал себя перед нею в неоплатном долгу. Отсюда в его письмах завуалированные, а иногда и открытые призывы позаботиться об устройстве личной жизни: *«...я все не покидаю мысли и надежды, что Вы должны выйти замуж за достойного Вас человека, хотя это нелегко найти такого, но бог не без милости».*²⁹

Но особенно велика была та нравственная поддержка, которую оказывала писателю Софья Александровна в период завершения «Обрыва» и в годы, последовавшие за его публикацией. Письма этого периода поражают своей предельной искренностью и откровенностью. В них содержатся важные сведения о творческой истории романа, авторские оценки его героев, проясняется и уточняется отношение писателя к спорам вокруг его произведения. Они ярко характеризуют моральное состояние Гончарова в кризисной для него психологической ситуации 1868–1869 года. Помимо невероятного напряжения сил, которого потребовало создание в течение нескольких месяцев двух последних частей романа, жизнь писателя крайне осложнилась двумя моментами: обострением его давней вражды к Ивану Сергеевичу Тургеневу и личной драмой — трагической любовью к некой «Агр. Ник.».



В Софью Александровну Никитенко был безнадежно влюблён Орест Фёдорович Миллер, человек круга её отца, интеллектуал, немец по рождению, но славянофил по убеждению, педагог и литератор, профессор Санкт-Петербургского университета. Как натура чрезвычайно деликатная, Орест Фёдорович, заметив увлечённость пред-

мета своей страсти Иваном Александровичем Гончаровым, скромно отошёл в сторону. В итоге все трое пожизненно остались бессемейными людьми.

Софья Александровна, если судить по крайне скудным сведениям о ней, кажется, все душевные (и физические) силы свои, не донца потраченные на Гончарова, отдала, при жизни отца, уходу за ним, а после его кончины — обработке рукописи и изданию его «Дневников». Сопровождала она, вместе с матерью и сестрой, тяжело заболевшего Александра Васильевича в поездке лета 1876 года (через Австрию и Италию) в швейцарский городок Шинцнах — с целью оздоровления, никак в итоге не проявившегося. Здесь, помимо укрепляющих водных процедур, довелось профессору Никитенко испытать и отрицательный эмоциональный удар, вернувший его в трагические для русской культуры февральские дни 1837 года:

«20 июня 1876 года, воскресенье

*Проходя под колоннадой кургауза, я часто встречаю человека, наружность которого меня постоянно поражает своей крайней непривлекательностью. Во всей фигуре его что-то наглое и высокомерное. На днях, когда мы гуляли с нашей милой знакомой М.А.С. и этот человек нам снова встретился, она сказала: «Знаете, кто это? Мне вчера его представили, и он сам мне следующим образом отрекомендовался: «**Барон Геккерен (Дантес), который убил вашего поэта Пушкина**». И если бы вы видели, с каким самодовольством он это сказал, — прибавила М.А.С., — не могу вам передать, до чего он мне противен!» И действительно, трудно себе вообразить что-либо противнее этого, некогда красивого, но теперь сильно помятого лица с оттенком грубых страстей. Геккерен — яркий бонапартист, благодаря чему и своей вообще дурной репутации все здешние французы — а они составляют большинство шинцнахских посетителей — его явно избегают и от него сторонятся. При Наполеоне III он был сенатором, но теперь лишен всякого значения. О его семейных обстоятельствах говорят очень дурно; поделом коту мука».²¹*

Летом следующего года Александр Васильевич по обыкновению выехал с семьёй на традиционно им снимавшуюся на сезон дачу в Павловске. Здесь, 20 июля 1877 года, он сделал последнюю запись в своём дневнике. На следующий день он скончался, и был здесь же, в Павловске, погребён.

Часть восьмая.

Некоторые сентенции из дневника Александра Васильевича Никитенко, достойные пристального читательского внимания и осмысления

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

(А. С. Пушкин)

Декабрь 1848 года

Главное — быть достойным собственного уважения, всё прочее не стоит внимания. Ты иначе воспитывался, иным путём шёл, чем другие, иною судьбою ты руководишь и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности ума заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твоё.

Январь 1849 года

Существенная ошибка людей в понятиях жизни есть та, что целью её они считают счастье, тогда как разум должен ставить на место счастья долг. Счастье или наслаждение даны нам как пряности, как приправа жизни, без которых она бы была чересчур

водяниста и невкусна. Но главное дело в том, чтобы исполнили закон развития, соответственно с основными требованиями или начинаниями нашей природы.

Февраль 1853 года

В деятельности душевных сил есть свой механизм, своя необходимость, по которой принятое понятие или допущенное чувство должны разрешиться таким, а не другим событием, если только высшая сила, разум, не вмешается и не изменит течение идей.

Февраль 1854 года

В истине есть что-то такое, что ощущаешь тотчас, как скоро оно проникает в сознание. Этого не докажешь никакими фактами, формулами и выводами. Те, которые требуют совершенного объяснения истины, похожи на людей, которые, не довольствуясь тем, что видят свет, но хотели бы захватить его рукою и поднести к носу.

Октябрь 1854 года

Изменяться свойственно человеку, но неужели он должен изменяться только к худшему? Сколько людей я знал и знаю, которые начали своё поприще по-человечески, а продолжали его или кончили так, что сказать стыдно. Они всё повалили разом: и юношеские увлечения, и прекрасные верования в добро, правду и истину. Да, видно, верования их были не иное что, как тоже только юношеские увлечения или брожение неустановившейся мысли, навеянные чтением иностранных книг.

Сентябрь 1855 года

Каждому человеку отпущено от природы известное количество сил, из которых он должен создать себя, или свой характер. Значит, нравственная физиономия наша зависит от двух основных причин: темперамента и воли. Искусство управлять темпераментом, своими природными наклонностями и силами есть самообладание.

Октябрь 1860 года

Человечеству в течение веков удалось сделать много, заслуживающего удивления. Но каждый человек в отдельности чрезвычайно мелок и ничтожен. Он бывает даже очень смешон, когда гордится своими личными преимуществами, своим умом, своими знаниями, своими доблестями, забывая, что всем этим он обязан или случайности природы и судьбы или наследству, полученному им от совокупности усилий всего человечества.

В воспитании мы более всего должны думать о том, о чём у нас вовсе не думают — о воспитании характеров.

Октябрь 1861 года

Нет никакой правильной меры в суждениях о самих себе и о других; ни малейшей заботливости быть справедливым. Кричать, чтобы перекричать других и сделать свою мысль господствующей над мыслями своих знакомых, приятелей, незнакомых и неприятелей — в этом главная цель наша, а там хоть трава не расти.

Март 1862 года

Надо достигнуть того состояния духа, в котором бы все неизбежные превратности жизни принимались не только без ропота и уныния, но и с некоторым внутренним удовольствием. Ведь ежели человек существо, способное к усовершенствованию, то почему не достигнуть ему этой степени нравственного совершенства? Бывают высшие умы, почему же не быть характерам высшим?

В нравственно-психологическом внутреннем мире человека одни только те явления заслуживают внимания, значение которых определяется разумным созданием и определяется волею. Всё прочее похоже на облака, гонимые и разгоняемые ветром, или на пену, мгновенно возникающую и исчезающую в волнах потока.

В мыслящем существе жизнь без мысли есть нелепость. Жизнь в мысли значит жизнь по законам, по идеям целого, добра, порядка. Жизнь не в мысли значит жизнь по слепым влечениям материи, природы. Эгоизм есть бессмыслие, потому что он удаляется от главных оснований и атрибутов мысли — от общего. Права жизни велики, столь же велики в глазах человека должны быть и права мысли. Три элемента образуют характер: природа (природное предрасположение), воля и среда.

Над способностью хорошо мыслить и хорошо чувствовать, есть ещё высшая способность или сила организовывать эти мысли и чувства, сосредоточить их, возводить в творческий акт постоянной, систематически развивающейся решимости действовать в одном определённом направлении. Это характер, всегда верный самому себе и всегда готовый господствовать и над понятиями и над чувствами во имя одной, глубоко запечатлённой в душе идеи. Вот этой то силы, этого характера недоставать целым нациям, как и отдельным лицам. Движение, волнение тогда хороши, когда в потоке их вырабатываются твёрдые и определённые начала, на которых впоследствии может построиться новое лучшее положение вещей.

Возвышенные умозрения необходимы для человека, как пища для его духа, как сила, возносящая его над треволениями дня, как просветление ума, которому без них всё кажется как-то туманно, тесно и безжизненно: именно даже безжизненно — хотя, по-видимому, какая жизнь в идеях? Я не принимаю в этих умозрениях ничего за догмат: и только питаюсь ими как укрепляющую и оживляющую меня пищу. Надо добросовестно и строго отделить в современных стремлениях истинные потребности от мнимых или мечтательных и преувеличенных — отделить возможное к осуществлению от утопического и возможное к осуществлению без проволочки времени от того, что история откладывает на будущее время.

Апрель 1862 года

Свобода и закон — вот что должно бы составлять исключительную основу управления человеческим обществом. Но как в этих обществах всегда будут злоупотребления первого и нарушения последнего, то к ним надо присоединить охранительную силу властей.

Май 1862 года

Почему школа отрицания находит так много последователей? Потому что она льстит самолюбию людей лёгкого ума, ничему основательно не учившихся. Они не хотят подчиняться авторитету, который всегда высказывается в положительных принципах, тогда как, отрицая, они имеют право думать, что они господа своих мнений.

Время берёт своё, время делает своё. Люди совершают неподобные дела, а время употребляет эти дела, как пахарь навоз, и возвращает из них добрые плоды! Значит, не люди заслуживают уважения, а время и принцип, который вырабатывается временем.

Октябрь 1862 года

Одни только страдания и бедствия имеют способность придавать жизни серьёзный характер. Без них жизнь была бы какая-то шутовская процессия, или, как говорит Шекспир, сказка, рассказываемая старухой у очага.

Ноябрь 1862 года

В человеке существует множество неопределённых инстинктов, которое готово сделать из него самое жалкое игралище своих стремлений. Но в нём есть ещё сила, способная их сдерживать, обуздывать и ограничивать, если не совсем уничтожать. То, что моралист называет внутренней борьбой, вовсе не есть вымысел; эта борьба не иное что, как акт самоуправления, которым приводятся к единству, обуздываются и устраняются различные силы и влечения нашей природы, нашего темперамента, наших естественных наклонностей.

Вся задача образования должна состоять в том, чтобы сделать человека способным к самообразованию. Природа снабжает нас расположением, наклонностями, силами, образование научает нас извлекать из них истинно человеческую личность. В этом смысле человек есть творец самого себя. Ему даны материалы стихии. Образ же, в котором они должны сосредоточиться и проявить себя есть плод его художественной деятельности.

Страдания необходимы, чтобы осмыслить жизнь. Только они дают ей серьёзный характер. Был ли бы я им не был им, вместо меня родилась бы какая-нибудь малороссийская скотина — не совершенно ли это равно? Жизнь гадка не по страданиям, на которое обращено всякое живое существо — напротив, это только одно придаёт ей значение, — но жизнь гадка по ничтожеству всего, что её составляет. Что её движет и к чему она движется. Она есть глубочайшее ничтожество, ничтожнее самого ничтожества. И всего страшнее, всего страннее, что так необходимо и так должно быть

Всё живущее увлечено роком — и единственное правосудие рока в том, что всё равно погибает.

Декабрь 1862 года

Опять момент внутреннего беспокойства и недовольства духа... Я сам себе кажусь ужасною гадостью, а жизнь моя безжизненным, пустым, бесплодным сновидением, облаком благородных возвышенных замыслов, которых ветер обстоятельств и собственное бессилие уносят, вот и теперь, в бесконечное пространство.

А всё-таки не могу я не питать глубокого презрения к современным мне людям. Они чуть ли ещё не хуже меня. Я, по крайней мере, решительно не способен желать им делать кому-нибудь из них зло. Уважаю честность и справедливость.

Январь 1863 года

По закону ограничения каждого явления, каждой силы в природе и в истории, ни одно из этих явлений и ни одна из этих сил не могут развиваться в бесконечности. Одно ограничивается другим и в этом ограничении добро находит свой предел во зле, зло в добре. Всё нейтрализуется одно в другом. Волна вздымается, растёт, доходит до громадной высоты и исчезает, чтобы уступить место другой.

Философские учения о добродетели были всегда не иное что, как учение о владычестве разума над желаниями и влечениями чувственной природы; а учение о счастье не иное что, как учение о довольстве человека самим собою, проистекающем из полного владычества разума над внутренним миром. Одно есть необходимым следствием другого.

Февраль 1863 года

Каждому человеку отпущено от природы известная мера сил и известный их образ. Кто не пришёл к сознанию их, тот направляется этими силами слепо, и сам не что иное как природа. Но человек, стоящий на высшей ступени духа, или которому достался большой запас сил, добивается, рано или поздно, до их сознания и полагает здесь основание своей нравственной конституции. Сознать свои силы и образ их —

вот высшая задача мыслящего духа; управлять этими силами и пускать их в ход для дальнейшего развития вот настоящая практическая задача деятельности.

Март 1863 года

Историк не должен быть политиком, а прежде всего умным человеком и критиком. Страшно надоели все эти перетолковывания деяний и событий, которые каждый старается изъяснить в духе своих идей, привязанностей своих партий.

Апрель 1863 года

Мы воспитаны в суровой школе; но зато мы способны что-нибудь сделать. Нас упрекают могуществом нашим как преступлением. Но разве мы украли наше могущество? Мы добыли его терпением, кровию нашею.

Май 1863 года

Человек постоянно опасается человека. Между умными людьми эти опасения особенно обыкновенны. Каждый из них очень хорошо знает и лживость другого и способность вредить или гадить ближнему. Обмануть вовсе не считается стыдным: стыдно быть обманутым.

Пока ты не приобретёшь достаточно силы, чтобы довольствоваться самим собою, во всём опираться только на самого себя, до тех пор ты совершенно ничего не сделал для нравственной безопасности свободы и чести.

Июнь 1863 года

Разлад между мыслию и жизнью — вот откуда происходит большая часть наших бедствий и всяческих настроений. Мысль всегда стремится к идеалу — не к тому, что есть, а к тому, что может и должно быть; действительность никак этому не покоряется. Мысль насилует действительность, возбуждает борьбу. Чем мысль отважнее, идеальнее, непокорнее, тем неизбежнее победа над ней действительности.

Ум человеческий любит рыться в самом себе; всё вытаскивает оттуда на свет Божий: и чистое золото и грязь, с которою оно смешано. Надо бы ещё приложить много ума, чтобы переработать эту смесь и отделить годное к чему-нибудь от негодного.

Август 1863 года

Редко сыновья унаследуют таланты своих отцов, но пороки очень часто.

Ноябрь 1863 года

Новое или развивается органически из старого или привязывается к нему. Во всяком случае несправедлива мысль слишком жарких поборников нового, что всё старое сгнило и что надобно его радикально отбросить, чтобы насадить на место его это новое. Если бы действительно всё старое сгнило, то на чём же утвердили бы новое? Последнего не к чему было бы даже привить. Если народ не имеет ни преданий, ни стремлений к лучшему, то каким образом вы приложите к нему ваши идеи этого лучшего?

Без полной нравственной независимости от людского мнения не бывает ни истинно хорошего характера, ни истинно хорошего дела.

Декабрь 1863 года

Надо очень любить Россию, чтобы не чувствовать отвращения ко всей нашей безалаберности, к умственному и нравственному разврату нашего так называемого

образованного общества, к глубокому невежеству и дикости масс и к отсутствию вообще законности и честности. По глубокому сознанию могу сказать, что я люблю отечество и сколько мог служил ему честно. Но сколько раз эта любовь была оскорблена тысячью бесконечных или бестолковых явлений нашей общественной жизни. Сколько раз приходилось скорбеть о недостойных поступках моих соотечичей, особенно от их грубого нарушения правил самой обыкновенной человеческой честности. Когда и как мы из этого выйдем?

Можно ли исключительно на принципе взаимной выгоды основать союз общественный, мир и порядок между людьми — на что так сильно уповают социалисты Во-первых, понятие о выгоде очень неопределённо и широко, так что, идя от него, можно легко перешагнуть рубеж. Во-вторых, выгоды так изменчивы и разнообразны, что чрезвычайно трудно установить для них какое-нибудь общее мерило, которое заставило бы одного уважать в другом то, что ему принадлежит и прилично.

Есть поступки, которых нельзя назвать ни воровством, ни подлостью, ни каким другим унижительным именем — поступки, которых нельзя предать ни общественному позору, ни правосудию, но которые, тем не менее, заставляют сомневаться в благоустроенности души того, кто их себе позволяет, так что вы невольно теряете доверие или к уму, или к характеру его, или к тому и другому вместе.

Знание прав, законность: отсюда нравственное уважение самих себя и всех принципов человечества. Вот что прежде и более всего нам нужно, а не демократические, аристократические или социальные тенденции.

Август 1864 года

Все почти трактаты о воспитании смотрят на человека в детстве, как на существо, которое не сделано, а которое следует сделать. Оттого такая масса правил и учений, часто одно другому противоречащих, оттого система преследования каждого шага ребёнка под предлогом направлять и развивать его. Между тем, правило одно, которое выразил Сократ: что воспитателю надлежит только исполнять должность повивальной бабки. Есть ещё одно обстоятельство, которое нынешние педагоги упускают из виду — это влияние на человека среды, в которой ему предстоит жить и действовать. И потому эти педагоги вообще очень мало заботятся об образовании в человеке характера. Для чего всего нужнее крепко установить начало честности и мужества. Главное, чтобы человек в состоянии был выдержать напор всяческих искушений и мерзостей, среди которых ему придётся жить, чтобы он не боялся борьбы за честную мысль и честное дело.

Большая часть заблуждений в умственной области происходит от смешения понятий о двух различных силах человеческого духа — силы познавательной и силы творческой, между тем как они совершенно различны и ведут к совершенно различным результатам. Сила познавательная занимается тем, что есть; сила творческая тем, что может или должно быть.

Октябрь 1864 года

Если вы не будете чувствовать отвращения ко всему злому и безобразному, то как же вы почувствуете расположение к доброму и прекрасному?

Ноябрь 1864 года

Ни одна из многих сил, действующих в обществе, не должна преобладать над другими, все силы должны уравнивать друг друга, и это стремление к равновесию есть разум общества, его благодетельный ангел-хранитель.

Декабрь 1864 года

Человек жалуется на скоротечность жизни: а что бы он делал с жизнью продолжительною? Жизнь не дар, а долг. Притча о талантах заключает в себе глубокую истину.

Что такое деспотизм? Односторонность, поглощение всех одним, подчинение всех одним интересам всех других интересов человечества или общества, одной идее — всех других идей, одной силе — всех других сил. Он нехорош, потому что противен природе вещей — и одинаково нехорош, в какой бы форме ни являлся: в форме политической, нравственной, умственной или социальной.

Февраль 1865 года

Слишком большая восприимчивость и впечатлительность — два злейших мои врага. Воображение моё слишком забегает у меня вперёд. С этим я постоянно борюсь и, разумеется, как во всякой продолжительной борьбе, бываю то победителем, то побеждённым.

Сопротивляться новому в известной мере должно; иначе оно само бесплодно рассеется. Нужна сила противодействующая, чтобы заставить его сосредотачиваться в верной идее и дать ему возможность группировать вокруг себя лучшие силы. Не только с такими целями и должно противодействовать новому, а не с озлоблением и яростью, потому только, что оно новое. Заблуждения нового не хуже заблуждений старого, и закоснелость, неподвижность грубого и одностороннего консерватизма стоит бешеных и бестолковых скачков так называемого прогресса.

Март 1865 года

Разум человеческий так много надумал всяких нелепостей, что потерял веру в себя, и стал верить одним фактам. Но это лишь новая крайность, а, следовательно, и новая нецелесообразность.

Сказать, что нынешнее поколение ничтожно, что оно не в состоянии сделать ничего важного, значит сказать истину. Весь смысл его в том, что оно есть, оно факт, а как всякий факт имеет свою причину и причину вне себя, то и оно имеет такую причину, оно не само себя создало. Оно есть логический продукт предыдущего состояния вещей — и в этом его историческое значение, а вовсе не в том, чтобы оно полагало прочные и незыблемые основы будущего.

Глубокое презрение к людям и их судьбе — вот, наконец всё, что выносишь из долговременного опыта жизни. Стоило ли для этого жить! Ужасно трудно выработать себе характер, приходится отбрасывать много негодного материала, а хорошего недостаёт. Бывают природные расположения, из которых одни так и тянут чёрт знает к чему, а другие оттягивают от того, чему бы следовало быть — и это не смотря на глубокое убеждение в негодности одного и превосходстве другого.

Июнь 1865 года

Осуждены мы навсегда делать глупости или они составляют только одну из переходных ступеней нашего развития? Ведь вот до сих пор случилось так, что даже из всего, что мы возьмём у других, мы непременно выберем самое худшее и спешим усвоить его себе так, как будто оно составляет единственную важнейшую сторону вещей. Встретимся мы с разными улучшениями и благами внешнего быта — мы непременно позаимствуем от них всякие излишества, чрезмерную роскошь и начнём с невероятной быстротою проматывать достояние наше и отцов наших.

Самое скверное положение, когда человеку не достаёт ни мудрости, ни силы терпеть, ни мужества действовать. Неудовлетворённость положения производит какое-то всеобщее раздражение, которое обнаруживается во всём — в малых и

больших делах. Каждый действует под влиянием негодования и досады, поводы к которым носятся в воздухе: поводов этих и назвать не в состоянии, но он чувствует их и ими одними одушевляется.

Октябрь 1865 года

Странные противоречия могут уживаться в одном и том же человеке. Вот, например, я так мало доверяю всему человеческому — добродетелям, уму, благу, жребию людей, а между тем у меня такое сильное влечение ко всему великому и прекрасному, посягать которое и видеть можно только в человечестве же. Я также сильно сомневаюсь в конечных целях творения, а между тем верую и горячо верую в высочайший творческий и всё видящий творческий разум, во Власть и Силу выше природы и вселенной — словом верую в Бога в христианском понятии. Я не уважаю людей. Но готов служить им верою и правдою, хотя уверен, что они на каждом шагу меня обманут и готовы сделать мне всякое зло.

Декабрь 1865 года

Человек не бывает положительно ни зол, ни добр, тем и другим он бывает попеременно от влияния окружающей его среды и большей или меньшей силы влечений к чувственным наслаждениям. Часто ему кажется, что он образовал себе известный характер в том или другом направлении, тогда как всё в нём есть дело случайностей, склоняющих его то в ту, то в другую сторону. И большею частью бывает так, что он не заслуживает ни решительного одобрения за свои добродетели, ни решительного порицания за свои пороки.

Июнь 1866 года

Человек, как музыкальный инструмент, приходит в расстройство от продолжительного употребления или от разных внешних влияний, перемены температуры и прочее. Время от времени приходится настраивать себя, чтобы быть годным для хорошей игры.

Сентябрь 1866 года

Самая грубая ложь для большей части людей может сделаться убеждением, если повторяется часто и не встречает протеста со стороны тех, которые обязаны блюсти и сохранять истину.

Ноябрь 1866 года

Для многих ли доступна та высокая степень умственного и нравственного развития или та высшая точка зрения, с которой человек может взглянуть примирительным оком на всё зло, на весь беспорядок, царствующий в мире? Людей погибает на пути к этому недостижимому для них возвышению в тревогах сомнений, в чувствах великих своих скорбей и неудовлетворённой жажды лучшего, в полной невозможности сказать доброе слово о том, что он видел и испытал в краткие мгновенья своей жизни — и надобно считать за великое добро уже ту душевную тупость, которая бессмысленно и покорно протягивает свою голову под разящие её удары, не спрашивая за что и почему она осуждена на эту жизнь.

Январь 1867 года

Делать и говорить можно горячо, но ни говорить, ни делать не должно стгоряча.

Февраль 1867 года

Иное дело знание, а иное дело мы. Знание не возможно без мышления, но мышление, само по себе, составляет непреодолимую потребность человеческого духа. Всё, к чему бы оно ни стремилось, каких бы результатов ни достигало, оно является основным законом нашей жизни. В нём и из него возникают вопросы о жизни, о сущности всего сущего, о Боге, о судьбе и назначении человека. Ограничить мышление областью знания, осудить его стремления под предлогом недостоверности его выводов и недостижимости его цели — значит всё равно, что запретить дышать.

Март 1867 года

Кто содействует эстетическому образованию людей, тот содействует и образованию нравственному, в важности которого, кажется, нельзя сомневаться

Я продолжаю заниматься собиранием разною запаса сведений и изоощрением моего ума и вообще самоусовершенствованием так, как будто передо мной лежит еще длинная перспектива жизни. Много узнаю такого, что гораздо было бы полезнее знать прежде, и многое во внутренней своей администрации устраиваю так, что если бы подобные меры принимались в раннюю эпоху жизни, то я избежал бы бесчисленного множества ошибок и хоть несколько ближе походил бы на свой идеал. Поздненько — нечего делать, но лучше поздно, чем никогда. Притом есть какое-то великое утешение чувствовать еще в себе на закате дней довольно сил для того, чтобы идти вперед, а не оставаться назади или стоять все на одном месте. Итак, вперед, вперед, пока не споткнемся о могилу, в которую лучше стремглав свалиться, чем, как червяку, доползти до нее.

Об уступке или продаже части наших северо-американских владений Северо-Американским Штатам говорят некоторые знающие дело, что это ловкий маневр нашей дипломатии, направленный против Англии за ее враждебную нам политику по так называемому восточному вопросу.

Апрель 1867 года

Нет ничего безобразней русской бюрократии. Характеристика её в двух словах: воровство и произвол.

Чиновник, с одной стороны, есть раб — раб своего начальника, а с другой — вор, и чем он выше в служебной иерархии, тем раболепнее и тем вороватее. Но если он ни то, ни другое, — что, конечно, случается, — то он бедняк, осужденный на страдание.

На днях к мировому судье явился какой-то чиновник Иванов, в оборванной одежде, с странною просьбою посадить его в тюрьму, так как он, за сокращением штатов, был уволен со службы и умирает от холоду и голоду, а в тюрьме его накормят и отопреют. Судья, разумеется, ему отказал в такой необыкновенной просьбе. Тогда Иванов вышел в переднюю комнату суда, дал пощечину стоявшему там городовому, возвратился к судье и сказал: «Теперь вот вы уже не имеете права отказать мне в тюрьме — прибил городского». Судья отправил его в тюрьму.

Июль 1867 года

Пусть современная наука что хочет говорит, но сердце человеческое не выносит отсутствия Бога во вселенной.

Ноябрь 1867 года

Держаться всегда на известной нравственной высоте — это самый действительный способ избежать множество тех огорчений, какие неразлучны в столкновениях с людьми и случайностями в жизни.

Я всегда прибегаю к дневнику моему как к единственному другу, которому могу поверить все мысли и чувства, беседа с которым заменяет мне и общество и так называемых друзей. Безделица — эта тетрадь с белыми страницами, а между тем она представляется мне каким-то оживленным предметом, в котором отражается мое я и разделяется, как свет в призме, на несколько лучей и то, что могло бы во мне мелькнуть и исчезнуть бесследно, удерживается в моем сознании как частица моего внутреннего быта.

Декабрь 1867 года

Утратив религиозные верования, считая всё прекрасное и великое за иллюзию, современное человечество, чтобы не провалиться совсем в пропасть, прицепилось к идее прогресса, как будто эта идея менее иллюзия, чем другие.

Июнь 1868 года

Ничто из того, что всещедрую природою даётся человеку, не достаётся ему даром. Родится ребёнок со страшными страданиями для матери; начнут прорезываться у него зубы, он страдает; начнёт учиться — страдает; ум и мудрость житейская достаются ему тысячами страданий и прочая и прочая. И всё это было бы ничего, если бы имело какие-нибудь порядочные последствия, а то всё разрешается несколькими горстями пыли.

Август 1868 года

Я люблю, чтобы каждая фраза была отчеканена так, чтобы выражающаяся в ней мысль значила не более и не менее того, что она есть.

Январь 1869 года

Нет более верного средства сделать Россию страшным противником, как заставить её, против воли, привести в движение все её дремлющие силы.

Март 1870 года

Пруссия наш естественный враг уже по тому одному, что мы её дважды спасали. Я думаю, что человечество должно пройти ещё через один фазис варварства, и к этому фазису его приведёт всеобщая демократизация.

Все люди носят в себе физиологическую и психическую возможность быть человеком, но не всякое неделимое достигает роста и образа человеческого. Сколько людей являются и исчезают, не успев проявить в себе ничего человеческого.

На чём основана идея долга? Почему человек обязан делать то или не делать этого? Идея долга и обязанности вытекают из моей человечности, моей человеческой природы. Я должен поступать так, а не иначе, или не делать того и другого единственно потому, что я человек и потому что, поступая иначе, я изменил бы моей человеческой природе. Я существо разумно-свободное, следовательно, всё, несогласное с идеей свободной воли и разума, противно моей природе и было бы нарушением долга.

Сентябрь 1870 года

На дружбу отвечать дружбою, — предполагая, что она возможна, — на услугу — услугою, на учтивость — учтивостью вдвойне, вражде противопоставлять мужественную и серьёзную защиту, но без малейшего покушения мстить, а затем малейшее хладнокровие; вот чего следует держаться в своих ежедневных сношениях с людьми.

Октябрь 1870 года

Одно только: держись крепко тех законов, которые для тебя установила твоя совесть.

Самый сильный напиток — это успех. От него не только пьянеют, но подчас и совсем дуреют даже самые крепкие головы.

Объединение национальностей, составляющих одну из основных задач нашего высокопросвещённого и прогрессивного времени, есть источник и начало бесконечных международных соперничеств, распрей и войн.

Я никогда не был способен сделаться ни радикалом, ни ультраконсерватором. Глубокое, твёрдо укоренившееся во мне с детства чувство справедливости и уважения к правде решительно делали меня неспособным к каким бы то ни было односторонним и преувеличенным требованиям. Воздать кесарю кесарево и Божие Богови — я всегда признавал за начало, в силу которого и должны устраиваться дела человеческие.

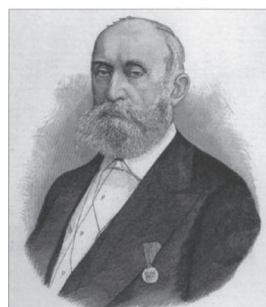
Декабрь 1870 года

Всякий должен говорить языком своего сердца и ума. Тот слог хорош, который делается сам, а не тот, который делают.



Галаган Григорий Павлович

Из всего старинного козацкого рода Галаган, начавшего своё заметное историческое движение в конце семнадцатого века, главным действующим лицом в культурном прошлом Украины является Григорий Павлович Галаган. В отечественном меценатстве он отметился во второй половине девятнадцатого века, когда, вместе с супругой Екатериной Васильевной (урождённой Кочубей), учредил в Киеве Коллегию имени единственного сына Павла, в возрасте шестнадцати лет (в 1869 году) окончившего земной путь свой.



В добрых делах мецената также учреждение ремесленного училища на своей малой родине, селе Дегтерях, соучастие в основании Киевской русской публичной библиотеки (ныне — национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого), учреждение стипендии в Прилукской гимназии, выделение крупного участка земли в селе Гнилицы для постройки там сельского училища и прочая, и прочая.

Часть первая. Галаганы — начало выдвижения

Выдвижение представителей рода Галаган в первые ряды «значных» малороссиян началось, кажется, с рядового козака Ивана Галагана, жившего где-то во второй половине семнадцатого века в левобережном местечке Омельник, позже вошедшем в состав Полтавской губернии. Известно, что из двух его сыновей старший, Игнатий, вышел в старшинский козацкий чин через Запорожье, когда в 1706 году был в Сечи выбран полковником отряда, посланным кошевым атаманом царю Петру на помощь против шведов. Далее он был переназначен Мазепой полковником одного из так называемых «охоче-комонных» (нерегулярных) полков и волей служебной подчинённости перешёл вслед за гетманом к шведам, но ненадолго. Вернувшись к царю, он успел скоро снять грех измены и заслужить царское благоволение своими «поисками за шведами», за что универсалом гетмана Скоропадского в марте 1709 года был назначен полковником Чигиринского полка, а в августе того же года, после изгнания шведов с территории Малороссии, получил — по представлению князя Дмитрия Михайловича Голицына — в награду за верную службу четыре села на правом берегу Днепра.

К этому времени относится малоприятный факт в истории фамилии — участие полковника Галагана в разгроме Чартомлицкой Сечи, за что (как свидетельствует легенда) запорожские «характерники» (так именовались колдуны, прорицатели) прокляли род Галаганов до седьмого колена.

Позже, после неудачного выпада Петра I в сторону басурман и вынужденного позорного Прутского мира с ними в 1711 году, правобережная Украина отошла к полякам *«вследствие чего Галаган потерял и Чигиринское полковничество, и данные Голицыным маетности. За эти потери Скоропадский прибавил к с. Липовому богатое село Веремеевку, в той же сотне. После этого, до 1715 г., Галаган оставался без уряда, пока, смертью Носа, не открылось место прилуцкого полковника»*.³⁰ По последнему поводу прилуцкие козаки высказывали большое неудовольствие, полагая небезосновательно, что пришлый полковник более будет заботиться о собственном благосостоянии, чем о благе подчинённых.

Так и случилось. *«Был челом в коллегия прилуцкий есаул Григорий Панченко, что в 1715 г. определён в тот полк полковником Игн. Галаган, и видя они, полчане, что тот полковник не ихнего полку родимец и никаких там своих грунтов не имеет, просили гетмана и стольника Протасьева, чтобы он, полковник, обид и налогов им не чинил; а по тому их прошению гетман, при вручении полковых клейнодов, дал ему, Галагану, за своею рукою пункты, которые полковник публично читав, обязался их исполнять; и были те пункты отданы на сохранение полковому судье; но Галаган через год те пункты отобрал и стал чинить полчанам всякие насилия»*.³¹

Видя оппозицию, мешавшую ему распоряжаться полковым хозяйством, пытался полковник Галаган на корню искоренить её, сменив весь личный состав полковой старшины. Обращался он по этому поводу к гетману Скоропадскому, но тот уклонился от удовлетворения просьбы полковника. *«Наибольшую оппозицию встречал он со стороны сребрянского сотника Антона Троцины, который отличался своим практическим умом и был лично известен гетману. Но Галаган, утвердившись на своём уряде, впоследствии мало обращал внимания на неудовольствия своих полчан и начал, не разбирая средств, заботиться об умножении своего богатства. Будучи неграмотен вовсе, новый полковник нашёл преданного себе писаря в лице Фёдора Галенковского и, с помощью его, стал вскоре полновластным распорядителем в своём полку»*.³²

Жалобы полковой старшины на произвол начальника, направляемые гетману не помогали; был Скоропадский (к слову, коренной уманчанин) человеком не сильной воли, более склонным к домашнему уюту (*«...великий знаток и сочинитель постных борщей гетман Скоропадский» — Т. Г. Шевченко*). Выхлопотанный старшинами у гетмана в 1720 году «оборонный универсал», коим они намеревались защищаться от непомерных материальных требований начальника, им не помог.

«Но едва ли Скоропадский мог что сделать по жалобе Троцины, вследствие своего бессилия, которое очень хорошо понимал Галаган; а бессилие Скоропадского в то время было таково, что когда, в начале 1722 г., он поехал в Петербург, то вслед за ним туда же поехали Апостол, Галаган и Танский, не спрашивая гетманского позволения. Скоропадский жаловался в Коллегию Иностр. Дел, что полковникам этим нужно готовиться к Терковскому походу, а не сидеть в Петербурге, и просил выслать их домой. Но Галаган приезжал хлопотать о грамоте на те маетности, которые он успел уже нажить в Прилуцком полку за это время, чтобы владеть ими вечно. Это были три села: Ряски, Сокирницы и Озеряне, пять водяных мельниц и два хутора».³³

Из перечисленных маетностей отданы были пану полковнику только Сокирницы (или Сокиринцы), притязания полковника на другие поселения гетманом, которому было поручено решение вопроса, были отвергнуты как неправомочные. Впрочем, были у Игнатия Галагана и другие «благотворительные механизмы» расширения своих владений: *«Я, Пелагея Бездетчиха, жителька дехтярёвская, даю сие моё писание его мил. п. полк. прилуцкому Игнатию Галагану, что, оставшись без мужа и не имея где при старости жизни своей dokonчить, того ради вручаю п. полковнику островец на Удаи, за такую его милость, что он принял меня в панскую ласку до смерти моей»*.³³

Этим островком положил полковник Галаган начало своим значительным имениям в селе Дегтяри, впоследствии им существенно увеличенным.

По смерти Скоропадского гетманскую власть на Левобережье сменила коллегия в лице Вельяминова, решительно пообещавшего *«согнуть старшину»*. Последние, как известно, в лице наказного гетмана Полуботка, пытались отстоять старинные свои вольности, собрались по этому поводу на совет в Глухове, но приглашённый туда полковник Галаган осмотрительно не приехал. *«Галаган хорошо понимал, что в это время выгоднее было в челобитных не участвовать»*.³⁴ И когда Полуботок пожаловался в коллегию, что козаки некоторых сотен, вызванные на косьбу сена, приказа не исполнили, Вельяминов ответил, что *«козаков не токмо в оную, но и в прочия ни в какие работы употреблять не велеть, понеже то чинить воспрещено его величества указом»*.³⁴

Впрочем, перевод — то кнутом, то пряником — вольных козаков в крестьянство (*«в подданство»*) в то время был одним из средств обогащения старшины за счёт народа, и пан полковник Галаган пользовался им, как и многие другие, ему подобные. Так исподволь, неспешно формировалось в этих краях крепостное право, позже, уже во времена матушки Екатерины, узаконенное как состоявшийся факт. Об этом, в частности, пишет своим умным и острым пером Николай Семёнович Лесков:

«Опанас Опанасович закрепостил их за собою и учинился над ними пан, ещё где до Екатерининных времён! Так это сделал Перегуд ещё при той казацкой старине, по которой добрые люди повздыхали и очи проплакали. И сделал он всё это за помощью старшин так аккуратно, что все перегудинские казаки и не заметили «чи як, чи з якого повода» их стали писать «крепаками», а которые не захотели идти до дидуси на панщину, то щобы они не сопротивлялися, их — пожалуйте, — на панском дворе добре прострочили».

Ещё при безвольном Скоропадском сокирининские козаки жаловались, что Галаган принуждает их переходить в крестьянство; так, в 1720 году сокирининский козак Оноприенко обращался по этому поводу к гетману: *«Прошу милосердия на зятя моего, которого, за бывшего ещё полковника Щербину, принял в мой казацкий дом и с которым уже несколько походов отбыл и за шведов; и он до сего не знал никаких посполитых тягостей; а теперешний полковник принуждает его перейти в посполитые и для того садит в тюрьму»*.³¹

Переписывая козаков в «подданные», Галаган умножал число своих работников, но одновременно производил и обратную процедуру — переписывал в козаки посполитных из других маетностей. Правда, делал он из этого неплохой «бизнес», беря за каждый такой перевод мзду с новоявленных козаков. О таком безобразии в 1732 году Апостол писал генеральному хоружему Акиму Горленко:

«За певного донесения вестно нам учинилось, же п. полковн. Прилуцкий, мимо старшины полковой тамошней, природных мужиков, которых отцы и деды посполитую отбывали теглость и сами они в мужицком пребывали звании, кого похощет вписует в казацкий компут, имеючи себе советника писаря своего полкового (Галенковского), який в дворе его пана полковника, край конюшне, полковою канцеляриею правит; так что старшина тамошня никогда ни о чём не ведает; а если до якого дела — то их старшину спрашивают. И хочай она старшина многократне ему писареве догорувала, что если кто похощет в козаки вписоватися, то чтобы публично были свидетели допрашованы, а не так, что в кого деньги только чуют, то хочай весма не надлежит, по своему пристрастию он, писарь, производит, а п. полковник поставляет. И много з разных маетностей попринемали, а мало кого по годности: толко были бы деньги. А поневаж указом имп. величества повелено тих только до казацкого приймовати компуту, которых отцы и деды козаковали и сами они в войсковых были походах, а не мужиков, которых деды и отцы козацко не служили и они сами в походах негде не были».³¹

По указанной жалобе гетман приказал хоружему Горленко произвести расследование, выявившее более ста человек, вписанных Галаганом в козацкие списки за взятки. Расценки были такие: авансом каждая вписываемая персона давал полковнику четыре, а писарю — три рубля; после оформления членства в «козацтве» его новый член добавлял пану полковнику и писарю ещё по рублю.

С началом царствования Петра II, когда в Малороссии было восстановлено прежнее выборное управление, свой суд, войсковой скарб, уничтожены подати, наложенные Малороссийской коллегией, Игнатий Галаган обратился к новому (в октябре 1727 года избранному) гетману Даниилу Апостолу с просьбой закрепить за ним ещё одно село. Но престарелый гетман, увидев, что у ненасытного полковника к этому времени было собрано в собственность (в нарушение закона) более восьми сотен дворов, в просьбе тому отказал: *«Понеже по справце в енер. канцелярии явилось, что ваша милость многие маетности надание имеет, именно с. Сокиринце — 192 двора; с. Озеряне — 154 двора, слоб. Дегтяри — 48 дворов, мест. Веремеевку з д. д. Погорелюю и Миклашевкою — 284 двора, с. Липовое — 128 дворов, итого 806 дворов...»*³³

Видя немилость гетмана, Галаган — вновь по отработанной схеме — попытался было закрепить свои маетности царскою грамотою, для чего, в начале 1733 года, отправился в столицу вместе с сыном Григорием, который был нужен ему, неграмотному, для писания прошений. Прослышав об этом, гетман отправил вслед за Галаганом его старого соперника Троцину, чтобы тот помешал непокорному полковнику получить царские грамоты на маетности, которые, как полагал Апостол, подчинённый ему полковник присвоил незаконно. Исход дела в столичных канцеляриях в пользу Игнатия Галагана решила его тугая мошна (хотя поначалу развитие тяжёлых событий складывалось не в его пользу).

В отставку Игнатий Галаган вышел в 1740 году, сумев предварительно передать командование полком сыну Григорию. Но даже удалившись от дел, продолжал отставной полковник деятельно приумножать свои богатства. По этому поводу в указе 1746 года генеральной канцелярии на его имя сообщалось:

*«Чигриндубровский сотник Александр Бутовский пишет, что атаманы Веремеевский и Липовский, со всеми тамошними козаками, жаловались ему, сотнику, что прадеды, деды и отцы их, живя в Веремеевке и Липовом на козацких грунтах, служили козацкую службу, не узнавая никаких затруднений; а сего 1746 г., вы, поехавши в Веремеевку и Липовое, начали им делать разные обиды, отнятием полей, рыбных ловел и других угодий и верстанием козаков у подданство, «выбиранием из жилых хат дверей и окон»; что вам было писано из лубенской полковой канцелярии, чтоб оставили козаков в покое. «Но вы на то не смотря, не только того перестать не хотите, но ещё сверх всего отбираете у козаков скот, арестуете имущество и берёте их под караул, принуждая их записываться в подданство». Поэтому генеральная канцелярия предлагала Галагану, чтоб он помнил высочайшие указы о «непоробощении» козаков...»*³¹

О жене Игната Галагана известно только, что происхождением она из рода Тадрин, звали её Еленой, в первом браке была замужем за киевским бурмистром Максимом Александровичем. Брат Игната, Семён, был миргородским есаулом, получив должность эту предположительно благодаря хлопотам «продвинутого» брата, и фактически не служил. В отличие от Игната был он человеком невысокого достатка; известно, что по завещанию 1743 года оставил Семён Галаган *«требрачной жене своей с дочерями её, под Омельником, «дворец с новою светлицею, пекарнею и коморою; а сыну Александру — отеческий свой двор в Омельнике и отеческий лес, там же»*.²⁵

Скончался Игнатий Иванович Галаган в 1748 году и был погребён в городе Прилуках, при церкви Преображенья, прежде им выстроенной.

Часть вторая. Григорий Игнатьевич Галаган

Продолжатель этой ветви рода, сын Григорий, родился 20 ноября 1716 года. Известно, что был он учеником фары Киево-Могилянской академии. (Фарой, или аналогией, именовался первый — из восьми — академических классов, в котором обучали только читать и писать на славянском, греческом и латинском языках; в классах инфимы, в классах грамматики и синтаксиса учили постепенно грамматикам означенных языков, занимались лёгкими переводами, преподавали катехизис, арифметику, нотное пение и отчасти музыку; далее шли классы поэзии, риторики, философии с преподаванием курса геометрии и богословия.)

Отец женил Григория — в 1738 году, в возрасте двадцати двух лет — на Елене (Ульяне), дочери бунчукового товарища Михаила Дунина-Борковского, одного из сыновей генерального обозного Василия Дунина-Борковского и Прасковьи Даниловны Апостол, дочери гетмана Левобережной Украины. *«В 22 года женился не кстате и не по своей воле и терпел неудовольство через десять лет... 1747. Жена моя умре и детей трое в сей год. Много претерпел печали»*, — отмечал он с переизбытком горечи в своём дневнике.

От отца — по именному указу — перепала Григорию Галагану должность полковника, состоя в которой правил он Прилукским полком двадцать три года, хлопоча усердно, по примеру отца своего, об увеличении семейного земельного богатства. Так, в 1746 году представил Григорий Игнатьевич для утверждения в прилукскую ратушу двенадцать купчих записей на земли, купленные им в сёлах Иванковцах и Дегтярях. Между тем, ещё в 1731 году монахи Пустынно-Николаевского монастыря предъявили свои права на село Веремеевку и сумели в судебном порядке вернуть его в монастырскую собственность. Григорий Галаган воспользовался этим случаем и выпросил в 1752 году у Разумовского за потерянную Веремеевку не менее богатое местечко Ичню.

В 1754 году Григорий Галаган, как он записал в дневнике, присутствовал на собрании в Глухове, на последнем акте трагикомедии, в которой сотник Яготинский Филипп Кунчинский пытался найти управу против махрового (даже по тем временам) взяточника генерального писаря (и зятя генерального судьи, Михаила Тарасовича Забелы) Андрея Безбородко. Дело это, будто образцово-показательный пример аналогичным событиям, происходящим ныне, спустя четверть тысячелетия, на украинской земле — с безудержным лихоимством, на цинизме замешанном, чиновничества, владельцев капиталов, судебной власти, их обслуживающей, по отношению к своим согражданам.

«Женившись на дочери генерального судьи Михаила Тарасовича Забелы, Безбородко вошёл в круг старинного панства.

Но только что успел Андрей Безбородко утвердиться на своём важном уряде и сделаться необходимым человеком для тогдашних правителей Малороссии (Барятинского, Румянцева и Кейта), как на него написан был в Петербург такой донос, что в Ноябре 1742 г. прислан был в Глухов указ — отрешить Безбородка от должности и произвести по доносу следствие самому Бибикову (тогдашнему правителю) с двумя особо назначенными чиновниками. Доносителем был земляк Безбородка, яготинский сотник Филипп Кунчинский.

Кунчинский обвинял Безбородка, прежде всего, во взяточничестве, которое будто бы он, пользуясь доверием правителей, довёл до небывалых размеров; затем — в лицепрятии к родичам и приятелям. При этом Кунчинский рассказывает, что Безбородко начал определять полковую и сотенную старшину без выборов, по личному своему произволу, за деньги. За сотничьи уряды брал по 100, по 70 рублей;

а для того, чтоб доход свой с сотников увеличить — убедил Румянцова многие сотни разделить пополам и таким образом учинил новые уряды, которые роздал также за деньги; недовольствуясь этим, Безбородко установил новые должности «вакансовья», т. е., при неимении вакантного уряда, выдавал свидетельство на «вакантовое» сотничество и даже полковничество, с тем что имеющий в руках такое свидетельство имел право получить первый открывшийся уряд. За тем Безбородко увеличил число канцеляристов в своей канцелярии до 200 человек, а при Апостоле их было всего 30; за принятие в канцелярию Безбородко также брал взятки и для увеличения их размеров, стал определять канцеляристов людей «по-сполитой породы», т. е. крестьян и мещан. Донос свой Купчинский подтверждал многими примерами, в доказательств которых ссылался на свидетелей.

...Интересны подробности, чем брал взятки Безбородко за определение канцеляристов: у Киселёвского взял шесть кубков серебряных и два перстня; у Григория Иваненка — лошадь с рондом серебряным; у Григория Туманского — серебр. кружку в две кварты; у Якова и Семёна Копцевичей — девять кубков серебряных...

Из этого доноса видно, что Андрей Безбородко при «правителях», до 1741 г., почти что управлял Малороссию». ³⁴

Pereat mundus et fiat justitia — пусть погибнет мир, но свершится правосудие. Расследование по указанному доносу, несмотря на чрезвычайно быструю на него исходную реакцию, длилось весьма неспешно. После отстранения обвинённого в лихоимстве от должности и учинённого над ним — в начале 1743 года — первого допроса, следующее общение с ним следователи произвели только в мае 1747 года. Конечно, оскорблённый Безбородко все обвинения категорически отвергал и возмущался порочащими его «лыцарскую» честь инвективами — по уже утратившему первоначальную силу доносительству. В третий раз его допросили только в июле 1751 года, после приезда в Глухов нового гетмана Разумовского, который дал суду ясное целеуказание — на правого и неправого: «Купчинский обвинён, а Безбородко оправлен старшиною генеральною и полковниками и по-прежнему, ордером гетманским, определён в генеральную канцелярию; а Купчинский лишён сотничьяго чина, чести и 100 ударов киями взял». ³³

Чуткий на перемены политических ветров, Григорий Галаган, конечно же, стал на сторону свершившегося «правосудия», оценив в своём дневнике жалобщика Кульчицкого как «плута». Хотя было известно ему, что с тестя его за продвижение того на должность бунчукового товарища мздоимец Безбородко взял для почина пятнадцать настенных ковров. И, следует заметить, такие траты стоили полученной тестем должности. «Бунчуковый товарищ» было почётным званием, коим малороссийские гетманы награждали на первых порах сыновей полковой старшины и полковников. От его обладателей требовалось сопровождать гетманов в походах, находясь под знаком гетманского достоинства — бунчуком. Бунчуковые товарищи освобождались от местного суда и подчинялись непосредственно суду гетмана; служили без жалования, определённых обязанностей не имели. Позже, после окончательного упразднения Малороссийской коллегии, бунчуковым товарищам было дано право на получение русского потомственного дворянства.

Реформы Екатерины II в 1765 году ликвидировали козацкое сословие на Слобожанщине (ныне Сумская и Харьковская области), а в 1782 году отменили издревле установившееся административно-территориальное деление Левобережной Украины, реорганизовав её в Малороссийскую губернию. Этим навсегда был упразднен институт гетманства и козацкое самоуправление, а также — бескровно — и Запорожская Сечь, правда, через несколько лет восстановленная (уже реорганизованной) в организационной форме Черноморского казачества. Лучшие запорожские казаки, проявившие себя достойно в боевых делах в составе русской армии, как правило, вли-

вались в её ряды и скоро проявляли себя хорошими офицерами, тогда как вольнолюбивые представители запорожской вольницы плохо (или никак) не вписывались в регулярный армейский строй.

Строго говоря, в 1781–1783 годах матушка Екатерину ликвидировала не малороссийское козацкое сословие (как класс), а лишь козацкие полки, вместо которых были учреждены полки легкоконные. Козацким же семьям было предложено на добровольных началах отряжать по одному мужчине в такие полки. После двадцати лет беспорочной службы, призывник (вместе с командировавшей его семьёй) получал волю и независимость, а также возможность дальнейшей службой продвинуться в офицерский чин и получить вместе с ним дворянство. Козацкой старшине, в состав которой активно, прирастая землями, двигался род Галаганов, дворянство присваивалось автоматически. (В добавок к помянутым выше благостям, царица Екатерина предложила уже бывшим малороссийским козакам и старшине посылать детей в Санкт-Петербург для обучения «на казённый кошт» в столичных учебных заведениях, прежде всего, в кадетских корпусах, готовивших армейских офицеров.)

Из дел полковничьих в послужном списке Григория Галагана был поход в составе русского войска на Буг (в 1740 году), под Азов (в 1748 году), участие — во время Семилетней войны с Пруссией — в кампании 1760 года, закончившейся временным взятием русскими войсками Берлина. *«Отправлен был тысячною командою в прусский поход, и там чрез целый год при армии, в чрезвычайных трудах и бедах, з немалым убитком именней моих обитался; а в добавок ещё, идучи из сего походу, и карантен семь недель стоял».*³⁴

В 1742 году Григорий Галаган наблюдал коронацию царицы Елизаветы Петровны в Москве, спустя два года встречал государыню в Батурине, во время её поездки в Киев. В 1750 году присутствовал на выборах гетманом (последним) Кирилла Григорьевича Разумовского — младшего брата Алексея Разумовского, тайного мужа императрицы Елизаветы, ею примеченного за чудное пение во время церковной службы в селе Лемеша.

В 1763 году, после смерти матери, Григорий Игнатьевич вышел в отставку и переехал в Сокиринцы, откуда отписал сыну своему Ивану о нормах своего пенсионного довольства и принципах взаимоотношений сына с удалившимся на покой отцом:

*«Любезный сын, Иван Григорьевич. Я иду в моё намеренное давно уединение, куда мене Бог приведёт, не дожидаясь лета, когда мой рок стал сир. Вам же желаю всякого благополучия и тихого мирного житя, дабы щасливее жите било от моего ваше! А не дай Бог такого, як мое било, и татарам не желаю. Притом всё вам и тое, чим я владел, препоручаю. Владейте и користи со всего собирайте себе и обстоюйте, так как найлучше. А мне для моего содержания в год присилайте, где я ни буду, из провента: муки житной семь осмачок, гречаной чотири осмачки, пшеничной четверик, фасоле две коробки, олеи ведер восемь, горелки сивухи кухов две, салов, денег... А я, ежели паче чаяния не понравится и не схочется там, в пустыне, умерать, а между тим бура веющая утихнет и Бог нас помилует чим добрим, то може и к вам ещё вернуся; ежели вам батко надобен и не противен, то ви его уведоште по времени обо всём чрез того человека, которой будет знать, где я обретатимусь. Григорий Галаган».*³¹

В Сокиринцах Григорий Игнатьевич жил безвыездно до последнего дня своего, наступившего 24 декабря 1777 года. Похоронили его в тамошней церкви, на надгробии усопшего чуть позже была выбита протяжённая и велеречивая эпитафия, Петром Тарновским сочинённая:

«Григорием тогда назвался,
Когда я был рождён на свет;
А Галаганом прозывался
Ещё из самых давних лет.
Рождён от Рождества Владыки
Семь сот шестнадцатом годе,
Когда был страшен Пётр Великий —
И на земле и на воде.

Игнатий, мой отец покойной,
Сему монарху верен был,
За что, как человек достойный,
И чин полковничий имил.
Горячность и преданность точно
И я пяти государям,
Являя в службе безпорочной,
Бывал в походах многих сам...»³⁴

Часть третья. Иван Григорьевич и Екатерина Ефимовна Галаганы

Исходное благосостояние первых успешных Галаганов, сложившееся в начале восемнадцатого века из царских пожалований и приращениями за счёт захвата земельных наделов, «маетностей» у маломощных собратий по «козацкому классу», дополнялось результативными брачными союзами, заключаемыми мужскими представителями фамилии с дочерьми видных родов старшинской корпорации Малороссии. Начало такому единению положил помянутый выше Григорий Галаган, взявший в жёны дочь бунчукового товарища Дунин-Барковского и тем породнившийся с черниговской и полтавской старшиной, с двумя влиятельнейшими кланами Гетманщины — Апостолов и Скоропадских (супруга Григория была внучкой сестры гетмана Апостола, Прасковьи Даниловны Апостол, которая, овдовев, вторично вышла замуж за Михаила Скоропадского, племянника гетмана).

Но воистину блестящий брачный ход сделал следующий Галаган, Иван Григорьевич, взявший, в 1754 году, в жёны Екатерину Ефимовну Дараган, внучку Наталки Разумовской и племянницу Алексея (тайно венчанного мужа императрицы Елизаветы) и его брата Кирилла (последнего малороссийского гетмана) Разумовских. Брак этот круто видоизменил социальный статус старшинского рода Галаганов, дал им наследственное привилегированное положение в аристократическом окружении, во круг императорского трона обращавшемся.

Благодаря этой брачной партии в семейство Галаган вошла едва ли не самая оригинальная личность, перенесшая из угасающего — по мужской линии — рода Дараганов всю его неизрасходованную энергетику на развитие фамильного клана Галаганов в ситуации, когда его продолжатель чуть было не пустил нажитое предками состояние по ветру. Делами своими подтвердила Екатерина Ефимовна Галаган-Дараган тот высокий социальный статус, который имела украинская женщина в обществе в козацкую пору, явные следы которого сохранились и проявлялись в рассматриваемую эпоху конца восемнадцатого века.

На независимые черты характера украинской женщины обратил внимание Гийом Левассёр де Боплан — французский военный инженер и картограф, с начала 1630-х до 1648-го года находившийся на польско-литовской службе (преимущественно на территории нынешней Украины), в 1637—1638 годах принимавший участие в походе Конецпольского на восставших Павлюка и Острянина. Подыскивая удобные для укреплений места, Боплан хорошо познакомился с топографией, этнографией, бытом и положением Польской Украины и ближайших к ней местностей и составил об этом интересные заметки. В своей книге «Описание Украины» он пишет:

«Здесь, в отличие от обычаев и традиций других народов, девушка первой сватается к молодому человеку, которого себе выбрала. Их традиционный и несокрушимый обычай почти всегда девушке в этом помогает, и она более определенная успеха, чем парень, если бы осмелился первым свататься к избранной девушке. Вот как это выглядит. Влюбленная девушка идет в дом молодого человека, которого любит, в то время, когда надеется застать дома отца, мать и своего суженого.

На пороге приветствуется словами: «Помогай Бог», которые значит почти то же, что наше «Да благословит Господь» и является обычным их приветствием, когда заходишь в чьей-то дом. Войдя в дом, девушка берется восхвалять того, кто пришел ей по сердцу. Обращается к нему, называя Иван, Федор, Дмитрий, Войтик, Никита, одним из наиболее распространенных здесь имен и говорит: «Вижу с твоего лица, что ты человек хороший, будешь бережным и любить свою жену. Надеюсь, что из тебя получится хороший хозяин. Эти твои хорошие качества заставляют меня склоненно просить взять меня в жены». Произнеся это, она обращается с подобными словами к отцу и матери парня, покорно просив согласия на их брак. А если же получит отказ или отговорку, якобы парень еще молод и не готов к бракосочетанию, то девушка отвечает, что не оставит их дома, пока он не женится и не возьмет ее себе в жены. А произнеся это, девушка упрямо стоит на своем и не выходит из комнаты, пока не получит того, что требует. Через несколько недель родители вынуждены не только согласиться, но и убеждают сына, чтобы тот внимательнее присматривался к девушке, как к своей будущей жене. А молодой человек, видя, как упорно девушка желает ему добра, теперь начинает смотреть на нее, как на свою будущую обладательницу, настойчиво просит у родителей разрешения ее любить. Вот как влюбленные девушки в этом крае устраивают свою судьбу, заставляя родителей выполнить свое желание ... Обычай, который описал, водится только между людьми равного положения, поскольку в этом крае все крестьяне одинаково богатые, и нет большой разницы в их состоянии».

Об относительной независимости украинской женщины в козацкие времена, о её высокой образованности и общественном уважении к ней оставил дневниковые записи Павел Халевский (Алеппский), сын и помощник антиохийского патриарха Макария, сопровождавший высшего православного иерарха в поездке по Молдавии, Валахии, Украине и России в 1654 году: *«От города Рашково и по всей земле казаков мы заметили прекрасную черту, которая разожгла наше удивление: все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей, умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные песнопения».*

Как свидетельствуют источники, во времена козачества (шестнадцатый — семнадцатый века) независимости украинской женщины-шляхтанки могла позавидовать дворянка любой европейской страны, ибо была она равноправной с мужем, имела такие же гражданские права, личную независимость, как ее муж-шляхтич. Женщины той поры были членами церковных братств, основывали школы, монастыри, богадельни, служили в армии, свободно выбирали себе жениха, воспитывали детей, сами распоряжались своим имуществом, управляли им, разрывали брак.³⁵

Уважение к матери, бабушке, сестре, которое доминировало и пропагандировалось в семейном воспитании, у парня — будущего казака — постепенно перерастало в уважение к девушке, к будущей жене. Это рыцарство влюбленного юноши с большой силой передано в украинских лирических песнях, в которых юноша, обращаясь к любимой девушке с нежнейшими и зачаровывающими словами, заявляет о готовности до конца дней своих заботиться о ней, быть ее защитником и опорой. Далее, уже после того как составила семейная пара, долгое (даже постоянное) отсутствие мужа-козака, который ушел на Сичь, в поход или погиб, способствовало формированию в украинской женщине независимого характера, высокого авторитета и уважения в семье.

И хотя, как полагают специалисты, в течение конца семнадцатого — начала восемнадцатого веков социально-политические и вызванные ими правовые изменения в обществе постепенно лишали украинских женщин семейных, собственно-имущественных и общественных прав, прадавние обычаи брачных отношений с лидерством в них женского элемента не исчезли, проявлялись как в веке восемнадцатом, девятнадцатом, так и в нынешние времена (если говорить о настоящих украинских, по духу и нравственности, женщинах).

Вот как о примате женского начала в жизни украинской семьи вспоминает мать выдающегося ученого, создателя космических кораблей Сергея Павловича Королева:

«...Хозяйничала в доме, как и положено, моя мать — энергичная, волевая, разбитная женщина — Мария Матвеевна. Весь Нежин знал ее острый ум и бурную, веселую и одновременно крутую удачу. Еще бы — ведь мы по тогдашним общественным разделением относились к казакам. И не только на бумаге. Когда были на Сечи Запорожской такие славные казаки — Фурса. Один из них даже ходил в есаулах. Числились в реестре Сечи Москаленко и Лазаренко. Все это — мои деды и прадеды. Как истинные рыцари, они показывали свою храбрость и силу на поле боя и в походах, а вот дома всю власть отдавали женщинам. Сколько помню и насколько знаю из преданий, в нашем роду владычествовал матриархат. Когда что-то спрашивали у моего отца, он говорил: «Спросите матери. Как она скажет, так и будет!»

Выдвижению на скрижали рода Галаган такой яркой женской фигуры, как Екатерина Ефимовна Дараган, проявлению её лучших качеств как охранителя и умножителя движимого и недвижимого имущества фамилии, её высокой общественной значимости способствовало и то обстоятельство, что наследники полковников Игната и Григория в части семейной пассионарности оказались их антиподами, не проявлявшими интереса ни к государственной службе, ни к занятиям, улучшающим хозяйственное положение их имений.

Отцом этой умной, энергичной женщины был Ефим Фёдорович Дараган, начавший воинскую службу бунчуковым товарищем, ставший (в 1751 году) полковником Киевским, получивший (в 1762 году) звание бригадира и в том же году завершивший свой земной путь. В браке с Верой Григорьевной Разумовской прижил он пятерых детей — сыновей Василия, Ивана, Григория и дочерей — Софию и Екатерину.³⁶

Первенец Василий сделал прекрасную военную и придворную карьеру. Начав, в 1751 году, камер-юнкером, он семь лет спустя числился майором Ораниенбаумского гарнизона, а в 1758 году стал действительным камергером (и фаворитом) великого князя Петра Фёдоровича. После насильственной смерти в 1761 году недолго процарствовавшего Петра III, камергер Дараган остался верен памяти патрона и в 1764 году удалился от службы в свои черниговские имения (что, однако, не помешало ему получить от императрицы Екатерины звание генерал-поручика).

Его брат, Иван Ефимович, воинскую службу начал в чине корнета из вахмистров Конной гвардии в 1753 году, в 1758 году пожалован был в поручики лейб-гвардии Конного полка. Поскольку при утверждении в этих званиях не имел он требуемых лет, то «*был отпущен в Женеву для окончания наук*». Вернувшись, дослужился в своём гвардейском полку до ротмистра, после чего (в 1765 году) вышел в отставку и переменил военный образ жизни на помещичий.

Больше сохранилось сведений о Григории Ефимовиче Дарагане, 1744 года рождения. В возрасте девятнадцати лет он, по примеру брата Ивана, в чине вахмистра был зачислен в полк Конной гвардии. Как и брата, из-за малолетства, Григория Дарагана отправили родители на некоторое время в Женеву, для прохождения курса наук. По возвращении, прослужив некоторое время, он, в 1765 году, в чине ротмистра вышел в отставку. Умер Григорий Ефимович 17 апреля 1766 года и был погребён на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

София Ефимовна Дараган ещё в подростковом возрасте, в 1758 году, была назначена во фрейлины императрице Елизавете. Её портрет кисти неизвестного художника, в эту пору написанный, ныне украшает экспозицию Черниговско-



го художественного музея и даёт возможность зрителю ощутить всю — неизменную для времени и исторических эпох — прелесть и очарование девичества. (Полагают некоторые местные краеведы, что стала Софья Дараган прообразом главной героини шевченковской повести «Княгиня».)

В изданном в Петербурге в 1765 году адрес-календаре в разделе, посвящённом фрейлинам императрицы, в частности, записано: *«Что касается самой фрейлинской должности, то на эту службу обычно принимались дворянские дочери лет четырнадцати-двадцати. Жили они в Зимнем (осенью — весной) или в Летнем (весной — осенью) дворцах под присмотром мадам Екатерины Петровны Шмидт. Фрейлины поочередно дежурили при императрице, круглосуточно обретаясь возле нее и исполняя те или иные высочайшие поручения. Жалованье каждой давали по 600 рублей в год; двум камер-фрейлинам — по 1000 рублей в год. Девуцы, зачисленные во фрейлинский список малолетними (главным образом по причине сиротства), с 30 мая 1752 года имели оклад в 200 рублей в год.*

Покидали фрейлины придворную службу автоматически после выхода замуж. При этом императрица награждала невесту хорошим приданым — наличными деньгами, драгоценными вещами, платьем, кроватьными и постельными уборами, галантерейными предметами на сумму от 25 до 40 тысяч рублей и красиво сделанным образом святого новобрачной».

И далее в этом же адрес-календаре: *«Софья Ефимовна Дараган: 3 февраля 1758; вышла замуж за П. В. Хованского 25 апреля 1764; день именин — 17 сентября».* Обвенчавшись с князем Петром Васильевичем Хованским, служившим потомственным камергером при дворе Екатерины II, увлекавшимся музицированием и любительским актёрством, потеряла София Дараган фрейлинскую должность, но приобрела пожизненное княжеское достоинство. Впрочем, это брачное сожительство длилось только четыре года, по завершении его София Ефимовна вернулась на малую родину, на Черниговщину, в село Семиполки, в котором провела долгий остаток дней своих, завершившихся в 1818 году.

Почти столетие спустя её двоюродный правнук, Григорий Павлович Галаган, побывав на туденческих каникулах в семейном имении Покорщине, самым сердцем перечувствует его окружающие природные прелести и *«...портрет прелестной блондинки (княгини Хованской), сестры Екатерины Ефимовны, моей прабабушки, в грациозном старинном костюме, с розой на груди, всё это производит на меня необыкновенное впечатление...»³⁴*

Судьбу старшей дочери, Катерины Дараган, родители решили ещё в её нежные отроческие лета — отправили под венец её с малознакомым, нелюбимым и невидным Иваном Григорьевичем Галаганом. (После него, как много позже писал его правнук, Григорий Павлович Галаган, *«... не осталось следов деятельности по делам общественным или собственным».*)

В юные лета был Иван Григорьевич, как полагалось сыну представителя козацкой старины, назначен бунчуковым товарищем, и в «чине» этом с августа 1763 года по доверенности (*«по поручению»*), командовал Прилуцким полком. Передав эту обязанность в 1767 году Петру Горленко, он далее перешёл к размеренному стилю жизни малороссийского дворянина — был судьёй Прилуцкого суда, надворным советником.

С самого своего начала настроенный на неудачу, его брак с Екатериной Ефимовной держался недолго, и с рождением их третьего ребёнка супруги, по взаимному согласию, разъехались. *«Иван Григорьевич даже искал развода, но Екатерина Ефимовна на это не согласилась, ради состояния своих детей...»* Она вместе с детьми переехала в приобретённое ею село Ювковцы (или Ивквивцы) под Прилуками, где прожила некоторое (недолгое) время, пока не определилась с местом постоянного обитания.

Чуть ли не одновременно, один за другим умерли три несемейных и бездетных брата Екатерины Ефимовны, после чего она, вместе с сестрой Софией Хованской, по-

лучила в наследство большие и богатые имения на Полтавщине и Черниговщине — Лемешу, Михайловку, Мостище, Рудьковку, Даневку, Покорщину.

Для жительства Екатерина Ефимовна выбрала Покорщину, что под Козельцом, куда переехала с детьми и где зажила на широкую ногу малороссийской барыни, окружённая многочисленной челядью и стайкой декоративных собачек, коих она безмерно любила.

Со старинной усадьбой Покорщиной связана то ли легенда, то ли быль о пребывании здесь императрицы Елизаветы Петровны во время её визита на родину Алексея Разумовского. По свидетельству Григория Павловича Галагана, усадьба была приобретена в 1750 году Ефимом Дараганом у киевского полкового писаря Ивана Покорского. Екатерина Ефимовна активно продолжила обустройство семейного гнезда, которое, много лет спустя, досматривал любовно её правнук, Григорий Галаган и в итоге, в 1875 году, передал его (вместе с другими имениями) в собственность Коллегии Павла Галагана — для летнего отдыха учащихся.

Сохранившиеся по сегодня факты жизни Екатерины Ефимовны Галаган свидетельствуют о её большом благочестии, о её ежегодных поездках в Киево-Печерскую лавру, о жертвованиях на поддержание этой древней православной обители. Известно, что она положила в ипотечное кредитное учреждение в Москве («Сохранную казну») тысячу рублей ассигнациями, проценты от которых шли на дела благотворительные, на поминание родителей в праздник Успения Богородицы, в день преподобных Антония и Феодосия. Ещё три тысячи рублей внесла она в это учреждение в 1820 году для содержания храма архангела Михаила, возведённого в селе Мостище, центре Мостищанского имения, унаследованного от Дараганов.

Будучи строга с родными и близкими, Екатерина Ефимовна проявляла заботливость и внимание к ей подвластным крепостным крестьянам; внукам своим по этому поводу она писала в Петербург: *«Ваши крестьяне и так бедные; отягощились за долги ... и чтоб не допустить именно пропасть, я их и обнадеживаю»*. Не обошла Екатерина Ефимовна своих крестьян и в своём завещании, в котором отписала для них выход на свободу, но те, получив после смерти барыни (в 1821 году случившейся) *«отпускные листы»* с вложенными в них деньгами, подали заявление в Козелецкий земский суд и императору с просьбой оставить каждого из них пожизненно в подданстве внуков покойной, Петра и Павла Галаганов. (Правда, следует учесть, что милость эту Екатерина Ефимовна предопределила лишь для небольшого числа — преимущественно для дворовых, её обслуживавших — крепостных, но никак не для основных, общим счётом за десять тысяч представителей закабалённого селянства, обеспечивавших трудами египетскими благосостояние семейства Галаган.)

«Не будучи вовсе жестокою, была очень строга и своевольна относительно своих родных и даже соседей, так что все её боялись. Дворня её состояла из 80 душ, все из неженатых слуг и незамужних служанок. Жить при ней, особенно близким родным, было нелегко. При всём этом она очень заботилась о крестьянах, гордилась их благосостоянием и строго преследовала притеснения, делаемые крестьянам её приказчиками... Будучи очень благочестивою, она соблюдала посты, одевалась просто и в домашнем быту говорила по-малороссийски...»³⁴

Часть четвёртая. Екатерина Галаган против первого Григория Галагана (мать против сына)

«О дети, дети! Как опасны ваши лета!» Разойдясь неформально с Иваном Григорьевичем Галаганом, создала ему венчанная супруга две основные пожизненные проблемы. Во-первых, числясь формально женатым человеком, не мог покинутый муж

составить себе новую партию, был вынужден жить соломенным холостяком. Во-вторых, можно уверенно предположить, что уйдя от мужа, властная Екатерина Ефимовна фактически лишила его детей, ответственность за воспитание, обучение и вывод в люди которых она взяла на себя.

Думается, воспитание детей велось ею в лучших традициях родной старины с примесью новых воспитательных веяний, привнесённых в быт малороссийского дворянства как стилем жизни дворянства великорусского, так и вольтерьянскими веяниями с западной стороны; первоначальное образование детям дали домашние учителя. Устройство жизни дочерей Екатерина Ефимовна решила традиционным способом подбора им достойных партий из числа живших неподалёку сербов — дочь Вера была выдана замуж за майора Фёдора Чорбу, её сестра Ульяна стала женой секунд-майора Ивана Михайловича Стоянова. Сына Григория, прежде чем «оженить», Екатерина Ефимовна, используя свои возможности как племянницы Кирилла Разумовского, отправила учиться в Лейпцигский университет.

Великорусская элита, в том числе представители потомственного и приобретённого дворянства, духовенства, чиновничества уже с конца семнадцатого века время от времени отправляла своих отроков поднабраться ума-разума в высших учебных заведениях европейских стран, отдавая предпочтение германским университетам. В числе русских студиязусов в эту пору преобладали выходцы из центральных российских губерний, представителей малороссийской стороны было мало. Между тем, на рубеже сороковых-пятидесятых годов восемнадцатого столетия в обозначившемся заметном увеличении потока студентов из России стали преобладать не уроженцы великорусских губерний или столичного дворянства, а выходцы из Малороссии, из козачьих областей Левобережной Украины — Черниговщины и Полтавщины.³⁷

Процесс этот активизировался, когда укрепилось положение и возросло богатство малороссийской старшины, после того как — в 1750 году — последним гетманом Малороссии стал президент Российской академии Кирилл Григорьевич Разумовский, к слову, также учившийся в Германии. По приказу брата, фаворита императрицы Елизаветы Петровны, Алексея Разумовского, Кирилл, родившийся в бедной козачьей семье и в детстве пасший волов, в пятнадцатилетнем возрасте был взят в Петербург, откуда, в марте 1743 года, «под строжайшим инкогнито» был отправлен на учебу за границу. Инструкции по обучению составлял для него автор первой грамматики на русском языке Василий Евдокимович Адодуров, который прежде, будучи адъюнктом Петербургской академии наук, опекал Ломоносова перед его отправкой в германский Марбург.

По распоряжениям Адодурова, согласованным с Алексеем Григорьевичем Разумовским, первый год юный граф должен был провести в Германии, в университетском Кёнигсберге, чтобы получить здесь основательное понятие в науках и языках, особенно в немецком, латыни, а также истории и географии, усовершенствовать чистоту стиля в русском письме, а для завершения образования отправиться в путешествие по Европе, которое должно было, естественно, закончиться в благословенном Париже. Известно, что в Кёнигсберге он занимался у одного из университетских профессоров, филолога Целестина-Христиана Флотвеля, и, посещая другие города Германии, основательно поднабравшись знаний, составил самое благоприятное впечатление об университетском образовании в этой стране.

О последнем свидетельствует и тот факт, что всех своих сыновей гетман также послал учиться в немецкие университеты, чем поднял авторитет последних у входившей в его окружение верхушки малороссийского дворянства, последовавшей примеру «верховного» отправлять детей учиться в Германию (только за 1751–1754 годы сюда приехали образовываться двадцать два малороссийских «паньча»). Причем интересы этой среды, и следовательно, цель получения образования состояли не только в поль-

зе для служебной карьеры, но и в развитии научно-просветительской деятельности, о чем говорят другие примеры, в которых малороссийские юноши после окончания университетов стремились к продолжению ученой карьеры.

Их путь в науку, как правило, начинался в Киевской академии, переживавшей тогда пору расцвета. Традицию ученых связей этого учебного заведения с немецкими университетами заложил известный филолог и богослов Симеон (в иночестве Симеон) Тодорский. Сын казака Переяславского полка, он, согласно его собственноручно написанной биографии, с 1718 по 1727 год учился в Киевской академии, по окончании которой направился в Петербург, а затем в Ревель, где с паспортом, выданным в местной канцелярии, «отъехал за море в Академию Галлы Магдебургския». Проведя в Галле шесть лет, изучивши, помимо прочего, греческий, еврейский, сирийский, халдейский и арабский языки, он затем полтора года скитался по Европе «между Езуитами», был «позван от Греков для некия их церковныя нужды» и еще полтора года провел учителем при греческой церкви в Венгрии, после чего, в 1738 году, вернулся в Киев.

Назначенный Академией учителем по классу греческого языка, Тодорский существенно расширил свой преподавательский цикл, начав читать немецкий и древнееврейские языки. Образованный монах-эрудит, он быстро обратил на себя внимание в столице и был приглашен (в 1742 году) занять место законоучителя для наследника престола, великого князя Петра Федоровича и его супруги великой княгини Екатерины Алексеевны.

Именно Тодорский готовил будущую Екатерину II к принятию православия и был первым ее духовником. Уже вскоре после переезда в Петербург началось его восхождение по церковной иерархии: в 1743 году он был назначен членом Святейшего Синода и архимандритом костромского Ипатьевского монастыря, затем епископом Костромским, а с 1748 года — архиепископом Псковским и Нарвским (эту же кафедру до него занимал Феофан Прокопович). Должно отметить, что после Тодорского на богословский факультет университета в Галле поступили ещё несколько его учеников из Малороссии, в числе которых были братья Полетики — Иван и Григорий.

Но преобладали в немецких университетах всё же дворянские дети, настроенные родителями на карьерное продвижение по завершении учёбы. В университете Галле учился — с 1753 года — Павел Васильевич Кочубей, внук знаменитого малороссийского генерального судьи, казненного Мазепой. По возвращении на родину Павел женился на дочери Андрея Яковлевича Безбородко, генерального писаря (помянутого выше, за свои лихоимства побывшего некоторое время под судом). Родственник последнего, Арсений Безбородко в 1753 году числился студентом Лейпцигского и Йенского университетов.

Григорий Иванович Галаган окончил Лейпцигский университет в августе 1781 года. Выпускником этого года, из известных фамилий, был граф Пётр Шувалов; далее в числе таковых числились: в 1782 году — Никита Новосильцев, в 1786 году — князь Николай Александрович Голицын, черниговские дворяне, двоюродные братья Григорий Петрович и Михаил Андреевич Милорадовичи, в 1789 году — князья Иван Иванович Барятинский и Василий Сергеевич Трубецкой et cetera. Мемуарным источником особого рода о жизни русских студентов в Лейпцигском университете в 1767–1771 года является произведение Александра Николаевича Радищева «Житие Федора Васильевича Ушакова» (того самого Радищева, которого за сочинённое позже им «Путешествие из Петербурга в Москву» императрица Екатерина строжайшим образом наказала). В Лейпцигском университете, к слову, студент Радищев отметился в 1767 году как участник «бунта» русских дворян.



По завершении зарубежной образовательной поездки и возвращении на родину, случившемся в 1781 году, был Григорий

Иванович Галаган, имевший титул бунчукового товарища (переклассифицированного в звание майора), пристроен к воинской службе — ходил в походы в Турцию (в 1788–1789 годах), в Польшу (в 1794 году).

После выхода в отставку, в 1797 году, жил в унаследованном им имении Сокиринцы). Женится он на Ирине Антоновне Милорадович, представительнице подветви «Антоновичей» обильно разветвившегося к этому времени генеалогического древа старинной сербской фамилии, носители которой уже с конца семнадцатого века усердно служили российскому трону. Жили эти Милорадовичи неподалёку от Сокиринцев, в имении Калюжанцы, в числе их были братья Ирины Антоновны — Пётр, Иван, Павел.

Брачный союз Григория Ивановича и Ирины Антоновны дал трёх детей — сыновей Петра (в 1792 году), Павла (в 1793 году) и дочь Прасковью, дата рождения которой не установлена. После кончины, в 1789 году, главы семейства всё его наследство — семейные имения с крепостными в шесть тысяч душ — перешло естественным образом к сыну Григорию, который, обретая финансовую независимость, пустился во все тяжкие, в чём ему содействовали всемерно «родычи» Милорадовичи, слывшие известными ветрениками. Избрал новый хозяин Сокиринцев «модный» для левобережного «панства» конца восемнадцатого столетия *modus vivendi*, когда, по словам его внука, *«рядом с новыми потребностями, затеями, новыми понятиями, проникнутыми вольтерьянством, шли с другой стороны с Великороссии все привычки и образ жизни, соединённые с крепостным состоянием...»*³⁷

Екатерина Ефимовна категорически воспротивилась деловой бездеятельности легкомысленного чада, его безразличию к ведению хозяйства, его отношению к полученному наследству и стилю каждодневного поведения. Она начала судебные дела против сына, от которых в семейном архиве сохранилось несколько томов, в частности «Судебные дела Екатерины Ефимовны Галаган с сыном Григорием Галаганом за разврат, пьянство, непослушание, 1792».

Прежде всего «обиженная» (так именовалась она как истец в судебных документах) выделяет собственное право распоряжаться имуществом покойного мужа *«на основании малороссийских прав и высочайших учреждений об управлении губерний»*. В иске против сына мать делает упор на пренебрежение им правил набожности, в частности, *«...в первую неделю великого поста он, ответчик, не прося у обиженной позволения, по отъезде из Козельца в отцовские деревни, якобы на обозрение оных, не успев приехать в Прилуку, как ночью, собрав немалое число своих самого дня были у исповеди и готовы к принятию святых тайн...»*³⁶

В числе других обвинений — неуважение к памяти отца, пьянство, посещение разгульных компаний, легкомысленное отношение к домашнему имуществу: *«...умножая досады, дарил также беспричинно разных служителей посторонних, не разбирая заслуг и состояния человека, по одному гордому о себе мечтанию, немалым количеством хлеба, денег, скота, непоследнего отцовского одеяния, строевого леса, ружей и седел старинных, под чернь и позолоту — по знатности дому, немалую цену составляющих...»*³⁶

Судя по всему, Екатерина Ефимовна Галаган стремилась сохранить семейное имущество для внуков от разгульного, беспечного сынка Гриши, но намерения эти оказались тщетными. Решениями Прилуцкого уездного суда 1792 года и далее — Сената, в 1793 году ей в иске о разделе имений было отказано. И хотя судебные тяжбы между матерью и сыном продолжились, судьба ответчика была предreshена высшей инстанцией и, как позже писал внук ответчика Григорий *«образ жизни Григория Ивановича расстроил его здоровье, а вместе с ним и его дела, и он умер»*.

И всё же судилось Екатерине Ефимовне стать охранителем фамильного имущества. После смерти (в 1809) году её непутёвого сына, умерла его жена Ирина (Ярина), братьев которых, кстати, Екатерина Ефимовна публично обвиняла в пагубном влиянии на её сына. Теперь она стала опекуном трёх несовершеннолетних внуков Петра, Павла и

Прасковьи, взяв на себя все обязательства по распоряжению их наследством, отягощённым долгами и срочными выплатами, и ревностно свои обязательства исполняла.

В частности, в одном из писем, датированным 1812 годом, адресованным в Петербург внуку Петру, тогда уже двадцатилетнему, и девятнадцатилетнему Павлу, она проявляет себя заботливой бабушкой-наставницей, следящей за поведением своих любимцев в столице: «Я вас всем снабдила нужным, дабы вы ни на что убытка не имели, но вы вздумали мебели покупать, называть к себе на обеды... столько водки французской, ромов, вин, что в мене люди бывают, то за год того не сойдёт, что у вас за месяц...»³⁶

Свои требования быть сдержанными в тратах Екатерина Ефимовна мотивировала фамильными проблемами в отношениях с кредиторами: «Ещё остаётся сто сорок тысяч долгу необходимого, в банк девять десять тысяч, и партикулярного пять десять тысяч, и только три года на выплату остаётся, кроме того, теперича налоги ... за одно винокурение в казну больше трёх тысяч, да с доходов девять процентов, и теперича за бедных, чтобы не решились себя жизни, ... от налогов и в вашей части, и в моей заложено за подушное».³⁶

Часть пятая. Павел и Екатерина Галаганы

Внуки Екатерины Ефимовны Галаган, Пётр и Павел, образование своё получили в Петербурге. По некоторым источникам предварительно учились они в столичном училище высших наук, что маловероятно, так как таковым учебным заведением был на то время Царскосельский лицей.

Наряду с университетами в первые десятилетия девятнадцатого века были созданы — прежде всего, на средства меценатов — несколько высших учебных заведений, приближавшихся по своим правам и уровню образования к университетам и именовавшихся «училищами высших наук» (или лицеями). Первым такого рода учебным заведением стало Демидовское училище высших наук, открывшееся в Ярославле в 1803 году.

Аналогичная этому училищу гимназия высших наук была создана по указу от 29 июня 1805 года в городе Нежин из средств князя Александра Андреевича Безбородко, им завещанных на благотворительные цели, из которых его младший брат, граф Илья Андреевич, пожертвовал 210 тысяч рублей на постройку здания гимназии, обустройство сада при ней и прочие организационные расходы. Гимназия была открыта в 1810 году, а с 1820 года стала именоваться «Гимназией высших наук князя Безбородко» и пользоваться одинаковыми правами с Ярославским Демидовским училищем. (В 1844 году гимназию переименовали в «Лицей Безбородко», далее ставшим, с 1844-го по 1875-й год, юридическим лицеем, а с 1875-го года — историко-филологическим институтом.)

Училища высших наук, являвшиеся своего рода переходными учебными заведениями между гимназиями и университетами, плохо вписывались в структуру учебных округов, строго определённую Предварительными правилами Министерства народного просвещения, действовавшими с 1803 года (реальные училища — гимназия — университет). По этой причине училища высших наук, предоставлявшие своим ученикам общеобразовательную подготовку к гражданской государственной службе, вскоре после их учреждений были реорганизованы в официально признанные педагогические структуры.

Вероятнее всего, с учётом того, что стремились родители-дворяне дать своим детям начальное воспитание и обучение в социально родственной среде одногодков, получали его поначалу братья Галаган в одном из Петербургских пансионов, для наставления дворянских детей предназначенных.

Если с предвещающей высшее образование учебной подготовкой братьев Галаган нет полной ясности, то достоверно известно, что оба они окончили Санкт-Петербург-

ский Горный кадетский корпус. Это высшее учебное заведение было образовано в ноябре 1804 года из Горного училища, учреждённого в октябре 1773 года для подготовки горных инженеров. С момента основания Горный кадетский корпус находился в ведении Горного департамента, хотя общие правила поведения, обучения и воспитания заимствованы были из устава военно-учебных заведений. Воспитанники четырех низших классов назывались кадетами, двух следующих — кондукторами, а в высших классах обучались офицеры. В 1833 году Горный кадетский корпус переименовали в Горный институт.

Пётр Григорьевич Галаган далее служил коллежским регистратором, в Коллегии Иностранных дел, с 1817 по 1820 год — в Канцелярии малороссийского генерал-губернатора князя Николая Григорьевича Репнина, а с 1821 года — в министерстве юстиции и министерстве внутренних дел, где в чине титулярного советника исполнял обязанности чиновника особых поручений. В отставку он, уже коллежский асессор вышел в 1828 году, поселился в им унаследованном имении Дегтярях. В 1835 году дворянство Лохвицкого уезда избрало его своим предводителем. Женился он в 1824 году, в Петербурге, на Софье Александровне Казадаевой, дочери сенатора Александра Васильевича Казадаева, сенатора, историка, почётного члена Российской Академии наук. Этот брак был бездетным. Скончался Пётр Григорьевич в 1855 году.

Прасковья Григорьевна Галаган переменяла свою девичью фамилию, обвенчавшись с Аркадием Александровичем Ригельманом, 1778-го года рождения, служившим гвардии поручиком, потом — коллежским асессором, избиравшимся Черниговским уездным предводителем дворянства.

Продолжателем династии Галаган стал младший внук Екатерины Ефимовны, Павел, у которого в 1819 году родился сын Григорий, тогда как у Петра Галагана, который был старше Павла на один год, детей не было. «Оженился» Павел Иванович Галаган в возрасте двадцати одного года на только разменявшей четвёртый десяток Екатерине Васильевне Гудович (годы жизни: 1783 — 1868), принадлежавшей к прадавней польской дворянской ветви этой фамилии, внесённой в родословную книгу Виленской и Ковенской губерний, но уже пустившей корни в среду украинского козачества и занявшей заметное место в российской дворянской иерархии.

Дед Екатерины Васильевны — Василий Андреевич — был последним генеральным подскарбием (заведовал казной) Войска Запорожского, её бабка — Мария Степановна — принадлежала к роду Миклашевских. Два сына от первого брака Василия Андреевича особо отметились в прежнее время: Андрей Гудович, как сторонник Петра III, не присягнув взявшей власть Екатерине II, отказался от карьеры при дворе и поселился в родовом имении Душатын. Вторым его сыном, Иван Гудович, взял в жёны Прасковью Разумовскую, дочь последнего гетмана и, прославившись в борьбе с польскими конфедератами и турками, сделал прекрасную карьеру при дворах Екатерины II и Павла I, который возвёл его в графское достоинство (в 1807 году император Александр I распространил графский титул на всё семейство Ивана Васильевича).

Отцом Екатерины Васильевны Галаган-Гудович был младший и наименее богатый из четырех братьев Гудовичей, Василий Васильевич. Участник многих военных сражений, в том числе на Бородинском поле, он владел лишь одним небольшим имением в селе Разрытом Мглинского уезда Черниговской губернии.

Его дочь, вдруг ставшая графиней, но лишённая из-за скудости средств возможности выезжать в свет для «ловли женихов», засиделась в девушках. Чтобы ускорить дело, отец на время переселил дочь в Москву, к брату Ивану Васильевичу Гудовичу, фельдмаршалу.

Во время нашествия французов, когда Наполеон подходил к Первопрестольной, Екатерина Васильевна спешно переехала в Петербург к другому своему дяде, графу

Михаилу Васильевичу Гудовичу. Именно здесь через два года на одном из балов она встретила Павла Григорьевича Галагана, недавнего выпускника Горного института, служившего в Иностранной коллегии. Молодые люди понравились друг другу настолько, что вскоре сыграли свадьбу. Причем одного из самых богатых землевладельцев Малороссии вовсе не смутила разница в возрасте с невестой — он был младше Екатерины Васильевны на целых восемь лет.

Возможно не только материальные соображения дали ход браку разновозрастных Екатерины и Павла, ибо много позже их сын Григорий отмечал в своём дневнике, что *«супруги жили в примерной дружбе и согласии»*. Возможно, что такой гармонии способствовало отсутствие у супруга карьерных и житейских амбиций — сразу после женитьбы, отказавшись от службы в столице, он вместе с супругой поселился в имении Сокиринцы, которое после смерти бабки и раздела имущества с братом Петром отошло к нему.

Единственным (да и то — общественным) занятием его было исполнение обязанностей почётного смотрителя Козелецкого уездного училища, за что он в 1823 году получил (за выслугой *«узаконенных лет»*) чин титулярного советника, занимавший IX-ю позицию в Табели о рангах. Любитель искусств (прежде всего — архитектуры), владелец громадного состояния, он все дела управленческие, судя по всему, передоверил супруге. После трёх лет брачной жизни он, в частности, писал брату Петру в Петербург: *«Ежели, дай бог, будем вместе, то ты увидишь, что мы всё нужное и полезное покупали и при том всегда не очень дорого... Я несправедливо говорю «мы», потому что всё Екатерина Васильевна покупает и очень всегда хорошо, без неё я вполнину б дороже всё покупал»*.²⁵

Как утверждают некоторые исследователи, первых трёх младенцев Екатерина и Павел Галаганы потеряли. Справочник по Черниговской губернии указывает на одного умершего в младенчестве сына. В ту пору детство до семи лет считалось временем чисто биологического существования, что отчасти можно объяснить высокой смертностью среди малышей. Из-за такой неизбежной роковой причины уход за ребёнком до семилетнего возраста передоверялся няне. И кстати, институт нянь, которым гордилась Россия, был чужд и непонятен западноевропейским моралистам, проповедовавшим идеал материнской опеки.

С семилетнего возраста ребёнок в наших семьях рассматривался как маленький взрослый. Считалось, что к этому сроку у него появляется разум, и малолетний гражданин становится пригодным к обучению, кое ориентировалось исключительно на верное служение отечеству. В мальчишке воспитывалось умение приказывать и повиноваться, в девочке прививались идеалы жертвенности, в качестве жены и матери. Причём, в отличие от других культур той эпохи, российское дворянское воспитание не считало возможным «ломать волю» ребёнка, а отдавало предпочтение убеждению и личному примеру старших. Телесные наказания существовали, но не приветствовались и постепенно исчезли из воспитательного быта. После семи лет дети в поведении были на равных со взрослыми, могли присутствовать и принимать живое участие в их общениях, читать любые книги.

После кончины первых младенцев выжили у супругов Галаган следующие два ребёнка — сын Григорий, родившийся в Киеве 15 августа 1819 года, и дочь Мария, родившаяся 5 мая 1822-го года в Сокиринцах. Чайанных детей родители, после понесённых потерь и страданий, любили безумно.

Вступив — после смерти бабушки, Екатерины Ефимовны, — в права наследования в 1823 году, Павел Григорьевич Галаган, человек вполне европейский, хорошо образованный и большой эстет, затеял преобразование усадьбы в духе нового времени. Он пригласил привезенного соседом по Лохвицкому уезду, графом Милорадовичем, из Саксонии ученого садовника Бистерфельда и поставил перед ним задачу: переделать

прежний, во французском вкусе, регулярный сад — в сад английский, романтический, близкий к природе. Одновременно из Москвы был выписан известный архитектор Дубровский, который за три года построил на новом месте величественный каменный дворец на шестьдесят комнат в стиле ампир с высоким декоративным куполом; старый же, «предковский дворец», был впоследствии разобран.

После реконструкции фамильное гнездо семейства Галаган преобразовалось в большую старосветскую усадьбу с каменными воротами и флигелями для прислуги вдоль подъездной дороги, с просторным «панским» двухэтажным домом, опоясанным могучими трехсотлетними дубами, оставшимися от когда-то бывшего здесь леса. С балюстрады, декорированной портиком и колоннами, мраморными вазами и статуями, шёл многоступенчатый спуск к лужайке, обрамлённой остатками прежнего парка — вековыми дубами да липами с кленами в несколько обхватов. Весь дворцово-парковый ансамбль включал в себя каменную церковь, мост через лощину, башню в готическом стиле, гроты, беседки, оранжереи, дороги для прогулок в экипажах.

Когда позже, где-то в середине пятидесятых годов, в Сокиринцы приедет погостить Иван Сергеевич Аксаков, он в письме к родным, в частности, сообщит: *«Взглянув на дом и на сад, я сказал Галагану, что он не пан, а лорд Галаган, что его очень смутило и заставило оправдываться. В самом деле, я думаю, и герцог Девоншир был бы доволен здешним местом... Я не видал ничего лучше...»*



В 1829 году семейство Галаган переехало к новому дворцу, сюда же была перевезена и составившаяся к этому времени семейная художественная коллекция. Живописные произведения заняли стены большой залы и гостиной, рисунки гуашью «Извержение Везувия» и серия гравюр с картин Рафаэля — бильярдной. *«Безмолвные аллеи, заглохший старый сад, в высокой галерее портретов длинный ряд...»*¹¹⁵

В кабинете, среди книг и документов, расположились собрание оружия, серебра, орденов, сабля и табакерка времен Петра I, перначи, редкие экземпляры фарфора и фаянса (от Севра, Сакса, Гарднера, Миклашевского), серебряные польские и шведские кубки. Интерьер дворца наполнился мебелью стиля «Людовик XV», диванами и игорными столиками, исполненными крепостными мастерами, хрустальными люстрами, зеркалами, роялем богатой и тонкой работы, церковным органом.

Скромнее, но с не меньшим вкусом, облагородил своё имение Дегтяри и брат Павла Григорьевича, Пётр — портретами кисти Степана и Федора Землюковых, живописью Аполлона Мокрицкого, иконами, гравюрами, скульптурами, декоративной отделкой своего жилища. Всё это великолепие, после кончины бездетных Петра Галагана и его супруги, «переехало» в семью наследников, в Сокиринцы, что поясняет нынешнее наличие в местном бывшем дворце «двойников» портретов представителей их фамилии.

Обширная (до тысячи экспонатов) художественная коллекция Галаганов создавалась почти полтора столетия, вплоть до начала двадцатого века, и ее упорядочением занимались представители нескольких поколений семьи. Ныне её основу составляет галерея художественно значимых фамильных портретов — оригиналы и копии работ украинских, российских и западноевропейских мастеров восемнадцатого и девятнадцатого столетий.

Изюминкой экспозиции являются работы местных неизвестных иконописцев, портретистов, на века запечатлевших на своих полотнах Игната Ивановича и Елену Антоновну Галаган, Ефима Федоровича Дарагана, Григория Игнатьевича Галагана, а также живописные труды самодеятельных и крепостных изографов — Конона

Фёдоровича Юшкевича-Стаховского (портреты Николая и Василия Маркевичей, Марии Павловны и Петра Григорьевича Галаган), художников Фёдора и Степана Землюковых. Дополняет живописную часть галагановской коллекции раритетная подборка художественного стекла, фарфора и фаянса от отечественных и зарубежных исполнителей, резная и инкрустированная мебель.

Труды Павла Григорьевича Галагана по обустройству семейного дворца, по его высокохудожественному наполнению прервала смерть-злодейка, настигшая неординарного представителя этой фамилии в конце зимы 1834 года, когда он семейным обозом направлялся в Петербург, где намеревался дать образование своим чадам. После этой житейской беды оказалась овдовевшая Екатерина Васильевна как хозяйкой судеб своих несовершеннолетних детей, так и владелицей значительного движимого и недвижимого имущества, которому она, силой своего волевого характера, дала требуемый основательный пригляд и приращение. И такое положение вещей осталось даже после женитьбы сына Григория.



Не изжили ещё себя в семействе Галаган элементы правовых отношений козацкой поры, когда желание новосоставившегося дворянства уберечь имущество в целостности и сохранности после кончины их владельца, вело к тому, что составители соответствующих нормативных документов надавали вдовам полные права и возможности в распоряжении наследством. Описывая свой визит к Павлу Григорьевичу Галагану, Аксаков сообщал родителям: *«Сад содержится отлично, и Галаган поспешил объяснить, что содержится не панциной, т. е. не барщиной, а наймом. ... Он не распорядится еще всем имением, но по возможности, потому что главною госпожою его мать, старается об облегчении участи крестьян и о достижении со временем полного для них освобождения».*

Воспитанная в великорусской среде, Екатерина Васильевна имела консервативный на то время взгляд на «крестьянский вопрос», о чём с некоей долей собственных оценок писал её сын: *«... сохраняла привязанность к дворянским преимуществам, что более чем естественно; но никогда резко не противоречила нововведениям».*³⁸ Впрочем, было согласие между материалистичной матерью и романтически настроенным юным сыном о пределах требовательности к подвластным семье крепостным крестьянам: *«...оба они обвиняли, как обыкновенно, малороссиян за их нелюбовь к помещикам и хвалили русских за то, что они любят своих помещиков, как дети отца».*

Екатерина Васильевна, по свидетельству её сына, *«мужа и детей своих любила до страсти»*, но была при этом, по мнению современников, натурой властной. Это, в частности, ещё раз подтверждает Иван Сергеевич Аксаков в письме к родным, им отправленном в 1854 году, когда он по делам командировочным останавливался у Галаганов: *«Она очень умна, образованна, чрезвычайно приветлива и любезна, добра, ласкова с людьми и крестьянами, набожна, но в то же время аристократка в душе и деспотка. Всё делается по её воле, по её приказанию, отдаваемому кротким, ласковым голосом».*

И до этого, будучи примерной матерью, никогда не переключивавшей воспитание детей на залётных гувернеров, Екатерина Васильевна, оставшись вдовой, буквально растворилась в сыне и дочери. Глубоко верующая, она сумела привить детям религиозные и нравственные начала, которые затем им предстояло развить в самостоятельной жизни. Она высоко ценила и охотно читала вслух малороссийские вирши, поэмы, «пиесы», знала наизусть всего Котляревского и, обладая приятным голосом, с удовольствием музицировала, пробуждая в детях любовь к украинским народным песням.

Характеризуя Екатерину Васильевну, можно добавить и то, что она была одной из первых женщин рода Галаган, которая вела вполне светский образ жизни, подол-

гу проживая в Петербурге в пору учёбы в столице детей. Только на склоне лет, вернувшись в любимые Сокиринцы, позволяла она себе, время от времени, зарубежные поездки. Ещё при жизни мужа она вместе с ним, в начале сороковых годов, побывала в Италии, где познакомились с Николаем Гоголем, художником Александром Ивановым, который позже писал Екатерине Васильевне: *«Приношу заранее мою благодарность за Ваше обещание, Милостивая государыня, быть мне поводырём в путешествии по Малороссии — это мне весьма будет нужно для будущих моих предприятий...»*

Спустя два года по кончине мужа, погребённого, в спешке прерванной поездки, в столице, Екатерина Васильевна перезахоронила его прах в Сокиринцах, о чём просил её племянник Николай Маркевич (сестра Екатерины, Анастасия Гудович, была замужем за Андреем Маркевичем, отцом будущего историка): *«Я бы просил Вас всё поддержать, что дядинька начал, и неоконченное довершить, как Гриша вырастет, ему это будет утешительно ... дядинька должен бы покоиться возле родителей своих в Секиренцах. Остатки его вполне принадлежат Секиренцам, столько обязанным ему своей красотой...»*³⁹

Перезахоронили прах Павла Григорьевича в специальном, на две osoby устроенном склепе, над которым, некоторое время спустя, была выстроена церковь Петра и Павла, ставшая семейной усыпальницей. Позже в склепе была похоронена сама Екатерина Васильевна Галаган, её сын, невестка и внук Павел. (Церковь эта была разобрана на кирпич в 1927 году для нужд агрошколы, созданной в имении Галаганов.)

Для приготовления сына Григория к поступлению в университет озаботилась Екатерина Васильевна приисканием для него профессиональных педагогов и репетиторов, опасаясь небезосновательно, что дитя её, отгороженное от мира материнской любовью и заботой, с вечно хлопочущими вокруг него крепостными «мамушками» и «нянюшками», за недостатком мужского воспитания вырастет слишком изнеженным. Она обратилась к авторитетным знакомым, рекомендациям которых можно было всецело доверять, и вскоре в ее петербургском доме один за другим стали появляться учителя истории, русской словесности, иностранных языков, точных наук, музыки, рисования. Одно время математику и физику преподавал некий француз Сюби, но в 1836 году его сменил Федор Васильевич Чижов, встреча с которым произвела, по словам близко знавших Галаганов людей, *«настоящий переворот в судьбе Григория»*.

Часть шестая. Фёдор Чижов и Григорий Галаган — начало содружества

Рекомендовал Фёдора Васильевича Чижова воспитателем сына Екатерины Васильевны попечитель Петербургского учебного округа Константин Матвеевич Броздин. Талантливый ментор оказал решающее воздействие на формирование нравственного и культурного облика своего воспитанника, их начальные отношения со временем переросли в дружбу двух единосущных людей, и продолжалась она до последних дней Фёдора Васильевича.

«Родившись в 1811 году, в недостаточной дворянской семье Костромской губернии, он прошёл тяжкую школу труда и бедности. Тем не менее, как только он, окончив курс наук сперва в Костромской, потом в Петербургской гимназии и в Петербургском университете, занял в последнем место адъюнкт-профессора математики, он отказался от своего небольшого родового имения в пользу сестёр, предоставляя себе собственную работою добывать средства к жизни. Почти восемь лет преподавал он в университете и издал по официальной своей специальности, несколько замечательных сочинений. Но не занятия математикою и механикою были его призванием: уже в 1839 году, следовательно 29 лет от роду, он издаёт пе-

ревод истории Европейских литератур XV и XVI столетий Галама с такими своими дополнениями, которые, по отзыву критики, обнаруживали обширную и основательную начитанность переводчика. В то же время переделано им на Русский язык прекрасное сочинение одной Английской писательницы под заглавием «Призвание женщины», уже по выходе его из университета».

Приведённый выше пассаж — из речи Ивана Сергеевича Аксакова, произнесённой им 18 декабря 1877-го года в присутствии, в том числе, Григория Павловича Галагана, над могилой друга и соратника Фёдора Васильевича Чижова. Поминаемую в нём книгу английской писательницы Фёдор Васильевич перевёл и обработал в 1840 году, в ней — вся чуткость его чистого сердца, его высоконравственной души, книга эта свидетельствует, как её переводчик прививал другу-воспитаннику трепетное отношение к прекрасному полу.

В этой книге за рассуждениями о роли женщины в семье, в государстве (и шире — в истории человечества) косвенно прочитывается преклонение Чижова перед матерью, его наставление на правах старшего брата сестрам, в ней подытожен его многолетний опыт наставничества и репетиторства в домах петербургской аристократии и задан высокий нравственный идеал женщины, которую он способен полюбить и назвать женою.

В то время, когда едва ли не во всех дворянских семьях хорошим тоном считалось передоверять воспитание детей гувернерам-иностранцам, упреком сложившейся практике звучат написанные Чижовым в главе «О влиянии матери» строки:

«Образование может быть прерываемо и часто может переходить из одних рук в другие, — воспитание же должно быть непрерывно... Кто лучше матери может научить нас предпочитать честь богатству и любить людей, как наших братьев; кто больше ее научит уважать их, не словами, но собственным примером, и кто лучше возвысит нашу душу к единственному источнику добра бесконечного? Советы и наставления всякого воспитателя передаются памяти, мать же вырезает их на нашем сердце... Те религиозные и нравственные начала, какие юноши примут от матерей, они редко встретят в продолжение всей своей жизни; поэтому уже очевидна важность того, чтоб они оставались так долго, как только это возможно, под влиянием матери. Обыкновенно это делается наоборот, и мальчики гораздо ранее девочек оставляют благодетельную атмосферу любви и чистоты, которой окружает их семейственная, а более всего материнская привязанность. И потом мужчин называют холодными, суровыми, себялюбивыми!.. К чему сами матери спешат возложить на других приятную обязанность, назначенную им Провидением? К чему они, часто не вовремя, спешат верить несформированный ум, не утвердившиеся понятия их сыновей постороннему влиянию учителей?»

И далее, в главе «Влияние женщин на общество»: *«Жена, мать — в этих двух словах заключены приятнейшие источники человеческого счастья... Мужчина ждет признаний от взгляда женщины, советуется со своей женою и повинуется матери; он повинуется ей долгое время и после ее смерти, и понятия, от нее полученные, делают его нравственными правилами... Человек не может унижить женщину, не впадая сам в унижение; он не может возвысить ее, не возвышаясь сам в то же самое время... Хотите ли узнать политическое и нравственное состояние государства, спросите, какую степень занимает в нем женщина...»*

Чижов с первых минут знакомства оценил прекрасные нравственные задатки Григория Галагана, его чистое и благородное сердце. Тем более что ему, как педагогу, было с кем сравнивать: его попечению в разное время были вверены Сергей Кочубей, братья Бобринские и некоторые другие юные представители звучных в России фами-

лий. К сожалению, в этих подростках Федору Васильевичу не удалось нащупать тот духовный стержень, в формировании которого на ранних этапах развития личности непременно участвует мать и который впоследствии обрывает, подобно мускулам на теле, системой образования, привносимой извне учителями. Потому, познакомившись с Галаганами, Чижов отдал должное умной, доброй, заботливой Екатерине Васильевне, с ее жертвенной любовью к детям; в ней он увидел тот почти совершенный идеал женщины-матери, который сложился а priori в его представлении.

Уроки Чижова не ограничивались преподаванием математики и физики. Они стали для подростка Галагана настоящей жизненной школой. Прирожденный педагог, Чижов постоянно возбуждал в своем питомце деятельность мысли, которую ненавязчиво направлял к исканию идеала. Он прививал своему ученику привычку к самообразованию, любовь к литературе и искусству, воспитывал в нем жажду общественного служения, приучал к нравственной оценке своих поступков. Последнему как нельзя лучше помогало ведение юным воспитанником, по совету Чижова, дневника: *«Поначалу я писал машинально, по внушению Федора Васильевича»*, — признавался он. Благодаря этим простым по стилю изложения, но непростым, глубоким по смыслу, открывающим обезоруживающую искренность их автора, можно проследить, как развивались взаимоотношения ученика и учителя.

«1836 год, 19 февраля: Сегодня поутру Чижов дал мне урок физики. Как хорошо он толкует! Он прошел в один урок то, что я с Сюби прошел в пять...»

23 февраля: Поутру, в 8 1/2 час, я с Сюби отправился к доброму Чижову; оттуда с ним в университет, чтоб смотреть физические опыты... презанимательные и прелюбопытные. Сверх того, Чижов показал нам почти все кабинеты, университетскую библиотеку и церковь.

4 марта: Сегодня был у меня Чижов. Что за прекрасный человек и учитель! Он у меня просидел от 8 1/2 до 11 1/2. Час с четвертью занимались тригонометрией, проходили синус, тангенс и проч.; потом разговаривали. Он мне говорил, какие его планы для будущности. О! Он верно прославится, и я приготавливаю писать его биографию. Мне так понравились эти высокие планы, что... право, стала завидна его участь. Вопрос: к чему после этого служит богатство? где человек беспрестанно развлекаем то должностью, то разными удовольствиями! В положении Чижова человек (любящий науку) совершенно посвящает себя ей и тогда верно он успеет. А богатый — какой бы он ни был любитель науки, не может предаться ей и тогда не будет успеха. После этого, к чему и заниматься богатому наукой? — Его дело убирать, украшать дом, ездить на рысаке по Невскому, делать бельё (sic!), потому что без этого его осудят. Следовательно, гораздо лучше быть в состоянии Чижова: он — всегда прилично одет, всегда весел. Человек с его состоянием может давать бедным и помогать им, и эта жертва гораздо полезнее Богу, нежели жертва богача, который даёт от своего избытка. Следовательно, опять лучше быть бедным, чем богатым. С другой стороны, можно быть счастливым, добрым, не заниматься наукой... Противоречие! Вот как человек никогда не доволен своим состоянием! Один хочет быть богаче, другой завидует бедному!..»⁴⁰

Екатерина Васильевна, со своей стороны, была буквально очарована Чижовым, подготовившим её сына к поступлению, осенью 1836 года, на юридический факультет Петербургского университета. Григорий же настолько сдружился со своим учителем и наставником, что с разрешения матери поселился с ним в одной квартире — в доме Лодера на Первой линии Васильевского острова, неподалеку от университета. Проживая бок о бок со своим питомцем, Чижов по-братски его опекал и даже разработал для него целую программу, направленную на исправление таких слабых сторон характера как лень, недостаток воли и прилежания.

Все это, прямо или косвенно, отразилось в дневниках Григория Галагана, очень интимных по сути своей. В них — искренность автора и правда событий, история мятущегося духа юноши, который *«ищет прямой дороги в жизни и никак не может её*

найти, сбиваясь в жизненных противоречиях». Читая их, чувствуешь, что умный и энергичный наставник Чижев постоянно возбуждал в своём питомце деятельность мысли, направляя последнюю на поиск идеала. Видимо, по этой причине психология ученика двоятся и никак не может установиться — об одном он пишет как ученик Чижева, о другом — как истый «паньч».

В целом же, дневник Григория Галагана представляет собой любопытный познавательный документ внутренней жизни юноши-богача, поставленного судьбой в самое что ни на есть счастливое положение, открывающего до мелочей внутреннюю свою жизнь, дающего богатые материалы из жизни современного ему общества, определяющего автора как зарождающегося, чисто малороссийского народолюбца, безмерно любящего свою родину, большую и малую.

«1836 год. Апрель 22. Наконец, завтра мы отправляемся. До сих пор я не имел той отважности, чтобы спросить моему сердцу (sic!), довольно ли оно, что я еду? Посмотрим, что оно скажет! Сердце говорит: я еду в Секиренцы, в мою родину, в то место, которое мы так любим... Рассудок говорит: в дороге потеряется время...»

Май 8. Дмитриевск. Мы ехали всю ночь, и когда я подумал, что сегодня мы въедем в Малороссию, то моё сердце крепко забьётся!

9. Полошки. Я в Малороссии! В моём отечестве! Я не могу описать то приятное чувство, которым я обладал (sic!), войдя в церковь и увидя, что я опять нахожусь с мирными моими соотечественниками, которые (и мужчины, и женщины) так прекрасны! Пульхерия Ивановна предобрейшая дама и тем более я её люблю, что она так гонима судьбою! Сад в Полошках очень мне нравится. Теперь на дворе прекрасно! Соловьи, кукушки и все птицы поют во все лопатки... Мы проезжали через множество деревень и я везде наблюдал за всеми движениями малороссиян. Сюби очень понравилась Малороссия и я этим доволен. Он находит в мужиках что-то похожее на иностранное, напр., они бредутся, рубашку видно из-за кафтана, и они всегда имеют сапоги.

10. Я в Секиренцах, в земном раю! Секиренцы, Секиренцы! Я вас нашёл ещё улучшенными и увеличенными. О милые, любезные, прекрасные Секиренцы! Земным раем вы бы для нас были, если бы жил творец и благодетель ваш!...»⁴⁰

Приезд на родину, пребывание в милых сердцу Галагана местах, с апреля по конец июня 1836 года, состоялся в канун вступительных экзаменов в университет. Были, как следует из дневниковых записей, нанесены все необходимые визиты родным и близким. По приезде съездил Григорий с маменькой в гости к дяде, Петру Григорьевичу Галагану, и тёте, Софии Александровне, в Дегтяри. Ездил в Мостыще, к двоюродной бабушке Вере Ивановне Чорбе, в своё время выданной замуж за сербского майора. «Для 70-ти лет она очень сильна, имеет хорошую память и хорошо играет на фортепиано. Может быть, несчастье сделало её таковою...»

Заехал молодой Галаган и в Ичню, откуда — на хутор некоего Романовича, хотели купить его хозяйство. Побывал он и в особо любимой Гнилице. «Как я люблю Гнилицу! Я как-то особенно к ней привязан. Здесь всё наше, ни одного человека не видно чужого. И как приятно, когда всё это нас любит, к нам привязано, чтобы смотреть на эту деревню, как на члена нашего семейства». Программа пребывания была насыщена различными событиями, посещением ярмарки в селе Деймановке. По частым застольям, составу бывших на ней гостей можно составить достаточно полное представление о круге соседей Галаганов, их родне — о двоюродных Галаганах, Марковичах, Милорадовичах, Тарновских, Скоропадских...

Далее в дневниках следует перерыв, записи в нём возобновляются в 1838 году, но уже в другом направлении хода мыслей автора, в их другой тональности.

«1838. Январь. 3. Опять принимаюсь я за журнал, опять хочу поверять мои чувствования, мысли, дружбу, любовь! ... Когда-то я писал в этой книге каждый

день, ложась спать. Тогда я писал машинально, по внушению Фёдора Васильевича; мои записки были полны пустых описаний. Теперь же совсем другая цель заставляет меня писать журнал, или лучше сказать я не имею никакой цели. Прежде я думал передать историю моего юношества потомству! И какая другая цель могла находиться в бедной 16-летней голове? Теперь же писать в журнале есть потребность. В душе моей вмещается слишком много чувствований тайных, которых я не могу никому поверить, а между тем не могу вмещать их в себе; изложить же их в этой книге, некоторым образом остаюсь покойнее... Последняя строка моего старого журнала была писана 13 июня 1836 года. С тех пор сколько замечательных событий! Скоро после того, я поступил в университет; первый курс был странный, удивительный курс, который дал во многих отношениях уроки опытности мне, неопытному 17-летнему студенту... Теперь я студент 2-го курса, мне 18-ть лет, я юрист по названию. Я слушаю много профессоров... Теперь, в Петербурге, у меня и у нас гораздо больше знакомых и жизнь наша разнообразнее, чем прежде. Мы живём недалеко от недавно переведённого на Васильевский о-в университета; живём вместе с Фёдором Васильевичем. Я имею много товарищей, но мало друзей или лучше сказать один (sic!) — Жемчужников». ⁴⁰

(Упоминание в конце приведённого дневникового отрывка фраза о переведённом на Васильевский остров университете подтверждает один из многих интересных фактов из истории этого учебного заведения. Основанный волей Петра I в январе 1724 года в составе Академии наук университет (Академический университет), на последовавшем рубеже веков претерпел ряд структурных и организационных изменений и с 1804 года существовал под именем Педагогического, а с 1816 года — Главного Педагогического института. С 1819 года, по инициативе попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Сергея Семёновича Уварова, университет был возрождён под именем «Санкт-Петербургского». С приходом, в 1819 году, нового попечителя, Дмитрия Павловича Рунича, устроившего погром прогрессивной части университетских преподавателей, был «подвергнут остракизму» и сам университет — его перевели из здания Двенадцати коллегий на окраину города, в тесные и малоприспособленные для занятий помещения университетского Благородного пансиона на Кабинетной улице. И только в 1837 году, как пишет Григорий Галаган, университет вернулся в родные пенаты.)

«13. *Чрезвычайно загадочный для меня человек есть Федор Васильевич. Его философия, его ум, его физические страсти, даже потому что он имеет на голове горб больше, нежели у Сократа, его необыкновенная жизнь, — все это заставляет меня думать и быть иногда уверену, что он человек необыкновенный, рожденный, чтобы быть великим!.. он должен принести пользу человечеству и тем обессмертить свое имя; он рожден, чтобы быть одним из великих представителей нашего века и, судя по направлению его ума, подвинуть философию и религию на высшую степень... Человек, с юности окружённый людьми самыми необыкновенными, чтобы не сказать более, и создавший все эти высокие понятия, не только ставящие его на ряду европейца, но ещё на ряду тех людей, которые как путеводители, вожди, dicent, ведут Европу из века в век, такой человек невольно заставляет себя глубоко уважать и собою удивляет... Впрочем ему 26 лет и весьма может быть, что он вступит на великое своё поприще ещё позже. Для великого человека нет срока для исполнения своего назначения. Если когда-либо его имя будет греметь в потомстве, то это ещё более подтверждает, что великие люди рождаются везде, всегда и при всех обстоятельствах.*

17. *Сегодня я долго думал, как справедлива французская пословица les extrêmes se touchent (крайности сходятся). Это видно во всём: слабая женщина и мудрый философ оба говорят, что есть Бог, но какая разница в их понятии... Надеюсь, что мой журнал, запёртый в шкатулке на ключ, который я всегда ношу с собою, не будет никем читан, я передам мои понятия о религии, основанные самим мною на нескольких данных...*

19. *Счастливцев Морланд! Он имеет, чёрт возьми, всё, что ему нужно, всё, что ему приятно иметь; есть уроки, получает порядочный доходец, нанимает хоро-*

шенькую квартиру; имеет две славные собаки и — что всего лучше — прехорошенькую Misi, конкубину. Но чем же я несчастлив? Я имею предобрейшую мать, ангела — мать, имею сестру, которая, кажется, меня любит, имею мудрого наставника Фёдора Васильевича, который также меня любит; в университете я не вмешиваюсь в партии аристократов и демократов, потому, что первые глупы, и чтобы с ними связаться, надо подличать, и хотя в несчастном 1-ом курсе я было начал это делать и тем приобрёл от них же репутацию человека доброго, но теперь совсем их оставил; вторые — слишком *comins*, и я держу *le juste milieu* (середины). Со мною Жемчужников, Полевой, Ульянин, Тулинов; они меня любят, по крайней мере я отвечаю за двух первых (особенно за первого). В науках я держусь хорошо; одни только частные учителя и ещё больше лень — мешают мне заняться побольше...

20. Сегодня маменька получила письмо из Малороссии. Всё идёт очень дурно у нас; там, как говорят, плут на плуте. О, как я с нетерпением жду того времени, когда я выйду из университета и когда маменька даст мне власть над ними, эти бестии у меня не найдут для себя уголка; я явлюсь для них тираном и, напротив, буду заходить в избы крестьян, буду их расспрашивать, они будут меня любить. О, счастливое время!..

Июль, 6. Ужасно устал! Похудел, побледнел. Наконец завтра кончается экзамен; наконец мы завтра едем в Малороссию. О счастье! О радость! Этого года (*sic!*) я хорошо выдержал экзамен и почти во всё́м обязан себе самому.⁴⁰

На летние вакации, в родные Сокиринцы студент Галаган отправился вместе с маменькою и ею приглашённым Фёдором Чижевым. Можно предположить, что помимо экстерьера и интерьеря двора семьи своего воспитанника Фёдор Владимирович полюбовался и прелестями его окружающего парка, заселённого старинного века деревьями — дубами, клёнами. Несомненно, что побывал он под исполинским клёном, под кроной которого, как его уверил воспитанник, мог разместиться целый батальон солдат (как никак сорок два шага ширина кроны в поперечнике). Думается, удивился гость стоящему в низине парка, у пруда «священному дубу» с выросшим в него — ещё с козачьих времён — образом. Никто из старожилков не мог объяснить, как икона туда попала, но доподлинно было известно, что она уже не единожды затягивалась дубовой корой, и ее вновь и вновь приходилось вырубать из древесного плена.

Зная характер хозяйки, можно предположить, что строй жизни в имении был благочестивым, скромным, даже строгим. Ежедневно Екатерина Васильевна приходила к могиле мужа, скрытой в фамильном семейном склепе, находившемся в дальнем уголке сада. Огромное хозяйство она вела единолично, была приветлива и любезна с крестьянами, все исполнявшим по ее приказаниям, отдававшимися самым кротким и ласковым голосом. Показной роскоши в доме не было, гостю также пояснили, что сад образцово содержится не «панщиной» (барщиной), а наймом, — вольнонаемный труд был в то время явлением чрезвычайно прогрессивным. Другой гордостью Галаганов был оркестр, славившийся далеко за пределами Полтавщины. Многие крепостные музыканты, входившие в его состав, были учениками лучших педагогов Москвы и Санкт-Петербурга.

Летом 1838 года, находясь в Сокиринцах, Григорий Галаган дневника не вёл. «Последние строки моего журнала были писаны 6 июня, 7-го мы были уже в дороге. Я брал с собою журнал, но ничего не писал в нём. Опишу ли то время, которое провёл в Секиренцах? — Нет, это невозможно! Если бы мне предложили выбрать для себя высшее блаженство, я бы сказал «возвратите мне то время, которое я провёл там!»³⁰

Судя по дальнейшим дневниковым записям Григория Галагана, душу его одолевали «милльон терзаний», мятущийся дух его сбивали с толку внутренние борения и противоречия, раздвоенность, самоуничтожение в оценке своего материального благополучия. «Стыжусь написать в журнале, что чувствую, — признавался он, — потому что нахожу эти чувства не совсем похвальными и плодами пустого и сильного тщеславия. Мне страшно как приятно делать вид господина и господина-деспота, важничать перед

мужиками, которые ходят вслед, чтобы на меня насмотреться или чтобы подать жалобы, искать милости. Мое сердце бьется приятно, когда толпа мужиков мне низко кланяется и я гордо мимо них прохожу и благосклонно отдаю им их поклоны легким киванием головы. Какое тщеславие! Но вместе с тем, как это льстит бесхарактерной душе!»⁴⁰

Оценивая своих крепостных как «детей малых», полагал Григорий Галаган, что вправе примерным наказанием утратить дворянство, велеть высечь провинившегося мужика за пьянство, раздавать направо и налево пощечины... Но проходили первые минуты ярости, и он тут же, спохватившись, уже корил себя за «паньчевские наклонности», припоминая советы «мудрого Федора Васильевича», пытался поставить себя на место крепостного крестьянина, «влезть в его шкуру»: «Я бы ненавидел моего помещика от того только, что он мой неограниченный господин, что я принадлежу ему...»⁴⁰

Как ученик народолюбца Чижова, он начинал задумываться над тем, как облегчить участь «крепостных рабов», извлечь из своего привилегированного положения пользу для ближнего, как сделать поболее добрых дел, оправдать свое богатство перед своею совестью. Но по молодости лет подобные размышления чаще всего выливались не в конкретные дела, а в банальные сетования на свою «жестокую судьбу» барина: «Я сегодня нечаянно подслушал разговор людей, т. е. лакеев, между собою; они говорили о нас, но я ничего не мог расслышать... С этой минуты у меня возросла ужасная жажда узнать, какого они все обо мне мнения. Что, если они меня не любят? Это ужасно! Зачем я, презренное существо, родился, чтобы сделать столько несчастных?.. О жестокая судьба! Зачем вложила ты меня в недра жены богатого помещика? Зачем я осужден быть невинным виновником несчастья столько людей? О, лучше я желал бы быть бедным, нищим, разбойником...»⁴⁰

Пройдёт время и, благодаря прежде всего урокам о социальном равенстве, полученным от Чижова, выработается из Григория Павловича Галагана лишенный сословных предрассудков носитель истинного просвещения, устроитель судеб крепостных крестьян Украины, и его имя станет на его родине вровень с именем его учителя.

Часть седьмая. Чижев и Галаган — после университета

Кажется, климат северной столицы не подошёл Григорию Галагану и незадолго до окончания университетского курса он твёрдо решил в столице не оставаться — вернуться на родину и, при случае, попутешествовать по Европе. Правда, в этом он ещё долго сам себя убеждал:

«1838. Апрель. 27. Сегодня был у нас опять совет (consilium) между Чаруковским и Бушем, и они оба в один голос, так же как и Раух, присудили мне ехать за границу, в Италию. Легко сказать! Но куда денутся мои занятия? Тогда пропал мой карьер, т. е. по крайней мере мне надобно попрощаться с 10-м, 12-м и даже 14-м классом, хотя я вовсе не дорожу службою... Несмотря на то, я не могу жить в холодном Петербурге; я здесь изчахну, потому что душе нет пищи! Там, в Италии, на юге, найду я ту жизнь, которой жаждет моя душа! В той прекрасной природе живу я! ... Я также не могу служить! К чему мне служба? Если не вовсе, то по крайней мере долгая? К чему, когда я довольно богат, чтобы жить спокойно даже и с самым ничтожным чином. Но нет — не богатство удерживает меня от службы, — меня удерживают Секиренцы... Для вас (sic) хочу я посвятить всю жизнь мою; вы главный предмет моей жизни. Любезный папенька! Твоя прекрасная благородная душа создала Секиренцы! Ты поэт! Да, ты поэт... В твоём изящном творении виден твой образованный ум. Я dokonчу твою работу, я довершу её...»⁴⁰

Касательно беспокойства студента Галагана о потере им чина в случае досрочного выхода из университета можно добавить следующее. На то время выпускники уни-

верситета получали самые низшие чины, от двенадцатого до четырнадцатого класса по Табели о рангах, тогда как выпускники университетского же Благородного пансиона, проходящие более облегченный курс наук, могли получать более высокие чины, до десятого класса включительно. По этой причине дворянская и чиновничья прослойка населения столицы, никак с земельными владениями (как Григорий Галаган и ему подобные) не связанная, предпочитала отдавать своих детей в более привилегированные учебные заведения.

Но, конечно же, общественный статус столичного университета был чрезвычайно высок и много значил для честолюбивых представителей основательно «приземлённого» малороссийского дворянства, что в итоге предопределило решение молодого Галагана (конечно же, не без влияния маменьки) завершить полный университетский курс, длительностью в четыре года, и в качестве просвещённого хозяина вернуться в родные Сокиринцы.

«1840. Июнь.17. Я уже вышел из университета, с 8-го числа я уже не студент. Я об этом не писал до сих пор потому, что этот выход мой вовсе не произвёл на меня сильного впечатления. Какая разница с входом в университет!»⁴⁰

Вернувшись из Санкт-Петербурга в Сокиринцы в августе 1840 года, Григорий Павлович Галаган, вместе со своим будущим зятем, графом Комаровским, поехал в Одессу. Вернувшись, он, как молодой хозяин, взялся «по-взрослому» за соуправление сокиринским имением — приказал выпороть (только до шестнадцати ударов) напившегося до беспамьятства кондитера Михайлу. *«Мне казалось, что я мог поступить иначе, но несмотря на то я не мог не заметить, что на меня начали смотреть, как на страшного человека. Какое и тут тщеславие!»* Побывал он на балу у Казадаевых, где подпал под самое пристальное внимание дочерей местного дворянства, пребывавших в состоянии «на выданье» и активно атаковавших потенциального жениха (впрочем, оставшегося, до злой иронии, безразличным к вялым прелестям и уровню ума претенденток). *«Танцующих было 16 пар или около того. Девушки все никуда не годились. Самая сотте il faut, т. е. получившая лучшее воспитание или скорее сказать, больше знающая, была С-ая. Бледная, как стеариновая свеча и смотрящая мне в глаза с самым большим бесстыдством; вероятно, хочет меня иметь в этом семействе; но это мало занимает моё самолюбие. Другая девушка — Тр-на, не дурна собой, при том была со вкусом одета; но она, должно быть, так же холодна, как их мать. К-вы были все три: невесту очень хвалят, но мне она нисколько не нравится. Были ещё девушки, но об них нечего и говорить».*⁴⁰

Традиционными были, на середину сентября приходящиеся, ежегодные съезды гостей, окрестных помещиков, в Дегтяри, где роскошный пир по этому случаю задавал Пётр Григорьевич Галаган. В этот приезд Григория Галагана в числе гостей были Тарновские, Милорадовичи. Умеющие музицировать гости упражнялись на фортепиано, не умеющие — играли в карты, позабыв о женском окружении. *«Здесь общество мужчин совершенно отдельно от женского, впрочем, о чём они будут говорить с дамами? Они не выходят из сферы карт, хозяйства и злоречия...»* В один из вечеров, собравшись со сверстниками-друзьями в комнате одного из них, Гриша Галаган читал шевченковского «Кобзаря»: *«Когда Закревский услышал, как я читаю по-малороссийски, то начал от радости меня обнимать».*

В это же время существенные изменения произошли в образе жизни Фёдора Васильевича Чижова — под предлогом ухудшения здоровья он оставил преподавательскую деятельность, о чём он поведал собственному дневнику: *«Слава Богу, или не Слава Богу, но лекции закончились. Прощай математика, ex profession, прощай моя добрая демократическая наука».* Заехав ненадолго к родным в Кострому, он затем отправился в Сокиринцы, где остался до лета следующего, 1841 года.

В благословенной малороссийской глуши погрузился Фёдор Васильевич в изучение основ социологии и истории искусств, пользуясь книгами из богатой библиотеки хозяев имения. При нём совершилась помолвка и свадьба сестры Григория, семнадцатилетней красавицы Марии Павловны и юного графа Павла Евграфовича Комаровского. Он — землевладелец Орловской губернии, служивший в гвардии, сын генерала от инфантерии, командира корпуса внутренней охраны Его императорского Величества Николая I графа Евграфа Федотовича Комаровского.

Его брат, Егор Евграфович Комаровский — адъютант принца Евгения Вюртембергского, впоследствии член Комитета иностранной цензуры, был женат на сестре поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова, Софье Владимировне. Сестре братьев, восхитительной внешне и внутренне графине Анне Евграфовне, сам Александр Сергеевич посвятил своё стихотворение «*В младенчестве моем она меня любила...*».

(A propos! О династии графов Комаровских, начиная с её учредителя, Евграфа Федотовича Комаровского, много пишу в своей предыдущей книге «Феномен Анциферова», к ознакомлению с которой отсылаю на то согласных читателей.)

После женитьбы Павел Евграфович оставил службу и ушёл в отставку и поселился с женой в её имении — Мария Павловна была настолько привязана к матери и брату, что не хотела с ними расставаться. Молодые супруги Комаровские выезжали то в Петербург, то в Киев, то в Прилуки, но больше времени проводили в Сокиринцах. И тогда в доме в огромной бальной зале звучала музыка Генделя, Баха, которую исполнял на церковном органе во время домашних концертов Павел Евграфович.

Красивые черные глаза, пухленькие губки, нежный овал лица Марии Павловны не оставлял равнодушными заезжих и местных художников. Прекрасно образованная, с хорошим вкусом и прекрасными манерами, молодая красавица принимала у себя поэта Василия Жуковского, писателей Евгения Гребинку и Николая Маркевича, художника Льва Жемчужникова и композитора Михаила Глинку. Она прекрасно рисовала, её учителем был живописец Аполлон Мокрицкий.



У супругов Комаровских родилось двое детей — сын Евграф (годы жизни: 1841 — 1875) и дочь Екатерина (годы жизни: 1845 — 1916). Евграф женится на Элеоноре Орловой и покинет Сокиринцы, а Екатерина, выйдя замуж в 1874 году за блестящего гусарского полковника графа Константина Николаевича Ламсдорфа, останется хозяйкой во дворце и продолжит дела мужчин рода Галаганов, в чём помощником станет любящий и понимающий её муж.

По соседству с Сокиринцами находилось имение сестры Екатерины Васильевны Галаган — Анастасии Васильевны Маркевич, урождённой графини Гудович, вышедшей замуж за генерал-лейтенанта Андрея Ивановича Маркевича, директора Второго кадетского корпуса, артиллерийского специалиста, автора многих книг по этой тематике. В сорока верстах от Сокиринцев, в имении Туровка проживал их первенец. Николай Андреевич Маркевич, многими талантами отмеченный. Профессиональный статистик, увлеченный домашним табаководством, был он также поэтом и музыкантом, а главное — историком Малороссии, автором пятитомного труда, ей посвящённом. В молодости имел он счастье общения с Пушкиным, водил хлеб-соль с его дядей, Василием Львовичем, с Михаилом Ивановичем Глинкой, в кругу его друзей были Дельвиг, Баратынский, Жуковский; Тарас Григорьевич посвятил ему стихотворение «*Бандуристе, орле сизий!*»

Его брат, Михаил Маркевич, был человеком невидным. Начав военную службу в 1824 году рядовым Новоингерманландского полка, он восемь лет спустя, в чине

только штаб-ротмистра вышел отставку, Поселился в принадлежавшем ему селе Восковцы, находившемся в пяти верстах от Сокиренец, с хозяевами которых установил самые дружеские отношения. С его женой, очаровательной двадцатитрёхлетней Екатериной Васильевной, уже матерью двух дочерей, в первый свой приезд к Галаганам познакомился Фёдор Владимирович Чижов и, что называется, по уши (со взаимностью) в неё влюбился.

Часть восьмая. Зарубежное путешествие Чижова и Галагана

Новым свежим чувством влюблённый Чижов упивался до начала лета 1841 года, когда вместе с Григорием Галаганом (и его маменькой) отправился в длительное зарубежное путешествие. В Праге путешественники встретились с известным поэтом и филологом, видным деятелем чешского национального Возрождения Вацлавом Ганкой, которому Чижов вручил недавно вышедший в Петербурге томик стихов Михаила Юрьевича Лермонтова. Далее друзья переместились в Германию — в Дрезден, в Мюнхен. Набравшись новых впечатлений, подлечив себя минеральными водами рейнских курортов, компаньоны разделились — Григорий Павлович остался ещё на некоторое время в Германии, Фёдор Васильевич, ближе к зиме, отправился в благословенную Италию, начав с Флоренции, далее перебравшись в Венецию, Рим.

Как следует из дневниковых записей Чижова, Рим стал его своего рода резиденцией, из которой — иногда сам, иногда с Галаганом — выезжал в другие страны Европы. *«Начиная с 1840 г., я был два раза за границу. Первый раз моё путешествие было предпринято с целью прежде всего поправить здоровье и потом заняться изучением искусств, как одним из самых (по моему понятию) прямых путей к изучению истории человечества. План мой был обширен и потому в самом начале я предполагал пробыть за границей как можно дольше; — пробыл я около пяти лет. Сначала был на водах в Мариенбаде, потом объехал часть Германии, и к зиме приехал в Италию. С того первого приезда Италия сделалась постоянным моим местопребыванием в зимнее время; летом же я ездил первый год в Бельгию и Германию и прожил полтора месяца в Дюссельдорфе; другой год в южно-славянских землях..; третье лето я прожил в Париже и исключительно занимался по истории Италии и искусств, что видно из моего дневника. Последнее лето я снова был в южно-славянских землях».*⁴¹

Если судить по письму, писанному Чижовым Александром Васильевичу Никитенко 22 августа 1841 года, выехал он из России порознь с Галаганом, встретившись с ними только в Германии. Здесь, судя по тексту письма, Екатерина Васильевна вручила сына воспитателю, и далее они отправились вдвоём. *«Через два дня я еду из Дрездена в Киссинген, там повидаясь с Галаганом, и с Гришейю мы отправимся в Гейдельберг, оттуда в Майнц, поднимемся до Франкфурта и потом опять на Рейн, заедем в Кобленц, Кёльн, потом я отправлюсь в Льеж к Печерину, оттуда в Дюссельдорф, познакомиться с тамошней школою и из Остенде на пароходе в Лондон, не более как на три недели. Благодаря миленькой княгине Щербатовой (внучке Штерич), с которой мы сблизились в Мариенбаде, я познакомился с Эстергази, посланником при лондонском дворе, и он мне дал письмо к своему секретарю, которого заставил быть моим провожатым по Лондону. Я думаю этим воспользоваться».*⁴¹

Воспользовались ли возможностью побывать в Лондоне в качестве гостей австрийского посольства Чижов и Галаган — не известно. Но судя по всему, разъезды по Европе впоследствии они делали вместе, как это было в конце августа следующего, 1842 года:

«Чтобы любоваться северною Европою, решительно не надобно ездить в Италию, она портит всё, именно тем, что отбирает вкус. Не понимаю, отчего, но Брюссель показался мне мишурным, выставочным городом. Я, или вдвоём с Гала-

ганом, проехали туда, чтоб видеть mademoiselle Рашель — и стоило того, чтобы проехать пол-Бельгии. Она играла в двух пьесах: «Поливекте» и «Мариш Стюарт». В первой — это статуя древней культуры, для игры не было довольно времени, всего давали одно действие этой трагедии, но её классические греческие поэты восхищали меня на каждой минуте. В «Мариш Стюарт», особенно в третьем действии, при свидании её с Елизаветою, эта минута, когда присутствие графа Лестера пробуждает в ней чувство женщины и заставляет забыть то, чего ждала она от встречи с Елизаветою, это чудо. Пьесы нет, на сцене одна Мария Стюарт, то есть одна Рашель».⁴¹

Осенью 1842 года судьба свела Чиждова и Галагана с Николаем Васильевичем Гоголем — в течение полугода они квартировали под одной крышей в центре Рима, на Via Felice, в доме за номером 126. На втором этаже жил поэт Николай Михайлович Языков («Я не забуду никогда мои студенческие годы, раздолье Вакха и свободы и благодатного труда»), на третьем — Гоголь, на четвёртом — Чиждов, заметивший по этому поводу в дневниковой записи от 30 ноября 1842 года: «Квартира хороша, комната на солнце и стоит с чистою платьем и сапог 7 скуд, то есть с небольшим 35 рублей. Это ещё сносно». Для Галагана встреча с Гоголем, в начале января 1843 года, была как подарок судьбы. (Чиждов же знал Николая Васильевича ещё в пору весьма неудачного дебюта писателя в качестве преподавателя кафедры всеобщей истории столичного университета, имевшего место в 1834 году.)

По вечерам земляки, при соучастии основательно в Италии устроившегося художника Александра Иванова, собирались в квартире Языкова (поэт страдал сухоткой спинного мозга, передвигался с трудом) и подолгу, как отметил Чиждов, общались: «Наши встречи были молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из троих — чаще всего Иванов — приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатико, и мы начинали вечер каштанами с прихлёбками вина. Большею частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные. Молчаливость Гоголя и странный выбор его анекдотов не согласовывались с тем уважением, которое он питал к Иванову и Языкову, и с тем вниманием, которого он удостоивал меня, зазывая на свои вечерние сходки, если я не являлся без зову. Но это можно объяснить тем, душе Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. В обществе, которое он, кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени».⁴¹

Первые впечатления от состоявшегося знакомства с писателем-земляком Григорий Галаган описал в письме матери: «Языков — предобрый и открытый человек, Гоголь также прекрасный человек, но надобно привыкнуть к его обращению; он чистый малороссиянин, всё сидит и молчит и как будто дует, а между тем искоса выглядывает на всех и замечает всё, что делается; когда скажет что-нибудь, то умеет придать такой комизм своим словам, что нельзя не смеяться».³²

Воспоминания Галагана о Гоголе, записанные им вскоре после смерти писателя, долгое время оставались неизвестными как специалистам так и широкому кругу читателей. Нет о них сведений и в фундаментальном труде Викентия Викентиевича Вересаева «Гоголь в жизни», вобравшего в себя чуть ли не поденные, помесечные сведения о жизненном пути великого русского (и украинского) писателя.

Галаган отмечал, что Гоголь о своих сочинениях «не только никогда не говорил, но даже не любил, чтобы кто-нибудь из собеседников о них напоминал». Избегал он разговоров о родной Малороссии, видно, слишком чувствительной душевной струной была эта тема для него. Лишь единожды, как пишет Григорий Павлович, когда зашла речь о жизни его земляков-малороссиян, Гоголь, вмешавшись в беседу, заметил: «Я бы, кажется, не мог там жить, мне было бы жалко тамошних жителей, и я бы слишком страдал».

Отметил Галаган и нелюбовь Николая Васильевича к общине русского бомонда, осевшего в Риме, о которых «... Гоголь выражался всегда довольно резко и часто с насмешливыми эпитетами. Можно бы было по его тону прийти к тому заключению, что все эти знакомые ему сильно надоели». И «русские римляне», прежде всего, их злоречивая женская часть, реагировали на невнимание писателя к ним, «запустили слух, что он ужасный чудак и что к нему нельзя приноровиться... и что даже в одеянии и особенно в причёске он любит фантазировать: то острижётся совсем коротко, то опять запустит волосы, зачёсывая их на лоб, на глаза, то зачёсывая их назад... Но при мне Гоголь носил волосы довольно длинные и усы несколько коротко подстриженные...»³⁹ (Как на портрете, написанном в 1841 году художником Фёдором Антоновичем Моллером, впоследствии гравированном Фёдором Ивановичем Иорданом.)

О религиозности Гоголя, им в это время особо проявляемой, Галаган сообщил: «Один раз собирались в русскую церковь все русские на Всенощную. Я видел, что Гоголь вошёл, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны».³⁹

К этим материалам, связывающим — прямо или косвенно — Галагана с Гоголем, можно добавить выписки из студенческих страниц дневника Григория Павловича, заполненные им в 1836-м году, в Петербурге, после чтения вслух Чижовым гоголевской «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «Все так смеялись, что в боку кололо...»

За время нахождения в Риме Галаган познакомился с колонией русских художников, обосновавшихся в Вечном городе, неоспоримым творческим лидером которых в эту пору был Александр Андреевич Иванов (ударение на втором слоге). Ядро этого художественного братства (в первую очередь, в Риме, а также в Неаполе, во Флоренции и в некоторых других городах) составляли пенсионеры санкт-петербургской Академии художеств — лучшие выпускники, отправленные, за счёт казны или меценатов, совершенствовать своё мастерство на примерах лучших образцов мирового искусства. В их числе были — Иван Константинович Айвазовский, Фёдор Антонович Бруни, скульпторы Николай Степанович Пименов, Николай Александрович Рамазанов, Пётр Андреевич Ставассер, архитекторы Александр Андреевич Тон, Николай Леонтьевич Бенуа, Ипполит Антонович Монигетти...

Функции административного надзора за колонией земляков в это время (и до своей кончины в 1844 году) осуществлял Павел Иванович Кривцов, секретарь посольства России в Риме, а с 1840 года назначенный по совместительству начальником над русскими художниками. Прежде него специального надзора за пенсионерами не было, формально они находились в ведении посланника, что было для них весьма благоприятно. В вопросах искусства их консультировали местные мастера, отчеты о своих занятиях и готовые произведения они отправляли в Петербург, где Совет Академии художеств оценивал присланные работы. Но если деятельность и личности посланников Андрея Яковлевича Итальянского и князя Григория Ивановича Гагарина способствовала всемерно творчеству русских художников, то о Кривцове этого сказать никак нельзя.

В это время ещё никому тогда не известный Иван Айвазовский по заказу Григория Галагана написал морской пейзаж «Буря на море». В Риме набирался мастерства и художник Иван Шаповаленко, выживший за счёт покровительства Григория Павловича Галагана, заказывавшего у него картины и копии известных итальянцев. Факт такого содружества Фёдор Чижов описал, 11 июля 1843-го года, Александру Иванову, творчески покровительствовавшему художнику:

*«Не знаю, что ответить вам на голую фигуру Шаповаленки. Я бы думал так: пред начатием представить ему всю трудность, дать ему подумать и потом в тайне приняться за работу. Главное тут — наша забота, то есть вам надобно сообразить, можете ли вы столько ему отдавать вашего времени, сколько потребует смотрение за таким трудным испытанием. О средствах заботиться нечего; полторы тысячи вы имеете в руках, за остальное я ручаюсь вам. Что будет нужно, мы получим из банка, существующего для нас под именем доброго и благородного сердца Г-на».*⁴²

Таким же образом, с привлечением денежных средств Галагана, оказывалась помощь пейзажисту Егору Григорьевичу Солнцеву, учившемуся, как и Шаповаленко, в Италии мозаичному искусству, позже художественно покрывавшему кусочками смальты внутренность Исаакиевского собора в Петербурге. Был материально поддержан Григорием Павловичем и сын бывшего крепостного, исторический живописец и портретист Василий Алексеевич Серебряков, которому Галаган заказал свой трёхчетвертной портрет в парадном украинском костюме (а меценатствующий костромич, торговец и промышленник Платон Васильевич Голубков и его супруга — картину «Вирсавия, пленяющая Давида»).



Часть девятая. Галаган и Чижов после возвращения из-за границы

Из зарубежья Григорий Галаган вернулся, предположительно, не позже 1843 года, так как известно, что в этом году он поступил на службу в Черниговскую палату государственных имуществ. Вернувшийся же позже него Чижов отправился к своей пассии, Екатерине Васильевне Маркевич, приходившей в себя после очередных родов на хуторе Деньков Новгород-Северского уезда Черниговской губернии. Отсюда Фёдор Васильевич отписал другу Иванову в Рим о своих чувствах к обожавшей им женщине:

*«Браните, Александр Андреевич, браните; но скрывать от вас не буду. Вот уже больше недели живу я сердцем... Если нет её подле меня, если не придёт хоть раз в полчас, занятия идут плохо, потому что с нею соединено всё: и ум, и воображение. Если она тут — не поцеловать её, не поцеловать её чудных глаз, не любоваться ею мне кажется преступлением. Бывают минуты, я не знаю, что делать: встаю на колени пред нею и молюсь ей. Что хотите, но это не женщина, или если и женщина, то только для того принявшая человеческий образ, чтоб моление и благоговение к ней сделать любовью. Она не понимает существования без меня; без меня она только влачит жизнь и страждет. Поверите ли, что даже при мне она видимо, телесно здоровеет: она полнеет; в её глазах видно, что она живёт... При мне вся она в движении, и спросите себя, что бы сделали вы, если бы имели такое существо? Не я увлék её, не обстоятельства нас сблизили; она дана мне Богом, — *tua constarella*; только случай, ведомый счастьем, столкнул меня с этою половиною. Она принимает мои понятия, просит меня развить их; и когда её взгляд, её ласки, её поцелуи всё представляют на свои места, я ... и сам смотрю светлее на предмет. Животворящими лучами любви её согреваются мои понятия, и дело моё идёт, кажется, лучше в те минуты, когда она, осенив меня своим ангельским поцелуем, оставляет одного. Едва электричество её поцелуя пройдёт, она сама это почувствует, — и снова поцелуй подвигает меня на новые труды. Ещё около месяца блаженства, потому что около 15 декабря, едва откроется дорога, я еду в Москву...»*⁴²

Но установился санный путь, минуло 15 декабря, наступил Новый год, а Чижов оставался с любимой женщиной. Языков пожаловался на него Иванову: «*Чижова жду*

к себе с часу на час вот уже целый месяц, он обещал быть в Москве к 20 декабря прошлого года...»

Находясь в Первопрестольной, Чижов весной и летом этого же, 1846 года приезжал к своей любимой женщине, отрываясь от дел славянофильских, в которые он с головой погрузился. Ими он занимался уже не первый год и в пору своего европейского турне посещал земли югославянские, дабы напитаться там необходимой для его пламенного занятия энергетикой. Осенью 1846 года он вновь приехал к своей любимой женщине и от неё отправился на Балканы.

К этому времени Чижов уже был «под колпаком» Третьего отделения, направившего в западные пограничные губернии «*весьма секретные отношения*» арестовать его и двух кирилло-мефодиевцев, Савича и Пантелеймона Кулиша, что (в отношении возвращавшегося Чижова) и было исполнено 6 мая 1847 года.

Из близких Чижову людей к следствию по делу кирилло-мефодиевского братства был привлечён Николай Аркадьевич Ригельман, как и Фёдор Васильевич, путешествовавший по славянским землям, оккупированным Австро-Венгерской империей. Здесь он встречался с лидерами национальных движений и употреблял в разговорах с ними, по словам шпионов из Третьего отделения, «*сомнительные выражения*».

Идейные воззрения московских славянофилов, к коим относился Чижов, и кирилло-мефодиевцев во многом были сходны — и те и другие возлагали особую роль на славянский мир, выступали против крепостничества, требовали отмены сословных привилегий, призывали высшие слои общества к опрощению и слиянию с народом.

Но у членов Кирилло-Мефодиевского братства были не свойственные славянофилам антимонархические воззрения. Их, к слову, разделял и Чижов, ему же была близка мысль «братчан» объединить всех славян в федеративную республику, в составе которой они видели, в том числе, и независимую Украину. В таком ключе строил свои суждения славянофил Юрий Фёдорович Самарин:

«Московское государство спасло материальное существование простого народа на Украине ...оно положило конец притязаниям Польши, спасло Православие и вывело ненавистную унию. Всего этого Украина для себя не смогла сделать. Пусть же народ украинский сохраняет свой язык, свои обычаи, свои песни, свои предания; пусть в братском общении и рука об руку с великорусским племенем развивает он на поприще науки и искусства ... свою духовную самобытность... Историческая роль его — в пределах России, а не вне её, в составе государства Московского...»

В противоположность заговорщической тактике кирилло-мефодиевцев, славянофилы стремились действовать легально, используя любую возможность высказывать свою точку зрения, отнюдь не стремясь организационно оформить круг своих сторонников. В таком ключе разяснял своё славянофильское кредо Чижов дознавателям из Третьего отделения, что было принято во внимание последними и что в итоге дало Фёдору Васильевичу достаточно мягкий приговор — ему было запрещено выезжать за границу, а также проживать в Москве и Петербурге. Николай Аркадьевич Ригельман, благодаря поручительству киевского губернатора Бибикова, был оставлен в Киеве, под строгим полицейским надзором.

Выйдя из-под стражи, Чижов уехал на Украину и некоторое время жил в Киеве, на квартире у Ригельмана. Здесь его ждал новый удар слепой фортуны. Накануне, весной 1847-го года, Екатерина Васильевна Маркевич родила от Фёдора Васильевича дочь Катеньку, но после ареста любимого мужчины с роженицей случился удар, затем произошло «*разлитие молока*». Приехавший Чижов застал её в тяжёлом, но казалось, не в безнадежном положении. «*Я нашёл её в страждущем состоянии, она начала поправляться, как вдруг непредвиденные обстоятельства до того взволновали её, что*

только теперь, после двухмесячных страданий, она подаёт кое-какую надежду на выздоровление, и то одну слабую надежду».

Но выздоровление не пришло, чуда не случилось, и 16 декабря 1847-го года Екатерина Васильевна Маркевич умерла. Чижев стал крёстным отцом малышки, тайну рождения которой унёс с собой в могилу. Горем своим он поделился с Александром Ивановым:

«Сегодня осьмой день, как меня постигло несчастье. Я потерял всё, что имел на земле. У меня есть мать, сёстры, друзья; но потерявши ту, в которой Бог давал мне зреть самого себя, я уже отрекаюсь от всего... Ничто не занимает в душе моей места, какое было дано этому небесному ангелу, посланному на землю для того, чтобы очистить и улучшить всё и всех, что и кто ни соприкасался с нею. Ваша душа чиста, ей чистота доступна; поэтому вы примите слова мои не за восторженность любовника, а за грусть человека, лишившегося счастья осязательно очами зреть присутствие Божие. Святая жизнь этого ангела, незлобивая душа её, всё являло её святую природу; но последние четыре месяца Богу угодно было показать, что избранные Им поколебались в вере и любви к Нему. Четыре месяца невообразимых мучений, таких, что, случалось, сутки на трое слышно было одно скрежетание зубов и невольно, насильно вырывавшиеся крики, четыре месяца почти безотдохновенных страданий, — и ни одного... ропота! Она при малейшем отдыхе только что молилась Богу и говорила одно: как ни велики мои страдания, но грехи мои заслуживают больших... Она вверилась мне, как дитя, и любила меня как нечто высшее, и при этой истинно-неземной любви была строга ко всему, не стоящему любви ей ... и святости, которою преисполнена была чистая душа её...»⁴²

Чижев чувствовал себя безмерно виновным в смерти любимой женщины и тем только усиливал свои страдания. Их ещё больше умножило известие о смерти матери, пришедшее от сестёр. Чтобы прийти в себя, ослабить тоску, Фёдор Васильевич поселился при Киево-Печерской лавре, в гостинице для паломников, где проводил дни и ночи в постах и молитвах. *«У меня одна жизнь и в ней одно утешение — панихида».*

Как ни крута гора, да сбывчива, как ни велика беда, да забывчива. Оказавшись в фактической ссылке на Украине, Чижев — в силу свое творческой, неуёмной природы — пытался найти здесь дело, которое могло бы увлечь его, стать для него, лишённого каких-либо доходов, источником существования. Его внимание привлекли большие посадки тутовых деревьев, высаженные в Киевской губернии ещё в начальную пору военных поселений в ней. Тема шелкопрядства давно интересовала Фёдора Васильевича, ещё во времена европейского турне он специально ездил в районы Италии и Франции, где был развит этот промысел, осматривал плантации, изучал технологические особенности процесса переработки плодов шелковиц.

В мае 1850 года Чижев взял в аренду у министерства государственных имуществ шестьдесят десятин шелковичных плантаций, состоящих из четырёх тысяч запущенных деревьев и находившихся в пятидесяти верстах от Киева, в Триполье. Запущенные делянки уже несколько десятилетий не приносили казне дохода и потому были отданы арендатору на двадцать четыре года в бесплатное пользование.

Прежде чем приступить к хозяйственной деятельности, основательный Чижев побывал на плантациях юга Малороссии, где познакомился с организацией хозяйства видных русских селекционеров; у одессита Николая Алексеевича Райко он даже некоторое время поработал в качестве рядового работника. По возвращении в Триполье, живя чуть не на природе, впроголодь, он активно занялся хозяйствованием, постепенно выстроил небольшой, окружённый рвом домик для жилья, в полверсты от казённой деревни. Вскоре в Москву ушли первые пуды собственноручно выращенного Чижевым шёлка.

Друг Иванов переслал ему из Италии яички породистого шелковичного червя. Иван Сергеевич Аксаков, командированный Географическим обществом в Малороссию, заехал в Триполье повидать Чижова. *«Шёлковое его заведение идёт отлично; он получил уже две медали за свой шёлк...»*

Прозванный в округе «шовковым паном», Чижов бесплатно раздавал крестьянам тутовые деревья и личинки шелковичных червей, и уже спустя пару лет несколько сот крестьянских семей стали заниматься новым для себя промыслом и получать относительно высокие доходы. Более того, Фёдор Васильевич организовал на своих плантациях практическую школу для мальчиков, учеников церковно-приходских школ различных районов Малороссии. *«Будь я с капиталом, можно было бы переселить народу из населённых губерний, хотя и совестно говорить о покупке душ, но я купил бы их с твёрдым намерением выкупить на волю... после приучения их к новой отрасли промышленности».*⁴²

Небогатые соседи-помещики, прослышав об успехах Чижова, стали заводить у себя в имениях шелковичные хозяйства, обращаясь к Фёдору Васильевичу за советом и помощью. Итогом этой деятельности стало издание Чижовым в 1853 году в Петербурге «Писем о шёлководстве», ставшей настольной книгой для его любителей.

В мае 1848 года Чижов вновь встретился с Гоголем, только вернувшимся из паломничества в Иерусалим, к Гробу Господню, и заехавшим в Киев (после побывки у матери) на недельку — повидать друзей. Вместе они бывали на вечерах у Данилевского, у попечителя Киевского учебного округа Юзефовича, посещали Киево-Печерскую лавру. (После смерти Гоголя Чижов организовал, под своей редакцией, выпуск тремя изданиями полного собрания сочинений Гоголя, а вырученные от реализации книг деньги переслал семье писателя. Был Чижов также опекуном наследников Гоголя, хлопотал об устройстве за казённый счёт на учёбу его племянников.)

В числе гостей Чижова был художник Александр Алексеевич Агин, первый иллюстратор гоголевских «Мёртвых душ». Приезжали Галаганы, он ездил к ним в Сокиринцы. Здесь, к слову, Фёдор Васильевич познакомился Львом Михайловичем Жемчужниковым, работавшим над серией гравюр на темы малороссийского быта.

Старшие братья художника — Алексей, Александр и Владимир — вместе с их кузеном Алексеем Константиновичем Толстым были создателями легендарного образа Козьмы Пруткова, а сам Лев Жемчужников (к слову — украинофил) стал автором известного портрета «директора Пробириной палаты». Столбовой русский дворянин, сын сенатора, родной племянник министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского, он женился на беглой крепостной крестьянке и был близким другом Шевченко. (В пореформенные годы, пойдя по стопам Чижова, и по его протекции художник Жемчужников вполне в духе времени станет железнодорожным деятелем и поступит на службу в правление Московско-Рязанской железной дороги.)

Сам Чижов прикипел к украинской земле и о любви к своей второй родине, к её народу, языку писал своему воспитаннику — Григорию Галагану:

«Никогда я так не смаковал языка, поэзии малороссийского склада, как теперь, — почему, я и сам не знаю. Думаю потому, что моя деятельность, не за деньги, а по глубокому убеждению в необходимости практического знания и разъяснения практических понятий также хранит задушевные идеи, как лёд хранит зелень, не даёт ей полужить и в полужизни вянуть. Как будто пелена сваливается с глаз, и может быть ошибочно, но Малороссия является не враждебной национальностью, но неразрывною частью той народности, какую жила и всегда будет жить душа моя... Каждое слово Малороссии, не вычурной, а просто понятой из народа и его житья-бытья, есть слово моего сердца; оно ему родное, хотя и не родинное. Я не был бы полон, остался бы на половине развития, если б не дошёл до сердечного понимания Малороссии, до любви к тому уголку, где всё любовь, и небо, и природа, и простота

жизни; а в то же время, я был бы уродом, односторонен, если б отдался этой народности и не черпал всего из самой любви к ней, из единого для меня чистого источника...».⁴²

Часть десятая. Супруги Григорий и Екатерина Галаган

В 1847 году Григорий Павлович Галаган женился. Его избранницей стала Екатерина Васильевна Кочубей, 1826 года рождения, представительница старинного козацкого рода, начинавшегося с корневой системы крымских татар, отметившего свою значимость именем генерального судьи Малороссии Василия Леонтьевича Кочубея, казнённого (вместе с полковником Иваном Ивановичем Искрою) в 1708 году — по воле Мазепы.

Хозяйкою дом стоит. Волевая женщина, Екатерина Васильевна Галаган сама определила будущую жену сыну, о чём писал родителям Аксаков: *«Она женила сына против его воли, заочно всё устроив, и Галаган, которого отец заставил при смертном одре поклясться в безусловном повиновении матери, не смел ослушаться. Впрочем, жена его очень добрая и благочестивая женщина, хотя и не по нём».*

Сам Григорий Павлович позже с превеликой гордостью отмечал глубину и значимость родовых корней супруги, Третьей Екатерины: *«... эта фамилия чисто малороссийская и по заслугам многих из своих членов приобрела права гражданства, вместе с правом общего уважения в Малороссии...»* Семейство Кочубей уже на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий вошло в круг наиболее уважаемой части державной аристократии (к примеру, Виктор Павлович Кочубей, годы жизни: 1768–1834). Братья отца Екатерины Васильевны сделали блестящие карьеры — старшие в роду Демьян Васильевич (годы жизни: 1786–1859) и Александр Васильевич (годы жизни: 1788–1866) были членами Государственного Совета, Аркадий Васильевич (годы жизни: 1790–1878) служил сенатором, сам Василий Васильевич (годы жизни: 1784 — 1846), имел за плечами боевой опыт в военных кампаниях против Наполеона, в 1835 году был удостоен чина тайного советника.³⁰

Замуж Екатерина Кочубей вышла в возрасте двадцати одного года, будучи сиротой — её мама, Варвара Николаевна из рода Рахмановых, скончалась в 1844 году, за год до венчания ушёл из жизни отец. Свадебная церемония четы Галаганов началась в имении тётки невесты, бездетной Елены Васильевны Маюровой, в селе Тиницы Конопотского уезда Черниговской губернии, и продолжилась в Сокиринцах, где, согласно воспоминаниям Аркадия Васильевича Кочубея, *«... в то время были в сборе не только все родственники наши, но почти вся Малороссия: свадьба племянницы праздновалась шумно и роскошно».*

Лев Михайлович Жемчужников, путешествовавший в это время по Черниговщине с коллегой по творчеству, маринистом Львом Феликсовичем Лагорио, посетил Сокиринцы и описание этого поместья и его обитателей представил в просторной и подробной, в стиле панно выписанной литературной картине:

«Мы подъезжали к селу Сокиренцы. Проехав часть леса, одну плотину, потом другую, отделяющую пруд от винокурни, мы поднялись на пригорок, повернули направо и въехали в каменные ворота усадьбы. Прямая и широкая подъездная дорога шла к дому. По обеим ее сторонам, начиная от ворот, стояли каменные флигеля для помещения служащих; за ними виднелись густые деревья, которые массой шли до самой площадки перед домом. Панский дом был большой, с главным корпусом посредине, от которого шли крылья в обе стороны — одноэтажные, оканчивающиеся двухэтажными флигелями; вся постройка была каменная, характера скучных построек времен Александра I.

Встреченные рослым выездным лакеем, мы вошли в просторные сени и, в сопровождении этого гайдука, по каменной лестнице поднялись во второй этаж. В

высоких и просторных комнатах нас радушно приняла хозяйка, мать Григория Павловича Галагана, и тут же мы познакомились со всем семейством.

Семейство Галагана постоянно проживало в Сокиренцах и состояло из матери Галагана, вдовы небольшого роста, сухой, сдержанной, умной и властной женщины; сына ее Григория Павловича, высокого, суховатого с редкими белокурыми волосами; его супруги Екатерины Васильевны, рожденной Кочубей; дочери ее Марии Павловны; ее мужа графа Павла Евграфовича Комаровского; их сына Грани, лет двенадцати, и хорошенькой дочки Кати, лет девяти, при которых состояла высокая, строго себя держащая англичанка м-м Сауз, сестра двух англичан, управляющих Лизогубов. В то время у Григория Павловича еще не было сына, так рано скончавшегося, в память которого родители основали в Киеве коллегию.

Дом содержался в большом порядке, убран был нарядно и официально; картины висели в большой гостиной, а рисунки гуашью, изображающие извержение Везувия в разные моменты, — в бильярдной. В огромной зале стоял большой церковный орган, на котором любил играть церковную музыку граф Павел Евграфович; в этой же зале стоял хороший рояль; на хорах в торжественные дни играл домашний оркестр танцы и серьезную музыку.

В библиотеке, кроме книг и документов, хранились предковское оружие, перначи, седло и полковничья сбруя верховой лошади. Из залы через балкон был спуск в сад на каменных арках, с каменными перилами, украшенными вазами с цветами и статуями; спуск был удобен для схода и устроен, как садовые дорожки. Со стороны сада, перед окнами дома были красиво разбиты цветочные клумбы, за ними большой луг, окруженный с трех сторон прекрасно разбитым английским садом.

В саду были прекрасные могучие дубы в изобилии; в одном из них была со времени казачества врезана икона, и потому дуб этот назывался священным. В саду была каменная церковь; огромный пруд, оранжереи, особый фруктовый сад, готический через лощину мост, готическая башня. Этот большой сад в сорок десятин сливался с парком, занимавшим восемьдесят десятин, с дорогами для прогулок в экипажах, трава постоянно скашивалась для удобства езды, мягкой для лошадей и беспыльной.

Здесь мы познакомились с родственниками Галагана — братьями Николаем и Михаилом Андреевичами Маркевичами. Первый жил от Сокиренцев верст за сорок, а второй в пяти верстах, приглашение которого пришлось принять и навещать его. Расстояние было близкое, дорога, как стол, ровная, кучер трезвый и привычный, и мы вечером, холодком, отправились в село Восковицы. Ехали покойно в теплую, темную и звездную ночь — распевая и вдруг... опрокинулись; я и Лагорию лежали на земле, а хваленую нетичанку сдержали на отвесе лошади; кучер только удивлялся, как это могло случиться? однако, к счастью, падение наше кончилось без ушибов; мы подняли нетичанку, сели в нее и скоро приехали в Восковицы, где нас ждали и, где переночевав и осмотрев местность и строящийся еще дом, вернулись к Галагану». ⁴⁴

С первых дней замужества Екатерина Васильевна покорила супруга заботливым, уважительным к нему отношением, искренностью и цельностью своей натуры — качествами, скрепившими их невольный семейный союз. Окончательную прочность ему дал долгожданный сын Павлусь, родившийся в 1853 году (спустя семь лет после венчания родителей), ставший для них — увы, ненадолго — семейным кумиром.

Сохранившаяся переписка супругов Галаган свидетельствует об их высокой взаимной уважительно, о единой духовной сущности (вопреки мнению Аксакова) этой прекрасной семейной пары. Екатерина Васильевна показывает себя в них обстоятельной, мудрой, рассудительной женщиной, любящей матерью. Григорий Иванович в письмах жене говорит с ней на равных, высоко оценивая своё эпистолярное общение с ней: «Я намерен из моих писем к тебе сделать мой журнал. Все происшествия, впечатления и действия будут в нём переданы верно и подробно...»

Письма эти, помимо прочего, наполнены характеристиками людей, описаниями событий (в спокойных и конфликтных ситуациях), имевших место в Чернигове,

Полтаве, маленьких городках, помещичьих усадьбах, в Москве и Петербурге, после начала работ по размежеванию земель в Малороссии, в котором Григорий Павлович принимал непосредственное и самое активное участие.

Прежде этого, вскоре после окончания университета, он три года отслужил в Черниговской палате государственных имуществ, после чего — вплоть до назначения членом Государственного Совета — какой-либо определённой государственной должности не занимал, а обязанности предводителя дворянства Борзненского уезда Черниговской губернии (и судьи её совестного суда) им исполнялись на добровольных началах. (Равно как по велению сердца и совести участвовал он в основанной в Киеве, в 1859 году, общественной организации украинской интеллигенции «Громада».)

На общественном поприще Григорий Павлович Галаган впервые выступил, предположительно, в 1852 году, когда занялся исследованием положение крестьян, пострадавших от неурожая, а в раздаче — по его итогам — пособия хлебом и деньгами наиболее нуждающимся выступил благотворителем. Но главным благодеянием по отношению к порабощённым землякам стала его напряжённая и успешная деятельность в делах по ликвидации крепостного права (первоначально — в Черниговской губернии).

В мае 1858 года на имя черниговского губернатора Катона Павловича Шабельского поступило распоряжение Министра внутренних дел об открытии в Чернигове «Комитета для составления проекта положения об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян» с включением в его состав представителем правительства Григория Павловича Галагана. Тот приступил к новым обязанностям не без внутренних колебаний, коими поделился с супругой: *«Истину нельзя жертвовать ни в чью пользу, а между тем как и высказать вполне! Предавать перед Правительством своё сословие помещиков? Я знаю, что я поставил себя на ногу довольно независимого человека, что имеет тут вполне свободу действия, но до какой степени нужно ею пользоваться?..»*³⁹

Министерский циркуляр был в два месяца исполнен и на открытии нового губернского учреждения, в июле того же года, губернатор дал его членам проникновенное напутствие: *«Тяжёл предстоящий труд ваш, но ваше благородное стремление к пользам общества, полное знание края, полагающего теперь на вас все свои надежды, и теплое участие, принимаемое вами в настоящем великом деле человечества, громко говорят в пользу успеха»*.⁴⁶

В эту пору Григорий Павлович часто бывал в Москве и Петербурге. После одного из посещений первопрестольной он, в письме супруге от 1 апреля 1858 года, описал своё общение с тамошними славянофилами:

«У славянофилов я проводил время приятно. Максимович дал нам обед на Благовещенке по случаю возвращения Шевченка. Наш поэт сильно переменился, постарел; над его широким лбом распространилась лысина, густая борода с проседью, при его глубоком взгляде, дает ему вид одного из мудрых наших дидов-наставников, к которым часто приходят за советом. Обедали у Максимовича: Кошелев с женой, два Аксаковых, Хомяков, Погодин, Швырев, Бартенов, старушка Елазина и старик Щепкин. За шампанским Максимович прочел премилые стихи в честь Шевченко, в которых сказал, сколько он недоставал для Украины. Между прочим, там он говорит, что без тебя:

*Твої думки туманами по лугах вставали,
Твої сльози росицею по степах спадали,
Твої пісні соловейком в садах щebetали!*

Не правда ли, прелестно. Старик Щепкин навзрыд плакал. Он щирый малороссиянин. После обеда Шевченко прелестно пел с женою Максимовича. А москали слушали хорошо, потому что все хороший народ. Кажется, что Шевченко во многом переменился к лучшему. Он теперь здесь и будет состоять при Академии художеств».³⁹

Некоторые факты о пребывании Григория Павловича Галагана в Петербурге в первой декаде апреля 1858 года можно почерпнуть из реконструкции столичной жизни этой поры Тараса Григорьевича Шевченко, выполненной Петром Владимировичем Журом:

«5 апреля. *К Шевченку приезжал Смаковский, чтобы пригласить его пообедать вместе с Дзюбиным, но поэт отдыхал и его не потревожили. Вечер провел у Г. П. Галагана.*

Написал М. А. Максимовичу, что получил от Г. П. Галагана все пересланное Максимовичем «добро», т. е. стихотворение, читанное им на обеде в честь Шевченко 25 марта, поручение петербургской конторе «Русской беседы» доставить ему этот журнал за 1856–1858 годы и список части поэмы «Еретик», найденной у П. А. Бартенева.

18 апреля. *Получил «милейшее письмо» от С. Т. Аксакова. Работал над сочинением «Лунатика» (не сохранилось). Обедал с Сошальским, а вечером с ним же был у певицы Изабеллы Гринберг. Тут встретился с поэтом В. Бенедиктовым, композитором А. Даргомьжским и со старым знакомым своим архитектором Р. Кузьминым.*

Г. П. Галаган послал жене своей Екатерине Васильевне «премилые стишки Шевченко» — возможно, среди них и автограф «Весеннего вечера», который он выпросил у поэта. Предложил обязать гувернера Федора Ивановича прочитать их сыну Галагана — Павлушке.

19 апреля. *Поэт посетил Толстых, куда был приглашен к обеду запиской графини, обещавшей познакомить его с декабристом В. Штейнгейлем, но тот к обеду явиться не смог. У Толстых поэт познакомился с товарищем графа генерал-лейтенантом А. В. Голенищевым.*

Вечер провел у Г. П. Галагана, прочитавшего описание своего «будынка», построенного в Прилуцком уезде «в старом малороссийском духе».⁴⁵

Известно, что 15 августа 1858 года, в день рождения Григория Павловича Галагана, у него в Сокиренцах в числе гостей были Шевченко, Пётр Аркадьевич Кочубей и его супруга, Варвара Александровна Кочубей, коей Тарас Григорьевич подарил копию портрета её деда, князя Николая Григорьевича Репнина-Волконского и тем огорчил чрезвычайно ещё одного гостя, Василия Васильевича Тарновского, рассчитывавшего этим портретом пополнить свою коллекцию. Ситуацию поправил Пётр Аркадьевич, тут же заказавший Шевченко портрет своего прадеда, генерального судьи Василия Леонтьевича Кочубея, пообещав его подарить начинающему коллекционеру Тарновскому.

Своих малороссийских друзей Шевченко позже, в шестидесятом году, упомянул в стихотворении «*Бували воїни і військові справи*»:

«Галагани, і Киселі, і Кочубеї-Нараї
Було добра того чимало
Минуло все, та пропало».

Часть одиннадцатая. Дела добротворные

Члены «Комитета для составления проекта положения об улучшении и устройстве быта помещичьих крестьян», начав работу в уездах, в октябре 1858 года возвратились в Чернигов с собранными сведениями о помещичьих имениях и к концу февраля 1859 года завершили свою деятельность разработкой «Проекта положения об улучшении быта помещичьих крестьян Черниговской губернии». На обеде, данном

на закрытии заседаний Комитета, губернатор Катон Павлович Шабельский произнёс благодарственную речь, закончившуюся тостом: «За здоровье, счастье и благоденствие и спокойствие того класса народа, для которого мы работали».

Далее след Галагана обнаруживается в столице, откуда он, в апреле 1859 года, общал супруге:

*«Из наших малороссиян видел Андрея Марковича и Шевченко. Последний, кажется, ведет себя очень хорошо. Кулиш сделался совершенно невыносим для всех, характер до того самонадеянный, желчный, завистливый, что со всеми перессорился, и Марку Вовчку так надоел, что она готова бежать от него. Свою жену Кулиш бросил, и она, бедная, очень жалка. Все берут в ней большое участие, и я хочу ее навестить. Шевченко говорит, что он ожидает от Кулиша, что он с ума сойдет».*³⁹

В том же 1859 году, под председательством Якова Ивановича Ростовцева, были учреждены редакционные комиссии для приведения в порядок и систему работ губернских комитетов, и Григорий Павлович Галаган был включён в состав её экспертов. После издания отменявшего крепостное право положения 19 февраля 1861 года, когда новым черниговским губернатором стал князь Сергей Павлович Голицын, Григорий Павлович Галаган опять был назначен представителем правительства в Черниговское губернское по крестьянским делам присутствие. И здесь он стал главным, если не единственным, помощником князя Голицына по наделению выходивших из крепостной зависимости крестьян землями.

Исполнителями по приведению в действие закона 19 февраля 1861 года были определены мировые посредники, которые избирались из местных дворян с известным образовательным и земельным цензом. Помимо посредников в образованные крестьянские учреждения была введена должность «члена от правительства», функции которой поначалу не были обозначены, но очистительная практика придала ей признаки должности товарища прокурора при мировых судьях. Один из таких посредников позже рассказывал:

*«Вслед затем обстоятельства так сложились, что я, в конце апреля, поехал из Петербурга, с умершим уже моим спутником Г. Н. Честаховским, провожать тело Т. Г. Шевченко в Киев. После похорон тела поэта, около Канева, Г. Н. Ч — ий остался «прибирать» могилу, а я поспешил в родное село, к матери, которая, по слухам, сильно тревожилась в своём одиночестве происходившим кругом волнением, как «панов», так и «мужиков». Приехав домой, я нашёл крестьян своего села (несколько владений) по виду спокойными. Покой этот, как выяснилось позже, был только наружный. Дело в том, что крестьяне здесь, в Малороссии (да и в других местах — тоже) очень долгое время никак не могли понять той «воли», которую получили... «Воля» была объявлена, а «панщина» продолжалась; говорилось, что крестьянская земля остаётся при крестьянах, а помещики говорят о каких-то «отрезках»; дворовые остаются в панских дворах и должны будто бы продолжать панскую службу панам — ещё два года... Всё это не вязалось в уме крестьян с тою «волею», какая прочтена была им в церквах. Естественно возник ряд недоумений, за разрешением которых крестьянам положительно не к кому было обратиться: помещикам и священникам они не верили, а те немногие грамотные, которые тогда встречались в крестьянской среде, главным образом отставные солдаты, давали комментарии относительно «воли» — сбивчивые и неодинаковые... Из всех своих недоумений крестьяне сделали вывод, что объявленная им воля сама объявится позже, когда крестьяне получат возможность прочитать настоящую волю...»*⁴⁶

«Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» состояли из ряда отдельных законов, трактовавших те или иные вопросы ре-

формы. Наиболее важным из них являлось «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», в котором излагались основные условия отмены крепостного права. Крестьяне получали личную свободу и право свободно распоряжаться своим имуществом. Помещики же сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в постоянное пользование крестьянам «усадебную оседлость», то есть усадьбу с приусадебным участком, а также и полевой надел «для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком...». За пользование помещичьей землей крестьяне обязаны были отбывать барщину или платить оброк. Они не имели права отказаться от полевого надела, по крайней мере в первые девять лет. (В последующий период отказ от земли был ограничен рядом условий, затруднявших осуществление этого права.)

Это запрещение достаточно ярко характеризовало помещичий характер реформы: условия «освобождения» были таковы, что крестьянину сплошь и рядом было невыгодно брать землю. Отказ же от нее лишал помещиков либо рабочей силы, либо дохода, получаемого ими в виде оброка. Размеры полевого надела и повинности должны были быть зафиксированы в уставных грамотах, на составление которых давался двухлетний срок. Составление уставных грамот поручалось самим помещикам, а проверка их — так называемым мировым посредникам, которые назначались из числа местных дворян-помещиков. Таким образом, посредниками между крестьянами и помещиками выступали те же помещики.

Уставные грамоты заключались не с отдельным крестьянином, а с «миром», то есть сельским обществом крестьян, принадлежавших тому или иному помещику, в результате чего и повинности за пользование землей взимались с «мира». Обязательное наделение землей и установление круговой поруки в отношении уплаты повинностей фактически приводили к закрепощению крестьян «миром». Крестьянин не имел права уйти из общества, получить паспорт — все это зависело от решения «мира».

Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы, выкуп же полевого надела определялся волей помещика. В случае желания помещика продать свою землю крестьяне не имели права отказываться. Крестьяне, выкупившие свои полевые наделы, именовались крестьянами-собственниками, а не перешедшие на выкуп — временнообязанными. Выкуп производился также не отдельным лицом, а всем сельским обществом.

Таковы были основные условия отмены крепостного права, изложенные в «Общем положении» и полностью отвечавшие интересам помещиков. Установление временнообязанных отношений сохраняло на неопределенный срок феодальную систему эксплуатации. Прекращение этих отношений определялось исключительно волей помещиков, от желания которых зависел перевод крестьян на выкуп.

Вопрос о размерах земельных наделов, а также о платежах и повинностях за пользование ими определялся «Местными положениями», коих было издано четыре. «Местное положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в губерниях: великороссийских, новороссийских и белорусских» распространялось на двадцать девять так называемых великороссийских губерний, три новороссийские — Екатеринославскую, Таврическую и Херсонскую губернии и белорусские — Могилевскую и часть Витебской, а также на часть Харьковской губернии, в которой существовало общинное землепользование.

Далее следует назвать «Малороссийское местное положение», распространявшееся на Левобережную часть Украины: Черниговскую, Полтавскую и остальную часть Харьковской губернии. Необходимость издания отдельного «Положения» для Левобережной Украины определялась тем, что на Украине общины не существовало и наделение землей производилось подворно, в зависимости от наличия тягловой силы.

По причине возникшего, веками выработавшегося, недоверия крестьянской

массы к власти государственной и духовной, к исполнению закона от 19 февраля она относилась совершенно безразлично, полагая своим крепким и наивным мужицким умом, что не пришёл ещё тот «*слушный час*», когда они узнают настоящую волю; поэтому их особо не интересовали все проводимые в рамках закона мероприятия — образование сельских обществ, выбор сельских старост и так далее.

Первое заседание Черниговского Губернского по крестьянским делам присутствия состоялось 16 марта 1861 года под председательством губернатора Голицына. На заседании был поднят первоочередной вопрос об образовании мировых учреждений, а также сельских и волостных обществ и избрания мировых посредников, о чём губернатор должен был срочно донести правительствующему сенату. (На мировые участки распределялись все имения, населённые крепостными крестьянами; на каждый участок полагался один мировой посредник.)

В мировые посредники назначались потомственные дворяне, владевшие не менее пятисот десятин земли, или имевшие не менее ста пятидесяти десятин, и, либо закончившие курс наук в учебном заведении, дающем право на чин двенадцатого класса, либо располагавшие правом голоса в губернском дворянском собрании.

Наделение крестьян землёй, а также повинности, которые налагались на крестьян за неё в пользу помещика, определялись добровольным между ними соглашением и формулировались уставными грамотами, составлявшимися самим помещиком по определённом образцу. Изменения в таких образцах, в согласии с местными условиями, разрешало делать Губернское присутствие; их содержание как для местностей, в которых вводилось малороссийское положение, так и для местностей с действием положений великороссийских, были сделаны при участии Григория Павловича Галагана (и Андрея Ивановича Лизогуба). *«Для составления уставных грамот Галаган написал особую инструкцию. Она рассматривалась в нескольких заседаниях, прежде чем была утверждена».*

Приведение в исполнение Положений о крестьянах вызвало на практике много вопросов, разрешить которые местные власти были не в состоянии, это делало Губернское присутствие (в том числе — активный Григорий Павлович). Тем более, что этот судьбоносный документ, написанный сухим, казённым и не всегда внятным языком, был мало понятен простому люду, к тому же знавшему о нём только понаслышке.

Народ, говоривший на своём родном малорусском языке, не в силах был разбираться в «казённом» тексте Положения. Пантелеймон Кулиш перевёл его на украинский язык, но было начавшееся печатание остановили (дабы не сделать Положение более доступным простому человеку). Итогом непонимания крепостным людом сути вводимых перемен стали крестьянские волнения, недоразумения с мировыми посредниками, связанные с введением уставных грамот, затрагивавших существеннейшие материальные интересы заинтересованных сторон. (Так, Григорию Павловичу пришлось разбирать дело генерал-майора Искритского в Суражском уезде.)

О работе Галагана по искоренению крепостного права в Черниговской губернии позже вспоминал один из его «соучастников», Александр Матвеевич Лазаревский:

«Начну с Г. П. Галагана. Последний давно уже слыл между малороссийскими помещиками за «либерала». Либерализм этот, с их точки зрения, окончательно утвердился за Галаганом после его участия в черниговском «губернском комитете об улучшении быта помещичьих крестьян». В этом комитете Галаган стоял почти особняком, и почти все его подписи — в журналах заседаний этого комитета — являлись с прибавкою — «при особом мнении». Галаган был воспитанником очень умного — сначала профессора, а потом железнодорожного дельца — Чижова, который развил в своём ученике начала критического отношения к общественной жизни его деревенских соседей, особенно по вопросу о младшей братии... Из этих семян выросли у Галагана его симпатии к давно ожидавшейся крестьянской реформе. При этом Галаган был отчасти славянофил,

отчасти украинофил, каковыми фильствами также выделялся из круга своих соседей, которые поэтому косо смотрели на него.

Попад в число членов редакционной комиссии, Галаган вместе с В. В. Тарновским был составителем того «малороссийского положения» 19 февраля 1861 г., которое определило нормы «обеспечения» освобождения крестьян в черниговской и полтавской губерниях. После обнародования освободительного акта, и Галаган и Тарновский были назначены правительственными членами губернских по крестьянским делам присутствий: Галаган — черниговского, а Тарновский — полтавского. Назначение Галагана встречено было на месте очень неприязненно; в нём видели чуть не демагога... Галаган любил, когда ему говорили об этом к нему антагонизме, хотя последний очень преувеличивался... Как член крестьянского присутствия, Галаган был очень полезным деятелем, потому что систематически и без уступок проводил в жизнь начала, положенные в закон 19 февраля. Против его антагонистов — Галагана защищала, отчасти, его видная в Малороссии родня: Кочубеи, Гудовичи... Кн. Голицын с Галаганом — в своей деятельности по крестьянскому вопросу — были солидарны вполне.

Я жил (в Чернигове) с Галаганом в одном дворе, и это соседство было поводом, что он звал меня иногда к себе обедать. За этими обедами, на которых, кроме малой его семьи (жены и сына «Павлуся» с его гувернёром), почти никого я не встречал, — Галаган любил говорить о своей деятельности, как члена присутствия, причём нередко рассказывал, как он удачно отклонял поползновения тех или других лиц — обойти закон. Отклонения эти являлись в форме «докладов» губернскому присутствию по вопросам — как следует понимать то или другое неясное место из закона 19 февраля. Здесь могу заметить, что жена Галагана, (недавно умершая Катерина Васильевна) всегда молчаливая, всегда сдержанная, своими редкими, бывало, улыбками — как бы одобряла и одобряла мужа за этот характер его деятельности.

«Павлусь», как звали Галаганы своего единственного сына, в это время был мальчиком лет семи-восьми. Хорошо помню его, когда бывало, после обеда, он, по просьбе отца, пел какую-нибудь малороссийскую браваурную песню, (напр., «Ой Морозе, Морозенку...») и энергически при этом притопывал ногою».⁴⁷

Многим — дворянам, губернским чиновникам — не нравилась позиция Галагана в деле справедливого выведения крестьян из крепостной зависимости, немало откровенно клеветнических измышлений, тайных интриг пришлось ему перенести.

Платон Александрович Шатохин, заместитель Черниговского губернатора полувивший эту должность задолго до назначения губернатором Сергея Павловича Голицына и имевший влиятельных покровителей в Санкт-Петербурге, держался по отношению к непосредственному начальнику независимо и несколько высокомерно. Как пишет Лазаревский, Шатохин был одним из главных интриганов, гнусно и бездоказательно клеветавших на Галагана:

«Вице-губернаторское место занимал Ш., который будучи близким родичем очень влиятельного тогда в Петербурге С-на, держал себя очень высокомерно, по-челу Г-н, с первых дней, стал его сторониться.

Ш. скоро почувствовал свою ошибку в отношениях к Г-ну, но уже не мог с ним сойтись. Неприязненные свои отношения к Г-ну Ш. выражал довольно странно. Княгиня Голицына впоследствии рассказывала мне, напр., такую выходку Ш. Когда в нач. 1862 г. ставили в Чернигове любители Наталку-Полтавку, то в этой постановке принимал большое участие Г. П. Галаган, помогая юным актерам своим знанием народного быта, за что был обвиняем уже и тогда в пристрастии к родине... В вечер представления Наталки, когда Голицын был тоже в театре, Ш. приехал к княгине Голицыной (почти никуда не выезжавшей) и, как бы из участия, произнес такую фразу: «Вот вы, княгиня, сидите здесь спокойно и не подозреваете, что в этот момент черниговцы, быть может, ставят Галагана на гетманство...» Разумеется, расчет был тот, чтобы напугать жену губернатора».⁴⁷

На чужой роток не накинешь платок. По итогам работы в черниговском Комитете авторитет Григория Павловича Галагана — как общественный, так и государственный

— вырос до столь значимых размеров, что по Малороссии-Украине, вдохнувшей освободительного воздуха антикрепостнических реформ, пошли слухи о назначении его, украинца, губернатором будто бы планируемого к созданию Малороссийского губернаторства и об учреждении в Малороссии должности Окружного начальника войск.. Об этом, в частности, сообщал «наверх» флигель-адъютант императора Александра II полковник барон Андрей Николаевич Корф, отправленный в 1863 году Третьим отделением в Черниговскую губернию оценивать «украинофильство» и выявлять его связь с польским движением (с учётом недавно — в 1860 году — подавленного Польского восстания)¹¹¹.

В действительности же состоялось назначение, высочайшим повелением, Григория Павловича Галагана вице-президентом «Комиссии по устройству быта крестьян юго-западного края», учреждённой при киевском губернаторе в 1863 году. Об уровне авторитета Галагана, как специалиста по «раскрепощению» крестьянства свидетельствует факт аудиенции, данной ему императором Александром II, интересовавшимся спецификой крестьянской реформы в юго-западном крае, а также «украинофильством» своего назначенца:

«Сенатор А. А. Половцов, общавшийся с Г. П. Галаганом в начале 80-х, записал в дневнике следующий рассказ своего собеседника о его встрече с царем в 1863 г. Галаган направил своему коллеге по работе в Редакционных комиссиях Ю. Ф. Самарину, которому предстояло быть одним из руководителей крестьянской реформы в Царстве Польском, записку с соображениями о способах подрыва влияния польских землевладельцев в Юго-Западном крае. Через Валуева Самарин передал эту записку царю, и тот пригласил Галагана для беседы. «Государь со всем соглашался, но как будто не решался высказать свою мысль, наконец он обратился к Галагану со словами: послушай, Галаган, ведь многие упрекают тебя в том, что ты украинофил. — Я люблю свою родину и край, где родился, отвечал Галаган, — Да, но ведь между украинофилами есть такие, кои мечтают о сепаратизме. Из числа таких не надо бы привлекать к поручаемому тебе делу». В дальнейшей беседе было решено, что без местных людей обойтись нельзя и потому «известное число хотя бы и заподозреваемых в украинофильстве допустить следует».¹¹²

Вновь учреждённая Комиссия по устройству быта крестьян отработала два года под фактическим руководством вице-президента Галагана, так как её президент, тогдашний генерал-губернатор Николай Николаевич Анненский, как писала позже «Киевская старина», её «задачам мало сочувствовал».

Задержка с проведением крестьянской реформы на Правобережной Украине (юго-западном крае) дала возможность местным помещикам отработать механизмы противодействия ей, обходить закон о целостности и неприкосновенности крестьянских наделов, которые сокращались в пользу экономических запасок или плантаций, переводились в другие менее удобные места. К приведению в исполнение положения 19 февраля 1861 года в юго-западном крае призваны были местные помещики, большей частью польского происхождения, рассчитывавшие ввиду тогдашнего политического положения воспользоваться крестьянским делом для своих политических целей.

Галаган настоял привести всё в порядок. В итоге было издано «Постановление киевской временной комиссии, утверждённой для исполнительных распоряжений по Высочайшему указу 30 июля 1863 года». В вопросе о понижении выкупных платежей комиссия проектировала размер платежей, обусловленный не только качеством выкупаемого надела, но и состоятельностью плательщиков, что давало правительству необходимую гарантию при выдаче им выкупных ссуд.

Завершив работу во всех перечисленных комиссиях, занимавшихся выведением украинского крестьянства из крепостной зависимости, Григорий Павлович Галаган перенёс свою добротворную деятельность в родные Прилуки, непрерывно участвуя

в делах земских учреждений, введённых в крае с 1865 года. Став (с 1874 по 1882 год) предводителем местного дворянства, защитником его интересов, он, вместе с тем, неизменно отстаивал интересы простолюдинов — в тяготах крестьянских повинностей, в медицинском обслуживании, в устройстве начального и среднего образования. Как председатель училищного совета уезда он в докладе его личному составу, сделанном им в 1876 году, чётко обозначил цели народного образования и пути их достижения:

*«Всякие колебания в этом вопросе, всякие, ещё недавно высказываемые мнения о том, что в деле распространения грамотности необходима постепенности осторожность, уже не могут иметь места; они должны замениться одним всецелым и единодушным стремлением общества к скорейшему распространению в народе грамотности, а вместе с нею правильного развития понятий и возвышения уровня общественной нравственности».*³⁹

Активная позиция Галагана в деле народного образования, его немалые денежные вспомоществования ему скоро дали заметные положительные изменения в устройстве училищ, в труде и быте их учителей, о чём писало, в 1888 году, местное краеведческое издание «Прилукищина»: «...любившаяся прежде в жалких не приспособленных к назначению избушках, училища при нём преобразились в роскошные просторные с удобной мебелью здания, каких нельзя встретить ни в одном из уездов полтавской губернии. Параллельно с этим и самый быт сельских учителей, ставших получать аккуратно увеличенное содержание, неузнаваемо улучшилось».

В 1876 году, когда на очередном губернском земском собрании обсуждался вопрос об устройстве в Полтавской губернии учительской семинарии, Григорий Павлович Галаган письменно заявил, что жертвует на устройство какого-либо учебного заведения принадлежащую ему усадьбу в селе Дегтярях Прилуцкого уезда, с домом и флигелями, заключающими в себе до шестидесяти комнат, со службами, садом, огородом, пространством около семидесяти десятин.

Собрание единогласно постановило выразить благодарность жертвователю, прожившему таким образом начало ремесленному училищу в Дегтярях. До конца дней своих Григорий Павлович оставался его попечителем. (Позже, в 1887 году, для сельскохозяйственного отделения училища он уступил свою землю.)

Ремесленное училище в Дегтярях было далеко не единственным школьным учреждением, выстроенным на средства Григория Павловича. В сентябре 1874 года в Прилуках, в первый же год его предводительства дворянством, была открыта четырёхклассная гимназия, в июле 1878 года — прибавлено два класса, а в январе 1878 года действующая шестиклассная прогимназия была преобразована в полную классическую гимназию.

По подобной схеме, и вновь на средства Григория Павловича, расширилась до восьмиклассной женская гимназия. Она была открыта в Прилуках в 1883 году как двухклассная, в следующем году ей прибавили ещё два класса, в 1885 году — один класс, пятый, а в последующие два года — последние классы. Григорий Павлович был попечителем мужской гимназии, Екатерина Васильевна — почётной попечительницей женской гимназии.

В благодарность за всё сделанное Галаганом город Прилуки исходатайствовал Высочайшее разрешение на установку его портрета в здании думы, а 17 января 1880 года поднёс ему диплом на звание почётного гражданина Прилуки. С открытием судебно-мировых учреждений в Полтавской губернии Григорий Павлович был избран председателем первого съезда мировых судей в Прилуках; звание это оставалось за ним до 1882 года, когда последовало назначение его членом Государственного Совета.

В январе 1872 года, в Сокиринцах, он учредил ссудо-сберегательное Товарищество Павла Галагана: «По соглашению с крестьянами собственниками села Сокиринец, землевладелец Г. П. Галаган для успешнейшего развития благосостояния сельских жителей

испросил законным порядком утверждение сельского ссудо-сберегательного товарищества в с. Сокиренцах».³⁹ Новосозданному Товариществу Григорий Павлович пожертвовал три тысячи рублей с тем, чтобы прибыль от этого капитала шла на улучшение сельского быта — на учреждение больниц, богаделен, заведение инструментов, полное устройство пожарной части, на открытие ремесленных классов в местном училище. Сверх денежного пожертвования учредитель подарил Товариществу каменный дом с каменной кладовой и необходимой мебелью.

Первоначально Товарищество открыто было только для крестьян-собственников села Сокиринцы, затем распространило действие на козаков и прочих сельских обитателей, а с 1874 года — на всех жителей Сокириницкой волости, наконец, с 1877 года — также на волости Иванковскую и Сребрянскую. И, между прочим, в 1874 году Галаган исхлопотал кредит им созданному Товариществу от Государственного банка на пять тысяч рублей, увеличенный в 1881 году (по его же ходатайству) до пятнадцати тысяч рублей, в 1881 году — до двадцати тысяч рублей и в 1882 году — до шестидесяти тысяч рублей.

Летом 1881 года Григорий Павлович участвовал в разработке вопроса о понижении выкупных платежей для вышедших из крепостной зависимости крестьян. Потом, когда поставлены были в очередь вопросы питейный и переселенческий; правительство призвало к обсуждению поставленных задач сведущих людей, и в последовавших совещаниях Галаган занимал видное место, а на заседаниях по переселенческому вопросу он председательствовал. Наконец, в бытность уже членом Государственного Совета, Григорий Павлович, в 1886 году, был членом комиссии для разработки местных положений чиншевого вопроса.

Часть двенадцатая. Прощание с Чижевым

В 1887 года простился Григорий Павлович Галаган со своим любимым ментором, Фёдором Васильевичем Чижевым. Тот, ровно за месяц до смерти, составил в присутствии друзей — Григория Павловича Галагана, Ивана Сергеевича Аксакова и барона Андрея Ивановича Дельвига — окончательный вариант своего духовного завещания, начинавшегося словами: *«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я оставляю после себя долги и имущество, которое с избытком может покрыть их; потому считаю долгом перечислить те и другие»*. В активе Фёдора Васильевича числились ценные бумаги на общую сумму более девяноста четырёх тысяч рублей, долги же составляли на тридцать тысяч меньше, оплату которых Чижев предлагал следующим образом:

«К маю месяцу, когда будут получены дивиденды с акций и паёв, продать: четыре пая Московского купеческого банка, десять паёв Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова сына и К°, десять акций Московско-Ярославской дороги, потом взять мой членский взнос в Московском купеческом обществе взаимного кредита и получить вышеназванный. Всё это вместе должно составить более пятидесяти четырёх тысяч восьмисот рублей, и этими деньгами покрыть мои долги в Московском купеческом обществе взаимного кредита и принятый на себя долг Архангельско-Мурманского товарищества срочного пароходства...»

В оплату долга моим сёстрам отдать Александре и Елене Васильевне по пятидесяти акций Общества Московско-Ярославской железной дороги, а Ольге Васильевне сорок акций, разумеется, когда все акции будут выкуплены...»⁴⁸

Особо в завещании Фёдора Васильевича была упомянута его «крестница» (и дочь) Екатерина Михайловна Маркевич. В начале семидесятых годов она вышла замуж за Василия Семёновича Трифановского, брата известного в Москве врача-гомеопата Дмитрия Семёновича Трифановского. Крестница жила с мужем преимущественно в Малороссии, в селе Березовка Прилуцкого уезда Полтавской губернии и растила

сына, названного в честь его деда, Фёдором. Она всегда была желанной гостьей в доме Фёдора Васильевича. Да и он сам, пока позволяло здоровье, часто навёдывался в Малороссию, в имение Трифановских, баловал внучка подарками.

Согласно воле Чижова, Екатерине Михайловне Трифановской отходил его дом в Москве на Садово-Кудринской «со всею мебелью, экипажами, часами, кроме картин и библиотеки», а также тысяча акций Московско-Курской железной дороги. (Библиотека, картина и скульптуры завещатель передал Румянцевскому музею.)

Весь свой основной капитал, состоявший из двадцати четырёх тысяч акций Московско-Курской железной дороги, Чижев завещал на устройство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений. Одно ремесленное училище, по его плану, должно было быть сооружено в Костроме — предполагалось, что уровень обучения в нём будет равняться гимназии и готовить средний технический персонал для промышленных предприятий. *«Из него могли бы выходить ученики в подмастерья, приказчики фабрик, которые впоследствии могли бы быть сами директорами фабрик, хозяевами мастерских...»*⁴⁸

Четыре низших училища, построенных в Костроме, Кологриве, Чухломе, а также в Галиче или Макарьеве (по выбору Костромского губернского земства), должны были выпускать высококвалифицированных рабочих-ремесленников. Обращаясь к своим душеприказчикам, Савве Ивановичу Мамонтову и Алексею Дмитриевичу Поленову, Чижев просил их составить учебные программы этих училищ таким образом, чтобы в них большая часть времени уделяла развитию профессиональных производственных навыков.

Кроме того Чижев распорядился основать в Костроме родильный дом и при нём учебное родовспомогательное заведение с классом повивальных бабок. Как показали исследования архивных записей Чижова, сделать такое распоряжение его заставила память о событиях тридцатилетней давности в далёком малороссийском хуторе Ленков, где скончалась от «послеродовой горячки», дав жизнь дочери, его возлюбленная Екатерина Васильевна Маркевич.

Утром 14 ноября 1877 года Фёдор Васильевич Чижев сделал в дневнике последнюю запись, буквально в несколько строк. Он уже почти не вставал, проводил дни и ночи в покойных креслах за рабочим столом в тёплом беличьем халате. Любое изменение положение тела причиняло ему невыносимую боль. Рядом безотлучно находился приехавший из Киева преданный друг — Григорий Павлович Галаган.

Сцена последнего свидания Чижова с друзьями представлена на картине Сергея Алексеевича Коровина «Ф.В. Чижев, окружённый друзьями, пишет духовное завещание». Слева стоит Григорий Павлович Галаган, справа у стола сидят барон Андрей Иванович Дельвиг и Иван Сергеевич Аксаков. Ещё в начале девятисотых годов картина экспонировалась в Костромском механико-техническом училище имени Ф. В. Чижова.



В половине одиннадцатого помянутого дня Чижев преставился, смерть его была скоростижной — от аневризмы аорты. Скончался он на руках у Галагана, за разговором о том, как он, оправившись от недуга, приедет отдохнуть в Сокиринцы. Похоронили его на кладбище Свято-Данилова монастыря, рядом с могилами его друзей и соратников — Гоголя, Языкова, Хомякова, Самарина, князя Черкасского.

В 1929 году Свято-Даниловская обитель волей власти закрыли, кладбище уничтожили. Удалось спасти только останки Языкова, Гоголя и Хомякова — их в 1931 году перенесли на кладбище Новодевичьего монастыря. Место погребения Чижова сравняли с землёй.

Часть тринадцатая. Смерь сына Павлика и учреждение Коллегии в его честь

В своём единственном ребёнке, сыне Павлике Екатерина Васильевна и Григорий Павлович души не чаяли и, безмерно любя его, стремились дать ему самое лучшее образование, привить интерес к литературе, точным наукам и народному творчеству.

Мальчик рос здоровым, физически крепким, и подвижным. С пяти лет он говорил преимущественно на украинском языке, ходил в народной одежде. Еще не умея читать, с удовольствием слушал стихи Тараса Шевченко и многие выучил наизусть. Он сам придумывал себе игры и забавы, а новым игрушкам предпочитал старые, уже потрепанные, с которыми ему всегда было жаль расставаться.

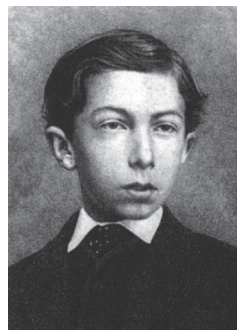
С осени по апрель Галаганы жили в Киеве, в собственном доме, построенном архитектором Иваном Васильевичем Штромом на углу Крещатика и Мартыновской (теперь улица Прорезная), а с весенним теплом уезжали в родовое имение Сокиринцы. Сюда, 23 апреля 1861 года, пришло из Москвы письмо от Чижова с пасхальным поздравлением всем членам семьи, с обращением к Екатерине Васильевне по её заслуженному прозвищу — Правда:

*«Христос Воскресе! Мой милый, мой дорогой Гришун! Христос Воскресе, моя милая правда, Катерина Васильевна! Христос Воскресе, козак — душа правдивая Павлусик. Со всеми от всей души христосуюсь, всем шлю самое душевное поздравление с великим праздником. Извиняться ли, что я долго к Вам не писал? Я думаю, не нужно. Ты знаешь, Гришун, что я часто с тобою, особенно часто теперь, когда тебе весьма нужно и сердце, и рука друга, человека тебя любящего просто запросто. Яствую издали, что тебе они нужны, что ты часто страдаешь и за людей, и за время, и за свои увлечения. Последнее твоё письмо было не утешительно... Довольны ли вы Гурьевым? Передайте ему моё христосование с ним, и моё ему поздравление. В настоящую минуту я пишу тебе из моего уединения; я объявил, что я уйду, заперся в своей отдельной комнате, бывшей спальне моей милейшей правды, и решительно не вижу никого. Бывают времена, когда одиночество есть необходимая потребность душе, и я её давно чувствовал и теперь мог удовлетворить этому желанию, дошедшего до самого страстного и нетерпеливого ожидания».*⁴³

Как все дети, Павел любил бегать и плавать наперегонки со сверстниками, скакать на лошади, сидеть на веслах, детских лет, обучившись столярному и токарному делу, умел обращаться с топором и рубанком. Когда мальчику пошёл восьмой год, к нему был приглашен воспитателем выпускник медицинского факультета Киевского университета, будущий профессор психиатрии, отец выдающегося авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского — Иван Алексеевич Сикорский.

Через год наставником Павлика стал Фёдор Иванович Гурьев, происходивший из семьи сельского священника Владимирской губернии. Федор Иванович не был педагогом по образованию, но обладал широкой эрудицией, которую ему дали годы учебы во Владимирской духовной семинарии, в Киевской духовной академии и в Киевском университете. В течение семи лет он занимался со своим воспитанником: русским, славянским, латинским и греческим языками, историей, географией.

Хотя Павлика Галагана не учили иностранные гувернеры, как было заведено в зажиточных семьях того времени, он рано выучил французский и английский языки. Если Гурьев болел и не имел возможности заниматься со своим воспитанником, для занятий приглашались преподаватели киевских гимназий: русского и древнеславянских языков — Константин Николаевич Воскресенский, истории — Михаил



Флегонтович Владимирский-Буданов, филологии — Павел Игнатьевич Житецкий и другие.

Занятия с репетиторами привели Павла к выводу, что он учится за счёт богатства родителей, а у бедных ребят такой возможности нет. Этой мыслью он поделился с воспитателем Сикорским, добавив, что после поступления в гимназию непременно станет бесплатным наставником для кого-нибудь из бедных. Григорий Павлович не без гордости писал: *«Не вполне еще достигнув 16 лет, юноша был уже способен к восприятию самых серьезных мыслей, к пониманию людей и, можно смело сказать, имел уже свои установившиеся убеждения, которые успели устоять против многих соблазнов и искушений»*.

Казалось, ничто не предвещало беды. Осенью 1868 года Павел выдержал предварительные экзамены для поступления во Вторую киевскую гимназию и весной должен был поступать в шестой класс. Всю зиму и начало весны 1869 года он усердно готовился к основным экзаменам под руководством Гурьева, а на Пасху родители предложили ему вместе съездить в имение матери, в село Тиницу Конотопского уезда, где мальчик очень любил бывать. Здесь и случилось непоправимое: меньше чем за неделю эпидемический тиф, которым только что переболели в семье управляющего имением, унес (27 апреля 1869 года) юную жизнь. И не было границ горю его родителей!

Через две недели после похорон сына, 15 мая 1869 года, в письме своему другу, инспектору народных училищ Киевской губернии Михаилу Владимировичу Юзефовичу Григорий Галаган написал:

«Не вижу я другого спасения или хотя бы облегчения, как исполнить то, что представляется мне долгом, указываемым моей совестью и любовью к усопшему. Дело мое должно состоять в продолжении на земле того добра, которое, без сомнения, делал бы сын мой. Желая начать полезное дело, не откладывая, прежде всего, устроив что-либо прочное и новое в сфере общественного образования. Мой сын остановился на пути своего образования с полным к нему рвением и с искренней любовью к ближнему; пусть же другие, нуждающиеся в средствах, продолжают то, чего не суждено было докончить ему. Я прилагаю составленный мною проект основания общеобразовательного заведения для молодых людей, у которых недостает средств для окончания курса наук».³⁹

По авторскому замыслу, на исполнение которого ушло более двух лет, учебный процесс в таком учебном заведении закрытого типа («Коллегии») должен был органично соединяться с воспитанием; принимались в него «юноши с недостаточными материальными средствами, разных сословий и уроженцы различных местностей России» с целью «приготавливать молодых людей к университету».³⁹

Подготовленную Галаганом докладную записку «О намерении пожертвовать капитал для основания общеобразовательного заведения» генерал-губернатор князь Дондуков-Корсаков 4 августа 1869 года направил императору Александру II, который 27 марта 1870 года утвердил Устав Коллегии и в рескрипте на имя учредителя соизволил объявить: *«Принимаю с особым удовольствием Ваше пожертвование и, дозволяя, согласно Вашему желанию, наименовать предполагаемое вами учебное заведение в память вашего сына — Коллегией Павла Галагана, я сердечно желаю, чтобы вам дано было найти в чужих, благодетельствуемых вами детях то утешение, которое по воле Промысла вы лишились в собственном вашем сыне»*.

Поначалу Григорий Павлович предполагал расположить учебное заведение где-нибудь в селе, на природе, однако не смог отыскать педагогов, согласных на сельскую жизнь. Посему, отказавшись от первоначальной идеи, он решил учредить Коллегию в Киеве и, продав свой дом на Крещатике, купил усадьбу в тихой части города — на углу улиц Алексеевской (Терещенковской) и Фундуклеевской (ныне улица Богдана Хмельницкого, дома девять и десять).

На приобретённой усадьбе находился кирпичный дом в два этажа, который одно время занимало жандармское управление, а затем — частный женский пансион на сто пятьдесят девиц. «Дом был тесным и неудобным. Наружная архитектура поражала своим безобразием», — описывала это здание газета «Киевлянин».

В марте 1871 года Григорий Павлович прикупил, на углу улиц Фундуклеевской и Ново-Елизаветинской (Пушкинской), смежный участок с домом в полтора этажа и другими строениями. В результате получилась единая, площадью около гектара усадьба со строениями, требовавшими перестройки и расширения с целью сделать их удобными для учебы и отдыха учеников, работников коллегии. Для проведения всех необходимых работ Григорий Галаган пригласил недавно приехавшего в Киев архитектора Шилле.

Александр-Пётр-Адриан (Яковлевич) Шилле (годы жизни: 1830 — 1897) родился в Петербурге, в семье прусского подданного. Воспитывался он в училище Петра и Павла, затем поступил вольнослушателем в Петербургскую Академию художеств, которую, в 1852 году, закончил со званием неклассного художника архитектуры, а в 1853 году отправился в Берлинскую строительную академию, одновременно «совершенствуясь в искусствах» в Париже и в Италии. Среди наиболее известных зданий, построенных им в Киеве, были здание для Киевской Городской Думы на Крещатикской площади, Фундуклеевской женской гимназии. (В 1871 — 1872 учебном году он преподавал в Коллегии рисование.)

Поскольку предполагалось, что воспитанники Коллегии будут не только учиться, но и жить в её стенах, то проблемы распределения спальных помещений воспитанников, устройства учебных столов и скамеек, освещения во время занятий и другие вопросы, касающиеся физической стороны воспитания, приглашённый архитектор решал с участием опытных киевских врачей и педагогов. По итогам этих консультаций зодчему пришлось расширить имевшееся здание чуть ли не вдвое.



К крылу здания, выходящему на улицу Алексеевскую (Терещенковскую), Шилле пристроил двухэтажный жилой корпус, который занял часть нечетной стороны улицы (позднее, в 1885 году к нему была добавлена одноэтажная больница). Главный вход, с украшенными зеркальными стёклами дверьми, представлял собой треугольный фронтон на двойных тосканских колоннах; с левой стороны фасада его дополнял изящный, выступающий вперед, гранитный портик, над которым была смонтирована белая мраморная доска с выбитой на ней датой открытия Коллегии.

Её корпус состоял из двух полных этажей, нижнего полуэтажа и обширного мезонина, выходящего во двор. В полуэтаже разместились класс труда, кухня, кладовые, служебные помещения, квартиры эконома и буфетчика; на первом этаже — приемная, три большие светлые спальни с комнатами воспитателей, две обширные столовые, разделенные буфетом, музыкальная комната и туалеты.

На первом же этаже архитектор построил простую и изящную домовую церковь во имя апостола Павла с небольшим белым куполом и золотым крестом. На втором этаже разместились одна спальня с комнатой воспитателя, классы, физический кабинет, библиотека, комната для отдыха преподавателей и для учебных принадлежностей, актовый зал. В мезонине были устроены библиотека и квартира помощника воспитателя. (Позднее в Коллегии были созданы естественно-научный кабинет, природоведческий музей, физическая лаборатория, класс музыки с фортепьяно и органом, спортивный зал.) Помещение больницы (на семь коек) имело особый выход и отделялось от остальной части здания капитальной стеной без всяких внутренних сообщений.

Рядом с основным зданием (на углу нынешних улиц Пушкинской и Богдана Хмельницкого) располагался двухэтажный дом с флигелем, имевший вход со двора, со стороны прекрасного дворового сада. Здесь размещалась канцелярия Коллегии, жили супруги Галаган, квартировали директор, воспитатель и настоятель домово́й церкви. В дворовой части находились флигель на две квартиры, прачечная, сарай, площадка для игр.

Оценивая труды архитектора, газета «Киевлянин» в выпуске от 7 октября 1871 года писала: *«Истинно артистический вкус г. Шилле создал великолепное здание в стиле позднего классицизма», в котором сочетаются «...удобства, простота, изящество, современные требования педагогики».*

Торжественное открытие Коллегии состоялось 1 октября 1871 года — при огромном стечении киевлян и гостей города, в том числе её преподавателей, будущих воспитанников и их родителей, почётных гостей церемонии от Министерства народного просвещения, от Киевского учебного округа и университета, от Киевского дворянства, от высшего духовенства.

Митрополит Киевский и Галицкий Арсений отслужил заупокойную панихиду по Павлу Галагану, после которой состоялись божественная литургия и молебен. Попечитель Киевского учебного округа Платон Александрович Антонович зачитал высочайшее повеление об учреждении Коллегии.

Григорий Павлович Галаган своё выступление заключил словами: *«Я пламенно желаю, чтобы молодые люди, которые здесь будут воспитываться, могли с полным успехом достичь того, которое не суждено было достичь моему сыну, и, чтобы в этих стенах они получали те главные основы образования и нравственности которые помогли бы им сделаться со временем хорошими гражданами нашей дорогой отчизны».*⁴⁹

Позже, 27 ноября 1871 года, почтила Коллегию своим посещением супруга Александра II императрица Мария Александровна с сыновьями Павлом и Сергеем, побывавшими на уроках физики и истории.

На содержание Коллегии её учредитель пожертвовал около восьми тысяч десятин земли в Полтавской и Черниговской губерниях, по тогдашней оценке на сумму двести семьдесят пять тысяч рублей, а также усадьбу с двумя домами и несколькими флигелями на двести тысяч рублей.

Более того, Григорий Павлович, отказывая во многом себе и супруге, и далее вёл практически всё хозяйственное управление Коллегии, ежегодный расход которой составлял более сорока тысяч рублей. По этому поводу редактор журнала «Киевская старина» Феофан Гаврилович Лебединцев писал в 1883 году: *«Галаган все излишнее для себя записал на Коллегию, а сам ездит на одрах и живет не по чину».*⁴⁹

Коллегия состояла только из четырех старших классов, приравнивавшихся к четырем старшим классам гимназий Министерства народного просвещения. Принимались в неё выпускники либо прогимназий, либо первых четырёх классов гимназий. В соответствии с уставом число воспитанников во всех четырёх классах должно было быть до восьмидесяти человек в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, по десять человек на каждый курс, тридцать из них — стипендиаты Павла Галагана, остальные — своекоштные. Предписал также учредитель Коллегии, что из числа стипендиатов три должны быть уроженцами Прилуцкого уезда Полтавской губернии.

Попечителем Коллегии выступал Киевский университет Святого Владимира. Для управления всей учебной, воспитательной и хозяйственной деятельностью заведения при Коллегии было образовано Правление, в многочисленные и многосложные полномочия которого входило, в том числе, избрание директора Коллегии. (Учителей и воспитателей утверждал попечитель Киевского учебного округа.)

В состав Правления, согласно Уставу, входили четыре профессора (по одному от каждого факультета) Киевского университета; два члена от городской обществен-

ности, директор Коллегии и два её воспитателя (сроком на три года). Первое заседание Правления Коллегии состоялось ещё до её официального открытия — 29 декабря 1870 года, под председательством Григория Галагана.

С часа открытия материально-духовного памятника сыну и до последнего дня жизни Григорий Павлович относился к Коллегии, как к своему любимейшему детищу, она была будто органическая часть всего существа его и неусыпные заботы о ней, о её преуспевании не покидали его никогда. Воспитателей и преподавателей Коллегии он почитал за близких товарищей, нужды которых старался удовлетворять возможно своевременнее и полнее.

Воспитанники были для него родными и близкими людьми, его отношения к ним напоминали отношения отца к своим детям. С ними он чувствовал себя, как в родном семейном кругу, им он отдавал всё своё внимание, ласку и поощрение.

Павлу Григорьевичу было присвоено звание почетного попечителя заведения с прижизненным правом избирать директора Коллегии и кандидатов в стипендиаты имени Павла Галагана, утверждать инструкции для воспитателей и контролировать их деятельность, председательствовать на заседаниях Правления Коллегии в дни его пребывания в Киеве. Непременно он приезжал сюда 27 апреля, в день смерти любимца-сына — присутствовать на торжественном акте и молебне в домовй церкви.

Тяжело заболев, Григорий Павлович составил завещание, в котором подтвердил все материальные права Коллегии, указав её будущим ментором супругу, Екатерину Васильевну. Свой добротворный путь земной Григорий Павлович Галаган завершил 25 сентября 1888 года, в Сокиринцах. Спустя три месяца после его кончины император Александр II издал распоряжение о присвоении звания почётной попечительницы Коллегии Екатерине Васильевне Галаган.

Часть четырнадцатая. Немного о Коллегии имени Павла Галагана

Переняв от упокоившегося супруга права и обязанности учредителя и попечителя Коллегии, Екатерина Васильевна Галаган активно вникала во все проблемы, все дела этого учебного заведения. Его воспитанников она знала поименно, как и всех представителей его педагогического и вспомогательного персонала, вникала во все его проблемы и скоро их разрешала. Как и при покойном муже, выпускался учениками (правда, только два года) рукописный журнал «Слово», действовало ученическое историко-литературное общество, продолжал выходить «Ежегодник» Коллегии, сборник «Педагогическая мысль». Как и прежде, лучшие выпускники Коллегии, после её окончания, поступали в Киевский, Московский, Санкт-Петербургский университеты.

В начале 1891 года Екатерина Васильевна пригласила на должность директора Коллегии замечательного русского поэта, педагога Иннокентия Фёдоровича Анненского. Известно, что в последовавшем киевском периоде жизни у него созрел замысел перевести все трагедии любимого эллинского драматурга Еврипида, дать во вступительных статьях художественный их анализ и научный комментарий переводам. В это время им была написана большая статья «Гончаров и его *Обломов*» — одна из лучших и наиболее оригинальных работ о знаменитом романе. На торжественном годичном акте в Коллегии Галагана Анненский произнес речь «*Об эстетическом отношении Лермонтова к природе*».



И в Киеве же возникли его «*Педагогические письма*», ставшие событием в русской педагогической мысли. В них автор обосновал свои новаторские взгляды на ряд

важнейших, но недооценивавшихся тогда вопросов преподавания в средней школе (о роли иностранных языков в гуманитарном образовании, об эстетическом воспитании учеников и о культуре их речи, о развитии у них самостоятельности в мышлении).

Первое и второе из этих писем появились в 1892–1893 годах в журнале «Русская школа» и в нём же были опубликованы очерки Анненского о Лермонтове и Гончарове. Все свои публикации Анненский предварял сообщениями о них в городском Обществе классической филологии

Киевский период оказался непродолжительным для Иннокентия Фёдоровича из-за возникших в местной среде недоразумений, о которых он писал историку Сергею



Платонову: *«К моему большому огорчению, я не мог видеться с Вами во время моего короткого пребывания в Петербурге. У меня была такая масса служебной заботы и разных деловых хлопот, что пришлось посвятить им большую часть моего отпуска. Между тем обо многом не только интересно, но и важно бы было побеседовать с Вами — я уже не говорю об удовольствии видеться с Вами: здесь, на чужбине, среди нарочито неприятных людей, врагов и личных, и принципиальных, явных и тайных, среди украинского лицемерия и провинциальной мелочности часто вспоминается*

*мне с завистью общество друзей, великороссов и петербуржцев, и всегда при этом думаю я о Вашем милом обществе и наших, хотя и редких, но ценных для меня беседах».*⁴³

В Коллегии Иннокентий Анненский совмещал должность директора с воспитательной работой, основой которой он полагал, судя по его поэтическим высказываниям, мягкость и доброжелательность в отношениях педагога с подрастающим поколением:

«В детстве тоньше жизни нить,
Дни короче в эту пору...
Не спешите их бранить,
Но балуйте... без зазору».⁵²

Следует предположить, что дуализм в его педагогической работе, ведший, в том числе, к частым диспутам с коллегами, вызвал раздражение у них, неприятие и даже отторжение из их среды заезжей знаменитости. Подобная негативная реакция по известным каналам связи, в том числе через наущничество, была доведена до Екатерины Васильевны, результатом чего, вероятно, и стало её гневное и пространное письмо директору Департамента народного просвещения Николаю Милиевичу Аничкову. Обвинялся вдруг ставший негодным ей директор, во-первых, во введении переводных экзаменов после каждого года обучения и, во-вторых, в казённой форме общения с учащимися Коллегии.

Чуть позже от Екатерины Васильевны последовало практически отказное письмо самому Анненкову:

*«Находясь в болезненном состоянии, я не имею возможности лично объяснить с Вами по делам Коллегии. Скажу только, что в управлении дорогим для меня учебным заведением Вы систематически нарушаете основные положения, ясно выраженные в Высочайше утвержденном уставе его, поэтому Вы поставили меня в необходимость обратиться к высшему начальству с просьбою — дать Вам другое назначение, более соответствующее воззрениям Вашим на учебно-воспитательное дело, о чем считаю нужным известить Вас. Примите уверение...»*⁵¹

После сигнала от первого лица Коллегии Павла Галагана получил Иннокентий Фёдорович от директора Департамента Аничкова деликатную записку, начальная часть которой объясняет суть возникшей интриги: *«Многоуважаемый Иннокентий Фёдорович, простите меня за беспокойство, которое должно, без сомнения, причинить Вам это письмо, но я вынужден обратиться с ним к Вам, желая Вам, как и всякому честному и умному труженику, искренно добра. По всем обстоятельствам, в последнее время выясняющимся, Вам едва ли возможно будет оставаться на месте директора Коллегии Павла Галагана и, вероятно, Вам придется сознать, что есть обстоятельства, которые заставляют нас повторить иногда известное выражение «отойди от зла и сотвори благо». Все время и после моего приезда в Киев продолжались и продолжают наветы и выражения недовольства. Быть хотя бы временно яблоком раздора между партиями, которые по самой природе своей никогда не сойдутся, весьма не легко. Мне кажется, Вы, как много думающий и прозорливый человек, сами сознаете свое положение...»*.⁵¹

В итоге Анненскому было сделано несколько новых кадровых предложений, из которых он выбрал директорство в Восьмой Санкт-Петербургской гимназии, где и продолжил свою педагогическую карьеру с начала октября 1893 года:

«Вы несчастны, если вам
Непонятен детский лепет,
Вызвать шепот — это срам,
Горше — в детях вызвать трепет!»⁵²

В столичной гимназии Анненский проработал три года, после чего возглавил (до 1905 года) Николаевскую гимназию в Царском Селе. Его первый сборник стихотворений и переводов увидел свет в 1904 году под псевдонимом «Ник. Т-о». В 1906 году был издан первый том трагедий Еврипида в его переводах и с его же комментариями. Весной 1909 года Анненский соучаствовал в организации журнала «Аполлон» и некоторое время был его главным редактором. В первых трёх номерах журнала он опубликовал программную статью «О современном лиризме».

Перенапряжение в работе и болезненная реакция на решение редакции «Аполлона» снять из печати сборник его стихотворений привели к сердечному кризу, в результате которого Анненский скоропостижно скончался в подъезде Царскосельского вокзала 30 ноября 1909 года. Главная книга поэта — «Кипарисовый ларец» — вышла в 1910 году, а в 1911 году его ученик Николай Гумилёв написал стихотворение «Памяти Анненского»:

«Я помню дни: я робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний — слабого меня».

После кончины Екатерины Васильевны Галаган, случившейся (как свидетельствует Малороссийский родословник Вадима Модзалевского) 1 ноября 1897 года, в Сокиринцах, управление Коллегией перешло к генерал-лейтенанту, графу Константину Николаевичу Ламсдорфу, мужу племянницы её супруга — Екатерины Павловны Комаровской. Графу, согласно высочайшему повелению, было разрешено присо-

единить к фамилии и гербу фамилию и герб Галаганов и именоваться впредь графом Ламсдорф-Галаган, с тем чтобы в нисходящем его потомстве фамилия Галаган переходила всегда к одному только старшему в роде.

В 1900 году Константин Николаевич ушёл из жизни, и дела Коллегии перешли к его старшему двадцатичетырёхлетнему сыну Сергею, гласному Киевской городской думы. Как и отец, сын активно занимался содержанием Коллегии и развитием обширных владений родителей, большая часть дохода от которых направлялась на развитие Коллегии, которую он поддерживал до самой революции; в своих имениях вел просветительскую работу, создавал в них школы и больницы.

После революции, в начале двадцатых годов его арестовали, забрав прямо из больницы, где он лечился после старого фронтового ранения. Несмотря на многочисленные ходатайства, Сергея Константиновича отправили в Москву, где он канул в неизвестность.

Во время Первой мировой войны в помещениях Коллегии располагался лазарет Красного Креста для раненых офицеров. В 1917 году её учебный корпус занимал Генеральный секретариат военных дел Украинской Центральной Рады, *«Весь конец 1917 года приемная Симона Петлюры в коллегии Павла Галагана на Фундуклеевской улице была буквально наводнена генералами и офицерами бывшей русской армии, часто с весьма почетными боевыми именами, предлагавшими свои услуги правительству Украины»*, — вспоминал военный министр УНР, генерал— майор Александр Петрович Греков.

С января 1918 года здания Коллегии использовались Министерством военных дел Украинской Народной Республики (УНР), с марта 1918 по январь 1919 года в них квартировали немецкие военные отряды. В советскую пору, начиная с 1919 года, помещения бывшей Коллегии занимали последовательно книгохранилище Всенародной библиотеки Украины, трудовая школа и детский дом, средняя школа имени Ивана Франко, Дом учителя. После проведённой (в 1896 году) реставрации основное здание Коллегии было передано Музеем литературы УССР (ныне именуемом Национальным музеем литературы Украины), а её «директорский» домик — отдан под «коммуналки». После «буйных девяностых» деловые люди помянутый домик снесли и возвели на образовавшемся пустыре четырехэтажный, паскудящий старинный городской архитектурный пейзаж торговый центр.





С начала девятнадцатого века и до его исхода звучно отметились в истории украинского меценатства и благотворительности три, друг за другом следовавшие, представителя черниговских дворян Тарновских — Григорий Степанович Тарновский, Василий Васильевич Тарновский-старший и Василий Васильевич Тарновский-младший. В числе их доброславных деяний — открытие и поддержание фамильными средствами сельских школ, многолетнее привечение и материальная помощь творческим личностям, представителям литературы и искусства, собирание археологических, культурных древностей края, произведений искусства, коллекционирование материалов, связанных с жизнью и творчеством Шевченко, совокупно ставших впоследствии основой фондов ряда музеев Украины, прежде всего — Черниговского.

Часть первая. Григорий Степанович Тарновский

«История мидян темна и непонятна». Как свидетельствует Малороссийский родословник Вадима Львовича Модзалевского, первый из документально зафиксированных представителей интересующего нас рода Тарновских жил в семнадцатом веке, носил имя Иосиф и имел сына Ивана Ляшко, войскового товарища Прилукского полка, получившего в собственность от начальства мельницу на реке Удай и сенокосный луг. Его два сына, Василий и Фёдор, дали начало двум ветвям фамилии Тарновских (или — Терновских) — от старшего сына Василия пошло обширное черниговское ветвление фамильного древа, от Фёдора — скудная полтавская ветвь.

Та линия фамильного древа, что, выводит на рассматриваемый в этой новелле Тарновских, после Василия Фёдоровича включает в себя его сына Степана Васильевича и внука Якова Степановича. Начиная с последнего, выкопировкой из помянутого родословника графически представлена взаимосвязь его последующих, пары-тройки, родовых колен.

Из неё, в частности, следует, что за Степаном Яковлевичем Тарновским, по состоянию на 1786 год, числилось под две тысячи крепостных обоего пола в сёлах уездов Полтавской губернии. Был он женат на дочери подкомория (судьи, решавшего споры о границах владений), Прасковье Андреевне Остроградской, родившей ему единственного сына Григория. Пережив мужа, Прасковья Андреевна вторично вышла замуж за нежинского полкового маршала дворянства Григория Яковлевича Почечу, после чего новосоставившееся семейство, в 1808 году, приобрело для себя у президента Малороссийской коллегии, графа Сергея Петровича Румянцева всё его — императрицей Екатериной дарованное — имущество в Черниговской губернии. В его числе была усадьба Качановка, о которой много позже, в январе 1915 года, один из потомков Тарновских, Михаил Владимирович, писал в журнале «Столица и усадьба»:

9. Яков Степанович, войсковой канцелярист (1740-1741); с 1741 г. бунчуковый товарищ, находился при экономии его ясновельможности (в 1750-х годах); с 5 марта 1762 г. – генеральный бунчужный; то-же в 1770 г.; депутат от шляхетства от Прилуцкого аполка в Комиссию о сочинении проекта Нового уложения (1767); у него Седневской сотни в д. Баромиках 2, Городничкой в д. Овтуничках 10, д. Переписи 5, д. Деревинах 18 и при Деревинской слободе 3 хаты (1760); за ним в д. Деревинах 27 дворов и 7 бездворных хат (1767); владел Овтуничками уже в 1740 г...
Ж. Елена Васильевна Кочубей

14. Василий Яковлевич, род. около 1751 г.; в службе, по возвращении из иностранных земель от училищ, с 1775 г.; 10 марта 1775 г. – бунчуковый товарищ; был при Малоросс. Коллегии и Суде Генеральном в отправлении судебных дел; в 1778-1779 г.г. был членом Генеральной Счетной Комиссии; 11 окт. 1779 г. – колл. ассесор; с 1782 г. дворянский заседатель Черниговского Совестного Суда; 23 нояб. 1783 г. – наadv. советник; с 1785 г. — Прилуцкий уездный предводитель Дворянства; при Черниговском Наместническом Правлении (1791); Черниговский Губернский Предодитель Дворянства; за ним Прилуцкого у. в д. Манжосовке, с. Поллояхах, Краспянах, Лесках, х. Шурамовском, Кротовском, Ромеянского у. в с. Гамле (?), Березинского у. в с. Баромиках, Пирятинского у. в хуторах Рудовских м. п. 500 душ (1785); в Прилуцком у. обоего пола 1020 душ (1786).....

Ж. Анастасия Васильевна Туманская + до 1797 г., дочь генерального писаря, впоследствии действит. статского советника.

25. Василий Васильевич, род. около 1783 г. в с. Дедовцах; воспитывался в I Кадетском Корпусе; в службе с 12 июня 1802 г. подпоручиком в Свите Его Величества по квартирмейстерской части; 11 сент. 1805 г. – поручик при отставке; помещик Пирятинского у.; + 1833 г.

Ж. Анна Федосиевна Александрович + 1835 г. в с. Боздаловке, Прилуцкого у. в имении Николая Яковлевича Александровича, где была временно похоронена, в 1854 г. ее прах был перенесен в с. Антоновку, Пирятинского у. для захоронения рядом с мужем.

33. Василий Васильевич, род. 14 июля 1810 г. в сл. Рудовке; в 1826 г. окончил курс Гимназии высших наук кн. Безбородка кандидатом; 20 июля 1828 г. – кандидат Имп. Московского университета; в службе с 19 авг. 1829 г. в Департаменте горных и соляных дел; колл. Секретарь со старшинством с 19 авг. 1829 г.; 12 сент. 1830 г. – уволен; 17 нояб. 1832 г. – учитель истории и статистики в Житомирской губернской гимназии; 2 окт. 1835 г. – уволен; титул. советник; член Черниговского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян (1857 – 1858); член редакционной комиссии по освобождению крестьян в Петербурге; в 1862 г. – член Полтавской губернской Земской Управы; в 1863 г. – член Черниговской Губ. Земской Управы; у него с матерью, четырьмя братьями и пятью сестрами в Пирятинском у. при с. Антоновке 216 душ и около 900 дес. Земли; + 4 дек. 1866 г.
Ж. (1836) Людмила Владимировна Юзефович + 20 дек. 1898 г.

13. Степан Яковлевич, род. около 1740 г.; ротмистр Кирасирского полка (1785); 19 дек. 1785 г. – колл. ассесор; Пирятинский уездный предводитель Дворянства; Киевский губернский предводитель Дворянства (1791); за ним Пирятинского у. в с. Белоцерковке и Городничкого у. в д. Деревинах 1467, Хорольского у. в с. Марковцах, Исковцах, м. Лукомье, х. Бурбовщине и Лубенского у. в с. Калайдинцах 303 об. пола души; за ним в Пирятинском у. 733 и Городничинском 734 обоего пола души (1786)

Ж. Прасковья Андреевна Остроградская + 1824 г., дочь подкомория; за нею приданых 303 души об. пола в Хорольском и Лубенском у.у.; во 2-ом браке за Григорием Яковлевичем Почекой, Нежинским полковым маршалом Дворянства, статским советником, род. около 1757 г. + до 1816 г.

23. Григорий (Егор) Степанович, род. около 1784 г.; в службе с 10 сент. 1797 г. к делам Нежинского поветового маршала с званием губ. регистратора; 1 июл. 1803 г. – к делам Черниговского гражданского губернатора; 21 марта 1804 г. – уволен; 18 мая 1804 г. определен в Екатеринославскую почтовую контору на канцелярский оклад; 4 сент. 1804 г. – колл. регистратор; 17 марта 1806 г. – в Малороссийский Почтамт; 31 дек. 1807 г. – губ. секретарь; 7 сент. 1808 г. – к делам Черниговского гражд. губернатора; 31 дек. 1810 г. – колл. секретарь; 31 дек. 1813 г. – титул. советник; 25 марта 1815 г. – в Канцелярии статс-секретаря Молчанова; 30 окт. 1815 г. – уволен; 20 нояб. 1815 г. – в Министерство Полиции; 21 янв. 1816 г. – в Санктпетербургскую полицейскую драгунскую команду с переименованием в капитаны; 21 янв. 1817 г. – уволен; 28 мая 1818 г. – в Канцелярию Малороссийского военного губернатора; 5 мая 1820 г. – колл. ассесор; 16 авг. 1820 г. – уволен; наadv. советник, почетный смотритель Борзенского поветового училища (1831); действ. статский советник и кавалер; за ним Лохвицкого повета в с. Белоцерковке 512, Городничкого повета 356 и доставшихся по духовному завещанию отчима его, статского советника Григория Почеки, Конотопского пов. с. Кошары, д. Юрьевка и х. Бельмачовский – 1108 душ, да Борзенского повета с. Рожновка – 528 муж. пола душ (1821); известен был под именем Почеки-Тарновского

Ж. Анна Дмитриевна Алексеева, жила в с. Качановке, Борзенского у. (1844).



«В 1753 г. Качановщина, речка Смош — майора Михайла Каченовского. В Румянецкой описи Малороссии находятся следующие сведения: «В семи верстах от Парафиевки, при р.Смоше, находился водяной «млин» (существует на том же месте и теперь), принадлежавший одному из приказчиков Владиславичей Родионову и иваницкому казаку Прочаю, которые затем его продали жившему в м. Иванике нежинскому греку Фёдору Болгарину. Последний стал тут скупать поля и леса и основал хутор, который в 1742 г. продал «двора Его Императорского Величества певчему Федору Ивановичу Каченовскому» за 890 руб.

Недалеко от мельницы Болгарина, на той же речке Смоше, находился другой хутор, принадлежавший также нежинскому греку Фоме Мачемачу; после его смерти хутор перешел к его пяти дочерям, которые в 1744 г. этот хутор продали тоже «Федору Ивановичу Каченовскому, дворянину и шляхтичу» за 1690 руб. Этот Каченовский и был владельцем имения, получившего поэтому название «Качановки». Когда же Каченовский был пожалован более богатыми «маетностями», то Качановку он продал в 1749 г. брату своему секунд-майору Михайле Каченовскому, обязав его при этом десятую часть помола с водяных мельниц отдавать на парафиевскую церковь св. Николая, а другую — на «шпиталь нищим».

В 1770 г., по поручению императрицы Екатерины II, Парафиевка и Качановка были куплены для Румянцева и в декабре того же года ему подарены императрицей.

При Румянцеве-Задунайском в Качановке был построен большой каменный дом и заведен сад, положивший начало тому великолепному парку, которым так славилась Качановка позднее. Долго ли жил в Качановке сам Румянец, а затем его сын Сергей Петрович — не осталось воспоминаний. Из описи движимости, хранящейся в музее в Чернигове, трудно узнать ту обстановку, которая досталась после Тарновским. Известны точно лишь кое-какие предметы: огромная зальная серебряная люстра, трюмо и кое-какая бронза; да из экипажей — огромный экипаж на висячих рессорах, с откидной бархатной подножкой; этим придворного типа экипажем пользовались и позднее в торжественных случаях...»

В Качановке, в 1816 году, упокоился Григорий Почека, после чего его супруге — из-за отсутствия в пресекшемся браке общих детей, а также наследников у покойного — перешло в единоличную собственность всё его имущество, а по кончине Прасковьи Андреевны владеть им стал наизаконнейшим образом её единственный сын-наследник Григорий.

Григорий Степанович Тарновский, предположительно 1784 года рождения, до умножения своего состояния материнским — движимым и недвижимым — имуществом владел двумя сёлами в Полтавской губернии с жившими в них под тысячу крепостных крестьян. Был он женат на Анне Дмитриевне Алексеевой.

В молодости служил Григорий Степанович в Министерстве внутренних дел чиновником по особым поручениям. В 1831 году его избрали предводителем дворянства Борзны. Камер-юнкер, статский, а впоследствии титулярный советник, богатый землевладелец, владевший девятью тысячами душ крепостных в Киевской, Полтавской и Черниговской губерниях, был он противоречивой, а то и странной натурой. В Петербурге зарекомендовал себя меценатом, по случаю чего в 1838 году Императорская академия искусств, отмечая его «любовь к искусствам», которая проявлялась, в частности, в материальной поддержке художников, избрала его свободным «общником» Академии.

Много позже выше цитированный Михаил Владимирович Тарновский, детство которого прошло в качановском имении, вспоминал, что в киевском доме его дяди Якова Васильевича Тарновского на улице Золотоворотской хранился небольшой «прекрасный портрет Григория Степановича... работы Карла Брюллова», написанный где-то на границе 1830–1840 годов. Портрет не сохранился: мемуарист загадочно пишет, что погиб он по дороге от Золотоворотской улицы к Историческому музею.

Григорий Степанович и его половина были бездетными и всю нерастраченную родительскую нежность отдавали своим племянникам и племянницам, бесположились об их образовании и устройстве личной жизни. В Качановке их малолетние «родычи» были всем обеспечены, имели гувернёров и гувернанток и, получив от тех предварительное образование, далее продолжали его в Москве и Петербурге. Эту сторону жизни супругов Тарновских отмечал в воспоминаниях Михаил Владимирович Тарновский: *«Будучи бездетными супругами, они ютили около себя целую коллекцию племянников и племянниц, как со стороны Григория Степановича, так и со стороны его жены, Анны Дмитриевны, особы приземистой и весьма толстой. Бог не наделил ее даром слова, и она всегда молчала... Григорий Степанович был очень сух и смугл, любил прекрасный пол и всю жизнь был ими окружен...»*

Волей и вкусом Григория Степановича Тарновского сад вокруг дворца превратился в регулярный парк, была достроена церковь, насыпаны два, соединённых мостиком, острова на Майорском пруду. В дворце хранилась, постоянно пополняясь, немалая коллекция картин, мебели, бронзы, фарфора. На регулярно устраиваемых балах играл собственный оркестр хозяев, для которого Григорий Степанович одалживал у приятеля Павла Галагана, жившего в соседних Сокиренцах, скрипача Калиныча, коего почитал как виртуоза.

Правда, композитор Глинка качество игры крепостного скрипача оценил не столь высоко, когда летом 1838 года принял приглашение Тарновского погостить у него в имени, прервав на время утомительное занятие по подбору певцов для придворной капеллы. Её капельмейстером Михаил Иванович был назначен в первых числах января того же года усилиями благорасположенных к нему братьев Виельгорских, подтолкнувших окружение царя к принятию нужного кадрового решения.

Обожаемый монарх лично огласил его композитору: *«Того же дня вечером, за кулисами, государь император, увидев меня на сцене, подошёл ко мне и сказал: «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны во всей Европе и следственно стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами».*²³

Певческая капелла Санкт-Петербурга ведёт свою историю с 1479 года, когда по указу великого князя Ивана III в Москве был учреждён хор Государевых певчих дьяков, ставший первым профессиональным хором России и колыбелью русского хорового искусства. В 1701 году хор был переименован в Придворный, а в 1763 году, указом Екатерины II, — в Императорскую придворную певческую капеллу. Первоначально в хоре пели только мужчины, но с середины семнадцатого века в его составе появились мальчики, которых дополнительно стали обучать игре на оркестровых инструментах.

Царскую волю Михаилу Ивановичу тем легче было исполнить, что Малороссия уже много лет была «кузницей кадров» для придворной капеллы. Известно, что в 1738 году, по указу императрицы Анны Иоанновны, для нужд Придворного хора была открыта первая специальная школа в городе Глухове. Также известно, что венчанным мужем царицы Елизаветы стал церковный певчий из села Лемеша Алекса Разумовский, что прежний владелец Качановки, царский певун Фёдор Иванович Каченовский, разбогател на качестве своего голоса и его петербургский дворец на Фонтанке был центром землячества малороссийских певцов.

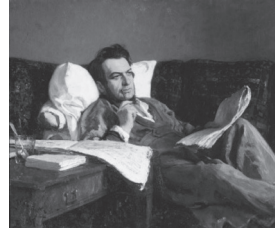
Исполняя, скоро и качественно, царскую волю, Глинка в пору своей командировки в Малороссии был внутренне занят сочинением оперы «Руслан и Людмила», что подтверждают его воспоминания:

«Первую мысль о Руслане и Людмиле подал наш известный комик князь Шаховской; по его мнению роль Черномора следовало писать для Воробьёвой. На одном из вечеров у Жуковского Пушкин, говоря о поэме своей: «Руслан и Людмила», сказал, что он многое бы переделал; я желал узнать от него, какие именно переделки он предполагает сделать, но преждевременная кончина его не допустила исполнить этого намерения.

Айвазовский посещавший весьма часто Кукольника, сообщил мне три татарские напева; впоследствии два из них я употребил для лезгинки, а третий для Andante сцены Ратмира в 3-м акте оперы «Руслан и Людмила»...

В конце апреля 1838 г. я был послан, по высочайшему повелению, в Малороссию для набора певчих...

В Чернигове нашли мы несколько хороших голосов; выбирали мы их чрезвычайно тщательно. Приходили в классы семинарии, где учились дети того возраста, который нам был нужен; сначала выбирали тех, которые имели музыкальный слух и голос, потом лучших из них, так что из 40 мальчиков отобрали до 8 и этих брали к себе на квартиру, поили чаем и обращались с ними как можно ласковее; неоднократно пробовали их слух и голоса, заставляли их следить за скрипкой Дмитрия Никитича. Некоторые мальчики были одарены столь тонким слухом, что следили непринуждённо за всевозможными интервалами даже за музыкальной чепухой, которую изошрялся производить Палагин, чтобы сбить их.



Центром своих операций я избрал поместье доброго моего знакомого, помещика Черниговской губернии, Борзенского повета Григория Степановича Тарновского, куда мы с набранными в Чернигове детьми отправились. Съехав с большой дороги в местечке Монастырище, мы с трудом, в течение почти целого майского дня, перебрались на волах по разметанной речкою гребле; переночевав в Ичени, к обеду на другой день, были в поместье Тарновского — Каченовке.

Хозяина с семейством не было дома, он был у одного из соседних помещиков. Первое впечатление было в пользу владельца; подъезжал к поместью с нескольких сторон по стройным аллеям из пирамидальных тополей; дом большой, каменный, стоял на возвышении; огромный, прелестно раскинувшийся сад с прудами и вековыми клёнами, дубами и ясенями величественно ласкал зрение.



Но осмотрясь, удивление уменьшалось: дом был как будто не окончен, дорожки в саду не доделаны; был у владельца и оркестр, не дурной оркестр, но не полный, и духовые инструменты не все исправны. Даже управляющий оркестром первый скрипач, Михайло Калиныч, был несколько туг на ухо. За обедом подавали несколько блюд, но повар вероятно был не доучен. Одним словом, всё отличало излишнюю расчётливость бездетного хозяина, владевшего 9000 душ и большими капиталами. Хозяин, возвратившись, принял нас радушно и отвёл мне с помощниками пристанище в оранжерее, которая примыкала к дому. По его же совету, отдохнув несколько, мы решили ехать в Переяславль, где находился хор певчих полтавского архиерея Гедеоны, и рассчитали так, чтобы поспеть к обедне в воскресенье. Однако же ошиблись в расчёте и приехали в Переяславль в субботу вечером. Тамошний городничий, ожидавший чиновника по следственному делу, неоднократно пытался добиться до меня и старался узнать, кто я и зачем послан; но не успел в своём намерении; Яков по моему приказанию, отвечал только: «Не смею беспокоить их высокоблагородия». На другой день Палагин и Шеинов пошли к обедне, назвали себя купцами (охотниками церковного пения), заметили лучших малолетних певчих, узнали и записали имена их и даже присутствовали на завтраке у архиерея и ещё слышали его певчих. Я же, вставши

попозже, остался дома и начал пить чай; тогда позволил допустить к себе переяславского городничего. Он начал рекомендоваться с комически-жалкою миною, низко кланяясь, и ни за что не хотел сесть, хотя я очень о том упрашивал.

Когда я расчел, что прошло достаточно времени и что уже помощники мои смогли успеть в своём деле, я спросил у моего гостя, за кого он меня принимает и видя, что он ещё более приходил в замешательство, объявил ему наконец, кто я и зачем приехал. Радость выразилась на его лице; он сел и, принявшись за чай, уверял меня, что он готов содействовать мне, что он во вражде с Гедеоном и пр.; я поблагодарил его, объявляя, что вероятно дело уже сделано.

И действительно, мы так безжалостно обобрали хор, что Гедеонов долго после того на меня жаловался своим знакомым. Оставя набранных певчих, мы отправились в Киев, откуда вывезли Гулака-Артемовского; он был очень любим товарищами; когда он выезжал из Киева, они провожали его с плачем.

Забрав в Переяславле оставленных певчих, возвратились мы в Каченовку. Все набранные мальчики находились под присмотром дядьки Саранчина, упражнялись в пении с помощником учителя пения Палагиным, пели также с хором Тарновского и ходили к обедне, где также с другими пели. Мы потом ездили для набора певчих в Полтаву, Харьков и Ахтырку и привезли несколько малюток.

Хотя было набрано всеми нами 19 мальчиков и 2 больших (кроме Гулака, который не всё время был в Каченовке, а ездил к брату, с которым и приехал осенью в Петербург), несмотря на то, хозяин был искренно рад и, окончив набор, мы прогостили у него долго. Он очень был самолюбив, и мысль, что придворные певчие поют с его хором в его церкви, видимо, его радовала.



Несколько слов о жизни моей в Каченовке: Григорью Степановичу Тарновскому было лет под 50; он был смугл и сух, числился где-то на службе и состоял в звании камер-юнкера. Анна Дмитриевна, жена его, была женщина приземистая и весьма толстая, очень молчаливая; любила, чтоб девки растирали ей ноги. В доме жили и воспитывались племянницы хозяев, большею частию молодые, добрые и приветливые девушки, при них гувернантка, весьма милая особа; у домашнего доктора также была миловидная дочка. Из племянниц, самая меньшая, лет 14, Марья Степановна Задорожная, была очень миловидна; за обедом она обыкновенно сидела напротив меня и невольно её плутовские, несколько прищуренные глазки, встречались с моими глазами, за что ей нередко доставалось от её тётушки.

Во всё продолжение пребывания моего в Малороссии гостил в Каченовке талантливый наш художник, очень приятный молодой человек Штернберг.

Несмотря на расчётливость, хозяин принимал гостей радушно, старался по возможности разнообразить удовольствия.

Прогулки, поездки в близлежащие поместья хозяина, иллюминации и танцы, все эти средства были употребляемы для нашего развлечения. Когда приезжало несколько соседей, танцевали, сам Тарновский поощрял гостей собственным примером, в особенности в гросс-фатере, которого фигуры он выделял с необыкновенным усердием. Пели иногда малороссийские песни, хором на 4 голоса, а иногда сосед Тарновского, Пётр Скоропадский, затягивал какую-нибудь чумацкую песню, искусно подражая простолюдинам. Он был примечательный человек, и хотя хозяин наш называл его простым казаком, вероятно потому, что П. Скоропадский действительно в одежде и приёмах подражал простым казакам и не искал особенной дружбы с Тарновским, однако же в самом деле он воспитан был в московском университетском пансионе, был очень образован и доступен искусствам, разумел архитектуру, играл порядочно на кларнете и чувством понимал хорошую музыку.

В портфеле моём нашлись два №, приготовленные (не знаю когда) для «Руслана»:

Персидский хор, Ложится в поле мрак ночной и марш Черномора; обе эти пьесы слышал я в первый раз в Каченовке; они были хорошо исполнены; в марше Черномора колокольчики заменили мы рюмками, на которых чрезвычайно ловко играл Дмитрий Никитич Палагин.

Играли и очень недурно антракты «Эгмонта» Бетховена, № Clarchens Tod произвёл на меня глубокое впечатление; в конце я схватил себя за руку: мне показалось от перемежки движения волторн, что и у меня остановились пульсы.

Для Гулака-Артемовского я положил на оркестр элегию «Шуми, шуми», музыка Геништы. Гулак пел её хорошо; но выговор его несказанно жесток.

Сосед Тарновских, мой пансионский товарищ Н. А. Маркович, помог мне в балладе Финна: он сократил её и подделал столько стихов, сколько требовалось для округления пьесы.

Мне очень памятно время, когда писал я балладу Финна: было тепло, собрались вместе я, Штернберг и Маркович. Покамест я уписывал уже приготовленные стихи, Маркович грыз перо (не легко ему было в добавочных стихах подделываться под стихи Пушкина), а Штернберг усердно и весело работал своею кистью. Когда баллада была кончена, неоднократно я её пел с оркестром.

Малороссийский поэт Виктор Забелла иногда также гостил в Каченовке; две его малороссийские песни: «Гуде витер» и «Не щербечи, соловейку», я положил тогда же на музыку. Этот Забелла был необыкновенный мастер представлять в лицах; в особенности хорошо представлял слепцов. Первый скрипач Калиныч однажды был приведён от такового представления в столь сильный восторг, что воскликнул: «Это, мой сударь, волшебство, совершенный антик». Хозяин, который говорил таким же ломаным языком, как и первый скрипач его, был чрезвычайно аккуратен и все наши удовольствия и сюрпризы непременно оканчивались до полуночи и ранее, причём хозяин вежливо раскланивался и гости расходились.

Но не все предавались сну; у меня в оранжерее собирались Маркович, П. Скоропадский, Забелла и Штернберг. Появлялся Палагин со скрипкой, Яков с контрабасом и виолончелист; играли русские и малороссийские песни, представляли в лицах и беседовали дружески иногда до трёх или четырёх часов по полуночи, к некоторой досаде аккуратного хозяина.

Эти сцены были часто, и Штернберг удачно изобразил наши сходки, равно как ловко потрафил Забеллу...»²³

Завершая июльский, 1838 года, творческий отдых в Качановке, Глинка, совместно со Штернбергом и Маркевичем, написал благодарственный стих гостеприимным супругам Тарновским, оформил его музыкально и исполнил экспромтом перед хозяйками и собравшимися гостями на прощальном ужине, изобиловавшем шампанским и закусками. О стихотворении этом много-много лет спустя напомнил Михаил Владимирович Тарновский:

«Прекрасен, о хозяин милый,
Очарователен твой дом;
Какой живительною силой
Для нас исполнен твой приём;
Тебе с гармонией от чувства
Дает поэзия привет,
Благодарит тебя искусство
И яркий живописи свет.

Глянь, как радостны все лица.
Пусть кипит вино струей
В честь тебя и вас, девицы,
И хозяйки дорогой.

Нас чаровали ночи юга
Малороссийской теплотой,
Когда на зелени их луга
Под звук валторны, под гобой
Шампанское в бокалы лили,
Когда светлей, чем наши дни
Меж померанцами светили
Разнообразные огни...»

Прощаясь с владельцами Качановки и с их друзьями, Михаил Иванович не знал застольного украинского обычая принудить отбывающего гостя выпить, как минимум, одну чарку «на коня» и тем облегчить ему предстоящую путь-дорогу. Эту застольную украинскую традицию Глинка испытал в полной мере:

«... Я приказал сделать для набранных певчих приличную одежду и строить телеги крытые. Сам же ездил на ярмарку в Ромны, где едва не утонул в грязи; с трудом вытащили меня из густой грязной реки, образовавшейся на главной улице города, четыре сильные лошади Тарновского. Перед отъездом, в большой компании навестил приятеля Корбе, Марковича и уехав из Качановки, прогостил у Петра Скоропадского в Григоровке, где шло мне разнообразное угощение. Тарновский с племянницами, распростившись со мною в Качановке, ловко объехал и в нескольких верстах я опять нашёл его с племянницами в роще из огромных вековых дубов, где выпили прощальный бокал шампанского. В Григоровке Пётр Скоропадский угостил нас так радушно, что когда мы уехали, не осталось ни капли питей и ни одной домашней птицы».²³

Как Болдинская осень 1830 года была для Пушкина временем мощного творческого подъёма, давшим русской культуре поэтические шедевры своего гения, так Качановское лето 1838 года стало для Глинки порой его высокого композиторского взлёта, подарившим миру немало музыкальных прелестей, подтвердивших прежнюю пушкинскую оценку их творца:

«Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися Русь! Наш Глинка —
Уж не Глинка, а фарфор».

И если Александр Сергеевич в Болдино творил в полном одиночестве, то Михаилу Ивановичу в Качановке его музыкальному подъёму содействовала как сама атмосфера Качановки и благорасположенность её хозяев, так и круг новых и старых друзей композитора, достойных краткого упоминания.

Виктор Николаевич Забила

Активным соучастником «Качановского лета» Глинки был Виктор Николаевич Забила (он же Забелла или Забела, а с учётом гипотезы итальянских корней его — ещё и Забелло). Способность представлять в лицах, так поразившая Глинку, была дана ему природой ещё с детских лет; таких, как он, колоритных юмористов, его земляки именовали *штукарями*.

В Малороссийском родословнике Вадима Львовича Модзалевского родоначальником черниговского дворянского «рода Забелы» указан живший во второй половине шестнадцатого века Михаил Забела. Из двух его сыновей младший Константин (реестровый козак Борзненской сотни в середине семнадцатого века, Борзненский городской атаман) дал родовую ветвь, к которой принадлежал Виктор Николаевич Забела.

Далее в родовом ряду следует Тимофей Константинович Забела (как и отец, бывший — по информации 1712 года — Борзненским городовым атаманом). О Николае Тимофеевиче Забеле сведения в родословнике скудные (обозначен он значковым товарищем и наказным сотником, мужем дочери компанейского полковника Василия Чеснока). Их сын, Карп Николаевич Забела, родился в 1737 году, служил в Борзненской сотне, был бунчуковым товарищем, Борзненским уездным судьёй, в 1785 году, владел тремя сёлами Бозненского уезда, имел четыреста крепостных.

Его сын, Николай Карпович Забела, предположительно 1766 года рождения, был войсковым товарищем, в 1803 году — судьёй Борзненского нижнего земского суда; жена его, дочь Борзненского сотника Надежда Николаевна Рыба добавила к семейному состоянию сто родовых душ и четыреста десятин земли в Борзненском уезде (была грамотна, как указывает родословник).

Следующий по родословной линии — сын Виктор родился в 1808 году на хуторе Кукуриковщина Борзнянского уезда. Родитель его, по некоторым сведениям, однажды «не дошёл до дома с дружеской попойки» и тем осиротил трёх сыновей своих и дочь, ещё находившуюся в утробе матери, которая, уже как вдова, своими некрепкими силами вывела детей в жизнь.

Начальное образование Виктор Забила постигал в Нежинской гимназии высших наук, вместе с группой товарищей, верховодил в которой суперактивный сын бывшего директора гимназии, Нестор Кукольник. С одноклассником Николаем Гоголем у Виктора дружба, кажется, не образовалась — по причине взаимных литературных ревностей.

По завершении гимназического курса Виктор Забила отправился, в сентябре 1825 года, служить унтер-офицером в Киевский драгунский (с декабря 1826 года — гусарский) полк. Начав службу юнкером, он к лету 1828 года имел звание корнета; в составе полка участвовал в походе в Польшу, в пору подавления вспыхнувшего там восстания.

В 1832 году полк перевели в Москву, где Виктору Николаевичу крупно повезло — он сорвал куш в картах, который использовал для анонимного издательства своего первого небольшого произведения, посвященного нравам малороссийским (две повести «Иван Пидкова», «Семейство Кулябко»). Книжница была наполнена острым юмором, так что мама Гоголя, посчитав её делом пера сына, поздравила того с успехом, получив взамен гневный отзыв на изданный «вздор».

Личная жизнь Виктора Николаевича не задалась с первых намёков судьбы на её возможное устройство. На рождественские праздники 1833 года он выхлопотал себе



отпуск и по дороге домой заехал к своим дальним родственникам Белозерским, жившим на хуторе Матроновке. Здесь он познакомился со старшей дочерью хозяев, Любой, и со взаимностью в неё влюбился.

«Послушайте мою пісню, я вам заспіваю
Про гарную дівчиноньку, яку я кохаю.
Русая, круглолиця, очиці чорненькі,
Моторна, як на диво, роточок маленький,
Як квіточка хороша, як тополька статна,
І, як лебідь білесенький, вся собою знатна...
Губоньки — як те намисто, що добрим зветься,
Сонечко неначе зійде, коли засміється...»

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Роман двух юных сердец, получивший поначалу родительское благословение отца предполагавшейся невесты, был им же и сорван — выдал пан Белозерский свою дочь Любу за соседа, своего ровесника, невидного, но недавно получившего дворянское звание. Только и оставалось вышедшему в отставку (в чине поручика) Виктору Забеле излить свою горе в стихах и песнях «Віють вітри, віють буйні» (эту песню поют в «Наталке Полтавке» Ивана Котляревского) и «Не щибечи, соловейку», положенную на музыку Михаилом Ивановичем Глинкой (также написавшим музыку к стихотворению Виктора Забины «Гуде вітер вельми в полі...»).

Сам Забила играл на бандуре, сочинял музыку к своим стихам. Поэтическое наследие его небольшое — около сорока стихов и песен. В основном это романсы, мотивы которых навеяны как личным горем, так и украинскими народными песнями.

«Не щибечи, соловейко,
На зорі раненько,
Не щибечи, малюсенький,
Під вікном близенько».

Тяжело переживая потерю любимой девушки, Виктор Николаевич болел, внешне оскудел, обратился к наследственному увлечению виноделием, став известным мастером производства всевозможных настоек, потреблением которых основательно злоупотреблял. Именно в эту пору состоялась его встреча с Глинкой. (Позже, в 1843 году, он проводил время в Качановке с Шевченко.)

Владел Виктор Николаевич почтовой станцией в Борзне и, как пишет «Киевская старина»: «Дело это было для него совсем не подходящее и ведено им крайне небрежно и неисправно, так что зачастую проезжающие испытывали затруднения в лошадях на борзненской станции гораздо более, чем где бы то ни было. Но в подобных случаях всегда являлся на выручку хозяин. Весёлый, радушный, он сразу располагал к себе всякого и не редко бывали случаи, что проезжающий, накричавши сначала на станционного смотрителя, оставался потом на несколько дней гостем содержателя станции и затем расставался с ним, как с приятелем».⁴⁵

Под такое хозяйское гостеприимство, как пишет далее журнал, однажды попали два киевских студента, возвращавшиеся с каникул на учёбу. Отсутствие лошадей для дальнейшей поездки Виктор Николаевич компенсировал юным гостям длительным и обильным возлиянием у себя на хуторе.

В другой раз в тенета хлебосольства и малороссийского юмора Забины попал князь Иван Фёдорович Паскевич и, как оказалось, с удовольствием в них пребывал:

«Случай доставил В. Н. близкое знакомство с наместником Царства Польского князем Паскевичем, во время проезда его через Борзну. Князь, как известно, отли-

чался некоторою слабостью к землякам или, как выражается Кулиш, был мало-русский патриот «щодо анекдотів, пісень, борщу, вареників та інших українських ласощів» и потому неудивительно, что В. Н., этот чистокровный тип добродушного юмориста малоросса, так понравился ему, что князь прогостил у него целый день и пригласил его на службу к себе. Чувствовал ли себя В. Н. не в силах совладеть с своею слабостью или по другим причинам, но только он отказался от этого предложения. Тем не менее князь на прощанье просил В. Н. обращаться к нему во всех случаях, где возможна его помощь. Случай этот представился очень скоро, и князь действительно исполнил своё обещание. В Борзне умер бедный многосемейный чиновник, не оставив семье никаких средств к существованию. В. Н. принял живейшее участие в судьбе осиротелого семейства, приютил у себя вдову с меньшими детьми, а двух старших сыновей отвёз в Варшаву и при содействии князя поместил их на казённый счёт в учебные заведения. Впоследствии ему удалось, также при содействии князя, выхлопотать пенсию для вдовы чиновника и таким образом судьба целого семейства была обеспечена.

По характеру В. Н. был очень добродушный, незлобивый и спокойный человек. Любил он нередко подшутить, сосричь, изобразить кого, подметив комическую сторону, рассказав о ком забавный анекдот, но всё это делалось с таким добродушием, что никто на него не обижался, даже и в том случае, когда он высказывался иногда как бы с выражением некоторого неудовольствия, позволяя себе иногда действительно резкие замечания. Он недолго любил бывшего тогда в большом ходу употребления в разговоре французских фраз или слов и в этих случаях почти никогда не оставлял без остроты или «прикладки», часто очень забавной, не лишённой остроумия, а иногда и резкой, вроде того напр., что какая-либо барышня скажет «терсі», а В. Н. на это: «мабуть у неї дома не всі», или что-нибудь в этом роде. Единственный человек, которого действительно не любил В. Н. — это был П. А. Кулиш. В этом случае, впрочем, имело значение авторское самолюбие, как известно, самое щекотливое из всех». ⁵³

В мае 1861 года через Борзну проходила траурная процессия, перевозившая останки Тараса Шевченко к месту его последнего упокоения. Виктор Забила участвовал в ней, отдал немало своего домашнего скарба на печальную церемонию, сам обратился фактически в полунищего и в таком социальном статусе скончался 7 ноября 1869 года.

Василий Иванович Штернберг

Коренной петербуржец (1818 года рождения, сын горного инженера), приятель и соученик Шевченко по Академии художеств, Василий Штернберг был «стипендиатом» Григория Тарновского, с которым познакомился во время нахождения того в столице. Путь художника он начал вольным, а затем казённокоштным слушателем Академии художеств, зарекомендовав себя как мастер пейзажа, портрета и жанровой живописи.

Летние каникулы проводил преимущественно у своего благодетеля, в Качановке. Пребывая здесь в 1837 году, он влюбился в проживавшую там на дядюшкиных хлебах его племянницу Эмилию Васильевну и два сезона безуспешно ухаживал за нею.

В автобиографической повести Шевченко «Художник» описаны любовные страдания его друга Васи, коего он ласкательно именовал Вилей: «Он однажды возвратился от Тарновских совершенно не похож на себя... Долго молча ходил он по комнате, наконец лёг в постель, встал и опять лёг... Слышу — он во сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал догадываться, в чём дело. На другой день Виля мой опять отправился к Тарновским и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал на диван и,



закрыв лицо руками, рыдал, как ребёнок. Так прошло по крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошёл ко мне, обнял, поцеловал и горько улыбнулся; сел около меня и рассказал мне историю любви своей. История самая обыкновенная. Он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та, хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого-то лысого доктора Бурцова».⁵⁰

За три вакации, проведённые в Качановке, написал Василий Штернберг, по заказу Тарновского, несколько видов усадьбы, киевских городских пейзажей, в том числе «Малороссийский шинок», «Игра в жмурки в усадьбе Г.С. Тарновского», «Мельница в степи», «В Качановке», «Освящение пасох в малороссийской деревне», «Выдубицкий монастырь близ Киева», «Вид Киева» и «М.И. Глинка в имении Г.С. Перовского за сочинением оперы Руслан и Людмила».



За исполненную в 1837 году акварель: «Ярмарка в местечке Ичне», приобретенную императором Николаем I для альбома супруги, Академия наградила Штернберга малой золотой медалью, а в следующем году, за картину «Освящение пасок в Малороссии» (была также куплена государем для подарка великой княгине Марии Николаевне), он получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса.

В Качановке у Штернберга была своя комната-мастерская: «Прямо из столовой библиотека и бильярдная; из нее налево коридорчик и вход в комнату, носящую название «фонарика», названную так благодаря стрельчатым цветным окнам... Художник проводил каждое лето здесь, у своего друга Григ. Степ., и большая часть его картин написана в этой мастерской...»⁵⁰

Об украинском периоде творчества Василия Штернберга упоминает в своей работе, посвященной Михаилу Ивановичу Глинке, критик Владимир Васильевич Стасов:

*«Несколько времени Глинка прогостил тогда у одного богатого малороссийского помещика Григория Степановича Тарновского, большого любителя музыки. У него был свой оркестр, и посреди многочисленных обедов, балов, иллюминаций, затейливых прогулок, которыми радушный хозяин старался доставить удовольствие гостившим у него приятелям и знакомым (в числе которых находился знаменитый наш художник Штернберг, набросавший именно в это время лучшие свои произведения, юмористические сцены малороссийской жизни)».*⁵⁴

В 1840 году Василий Штернберг путешествовал до Оренбурга в экспедиции графа Перовского, а затем отправился пенсионером академии в Италию. Поселившись в Риме, он продолжал усердно трудиться, хотя чувствовал себя чужим среди итальянских людей и природы. Его тянуло на родину, к знакомым и любимым сюжетам. Но судьба не дала ему вернуться в Россию: он умер в Риме, во цвете лет, на полпути к вершине своего замечательного таланта.

Николай Андреевич Маркевич (Маркович)

Что касается Николая Маркевича (или Марковича), то его старинный, широко разветвленный дворянский род скрупулёзно выписан в «Малороссийском родословнике» Модзалевского (выкопировка из которого приведена). В пору общения с Глинкой проживал Николай Андреевич по соседству с Тарновским, в родительском имении Туровка, где имел дом (наверху которого дрожала от ветра «эолова арфа»). Маркевич — давний друг Глинки, они вместе учились в Петербургском благородном пансионе при Педагогическом институте, где одним из воспитателей был «Кюхля» — поэт и будущий декабрист Вильгельм Кюхельбекер.



97. Николай Андреевич, род. 26 янв. 1801 г. в Туровѣ (с. Дунайцѣ); воспитанникъ владѣльцѣ с. Подолскѣ Иванѣ Андреевичѣ Марковичѣ (№ 39); съ 1817 г. воспитывался въ Благородномъ пансіонѣ при С.-Петербургскомъ Университетѣ; 18 іюня 1831 г. — въ службѣ юнкеромъ Курляндскаго драгунскаго п.; 22 апр. 1832 г. — прапорщикъ; 4 янв. 1834 г. — поручикъ при отставкѣ. — По раздѣлу помѣній отъ (1832) получилъ: Придужск. у. въ с. Туровѣ и хут. Жадьковѣ — м. п. 392 дупи, 1,107 кв. земли въ Туровѣ, въ томъ числѣ двѣ въ урочищѣ Судольскахъ, земли въ хут. Жадьковѣ, с. Вороновѣ, Борзельск. у. земли въ м. Ичлѣ и острова на р. Череводѣ; въ 1812 г. за вымы: въ с. Туровѣ (321), хут. Жадьковѣ (19), дер. Вороновѣ (23), с. Гмирилѣ (37), всего 390 м. п. дупи; жена въ с. Туровѣ, рѣкѣ и ѳ 9 іюн. 1830 г. и погребена съ женой; авторъ „Исторіи Малороссіи“ (М. 1842—43).
. Ж. (съ 26 янв. 1830 г.) Ульяна Александровна Рачовичъ, † 1893 и погребена въ Туровѣ; дочь коллежскаго секретаря.

Ждала Николая Маркевича военная карьера, однако неожиданно для друзей и родных (в 1824 году) он, только двадцатилетний, вышел в отставку и поселился в родной Туровке. Здесь он занялся научной и литературной деятельностью (как поэт Николай Маркевич дебютировал еще в шестнадцатилетнем возрасте: его первое стихотворение напечатал Василий Жуковский).

Среди трех поэтических сборников Николая Андреевича наиболее известен третий — «Украинские мелодии» (1831 года издания), который произвел впечатление на молодого Шевченко, стихотворно поприветствовавшего земляка в его именной (1841 года) день:

«Бандуристе, орле сизий,
Добре тобі, брате,
Маєш крила, маєш силу,
Є коли літати».

Но главное в творческом наследии «туровского затворника» — это, конечно, его «История Малороссии» в пяти томах (изданная в Москве в 1842–1843 годах: «Малороссия... есть одна из прекраснейших стран Европы (по сознанию всех путешественников и естествоиспытателей, ее посещавших), — написал на первых страницах «Истории...» ее вдохновенный автор, — ... Знаменитый Линней предполагал ее колыбелью народов после потопа».

Этот труд Николая Андреевича был неоднозначно встречен читающей публикой и подвергся критической атаке из различных её лагерей, в том числе русофилов и украинофилов. Об одном из таких выпадов записал в своём дневнике Александр Васильевич Никитенко:

«12 январь 1844 года

Киевский генерал-губернатор Бибииков прислал к министру внутренних дел жалобу на цензуру, или, вернее, на «Библиотеку для чтения», за статьи, помещенные там в прошлом году об истории Малороссии Марковича. «Библиотека для чтения» обвиняется в явном пристрастии к Польше, в неблагоприятных отзывах о России и Малороссии, в оскорблении малороссийской национальности словами, что «народ ее составился из беглых польских холопей», в ругательном тоне вообще и, наконец, в самом пагубном антинациональном направлении. Эту жалобу Перовский препроводил к нашему министру; а тот сделал легкий выговор цензорам Корсакову и Фрейгангу».²¹

В Санкт-Петербурге, в Пушкинском Доме, хранится рукопись — дневник Николая Маркевича, который охватывает несколько десятилетий его жизни, — реликт, вне

всяких сомнений, бесценный! Вот, к примеру, одна из авторских записей поры дружеского времяпрепровождения в Качановке: *«Шеин, Паладин, контрабас и Михайла дядько; Смоленские рожки... Виктор Ник. Забелла, Марья Степ., после Кржисевич, ... Глинка, Его музыка. Глинка журавль. Глинка любитесь индюками... Махмуд (собака) и Глинка... Импровизации; Штернберг или Штеренбенко; наши портреты, вакханалия в правом флигеле; обеды, ужины и чай в саду...»*.

Часть вторая. Тарновский, Шевченко и другие

С Шевченко Григория Степановича Тарновского познакомил Василий Штернберг — в 1839 году, в Петербурге, куда, в осенне-зимние сезоны, он, богатый малороссийский помещик, выезжал с домочадцами и с колоссальными запасами съестного и спиртного. Ему, весной 1842 года, отправил Тарас Григорьевич три экземпляра поэмы «Гайдамаки» с просьбой передать два из них Николаю Андреевичу Маркевичу и Виктору Николаевичу Забиле. В сопроводительном письме написал о трудном прохождении «Гайдамаков» сквозь цензурные заслоны: *«...было мне с ними горе, насилу выпустил цензурный, возмутительно да и кончено, насилу кое-как я их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились»*.

Просил также Шевченко ряд экземпляров «по реестру» передать Ивану Михайловичу Корбе, своему петербургскому приятелю, уроженцу Полтавщины, владельцу имения Вейсбаховка в Прилукском уезде — отставному *«бедному и бесталанному генералу»*.

В январском, 1843 года, письме Григорию Степановичу сообщил Тарас Григорьевич об академической художественной выставке, об успехе поставленной на сцене Большого театра оперы Глинки «Руслан и Людмила», в которой главную партию исполнял бас-баритон Семён Степанович Гулак-Артемовский (племянник писателя Петра Петровича Гулак-Артемовского). В этом же письме передал Шевченко привет Тарновскому от только вернувшегося из Италии Василия Ивановича Григоровича (уроженца Пирятина, конференц-секретаря и профессора Академии искусств), от Карла Павловича Брюллова и Василия Ивановича Штернберга.

Сообщил также Шевченко в этом письме о намерении посетить Украину в этом году, о том, что исполнил две картины, одну из которых — «Катерину» — намеревается послать Тарновскому (другую уже приобрёл Иван Никитич Скобелев, родоначальник военной династии Скобелевых, отставной, потерявший руку в Польской кампании 1831 года генерал, в рассматриваемое время — комендант Петропавловской крепости). По одной из версий, Тарновский купил у Шевченко указанное полотно, которым положил начало знаменитой шевченковской коллекции Тарновских.

В мае 1843 года, по выписанному Григоровичем увольнению в отпуск (*«...и билет на проезд в Малороссийские губернии и на беспрепятственное, где нужно будет житьельство»*) выехал ученик Академии Шевченко в родные края и, проехав по Белорусскому тракту — в сопровождении Евгения Павловича Гребёнки и его сестры Людмилы — до Чернигова и Нежина, в конце мая прибыл в Качановку, к Тарновскому. Здесь он погостил несколько дней, побывал в соседнем селе Дегтярях (имении Павла Григорьевича Галагана), где слушал игру талантливого крепостного музыканта Артёма Наруги, ставшего прототипом виолончелиста Тараса в будущей шевченковской повести «Музыкант».

В этот приезд в Качановку Шевченко, получив от её владельца заказ на копию портрета князя Николая Григорьевича Репнина-Волконского, отправился в имение последнего, Яготин, соседствовавшее с имением Тарновского. Копия была скоро снята и в конце января того же года доставлена заказчику.

Глубоко распутной личностью был владелец Качановки, составивший свой гарем не только их девушек-крепостных, но даже родственников-сирот, каковой была его

племянница Мария Степановна Задорожня (в замужестве Кржисевич). В шестнадцать лет родила она от дядюшки ребёнка. О ней Шевченко сделал запись в своём дневнике 6 мая 1848 года: «...зашли к землячке М. С. Кржисевич, и она нас встретила резвая, веселая, молодая, как и десять лет назад. Чудная женщина, ее и горе не берет. А горя у нее немало». Её, внешне прелестную, отобразил в рисунке карандашом художник Шевченко в 1858 году.

В эту же пору в Яготине Шевченко познакомился с Петром Дмитриевичем Селецким (годы жизни: 1821 — 1880), сыном помещика из села Милютинцы Пирятинского уезда. Недоучившийся студент Петербургского училища, он затем образовывался в Киевском университете (по юридическому факультету) и вновь без конечного результата, так как в 1839 году, после посещения Киева императором Николаем I, университет был временно закрыт по случаю выявленного в нём бунтарства польских студиязов. Завершил образование Дмитрий Селецкий в Харьковском университете. Далее, в звании адъюнкт-профессора, преподавал юриспруденцию в одесском Ришельевском лицее, но вскоре вышел в отставку и отправился за границу вновь учиться, теперь музыке, и, кажется, в этом несколько преуспел.

В Германии Селецкий был на короткой ноге с Листом, Вагнером, Мендельсоном, Шубертом, брал у них уроки, здесь он представил публике собственную симфонию. В Яготине он вместе с Шевченко чуть было не засел за написание оперы, посвящённой гетману Мазепе, но разошлись несостоявшиеся соавторы в исторической оценке главного персонажа задуманного сочинения.

Вернувшегося из Германии Петра Дмитриевича родители определили на службу в киевское генерал-губернаторство, где он возвысился и позже, будучи (с 1858 по 1866 год) киевским вице-губернатором, организовывал тайный надзор за приехавшим в город Шевченко. Исходя из последнего факта, тем более интересна оценка, данная поэту будущим высокопоставленным бюрократам по итогу его общения с ним в Яготине:

«Проживал временно в Яготине в одном из многочисленных флигелей Шевченко, живописец по профессии и поэт по призванию. Среднего роста, широкоплечий, крепкого и здорового телосложения, рябой, с мутными карими, неглупыми глазами, угловатый, неуклюжий, нечёсанный, невытый, более чем небрежно одетый — вот наружность Тараса Шевченко, далеко не изящная. Как живописец он мало известен: рисовал довольно посредственно; как поэт был замечателен чистотой малороссийского языка, плавным, мерным стихом, звучными строфами, задушевным чувством, мягкой сердечностью; его Кобзарь, в особенности его Катерина, может считаться одним из лучших произведений в этом роде. Но в Гайдамаках Шевченко недоставало священного огня, проявления страсти, широкой кисти, увлекательного действия, характеризующих историческую драму...»

Уроженец Киевской губернии, Шевченко принадлежал к семейству крепостных крестьян помещика Э. В былое время помещики отправляли крепостных мальчиков в Петербург для изучения какого-нибудь ремесла. На долю Шевченко выпало малярное искусство; мальчик вскоре оказал такие успехи, что его определили в академию художеств. И живопись сделалась его основным занятием. Он рисовал портреты. Какой-то генерал заказал ему свой портрет за сто рублей ассигнациями. Портрет, нарисованный Шевченко, не понравился заказчику; генерал предлагал, впрочем, взять портрет за половину цены. Шевченко обиделся и не согласился; заменив мундир и эполеты белой рубахой, он сделал из портрета генерала вывеску цирюльника. Генерал, проезжая однажды мимо цирюльни, увидел себя на вывеске и пришёл в сильное негодование. Помещик Э. случился в это время в Петербурге; генерал просил продать его Шевченку, предлагая две тысячи рублей. Э. согласился. Шевченко писал уже стихи и был несколько известен Жуковскому. Видя неминуемую беду, Шевченко обратился к знаменитому поэту. Жуковский доложил императрице о горькой участи Шевченки. Э-ду заплатили требуемый выкуп и, по милости государыни, Шевченко был освобождён от крепостной зависимости.

*Выкуп был сделан посредством розыгрыша в лотерею портрета Жуковского, написанного по этому случаю Брюлловым; нет надобности упоминать, что императрица взяла все билеты».*⁵⁵

Только вернувшийся из-за рубежа, ощущая себя великим музыкальным докой, Пётр Дмитриевич Селецкий невольно стал музыкальным критиком уездного масштаба, начав свои оценки с оркестра Петра Григорьевича Галагана (дяди Григория Павловича Галагана), одновременно получив от того негативные отзывы о соседе Тарновском:

«Разговорились мы как-то с Петром Григорьевичем о музыке и об окрестных оркестрах. Я назвал Тарновского, Григория Степановича.

*Его оркестр, сказал мне Пётр Григорьевич, гораздо хуже моего, инструменты плохие, капельмейстер свой крепостной, да и сам Григорий Степанович ничего не смыслит в музыке, не знает ни одного иностранного языка, ничему не учился. Ездил именно Тарновский за границу лечиться, ни с кем не мог объясняться, и вообразите, претендует, что его везде принимали за турка; где ему дураку быть турком. Насмешил меня Пётр Григорьевич своей антипатией к Тарновскому. Оказалось, что соперничали во всём, но Галаган стоял несравненно выше своего соседа, с которым мне суждено было вскоре познакомиться».*⁵⁵

Предварительно подготовленный, юный зоил Селецкий при последовавшей встрече с Григорием Степановичем Тарновским разгромил его критически, что называется, в пух и прах, и излитую на него порцию сарказма представил в своих «Записках» (в 1884 году опубликованных в «Киевской Старине»):

«На перепутье к нам заезжали также многие, в том числе и Григорий Степанович Тарновский с супругой Анной Дмитриевной, рождённой Алексеевой, внучатой сестрой моего отца, и с племянницей Анны Дмитриевны, девицей Троциной.

Григорий Степанович, человек уже очень пожилых лет, но бодрый, сухой, высокий, с огромным ястребиным носом и маленькими глазами. Был типом мещанина. Толстая золотая цепочка для часов, спускавшаяся с шеи по жилету, бриллиантовые запонки, кольца с драгоценными камнями были принадлежностями его повседневного туалета. Высокопарная речь, по большей части бессмысленная, сознание своего достоинства, в существе заключавшегося только в богатстве и звании камер-юнкера, приобретённом в 60 лет небольшими пожертвованиями, но сытными обедами в Петербурге, посягательство на остроумие, состоявшее в предложении к разрешению общеизвестных и избитых загадок и шарад, претензии на меценатство, ограничившееся приглашением двух, трёх артистов на лето к себе в деревню, где им бывало не всегда удобно и приятно, скупость, доходившая скряжничества, при желани блеснуть и поразить роскошью. Вот характеристические черты характера Григория Степановича.

Анна Дмитриевна была толстая, неуклюжая, молчаливая, но добрая и в высшей степени благородная женщина. Особым умом она также не отличалась, недостаток этот впрочем пополнялся обходительностью, благодушием и отсутствием всяких претензий.

Старики Тарновские жили постоянно как голубки, детей у них не было. Они принимали в дом, как дочь, родную племянницу и крестницу Анны Дмитриевны, Анну Елисеевну Троцину. Григорий Степанович давно передал Анне Дмитриевне по купчей крепости четыре тысячи душ лучшего состояния, у Анны Дмитриевны было также порядочное имение и множество бриллиантов; всё это предназначалось Анне Елисеевне. Анна Елисеевна была не хороша собою, но слыла не глупой, скромной и доброй девушкой, получила порядочное домашнее образование, такое, какое могут дать богатые люди за деньги, не приложив к тому ни надлежащего личного надзора, ни необходимого руководства и направления.

Достаточно было лёгкого намёка моего отца, что Анна Елисеевна превосходная партия и что не мешало бы мне заслужить её внимание, дабы оттолкнуть меня от этой девицы и её родных.

С Анной Дмитриевной я был ещё довольно любезен по родству и по неисчерпаемому её добродушию; с Анной Елисеевной говорил очень мало, а Григорий Степанович до того действовал мне на нервы, что я с трудом мог его переносить. У себя я был очень вежлив и ни в чём ему не противоречил, но что было отложено из уважения к гостю, то с избытком вознаграждено в Мосеевке, куда отправились мы вместе 11 января.

Началось с литературы. Тарновский, как попугай, заучил несколько фраз. Когда-то и от кого-то слышанных, но совершенно превратно толковал их смысл; я, конечно, не оставил его без возражений. Перешли к музыке: Григорий Степанович пожалел, что я, посетив Галагана, не приехал к нему послушать его оркестр; я извинился недостатком времени. Зашла речь об итальянской музыке, потом о немецкой: тут Тарновский понёс такую дичь, что я помирал со смеху и рассмешил своими замечаниями многочисленный кружок, собравшийся около нас. Наконец Тарновский перешёл к русской музыке, считая себя на твёрдой почве, по близкому знакомству с Глинкой, гостившим у него в деревне в течение целого лета. И говорить нечего, что Тарновский считал Глинку непогрешимым авторитетом в деле музыки и гениальным композитором. Отдавая полную справедливость таланту Глинки, я находил много недостатков в его «Жизни за Царя» и имел неосторожность сказать, что произведение это, изобилуя многими превосходными местами, глубокой учёностью и несколькими певучими мелодиями, в общем, представляет что-то непоследовательное, несвязное, неоконченное, что опера лишена драматизма, монотонна и скучна.



Негодование Григория Степановича не было конца, но оно дошло до крайних пределов, когда на объяснение его, как сочинял Глинка писания к ним стихов, я возразил, что в том и состоит отчасти ошибка Глинки, так как никто не пишет опер, подбирая стихи под музыку, а обыкновенно пишут музыку к либретто и способ композиции, избранный Глинкою, подтверждает сказанное мною о недостатках «Жизни за Царя».

Кончилось тем, что мы расстались не совсем дружелюбно: Григорий Степанович не вступал более в разговор со мною, но счёл своею обязанностью пожаловаться на меня моей матушке. Матушка, желавшая, чтобы все любили меня, была этим огорчена и просила не раздражать Григория Степановича и обходиться с ним, так и со всеми как можно любезнее».⁵⁵

О Григории Степановиче Тарновском, уже подбиравшемся к устью дней своих, о его семействе написал в своей мемуарной книге «Воспоминания из прошлого» художник Лев Михайлович Жемчужников, брат сотворителей образа Козьмы Пруткова — Алексея, Александра, Владимира и примкнувшего к ним их двоюродного брата Алексея Константиновича Толстого. О Льве Жемчужникове много доброго и тёплого писал Пантелеймон Кулиш: «Уже несколько лет знаком я в Малороссии с молодым русским художником Л. М. Жемчужниковым. Он проводит у нас на юге сплошь лето и зиму, изучая нашу природу и нашу жизнь во всех их проявлениях. Не довольствуясь тем, что видит глаз, он изучает нравственный образ малороссийского народа в произведениях его духа. Он убежден, что малороссиянина не поймешь, не зная языка его и не ознакомясь на месте с его настоящим и прошедшим... Этнография южно-русская имеет в нем несравненного деятеля».

Весной 1853 года Лев Михайлович в компании с художником-пейзажистом Львом Феликсовичем Лагорио отправились «на пленэр» в Малороссию.

Навестив Лизогубов, Галаганов, погостили друзья-художники пару дней в Качановке, у хлебосольного Григория Степановича, несколько удивившего их своими, видимо, уже возрастными, чудачествами: «Гр. Ст. был оригинал по манерам, одежде, с музыкальным сумбуром в голове и с таким же представлением о живописи». Одет он

был «в короткую курточку со множеством пуговиц, на которых висел кисет с табаком и трубка в бисере и янтаре, на голове была бисерная ярмулка».

Во время утреннего чая, по команде хозяина, вдруг заиграл его оркестр, в кустах укрывшийся, исполнивший увертюры из «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы».

«Мы приятно проводили время, когда у меня Глинка писал своего «Руслана», — хвастался Тарновский. — Знаете, хм... каждый день Глинка писал и был удовлетворен моим оркестром. Если вы любите Бетховена, то мы сейчас сыграем вам Бетховена. Хм... — он подзывал пальцем первую скрипку, — это талант — Глинка его очень ценит; хм... хорошо понимает и любит музыку... хм... прикажи сыграть Бетховена, ну, знаешь, симфонию Третью, Героическую, с маршем.

Оркестр играл хорошо. Игнали еще и еще, но после тяжелого сна с кошмаром музыка казалась утомительной и неприятной.

— Хм... вот это место вставил я... Он посмотрел на нас, мы — на него.

— Хм... да... мы и Бетховена подправляем».⁴⁴

За обедом Григорий Степанович опять «угощал» гостей музыкой. Только теперь уже играли не Бетховена, а «пьесу», написанную самим Тарновским. Оркестр, который состоял из сорока крепостных музыкантов, разыгрывал историю Украины! Автор комментировал: «Хм... это поход Хмельницкого... битва под Желтыми Водами... это хм... слушайте, битва под Корсунем; теперь бой под Белой Церковью... а это договор Хмельницкого под Зборовом».

Резюме Льва Михайловича Жемчужникова по итогам пребывания в Качановке совпадает во многом с ранее данной оценкой Михаила Ивановича Глинки: «... при всем том я неохотно рассказываю о его смешных сторонах, потому что он был добр и имел значительные преимущества, хотя бы то, что у него жили и пользовались его гостеприимством такие известные таланты, как Глинка, Шевченко, Штернберг, Николай Андреевич Маркевич».²³

Умерли Григорий Степанович и его жена в один день 1853 года и были похоронены на кладбище возле церкви, в которой пятнадцатью годами ранее слушали хор певчих под управлением Михаила Глинки. Спустя тринадцать лет, когда Василий Васильевич Тарновский-младший будет хоронить своего отца, он извлечёт из могилы останки Григория Степановича и Анны Дмитриевны, и их гробы, оббитые малиновым бархатом, поставит в нишах склепа, слева и справа от гроба Тарновского-старшего.

Готовясь ко встрече с вечностью, Григорий Степанович написал несколько проектов завещания. Какое-то время было у него намерение завещать доходы от принадлежащего ему имущества на учреждение и содержание на вечные времена медицинского факультета Киевского университета. По другими данным предполагал он открыть (очевидно, в Киеве) кадетский корпус имени Григория Тарновского. Проекты эти не были реализованы. В конечном счете, Качановка, как и другое имущество покойного, перешла в собственность Василия Васильевича Тарновского-старшего — внука дяди Григория Степановича, Василия Яковлевича Тарновского.

Часть третья. Василий Васильевич Тарновский-старший

Василий Васильевич Тарновский-старший, один из деятельнейших тружеников по крестьянскому делу, член черниговской земской управы, писатель, родился 14 июня 1810 года в слободе Рудовке Пирятинского уезда Черниговской губернии. Его отец, также Василий Васильевич — 1783 года рождения — воспитывался в Первом кадетском корпусе; служил подпоручиком в Свите Его Величества по квартирмейстерской части; с 11 сентября 1805 года — поручик при отставке, помещик Пирятинского уезда. Был женат на Анне Федосиевне Александрович.

Их сын, Василий, образовывался в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко, был соучеником Николая Гоголя-Яновского, Виктора Забины. По окончании гимназии в 1826 году, он поступил на юридический факультет Московского университета, из которого вышел со степенью кандидата и, по желанию родителей, начал службу в Петербурге по контрольному ведомству, хотя его влекло к ученой деятельности. Климат столицы оказался вредным для его здоровья, и он вскоре уехал в Житомир, где поступил преподавателем русской истории в местную гимназию. Тогда эта мужская гимназия, называлась «Волынской» и с её открытием, случившимся в первых числах января 1833 года, в ней начал работать Василий Тарновский.

Некоторые детали его житомирского периода жизни известны из сохранившейся части писем к нему Гоголя, первое из которых — от 2 октября 1833 года:

«...Как бы то ни было, только я обрадовался письму чертовски запоздалому. Я был очень сердит на тебя, что ты вдруг заглох и не дал об себе никакой вести. Потом сердце моё прошло. Я сел писать тебе, не смотря на два года антракта. Осведомился о твоём жительстве у дядюшки твоего... Дядюшка объявил, что совершил-де какой-то странный карьер и находится, не смотря на древность фамилии, «учителем в волынской, или литовской, или гродненской губернии»...

Наши одноклассники все, слава Богу, здоровы. Прокопович Николай женился на молоденькой, едва только выпущенной актрисе. ... Кукольник наваял дюжину трагедий. Романович не добыл ума на копейку, и часто, идя на должность из Литейной на Гагаринскую, забегают по дороге ко мне на Малую Морскую. Данилевский опять здесь, только служит не в военной, а в министерстве внутренних дел...

Что, как твоё здоровье? Как с... ты, вкрут или всмятку, и регулярно или нерегулярно? Также насчёт поясицы и прочих почечуиностей. Каково идёт ваша житомирская гимназия?»⁵⁶

Поминаемый в письме Николай Яковлевич Прокопович, гимназический друг Гоголя и Тарновского, на время написания письма преподавал русскую словесность в столичных кадетских корпусах. (Позже, в 1842 году, Гоголь поручил ему издание своих сочинений. Из-за неопытности Прокоповича в издательских делах и мошенничества типографии издание обошлось непомерно дорого; на этой почве между друзьями произошло охлаждение.)

Другой гимназический собрат Гоголя и Тарновского, Василий Игнатьевич Любич-Романович, прежде Нежинской гимназии высших наук обучался в Полоцком иезуитском колледже. Рано проявившуюся страсть к стихосложению он реализовал в 1829 году литературным дебютом в «Русском вестнике» — публикацией «Сказания о Богдане Хмельницком» (будучи в это время служащим департамента юстиции).

Ещё один «одноклассник» — Александр Семёнович Данилевский, 1809 года рождения, четыре года отучился в Полтавской гимназии, после чего отчим с матерью перевели его в Нежинскую гимназию высших наук. По её окончании, в 1828 году, он вместе с Гоголем выехал в Петербург, поступил в школу прапорщиков, но бросил её и уехал к матери на Кавказ (там служил отчим). В 1833 году вернулся в столицу, поступил на службу в канцелярию министерства внутренних дел. (Позже, в 1836 году, он сопровождал Гоголя в заграничной поездке. Вернувшись на родину, служил инспектором в Первой киевской гимназии, был директором училищ полтавской губернии и Полтавской гимназии. Выйдя в отставку, Данилевский, вплоть до кончины, наступившей в 1888 году, жил безвыездно в своём имении Анненском.)

Следующее (сохранившееся), не лишённое докторальности письмо Гоголя к Тарновскому, отправленное из Петербурга в Житомир 7 августа 1834 года, написано обстоятельно и, в сравнении с прежним, более округло. Видимо, в это время Василий Васильевич серьёзно вознамерился оставить Житомир, и Николай Васильевич, узнав

о намерении друга, попытался составить ему протекцию в недавно открывшийся (на базе Кременецкого лицея) Киевский университет.

«Что, видел ли ты Редькина? Он поехал на месяц поблизиться с батюшкою и потом должен опять возвратиться сюда. Он говорил, что если ты будешь дома, то заедет к тебе в Антоновку; если же ты будешь в Житомире, то по краткости времени не может заглянуть к тебе туда. Ну, каково живут дела твои? Как ты проводишь дома время каникул? ... Что дядюшка Гриша Степанович? ... Бываешь ли ты часто в Киеве? Ведь тебе, кажется, через него лежит дорога домой. Я слышал, что Белоусова дела довольно поправились, я этому очень рад. Да, пожалуйста, скажи, если будешь в Киеве, Максимовичу, который там профессор словесности, что я просто приеду и поколочу его на все боки. Что в самом деле за дрянь такая! Вот ровно месяц, если не больше, как я от него ни строки не получаю. По крайней мере из Киева он мне ни двух запятых до сих пор не написал, и я не знаю, что с ним, мерзавцем, делается. Ты скажи ему, что я велел ему особенно полюбить тебя и стараться перевести тебя в Киев, хотя адъюнктом, потому что киснуть тебе в литовском городе не годится. Что, как твоё здоровье? ... Каково идет ваша житомирская гимназия? Часто ли посещает вас пресловутый ваш Брадке? Ну, какой сволочи набрали в ваш киевский университет! Мне даже жаль бедного Максимовича, что он попался между них. Можно ли это? Новый университет! тут бы нужно стараться, пользуясь этою выгодою, набрать новых профессоров, а вместо этого набрали старой плесени из глупого кременецкого лицея. Я сам было думал в киевский университет, да, к счастью, не сошелся с вашим Брадке, остался в здешнем, и лучше, потому что через четыре месяца получаю здесь экстраординарного профессора».⁵⁶

Ещё один «однокашник» эпистолярно общающихся друзей — Пётр Григорьевич Редкин после окончания Нежинской гимназии успешно отучился в отделении нравственных и политических наук Московского университета, далее стажировался в Дерптском университете. В Петербурге Гоголь встретился с ним как с чиновником Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Пребывая в этой должности, Редкин в отпускное время ездил на свою родину — в город Ромны Полтавской губернии. (Позже и до конца дней своих профессор Редкин преподавал в Московском университете, его благодарным слушателем был Константин Дмитриевич Ушинский.)

Егор Фёдорович Брадке, о котором столь непочтительно отзывается Гоголь, с 14 декабря 1832 года был назначен попечителем Киевского учебного округа и, пребывая в этой должности, содействовал переводу Кременецкого лицея в Киев и созданию, 14 июля 1834 года, на его основе университета. С ним Николаю Васильевичу не удалось договориться о своём преподавательстве в только открывшемся университете. Но, киевскому афронту вопреки, продолжил хлопотать Николай Васильевич о переводе в университет Святого Владимира Василия Тарновского, отговаривая того (в сентябрьском письме 1834 года) от, кажется, тем задуманного перехода преподавателем в Нежинскую гимназию:

«Что я не пишу аккуратно к тебе, это извинительно, потому что я ленив; но что ты не пишешь, то это вовсе непростительно тебе, потому что ты был всегда трудящимся человеком. Ну, как проживаешь? Да: что тебе за охота думать о перемещении в Нежин? Охота же возиться с этою дрянью, какова например Мазепич, Самойленко, Лопушевский, Урсо и прочие.

Мне кажется, нет лучше тебе места, как в Киеве. Если хочешь, я напишу об тебе Максимовичу; но если до того времени увидишься с ним, то скажи ему только, что ты мой товарищ. Мы с ним большие друзья и он для тебя, верно, с большою готовностью будет стараться... А что, как твоя женитьба? А я собираюсь крестить маленького крикуна-козленка, который имеет от тебя быть. Пожалуйста,

*уведоми меня, когда будут крестины. Как идет ваша административная, ученая часть? Что говорят об университете, о профессорах, о попечителе и о прочем? Я познакомился здесь с твоим дядюшкой».*⁵⁶

Профессор Михаил Александрович Максимович, о котором пишет Гоголь, в октябре 1834 года был назначен ректором университета. К нему, возвысившемуся другу, обратился из Петербурга (письмом от 22 января 1835 года) Николай Васильевич с просьбой принять в университет Василия Тарновского, коему писатель даёт прекрасную аттестацию:

*«Есть некто мой соученик, чрезвычайно добрый малый и преданный науке. Он, имея довольно хорошее состояние, решился на странное дело: захотел быть учителем Житомирской гимназии из одной только страсти к истории. Фамилия его Тарновский. Нельзя ли его как-нибудь перетащить в университет? Право, мне жаль, если он закиснет в Житомире. Он был после и в Московском университете и там получил кандидата. Узнай покороче, ты им будешь доволен».*⁵⁷

У Максимовича для Тарновского оказалось вакантным место только по отделению словесности. И хотя Василий Васильевич с таким вариантом перемены профессии, кажется, согласился, ходатайство Максимовича о новом университетском сотруднике перед попечителем Брадке успеха не имело. Не согласился Брадке с тем, что историк должен преподавать словесность, хотя, приглашая в 1834 году заведовать кафедрой словесности Максимовича, он не брал во внимание то обстоятельство, что Максимович был профессиональным ботаником и исполнял обязанности директора ботанического сада Московского университета. Теме неудачи с приёмом Тарновского в университет Гоголь посвятил письмо к Максимовичу, написанное в Петербурге 22 марта 1835 года:

*«Я думал об том, кого бы отсюда наметить в адъюнкты тебе, но решительно нет. Из заграничных всё правоведы, да при том от них так пахнет семинарией, что уж слишком. Тарновский идёт по истории, и потому не знаю, согласится ли он переменить предмет; а что касается до его качества и души, то это такой человек, которого всегда наподхват можно взять. Он добр и свеж чувствами, как дитя, всегда мечтателен и всегда с самоотвержением. Он думает только о той пользе, которую можно принести слушателям, и детски предан этой мысли, до того, что вовсе не заботится о себе, награждают его или нет. Для него не существует ни чинов, ни повышений, ни честолюбия. Если бы даже он не имел тех достоинств, которые имеет, то и тогда я бы посоветовал тебе взять его за один характер. Ибо я знаю по опыту, что значит иметь при университете одним больше благородного человека».*⁵⁷

Жизнь отменила планы учителя Житомирской гимназии Тарновского. После кончины отца, в 1833 году, и матери, в 1835 году, осиротевший Василий Васильевич вернулся в родные пенаты, где настроил свой быт на помещичий лад. Служил он управляющим в имении дядюшки Григория Степановича, в его имении Потоки, его дружба с «одноборщником» Гоголем не прерывалась, и тому свидетельство — письмо Василия Васильевича писателю от 10 ноября 1851 года:

*«С нетерпением ожидаем я и жена моя твоего приезда, милый друг Николай Васильевич, и надеемся, что ты заедешь к нам не на часок, а по крайней мере на денёк, если не более. Подорожная для тебя давно взята и ожидает тебя в Потоке. Мы с женой начинаем уже мечтать, что ты раздумал ехать в Одессу, проживешь зиму в здешних местах и мы будем иметь много наслаждений. Теперь, кажется, наши предположения разрушились; по крайней мере утешаюсь мыслью, что наша дружба юности, возобновившись в зрелые лета, окрепнет и мы будем жить, как братья. Весь твой В.Тарновский».*⁵⁷

В годы жизни и служб Тарновского в Потоке с ним познакомился, в 1845 году, Тарас Григорьевич Шевченко, в то время путешествовавший по Киевской губернии и — по приглашению Григория Степановича Тарновского — завернувший в его владения. Как позже вспоминал сын Василия Васильевича, для отца это посещение было неожиданным, что его нисколько не смутило, как не смутило и то обстоятельство, что поэт, забредя усталым в поместье и не давая о себе знать, предварительно хорошенько выспался в хозяйской конторе. Далее, представившись хозяину и его домочадцам, Шевченко вошёл в их семейный круг, с пользой и удовольствием провёл в нём время, особо симпатизируя сестре управляющего, Надежде Васильевне Тарновской:

«Тарас Григорьевич, выпавшись, умылся, оделся и пришел к хозяину, рекомендуясь, что он Шевченко. В. В. Тарновский, уже слыхавши о нем, так как Шевченко в то время успел уже приобрести большую славу, очень обрадовался ему, познакомил его с своей семьей и просил остаться некоторое время погостить. Тарас Григорьевич, конечно, охотно согласился, полюбил обитателей Поток, в особенности же сестру владельца Н. В. Тарновскую, с которой крестил ребенка у дьяка и всегда ее потом называл «дорога кумася». Живя в Потоках, Тарас Григорьевич писал, рисовал и много дарил своей «кумасы» стихотворений и рисунков, в том числе подарил и свой портрет, рисованный им в зеркало. Впоследствии, когда его арестовали, то все его знавшие, в особенности же те, у которых он проживал, были напуганы и ожидали обыска. В. В. Тарновский получил от правителя канцелярии генерал-губернатора Бибикова, Писарева, уведомление о могущем произойти обыске, и отдал все имевшиеся у него стихотворения Шевченко своей жене, которая ночью зашила их в тюфяк; кума же Тараса Григорьевича, желая сохранить все бумаги, полученные от него, уложила их в ящик и зарыла его в землю в саду. Прошло тревожное время; и когда все успокоилось, Н. В. Тарновская поехала в деревню и открыла свой драгоценный ящик с произведениями Шевченко. Бумаги и рисунки оказались все целы и долго хранились у нее.

Отдавая всегда, и после возвращения Шевченко из ссылки, все письма и рисунки его одному страстному собирателю всего касающегося Шевченко, этих вырытых из земли бумаг она не отдала, и тот ничего не знал о их существовании до смерти Н. В. Тарновской, когда оказалось, что они ею были отданы одной родственнице, которая в настоящее время не может их отыскать у себя. Не так жаль потери подлинных рисунков и рукописей Шевченко, как того, что между этими рукописями, можно предположить, находилось окончание известного только по началу, нигде не найденного и написанного именно в то время произведения Шевченко «Иван Гус». В то время пребывания Шевченко в Потоках в честь его была устроена иллюминация в саду: на верхушке большой березы прикреплен его вензель, были даже сочинены владельцем стихи, каждый куплет которых оканчивался словами:

*Серед нас, серед нас
Добрий Тарас...*

Любимым занятием Тараса Григорьевича в Потоках было катание на паромке на большом пруду, в теплые летние вечера, при заходящем солнце, сопровождавшееся всегда пением народных украинских песен и особенно его любимой песни «Ой зійди, зійди, зірнька та вечірняя».⁵⁸

Надежда Васильевна Тарновская, видная внешне и внутренне, надолго поселилась в пылком сердце Тараса Григорьевича, не выделив в своём месте влюблённому в неё поэту, оценивая свои чувствования к нему как чисто дружеские, и по этой причине отвергая его сватанья к ней. После таких неудачных брачных приступов Шевченко вдруг и весьма неудачно испытал судьбу в отношениях с землячкой Лукерьей Полусмак, после чего вновь обратился к Надежде Васильевне и в стихотворном послании дал оценку её интимной неприступности:

«А ти, кумасю, спала, спала,
 Пишалася, та дівувала,
 Та ждала, ждала жениха,
 Та ціломудріє хранила,
 Та страх боялася гріха
 Прелюбодійного. А сила
 Сатурнова іде та йде,
 І гріх той праведний плете,
 У сиві коси заплітає,
 А ти ніби недобачаєш:
 Дівуєш, молишся, та спиш,
 Та Матер Божію гнівиш
 Своім смиренієм лукавим.
 Прокинься, кумо, пробудись
 Та кругом себе подивись,
 Начхай на ту дівочу славу
 Та щирим серцем нелукаво
 Хоть раз, сердего, соблуди».

Значителен ряд женщин, прошедших с разными вариантами успехов через сердце Кобзаря. Первая любовь к Оксане Коваленко, следующее увлечение рижской белошвейкой Ядвигой Гусиковской — это были начальные трепетные чувства подростка и юноши. Были и первые интимные победы. Известно, что позировавшая ему обнажённой весьма сексапильная невеста художника Ивана Максимовича Сошенко, Маша (картина «Женщина в постели») была, видимо, не без взаимности им соблазнена, чем охладила отношения друзей-художников и свою судьбу переменяла.



Влюбилась в Тараса Григорьевича и княжна Варвара Репнина-Волконская и, судя по письму к французскому наставнику, от страсти изнемогала: *«Я подлым образом целыми часами отдаюсь во власть своего воображения, рисуящего пылкие картины страсти, а иногда похоти»*. Но шесть лет разницы были не в её пользу и её отношения с Тарасом Григорьевичем так и остались чисто платоническими, отмеченными назидательной по смыслу изящной поэтической сентенцией от Тараса Григорьевича:

«Душе с прекрасным назначеньем
 Должно любить, терпеть страдать:
 И дар господний, вдохновенье,
 Должно слезами поливать».

Некоторое время музой поэта была Анна Ивановна Закревская, жена полтавского помещика Платона Закревского, у которого поэт гостил в 1840 году, написав портрет полюбившейся ему (со взаимностью) женщины. Позже, находясь в ссылке в Ново-Петровской крепости, он посвятил ей стихи, где есть такие строки:

«Якби зустрілися ми знову,
 Чи ти злякалася, чи ні?
 Якєє тихєє ти слово
 Тоді б промовила мені?»

Увы, встретиться с Анной Закревской Шевченко больше не привелось — скончалась она во время его солдатчины.

Утверждают злые языки, что во время отсидки в Ново-Петровске имел Шевченко интимные отношения с женой коменданта тамошней крепости Агапой Усковой, но строгие биографы поэта эту версию отвергают, утверждая, что вянущая в интеллектуальном голоде женщина только удовлетворяла его (но отнюдь не чувственность) в общении с опальным поэтом.

Но, отсидев ссыльный срок, по дороге на родину Шевченко дал полный ход своей влюбчивости. В Нижнем Новгороде он загорелся вдруг страстью к юной актрисе Кате Пиуновой, но та ухаживания немолодого кавалера быстро отвергла, много лет спустя осудив свою неуступчивость: *«Тогда, 15-тилетняя девчонка, я, конечно, не могла оценить этого великого человека, но зато всю жизнь потом гордилась и горжусь тем, что обратила на себя его внимание».*



В Москве Тарас Григорьевич много гулял по городу с другом Михаилом Семёновичем Щепкиным, захаживал в гости к Михаилу Александровичу Максимовичу, недавно закончившему службу в Киевском университете и некоторое время жившему в первопрестольной с молоденькой женой Машей: *«Вскоре явилась она, и мрачная обитель ученого просветлела. Какое милое, прекрасное создание. Но что в ней очаровательнее всего, это чистый, нетронутый тип моей землячки. Она проиграла для нас на фортепьяно несколько наших песен. Так чисто, безманерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он, старый антикварий, выкопал такое свежее, чистое добро? И грустно, и завидно. Я написал ей на память свой «Весенний вечер», а она подарила мне для ношения на шее киевский образец. Наивный и прекрасный подарок».*

Мария Максимович, девять месяцев спустя после отъезда земляка, родила сына Алексея (первого ребёнка за пять лет замужества) и тем заставила любителей культурного прошлого подозревать в нём прямого наследника поэта.

Была ещё в жизни Тараса Григорьевича и Феодосия Кошица, дочь священника в Кирилловке, сватаясь к которой он получил от родителей отказного «гарбуза». С такими же последствиями окончилось его жениховство к Харите Довгоровенко, прислуге его троюродного брата Варфоломея.



И наконец, на склоне лет не удался у него брак с жившей в Петербурге землячкой Лукерьей Полусмак. Через три месяца после смерти поэта вышла она замуж за парикмахера Яковлева, большого любителя «оковытой», кажется, сократившей его земной срок, завершившийся в 1904 году. Овдовевшая Лукерья, оставив в столице взрослых детей, переселилась в Канев и ежедневно приходила на могилу Шевченко, оставив после одного из посещений запись в книге отзывов мемориала: *«Приехала твоя Ликера, твоя любимая, мой друг. Посмотри, посмотри на меня, как я каюсь».* Получив от местных жителей прозвание «тарасова невеста», она более десяти лет, вплоть до своей кончины в 1917 году, жила в Каневе, приходила в трауре на Тарасову гору, раздавала гостинцы детям.

Общение (правда, не частое) Василия Васильевича Тарновского с Шевченко продолжилось и после возвращения поэта из ссылки. В киевской квартире Тарновского, на им устраиваемых вечерах Шевченко общался с Костомаровым, Белозерским, Галаганами. Дабы поддержать материально и морально поэта, Василий Васильевич (как и Галаганы) приобрел семнадцать его рисунков.

Как знатоком крестьянских проблем Тарновским были написаны статьи по юридическим и этнографическим вопросам жизнеустройства малороссийского селянства,

в том числе «Юридический быт Малороссии», «О разделении семей в Малороссии», «Повесть малороссийского степняка». Его также интересовали вопросы народонаселения в Российской империи, добыча полезных ископаемых, лесопользование, шелководство, скотоводство, рыболовство, мануфактурная промышленность, народное образование.

На ниве народного образования Василий Тарновский был не только теоретиком, но и практиком — основал народные школы для крестьян в Качановке, Антоновке, Парافیевке с хорошей оплатой учителям. Временами он и сам учил детей грамоте, в чем ему помогали сыновья.

Великодушное отношение проявил Васильевич Василий Тарновский-старший к творчеству Пантелеймона Кулиша, подарив писателю тысячу рублей серебром на издание «Записок о Южной Руси», помогал ему материально в делах издательских и в дальнейшем.

После издания царского указа (от 19 февраля 1861 года) об отмене крепостного права, Василий Васильевич Тарновский представлял интересы правительства в черниговском «Комитете по урегулированию отношений помещиков и выходящих из крепостной зависимости крестьян». Порученному делу отдавал все свои душевные и телесные силы, искренне возмущаясь всякому нарушению норм совести и справедливости. После одного из заседаний Комитета, 4 декабря 1866 года, его перевозбуждённое сердце не выдержало и остановилось.

Сохранился редкий семейный снимок семейства Тарновских, тем замечательный, что на нём представлены оба Василия Васильевича — старший и младший. (К слову, жена Василия Васильевича-старшего — Людмила Владимировна, в девичестве Юзефович, была сестрой Михаила Владимировича Юзефовича, попечителя Киевского учебного округа.)



В Качановке. Сидят (справа налево): четвертый – В. В. Тарновский – основатель музея, слева от него – мать – Л. В. Тарновская и отец В. В. Тарновский-старший, справа – жена – С. В. Тарновская.
60-е гг. XIX ст.

Часть четвёртая. Василий Васильевич Тарновский-младший

Об основных вехах жизни Василия Васильевича Тарновского-младшего говорит представленная вырезка из «Малороссийского родословника» Модзалевского. Можно только добавить, что женат был Василий Васильевич на своей родственнице, Софье Васильевне Тарновской, с коей по родовой линии имел он общего прадеда, Якова Васильевича Тарновского (дедом супруги был Пётр Васильевич, отцом — Василий Петрович Тарновские). Союз этих двух высококультурных людей оказался на редкость прочным и неразрывным, прежде всего, из-за общности духовных запросов каждого из его участников. Дополняя мужа, София Васильевна была личностью тактичной, начитанной, музыкальной, поддерживавшей своего мужа в его добрых начинаниях, положительно на него влиявшей.

К приведённым выше скудным данным о Василии Васильевиче Тарновском можно прибавить, что всю свою сознательную жизнь он занимался собиранием художественных ценностей, археологических древностей, рукописей и памятных вещей Шевченко.

К такому собирательству он пристрастился ещё в Москве, где учился в частном пансионе вместе с братом Владимиром. Раритеты покупал, когда позволяли отцовские



50. **Василий Васильевич**, род. 20 марта 1837 г. в с. Антоновке, Пирятинского у. + 20 июля 1899 г.; окончил пансион Энесса в Москве; затем поступил в Киевский Университет св. Владимира на юридический факультет, но курса не окончил (ушел с 4 курса); "после освобождения крестьян был первым мировым посредником у себя в Качановке, где открыл с отцом школы, содержали их и преподавали в них; когда наступила реакция, им было запрещено это делать"; Нежинский, а затем Борзенский у. предводитель дворянства, губернский секретарь (1872); собиратель "Музея Украинских Древностей", пожертвованного им земству Черниговской губернии

Ж. София Васильевна Тарновская, род. в октябре 1844 г., дочь №37.

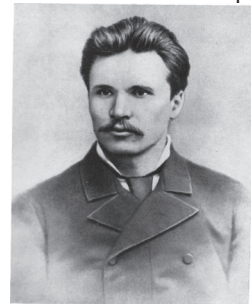
средства, на Сухаревском рынке и свозил их в комнатку, им с братом нанимаемую. Во время летних вакаций, проводимых у родителей, находил и приобретал украинские древности в окрестных сёлах, накапливая добытое в усадебной библиотеке. Сюда же, по завершении курса в пансионе, привёз он и московскую часть своей коллекции.

Вернувшись на родину, Василий Васильевич не просто утроил поисковые усилия частыми посещениями антиквариев, помещичьих имений и мещанских квартир, но и разнообразил их, превратив в своего рода археологические экспедиции по поиску артефактов с участием в них специалистов, таких, например, каким был Дмитрий Иванович Яворницкий.

Сын сельского дьякона и простой крестьянки, жителей Слободской Украины, Дмитрий Иванович, при нищенском достатке родителей, собственной волей и дарованным ему природой умом стал выдающимся историком, краеведом, археологом, этнографом, фольклористом, писателем, знатоком истории Запорожского козачества, в трёх томах им изложенной. Первоначально его фамилия писалась как «Эварницкий», но он сумел доказать, что предки его пришли на Слободскую Украину из галицийского города Яворова, от названия которого и пошла его исконная фамилия.

Образовываться будущий историк начал в 1867 году, в Харьковском уездном училище. После него, отучившись ещё четыре года в Харьковской духовной семинарии, поступил — в 1877 году — на историко-филологический факультет Харьковского университета. Здесь слушал лекции лингвиста и этнографа Александра Афанасьевича Потебни и историка Николая Фёдоровича Сумцова, позже с высокой похвалой вспоминавшего своего даровитого ученика, выделявшего его из прочих студентов: «... выдвигался большой и разносторонней любознательностью, приветливым и веселым нравом при крайней материальной необеспеченности».

По окончании (в 1881 году) университета молодого Яворницкого, как исключительно одарённого и подающего надежды выпускника, оставили на кафедре русской литературы внештатным стипендиатом для подготовки к профессорскому званию. В этом качестве он продолжил свои исследования и розыски по истории Запорожского козачества, коей начал интересоваться ещё в студенческие годы.



Летом молодой учёный бродил по бескрайним украинским степям, осматривал курганы, городища, старинные церкви; ездил по сёлам Приднепровья, записывал песни, думы, рассказы о запорожцах, собирал предметы старины, коих он накопил превеликое множество, и, подобно Василию Тарновскому, запонил ими своё жилище.

Перед тем, как целиком и полностью погрузиться в «запорожскую тему», Яворницкий съездил за благословением в Петербург, к патриарху исторической науки, Николаю Ивановичу Костомарову и получил его, с добрыми напутствиями и пожеланиями: «Прежде чем писать исто-

рию запорожского казачества, обойдите весь Запорожский край; потом заройтесь в архивный материал, сохранившийся от запорожцев в разных местах, присмотритесь ко всему казацкому добру, что собрано в разных музеях, а дальше не пропустите и тех казацких дум и исторических песен, которые сохранились в головах старых людей, а лучше всего у слепых бандуристов и кобзарей».

Уже как сложившийся исследователь Запорожского прошлого, Дмитрий Иванович Яворницкий заехал в Качановку летом 1887 года, после посещения Соловков, куда он совершил паломничество — поклонился могиле последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, Петра Калнишевского. Сделал он это, чтобы собрать материалы о более чем четвертьвековом заточении атамана в одиночной камере Соловецкого монастыря, по приказу Екатерины II. Яворницкий не только разыскал новые архивные свидетельства о знаменитом земляке, но и записал рассказы о нём, устно ходившие среди насельников монастыря. (Результатом поездки стала его статья «Последний кошевой атаман Пётр Иванович Калнышевский».)

После Качановки Яворницкий, вместе с Василием Васильевичем Тарновским, поехал на днепровские пороги и по местам, связанным с запорожским козачеством, откуда каждый из участников экспедиции вернулся со своей долей «добычи».

Коллекционные накопления Василия Васильевича Тарновского пригодились, летом 1880 года, Илье Ефимовичу Репину, приехавшему в Качановку с Валентином



Александровичем Серовым писать этюды для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». С имевшихся у владельца Качановки экспонатов Репин зарисовал походные чернильницы, кобзы, бандуры, оттиск гетманской печати, запорожские сабли, ружья, короткоствольные пушки, медные кувшины, другие артефакты козацких древностей, собранных ещё Тарновским-старшим.

В своём имении Тарновский, опершись на старинную пушку, позировал Репину для картины «Гетман», здесь же художник срисовывал с него персонажа для картины о запорожцах: стоит он, сумрачный, в «юрбе» сичевиков, окруживших стол писарчука (списанного с Яворницкого).

Попал на репинское полотно и кучер Тарновского, Никишка, олицетворяющий своей бравой физиономией образ козака Голоты. Репин, будучи восхищён Никишкиными щербатостью, одноглазостью, нетрезвостью и смешливостью, успел его зарисовать, когда они вместе с Тарновским переправлялись через Днепр на пароме.

Видимого со спины могучего, наголо выбритого козака Репин скрытно вырисовал с предводителя дворянства Екатеринославской губернии и почётного гражданина города Екатеринослава, Георгия Петровича Алексеева. Был тот, вдобавок, страстным нумизматом, автором трудов по русской нумизматике, и страсть к коллекционированию монет, видимо, привилась к нему с детских лет, когда он — племянник жены Григория Степановича Тарновского — гостил в Качановке.



Прежде Репина познакомился, в 1878 году, Василий Васильевич Тарновский с художником Константином Маковским. Как позже вспоминал сын художника, Сергей Константинович, его отец нанял усадьбу у своего музыкального друга Василия Свицкого (скоро ставшего фабрикантом художественной мебели) и



поселился на пленэре в имении Загоны, на границе Черниговской и Полтавской губерний. (Сам Константин Маковский обладал удивительным бархатистым баритоном, пел как настоящий артист и даже выступал на профессиональной сцене в опере «Травиата».)

«Но тут произошел эпизод... О нем надо рассказать, он характеризует эпоху, а его последствия глубоко повлияли на жизнь нашей семьи и, в частности, на творчество Константина Егоровича. Рассказываю со слов матери. В некое летнее утро к крыльцу подкатила коляска четвериком с форейтором. Из коляски выпрыгнул незнакомый помещик подчеркнuto-малороссийского облика: длинейшие темные усы вниз и украинский «кабиняк» (талма) с пряжкой... в алмазах! Лицо сухое, желтоватое. Мал ростом, худощав, порывист. Войдя в дом, он спросил повелительно вышедшего ему навстречу Константина Егоровича: «Вы профессор Маковский?» — «Я». — «А я здешний помещик, Василий Васильевич Тарновский. Мое имение — Каченовка, по соседству. Как вы сюда попали?». Так началось знакомство. Посидели, вспомнили кое-кого из петербуржцев. Не прошло и получаса, как владелец Каченовки, пренебрежительно окинув взглядом полупустую гостиную Свирского, вскочил и недоуменно развел руками: «Да полно, профессор, что вы нашли здесь? Разве это усадьба? К тому же, и парк ни на что не похож». — «Нет, ничего... Помилуйте», — ответил отец неуверенно (Загоны и ему не нравились).



Василий Васильевич вскипел, он никак не мог согласиться, чтобы такой художник, как Маковский, работал в этой убогой обстановке. «Знаете что, — стремительно заявил он, — у меня имение большое, отсюда рукой подать, в двадцати верстах. Собирайтесь-ка, да и поедemте на лето в Каченовку, не раскaетесь». Тут вошла мать. Василий Васильевич представил. — «И жена ваша, красавица, наверное, одобрит. Будет дружить с моей Соней. Она у меня славная». Так и решили. Вскоре от Тарновских были присланы экипажи, и вместе с большим эскизом «Русалок» мы перебрались в Каченовку и оставались в этой необычайной усадьбе с ампирным домом всё лето. Тарновские оказались совсем исключительно милыми людьми, особенно Софья Васильевна, жена порывистого помещика с малороссийскими усами, мать Васюка, старшего сына, и Сони, моей ровесницы. В Каченовке жили и сестры хозяйки: Юлия и Александра Васильевны. Первая была вдовой генерала Швецб; вторую, Корбут по мужу, все звали Крошкой. Доживала свой век в одном из флигелей и старенькая бабушка, мать Василия Васильевича.

С первого знакомства Тарновские полюбили и отца моего и мать, и меня в придачу. Вернулись мы в Петербург лишь поздней осенью и перебрались опять на новую квартиру, в дом гр. Менгдена на Дворцовой набережной. Там 1-го ноября того же года родилась моя сестра Елена. С тех пор, с редкими перерывами (когда обстоятельства не позволяли из-за работы отца или отъездов наших за границу), лето за летом гостили мы в Каченовке. Я помню себя в рамках этого чудесного, сказочно-барского поместья с трехлетнего возраста, вплоть до 1888 года, когда тяжельный недуг матери вынудил нас, прокружив по заграничным курортам, прочно осесть, еще до разрыва с Константином Егоровичем, на лазурном берегу, в Ницце. Впечатления мои о Каченовке сливаются в одно какое-то призрачно-волшебное чередование — знойных малороссийских полдней, прохладных утр, ярких закатов и лунных ночей, пропитанных теплым запахом черноземной пыли. Вспоминаются скитания по грибы в роще «Березине» или просто, от нечего делать, по грандиозному парку с липовыми и кленовыми аллеями, с мостиками над искусственными прудами и беседками (одна из них называлась беседкой Глинки, композитор в ней писал «Руслана»); поездки в линейках и шарбанах на сахарный завод Тарновских или на молотьбу в пшеничные поля дубовыми и березовыми лесами; пикники на лесных полянках; церковные службы в высокой шатровой церкви, куда помещикам не приличествовало ходить пешком, хотя стояла она от дома в каких-нибудь двухстах шагах: полагалось ездить к обедне в экипажах, запряженных цугом; длительные чаепития на

террасе среди благоухающих цветочных клумб; шумные завтраки и обеды (дети за отдельным столом, «жабокриковка» — величал нас Василий Васильевич) в длинной столовой, где стол накрывали обычно человек на двадцать пять, и за каждым из сидевших ближе к хозяевам стоял лакей-казачок (синий кафтан и пунцовый кушак); оживленные вечера, на которых отовсюду съезжавшиеся соседи то быстро кружились под рояль в вальсе а деих temps, то носились галопом, то выделявали фигуры котильона и, в мазурке, кавалеры лихо отщелкивали замысловатые антраша. Иногда гремел на хорах полковой оркестр стоявших в Прилуках киевских гусар.

Говоря об отце, мне еще придется возвращаться к Каченовке, куда по своему обычаю он приезжал ненадолго (редко засиживался больше двух-трех недель) и откуда уезжал по делам, чаще всего в Париж. В Каченовке работалось ему легко и радостно. В первые же наши приезды были написаны портреты Василия Васильевича в австрийской куртке и в традиционном «кабиняке», Софьи Васильевны, уже тридцатишестилетней болезненно-тучной женщины, красавца Васюка и задумчивой Сони и бабушки (с дряхлым лакеем, из бывших крепостных, подающим ей утренний кофе), — к ней по утрам ходил я с сестрой на поклон в ее апартаменты, где пахло сушеными яблоками и жженым можжевелем от комаров (они водились всюду в изобилии).

Отец писал и заезжих гостей, и типичных солдат-гусар, сопровождавших господ офицеров, и местных крестьян: милостивых малороссиянок в узорных панёвах и бусах, стариков-сторожей, ходивших ночью вокруг дома с золотушкой и поминавших со вздохом недавно дарованную царем «волю», и цыган, расположившихся табором на пустыре около парка. А сколько пейзажей! Каждое утро уходил отец в парк и маслом или акварелью писал какой-нибудь уголок его: каштановую аллею, где я, сестра Елена, Соня и младший ее брат Петя копались в песке под присмотром старой гувернантки Тарновских *madame Leger* в неизменном чепце с лиловым бантом; лужок, благоухающий клевером, с носящимися над ним пчелами и стрекозами; папоротниковые заросли поодаль у торфяного болота, кукурузные огороды, высокие мальвы вдоль плетней и обросшие плющом и диким виноградом развалины парка — не то остатки запорожской крепости, не то декоративные руины, сооруженные еще при графе Румянцеве, некогда владевшем Каченовкой. Ряд картин возник из этих этюдов: «Бабушкины сказки», «Цыганский табор» (превосходны этюды к нему: старуха-цыганка и плясунья-девочка), наконец «Гаданье». Для последней, уже «боярской», небольшой картины и я позировал, наряженный в русскую шелковую рубашку и сафьянные сапожки. Этот маскарад мне нравился, одевали меня до пяти лет девочкой, а я только и мечтал о том, когда надену штаны. Полудевочкой с золотистыми локонами изображен я и на солнечном холсте (высокого формата) «Маленький садовник», где среди цветников Каченовки я стою с граблями на плече, а сестра Елена сидит у моих ног, держа в руках виноградную гроздь. Лето этого 88 года мы провели опять, в последний раз, в Каченовке, в том же обжитом нами левом крыле ее ампирного дома. У Тарновских всё было по-старому, но сама хозяйка, Софья Васильевна, начала заметно слабеть. Нашей очередной гувернанткой оказалась *т-Ше Marie*, прескучная старая дева с причудами, неумная, но считавшая долгом посвящать детей в тайны мироздания: часами рассказывала, как умела, о звездных мирах и о существах бесконечно-малых в капле воды. Мы над ней посмеивались, но слушали внимательно. Тогда-то и зародилось мое влечение к естествознанию, я пропадал в пахучих лугах Каченовки, коллекционируя жуков и бабочек. Соня Тарновская к тому времени подросла, и меня влекло к ее бледному, продолговатому, задумчивому лицу. Сестра Елена сочинила даже театральную пьесу ко дню моего рождения, — в ней Соне предстояло произнести чувствительный монолог по моему адресу. Спектакль готовился втайне от взрослых — для меня, единственного зрителя. Но тайна открылась, и пьеса вместе с монологом испарилась. Помню еще, как мы зачитывались Тургеневым, пели хором под аккомпанемент Софьи Васильевны, ездили в соседнее имение к Скоропадским, к Кочубей и еще к кому-то. Это лето окончилось раньше, чем обыкновенно». ⁵⁹



Хотя Качановка не задумывалась как «художественный центр», но в ней царилла какая-то благоприятная атмосфера для творческой деятельности, обстановка была интимная и непринужденная. Хозяева славились гостеприимством, и стоило только заикнуться о желании попасть в Качановку, приглашение было обеспечено. Беседки, скульптура, мебель, зимний сад, а также многочисленные предметы декоративно-прикладного искусства и даже дань моде конца века — гостиные и кабинеты в «русском стиле», — всё это располагало художников, поэтов и писателей к творчеству.



Гости, подъезжающие к особняку по широкой парадной аллее, издали замечали дворец екатерининской эпохи с куполом, шпилем и колоннадой. Перед дворцом расстилалась площадка с газоном, ближе ко входу стояли старинные козацкие пушки, между колоннами дворцового портика располагались статуи. Нижний этаж центральной части усадьбы занимал огромный зал, весь украшенный экзотическими тропическими растениями и увитый плющом. По обе стороны зала расходились анфилады комнат для гостей, из окон которых открывался прекрасный вид на сад и озеро. Стены вдоль лестницы, ведущей на верхние этажи, были украшены оружием работы старых мастеров.

В большом зале второго этажа висели в золоченых рамках портреты Мазепы, Кочубея, Искры, Галагана, Паляя, Полуботка, Разумихи. Здесь же стояли бюсты предков Тарновских во главе с родоначальником рода, коронным гетманом Яном из Тарнова. (Хотя. Если верить Малороссийскому родословнику Модзалевского, Ян Тарнов был учредителем другой линии Тарновских.)

Мебель красного дерева в стиле «ампир» с золотой и серебряной резьбой придавала залу торжественность. За залом следовала парадная столовая с розовыми колоннами



и сценой, далее — знаменитый музей Василия Васильевича Тарновского, интерьеры которого были оформлены в виде русского терема. Усилиями хозяина, бывшего мастером художественной садовой разбивки, на пространстве в восемьсот десятин земли был создан сказочный парк

Круг знакомых Василия Тарновского не ограничивался коллекционерами, общался он также и со многими выдающимися деятелями своего времени — писателями, художниками, композиторами. Многие из них передавали Василию Васильевичу свои рукописи. Именно так попали к нему рукописные произведения Пантелеймона Кулиша, с которым Тарновский-младший поддерживал дружеские отношения. Он, как и отец, продолжал помогать писателю: обеспечивал того книгами иностранных авторов для перевода (скажем, оригиналом Байрона), собирал рукописи-автографы Кулиша, в ноябре 1896 года побывал в гостях у него; после кончины друга состоял в переписке с его женой — известной писательницей Анной Барвинок, поддерживал её морально и материально, организовал и оплатил упорядочение могилы Кулиша и установку памятника.



Василий Васильевич Тарновский-младший — творец Шевченкианы, его собрание стало основой экспозиции Национального музея Тараса Григорьевича Шевченко в Киеве и музея поэта в Каневе. Ему удалось создать коллекцию, мимо которой, по словам Бориса Дмитриевича Гринченко (украинского писателя, лексикографа, переводчика,

общественного и политического деятеля), не может пройти ни один биограф Шевченко, желающий составить по-настоящему глубокое жизнеописание поэта.

Основательно собирать эту коллекцию Тарновский начал в 1859 году, после возвращения Шевченко из ссылки. Об этом, в частности, свидетельствует письмо Шевченко к младшему Тарновскому, отправленному из Петербурга в Киев 28 сентября 1859 года. В нём поэт сообщает адресату о встрече с его родителями; посылает ему и его брату, а также «любому невеличкому Горленяткові» эстампы своей работы; передаёт приветы общим друзьям, профессорам Киевского университета

В последовавших через несколько дней, одно за другим, письмах Людмила Михайловна Тарновская отписала сыну Василию в Киев:

«30 сентября 1859 года:

«Друг мой милый, мой Васючок, посылаю тебе письмо Шевченка, которое он принес тогда, как Володя уже уехал. Шевченко тебя очень любил, но жалеет, что мало с тобою пробыл. Я взяла у тебя его картины по одному экземпляру, ежели они тебе нужны, то я возвращу. Переписываю для тебя стихи его, которые он нам дал целую книжечку, те, которые у Володи, я уже не буду переписывать, ты возьми у него».

4 октября 1859 года:

«Друг мой милый Вася, на прошедшей почте я писала к тебе, что картины Шевченко отправил тебе с Володей, а письмо послала тогда, когда тот уже уехал. Вечером мы получили от Володи из Москвы письмо, что он остался в Москве для поступления в университет. Картины твои он отправит с Фёдором в Качановку».⁴⁵

После реформы 19 февраля 1861 года, отменившей крепостное право, доходы семьи Тарновских резко упали и, кажется, основным их источником остался сахарный завод в Парафиевке, основанный ещё в 1846 году Григорием Степановичем Тарновским. (В 1852 году предприятие вступило в действие и уже в первый сезон работы произвело сахара-песка, патоки и жома на сумму около полумиллиона рублей. Во второй половине девятнадцатого века завод был одним из мощнейших сахароперерабатывающих предприятий Черниговской губернии, где использовались передовые на то время технологии с применением паровых машин.)

Оскудение стало настолько сильным, что стало не хватать средств не только на коллекционирование, но и на достойную жизнь. В итоге Василий Васильевич совершил поступок — продал в 1897 году Качановку и сахарный завод за миллион рублей успешному сахарозаводчику Павлу Ивановичу Харитоненко и, вместе со своим семейством, со всеми экспонатами своего музея перебрался на постоянное жительство в Киев, в дом на углу Большой Владимирской улицы и Театральной площади.

Остаток дней своих провёл он за неизменным собирательством и в заботах о судьбе им накопленной коллекции. Киевская Городская Дума, куда, с предложением учредить исторический музей, обратился Василий Васильевич, никак не отреагировала (сделала это позже). Такой же результат дало и обращение коллекционера в Черниговскую архивную комиссию. Только Черниговская губернская земская управа откликнулась на великодушное предложение земляка: на земском губернском собрании 24 февраля 1897 года было принято решение принять уникальное собрание в собственность земства и создать музей имени Василия Тарновского.

Жизнь Василия Васильевича Тарновского-младшего в годы старости и досужества были тесно связаны с близким, очень ему приятным человеком, историком Александром Матвеевичем Лазаревским, 1834 года рождения. Был он правнуком конотопского козака, сыном уездного судьи. После окончания Конотопского дворянского училища и столичной Николаевской гимназии (с золотой медалью) учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета и уровень своих, ещё студенческих, знаний определил им написанным «Указателем для

изучения Малороссийского края». Выйдя из университета, Александр Лазаревский служил библиотекарем графа Александра Сергеевича Уварова, собирал материалы для русского хронографа. Был он постоянным корреспондентом «Киевской старины», в одном из номеров которой была помещена статья о его дружбе с Тарновским:



«Они не были друзьями в том смысле, чтобы чувствовать постоянную потребность один в другом. Среда, в которой они выросли, воспитывались, весь склад их жизни и обычных житейских интересов у каждого был свой особенный. Они могли месяцы, даже годы не видеть друг друга, но эта разлука никогда не оставляла и признаков отчуждения. Они всегда радостно встречались и до смерти были близкими людьми. Как только поздней осенью В. В. Тарновский возвращался из деревни или в последние годы из Наугейма, где он лечился от подтачивавшей его постепенно болезни, как только по городу начинали бегать в разные стороны посланные в известных

всему Киеву малорусских козакиных, один из первых прибежал непременно к А. М. Лазаревскому известить, что «Василь Васильевич уже сегодня приехали». В два часа дня — время обычной своей прогулки — А. М. Лазаревский непременно забежал уже на Большую Владимирскую, где в последние годы жил В. В. Тарновский. Не успевал или не мог зайти Ал. М — ч, наверно вечером того дня, после 10 часов, когда Ал. М — ч подумывал о сне, у подъезда его останавливалась карета, запряжённая парой темносерых лошадей, и В. В. Тарновский, больной, едва передвигавший ноги, но постоянно сердившийся за то, что его поддерживают, медленно взбирался на второй этаж, чтобы полчаса, часок провести с Ал. М — чем и похвалиться своими новыми приобретениями для исторического музея и для Шевченковской коллекции.

Александр Матвеевич никогда не тяготился этими поздними посещениями В. В. Тарновского. Бывало, раздаётся звонок у парадных дверей в половине одиннадцатого вечера, Ал. М — ич прислушается. «Это Тарновский», — скажет он, улыбаясь, хватая со стола свечку и бежит навстречу отворять входную дверь и затем всё время, пока взбирается В. В. Тарновский, Ал. М — ч стоит на верхней ступеньке лестницы и шутит. С людьми, к которым он чувствовал приязнь, которых считал близкими себе, он всегда шутил, причём шутка эта, при всей иногда свойственной Ал. М-чу резкости, отличалась удивительной мягкостью и деликатностью.⁶⁰

Из числа всевозможных исторических раритетов, кои Василий Васильевич приобрел в свой музей, находились фальшивые, не ускользавшие от опытного глаза Лазаревского. Александр Матвеевич постоянно инструктировал на этот счёт друга, рассказывал об известном киевском антикварии, грешившем таким мошенничеством. Тарновский своим промахам огорчался, но советы друга, что называется, мотал на ус и в очередной заход к помянутому торговцу древностями не решился купить у того чаши Богдана Хмельницкого, оказавшейся, как позже выяснилось, поддельной.

«Роль Алек. М. Лазаревского при составлении музея В. В. Тарновского, вообще должна быть признана ... особенно значительной. Он являлся главным советчиком В. В. Тарновского, он дал ему много автографов, гравюр, некоторые из старинных портретов, он побуждал В. В. Тарновского составить при музее библиотеку и помогал ему в этом, следил за работой по описанию музея при жизни В. В. Тарновского, редактировал и корректировал каталог Шевченковской коллекции, ему же принадлежит мысль передать музей Черниговскому земству, куда, после долгих колебаний, и завещал его В. В. Тарновский».⁶⁰

Дополнял прекрасный дуэт этих двух замечательных личностей им единосущный Николай Васильевич Шугуров. Первым с ним, в начале восьмидесятых годов девятнадцатого века, познакомился Лазаревский, когда тот, служивший товарищем председателя окружного суда в Стародубе, был назначен, по рекомендации Александра Матвееви-

ча, членом Киевской судебной палаты. (Прежде захолустного Стародуба Шугуров, по окончании Московского университета, отслужил председателем Одесского окружного суда.) «А. М. Лазаревский всегда очень много придавал значения первому впечатлению, которое производил на него человек, Умный, скромный, молчаливый, горячо любящий свою родину и науку, Н. В. Шугуров сразу же завоевал для себя все симпатии А. М. Лазаревского и сразу же сделался близким человеком, с которым не только Ал. М — ч Лазаревский, но и многие из приятелей Ал. М — ча почувствовали своё духовное родство».⁶⁰

В числе последних оказался и Василий Васильевич Тарновский, познакомившийся с Шугуровым через Лазаревского.

«А. М. Лазаревского, Н. В. Шугурова и В. В. Тарновского связывало вместе одно главное чувство — любовь к своей родине — Малороссии и желание быть ей так или иначе полезным, и каждый из них, по-своему удовлетворял этому желанию. А. М. Лазаревский занимался разработкой истории её и составил себе на этом поприще крупное научное имя, собрал много рукописей, библиотеку, которую обогатил киевский университет. Н. В. Шугуров поработал также немало для истории Малороссии и составил также ценное собрание материалов и библиотеку... Имя В. В. Тарновского хорошо известно в Малороссии как человека, составившего богатейший музей малорусских древностей, глубокого почитателя таланта и личности незабвенного Кобзаря Украины Тараса Григорьевича Шевченка.

Шевченко был для В. В. Тарновского своего рода культ. Он дорожил каждой мелочью, каждым пустяком, относившимся к личности поэта и его биографии. Кто хоть раз видел В. В. Тарновского за работой в его кабинете, тот никогда не забудет и с улыбнением будет вспоминать этого сломанного тяжкой болезнью, едва стоявшего на ногах старика, с замечательно своеобразным красивым малорусским лицом, всецело погружённого в разборку, сортировку, подклейку своих драгоценностей — вырезок из газет и журналов, картинок и бумажек, относящихся к памяти Т. Г. Шевченка. Для В. В. Тарновского всё было ценно, где стояло имя Т. Г. Шевченка, даже простое объявление о панихиде.

Тарновского всегда очень огорчало, что над именем Шевченка стоял в Киеве запрет, нельзя было по нём ни панихиды служить, ни публично чествовать его память. Долго он добивался снятия запрета, и наконец граф А. П. Игнатъев снял его. Лица, бывавшие на Шевченковских вечерах в зале литературно-артистического Общества в Киеве, на Рогнединской, хорошо помнят, что пока жив В. В. Тарновский, ни один из вечеров не обходился без его присутствия...

Больной, опираясь на палку, поддерживаемый двумя лакеями, едва передвигавший ноги, выбирался он на второй этаж и, несмотря на видимую усталость, высиживал чествование до конца. Жаль, больно было смотреть на стоявшего у края могилы старика, но вместе с тем трогательно и для многих, если хотите, было и поучительно его присутствие. Болезнь не останавливала его перед памятью Шевченка, и в последние годы своей жизни В. В. Тарновский почти ежегодно совершал паломничество в Канев, на могилу незабвенного поэта. Нанимался особый пароход: своя семья, несколько близких знакомых, почитателей Т. Г. Шевченка — в таком обществе ездил В. В. Тарновский на могилу, чтобы провести там несколько часов вблизи останков человека, почитание памяти которого сделалось чуть ли не содержанием последних лет его жизни...

...Он мечтал увидеть в Киеве памятник украинскому народному поэту. Он уже и место для него назначал, на Бибикивском бульваре, против 1-й гимназии, с лицом, обращённым к Большой Владимирской улице. То мечтал сделать из своей Качановки какую-то малорусскую национальную святыню, перевезти туда и похоронить тела всех видных малороссиян: Шевченка, Костомарова, Квитку, Котляревского и др., насыпав над ними высокие могилы, какая была насыпана над могилой его друга Шевченка, художника Честаховского, в последние годы часто проживавшего у В. В. Тарновского в Качановке и похороненного в качановском парке.. Может быть, эти мечты одни были смешны, другие только несбыточны, но показывают в каком направлении работала мысль В. В. Тарновского: хотелось что-то ещё для родины сделать хорошего.

Музей малорусских исторических древностей В. В. Тарновского и его Шевченковская коллекция — это не праздная забава собирателей редкостей. Это — глубоко-национальное дело, выполненное В. В. Тарновским перед родиной. Что так он сам смотрел на свой музей, лучше всего показывает то обстоятельство, что он никогда не считал музей своим фамильным имуществом. В музее он всегда видел общественное достояние, долго не мог он остановиться на учреждении, которому он со спокойной совестью доверил бы своё любимое детище, учреждении, которое бы уберегло его, как национальную собственность, не позволило бы увезти музей и Шевченковскую коллекцию из Малороссии, где они только и имеют смысл. Таким учреждением, по совету А. М. Лазаревского, явилось, как известно, Черниговское Губернское Земство...

Прилаженный рисунок сделан со случайной любительской фотографии, снятой в с. Качановке, в одно из последних посещений её А. М. Лазаревским, и Н. В. Шугуровым. Посредине сидит В. В. Тарновский, по левую руку от него А. М. Лазаревский, по правую — Н. В. Шугуров.



Качановка — один из прелестнейших уголков Малороссии: громадный 600-десятинный парк, приведённый в образцовый порядок покойным В. В. Тарновским, пруды, масса зелени, видов, один другого красивее и разнообразнее... В. В. Тарновский долго лелеял, долго оберегал свою Качановку. К сожалению, под конец жизни денежные обстоятельства заставили его продать её П. И. Харитоненко.

А. М. Лазаревский, обыкновенно редко когда-нибудь выезжавший летом из своего Подлипного, в последние годы жизни В. В. Тарновского в Качановке, почти ежегодно бывал там. Качановка нравилась ему своей красотой, своей прелестью. Гостеприимство хозяина, радушие его, возможность уйти в парк, остаться одиноким, когда хочется, никому не мешать — всё это подкупало Александра Матвеевича, и он охотно ехал туда, чаще всего с Н. В. Шугуровым, когда летом тот гостил у него. В Качановке В. В. Тарновский жил в барских двухэтажных, ещё при Румянцеве выстроенных хоромах, с бесконечным количеством комнат. Над домом на флажке развевался обыкновенно флаг в гербом Тарновских — знак, что хозяин дома. Но рядом с этими хоромами, среди зелени парка, для забав детей была выстроена беленькая малорусская хатка, с соломенной крышей, характерным малорусским перелазом чрез плетень; на огороде — гарбузы; внутри хатки — черепная посуда на полочках, на покути — вся завитчана и убрана малорусскими рушниками, простой стол, накрытый малорусской скатертью и лавки кругом...

На приезде у этой хатки Н. Ф. Беляшевский случайно и снял на память потомству трёх, теперь уже дорогих покойников... Не случайно только они были вместе...»⁶⁰

Первым из троицы друзей ушёл из жизни Василий Васильевич Тарновский — 13 июня 1899 года., В некрологе, написанном Николаем Васильевичем Шугуровым и опубликованном в журнале «Киевская старина», писалось: «Тарновский не принадлежал к тем коллекционерам, которые, собрав сокровища, хранят их под скупом и неохотно допускают других до пользования ими. Напротив, он всегда был рад предоставить каждому возможность пользования тем, что он собрал, и в течение многих лет он был озабочен мыслью сделать свой музей общественным достоянием, доступным для всеобщего пользования. С этой целью он, ещё много лет тому назад, делал неоднократные попытки (к сожалению — безуспешные) убедить многих богатых людей к пожертвованиям на устройство в Киеве музея. И если в последнее время, когда в Киеве было приступлено к постройке здания музея, он колебался между Киевом и Черниговом в решении вопроса о том, куда отдать своё собрание, то происходило это вследствие того, что желая, чтоб это собрание сохранилось в неприкосновенной целости, он не

был уверен в том, где лучше это может быть достигнуто. В конце концов музей свой покойный завещал губернскому Черниговскому земству. Дай Бог, чтоб его желания в этом отношении исполнились и чтоб его музей принёс в будущем наибольшую пользу, служа для изучения родного края, который он так любил».⁶⁰

Николай Васильевич Шугуров умер 6 ноября 1901 года, Александр Матвеевич Лазаревский — 31 марта 1902 года.

Часть пятая. Василий Тарновский и Мария О'Рурк

69. Василий Васильевич, род. 9 марта 1872 г. в с. Качановке, Борзенского у. + 1933 г. в эмиграции

Ж. графиня Мария Николаевна О'Рурк, дочь Пирятинского уездного предводителя Дворянства; организовала в 1907 г. убийство графа Комаровского в Венеции с корыстной целью; была судима в Венеции и приговорена к 8 годам каторжных работ, которые и отбыла в Венеции на соляных промыслах.

70. Петр Васильевич + 1898 г. (окончил жизнь самоубийством)

— **Софья Васильевна**, род. 6 авг. 1876 г. + 1919 г.; во время 1-й мировой войны — завед. военным лазаретом в Киеве (в здании 2-ой гимназии)

За Григорием Николаевичем Глинкой; лейтенант флота в отставке; + 1921 г. в эмиграции.



С. В. Тарновская с сыном Василием (Васючком) и дочкой Софьей. 70-е гг. XIX ст.

Первенец Василия Васильевича и Софии Васильевны Тарновских, коего они по установившемуся фамильному обычаю нарекли Василием, родился 6 августа 1872 года в Качановке. Следующее прибавление семейства состоялось 6 августа 1876 года — дочерью Софией. Сохранился фотоснимок счастливой матери семейства со своими малышами. Известно также, что в начале девяностых годов у Тарновских родился сын-последыш Пётр, покончивший с собой в семнадцатилетнем возрасте, ещё при жизни отца, в 1898 году.

Для внутрисемейного общения сына-первенца родители «переименовали» в Васюка и, как своему любимцу, многое позволяли, без окриков и наказаний. Природа, учитывая материнскую музыкальность, наделила его хорошим голосом, который, в положенное время, определился как баритон.

По некоторым сведениям, Василий, обучаясь в северной столице, в юнкерском училище, одновременно ставил свой голос у самого профессора Сильвио Эреварди.

Более того, семейная хроника Тарновских небезосновательно утверждает, что юный Василий вместе с Леонидом Собиновым выступал на большой сцене в опере «Евгений Онегин» — первый пел Онегина, второй — Ленского. Возможность такого события подтверждает совместная фотография друзей, снявшихся в юнкерских шинелях и фуражках. Утверждает также семейное предание, что выступали друзья дуэтом на императорской сцене в Петербурге, что, помимо столицы, пел Василий Тарновский в Киеве, в Милане.

Возможно, что сложилась бы у него надёжная, подкреплённая ангажементом, карьера певца, если бы он не женился, в 1894 году, на семнадцатилетней киевлянке Марии Морицовне О'Рурк, стремительно в его жизнь суматошную ворвавшуюся и ещё больше ей бедлама добавившую.



Леонид Собинов и Василий Тарновский. На обороте подпись: "Снимались с Ленией 3 Фврля в 1890 году. Москва. В память наших романсовъ и дуэтовъ"

Её отец, потомок ирландцев, осевших в России в восемнадцатом веке, был морским офицером, весной 1872 года вышел в отставку и переехал из Петербурга в Киев служить в аппарате Киевского, Волынского и Подольского генерал-губернатора. Здесь он женился на Екатерине Петровне Селецкой, дочери предводителя губернского дворянства, некогда измывавшегося словесно над Григорием Степановичем Тарновским, отказавшегося писать оперу «Мазепа» в соавторстве с Шевченко. Жили Селецкие на улице Лютеранской, в доме за номером тридцать три. Родители и братья называли Марию «Манюней» и под этим именем она была известна киевскому обществу.

Родители молодых людей первоначально на их брак не соглашались, рассматривая его, каждый со своей стороны, как неравный. По этой причине Мария с Василием обвенчались тайно, в сельской церкви под Киевом, позже получив родительские благословения.

Жизнь новобрачные повели самую что ни на есть невоздержанную, жили то в Киеве, то в Качановке — вплоть до её продажи, по результатам которой Васюк получил свою немалую долю. В 1897 году у молодых супругов родился сын, естественно, названный Василием, ещё через два года появилась на свет дочь Татьяна.



Постепенно умаляющиеся денежные средства столь же неспешно ломали семейные отношения молодых Тарновских. Васюк запил, Манюня — энергичная, изобретательная, привлекательная — занялась расчётливым подбором денежных любовников и в занятии этом весьма преуспела. Супруги постепенно перешли к самостоятельной жизни, каждый со своими романами на стороне. В это время покончил жизнь самоубийством семнадцатилетний брат Васюка, Пётр, дав поступком своим повод к слухам о причастности к гибели своей обольстительной невестки.

Кульминацией киевских походов Манюни стали события городской жизни 1904—1905 годов, стойвшие жизни двум её поклонникам. Одного из них, некоего Боржевского, ранил из револьвера Васюк, чувством ревности движимый. Мария надеялась, что мужа осудят, и она, вместе с чайной свободой, получит наследство, но присяжные ревнивца оправдали. Всё время судебного разбирательства любовник Манюни «лечился» в её объятьях в Крыму, но от раны не оправился — помер.

Ещё один претендент на руку и сердце фам фаталь по фамилии Штааль дал ей следующее письменное обязательство: *«Своим честным словом и всем, что осталось во мне незапятнанного и сильного, обещаю я, Владимир Штааль, перед Марией Николаевной Тарновской сделать всё, что она мне прикажет во время моего пребывания в Киеве. Заявляю, что буду действовать во имя той чистой любви, которая овладела всей моей жизнью»*. Это обещание во мнении Марии Николаевны ничего не значило, так как денег у Штааля было мало. В конце концов он застрелился у трактира «Версаль», тогда находившегося на углу Нестеровской и Фундуклеевской улиц.

После звучных любовных приключений, infernalная Манюня перестала обращать внимание на людские пересуды и пустилась во все тяжкия. По Киеву пошли слухи, что в городе не осталось ни одного состоятельного мужчины, которому бы роковая красавица не оказала своего интимного расположения.

Случившиеся коллизии окончательно порвали супружеские связи Марии Морозовны с опостылевшим ей Василием Васильевичем, и она занялась подготовкой к бракоразводному процессу, поручив представлять свои интересы на нём московскому адвокату Донату Прилукову. Тот был старше клиентки на семь лет, что не мешало ловкому адвокату («нанятой совести» — по Достоевскому) по уши в неё влюбиться, бросить семью и, прихватив из сейфа адвокатской конторы восемьдесят тысяч

рублей, отправиться с возлюбленной в Италию — в романтическую Венецию. Выкраденные Прилуковым деньги скоро иссякли, и Мария Морицовна стала высматривать новую жертву.

Таковая скоро определилась во образе графа Павла Евграфовича Комаровского, отдохавшего с супругой в этих благословенных местах. Манюня познакомилась с ними, прогуливаясь по венецианскому бульвару, подружилась с недомагавшей графиней, стала её советчицей в деле подбора лекарств.

Вдруг графиня скончалась весьма скоропостижно, и граф, уже по уши влюблённый в очаровательную киевлянку, спустя день после трагического события предложил ей руку и сердце. Более того, пребывая в любовной горячке, он застраховал свою жизнь на пятьсот тысяч франков в пользу покорившей его женщины и составил завещание, по которому посмертно отделял ей (это при своих здравствующих детях!) часть семейного имущества, а в случае смерти его малолетнего сына Евграфа — и его долю. Завершил свои любовные безумства граф Комаровский покупкой Марии Тарновской дома в Венеции.



Далее — детективная история, которая вполне могла бы стать сюжетом для романа Агаты Кристи. Дело завершилось запутанной интригой, в которую был вовлечён ещё один человек — знакомый графа, пьяница и неврастеник по фамилии Наумов. Он, по вызову Манюни и Прилукова, приехал в Венецию из Орла и застрелил графа.

События эти и их последствия подтверждает пресса той поры:

Газета «Русское слово» за 1907 год, раздел «Телеграммы наших корреспондентов».

Венеция. 23.08. — 5.09. *«Утром 22-го августа некто Наумов прибыл на гондоле к графу Комаровскому. Обманув бдительность прислуги, он проник в его спальню, произвёл в графа пять выстрелов и незамеченным уехал из Венеции. Граф ранен тяжело, но его жизни опасность не угрожает. Он заявил русскому консулу, что им получено несколько писем с предупреждением, что в Венецию прибудет русский с целью его убить, но значения письмам не придавал.*

Верона. 24.08 — 6.09. *«Русский подданный Наумов, ранивший сегодня в Венеции графа Комаровского, арестован».*



«Верона. 24. VIII — 6. IX. *Русский подданный Наумов, ранивший сегодня в Венеции графа Комаровского, арестован в Вероне.*

«Вена. 25.08. — 7.09. *Дело о покушении на жизнь графа Комаровского, положение которого, кстати, безнадежно, принимает сенсационный характер. Вчера венская*

полиция арестовала некоего Зейфера, прибывшего из Венеции. Как оказывается, граф Комаровский перед отъездом в Венецию, застраховал в Вене свою жизнь в полмиллиона франков по настоянию сопровождавшей его графини Марии Тарновской. Зейфер жил тогда в одном с ним отеле и тайно от Комаровского виделся с графиней Тарновской.

Полагают, что здесь дело идёт о широко задуманном преступлении, причём убийца, вероятно, рассчитывал воспользоваться страховой премией.

Графиня Тарновская уехала из Вены в Киев».

«Вена. 27.08. — 9.09. Арестованный по делу об убийстве графа Комаровского Зейфер оказался московским адвокатом Прилуковым, растратившим в Москве несколько тысяч рублей клиентских денег.

После того как полицией были предъявлены Прилукову собранные против него улики, он сознался в приготовлении убийства Комаровского. План убийства задуман был графиней Тарновской, его любовницей, а выполнен он был неким Наумовым, безумно влюблённым в графиню, который был, как полагают, слепым орудием в руках заговорщиков.

Раскрывающиеся детали этого преступления оставляют далеко за собой любой бульварный сенсационный роман».



Московский присяжный поверенный Донат Прилуков, игравший главную роль в убийстве графа Комаровского в Венеции

Газета «Новое время», рубрика «Внешние известия».

«Рим, 21 сентября. *Итальянские газеты сообщают, что при обыске в квартире Тарновской найдены были письма, из которых выясняется, что убийство графа Комаровского было лишь первым шагом на пути к получению наследства. Прилуков и Тарновская предполагали отделаться ещё от сына Комаровского, так как граф сделал завещание, по которому он, в случае смерти сына, отказывал всё состояние Тарновской. Тарновская думала воспользоваться для второго преступления каким-нибудь наивным мальчиком а la Наумов и совершенно не предполагала, что её первое преступление не пройдёт даром. Вся венецианская драма действительно достойна пера Габорио».*

Газета «Русское слово». Телефон. (От наших корреспондентов). Петербург.

30 сентября 1907 года. *«Из Вены сообщают, что австрийские судебные власти признали нужным извлечь из земли тело умершей год тому назад жены недавно убитого графа Комаровского. Исследования трупа показали, что несчастная графиня Комаровская умерла не естественной смертью, а была отравлена. Подозрение падает на графиню Тарновскую, которая была дружна с женою графа Комаровского и сопровождала её в Дрезден год тому назад. После этой поездки графиня Комаровская внезапно умерла».*

«Венеция. 21.12 — 3.01.1908 года. *«В местной тюрьме пыталась повеситься Мария Тарновская, привлечённая к ответственности по громкому делу об убийстве графа Комаровского. Тарновскую вовремя успели вынуть из петли».*

Газета «Московские вести». 22 октября 1908 года. Самоубийство Тарновской.

«Сведения, полученные родственниками Тарновской, печальной героини венецианской драмы, об её самоубийстве, оказались неверны. Мы запросили по этому поводу нашего корреспондента в Венеции и получили от него следующую телеграмму: «Тарновская жива и здорова. Содержится, как и её трое сообщников, в тюрьме. Ни самоубийства, ни покушения на самоубийство никакого не было».

Газета «Голос Москвы». 2 января 1909 года. За границей. *«Согласно телеграмме из Венеции, суд над убийцей графа Комаровского Наумовым и его сообщниками Тарновской и Прилуковым состоится будущей весной. Предполагалось покончить с этим делом в течение зимы, но задержкой явились русские власти, запоздавшие со справками, за которыми к ним обращался судебный следователь. Дело продолжает возбуждать живейший интерес; все главные газеты Европы и Америки намереваются во время процесса организовать специальное телеграфное сообщение с Венецией. За последние дни происходили допросы обвиняемых».*

Газета «Русское слово». Дело Тарновской. Рим. 27.07 — 8.08. 1909 года. *«Донат Прилуков настаивает на дополнительном следствии, вызове новых свидетелей по делу об убийстве графа Комаровского. Однако, судебные власти решили назначить дело к слушанию не позже декабря месяца, потому что, в случае исполнения требования Прилукова, дело затянется на целый год».*



Графиня Тарновская и Наумов. Фото из «Wiener Bilder»

«Петербургская газета». Дело Тарновской и Наумова. *«Нам сообщают, что нашумевшее в своё время дело об убийстве в Венеции Наумовым графа Комаровского, наконец, близко к окончанию Суд состоится в конце сентября. Между прочим, передают, что мать убитого — графиня Э.И. Комаровская, отказалась от обвинения Наумова, находя, что он, также как и её покойный сын, — жертва Тарновской. На суде предстоит обсуждение интересного вопроса: защитник Наумова будет доказывать, что его клиент был неоднократно гипнотизирован Тарновской в присутствии свидетелей».*

12 августа 1909 года. *К процессу об убийстве графа Комаровского. «Из Венеции телеграфируют, что третьего дня профессор психиатрии Феррара и директор психиатрической лечебницы врач Кавелети производили испытание умственных способностей Наумова, убийцы Комаровского. Психиатры признали Наумова слабоумным и поэтому не вполне ответственным за свои поступки. Как известно, Наумов убил гр. Комаровского по наущению Марии Тарновской. Решение экспертов будет иметь следствием уменьшение на половину наказания, если к нему будет приговорён Наумов».*

Газета «Русское слово». Вена. 25.09. — 8.10. *«Венецианские психиатры признали Наумова страдающим слабоумием и истеричностью, уменьшающим степень вменяе-*

мости, но не исключаяющим её вовсе. Состоялась очная ставка Наумова с Тарновской, полная драматических моментов. Наумов утверждал, что она внушила ему мысль убить гр. Комаровского и подробно развивала план убийства».

Вена. 21.12 — 3.01. «Процесс Тарновской назначен на 4-ое марта. Вызываются до 200 свидетелей».

Газета «Утро России». Венеция. 21. января. «По делу об убийстве графа Комаровского вызвано 50 свидетелей обвинения и свыше ста свидетелей защиты. Из них большинство вызывается из России».

Газета «Новое время». 26 февраля 1910 года. «Венеция. Процесс, героиней которого является графиня Тарновская, начинается 4-го марта нов. Ст. Среди многочисленных свидетелей 23 Русских и, между прочим, князь Трубецкой».

Газета «Голос Москвы». Телеграмма от 5 марта 1910 года. «Венеция. Началось слушание дела об убийстве графа Комаровского. Обвиняемые в гондолах перевезены в здание суда, которое окружает толпа народа. Прибыли корреспонденты многочисленных итальянских и иностранных газет. Публика допускается в зал по билетам. Подсудимых защищает 20 адвокатов. Подсудимая Тарновская — в глубоком трауре».

Газета «Утро России». 10 марта 1910 года. «Вчера в «Утро России» телеграф передал мнение итальянского гинеколога проф. Босси, являющегося в процессе Тарновской экспертом, о болезни подсудимой, которая, по его утверждению, страдает малоизвестной, но типичной женской болезнью. Под влиянием этой болезни у женщины развивается мания «уничтожения» своих любовников».

Газета «Новое время». 21 мая 1910 года. «Венеция. Дело Тарновской. Присяжные заседатели вынесли вердикт в 7 ч. 30 м. в. после трёхчасового заседания. В публике напряжённое внимание. Чтение вердикта оживлённо комментируется. Около 8 ч. между адвокатами начинается совещание. Входит Тарновская, в которой не замечено никакой перемены; Наумов и Прилуков удручены; Перье спокойна. Председатель объявляет, что Перье оправдана и даёт слово прокурору, который требует заключения в тюрьму: Наумова на 3 г. 4 м., Тарновской на 8 л. 4 м. и Прилукова на 10 л.»

Осуждённая Тарновская, после четырёх лет принудительных работ на соляных коях, была помилована. Позже до Киева дошли слухи, что в неё заочно влюбился американский миллионер и увёз её, уже свободную и независимую, к себе домой и женился на ней. Была ли Мария Николаевна счастлива и душевно спокойна в заокеанской жизни — неизвестно. Умерла она в 1947 году. Василий Васильевич Тарновский (Васюк) после революции эмигрировал в Германию, умер в Берлине в 1932 году и был погребён на кладбище русской общины.

Убиенный Евграф Павлович Комаровский был правнуком первого носителя графского титула, Евграфа Федотовича Комаровского, и тем для меня, коренного уманчанина, интересным, что в конце лета 1812 года он побывал в Умани, где, сопровождаемый графиней Софьей Потоцкой, осмотрел парк «Софиевка», в её честь созданный.

В ту пору наполеонова армия продвигалась к Москве и граф Комаровский, во исполнение поручения императора Александра I, отправился в Житомир главным ремонтёром — собирать и отправлять в действующую армию лошадей. Там, выбрав день-другой для отдыха, он и выехал в Умань и полученные там впечатления от парковых видов позже изложил в воспоминаниях.

От основанного графом Евграфом Павловичем Комаровским родового древа пошли обильные фамильные ветвления. В одном из них, начавшемся с первого Павла Евграфовича, очередного старшего сына родители называли попеременно то Евгра-

фом, то Павлом. Убитому в Венеции, в 1907 году, графу Комаровскому при рождении выпал черёд быть Павлом Евграфовичем.

Так вот — весной 2013 года, когда для своей новой книги писал очерк о семействе графа Комаровского и вёл с этой целью (в том числе) интенсивный интернет-поиск сведений о представителях его фамилии, в своей электронной почте однажды обнаружил письмо от (кто бы мог подумать!) Евграфа Павловича Комаровского.



Связавшись с ним, выяснил, что он нашёл в интернете моё имя как литератора, пишущего об Умани, о парке «Софиевка» — местах, где два столетия тому бывал прадед его деда. Выяснилось также, что мой новый знакомый является правнуком того самого венецианского Павла Евграфовича и что в родовой линии, которую не пресекла революция 1917 года, ему выпала очередь быть Евграфом Павловичем.

В сентябре того же года, в Москве, в институте мировой литературы, на презентации моей книги «Феномен Анциферова», я встретился с Евграфом Павловичем Комаровским, поговорил с ним обо всех, мною представленных в книге его предках.

Прощаясь, сделали групповой фотоснимок, на котором современный граф Евграф Павлович Комаровский — рядом со мной, первый слева.

Post scriptum

В 1910 году Валерий Яковлевич Брюсов, впечатлённый бурными похождениями Марии Морицовны Тарновской и судебным процессом над ней и её подельниками, написал повесть «Последние страницы из дневника женщины». Основой сюжета этого произведения, построенного в форме дневниковых записей главной героини Наталии, является загадочное убийство её супруга, совершённое ночью в её московском доме, и взаимоотношение новоявленной вдовы с парой её любовников. Первый из них — циничный и эгоистичный художник Модест, второй — наивный и романтичный студент-революционер Владимир, с которым, кстати, Наталия познакомилась во время экскурсионной поездки в Венецию.

Каждый из них требует от ставшей свободной возлюбленной признания его единственным и незаменимым, но та на такие претензии имеет свою точку зрения: *«Как это скучно! Мужчины не довольствуются тем, что мы им отдаем, и даже тем, что мы их любим. Каждому из них надобно, чтобы мы отдавались только одному ему и любили его так, как ему того хочется. Володя не понимает, что ему даже взять нечем того, что я отдаю в себе (душевно и телесно) Модесту, как и Модесту нечем взять того, что я отдаю Володе. Все твердят: я хочу тебя всю, но ни один не подумает, достаточно ли глубока и широка для того его душа!»*. Более того, для утверждения собственной женской независимости позволяет себе Наталия, во время вечерней прогулки по городу, принять ухаживания пьяненького и пылкого прохожего (окутавшего её облаком цитат из Байрона) и провести с ним, за двадцать пять рублей, ночь в номерах.

По ходу развития сюжета Наталия узнаёт от горничной, что Модест ухаживает за ней и в ночь убийства был у неё. Терзаемая ревностью и смутными подозрениями, Наталия пишет неверному возлюбленному отказное письмо, на которое тот отвечает встречным предложением провести прощальную интимную встречу. Её итоги настолько возбудили

героиню повести, что она простила Модесту как стороннюю интрижку, так и убийство мужа, в совершении которого признался её неистовый кавалер.

Второй любовник Наталии, студент Владимир, узнав о полученной отставке, застрелился, но недолго торжествовал его счастливый соперник — полицейские следователи «вычислили» и арестовали убийцу. В итоге Модест, в кандалы закованный, отправился на каторгу, а Наталия, сопровождаемая младшей сестрой (страстно, по-лесбийски в неё влюблённой!) отправилась во Францию. (Так порешил Валерий Брюсов, в личной жизни которого также было немало любовных приключений — со стрельбой и трагическими исходами.)

Post post scriptum

Игорь Северянин
Тарновская
(Сонет с кодой)

«По подвигам, по рыцарским сердцам,
Змея, голубка, кошечка, романтик, —
Она томилась с детства. В прейскуранте
Стереотипов нет её мечтам
Названья и цены. К её устам
Льнут ровные «заставки». Но — отстаньте! —
Вот как-то не сказалось. В бриллианте
Есть место электрическим огням.

О, внешний сверк на хрупости мизинца!
Ты не привлёк властительного принца:
Поработитель медлил. И змея

В романтика и в кошечку с голубкой
Вонзала жало. Расцвела преступкой,
От электрических ядов, — не моя!.. —
Тарновская».

Веймарн
1913, август





*Владимир Лукашёв,
Ирина Нестеренко*

«Нынче на умы недород». Интеллектуальное, нравственное оскудение общества, заметное сокращение в нём представителей homo sapiens при разрастании социально-биологического вида homo vulgaris и его предельно капитализированного подвида homo povus, полная незащищённость современного индивида от внешних безобразий, возмущений (вплоть до угрозы его жизни) побуждают меня избегать общезития, уходить от открытого общения с внешней человеческой средой и, отгородившись от неё, жить преимущественно в собственном внутреннем мире.

*«Мне всё одно — обратным оком
В себя я тайно погружён,
И в этом мире одиноком
Я заперся со всех сторон».⁶¹*

В то же время вынужденное аناхоретство побуждает меня, не терпящего умственного голодания, к расширению круга общения, к поиску духовно, нравственно близких мне сограждан, преимущественно из числа живших осознанно в самой читающей, самой литературоцентричной стране мира. Процесс такого поиска подобен аллегорической сценке из античной древности, в которой философ Диоген Сиракузский, среди бела дня бродивший с фонарём по городу, возглашал: «Ищу человека!», и психология такой двойственности в межчеловеческих отношениях объяснена мудрейшим из мудрейших, Иммануилом Кантом: *«Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком, то есть чувствует развитие своих природных задатков. Но ему присуще также сильное стремление уединяться».*

В процессе такого поиска подарила мне судьба встречу с изумительным Владимиром Анатольевичем Лукашёвым, истинным интеллигентом, человеком цельного характера, высокого нравственного и умственного уровня, уже с первого общения обаявшего меня своей утончённой мудростью и высокой духовностью, всей свежестью богатой памяти и прелестью беседы. Теперь, обменявшись с ним чувством взаимной симпатии и дружелюбия, в каждой нашей встрече переиспытываю счастливо всю радость интеллектуального общения в разнообразных сферах человеческого бытия.

«Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает; но и любовь — мелодия!» Ей, классической музыке (с пуш-



кинским ударением на втором слоге), в разделе оперной режиссуры и педагогики, с младых ногтей и по сей день служит беззаветно, преданно и совершенно блистательно профессор Владимир Анатольевич Лукашёв — художественный руководитель Национальной филармонии Украины.

Он — Мастер, — наградами отмеченный, громкими титулами и званиями увенчанный, благодарными учениками и последователями окружённый, оглянувшись назад, может с чувством заслуженного духовного самоутверждения и самоуважения оценить пройденную им часть творческого пути крылатой латынью: *«Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше».*

Смеет он — великий музыкальный искусник — гордиться высокого класса оперными постановками, им отрежиссированными — с разнообразностью форм и изысканностью стиля, характерностью персонажей, тонкостью психологии, прекрасным вокалом. Достоин он — пассионарный трудоголик — самых высоких похвал за большой личный вклад в восстановление начавшего было рушиться здания филармонии, в качественный рост её репертуара (с включением в него камерных опер, литературно-музыкальных спектаклей), в обновление и развитие вновь созданного симфонического оркестра филармонии.

В творческом активе Владимира Анатольевича — им сформированная система оперной педагогики, сочетающая в себе синтетические принципы режиссёрского искусства с новаторскими разработкам, давшая и поныне дающая отечественной сцене талантливых исполнителей, режиссеров-постановщиков, высочайшим пиететом отмечающих имя своего наставника — *«Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!»*

Он — высокой духовности, обаяния, мягкой деликатности, чуткого сердца личность — лучший из лучших представителей нашей (увы, стремительно умалющейся) интеллигенции и принадлежность к этому замечательному общественному сословию подтверждает качествами своего характера, безбрежной эрудицией, начитанностью, стилем и формой своего бытия, культурой межчеловеческих отношений. В нём — в его облике, в его глазах, лучащихся житейской мудростью, острым умом, всеобщей доброжелательностью, в его манере поведения, разрешения творческих и бытовых вопросов, участия в спорах и диспутах, в его всегда галантном (чем-то старинную куртуазность напоминающем) обращении с прекрасным полом чувствуется человек другого мира, другой эпохи, в пору которой он профессионально вырос и стал на творческое крыло.

Владимир Анатольевич — носитель больших знаний, хранитель величайшего объёма информации. Он — беседливый человек, мастер устного слова и его выступления в этом жанре (в том числе — экспромтом), будь то публичная лекция или пересказ некогда виденного-слышанного можно оценить старинным русским речением: *«Читал многие книги и весьма хорошую память имеет, ибо за многие годы бывшее может сказать, будто читает написанное».*

Послужной список наград и званий Владимира Анатольевича Лукашёва впечатляет протяжённостью и звучностью своей. В нём — ордена Ярослава Мудрого V степени (2006 год), «За заслуги» III (1998 год) и II (2012 год) степеней, медаль «За доблестный труд» (1970 год) и — от Украинской Православной Церкви — ордена «Святой Софии» (2000 год) и Святого Владимира» (2011 год). Их дополняют — Почётные грамоты Верховного Совета и Кабинета Министров Украины, благодарности Киевского городского главы, международные премии «Дружба», «Славяне», «Золотой Орфей». Он — «Заслуженный артист Украины» (с 1975 года) и «Народный артист Украины» (с 1985 года).

Имя Владимира Анатольевича Лукашёва вписано в «Украинскую Энциклопедию», в академический сборник «Творцы Украины», во многие другие справочные

издания. Решением Независимого Совета биографического Центра в Кембридже (Англия) профессор Лукашѐв — за заслуги перед музыкальным и театральным искусством Украины и за развитие международных культурных связей — был номинирован как «Человек 1998 — 1999 годов», а имя его было вписано в 27-ой биографический словарь этого почтенного учреждения. Ещё раз как «Человек года» он был титулован Американским биографическим институтом в 2012 году.

И всё же, главными оценщиками профессиональных заслуг Владимира Анатольевича Лукашева значатся его зрители, его *«охотные смотрельщики»* (в терминах петровской старины), ради которых он творчески трудится, облагораживая их внутренний мир, возвышая их духовно, обратная связь от которых — через зрительские эмоции — позволяет ему оценить меру успеха своего режиссёрского замысла, точность и качество его сценической реализации. Из них наиболее значимы для него представители их тонкой рафинированной части, могущие проникнуть в суть его авторских изысков, насладиться гармонией музыкального и драматического в оперной постановке, которые понимают и разделяют чувствования сценических героев, а в моменты трагических кульминаций переживают возвышенное удовлетворение и просветление, катарсисом именуемое.

Особый респект Владимиру Анатольевичу — от коллектива филармонии, чтущего своего мудрого гуру не только за благотворную атмосферу творчества, им вот уже более двух десятков лет творимую и удерживаемую, но и за добротворный стиль его руководства, за его человечность и простоту во взаимоотношениях, за его чуткость и тактичность. *«Служенье муз не терпит суеты»*. Для сотрудников филармонии всех рангов и категорий он — что отец родной, а они для него — что чада, сердцу его любезные. Всем им оказывает он милостивое внимание своё и бескорыстную заботу, все внутренние — рабочие и бытовые — проблемы разрешает исключительно бесконфликтными политичными приёмами, как на то русская поговорка указывает: *«Духом кротости, а не палкой по кости»*.

Часть первая. Немного о предках и фамилии, много — о малой родине

Владимир Анатольевич Лукашѐв — коренной харьковчанин, но малой родиной своей считает село Минки Валковского района (прежде — уезда), где в семье местного священника Даниила Фёдоровича Лукашѐва в 1907 году родился его отец, а в 1909 году — дядя Володя. Здесь отец Даниил отправлял свой пастырский долг с начала прошлого века вплоть до 1934 года, когда был репрессирован, отказавшись от предложения властей снять священнический сан гордой фразой: *«Я верую по убеждению, а не по принуждению»*.

О том, как складывался во времени род священников Лукашѐвых, сохранились весьма скудные сведения. Известно, что прадед Владимира Анатольевича, Фёдор Петрович Лукашѐв имел приход — Успенскую церковь в селе Двуречное Купянского уезда Харьковской губернии. После него это место занял его старший сын Астерий, предварительно отучившийся сначала в Купянском духовном училище, а после него — в Харьковской духовной семинарии.

Такие же ступени духовного образования прошли средний (Пётр) и младший (Даниил) сыновья отца Фёдора. Пётр, завершив учёбу, получил место священника Преображенской церкви в селе Великий Бурлук Волчанского уезда, Даниил стал, в 1907 году, настоятелем Покровской церкви в селе Минки. По рассказам старожилов Мин-



ки начались с дома, выстроенного в 1824 году козаком Миной — в уютной балке неподалёку от печально знаменитого Муравского шляха, от пересекающего его древнего оборонительного вала, давшего имя уездному городу Валки, в одиннадцати верстах от Минок расположенному.

В год поселения в этом селе Лукашёвых, на волне ещё не иссякшего революционного энтузиазма восемьдесят шесть семей крестьян-бедняков переселились в Бахмутский район, где по договору с местной помещицей приобрели часть её земель, на которых учредили вторые Минки. (С помещицей так и не рассчитались — помешала Октябрьская революция.)

Что касается происхождения фамилии, то образоваться она могла по классической схеме — от наименования населённого пункта, в котором жил фамильный учредитель. При этом само название исходного поселения также могло возникнуть по имени легендарного его основателя (как в случае села Минки). Возможно, по такой схеме возник посёлок Лукаши, и по сей день существующий в Барышевском районе Киевской области.

Впрочем, полагают некоторые краеведы, что название Лукаши населённый пункт мог получить благодаря своему местоположению — у изгиба реки (у её «луки»). Есть ещё версии зарождения этой фамилии. По одной — «лукашами» в Псковской земле именовались потомки старообрядца Луки, славившиеся как охотники-загонщики. По другой — в старинной Ингерманландии, ещё в пору матушки Екатерины, села именовались финским словом — «лукаши».

Если всё же взять за основу классическую версию генезиса фамилии, то хорошей иллюстрацией к ней, с важными сведениями об основном месте действия — Валками, даёт статья из апрельского номера «Киевской старины» за 1888 год, выкопировка из которой приводится ниже:

«... 13 ноября того же года писалъ къ Семену Львову в Бѣлгородъ «из Змеева Иван Ржевской, а в отписке его написано. Писалъ де к нему из Царевъборисова города Прокофѣй Коптев, ноября въ 10 день часу в третем дня прибежалъ въ Царевъборисов городъ из Красненского юрта донецкой козакъ Оскъ Полкопаев, а в распросе де ему сказалъ. Ъхалъ де онъ Оскъ с товарищем своимъ вверхъ по рекѣ: Донцу из Айдарского юрта в Красненской юртѣ, и какъ де они будутъ противъ рѣчки Боровой ноября же въ 7 день за часъ до вечера, и на устьѣ той рѣчки перелѣзло де татаръ человекъ с полтретяста и боши с Крымской стороны на Ногайскую сторону и пошли де тѣ татаровя въверхъ по рѣчки Боровой. Да онъ же де Оскъ сказалъ: какъ де онъ ѣхалъ по рекѣ: Донцу и ему де сказывалъ Сухоревского юрта козакъъ Ивашка Щедра. Ходилъ де онъ Ивашка на степъ для зверіного промыслу к речкамъ Кодару и к Каменной і виделъ де онъ Ивашка, на рѣчки Каменки противъ Айдарского устья кочюетъ де орда Нагайскихъ татар, а сколько де тѣхъ татаръ кочюютъ, и тово де онъ смѣтитъ не умѣл. Да тово ж числа сказалъ ему в роспросе Змиевской вестовщикъ Федка Холод. Прибежалъ де при немъ въ Царевъборисов городъ Царевъборисова города черкашенинъ Лазарка с реки Беремки с Соловарского мосту и сказывалъ де ему: перешли реку Беремку у Соловарского мосту татаръ человекъ со ста и боши, а чаётъ де тѣхъ татаръ приходу подъ Змиев и подъ Царевъборисовъ городъ и подъ Валки и подъ другіе государевы украинныя города.»

3 декабря того же года писалъ къ Семену Львову въ Бѣлгородъ «с Колонтаева Давидъ Протасов, а в отписке ево написано. В нынешнемъ де во 166 (1658) году ноября въ 23 день приходили в Колонтаевской уездъ в село Сеноклексевку татаровя и това сельца черкаса Лукаша порубили...»

7 ноября того же года писалъ в Бѣлгородъ к Семену Львову с Валокъ Семенъ Быков, а в отписке ево написано. В нынешнемъ во 16 (1658) году ноября въ 15 день ѣдити на сакму для своево скоту валковские казаки Демка Зиновев да Овилка Арѣхов с товарищи, а в Валкахъ де ему в распросе сказали: какъ де они будутъ на степѣ: Корчику, и наехали татарскую сакму выше острова Кургана, а по смѣте де татаръ человекъ со триста и боши, а пошли де тѣ: татаровя и животину взяли с черкасскихъ городов и пошли де к Берестовымъ Вершинам, а чаётъ де тѣхъ татаръ отъ большихъ людей...»⁶²

Конечно, упоминаемый в отрывке из старинной летописи черкас Лукаш мог только гипотетически быть основателем фамилии Лукашёвых, но прочая информация о событиях середины семнадцатого века интересна тем, что раскрывает множество интереснейших деталей быта поселенцев на будущей малой родине Владимира Анатольевича, коей в широком смысле является Валковская земля и возникший на ней город Валки, отметившийся в истории ещё до основания самого Харькова, до появления территориального формирования, именовавшегося Слобожанщиной (или Слободской Украиной).

Это было время последних Рюриковичей, когда южная граница ими сформированной державы очерчивалась цепочкой «украинных» городов, поначалу — Мценска, Алатыря, Новгород-Северского, Путивля, Белгорода, Оскола, Валуйки. Позже, уже при первом Романове — Михаиле Фёдоровиче, — к ним прибавились Курск, Ливны, Воронеж, Елец, Лебедин, совокупно образывавшие так называемую «Белгородскую черту».

На юг от них к самому Черному морю шли привольные степи, «диким полем» именовавшиеся. Оседлости в них не было никакой, по ним только, начиная с шестнадцатого века, ездили сторожа-станичники — подвижные предвестники недалекой уже русской колонизации. Им было запрещено сряду в одном месте не только ночевать, но даже разводить огонь, «*коли каши сварити*».

Это было время, когда Русь стяхнула с себя наконец татаро-монгольские «кайданы», но измелчавшие потомки некогда грозных завоевателей (прежде всего — их наибольший осколок, вновь сформировавшийся этнос крымских татар) долго еще продолжали быть для неё страшными соседями. Их загоны (чамбулы) проложили через степи нечто вроде дорог, по которым ходили грабить пограничные города — врывались в них, оставляя после себя только вытопанные поля и догоравшие деревни.

Таковыми путями-дорогами для воинственных кочевников в юго-восточных степях были шляхи Калмиусский, Изюмский и главный — Муравский. Во время своих набегов татары старалась обходить трудные переправы через реки, глубокие овраги, болота, хотя вместе с тем не страшились переплывать даже через такие широкие реки, как Днепр. Но задержки для них были неудобны главным образом на обратном пути, когда обремененные добычей и «ясырём» (пленными), они спешили уйти от могущей быть погони.

Муравский шлях шел, изгибаясь, между верховьями рек по водоразделу бассейнов Северского Донца и Днепра и, собственно, не был дорогом в полном значении этого слова. Подобно другим шляхам, это было только направление, по которому следовали татары — широкая, местами сужавшаяся полоса земли (в зависимости от рек, болот, трудно проходимых лесов), ведшая от Крымского Перекопа в самое сердце России, к Туле. И хотя всем было известно, где пролегал шлях, но вместе с тем никто не мог предположить, в каком его месте будут пробираться татары, на какой пойдут «перелаз». Только по следам коротконогих коней крымчаков («сакме») могли с опозданием узнавать поселенцы о приходе своих врагов.

Но все же татарам приходилось, дабы «*безвестно*» проскользнуть мимо станичников, пробираться лесами, болотами, переходить реки через «перелазы», за которыми особенно внимательно наблюдали станицы, высланные в степь следить за движениями татарских чамбулов. Около перелазов «*в крепких местах*» ставились иногда и сторожи — небольшие посты, силою в пять-десять человек, выдвинутые от пограничных городов где-то на полусотню вёрст и державшие между собою связь.

Станицы (или разъезды) посылались еще далее за сторожи вглубь степей для наблюдения за порученным пространством, иногда очень обширным. В особенно важных пунктах сторожи располагались в небольших приспособленных к обороне «*стоялых острожках*», в которых помещалось уже более значительное число ратных

людей. Такие острожки (хотя их защитники и переменялись чрез известный срок) можно, пожалуй, назвать первыми населенными пунктами, начавшими кое-где появляться «за чертой». Во всяком случае, обыкновенно они были предвестниками появления в данной местности жилого города и служили защитой пасек, ютившихся в укромных уголках.

Единственными, хотя и подвижными обитателями придонских степей были именно сторожа и станичники. По ним, проведывая «крымская вест», «пробежали» станичные головы, эти контролеры разведывательной службы, дети боярские, «ездоки» и «вожи». Ездили они на довольно далёком расстоянии от опорного Белгорода, шляхом «до Берестовой и до верх Орели и Самары» — конечных пунктов подконтрольной им полосы дикого поля. (Самара и Орель — притоки Днепра, Берестовая — Орели).

Время и обстоятельства потребовали переменить полукочевую пограничную службу на оседлую, найти такое место, где бы можно было поставить небольшое укрепление и поселить в нем хотя бы на летнее время ратных людей и уже оттуда следить за степью. Это дало бы возможность осветить «дикие поля» далее вглубь, ускорить доставку сведений в Белгород и, следовательно, в Москву, где сосредоточивались все «крымския и ногайския вест».

Такое место, представлявшее все выгоды, имелось, о нём, являвшем собой освещенный со временем прадавний защитный вал, просто забыли. Находилось оно в урочище Валки, первое упоминание о котором относится к 1571 году: «...да ехати к верх Мжа к Валкам, а от Валок переехати Муравский шлях». Упомянутая река Мож принадлежит к бассейну Дона, прочие реки и речки — Коломак с притоками, Орчик и други — к бассейну Днепра; по водоразделу между названными бассейнами и пролегал Муравский шлях

Об этом, перспективном сторожевом месте в 1636 году белгородский воевода Афанасий Тургенев доносил царю Михаилу Федоровичу:

*«А те де Валки ученины изстари, в крепких местах веден насыпной вал через Шлях от лесу до лесу, а леса де пришли ровни, большие, и меж-де тех лесов насыпной вал 3 версты, а ведены-де те Валки меж вершин польских рек Мжа и Коломака. А едучи-де от Белгорода Муравским шляхом по сакме к тем Валкам, по правую сторону вершина речка Коломак тянет в реку в Ворскол, а по реке Ворсколу и на той реке усть речки Коломака поставлен литовской город Платавой, ниже Валок верст с 50, а по левую сторону речка Мож тянет в Северский Донец. Оприч-де того урочища мимо Валок татарскаго проходу Муравским шляхом инога места нет и белгородские-де станичники ездят».*⁶³

Получив донесение Тургенева, «Государь сей отписки слушав, указал» послать сына боярского, или надежного станичного голову с чертежником, под прикрытием приличного конвоя, подробно исследовать урочище Валки и ближайшие к нему места. При этом ставились многие вопросы, на которые обстоятельно должен был ответить воевода. Кроме описания, приказывалось составить чертеж и на него нанести леса, реки, отметить место, где нужно было поставить острог, где находились татарские перелазы и прочее. И, самое главное, нужно было выяснить, будет ли польза от постройки острога, то есть «Крымским и Нагайским людям помешка будет ли».

После царева решения и последовавшего топографического описания перспективной местности, ещё десять лет не начиналась новостройка острога и города на татарской сакме. Толчком, её ускорившим, послужил опустошительный налёт крымцев зимой 1646 года (год в ту пору начинался с первого сентября), безжалостно похозяничавших тогда в Рыльском, Севском и Курском уездах. В Белгород был назначен новый воевода—Феодор Андреевич князь Хилков, человек энергичный, деятельный и заботившийся о безопасности вверенного его защите обширного края.

Узнав от станичников о существовании такого важного пункта на самом Муравском шляху, как Валки, воевода распорядился поставить на нем сторожевой пост из тридцати белгородцев для наблюдения и охраны от татарских набегов. Собственно говоря, земля, где были «те Валки», фактически не принадлежала тогда Московскому государству, а скорее татарам, куда их был, как говорилось в одной грамоте, «свободный приход».

Но на действия воеводы последовал совершенно неожиданно протест от другого соседа — на поставленный в урочище пост прислан был «лист из литовского городка с Полтавы» от её державца Яна Клосинского:

*«Наяснейшаго великаго господаря Владислава четвертаго с Божей ласки короля польскаго (следует подробный титул)... его королевскаго величества Ян Клосинский державца Пултавский и богацкый. Божю милостью великаго господаря царя и великаго князя Олексия Михайловича всея Руси самодержца... (следует подробный титул)... Тебе старшему над теми людьми которые тут вышли в поля дикия доведовишия я от сторожей державы моей (город, взятый на откуп) Пултавы которые перестерегаютъ шляхов татарских же (что вас людей московских на урочищу взерыбнаго рогу кильку сот человеков ест зачим умыслне посылаю посланцов моих до вас хотячи видет для какой причины кгрунт (землю) короля его милости пана нашего милостиваго наихали и в лиси становиши обрубилесе с яким умыслом и для якой причины ознаймите ми в пол и на пасеках и по дорогах подданным его милости пана краковскаго жебы не было, от вас кривды — затым вас Пану Богу поручаю. Дата с Пултавы дня 7 марта року 1646. Вам всег добра зычливый Jan Klosinsky Bogacscky y Pultawsky».*⁶³

Это письмо и перевод его воевода переслал в Москву, а в Полтаву (на запрос, на каком основании он занял землю польского короля) ответил, что белгородцы ни на чью собственность не посягают, поставлены на Муравском шляху «не для какого воровства и задору», а исключительно «для бережения от безвестнаго приходу воинских людей», что должно было быть и в интересах самой Полтавы». (Кстати, из письма Клосинского видно, что урочище Валки у полтавцев было известно под именем Взрыбьяго Рога.)

Разграничение земель между владениями Москвы и Польши происходило в 1638 году и Коломак в нижнем своем течении составлял уже границу между государствами, находившимися почти в непрерывной вражде. Впрочем, истинными хозяевами края всё ещё оставались татары, шнырявшие всюду и «скрадывавшие русских карaulыщиков».

На случай новой претензии со стороны соседа из Полтавы воеводе велено было «литовским людям говорить, что та земля Московскаго царства искони, вечно и с литовскою землею не сошлась». (Полтавский край попал в руки литовцев в 1331 году, но вернула в состав России по Андрусовскому миру — в 1667 году).

Выбрав подходящее место, князь Хилков приступил к постройке острога на верховье реки Мжа, на горе у озера, где оканчивался древний вал, в местности, окруженной большим лесом, неподалёку от «живой воды» и «ржавца» (озерца). В строительстве участвовал недолго — скоро уехал, оставив заканчивать работы Изосима Маслова, коего назначил первым валковским головою. Тому довелось наскоро достраивать так называемый «Валковский» (или «Можевский») острог и сдавать его «в эксплуатацию» новоназначенному воеводе — Льву Прокофьевичу Ляпунову.

Московские служилые и «жилецкие люди», поселенные по указу царя в построенном на Валках острожке и городе, не были первыми колонизаторами края. Ранее русского люда здесь обосновались пришельцы из-за литовского рубежа — черкасы, занявшиеся пчеловодством в окрестных лесах.

Указом второго Романова, царя Алексея Михайловича, личный состав Валковского острога был доведён до трёх сотен стрельцов, для которых внутри укрепления

возвели жилые избы, служившие также убежищем для посадского люда на время татарских налётов; был создан достаточный запас продовольствия и вооружения. В заключение указа рекомендовалось гарнизону острога *«жить с великим бережением, не отлучаться ни на охоту в леса, ни в гульбу»*.

Такое пожелание «верховного главнокомандующего» было равносильно приказу исправно нести охоронную службу, находясь при жерле вулкана, коим фактически тогда являлись Валки, далеко (за сто двадцать вёрст) находившиеся от Белгорода. И тем не менее, немалый труд подняли ратные люди, нёсшие здесь службу, — достроили город, острог, возвели церковь Успенья Пресвятой Богородицы, соорудили укрепления (в том числе в виде лесных засек) и, как могли, обеспечивали безопасный труд небольшому числу горожан.

Обработка земли ложилась тяжелым гнетом не только на малочисленное население первоначальных Валок, но и на жителей других окраинных (в терминах той поры — украинских) городов, подверженным частым нападениям татар. Постоянный страх угнетал психику жителей, не давал им возможности в полную силу вести бытовые дела, принуждая все силы тратить на возведение укреплений и несение трудной сторожевой службы.

На полевые работы можно было выходить, когда все кругом было тихо и о татарах не было никаких вестей от высланных в степь станичников. Даже в такое, будто бы, спокойное время воевода позволял выходить в поле только *«не малыми людьми с хищалами и всяким оружием»*. Выгонять скот на пастбище можно было только *«проведав про воинских людей дотряма»* и под сильной охраной. Пахарь шел за сохой с саблей на поясе и ружьем за спиной.

Но, несмотря на все предосторожности, татары умели так скрытно подкрадываться, так внезапно появляться, что работавшие могли ежеминутно ожидать их нападения. Оружие, что называется, не выпускалось из рук. При вести о появлении татар жители окрестных слобод переселялись в город, отсиживались в нем, а хлеб между тем зрел и высыпался. В случае неудачной атаки на валковских поселенцев, степняки исчезали так же быстро, как и появлялись, чтобы попытаться счастья в другом месте.

Но, помимо хищных кочевников, атаковали Валки и изменники-черкасы. В глухую февральскую ночь 1661 года к Валкам подошел, с отрядом силою около двух тысяч человек, полтавский полковник Фёдор Жученко, державший сторону Юрия Хмельницкого и с ним же передавшийся полякам. Нападавшие пошли па приступ, который осаждённые успешно отбили и *«изменников черкас побили многих людей»*.

Сверх тягот, вызванных беспрестанными атаками татар, осложняло весьма жизнь служилым и посадским людям отсутствие воды, вызванное неудачным расположением острога и города, поставленным далеко от речки. Жители Валок неоднократно просили перенести острог и город в новое место и, в 1685 году, получив царское позволение, приступили к переезду. В отправленной по его завершении челобитной говорилось, что *«валковские черкасы собрались с разных малороссийских городов»* и *«сами без помощи перенесли город и всякия крепости»*.

В это же время, где-то около 1660 года, оформилась как административная единица Российского царства — Слободская Украина, получившая, с центром в Харькове, полковое устройство: Острогожский, Харьковский, Сумской, Ахтырский и Изюмский полки. Валки были приписаны к Харьковскому полку, в составе которого пережили все, преимущественно печальные, события времени так называемой (по определению историков) *«Руины»*.

Следствием обострившихся во второй половине семнадцатого века внутренних междоусобиц стал массовый исход украинского населения с правого на левый берег Днепра, его укоренение на новых местах жительства. Люди шли от социальных неудач, от религиозного преследования со стороны католиков и униатов, от татарских

набегов, от коих надеялись получить защиту на Слобожанщине.

В 1765 году полковая Слобожанщина была реорганизована в Слободско-Украинскую губернию, а входившие в неё полки — в одноимённые уезды. В 1780 году это губернское образование было ликвидировано, но в 1796 году император Павел, сразу после смерти Екатерины II, восстановил его, добавив в его состав Купянский уезд Воронежской губернии.

И когда город Харьков, позже Валок появившийся, развился до громаднейших размеров, старинное острожное поселение, о котором прежде так заботилась Москва, обойденное железными дорогами, выросло, без особенной надежды на будущее, лишь до уровня небольшого уездного городка (что подтверждает его фотоснимок, сделанный на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков).



Часть вторая. Детство военное

Родился Владимир Анатольевич Лукашёв 7 мая 1936 года. Родители его, мама — Мария Александровна, отец — Анатолий Данилович, были, в терминах той поры, простыми советскими людьми. Вместе с ними жила бабушка Ефросинья Ивановна, жена недавно убитого священника — отца Даниила. Проживал в Харькове и дядя маленького Володи, его тёзка по имени. Родных людей стало на одного больше, когда через год у него появилась маленькая сестричка Лариса (Лара).

Детства полноценного — красивого, яркого, с наивной любознательностью маленького человечка, с яркими красками его первых впечатлений, остающимися алмазными крохами воспоминаний на всю оставшуюся жизнь — у Владимира Анатольевича не было.



Была только пятилетняя полоска детства изначального, со слабыми вспышками напоминаний о нём, оставшаяся во взрослой памяти, — прогулки с мамой по Шевченковскому садику, по городскому парку, домашние забавы с сестричкой...

Война оборвала детство малыша Лукашёва, вынудила его с мамой, бабушкой и недолго пожившей сестричкой провести полный срок оккупации фашистами Харькова — с 24 октября 1941 года по 23 августа 1943 года (с небольшим перерывом, после первого кратковременного освобождения города советскими войсками, в феврале 1943 года). Отец — инвалид по зрению — с началом военных действий был призван в Трудовую армию и находился вне Харькова.

«Дети войны.

Смотрят в небо глаза воспаленные.

Дети войны.

В сердце маленьком горе бездонное...»⁶⁴

Удивительным образом — порой, с точностью до эпизода — совпадают описания, детские ощущения страшных дней жизни в фашистской оккупации из уст Владимира Анатольевича с пересказом тех же дней, сделанных его землячкой и почти сверстницей, Людмилой Марковной Гурченко в книге «Моё взрослое детство». Вот как она описывает вход немецких захватчиков в Харьков:

«Немцы шли, ехали молча. Никакой радости, никакого ликования по поводу взятия крупного города не было. Все холодно, четко, равнодушно. На жителей они не смотрели. Смотрели вперед, насквозь. Мы разглядывали их дымчато-серую военную форму, лица, погоны. У некоторых под подбородками висели железные кресты. Впервые видели немецкие танки, тоже с крестами...»⁶⁵

Обе умалившиеся на кормильца семьи Гурченко и Лукашёвых оккупанты выселили из домов их довоенного проживания; тем и другим довелось устроиться в коммунальных комнатках других домов —



Лукашёвым на Сумской улице, в доме номер сорок шесть. Из этого дома хорошо были видны как сама улица, так и примыкавшая к ней площадь Дзержинского, со зданием областного комитета партии на ней (в нём захватчики разместили гестапо). К этому зданию в один из первых оккупационных дней фашисты в беспрекословном порядке согнали местных жителей на показатель-

ную публичную казнь тех, кто был (или не был) подпольщиком, но был выдан врагам предателями.

Здесь маленький Лукашёв испытал недетское психическое потрясение, долго сопровождавшее его в уже послевоенной жизни — казнь через повешение на перилах балконах молодых ребят. О такого рода зверствах пишет в книге «Россия в войне. 1941—1945» её автор — Александр Верт, британский журналист, всю войну проводивший в России в качестве корреспондента газеты «Санди таймс» и радиокompании «Би-би-си». В феврале 1943 года, во время краткого возврата Харькова советскими войсками он прилетел в город для подготовки репортажа о жизни его жителей под фашистскими оккупантами и, с их слов, описал картины зверского насилия над ними:

«...На углу Сумской улицы и площади Дзержинского стояло большое выгоревшее здание, в котором в дни оккупации помещалось гестапо. И вот несколько женщин стали взволнованно рассказывать, как в ноябре 1941 г. население созвали на площадь, чтобы зачитать объявление, а когда толпа собралась, несколько человек сбросили с балконов здания гестапо с петлями на шеях, привязав концы веревок к перилам балкона. В городе были предатели, они-то и выдали немцам этих «красных».⁶⁶

Раздел «Казни» есть и в книге Людмилы Марковны. В нём — не только о казнях, устраиваемых немецкими выродками (при соучастии коллаборационистов) на балконе здания гестапо, но и об их исполнениях на городском Благовещенском рынке, где палаческие сцены происходили с жуткой регулярностью:

«Главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, здесь устраивали «показательные» казни, расстрелы...

Операция «Партизан» была самая длинная, изуверская и... «торжественная». самого слова «партизан» немцы боялись патологически. Мужчин в городе было очень мало. Но и те немногие прятались по домам. Выходили только ночью. Носили в дом воду, выполняли тяжелые работы для семьи. К январю-февралю 1942 года в каждом мужчине немцам чудился партизан. К казни «партизан» немцы готовились, тщатель-

но режиссировали это «зрелище»... Сначала длинный приговор читали по-немецки. Потом так же длинно переводчик читал этот приговор по-русски с украинскими словами вперемешку...

Как только казнь бывала совершена, немцы быстро, прикладами в спину, разгоняли людей. Они боялись всяких бунтов, выступлений массы.

Я не могла смотреть, как выбивают скамейку и человек беспомощно бьется. Первый раз я еще ничего не знала. Я не знала, что такое «казнь через повешение». И смотрела на все с интересом. Тогда мне стало нехорошо. Что-то снизу поднялось к горлу, поплыло перед глазами. Чуть не упала. Потом я уже все знала... Я боялась повторения того состояния. Я уткнулась лицом маме в живот. Но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впилося мне в подбородок. Резким движением мое лицо было развернуто к виселице. Смотри! Запоминай! Эти красивые гибкие плетки, похожие на театральный стек, мне часто потом приходилось видеть. Их носили офицеры.

Тогда мне было шесть лет. Я все впитывала и ничего не забывала. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам».⁶⁵

Показательными казнями оккупанты не ограничивались, с германской педантичностью и изобретательностью они совершенствовали методы уничтожения мирных жителей. В январе 1942 года на улицах Харькова появился специальный автомобиль с герметичным кузовом, предназначавшийся для умерщвления горожан — газваген, прозванный в народе «душегубкой». В такой автомобиль с фургоном загоняли до полусотни человек, погибавших в нём в жутких мучениях из-за отравления угарным газом. Трупы удушенных петлёй, газом, расстрелянных мирных жителей, фашисты выбрасывали в речку Лопань, откуда жители брали (из-за неработавшего водопровода) воду для питья. Ходили за ней обязательно с кочергой, которой отталкивали от места забора воды плавающие тела замученных сограждан.

Уничтожали харьковчан фашисты не только пулями, виселицами, душегубками, но и, косвенно, царившим в городе голодом. Смертность от него была велика и, зачастую умершие от истощения (да и от других причин) оставались непогребёнными из-за одиночества, из-за слабосилия близких, соседей по дому, квартире.

Хождение, при наличии средств, за продуктами на Благовещенский рынок было для харьковчанина равносильно хождению по проволоке, с риском потери жизни в душегубке — из-за регулярных облав, проводимых гитлеровцами на этом главном городском торжище. Одну из таких облав описала, со страшными подробностями, Людмила Гурченко, успевшая вместе с мамой укрыться от карателей. Но голод гнал людей вновь и вновь, на рынок (на «грабилровку»), где у привозивших в города огородную продукцию селян можно было за хорошую вещь, на совершенно непаритетных началах получить буквально крохи съестного.

Ещё одним способом раздобыть еду было хождение изголодавшихся горожан по окрестным деревням «*на менку*». Такие вынужденные небезопасные экспедиции совершали и мама Люды Гурченко, и мама Владимира Лукашёва. Во время одной из них Лукашёву с сыном и дочкой Ларисой остановил у Холодной горы немецкий патруль. Лариса была блондинкой, совсем белёсой. Патрульный офицер вынул из портмоне своё фамильное фото, на котором была заснята его дочка, похожая на Ларису белокурая девочка, покачал головой, повторяя «киндер, киндер», и отпустил маму с дочуркой, выдав им на дорогу буханку свежего хлеба и ароматную миску горохового супа.

Тогда шли они на свою малую родину — в деревню Минки Валковского района, где хорошо помнили деда Даниила Лукашёва. Встретили минковцы дорогих гостей очень радушно — бывший церковный староста (ставший при новой власти просто сельским старостой) одноногий дед Макар пустил невестку сельского пастыря с детьми в свою просторную хату, жители принесли, кто сколько смог, еду.

В другой раз, уже после повторного захвата Харькова, Лукашёвы повторили ходку в Минки, но уже с другим развитием последовавших событий. На этот раз эсесовцы,

вместе с более их беспощадными власовцами, жгли сельские постройки. Заскочил немецкий офицер, вместе с подручным факельщиком в дом деда Макара, посмотрел внимательно на мать с детьми, покрутил на пальце револьвер, выстрелил для разрядки в большую макитру и оставил дом нетронутым. Село же было сожжено подчистую.

В первый раз советские войска вернули Харьков в феврале 1943 года. Тогда их наступление было плохо организовано — маленькому Володе запомнились красноармейцы в промокших валенках (об этом же пишет и Гурченко). Во время наступившей краткой передышки немного пришли в себя горожане, расслабились.

В эту пору шестилетний Володя Лукашёв и его друзья-пацаны собирали патроны, чуть подпиливали их и поджигали высыпавшийся на гильзу порох, после чего пуля неконтролируемо вылетала из патрона, как после выстрела. Во время одной из таких забав пуля попала Володе в ногу, скоро загноившуюся. Довелось маме малолетнего стрелка вести его в открывшийся красноармейский госпиталь, делать операцию, извлекать пулю.

«Это было при «первых немцах», а это было при «вторых немцах» — выражения знакомые всем тем, кто пережил войну в Харькове.

«Первые немцы» навсегда ушли. Пришли наши. Но бои за город продолжались, немцы стояли на окраине Харькова, в районе Холодной Горы. Нашим город пробыв около двух недель. В течение этих двух недель во дворе у нас был красноармейский госпиталь. Бесперывно возили тяжелораненых. Женщины-медсестры развешивали ряды бинты. А наутро, от мороза и ветра, бинты торчали колом во все стороны...

«Вторые немцы» шли, тесно прижавшись друг к другу, шеренгой от тротуара до тротуара. Они разряжали автоматы в малейший звук, в движение, в окна, в двери, вверх, в стороны...

Это были отборные войска СС. Звук кованых сапог, отрывисто лающая речь, черная форма и особенно отекающее «хайль» — ничего похожего не было у «первых немцев».

Немцы увели из нашего дома двух последних пожилых мужчин. Они действительно повсюду искали партизан или раненых красноармейцев, не успевших скрыться...

«Вторые немцы» объявили комендантский час. Кто появлялся на улице после шести часов вечера — расстрел на месте. За время оккупации было столько приказов, столько распоряжений и угроз, что бдительность у людей ослабела. Но когда после приказа о комендантском часе на следующее же утро на улице были убитые, стало ясно, что «вторые немцы» приказы приводят в исполнение. И после шести вечера город был мертвым. Только редкие выстрелы. Только звук железных подков».⁶⁵

При «вторых немцах» жестокости оккупантов не было предела — под корень было вырезано всё взрослое мужское население. Казни на рынке, облавы повторялись с мрачной регулярностью. Чудом увернулась от немецкого патруля в запрещённое время мама Гурченко. Как рассказывает Владимир Анатольевич, его с друзьями однажды, уже в дневное время, прихватил в развалинах патруль, от встречи с которым у него долго не заживал след от кованого сапога на филейной части.

Был ещё в его жизни эпизод, свидетелем которого он невольно стал во второе фашистское нашествие. Немецкий радист, сидя в поставленной во дворе дома машине и, видимо, пребывая в сентиментальном расположении духа, забавы ради позвал находившихся во дворе детей послушать радиоприёмник — настроился на волну советского радио и, не понимая ничего из слышанного, невольно позволил малолетним слушателям узнать последние новости из Москвы.

В конце августа 1943 года Красная армия окончательно и уже бесповоротно очистила Харьков от немецко-фашистской заразы. Вот как описывает это событие Людмила Марковна Гурченко:

«Это была совершенно другая армия. Не верилось, что за полгода может произойти такое перерождение. По нашей Клочковской к центру города опять вступала

армия. Наша Красная Армия! Да... Вот это армия! Танки, машины, солдаты в новой форме с иголки, в скрипучих сапогах. Это вам не валенки по мокрому снегу «хлюп-хлюп», как тогда, в феврале. Взрослые говорили, что это наши новые моторизованные части.

Второе освобождение Харькова у меня связано со вкусом и запахом акации.

Отовсюду жители несли солдатам большие букеты розовой и белой акации. В Харькове ее очень много. Она сладкая, особенно розовая. Я знаю, когда хотелось есть, прекрасно «шла» и акация...

Солнце и запах акации стояли над нашим освобожденным городом. Мне повезло доехать на танке аж до площади Тевелева, прямо на пушке!..»⁶⁵



И в эти счастливые дни освобождения города в семье Лукашёвы произошло страшное, трагическое событие. Мария Александровна, оставив детей, Володю и Ларису, со своей мамой отправилась в очередной раз в Минки в надежде заполучить какое-либо продовольствие. По дороге в село, попросившись на постой у незнакомых людей, она уснула в их доме и увидела будто бы вещей сон, в котором гибнет её маленькая дочь.

Мария Александровна почти бегом вернулась домой и здесь увидела страшные последствия действительно совершившейся трагедии. Шальная пуля, неизвестно кем выпущенная, влетев в комнату, ударила в висок Ларисы. Как свидетельствует Владимир Анатольевич, «сестрёнка пошатнулась, будто подрезанная былиночка, и, уронив головку на грудь, навсегда затихла».

Мама увидела мёртвую доченьку уже обряженной к похоронам, лежащей в гробу, на столе установленном. И был жуткий, нечеловеческий крик матери, её дикая истерика, в страшном порыве которой она, забывшись, обвиняла другую, собственную мать в том, что та не уберегла ей доверенную малышку.

Часть третья. Послевоенные годы, учёба, начало пути

Первого сентября 1943 года Людмила Гурченко и Володя Лукашёв пошли «в первый раз в первый класс». Она — в школу номер шесть, с преподаванием на украинском языке, «во дворе, прямо под балконом», он — в школу номер тридцать шесть, что на улице Совнаркомовской (с преподаванием на русском языке). По-разному в послевоенное время начали талантливые харьковские подростки и музыкальную часть своего жизненного пути. Людмила, заработавшая первые успехи в концертах перед участниками войны, в воинских частях скоро стала, параллельно с учёбой в общеобразовательной школе, учиться в харьковской музыкальной школе имени Бетховена.

Владимир же, отличавшийся певучестью с самого малолетства, полностью перешёл в специализированную музыкальную школу-интернат. (К этому времени он практически стал завсегдаем городского оперного зала). Это случилось после его певческого выступления, под собственный аккомпанемент на трофейном аккордеоне (ему подаренным, вернувшимся с войны родным дядей Володи) на избирательном участке, по традиции устроенном в школе. Его выступление услышал преподаватель музыкальной школы-интерната, Рафаил Арнольдович Полонский, и предложил юному таланту сменить место учёбы.



Музыкальная школа-интернат была учреждена в Харькове летом 1943 года, сразу после освобождения города от фашистов, по инициативе подвижника от музыки Владимира Андреевича Комаренко, ставшего её первым директором. Прежде всего, его усилиями в школе были организованы симфонический оркестр, хор мальчиков, духовой оркестр и ансамбль скрипачей. Директорствовал в ней Владимир Андреевич до 1949 года, после чего его сменила Людмила Александровна Карпова, при которой юный Лукашев завершил, в 1955 году, начальное музыкальное образование по классу сольного пения и хорового дирижирования.

Так начался долгий творческий путь будущего оперного маэстро, на котором он, энергией и волей, талантом и любовью к музыке движимый, неизменно достигал очередной ступени мастерства и, продвигаясь к следующей, сохранял навсегда в благодарной памяти своей светлые образы педагогов, его учивших и наставлявших, друзей-товарищей по оперному цеху, ему сопутствовавших на очередном отрезке его дороги жизни.



Сохранился фотоснимок 1955 года, на котором ученик последнего класса Лукашев (он — справа) представлен с одноклассниками — стоящим в центре Семёном Аркадьевичем Гашинским (будущей первой скрипкой Свердловского оперного театр) и Игорем Аркадьевичем Гельманом (сыном настройщика фортепиано). Последний, уже как композитор Цветков (по фамилии первой, недолго пожившей жены-блокадницы), очаровывал моё поколение своими удивительно красивыми мелодичными песнями, коих — одна другой краше — немало, из которых песня «Золушка» (на слова Ильи Резника, в исполнении неповторимой Людмилы Сенчиной) стала прекрасным символом прекрасной эпохи:

«Хоть поверьте, хоть проверьте,
Но вчера приснилось мне,
Будто принц за мной примчался,
На серебряном коне.
И встречали нас танцоры,
Барабанщик и трубач,
Сорок восемь дирижеров,
И один седой скрипач...»

Игорь Аркадьевич, окончив в 1960 году Харьковскую консерваторию по классу профессора Владимира Николаевича Нахабина, перебрался в Ленинград, где некоторое время работал пианистом-концертмейстером. Далее, став сотрудником института культуры, возглавил вновь созданную кафедру духовых и эстрадных инструментов, получил профессорство на кафедре оркестрового дирижирования. В своём творчестве, помимо песен (к спектаклям Аркадия Райкина, к кинофильмам «Влюблён по собственному желанию», «Табачный капитан», «Воздухоплаватель» et cetera) писал симфонии и музыку для оркестров народных инструментов.

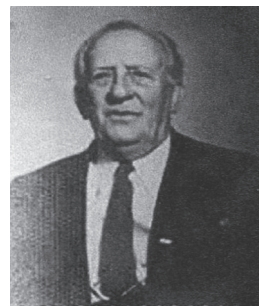
О нём Дмитрий Дмитриевич Шостакович говорил: *«Цветков сам не знает, как он талантлив»*. Скончался Игорь Аркадьевич в 2000 году, на шестьдесят пятом году жизни, оставив после себя людям свои изумительные песни; в память о друге его коллеги по институту, Вадим Давидовичем Бибоган, написал музыкальную пьесу «Любимая мелодия».

Как и «одноклассник» Игорь, Владимир Лукашев также поступил в Харьковскую консерваторию, имевшую на то время (вместе с входившей в её состав оперной сту-

дией) звёздный состав педагогов, выдающихся мастеров своего дела, людей высокой интеллигентности. В их числе — дирижёр Израиль Соломонович Штейман — знаток и тонкий интерпретатор творчества Вольфганга Амадея Моцарта, Леонид Фёдорович Худoley — тогда главный дирижёр Харьковской оперы, главный концертмейстер Мария Мироновна Жилина, «руками и сердцем» которой были «взлелеяны» все лучшие вокалисты Харьковской школы, главный хормейстер Дора Абрамовна Гершман — глубокий знаток театральной специфики хорового исполнительства.

Здесь в ту творческую пору царил дух интеллигентности, деликатного взаимоотношения преподавателей и учеников, любовь и преданность музыкальному искусству. Судьба подарила Владимиру Лукашёву счастье попасть в класс знаменитого профессора Павла Васильевича Голубева, заниматься с ним и его ассистенткой, Еленой Павловной Ломакиной-Петровой.

Павел Васильевич Голубев, 1883 года рождения, в 1906 году окончил Харьковское музыкальное училище Российского музыкального общества по классу Федерико Богамелли. Далее — вплоть до перехода, в 1926 году, в Харьковскую консерваторию преподавал в этом училище. Под его началом бывший инженер-строитель, Борис Романович Гмыря, в 1939 году получил консерваторское образование и был благословлён учителем на блистательное песенное исполнительство (К слову, когда инженер Гмыря поступал в Харьковскую консерваторию, приёмная комиссия ужаснулась, узнав, что он совершенно не знает нот, через год учёбы он стал первым по значимости студентом, а через четыре года — мировой знаменитостью.)



У профессора Голубева шлифовал своё, природой дарованное вокальное искусство, Николай Фёдорович Манойло, с которым (земляком и будущим сокурсником) Владимир Лукашёв познакомился в дни вступительных экзаменов. Николай Фёдорович, 1927 года рождения, был уроженцем хутора Манилы, приписанного к Минковскому сельскому совету. После освобождения Харьковщины от фашистов он пахал колхозные поля, срочную военную службу проходил в Группе Советских войск в Германии. Там, благодаря своему изумительному голосу, стал примой военного хора, в котором и задержался ещё на пару лет, сверх положенных обязательных трёх.

В Харьковскую консерваторию демобилизованный Манойло поступал основательно сформировавшимся певцом, не особо беспокоясь о строгостях вступительных экзаменов. Так, на экзамене по немецкому языку на предложение преподавателя рассказать какое-то грамматическое правило и прочитать испытательный текст отставник Манойло сделал встречное предложение — спеть из немецкой музыкальной классики. Исполнил шубертовское «Я не сержусь» и получил от изумлённой «немки» твёрдое «пять». С тем же подходом к экзаменатору и результатом сдал он экзамен по истории, проявив её песенное знание: «Скажи мені правду, мій добрий козаче...»

Отучился Николай Фёдорович в консерватории только четыре года, после чего был зачислен в штат Харьковского академического театра оперы и балета, где дебютировал партией Фигаро в «Севильском цирюльнике», исполнив за всё время театральной деятельности (в том числе в зарубежных гастролях) под три десятка ведущих партий. Более того, имея в личном репертуаре богатый запас произведений советских, русских и украинских композиторов, Манойло много раз радовал харьковчан своими роскошными концертами. Начиная с 1980 года, и до кончины, случившейся в 1998 году, Николай Фёдорович преподавал в Харьковском институте искусств, заведовал кафедрой сольного пения.

По рассказам Владимира Анатольевича, как певец, Манойло был тенором с полным верхним «до», но ко времени поступления в консерваторию с его голосом произошла



вторичная мутация и ему стали доступны ноты нижнего регистра с динамическим наполнением. Случилось редчайшее природное явление — став баритоном, Манойло сохранил от тенора свободное верхнее «си» и «до».

Творческое содружество Лукашѐва с этим замечательным человеком стартовало ещё в годы общего студенчества, когда Владимир Анатольевич стал соавтором слов песни о Харькове, а обаятельный Манойло исполнил её (что подтверждает представленный фотоснимок). Прекрасный союз режиссѐра и певца действовал ещё много лет и, если коротко, в постановках Лукашѐва выдающийся певец (песенный символ Харькова!) пел партию Грязнова в опере «Царская невеста» (и в оперной студии, и в оперном театре), партию Князя в «Чародейке», пролог и партию Тонио в «Паяцах», солировал в расширенной постановке (с симфонической сюитой композитора Германа Жуковского, на слова Льва Ошанина) в «Волжской балладе» ...

Ещё одним сотоварищем Лукашѐва по консерватории, с которым у него установилась пожизненная дружеская и духовная связь, стал его одногодок Виктор Васильевич Женченко, уроженец Полтавщины, родившийся и воспитывавшийся в учительской семье. После выпуска он пел (басом) в театрах оперы и балета Донецка и Ташкента, а с 1965 года двадцать лет был солистом Киевской филармонии, после чего переменял музу — посвятил себя талантливо поэзии, стал членом Союза писателей Украины, однодумцем в поэтическом творчестве и коллегой по общественной работе замечательного украинца, Бориса Ильича Олейника (Олійника).



«...Я з квітів тих, що вранці над Сулою
дарують келихи ромашкового щему.
Я з вишень тих, що з кожною весною
плетуть вінки полтавським нареченим...
Я з тих пісень, що пахнуть полем, бодем,
билинно гордим хліборобським родом.
З джерел цих п'є моя смаглява доля
дзвінку,
цілющу,
найсвятішу воду!»

Занимаясь у профессора Голубева, студент Лукашѐв искусство танца, сценического движения и стиливого этикета постигал у Елизаветы Николаевны Толкачѐвой (бывшей прима Харьковского театра оперы и балета) и в деле этом преуспел настолько, что наставница ввела его в балетную труппу театра, где он некоторое время исполнял танцевальные партии второго плана.

Впрочем, ограничившись только балетным дебютом, юный танцовщик скоро отошёл от прямого участия в искусстве танца, строго от течения времени зависимого, но полученный хореографический задел использовал для самостоятельных постановок танцевальных сцен в своих будущих оперных постановках.

Уже первые партии, спетые начинающим тенором Лукашѐвым в оперной студии консерватории, показали наличие у него творческого его, стремления выказать в каждой им игранный роли своё её видение — оригинальное, привлекающее внимание умного зрителя. Таковым было его собственное прочтение череды ролей — Бомелия (в «Царской невесте»), Ленского (в «Евгении Онегине»), Левко (в «Майской ночи»), Депутата (в «Дон Карлосе»), Друга Альберта (в «Жизели»), Половчанина (в «Князе Игоре») и многих, многих других.

По принятой в консерватории методике обучения студентов, те обязаны были каждый семестр на устраиваемых для них академических концертах показывать (точнее — доказывать) в своих выступлениях приобретённые музыкальные навыки. В одном из таких концертов 1959 года студент четвёртого курса Лукашёв взялся исполнить неаполитанскую тарантеллу Россини, но сей чудный замысел чуть было не погубил вдруг заболевший аккомпаниатор. Выручила заведовавшая библиотекой консерватории Алла Михайловна Карпова, давшая, после пары-тройки репетиций, начинающему певцу и своему (с 1962 года) грядущему супругу прекрасное фортепианное сопровождение его концертному номеру, добавившая своим соучастием темперамента и трепетной нежности его пению.



Ещё до этого «концертного эпизода» знал студент Лукашёв, зачавший в библиотеку не только для обмена книг, что её хозяйка, выпускница Харьковского библиотечного института, прежде интеллектуального погружения в книжные глубины, три года училась играть на фортепиано в музыкальном училище, но была вынуждена оставить его из-за брюзги учительницы, реагирующей на всякий огрех ученицы едкими репликами и определениями.

Впрочем, такой расклад «житейского пасьянса» в судьбах пары молодых людей оказался благостным не только для их семейной жизни, но и назидательным для педагогических норм будущего профессора Лукашёва, использующего в обучении студентов приёмы доброго наставничества, поощрения, выявления их способностей, усматривающего в психологическом подавлении ученика профессиональную несостоятельность его учителя.

Переходу от оперного пения к оперному режиссёрству, наметившемуся ещё в студенческую пору, Владимир Анатольевич обязан судьбоносному для него общению с народным артистом России, актёром Синельниковской театральной антрепризы Василием Михайловичем Аристовым, известным актёром и режиссером Харьковского театра Русской драмы, работавшим в то время и в оперной студии. В его театральном репертуаре было более двух сотен сыгранных ролей и большое число постановок драматических спектаклей. Духовно изысканный, высоко эрудированный, чрезвычайно деликатный человек, он с величайшим почтением относился к театральному делу, знал основные фундаментальные труды по истории театра, многое декламировал наизусть.



Василий Михайлович подметил у студента Лукашева не просто музыкально-драматический подход к пению, но и стремление создать на сцене цельный образ, дополнить исполнение характерностью, тонкой детализацией, жизненными и историческими нюансами. По этой причине опытный режиссёр пригласил молодого певца ассистентом в собственную постановку оперы Александра Сергеевича Даргомыжского «Русалка», взяв на себя разработку музыкальной драматургии. Своё предложение мэтр Аристов сопроводил пророческими словами о замеченном им в молодом коллеге режиссёрском таланте, о его больших творческих перспективах в искусстве оперы: *«Я полагаю, что с вашими способностями и музыкальными знаниями вы можете стать больше певца — режиссёром. Вот я сейчас ставлю «Русалку» и ловлю себя на мысли, что с либретто оперы и её драматургией смогу справиться, а с музыкальной частью — нет. А вы сможете!»*

Лиха беда начало. С первым режиссёрским заданием молодой Лукашев справился, что называется, *«на ять»* и, самое главное, понял и оценил на будущее суть и содержа-

ние своей жизни в опере, одолев тем самым принципиально значимую ступень своего жизненного пути. Казалось, судьба всемерно благоволит Владимиру Анатольевичу, даруя ему одну удачу за другой, если, конечно, полагать, что удача приходит, прежде всего, к тому, кто к ней основательно подготовлен, кто настойчивостью и трудами египетскими добивается поставленной цели и, достигнув её, даёт своему эго новое целеуказание, руководствуясь кредо, что достигнутое — не догма, а только руководство к новому поиску.

На основе такого принципа, развивая первый творческий успех, выпускник консерватории 1960 года Лукашев в том же году поступил (как уже имеющий высшее образование) сразу на второй курс Харьковского театрального института, режиссёрский факультет которого завершил в 1964 году дипломной постановкой оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Царская невеста». Ныне, обращая ретроспективно взгляд в прошлое, можно только подивиться и восхититься составом её исполнителей, впоследствии в отечественном оперном искусстве просиявших.

Так, партию Любаши исполняла будущая ведущая солистка Днепропетровской оперы и будущая народная артистка Советского Союза Нонна Андреевна Суржина, партию Марфы — ставшая со временем солисткой Пермской оперы и народной артисткой России Лилия Антоновна Соляник, боярина Грязного пел Виктор Николаевич Тришин, вскорости — солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, партия боярина Лыкова была отдана Виктору Григорьевичу Ломакину — будущему солисту Харьковской оперы, заслуженному артисту Украины.

Говоря об опере «Царская невеста», хочется напомнить, что в пору создания своих оперных шедевров (на рубеже веков) композитор Римский-Корсаков определился во взглядах на оперу как на музыкальное произведение, где вокальному исполнению должно принадлежать первое место. Такой взгляд на оперное искусство держался довольно долго, более того, даже оформление сцены имело весьма скромный предметный набор — к примеру, типовой кабинет, типовой пленэр, типовая царская палата или опочивальня и так далее.

Со временем, шаг за шагом, в прогрессирующей театральной среде жанр оперы стал оцениваться как произведение искусства, равноправно сочетающее в себе вокальную и драматическую части, и эту точку зрения возвёл в свой творческий принцип начинающий режиссёр Лукашев, реализовав его уже в своём оперном дебюте, в дни завершения своего студенчества. К своему оперному «первенцу» Владимир Анатольевич возвращался ещё дважды, каждый раз давая ему новые режиссёрские решения.

Если в первой постановке «Царской невесты» в основу сценографии был положен образ кондово-деревянной Руси середины шестнадцатого века, то во второй — главной темой стала трагическая судьба женщины в годы царствования Ивана Грозного, а в третьей (и поныне действующей) — представлена «жизнь Руси под топором» при самом кровавом из Рюриковичей.



Готовясь ко второй постановке, Владимир Анатольевич съездил в Александровскую слободу, бывшую некоторое время резиденцией грозного царя, дабы на месте оценить её не только внешне, но и по малоприметным деталям восстановить для себя дух жизни этого поселения в ту давнюю пору. Такого рода начальным подходом к сценической работе Владимир Анатольевич заявил об одном из важнейших профессиональных качеств своего режиссёрского дара — умение «входить» в эпоху оперного действия, изучать все особенности её истории и быта совместно с артистами, участниками своих постановок.

Много позже эту сторону режиссёрского стиля Владимира Анатольевича благодарно поминала прима Харьковского театра оперы и балета Елена Викторовна Рома-

ненко: *«Когда с нами работал режиссер Владимир Анатольевич Лукашѐв, то прежде чем начать конкретную сценическую работу, он две репетиции как минимум отводил на то, чтобы рассказать нам о том времени, в котором происходит действие оперы. Приносил фотографии, снимки, литературу. И у нас уже складывалось представление, где находится наш герой, что он должен делать, как относиться ко всему».*

В синтезе музыкального и драматического, с тщательной проработкой бытовых, исторических, национальных деталей была поставлена Владимиром Анатольевичем — в дни работы в оперной студии Харьковской консерватории — опера Бедржиха Сметаны «Проданная невеста», ставшая для начинающего оперного режиссѐра знаковой, выдвинувшая его в круг оперной элиты Украины. Получил он за неё звание лауреата Первой премии на Республиканском смотре-конкурсе учебных театров Украины, после чего спектакль был вывезен в Киев и с успехом представлен театральной общественности столицы.



Позже, в середине семидесятых годов, уже работая Харьковском театре оперы и балета (с 1968 года), его главный режиссѐр и художественный руководитель Лукашев (с 1973 года), участвуя в работе творческой лаборатории Бориса Александровича Покровского, созданной при Большом театре, выкристаллизовал окончательно свою творческую веру, созвучную выписанному великим учителем оперы её канону.

В нём — понимание театральной природы оперы, которая *«особыми способами, доступными только ей, участвует в познании мира, но в первую очередь занимается человековедением»*, о *«главном признаке оперы — драматургии»*, о неразрывности *«взаимосвязи музыки и драмы»*, о необходимости отмежевать оперу как от *«музыки вообще»* — симфонической, эстрадной, так и от драматического театра, где музыка, по мнению главного оперного теоретика, может быть использована лишь как *«краска для проявления драматургии пьесы»*, тогда как в опере она, преобразуя драму, *«и сама преобразуется, превращаясь из бессюжетного искусства в двигатель и средство выражения духовной подоплѐки, причинности и смысла конкретного действия, события, факта, поступка»*. И, подводя итог своему оперному основоположению, определил Покровский оперного режиссѐра как *«музыканта, музицирующего действием... осуществляющего оперный синтез, предусмотренный автором»*.



Такого рода синтез полтора десятка лет осуществлял в оперных постановках Владимир Анатольевич, став, с 1973 года, главным режиссѐром Харьковского театра оперы и балета имени Николая Витальевича Лысенко. В составившемся за эту пору творческом багаже мастера — шедевры оперной классики, монументальные полотна: «Чародейка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского, «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина, «Аида», «Травиата», «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе, «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, многие из которых ставились им неоднократно и всегда с новым прочтением и неизменным успехом.

Ещё одна знаковая фигура советской поры театрального искусства — эстонский режиссѐр-экспериментатор, актѐр, общественный деятель Каарел Кириллович Ирд. Находившийся под его творческим крылом Тартуский театр Ванемуйне был тем уникален, что сочетал в себе оперу, оперетту, балет, спектакли для детей и юношества.

Постановки Каарела Кирилловича держались годами, шли с аншлагами, вопреки всем естественным проблемам театра маленького городка; более того, его театр

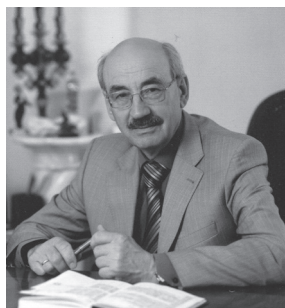


обслуживал не только город, но и окрестности в радиусе ста километров. У этого замечательного человека гащивал Владимир Анато́льевич, обменивался творческим опытом, наращивал свой интеллектуальный запас, согласно кантовскому правилу: *«Всякое общение, которое, не возвышает, тянет вниз, и наоборот»*.

С особым мастерством и блеском воплощал режиссер Лукашѐв (часто в первопрочтении) оперную драматургию XX века: Юлий Сергеевич Мейтус — «Молодая гвардия», Александр Иванович Билаш — «Прапорonoсці», Александр Николаевич Холминов — «Оптимистическая трагедия», Антонио Эммануилович Спада-веккиа — «Овод» и «Хождение по мукам», Дмитрий Львович Клебанов — «Маѐвка», Виталий Сергеевич Губаренко «Нежность»...

Всего же за двадцать два года работы в Харьковском театре оперы и балета режиссѐр-постановщик Лукашев осуществил около сорока оперных постановок, даже краткое описание которых требует немалого времени и книжного пространства (по-сему почитатели его творчества для утоления своего любопытства могут обратиться к специальным справочным изданиям, равно как и для ознакомления с перечнем подготовленных Владимиром Анато́льевичем учеников, с его научно-методическими разработками). Суммарно — это был его воистину творческий подвиг, и если когда-либо кто-либо из особых знатоков оперы, меломанов мог заметить в его постановках что-либо безупречное, то, как гласит шекспировская сентенция, *«слабости его не затмевают его достоинств»*.

Часть четвёртая. Киевская пора



Последние семь лет своего харьковского периода творческой жизни профессор Лукашѐв проработал первым проректором института культуры, после чего *«им овладело беспокойство, охота к перемене мест»*. Такие настроения возбудил в нём Дмитрий Иванович Остапенко, выпускник Харьковской консерватории начала семидесятых годов, которому Владимир Анато́льевич, тогда проректор этого учебного заведения, подписывал выпускной диплом, с которым — скоро ставшим генеральным директором Харьковского театра оперы и балета — у его бывшего педагога скоро установились хорошие, плодотворные отношения.

Они не потерялись (а только усилились) после назначения, в 1992 году, Остапенко на должность директора Киевской филармонии, в которой он наилучшим образом себя проявил. Сумел он, наперекор лихолетью начала девяностых, отстоять само существование филармонии (в том числе от лихих наездов державных и недержавных рекетиров), добиться для неё звания «Национальной», что, помимо увеличившихся представительских достоинств этого почтенного культурного заведения, дало заметное повышение зарплаты её сотрудникам. И — самое главное — активно приступил он к устранению последствий природного лиха, вдруг начавшего рушить здание филармонии.

Здание это было выстроено в 1882 году по проекту архитектора Владимира Николаевича Николаева для нужд и за средства купеческого сообщества Киева. В послереволюционные годы оно использовалось самым разнообразным образом: Пролетарский дом искусств, клуб «Большевик», Дом коммунистического просвещения, Всеукраинский радиокомитет, Дворец пионеров и октябрят; в годы фашистской

оккупации Киева, здесь размещался офицерский клуб оккупантов — «Дойче хауз» («Немецкий дом»). В послевоенные годы в помянутом здании прочно обосновалась республиканская филармония.

Как свидетельствует глубокий знаток киевского прошлого, Виталий Ковалинский, архитектурный шедевр Николаева четырежды оказывался под угрозой сноса: *«Первый раз — в 1932-м, когда думали создать огромнейший парк культуры и отдыха от Днепра до Софийского собора, второй раз — в 1944 г. при рассмотрении проектов восстановления Крещатика, третий раз — в 1955-м, когда предлагалось на месте филармонии построить библиотеку, четвертый — в 1970-е, чтобы здание не мешало восприятию строившегося Музея Ленина (Украинский дом)».*

Пятая по счёту угроза исчезновения здания возникла в начале девяностых годов ушедшего века, когда оно вдруг, стремительно проседая, начало уходить в грунт и неодолимая сила слома старинного строения стала корёжить его внутренний декорум, его малые архитектурные формы, вырывать из основания колонны зрительного зала. Выяснилось, что не знали строительные изыскатели девятнадцатого века о протекавшей в глубине, под фундаментом здания древней речушки (вероятно, известная прадавним киевлянам как «Крещатицкий ручей»), которая с течением времени вымыла под зданием грунт и дала, где-то в начале девяностых годов прошлого века, ход его просадке.

Восстановление здания филармонии, начатое Дмитрием Ивановичем Остапенко, было им продолжено и после назначения его, в 1995 году, министром культуры Украины. Почти год совмещал он министерские обязанности с директорством в филармонии, после чего предложил коллеге Лукашёву совместить должности генерального директора и художественного руководителя Национальной филармонии Украины. Предлагалось Владимиру Анатольевичу в таких сложных должных обязанностях исходить из необходимости, прежде всего, завершить ремонтно-восстановительные работы здания филармонии без глубокого погружения в творческие изыски, которые, из-за отсутствия должных условий, на некоторое время переводились в ждущий, фоновый режим.

Приняв предложения министра и став, в 1996 году, у кормила филармонии двуединым её руководителем, Владимир Анатольевич Лукашёв принял в материальную и творческую ответственность филармоническое хозяйство и проявил себя как замечательный продолжатель спасательных строительных работ.

К ноябрю 1996 года были укреплены фундаменты филармонического здания с частичной перекладкой его стен и карниза; восстановлены, с существенными улучшениями, стены; заменены деревянные и железобетонные перекрытия здания; заменены или частично подвергнуты «протезированию» колонны зала; выровнен и заново подвешен плафон; заменены деревянные фермы на металлические; устроен технологический переход; расширена прилегающая к зданию филармонии территория, что дало возможность устроить опорные стены и перепланировать парковую лестницу. Здание филармонии оснастили кондиционерами, сценическим, санитарно-техническим и вентиляционным оборудованием, пожарной и охранной сигнализацией, его интерьер был заметно улучшен.

Усилиями энергичной пары Лукашёв-Остапенко, при финансовом хитроумии руководителя реставрационных работ Михаила Викторовича Малавкина, на выделенные кабинетом



министров средства был приобретён орган и три рояля фирмы «Стейнвей». Принимал у производителя и отправлял из Гамбурга эти замечательные музыкальные инструменты — по просьбе Владимира Анатольевича — лично Владимир Всеволодович Крайнев, вскоре после этого прибывший в Киев и в блестяще данном им концерте продемонстрировавший высокие звуковые достоинства продукции прославленной фирмы.

По замыслу Владимира Анатольевича Лукашёва скульптором Валентином Васильевичем Скобликовым был сотворён бюст Николая Витальевича Лысенко и установлен на межлестничном переходе к Колонному залу, носящему имя «отца украинской музыки». Теперь он, отлитый в бронзе, всматривается в сторону зрительного зала, и будто вспоминает, как в нём, в конце 1903 года, с превеликой торжественностью и размахом отмечалось тридцатипятилетие его творческой деятельности, о чём корреспондент журнала «Киевская старина» сделал наиподробнейший отчёт:

«...20 декабря в зале Купеческого собрания состоялась центральная часть торжества, инициативу которого взяло на себя Киевское Литературно-Артистическое Общество. К 8 часам вечера зал был буквально битком набит публикой, среди которой было много приезжих из разных концов Украины... Встреченный шумными аплодисментами и криками «слава», юбиляр занял почётное место на эстраде среди членов правления Литературно-Артистического общества; началось чтение адресов и приветствий...

Чтение приветствий затянулось почти до 12 часов, после чего началась концертная часть. Первым в этом отделении выступил знаменитый крестьянский хор из с. Охматова под управлением доктора Демуцкого и сразу же завладел слушателями, исполнив в чисто народном духе много песен разнообразного содержания; затем кобзарь Терешко Пархоменко пропел под аккомпанемент бандуры «думу про Морозенка», «Чечитку» и др. Закончился вечер двумя хоровыми номерами под управлением г.г. Янищевича и Стеценка; хор последнего исполнил написанную г. Стеценком кантату, посвящённую Н. В. Лысенко. Концертное отделение, за исключением последнего номера, имело целью иллюстрировать деятельность юбиляра с этнографической стороны...»⁶⁷

Помимо установки бюста украинского музыкального гения, в соседствующие с ним и прежде пустовавшие декорированные ниши очень органично вписались статуи Орфея и Эвридики работы скульптора Василия Корчевого; дело его же рук — и малая пластика в фойе филармонии («Купидон» в стиле Фрагонара) и «Кобзарь Остап Вересай». Орнаментика и внутренний декор филармонии исполнены по разработке Зинаиды Алексеевны Нестеровской.

Для сохранения замечательной акустики зала было восстановлено исходное расположение кресел, с этой же целью вернулась на своё место прежняя люстра, сохранены (а, при необходимости, по правилам старинной технологии, восстановлены — с сохранением их деревянной пустотелой основы) колонны в концертном зале.

С началом восстановительных работ одна часть представлений филармонии была перенесена на её малую сцену, другая (симфонические концерты) — на сцену Украинского дома. Были сохранены абонементная система для зрителей, практика лите-



ратурных вечеров, более разнообразными стали формы работы с детской зрительской аудиторией, начали практиковаться камерные оперные постановки. В это же время, к осени 1995 года, был создан — на базе камерного оркестра — собственный симфонический оркестр (прежний, выступавший на сцене филармонии академический симфонический оркестр был и есть отдельной юридической единицей, самостоятельно определяющей свою музыкальную деятельность).

Серьёзные коммерческие способности в сочетании с даром убеждения проявил Владимир Анатольевич в деле обеспечения музыкальными инструментами вновь созданного симфонического оркестра, «добыв» для этой цели грант в полмиллиона долларов от японского посольства. Он же принимал непосредственное участие в конкурсном отборе музыкантов оркестра, по его инициативе дирижёром был назначен молодой талантливый маэстро Николай Владимирович Дядюра.

И завершив (как всегда — на отлично) на этот раз строительно-восстановительные работы, передав вернувшемуся в 1999 году в филармонию Дмитрию Ивановичу Остапенко пост генерального директора, сохранил за собой Владимир Анатольевич должность художественного руководителя. Развязав себе руки для более размашистой творческой деятельности, он с присущим ему блеском и глубиной постижения усилил её, используя и далее развивая свой богатейший творческий, педагогический, научно-методический задел, свои деловые и человеческие достоинства.

Достигнув возраста *«спокойствия седин, величия высот»*, самодостаточности и независимости, с мудрой обстоятельностью зажил он в своём мире музыкального искусства, главной составляющей его богатейшего внутреннего мира, творя, обучая, наставляя и с совершенным философическим спокойствием мыслителя по-чеховски воспринимая мирскую толчею, нисколько в ней не участвуя: *«Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых не знал человек»*.

В числе его (и умницы жены) семейных достижений — сын Сергей, уже с детства проявивший склонность к рисованию, переросшую (после окончания в Харькове художественного училища и института искусств) в профессиональное занятие искусством живописи. Его художественная одарённость много раз содействовала успеху постановкам, осуществлённым в Национальной филармонии Украины, художественным оформителем которой он является.

Наибольшее художественное притяжение испытывает Сергей Лукашёв к жанру графики, один из лучших образцов которой — портрет Владимира Высоцкого, с его театральным аксессуаром — здесь представлен.



«Но я бежал, закрыв глаза,
И рвал подмётки,
Но не давил на тормоза —
Берёг колодки».

В студенческую пору младшего Лукашёва составил его семейный союз с успешной выпускницей того же института искусств, Людмилой Тимофеевной Русановой, которая, за высокий уровень выпускной дипломной работы, посвящённой истории Синельниковской антрепризы, была оставлена развивать свой творческий интеллект на кафедре театроведения института (ныне она заведует библиотекой Национальной филармонии).

Их сын Андрей, он же — чайнный внук и неиссякаемый источник бальзама в души Владимира Анатольевича и Аллы Михайловны. *Внук — от семи недуг*. Обещает он, продолжатель фамилии Лукашёвых, своими, уже открывшимися интеллектуальными данными закрепить в скором будущем лучшие наследственные свойства рода,



темпом своего взросления и ума обретения настраивает обожаемого деда «не давить на тормоза» в своём творчестве, что тот, впрочем, всегда и делал.

В спасённом и прекрасно обновлённом здании филармонии, с существенно расширившимся её творческим составом под режиссёрским началом Лукашёва (или под его профессиональным благословением) получили сценическое воплощение литературно-музыкальные спектакли «Пер-Гюнт» (по произведению Генрика Ибсена, на музыку Эдварда Грига) и «Белая сирень» (о жизни и творчестве Сергея Рахманинова), малые оперы «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, «Сокол» Дмитрия Бортнянского, опера-балет Александра Костина «Жёлтый аист», а также переведённые Владимиром Анатольевичем (умно, со вкусом) в жанр камерных классические оперы «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем», «Травиата», «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин» и прочая, и прочая...

В эту же пору, Владимир Анатольевич Лукашёв, в соавторстве с милейшим, добрейшим, умнейшим Иваном Дмитриевичем Гамкало собрал, систематизировал и зафиксировал на компьютерных носителях электронный вариант «Антологии современного музыкального исполнительства Украины».

Иван Дмитриевич (если совсем точно, то Иван-Ярослав Дмитриевич), очень органично вписавшийся в число единосущных друзей Лукашёва, — коренной галичанин, 1939 года рождения; высшее музыкальное образование получил в Львовской консерватории, после которой работал в Львовском оперном театре, заведовал музыкальной частью и дирижировал в Дрогобычском музыкально-драматическом театре. Далее, одолев ещё несколько ступеней в подъёме к своему творческому самосовершенствованию, возглавлял он некоторое время (в конце девяностых годов) Национальный симфонический оркестр, затем долгое время был одним из дирижёров оркестра Национальной оперы Украины. И вместе с музыкальной деятельностью уже много лет он, всевозможными званиями отмеченный, наградами обласканный, общественной деятельностью перегруженный, весь отдаётся музыкальной педагогике.



Как полагают музыковеды, Иван-Ярослав Дмитриевич Гамкало является представителем чешской школы в академическом стиле дирижирования. И все оттенки своего мастерства он, в частности, продемонстрировал в феврале 2008 года, когда в Колонном зале филармонии дирижировал академическим симфоническим оркестром Национальной радиокomпании, обеспечивавшим музыкальное сопровождение музыкально-драматического спектакля «Думы, мои думы».

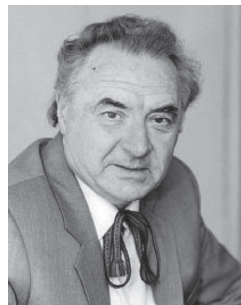
Постановщиком этого спектакля был Владимир Анатольевич Лукашёв, завершивший этой концертной разработкой трилогию «Филармоническая Шевченкиана», первая часть которой — «Сон», в исполнении народного артиста Украины Анатолия Паламаренко и симфонического оркестра была представлена зрителям ещё в 1993 году. Вторая часть — «Гайдамаки» — была показана в 1997 году.

Анатолий Нестерович Паламаренко, сверстник Ивана Дмитриевича Гамкало — в числе друзей и творческих единомышленников Владимира Анатольевича Лукашёва. Уроженец городка Макаров, что на Киевщине, он дарованное ему природой мастерство слова отшлифовал в Киевском театральном институте и уже более полувека демонстрирует его наивысшие проявления как штатный артист филармонии.

Нисколько не отвлекаясь от своей сценической работы, он совмещает её с чтением лекций студентам столичных Национального и Педагогического университетов, именую свою науку лаконично и ёмко — «Слово», коим (родным украинским, чарующе нежным и мелодичным) владеет в совершенстве. В моём представлении, воплощает

он в себе лучшие черты украинского человека, в первую очередь острый природный юмор, весёлость, доброжелательность, трудолюбие...

Такого рода характеры соотечественники некогда именовали «штукарями», вкладывая в это понятие, прежде всего, умение с юмором обыграть всякую житейскую ситуацию. (По этому поводу вспоминается мне один из ярких представителей такого типа украинцев, из девятнадцатого века родом, Виктор Забила. Так, услышав как-то в присутственном месте от дамы жеманное и грассирующее «мерси», он, не залезая за словом в карман, прокомментировал по-украински: «У неї, мабуть, дома не всі».)



Но не только весёлой шутливостью радует зрителей, слушателей Анатолий Нестерович, его творческие возможности в избранном им жанре гораздо шире и глубже, умеет он своим проникновенным, за душу берущим словом затрагивать весь диапазон человеческих чувствований:

«Слова умеют плакать и смеяться,
Приказывать, молить и заклинать,
И, словно сердце, кровью обливаться,
И равнодушно холодом дышать».⁶⁸

Представленные мною выше две замечательные личности — только малая толика большого круга творческих соратников Владимира Анатольевича Лукашёва, замыкая который, он сформировал неформальный клуб видных деятелей музыкального искусства, в том числе её педагогики. Как профессор Национальной консерватории, он уже много лет ведёт в ней курс «музыкальной режиссуры», выискивая в процессе преподавания талантливых учеников, могущих быть ему помощниками в режиссёрской работе и, со временем, оперившись, трудиться самостоятельно на оперной сцене по его творческим заветам.

Где-то в середине девяностых годов Одесский оперный театр пригласил его поставить оперу Джакомо Пуччини «Тоска». Отправляясь в город у моря, Владимир Анатольевич, из соображений высокой педагогики, взял с собой в качестве ассистентов двух своих студенток, одна из которых, Ирина Нестеренко, внесла весомую творческую долю в блестяще исполненную постановку. Выделенная учителем, она, по окончании консерватории, стала не только его творческим и духовным соратником, но со временем сама обрела имя оперного режиссёра высокого класса.

Казалось, фортуна, обеспечив Владимира Анатольевича такой подмогой, благоволит к нему, но в жизненном итоге, как говорит украинская поговорка, «не так стало, як жадалось».

Часть пятая. Ирина Нестеренко

В ряду непрерывных педагогических успехов профессора Лукашёва первое место по праву занимает замечательная и неповторимая Ирина Аркадьевна Нестеренко, чью predisposition к оперной режиссуре он раскрыл, поощрил, развил, вышестовал до высокого профессионального умения и, отшлифовав его, поставил на службу отечественному музыкальному искусству. Талантливая ученица,



став фактическим alter ego своего учителя, его творческой наперсницей, не только осуществила вместе с ним ряд прекрасных оперных постановок, но и дала — уже как сложившийся, высокого класса творец — собственную тонкую, умную обработку каноническим образцам оперной классики, украсила филармоническую сцену музыкально-драматическими композициями, разработками в жанре камерной оперы.

Более того, заняв заслуженно место одесную своего ментора, она переняла от него всё мастерство, все тонкости и нюансы чудотворного наставничества, воспитав собственную юную плеяду даровитых режиссёров-постановщиков, уже нашедших себя в оперном искусстве, достойно в нём отметившихся. И, наконец, напряжением своего интеллекта и таланта, высотой мысли и безошибочностью вкуса эта чудная, дальнего ума женщина дала, что называется, «серьёзную рабочую нагрузку» задействованным в её разработках исполнителям, чем позволила каждому из них существенно расширить и обогатить диапазон личных музыкальных, вокальных, декламационных возможностей.

Была Ирина Аркадьевна на удивление очаровательна, принадлежала к тому, ныне чрезвычайно редкому, типу женщин, о которых поэт говорил: *«Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами — с душой...»* и которых наши пращурсы выделяли из среды ординарных сородичей мудрой характеристической фразой: *«Соединение истины и добра рождает премудрость во образе красоты»*.

Казалось, природа, у которой всё целесообразно, наделяя, во время оно, духом и телом своё очередное человеческое, прекрасного пола творение, имела в отношении него широкий изумительный замысел — вложила в него музыкальную жилку, зажгла в нём огонёк творческого начала, долго тлевшего, вдруг ярко вспыхнувшего священным пламенем искусства.

Но оказалось, что природа, одарив Ирину Аркадьевну музыкальными талантами, поскупилась дать ей достаточный запас здоровья. Потому таким недолгим — только полтора десятка лет — было её творческое горение в оперном искусстве и, видимо, потому, будто предчувствуя подсознательно краткость своего жизненного пути, стремительно реализовывала она свой режиссёрский потенциал, поднимаясь, здоровьем обделённая, к вершинам оперной, музыкально-драматической режиссуры.

«Всё каменной ступени,
Всё круче, круче всход,
Желанье достижений
Ещё влечёт вперёд.

И лестница все круче...
Не оступлюсь ли я,
Чтоб стать звездой падучей
На небе бытия?»⁶⁹

День меркнет ночью, а человек печалью. Меня будто обухом по голове ударило, когда, в первых числах июля 2017 года, позвонив Владимиру Анатольевичу Лукашёву, услышал его подавленный горем голос, узнал от него трагическую весть о безвременной кончине и уже совершившемся погребении его любимицы.

Только за два месяца до этого, в канун Дня Победы, встречался с ней в здании филармонии, где она занималась со своими девчущками, видел её бодрой, лучезарной, энергичной, слышал от неё повторную, экспрессивно высказанную похвалу моей новелле *«О подвигах, о доблести, о любви»*, прежде ею присланную мне электронным письмом. Услышанная мною новость о её смерти показалась мне настолько ирреальной, что, ужаснувшись первоначально, ею не проникся и, обманув себя беглой мыс-

лю, что ослышался, повторил несколько раз внутренним голосом станиславское: «*Не верю!*»

И хотя импульсивный самообман скоро прошёл, всё же и поныне, всякий раз, когда захожу в просторный кабинет Владимира Анатольевича и вижу осиротелых воспитанниц его ученицы, потерявших в её лице не только мудрого наставника, но и вторую мамочку, кажется мне, ещё миг — и вновь войдёт Она, живая, искренняя, убеждённая, чрезвычайно деликатная и мягкая, с умными, ясными, сияющими глазами, со всегда милой, открытой, доброжелательной улыбкой.

Но только мгновения длящаяся мысленная иллюзия исчезает — и молчаливая, терзающая скорбь заползает в сердце, саднит мою душу горьким напоминанием о том, что навсегда покинула юдоль земную Ирина Аркадьевна Нестеренко, и с её уходом исчез целый мир любви и доброты, который она дарила тем, кто был небезразличен её сердцу — родным, близким, ученикам и коллегам, всем единосущным ей людям.

«Но час настал и навсегда
Померкла дивная звезда»⁷⁰

Мне же она, прежде чем уйти навсегда, отделила на прощание частичку своего сердца той восторженной рецензией (ею присланной мне в начале мая 2017 года) на мною литературно обработанные фронтовые воспоминания моего школьного учителя, и этим прощальным подарком, как личным знаком качества, отметила уровень моего писательства, ниже которого теперь не имею права опускаться:

*«Дорогой Александр Леонтьевич!
Бесконечно признательна Вам за фронтовые воспоминания Вашего Учителя.
Сколько истинного, мудро и доброго в человеке, пережившем настоящий ад войны!
Спасибо Вам за слезы благоговения, за счастливую возможность душой и сердцем
прикоснуться к судьбам удивительных людей.
С наступающим праздником Великой Победы!
С низким поклоном и неизменной теплотой, Ирина».*

Текст этой значимой для меня оценки, наизусть мной выученный, распечатал и упрятал в личный архив. В нём, начиная с маминых, хранятся в конвертах с марками письма дорогих, близких мне людей, из которых «иных уж нет, а те далече». Эти послания из прошлого время от времени просматриваю, перечитываю, окутываюсь воспоминаниями и ... грущу.

«Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов».⁶³

Недолгим, чуть более года, было моё дружеское общение с Ириной Аркадьевной. Но всякий раз, встречаясь с ней в компании с Владимиром Анатольевичем, их коллегами, восхищался внутренне её интеллектом, общей эрудицией и начитанностью, служившими основой содержательной части её оперных постановок, литературно-музыкальных представлений. Оценить музыкальную составляющую её таланта оперного режиссёра мне, не специалисту, было сложно; помог мне в этом, уже после кончины ученицы, её учитель. Впрочем, многое в этом разряде оценок сумел самостоятельно уяснить, подбирая и изучая материалы к настоящему очерку, увеличивая, по мере знакомства с ними, свой пиетет к этой замечательной женщине-творцу.

Ирина Аркадьевна Нестеренко родилась 22 апреля 1961 года в городе Первомайске Луганской области в семье горного инженера Аркадия Михайловича Навитного.

Раннему эстетическому воспитанию маленькая Ира обязана, видимо, бабушке, которая, приучая внучку к чтению, ставила ей и мысль, точно так, как ставила, к примеру, ей руку в игре на пианино, до которой та сызмальства была большой охотницей.



Рассказывая, уже взрослой, о детстве с бабушкой, Ирина Аркадьевна с особой теплотой вспоминала, как она и её младшая сестричка Анечка перед отходом ко сну мыли ножки, одевали чистые носочки, ночные рубашечки и укладывались спать с бабушкой. В детстве, как свидетельствуют её родные, была Ира натурой энергичной, верховодила дворовыми мальчишками и девочками.

В Первомайске она пошла в первый класс общеобразовательной школы, в учёбе была прилежна, равно успешно преуспевающая во всех изучаемых предметах. Рано открывшаяся в ней музыкальность природы побудила родителей оторвать дочь от семейного круга, перевести её, тринадцатилетнюю, в киевскую специализированную музыкальную школу-интернат имени Николая Витальевича Лысенко — дать почву зерну таланта Ирины, только полувидимого.

«В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!»⁷²

В киевскую пору учёбы дочери семья Навитних переехала в Москву, где Аркадий Михайлович получил новое назначение (и вскоре стал одним из ведущих маркшейдеров России). К родителям присоединилась и дочь, уже начавшая учёбу в Киевской консерватории, продолжившая и успешно завершившая её в Московской консерватории, по классу теории музыки.

Ещё будучи студенткой, Ирина вышла замуж за своего киевского одноклассника, Игоря Нестеренко, и в последний год учёбы в консерватории родила сына, названного в честь деда Аркадием. Скоро молодая семья соединилась в Киеве, здесь Ирина Аркадьевна начала преподавать в городской музыкальной школе — учить детей игре на фортепиано.

Подобно классическому театральному принципу, гласящему, что висящее на сцене ружьё по ходу спектакля непременно выстрелит, долго копившийся в Ирине Нестеренко заряд увлечённости оперной режиссурой в известный срок её школьного учительства разрядился решением превратить свою мечту в реальность.

Это был тот период в её жизни, который приходит ко всякому, достигшему интеллектуальной и духовной зрелости человеку, когда он анализирует и оценивает, удалось ли ему реализовать свои, ещё в юности определившиеся цели. Одни (и таких большинство) так на этих размышлениях и дрейфуют к устью дней своих; другие (их меньшинство, и в их число можно отнести Ирину Нестеренко) существенно встряхивают налаженный быт и реализуют то, что Александр Степанович Грин называл «Несбывшимся»:

«Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся?»

*Между тем время проходит, и мы плывём мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкая о делах дня».*⁷³

Как говорил Иммануил Кант, «интеллект женщин характеризуется полнейшим самообладанием, присутствием духа, использованием всех выгод» И, подтверждая эту мудрую сентенцию немецкого философа, Ирина Аркадьевна решила на то, на что не

всякий — тем более женщина — отважится. Она вторично поступила в Киевскую консерваторию, сразу (как имеющая высшее музыкальное образование) на второй курс, и, став слушателем мастер-класса профессора Лукашёва, поразила его своими режиссёрскими возможностями, была им выделена и назначена в творческие преемники. Составившийся творческий симбиоз разновозрастных единомышленников действовал добротворно до последних дней жизни его участницы.

«*Стиль — это человек*». Творческий стиль Ирины Аркадьевны Нестеренко — свободный и элегантный — образовался, прежде всего, из усвоенного от учителя принципа гармоничного сочетания в опере, в литературно-музыкальной постановке музыкального со смысловым, принципа, являющегося основополагающим в оперной школе Бориса Покровского, в круг которого, как известно, входил и Владимир Анатольевич Лукашёв.

Он же, на примерах лучших образцов своих оперных режиссур дал огранку таланту даровитой ученицы, приучил её глубоко проникать в суть постановочного материала, аккуратно, без потери деталей, обходиться с первоисточниками, развил в ней вкус и меру в собственных интерпретациях, прежде всего, классических оперных образцов.

«Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка.
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживёт в алмазе».⁷⁴

От себя же Ирина Аркадьевна добавила в личное творческое его интеллигентность, высокую духовность мировосприятия, начитанность и безбрежную эрудицию, свою душевную нежность.

И очень символично, что последним мной обозначенным качеством именовался один из первых её режиссёрских опытов, в сотовариществе с мэтром Лукашёвым исполненный на четвёртом году обучения у него. Речь идёт о сценическом воплощении чудного рассказа Анри Барбюса «Нежность», в котором автор, подтверждая мысль, что «*любовь в жизни мужчины — эпизод, в жизни женщины — событие*», показывает, насколько великими, до жертвенности доходящими, могут быть любовные чувства женщины к мужчине, ему душой и телом отдавшейя.

Со времени публикации этого рассказа он неоднократно — в разные времена и в разных странах — представлялся, разнообразно интерпретировался в театре, в кино. Помню, как ленинградским студентом, во второй половине шестидесятых годов смотрел фильм «Нежность» с обаятельной Ириной Стерниковой в главной женской роли. Помню, как в темноте зрительного зала обливался слезами, переживая гибель ею игранной героини, слушая финальный пересказ юного Родиона Нахапетова своей кинематографической визави сюжета новеллы Анри Барбюса.

Они любят друг друга больше жизни, но им пришлось расстаться, потому как родители молодого человека против их отношений — ведь Она намного старше Его. Они расстанутся. Она, зная, как ему будет тяжело без неё, обещает писать ему письма, которые он получает через различные промежутки времени. Эти письма дают силы влюблённым жить, они — их единственная связующая нить, которая не дает разлуке стать окончательным разрывом. Письма эти — о любви и нежности. Первое письмо молодой человек получает на следующий день после расставания: «Мой дорогой, маленький мой Луи! Итак, все кончено. Мы больше никогда не увидимся...»

Второе письмо приходит через год. Третье — через пять лет, четвертое — уже спустя одиннадцать лет. Она пишет, что любит его, вспоминает о нем, что, несмотря на разлуку, пытается радоваться жизни, улыбаться и просит его о том же.



И ровно через двадцать лет он получает последнее письмо: «Мой дорогой Луи! Вот уже двадцать лет, как мы расстались... И вот уже двадцать лет, как меня нет в живых, дорогой мой. Если ты жив и прочтешь это письмо, которое перешлют тебе верные и почтительные руки, — те, что в течение многих лет пересылали тебе мои предыдущие письма, ты простишь, что я покончила с собой на другой же день после нашей разлуки. Я не могла, я не умела жить без тебя...»

За основу собственного сценического воплощения именитого рассказа Ирина Аркадьевна взяла одноимённую монооперу харьковского композитора Виталия Сергеевича Губаренко, добавив к ней, к литературному первоисточнику ею сочинённый пролог — с предысторией любви и разлуки героев, с отрывками из «Письма незнакомки» Стефана Цвейга, из «Писем незнакомке» Андре Моруа, из стихотворений Гийома Аполлинера: *«Под мостом Мирабо тихо Сена течёт и уносит нашу любовь...»*

Спектакль, ставший также дебютом прекрасной певицы Ирины Вежневцев, при вдохновенном участии в нём признанного драматического актёра Владимира Нечипоренко да при неизменно безупречном дирижёрстве Николая Дядюры, был восторженно встречен зрителями, чему подтверждение — пресса тех дней и свидетельства коллег автора постановки.

Завершив учёбу в Киевской консерватории, став режиссёром Национальной филармонии Украины, Ирина Аркадьевна отметила свой дебют в ней постановкой музыкально-драматического спектакля по пушкинской «Метели». И вновь, по личной аналогии вспоминаются мне — середина шестидесятых годов, студенческие лета мои, одноимённый фильм Владимира Басова, мной просмотренный с превеликим наслаждением, эстетическое наслаждение, мной испытанное от сопроводительной музыки Георгия Свиридова, со щемящим душу вальсом.

Как известно, повесть «Метель» была написана Пушкиным в 1830 году, в дни знаменитой «Болдинской осени». Этот образец великолепной, лаконичной и ясной прозы представляет собой, в сущности, анекдот о провинциальной семнадцатилетней девице Марье Гавриловне Р., решившей бежать из родительского дома, дабы тайно обвенчаться со своим бедным — и потому нежелательным для родителей — избранником, о том, как метель сломала планы влюблённых и, в итоге, переменяла судьбы трёх человек.

Композитора Свиридова в предложении постановщика фильма привлекла идея воссоздать в музыке, лишив её пушкинской иронии, образ современной поэту провинциальной России, опозитизировать простую жизнь маленьких городков и усадеб. Такой композиторский настрой стал основой музыкального решения — с вальсовыми, маршевыми, романсовыми интонациями начала девятнадцатого века, с перезвоном ямщицких бубенцов. И эти простые, подчас наивные интонации, гениально одухотворенные Свиридовым, дали музыке ретроспективное звучание по давно ушедшей, милой, привлекательной жизни.

В начале семидесятых годов из отдельных эпизодов, созданных для кинофильма, Свиридов составил сюиту из девяти номеров — последовательный ряд своего рода иллюстраций к пушкинской повести («Тройка», «Вальс», «Романс» и так далее). Этот материал и использовала в качестве основы для своей постановки Ирина Аркадьевна Нестеренко, расширив его деликатно, во вкусе умной старины, текстами из «Капитанской дочки».

В результате перед зрителем предстали три действующих лица: писатель, переехавший жить в сельскую местность (в исполнении Владимира Нечипоренко), герой Бурмин (эту роль исполнял Алексей Богданович) и героиня (её образ сотворила Инна Капинос). Постановка эта пользовалась большим зрительским успехом, жила на филармонической сцене более пяти лет и спустя этот срок добрым словом и с лёгкой грустью поминалась её создателем, Ириной Аркадьевной Нестеренко:

«Однажды, пять лет назад... мой педагог Владимир Анатольевич Лукашёв, рассказывая о пластинке Г. Свиридова, которую композитор со своей авторской надписью подарил ему на добрую память, сказал: «Вот бы накануне Нового года сделать что-то красивое — со свиридовской музыкой и пушкинскими текстами». Так «из искры возгорелось пламя» и мы с Николаем Дядурой, главным дирижёром симфонического оркестра филармонии, начали работать. Наши разные видения органически сошлись, так появился жанр музыкально-драматической сцены» «Метель»...



Наш спектакль — это цепочка сцен, связанных с романтической историей любви, где есть мистические стечения обстоятельств, непостижимые повороты судьбы. Жизни героев очерчивают мужской и женские миры времён Пушкина, через их отношения мы, авторы и зрители, получаем возможность углубиться в культуру тогдашнего дворянства, которая показывает несравненные образцы благородства и красоты отношений. Композитор Свиридов, не оставляя без внимания ни одного из всех предложенных Пушкиным мотивов, точно и тонко разворачивает свои симфонические полотна... Фабула же литературного произведения (как и сценография трёх сфер) держится на трёх основах — тройка, вальс и романс.

Важное, если не главное место, в режиссёрском творчестве Ирины Аркадьевны Нестеренко занимал Вольфганг Амадей Моцарт — гений меж композиторских гениев, музыкальный волшебник и чародей. Его музыкальному чародейству и по сей день приписывают исцеляющую силу, чему есть классический исторический пример — случившееся в 1774 году выздоровление под воздействием моцартовской музыки французского маршала Ришельё Луи Франсуа де Виньера — правнучатого племянника знаменитого кардинала Ришельё и прадеда одесского дюка де Ришельё. Уже будучи на смертном одре, за несколько минут до своей очевидной кончины маршал попросил исполнить его последнее желание — сыграть любимый концерт Моцарта. Вскоре после того как музыка отзвучала, с маршалом произошло настоящее чудо. Смерть отступила, и на глазах окружающих больной стремительно пошёл на поправку, выздоровел и, прожив ещё четырнадцать полноценных лет, завершил земной путь девяностодвухлетним...

И если истории выздоровления французского воина время придаёт некоторый мифологический налёт, то твёрдым фактом является случай с его современным земляком Жераром Депардьё, прежде начала артистической карьеры избавившимся от ей препятствовавшей ушной болезни, после сеансов моцартовской музыки, прописанных ему известным парижским сурдологом. И наконец, ныне в шведских родильных домах такие сеансы — во имя здоровья будущих малышей — прослушивают роженицы. И у нас, в Одесской филармонии, с той же целью, для будущих мам, с привлечением их досматривающих врачей, устраиваются концерты оздоровительной музыки Моцарта (ибо, как утверждают специалисты, обилие в его музыке звуков высокой частоты вызывает наибольший резонанс в коре головного мозга, что способствует улучшению памяти и мышления).

О благодатном (хотя и кратковременном) воздействии моцартовской музыки на немощного человека рассказывает Константин Георгиевич Паустовский в своей новелле «Старый повар».

В один из зимних вечеров 1786 года умирающий старый повар графини, отказавшись от церковной исповеди, просит дочь пригласить к его изголовью первого встречного, дабы он очистил свою совесть рассказом тому о некогда украденной им у графини золотой тарелке — продал её, он смог спасти от смерти тяжело болевшую жену. Первым встречным оказался худощавый, невысокого роста молодой

человек. Выслушав исповедь старика, он объявил ему, что тот чист перед своей совестью. На стоявшем в домике клавесине гость исполнил умирающему отрывки из, как выяснилось, своих произведений. И умирающий на несколько минут будто ожил — увидел себя молодым, увидел свою любимую Марту, услышал её смех, увидел цветущие яблоневые сады. Под конец он просит незнакомца открыться, тот называет себя — Моцарт. Перед рассветом старик умер.

Впрочем, если говорить о самом Моцарте, то его музыка не очень помогла здоровью его детей, трое (из шестерых) которых умерли в раннем младенчестве, да и самой кончине музыкального волшебника, по свидетельствам родных и близких, предшествовали долгие, невероятные муки умирающего. Последнее обстоятельство со временем дало почву для появления различных художественных вымыслов и расхожих мифов о причинах смертельного недуга музыкального гения.

Одну из них — смерть от яда, подсыпанного Моцарту в бокал с вином завистливым Антонио Сальери, разработал, в 1830 году, в своей «маленькой трагедии» Александр Сергеевич Пушкин. Твёрдых фактов, подтверждающих такую причину гибели музыкального гения, у поэта, конечно же, не было и, думается, такую сюжетную разработку он дал ради утверждения высокой нравственности мысли о том, что *«гений и злодейство — две вещи несовместимые»*.

Современник Пушкина литератор Павел Катенин в своих воспоминаниях заочно упрекал за это собрата по перу: *«Есть ли верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало выставить его напоказ в коротком предисловии или примечании уголовной прозою; если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника?..»* Виновность Сальери не может быть доказана за отсутствием убедительных данных и мотива, однако стараниями поэта у каждого, кто знаком с русской классической литературой, имя Сальери неизбежно ассоциируется со смертным грехом зависти.

Есть много версий решения Александра Сергеевича определить Сальери как завистника и отравителя Моцарта, в том числе совершенно экзотическая. Поэт Джованни Баттиста Касти, побывав в Санкт-Петербурге, сочинил «Татарскую поэму», высмеяв в ней в иносказательной форме нравы и обычаи двора Екатерины II. Поскольку Вена дорожила хорошими отношениями с Российской империей, произведение запретила цензура, но Сальери, по сочинённому на основе поэтической поэмы либретто, написал оперу «Хубилай, великий хан татарский», также бывшей пародией на Россию, только уже эпохи Петра I — с повсеместным пьянством и дикой жестокостью.

Оперу, как и поэму, запретили, а исследователь творчества композитора Марио Корти по этому поводу задался вопросом: *«Интересно, мог ли Пушкин знать о существовании оперы Сальери, пародирующей образ великого Петра? Может быть, он написал пьесу «Моцарт и Сальери» в отместку за его, Сальери, издевательское отношение к Петру, столь почитаемому Пушкиным?»*

В 1898 году Николай Андреевич Римский-Корсаков, взяв пушкинский текст за основу для либретто, сочинил малую оперу с одноимённым названием, украсив её фортепианной фантазией в духе Моцарта. Специалисты сразу отметили этот музыкальный шедевр, выделив в нём тончайшую психологическую разработку образов, вызывающую *«непрерывную текучесть музыкальной ткани»*, чёткую прорисовку отдельных эпизодов, богатство мелодического содержания.

«Моцартом и Сальери» Римский-Корсаков обозначил себя пионером камерных опер в России, и только для малой (но никак не для большой) сцены он предназначал своё творение. В публичной премьере, состоявшейся в ноябре 1898 года в Русской частной опере, партию Сальери пел Фёдор Иванович Шаляпин; гениальный актёр очень любил эту роль и, по его желанию, опера часто давалась русскими музыкаль-

ными театрами. Очень популярной была эта опера и на советской сцене. В 1963 году, в премьерe её на сцене Киевской филармонии партию Сальери пел Борис Романович Гмыря, партию Моцарта — Константин Дмитриевич Огневой.

На этой же сцене, уже ставшей Национальной, филармонии в 1997 году прекрасную режиссуру «Моцарта и Сальери» подал Владимир Анатольевич Лукашѐв. После долгого поиска исполнителя басовой партии Сальери он остановился на кандидатуре своего «однокашника» по харьковской консерватории, Викторе Васильевиче Женченко. Тот согласился, тряхнул стариной и великолепно, с точки зрения вокала и драматургии, исполнил порученную ему оперную партию (после пяти представлений его сменил Тарас Штонда). И, к слову, как полагает Владимир Анатольевич Лукашѐв, выдающийся бас Женченко является лучшим исполнителем партии Сальери из виденных и слышанных на украинской сцене.

На третьем курсе консерватории, когда её слушателями выполняется курсовая работа, Ирина Нестеренко испросила у своего педагога разрешения в качестве таковой сделать собственную постановку «Моцарта и Сальери». Согласие было дано при условии, что в своей первой режиссёрской работе ученица не повторит особенностей и нюансов учительского прочтения этой оперы.



Уговор дороже денег. Ирина Нестеренко сделала свою совершенно оригинальную работу, чем заслужила похвалу как наставника, так и зрителей. Для беглого сравнения — в финальной мизансцене постановки Лукашѐва Моцарт, уже принявший яд, пошатываясь, пытается уйти, но у висящего на заднике большого лаврового венка оседает и навсегда замирает; тогда как сценически ниже него находящийся Сальери мечется, истязает себя в муках губительной зависти.

У Ирины Нестеренко в этом же фрагменте к падающему Моцарту подбегают очень пластично пара «неких в чёрном» (видимо, библейских ангелов смерти олицетворяющих), подхватывает и уводит его, умирающего. В премьерe, имевшей место в Оперной студии консерватории, и последующих постановках этого варианта «Моцарта и Сальери» партию Сальери пел Тарас Штонда, будущий верный вокальный партнѐр Ирины Аркадьевны в её постановках.

Следующее обращение Ирины Нестеренко к исторической паре Моцарта и Сальери состоялось в январе 2006 года, когда она, по предложению дирижѐра Николая Владимировича Дядюры, вместе с ним творчески прочла новеллу Эдварда Радзинского «Несколько встреч с покойным господином Моцартом» и в дуэте с коллегой создала на её основе собственную музыкально-драматическую композицию «Наедине с Моцартом». Работа эта была приурочена к юбилею выдающегося австрийца — четверть тысячелетия со дня рождения.

В своём произведении Радзинский отвергает пушкинский вариант отравления Моцарта его завистником Сальери, бывшим, на самом деле, даровитым композитором, успешным постановщиком своих оперных произведений, числившимся главным капельмейстером императорского двора. Вместо него назначил Эдуард Станиславович — волей собственной фантазии — в злодеи Готфрида ван Свитена, голландца по происхождению, сына известного врача Герарда ван Свитена, лейб-медика императрицы Марии-Терезии.

Известно, что Готфрид ван Свитен, получив образование в иезуитской школе офицеров, сделал блестящую дипломатическую карьеру. Кроме того, по указанию императора Иосифа II он реорганизовывал систему образования в австрийских университетах, лишая их давно действовавшего автономного статуса. Был он известен своими

контактами в литературных и музыкальных кругах Европы, долгое время поддерживал переписку с Вольтером, дружил с Моцартом и Гайдном, в частности, написал для последнего текст знаменитой оратории «Сотворение мира»

В то же время Готфрид ван Свитен, будучи богатым меценатом и тонким дипломатом, отмечался современниками как музыкальный дилетант и *«чудовищный педант и жалкий скряга, допустивший погребение почившего музыкального гения по самому низкому разряду (что привело вскорости к потере места захоронения Моцарта — и ныне лишь кенотаф на венском кладбище подтверждает факт нахождения в его неглубоких недрах останков великого композитора)*. Возможно, последние качества Готфрида ван Свитена и дали повод Эдварду Станиславовичу быстрым и едким пером своим ославить его.

Впрочем, если учесть, что в 1997 году состоявшийся в главном дворце Милана судебный процесс по делу гибели Моцарта официально оправдал Сальери, можно гипотетически предположить, что когда-либо кто-либо из потомков Готфрида ван Свитена (либо борцов за справедливость) озаботится судебной оценкой его отношений с Моцартом, в изложении Радзинского, и потребует на сей счёт судебного разбирательства. Быть может, для оценки судьбы Моцарта в среде вышколенной и высокомерной австрийской аристократии следует глянуть в исторический корень событий конца восемнадцатого века глазами их современника и знатока, Генриха Фильдинга, указывавшего, что *«...при лобом христианском дворе гнездятся ложь, лесть, лицемерие, вероломство, интриги и плутовство»*.

Как говорил один умный человек: *«Личные мнения и убеждения того или иного человека составляют его неприкосновенную собственность и, как сила, определяющая его внутренний рост, никого не касаются»*. Отвлекаясь — ровно на один абзац — для собственной оценки помянутой новеллы Радзинского, могу сказать, что она мне, как литературное произведение, не глянулась. Более по душе мне выше упоминавшаяся новелла Паустовского, лишённая духа некрофильства, наполненная — вопреки печальному финалу — торжественным жизнеутверждением, в ассонансе со светлой моцартовской музыкой.

Мой критический экивок по адресу новеллы-либретто никак не касается высокого уровня её музыкально-драматического воплощения на сцене Национальной филармонии творческой парой Нестеренко-Дядюра, на что самолично Эдвард Станиславович (к слову, читавший свой текст на премьерном спектакле) указал:

«Режиссёр Нестеренко, дирижёр Дядюра точно расставили акценты. Согласитесь, что самое главное в этой истории — моцартовская музыка. В моей пьесе есть такая фраза: «Остались только звуки...». Поэтому постановщики очень удачно придумали в спектакле рассказать о Моцарте без Моцарта, но он всё-таки присутствует в своей музыке, исполняемой Симфоническим оркестром Национальной филармонии. ... На мой взгляд, получился замечательный спектакль, с сильной внутренней драматургией...»

Помимо помянутого представления, всякий раз, готовя музыкально-литературный спектакль, постановку малой оперы, Ирина Аркадьевна Нестеренко приглашала в соавторы дирижёра симфонического оркестра Национальной филармонии Николая Владимировича Дюдюру, и творческий конкордат этой пары неизменно давал прекрасный сценический результат. Ирина Аркадьевна привносила в составлявшийся союз свой талант режиссёра-постановщика, Николай Владимирович — тонкое понимание всех нюансов музыки, исполняемой в проектируемом представлении, своё великое мастерство дирижёра. Говоря об уровне мастерства дирижёра Дядюры, как свидетель его проявления, хочу отметить, что по нему можно составить, как мне показалось, обобщённое представление о золотом стандарте этого вида музыкального искусства.

Истинный дирижёр — это волшебник, управляющий сложно организованным музыкальным сообществом, именуемым оркестром, понимающий чувства композитора, оживляющий его творение, всего лишь записанное на бумаге. Он делает свою работу таким образом, что сам будто становится исполняемой музыкой, текущей вместе с ним, в подчинённом согласии с движениями его души и тела, его трепетных рук, раскрашивающих — своими округлыми движениями — каждый музыкальный звук.

«Филигранные движенья
Трепетных, творящих рук,
Пальцев всплеск, кистей круженье,
Зарождающее звук...»

Истинный дирижёр — это великий чародей, составляющий единое целое не только со всем оркестром, но и организующий альянс с каждым его участником — со взаимным чувствованием друг друга глазами, с общим ощущением исполняемой музыки. Он, имеющий под руками только ноты, по которым сверяет последовательность музыки, а в руках — дирижёрскую палочку, являющую собой инструмент его творческой силы, на многое способен в своей сфере музыкального искусства. Он может, дирижируя, находясь в строгих рамках представляемой зрителям, им глубоко понимаемой музыки, придать ей разнообразные смысловые оттенки, чувствуемые им всем своим существом, всеми фибрами своей души.



Представление о высоком классе дирижёрства даёт новелла Власа Дорошевича, описавшего в начале ушедшего века, с каким глубоким душевным напряжением управлял оркестром киевский дирижёр, председатель отделения Русского музыкального общества (и банкир) Александр Николаевич Виноградский:

«Перед вами был человек, который действительно переживал то, что игралось. Мелодии и аккорд вызывали в нём радость и ужас. На лице его — счастливую улыбку или гримасу страха.

Заставляли его или в ужасе отступить или обеими руками благословлять оркестр на ту чудесную мелодию, которую он играл.

Когда он в «Ночи на Лысой горе» дирижёрской палочкой словно разрубал какую-то гору и с ужасом на лице отступал, — это было не смешно.

А действительно страшно.

Потому что в этом страшном аккорде оркестра, который он вызывал, словно надвое раскраивалась какая-то неведомая гора, и из расщелины, из недр земли, поднималось нечто, чего нельзя было видеть человеческому оку.

*Вещим и могучим движением он, действительно вызывал Черногобога, этот киевский чудесник».*⁷⁵

Ещё раз обратилась к Моцарту Ирина Нестеренко в состоявшейся, в феврале 2014 года, концертной постановке его оперы «Директор театра» — одноактного зингшпиля, австро-немецкой разновидности комической оперы с разговорными диалогами. Любопытно, что эта опера была написана к музыкальному соревнованию между капельмейстером австрийского двора Сальери и Моцартом, устроенному в 1786 году императором Иосифом II.

Сальери представил на этот турнир оперу «Сначала музыка, а потом слово», сочинённую на либретто мной уже упоминавшегося Джованни Батиста Касти, а Моцарт — «Директор» театра» на либретто Иоганна Готлиба Штефани. Первенствовал Сальери, чем ещё раз подтвердил далёким потомкам своё хорошее — на то время — творческое самочувствие и композиторскую значимость для тогдашних австрийских

меломанов, чем сделал маловероятной свою патологическую зависть к мнимому творческому конкуренту.

Сюжет моцартовской оперы связан с закулисной театральной жизнью, с попытками директора театра Франка пополнить труппу певцами и актёрами, при стремлении каждого из конкурсантов, ради получения гонорара повыше, добиться статуса премьеры. Завязываются вокально-декламационные баталии, которые прерывает директор театра (Сергей Бортник), убедив новое пополнение больше думать о высоком творческом, а не о денежном земном.

В этот же концертный вечер зрителям филармонии была представлена опера Доменико Чимарозы «Дирижёр оркестра» (ещё её именуют интермеццо для баса и оркестра), отрежиссированная ученицей Ирины Нестеренко — «златовлаской» Юлией Журавковой. Оперу эту Чимароза написал, предположительно, после 1787 года, во время службы придворным композитором у Екатерины II, попутно воспитывая её внуков. (И, к слову, возвращаясь из Петербурга домой, в Неаполь, завернул по дороге в Вену, где сменил в должности придворного капельмейстера одиозного Сальери.)

«Дирижёр оркестра» — своеобразная опера-буфф, в гротескной форме представляющая дирижёра оркестра в процессе репетиции новой постановки. Брюзга, недовольный исполнителями и музыкантами, он голосом и жестикациями демонстрирует тем и другим, как верно вести их партии и в том находит большое удовольствие, тем более добившись, в конце концов, желаемого результата.

В помянутых постановках премьером сцены блистал обаятельный, талантливый артист, «тембрально-богатый» баритон Андрей Маслаков, коего и Лукашёв, и Нестеренко определили как «харизматическую личность». Такую заслуженно высокую оценку своему пению и артистизму молодой талант подтвердил в галла-представлении «Оперный фейерверк», прошедшем в октябре 2014 года в Колонном зале филармонии, в котором он великолепно исполнил партию из моцартовской оперы «Дон-Жуан» (в своё время недооценённой на родине композитора).

Другая ученица Ирины Аркадьевны Нестеренко — Анастасия Гнатюк, отметившись предварительно успешным творческим трудом в Черкасской филармонии, представила даровито киевлянам, в марте 2017 года, уже на филармонической сцене, спектакль по мотивам произведения аргентинского композитора Астора Пьяцоллы «Мария из Буэнос-Айреса». По словам юного режиссёра, птенца «гнезда нестеренкова»:

«Произведение Пьяцоллы посвящено истории танго. Главная героиня Мария — это собственно олицетворение танго, а её судьба — по сути, сложные, порой жёсткие драматические коллизии, которые сопровождали путь развития этого жанра, в результате чего постепенно сформировался новый стиль — «танго-нuevo». Перед нами разворачивается поразительная история сильной любви, гибели и вознесения Марши — звезды кабаре и «ночной бабочки».

Несть числа постановкам камерного характера, осуществлённым Ириной Нестеренко в Национальной филармонии. Многочисленны также её работы для большой зрительской аудитории, её собственные режиссёрские прочтения оперной классики при организационно-творческой «тыловой» поддержке Владимира Анатольевича Лукашёва, обеспечившего для режиссёрских подвигов ученицы сцену ему родного Харьковского театра оперы и балета. Отважная женщина, преодолевая всех категорий препятствия, смело шла в творческий бой — и побеждала.

Харьковский период в творчестве Ирины Аркадьевны начался в июне 2004 года постановкой оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», имевшей большой премьерный



успех и позволившей, как отмечала постановщица, найти ей общий язык с актёрами, со всем коллективом театра.

Далее последовала — уже в 2005 году — опера Петра Ильича Чайковского «Черевички». Написанная по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя, опера эта очень непроста с точки зрения драматургии и сценического воплощения. По словам постановщицы, дабы сделать спектакль ярким и интересным, были использованы разнообразные сценические эффекты с реалистическими полётами над сценой Солохи, Беса и Вакулы, с вьюгой, созданной с помощью искусственного снега и мощных вентиляторов.

Представляя загодя харьковской публике свою новую работу, Ирина Аркадьевна, в частности, говорила: *«Это опера-фантазмагория, мы стремились усилить и акцентировать фантастичность, где-то даже мистичность, которая идёт от Гоголя. Диканька — это микрокосмос, маленькая модель Вселенной, где есть абсолютно всё».*

Опера ставилась с размахом, что позволяли выделенные на него приличные средства — за три с половиной часа представления на сцене «показали себя» более ста пятидесяти его участников, двенадцать солистов, хор и балет; для всех актёров спектакля было пошито две с половиной сотни костюмов; для исполнительницы роли императрицы была изготовлена точная копия царской короны.

Итоговую оценку дала харьковская пресса:

«Черевичками» харьковский театр продолжает традицию богатых и ярких постановок. Режиссёр Ирина Нестеренко (Киев), принадлежащая к творческой школе известного оперного постановщика Владимира Лукашёва, продумала все мизансцены и миманс постоянно активными, где каждый знает свою роль. Это создаёт такое нужное массовым оперным сценам ощущение живой толпы».

Вершиной режиссёрского искусства Ирины Аркадьевны Нестеренко стала постановка ею, в июне 2007 года, под отеческим началом Владимира Анатольевича Лукашёва, оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Усилиями этой замечательной пары оперных режиссёров на харьковскую оперную сцену вернулась классика русской оперы, прежде ставившаяся здесь в 1967 году (с неповторимым Николаем Манойло, певшим первую партию).

Чтобы обратиться к этому монументальному оперному полотну от решившегося на то постановщика требуется не только мастерство и опыт, но и творческая смелость, требуется не только знание «на зубок» содержания либретто, его нюансов, но и глубокое проникновение в недра истории древней Руси, знание сути происходивших тогда событий.

Рубеж первого и второго тысячелетия. Время, когда пришедшая таинственная Русь, Рюриковичи, утверждались на славянских землях, вдоль бассейнов Днепра, Днестра, Десны и Волхова, вплоть до Карпатских гор. Образовавшийся, стремительно разраставшийся союз русских князей, с великим князем во главе, определил для него главной резиденцией («столом») город Киев с прилегающими к нему территориями, прочие ему подвластные земли поделил меж своими участниками на разнозначные региональные княжества («уделы»).

Дабы нормировать отношения в межкняжеском союзе один из первых его «старшин», Ярослав Мудрый ввёл так называемое лествичное правило наследования великокняжеского стола, согласно которому освободившееся место князя-управителя занимает не его старший сын, а следующий по старшинству брат (вплоть до третьего). Кроме того, после назначения нового великого князя, удел, прежде им занимавшийся, переходил к князю из следующего по значимости княжества (при действовавшей градации такой значимости). Ставший вакантным региональный княжеский стол занимал следующий представитель княжеской номенклатуры и так далее — вплоть до последнего из всего числа ранжированных княжеских уделов.

Такое построение властных отношений в княжеском союзе, сложное и предельно запутанное, уже с начала её действия дало серьёзный системный сбой, превратило в скором времени борьбу князей за более достойный «стол» в их ратные противостояния. Главной целью, прежде всего для княжеской верхушки была борьба за генеральное киевское управительство, и она с регулярными кровавыми сечами меж братьями-славянами, с силой неугасимого пожара охватила Русь в смутном для неё двенадцатом столетии.

Так, Юрий Долгорукий (третий сын Владимира Мономаха и правнук Ярослава Мудрого), в нарушение лествичного права лишённый более удачливым претендентом киевского стола, долгое время княжил во Владимирских и Суздальских землях, успев основать в 1147 году Москву, но в Киев всё же вернулся («со щитом») в 1155 году и, побыв здесь пару лет великим князем, скончался в 1157 году и был погребён в Выдубицком монастыре.

Менее удачливым в достижении верховной цели был черниговский князь Олег, сын князя Святослава, старшего брата Владимира Мономаха и правнук Ярослава Мудрого. Киевский стол он не взял, но порождённая им ветвь черниговских князей Ольговичей, дав свои многочисленные отростки, стала долговременной оппозицией киевским великим князьям.

Один из Черниговских князей, Ярослав Всеволодович, в 1185 году отговорился от участия в походе на половцев, который устраивал киевский князь Святослав Всеволодович. Святослав вернулся с богатой добычей, и северские князья очень досадовали на Ярослава Черниговского за его несговорчивость, лишившей их возможности обогатиться.

Более других досадовавший, внук Олега Святославича, Новгород-Северский князь Игорь Святославич 23 апреля того же 1185 года, не ставя в известность старшего Черниговского князя, с легкомысленной поспешностью выехал из Новгород-Северского в поход на степняков, взяв с собой племянника, князя Рыльского Святослава Ольговича и сына, бывшего при матери, Ефросинии Ярославне, в Путивле. С собранным полком князь Игорь переправился через Донец, подошёл к Осколу, где к нему присоединился брат Всеволод, Трубчевский князь. Встреченные ими половцы, пустив в русских дружинников тучу стрел, стали стремительно убегать от них, заманивая, как выяснилось, в половецкую засаду, — обычная для этих кочевников тактика ведения боя. В последовавшей страшной сече полк русских был разгромлен, а князь Игорь пленён, вместе с братом и сыном.

В плену Игорь пользовался полной свободой, имел возможность ездить на охоту, приставленные к нему сторожа исполняли все его приказания. Между половцев нашёлся один человек по имени Лавр, который предложил Игорю побег из плена, что было ими совместно исполнено. На закате, когда сторожа пьянствовали кумысом, пара беглецов, сев на коней, и в двенадцать дней достигли города Донца, откуда Игорь отправился в Чернигов, затем в Киев и, далее, домой.

Такова историческая канва этого события из древнерусской жизни, которое неизвестный автор, возможно, современник неудачливого князя Игоря, *«растекаясь мыслью по древу»*, переложил его на язык эпоса — со всей присущей этому литературному жанру атрибутикой, с необычайной красотой и образностью — и назвал своё произведение (если сокращённо) «Слово о полку Игореве».

Гений русской музыки (феноменальная личность — химик композитор!) Александр Порфирьевич Бородин, ближе к концу дней своих, занялся оперным воплощением этого литературно-исторического шедевра. Написал либретто (добавив в него от себя тройку новых персонажей, в том числе шурина князя Игоря, Владимира Ярославича Галицкого, представив последнего ничтожной, сластолюбивой личностью) и восемнадцать лет сочинял одноимённую оперу о четырёх актах, но полностью цельной её представить не смог — его композиторское подвижничество прервала смерть, в 1887 году случившаяся от разрыва сердца.

Завершили труды его брат по «Могучей кучке» Николай Андреевич Римский-Корсаков и Александр Константинович Глазунов. Премьера оперы «Князь Игорь» состоялась 23 октября 1890 года в петербургском Мариинском театре и утвердила Бородина в истории русской музыки как основоположника эпического симфонизма.

Из последовавшего несметного числа постановок оперы Бородина её харьковская реализация, исполненная режиссёрским дуэтом Лукашёв-Нестеренко, следовала классическим основам, заданным создателем (или создателями) этого шедевра, без каких-либо экстраординарных обновлений или сиюминутных включений, и имела творческой целью, как сказал Владимир Анатольевич Лукашёв, *«оживить грандиозную фреску из истории Руси»*.

Эта академически безупречная, обрамлённая роскошными (с иконописью) декорациями постановка имела эпический размах — с грандиозными народными сценами, с мощным звучанием хора, с огненными половецкими плясками, с рельефно прорисованными героями, с необычайными по красоте ариями героев, все нюансы их чувствований отражающими. Метафорическими новинками постановщиков стали полёт белой голубки, выпускаемой Ярославной, с письмом к пленённому мужу, появление настоящего сокола, с которым ассоциировался герой и прочая, и прочая.

Постановка «Князя Игоря» в Харькове имела ошеломляющий успех, о ней писали как о событии всеукраинского масштаба, отмечали по её следам, что *«...сегодня режиссура в оперном театре — не приложение к музыке, а центр художественного мышления, способный объединить вокруг себя постановщиков и исполнителей. Лукашёв вернулся на харьковскую сцену. Вернулся с успехом. И не в одиночестве, а с предстательницей своей постановочной школы»*.

Ирина Нестеренко завершила своё многолетнее творческое турне в Харькове постановкой, в июне 2008 года, оперы Джакомо Пуччини «Богема». И вновь — с размахом, с большим числом участников, с новыми режиссёрскими находками, с увлекательными зрителями музыкальными интонациями и мизансценами, так ею охарактеризованными: *«Как говорят часто — опера должна ставиться, как будто для слепых и для глухих. Потому что слепой человек должен услышать и в характере и в интонации эмоции, которыми наполняется эта музыкальная интонация всем действием, а глухой должен в мизансцене увидеть всё, что происходит»*.

Бывший в числе премьерных зрителей итальянский консул частые вспышки аплодисментов дополнял темпераментными выкриками «Bravissimo!», а после завершения представления маркерной ручкой написал размашисто это слово на тумбе у театрального подъезда. (И вдобавок вручил директору театра тысячу долларов, как он выразился, *«на рекламу хороших постановок»*.)

Директором театра тогда была Любовь Георгиевна Морозко, давшая свою оценку работе киевской коллеги: *«Все партии в опере исполняются на языке оригинала. Авторы убеждают: чувства, итальянские или украинские, в переводе не нуждаются. Чтобы понять сценическое произведение, следует слушать его сердцем»*.

Не всё вечно под луною. Десять лет спустя, опровергая мнение Любви Георгиевны о языковой стабильности оперного либретто, очередной главный режиссёр Харьковского театра оперы и балета продемонстрировал пример перелицовки классической оперы Петра Ильича Чайковского «Мазепа» — купировал и осовременил её собственными, чуждыми великому композитору, вставками, да под его именем представил на суд местным зрителям. (Те, кажется, новинке особо не подивились, ибо привыкли к новаторским выходкам нарциссирующих обновленцев театральной моды. Один из них, к приме-



ру, обогатил собственными изысками шекспировскую драму «Ромео и Джульетта» — усадил, совершенно обнажёнными, разнополых представителей конфликтующих родов Монтекки и Капулетти на вмонтированные в сцену унитаза и повелел родовитым нудистам своими холёными ручками выплеснуть водичку из оных в сторону несговорчивого оппонента и таким образом ему своё презрение выказать.)

Что касается незыблемости языка оперного либретто, то трудно себе вообразить, что в российской литературно-музыкальной среде кто-либо мог решиться на беспардонное отношение к украинской оперной классике — к примеру, взять да переложить на русский язык либретто к опере Николая Витальевича Лысенко «Наталка Полтавка», представляющей зрителям всех стран и народов необычайную певучесть, мягкость и сочность истинного украинского языка.

Приходится признать, что с общим культурным оскудением общества умалывается, в том числе, и творческая сила оперного искусства, а образующиеся творческие пустоты заполняются нередко интеллектуальными недорослями, подменяющими гармоничный союз мысли и музыки бездумными приёмами и балаганными трюками, сервильной услужливостью власть предержащим.



Но, как говорится, *«чем гуще мрак, тем ярче звёзды»*, что в переложении на оперную тематику означает — никогда мелкотравчатая поросль псевдоноваторов, бездарных выдвиженцев не забьёт высоко стоящий ряд столпов этого чудного вида искусства, первые места в украинском отделении которого по праву занимают верные и твёрдые последователи школы Бориса Покровского — Владимир Анатольевич Лукашёв и Ирина Аркадьевна Нестеренко.

*«Как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка».*⁷⁶

Единит этих двух выдающихся мастером оперного цеха глубокое, мастерское знание своего дела в основе которого не только безмерные музыкальные накопления их интеллекта, безбрежность их литературной эрудиции, превеликая осведомлённость в области исторических подоснов ими поставленных опер и литературно-музыкальных композиций. Вершина их режиссёрского искусства — гармоничное сочетание «высокого» с «земным», деликатное вплетение в ткань классики собственных обыгрываний авторских замыслов, с их тонкой нюансировкой, нисколько не нарушающей исходной творческой и стилиевой основы, а наоборот — обогащающей её.

*«Печали вечной в мире нет. И нет тоски неизлечимой».*⁷⁷ Время умалит — для родных, близких, коллег — боль от безвременного ухода из жизни замечательной женщины, Ирины Нестеренко, но долгим-долгим будет её земное послесвечение в оперном искусстве, которому она так много отдала. Да святится в нём, *«до дней последних донца»*, Ваше имя, милая, умная, добрая, несравненная Ирина Аркадьевна!





Сага о Малиновских

Писательству, коему на склоне лет своих предаюсь с упоением, до самозабвения доходящим, вводящим меня в *«удивительное состояние, когда время свивается и сгорает, когда дивное вдохновение награждает избранника светлым восторгом за все тяготы, за всю смуту жизни»*, некогда предшествовали долгие, на профессиональном уровне выстроенные, занятия научно-технические — в сфере разработки математических методов, программного обеспечения, электронных узлов средств вычислительной техники, ныне компьютерами именуемыми.

От прошлых высокоумных штудий, закончившихся с искусственным сломом их обеспечивавших государства, остались только философическая *«грусть-тоска зелёная»* да способность к системному мышлению, выработавшаяся во мне приёмами предмета алгебры логики. Сия научная дисциплина, прежде использовавшаяся мною в конструкторских разработках, ныне позволяет мне конструировать, без сторонней подсказки, собственные умозаключения о творящихся в окружающем мире событиях, увы, преимущественно негативных. (Ибо, следуя мнению мудрых, во-первых, *«логика — это нравственность мысли и речи»*, а, во-вторых, *«человек не может отказаться от прирождённого ему права быть судьёй среды, в которой он живёт, и дел, которые совершаются перед его глазами»*.)



И ещё — осталась пожизненно в душе моей благодарность старшим согражданам, обеспечивавшим мне и мне подобным достойную жизнь, возможность профессиональной самореализации. В их числе — замечательный человек, выдающийся учёный-практик, член-корреспондент Академии Наук Украины Борис Николаевич Малиновский, прославивший в начале шестидесятых годов украинскую науку (в образе Киевского института кибернетики) пионерской разработкой полупроводниковой электронной вычислительной машины «Днепр», ставшей на то время лучшей из лучших разработок подобного рода. Отличало это инновационное чудо хитроумие его математической и конструкторской основы, изящество и простота инженерных решений и — самое главное — возможность его широкого применения не просто как мощного вычислителя, а как, вдобавок, разумного «управителя» в системах автоматизации производственных и технологических процессов, приборных испытаний, научных экспериментов и прочая и прочая.

Как сказал премудрый Соломон, *«мудрость в порочную душу не входит»*. В смысле этой сентенции тем более интересен мне Борис Николаевич Малиновский, потомок церковнослужителей, что побуждает меня к морализации о том, насколько сильно такая родовая корневая система повлияла на развитие порождённого ею фамильного

древа, на передачу его ростку-потомку христианской основы жизненных (прежде всего — семейных) ценностей.

В этом смысле представляет интерес начальная часть жизненного пути отца Бориса Николаевича, пора становления этого высокого интеллекта человека, талантливого и волевого, сумевшего получить высшее духовное и светское (историческое) образование, безусловно наделившего своего сына сильным характером, нравственным духом и острым умом, развитым тем с возрастом до степени обстоятельной житейской мудрости.

Часть первая.

Абрисы предыстории украинской электронной вычислительной техники

Нынешнему деятельному обывателю, в той или иной степени связанному с компьютерными технологиями, с микроэлектронными средствами коммуникации, трудно себе представить, что зарождение этого феномена человеческой цивилизации началось в сравнительно недавние — по исторической мерке — послевоенные годы в соревновании на опережение советских и американских наук, и киевские учёные к делу этому весьма основательно приложили свою руку. Обо всём можно прочитать в книгах, посвящённых истории становления и развития вычислительной техники, Борисом Николаевичем Малиновским написанных.⁷⁸⁻⁸²

Пионерскую роль в деле разработке принципов устройства электронных вычислительных машин и их практической реализации сыграл Сергей Алексеевич Лебедев, 1902 года рождения. Его родовые корни тянутся из Костромского края, из тамошнего села Родники, где отец его, по окончании двухклассного церковно-приходского училища, некоторое время трудился конторщиком на местной текстильной фабрике, затем, после женитьбы на высокородной Мавриной, вышедшей из дворянского сословия и преподававшей в школе для девочек из недостаточных семей, переехал с ней в Нижний Новгород. Здесь у супругов Лебедевых родились три дочери и сын.

Дочь Татьяна впоследствии, под фамилией матери, стала известным, ярко выраженного народного стиля, художником, графиком, иллюстратором, создателем цикла зарисовок, посвящённых русским городам, их старинным архитектурным ансамблям, эскизов, декораций, театральных костюмов к театральным спектаклям, нескольким мультфильмам; прославилась оформлением пушкинских сказок, иллюстрациями собственных книг.



Сын Сергей пошёл в науку, стал выдающимся учёным в области теории автоматического управления и регулирования, в военные годы — был автором целого ряда разработок для танковой и авиационной техники. После десяти лет работы во Всесоюзном Энергетическом институте переехал в 1945 году в Киев, где, став республиканским академиком, с 1947 года возглавил академический Институт электротехники. Здесь в организованной Лебедевым лаборатории моделирования и вычислительной техники, под его непосредственным руководством была разработана и в 1950 году официально принята государственной комиссией первая в Советском Союзе (и в континентальной Европе) Малая электронно-счётная машина (МЭСМ).

Безусловно, выдающийся научно-технический прорыв, осуществлённый неординарным учёным, не был спонтанным явлением; ему предшествовало немало количество теоретических разработок, конструкторских реализаций отдельных узлов, устройств автоматического счёта, выполненных в том числе и самим Лебедевым (та-

ковой, к примеру, была его разработка аналоговой — *sapienti sat!* — вычислительной машины, использовавшейся в энергетике). Но только ему было суждено обобщить и развить имевшиеся наработки в области цифровой вычислительной техники и воплотить в мощную (по тем, стартовым временам) действующую вычислительную машину на электронных лампах.

В год лебедевского прорыва выпускник Ивановского энергетического института, молодой ветеран войны Борис Малиновский переехал в Киев и поступил в аспирантуру Института электротехники, тогда находившегося под началом замечательного украинского учёного в области автоматического управления и регулирования Алексея Григорьевича Ивахненко, прежде того трудившегося вместе с Сергеем Алексеевичем Лебедевым во Всесоюзном энергетическом институте.

Помимо всех его высоких научных достоинств тем близок мне этот талантливый человек (1913 года рождения, в городе Кобеляки Полтавской губернии), что в галерее выдающихся выпускников моего родного Ленинградского электротехнического института находится его портрет. И к разряду высокозначимых отнесён Алексей Григорьевич — за принципиально новые пути в теории и практике его любимой науки, имеющей богатейшую школу и высокопрофессиональных оценщиков научных достижений в его (и моей) *alma mater*.

Под научным и административным крылом (но не при прямом участии) Алексея Григорьевича Ивахненко начал свой путь в науке Борис Николаевич Малиновский, продолжив его в творческом взаимодействии с Сергеем Алексеевичем Лебедевым. Уже работая в Московском электротехническом институте, Лебедев сохранил за собой творческий надзор за оставленной им в одноимённом киевском институте лабораторией вычислительной техники.

Как её сотрудник, с подачи Лебедева, Борис Николаевич начал заниматься исследованием использования магнитных (ферритовых) элементов в цифровых вычислительных машинах. Исследование завершилось написанием кандидатской диссертации, успешно защищённой Малиновским в 1953 году (при положительном отзыве на неё академика Лебедева, выступившего в роли оппонента).

Лаборатория вскоре была преобразована в академический Вычислительный центр, в котором Борис Николаевич руководил отделом специализированных цифровых машин. В 1956 году вычислительный центр был переподчинён Институту математики с Борисом Владимировичем Гнеденко во главе. Уроженец Симбирска (1912 года рождения), сын землемера; выпускник физико-математического института Казанского университета и аспирантуры Московского университета, он свою научную жизнь посвятил теории вероятностей и математической статистике — и весьма в этих науках преуспел. (К слову, теорию вероятностей автор этих строк, обучаясь в Ленинградском электротехническом институте, осваивал по учебнику Гнеденко.)

Борис Владимирович некоторое время жил в одном городе с семьёй Малиновских — в тридцатых годах преподавал высшую математику в Ивановском текстильном институте. В 1945 году продолжил математический курс уже во Львовском университете, вплоть до 1950 года, когда был перекомандирован в Киев — руководителем только организованного отдела теории вероятностей и математической статистики в академическом Институте математики. Одновременно он заведовал университетской кафедрой математического анализа.

В 1955 году Гнеденко возглавил группу по организации Вычислительного центра, ядром которой были сотрудники академика Лебедева, руководил работами по проек-



тированию универсальной машины «Киев» и специализированной машины, предназначенной для решения систем линейных алгебраических уравнений. Одновременно он разработал курс по программированию для электронных вычислительных машин, который начал читать студентам Киевского университета и который издал в виде отдельной книги (ставшей первым в Советском Союзе учебником по программированию, опубликованном в открытой печати). С 1956 года в течение двух лет, до переезда в Москву, он был директором Института математики Академии Наук Украинской ССР.

В 1956 год Гнеденко пригласил заведовать лебедевской лабораторией известного математика Виктора Михайловича Глушкова, трудившегося в одном из Уральских атомных предприятий, только защитившего докторскую диссертацию по одной из проблем высшей математики (простому человеческому уму, в том числе и моему, недоступной для минимального её понимания). С этого времени повёлся отчёт совершенно блистательной научно-организационной деятельности этого экстраординарного человека в Киеве.



Виктор Михайлович Глушков родился в августе 1923 года в Ростове-на-Дону, окончил с золотой медалью школу в городе Шахты. С началом войны в армию призван не был по состоянию здоровья, маму его оккупанты расстреляли осенью 1941 года. После освобождения Донбасса его мобилизовали на восстановление шахт. С 1943 года Глушков учился теплотехнике в Новочеркасском индустриальном институте, с последнего курса которого (сдав экстерном экзамены физико-математического цикла) перевёлся в Ростовский университет. После распределения трудился на Урале, откуда и приехал в Киев.

Позже он вспоминал: *«Я стал заведующим лабораторией вычислительной техники Института математики. Предполагалось, что лаборатория будет реорганизована в Вычислительный центр АН Украины, в соответствии с вышедшим в 1955 году постановлением о создании вычислительных центров в академиях союзных республик, в том числе на Украине».*

Указанная реорганизация совершилась в Киеве в декабре 1957 года. Виктор Михайлович, как и задумывалось, стал директором Вычислительного центра Академии Наук Украинской ССР, позже — в 1962 году — преобразованного в Институт кибернетики с директорством в нём Глушкова. Помимо организационно-научной деятельности был Виктор Михайлович активен и в части педагогической — преподавал с 1956 года в Киевском Государственном университете, где читал на механико-математическом факультете курс высшей алгебры и специальный курс теории цифровых автоматов, а с 1966 года и до конца дней своих заведовал кафедрой технической кибернетики.

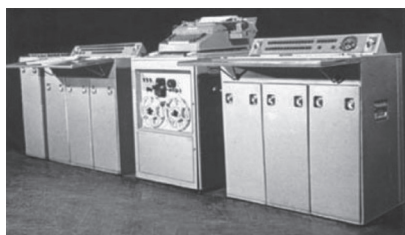
Как ведущий специалист Вычислительного центра Борис Николаевич Малиновский (вместе с коллегой Зиновием Львовичем Рабиновичем) выполнил разработку специализированного вычислительного комплекса обнаружения воздушных целей и наведения на них истребителей. Став автором идеи создания управляющих вычислительных машин широкого назначения (УВШН), кандидат технических наук (с 1953 года) Малиновский озвучил её устами своего директора и, с его благословения, приступил к конструированию электронной новинки.

В 1961 году Государственная комиссия, принимая в эксплуатацию разработку Малиновского и его высокоумной команды специалистов, отметила:

«1. Машина УМШН является первой в СССР полупроводниковой управляющей машиной широкого назначения, предназначенной для контроля и управления рядом про-

изводственных объектов в различных отраслях промышленности, а также для изучения объектов. Кроме того, машина может использоваться как универсальная вычислительная машина средней производительности.

2. В машине имеется ряд оригинальных технических решений, реально обеспечивающих широкое назначение машины, секционность построения блоков памяти и коммутатора, программный обмен информацией между машиной и объектом, возможность подключения к нестандартным датчикам, электронный коммутатор сигналов и др.»



Говоря о соучастниках этого великого дела (и не имея возможности всех их, воздав благодарность, описать), должен отметить Екатерину Логвиновну Ющенко (Грачёву), разработавшую программное обеспечение для созданного вычислительно-управляющего комплекса, прославившую своё имя как автор одного из первых в мире языков программирования высокого уровня. Родилась она в 1919 году, в Чигирине, в учительской семье. В 1942 году, находясь в эвакуации, в Ташкенте, окончила Среднеазиатский университет.

После войны работала она во Львовском отделе теории вероятностей киевского Института математики, с 1950 года, после переезда в Киев, — старшим научным сотрудником этого института, а с 1957 года, перейдя под крыло Глушкова, стала заведовать отделением в Институте кибернетики.

Вычислительной математикой Екатерина Логвиновна занялась в 1954 году, когда разработала для пионерского детища Лебедева комплекс алгоритмов и программ решения задач внешней баллистики для ракетно-космических комплексов. Была она (вместе с Гнеденко) в числе соавторов учебника по программированию, по которому мне, студенту и будущему специалисту по разработке электронных вычислительных машин, довелось осваивать эту мудрёную научную дисциплину.

Итогом работы Государственной комиссии, принявшей в эксплуатацию вычислительный комплекс «Днепр», стало решение наладить его промышленное производство, что и было сделано в одном из цехов киевского радиозавода. Скоро на прекрасно показавший себя в практических делах комплекс резко поднялся спрос, для удовлетворения которого было принято правительственное решение выстроить в Киеве завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), позже реорганизованный в производственное объединение «Электронмаш».

Отечественная разработка управляющей машины широкого назначения была ещё тем замечательна для своего времени, что в негласном состязании с американскими разработчиками наша страна, в целом этот спор проигрывавшая, в указанной классификации электронных вычислительных машин впервые практически уравнивалась с заокеанскими конкурентами. Десять лет длился выпуск этого прекрасного образца электроники и математики, и трудно назвать отрасль промышленности, науки, сельского хозяйства, обороны, космических исследований, где бы он успешно не использовался. И велика была слава Института кибернетики и им порождённого производственного объединения «Электронмаш» на всей территории Советского Союза!

Взрывной научный рост Бориса Николаевича Малиновского, с начала шестидесятых годов начавшийся, был отмечен защитой им докторской диссертации (в 1964 году), избранием членом-корреспондентом Академии Наук УССР по специальности «вычислительная техника»; он стал дважды лауреатом Государственной премии Украины, заслуженным деятелем науки и техники, был удостоен государственных наград.



С термином «кибернетика» (правда, преимущественно как «лженауки») в самых общих чертах познакомился в начале шестидесятых годов, когда, будучи активным и небесталанным учеником девятого класса средней (одинадцатилетней) школы города Умань, озабочился выбором своей будущей профессии. Увлечённость математикой и физикой больше склоняла меня к инженерной, с электроникой связанной профессией. Дополнительно к такому решению подталкивала разгоревшаяся в стране нешуточной силы дискуссия о сравнительной значимости (или ценности) для общества «физиков» (молодых людей с преимущественно математическим складом ума) и «лириков» (сограждан с романтическим душевным уклоном).

В этом неформальном противостоянии представителей двух субкультур того времени явно первенствовали первые, чему способствовал бурный научно-технический и производственный прогресс страны, первой в мире прорвавшейся в космос, осваивавшей с толком свои необъятные пространства и недра, укрощавшей атом и сибирские реки, развившей машиностроение, приборостроение и прочая, и прочая. Об этом, в частности, в 1959 году писал, сокрушаясь недооценкой своих творческих собратьев, поэт Борис Слуцкий:

«Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
наши сладенькие ямбы,
и в пегасовом полете
не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
то-то лирики в загоне...»

Говоря о недооценке новой поэзии так называемых «шестидесятников», Борис Слуцкий несколько лукавит, ибо в ту пору свежая поэтическая поросль, преимущественно московской прописки, собирала на свои творческие рдения толпы почитателей — на стадионах, у памятника Маяковскому, в Большой аудитории Политехнического института. (К слову, в Московском Политехническом музее как выдающееся достижение советской науки и техники экспонируется управляющая машина широкого назначения «Днепр».)

«В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милицонеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!»⁸³

В результате долгого перебора вариантов я остановился на Ленинградском электротехническом институте, в который поступил в 1964 году, завершив обучение в нём в 1970 году получением диплома, с записью в графе специальности — «Электронные вычислительные машины».

И так распорядилась мной судьба, что, призванный в звании «лейтенанта» на два года армейской службы в вычислительный центр ракетных войск стратегического назначения, располагавшийся в городе Аральске, был поставлен там на техническое обслуживание ЭВМ «Днепр». За время службы несколько раз выезжал в командировку в Киев, на завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), согласовывать свои доработки. Был,

как специалист, замечен заводчанами и по окончании службы приехал в Киев, работать в специализированном управлении электронных вычислительных машин, созданном для внедрения продукции завода, для разработки конкретным получателям прикладного программного обеспечения.

Первый год отработал на Харьковском тракторном заводе, где с помощью ЭВМ «Днепр» управлялся главный конвейер сборки мощных колёсных тракторов (ныне — разрезан и сдан в утиль новым владельцем завода). Так сложилось, что к стандартному вычислительному комплексу пришлось подключать новое, для него нестандартное устройство быстрой печати. Оснастившись хорошо мне знакомым учебником Глушкова «Теория конечных автоматов», это устройство разработал и запустил в эксплуатацию.

Был за этот научно-производственный подвиг обласкан руководством управления и назначен командовать большой командой (участком) программистов. В новом качестве немало потрудился, внедряя разработки Института кибернетики и продукции достославного завода ВУМ. Более других запомнилась автоматизированная система управления палубными антеннами кораблей, обеспечивавших связь Центра управления полётами с пилотируемыми космическими аппаратами, когда те находились вне территории Советского Союза. Эти корабли имели порт приписки Одессу, на одном из них («Космонавт Юрий Гагарин» с видом на «Космонавт Владимир Королёв») запечатлел меня мой коллега-программист летом 1973 года. (К слову, эти корабли-красавцы сгнили в морских водах у одесского причала в девяностые годы ушедшего века.)



Выпуск прекрасных вычислительных комплексов «Днепр» прекратили по непонятным для моего сознания специалиста причинам где-то в начале семидесятых годов. Завод ВУМ расширился, занялся выпуском новых разработок Института кибернетики, уступавших (по моему убеждению) знаменитому «Днепру». Дальше — хуже. В московских верхах вдруг вызрело совершенно глупое, негосударственное решение перейти на копирование американской вычислительной техники и к делу этому подключили производственное объединение «Электронмаш». Окончательно всё перечеркнула так называемая «перестройка».

Очное знакомство с Борисом Николаевичем Малиновским состоялось много-много лет спустя, когда, уже войдя в возраст седины, волею судьбы встретился с ним в Киевском Доме учёных (как председателем его Совета) и, сойдясь накоротко с почтенным кибернетическим мэтром, был очарован им безмерно. С первых минут общения оценил его не только как учёного, мной глубоко чтимого, но и как человека цельного характера, высокого умственного и нравственного уровня, столько видевшего и пережившего на своём мафусаиловом веку, что из событий его жизненного пути можно составить летописный свод эпохи, в пору которой достоинство личности соединялось с достоинством страны и высоко стояли понятия чести, дружбы, справедливости, порядочности и взаимопомощи в межчеловеческих отношениях.

«В реке, что жизнью называем,
И мы — зеркальная струя
И мимоходом отражаем
Все впечатленья бытия».⁸⁴

Итогом первых встреч с мудрым, обстоятельным, бесконечно добрым Борисом Николаевичем возникло у меня острое желание написать о нём, как об учёном и неординарном человеке — о его жизненном пути, о его родовых истоках. Тем более что подталкивает меня к этому неизменно наивная надежда, что прекратится со временем духовная и интеллектуальная деградация общества, что имена лучших его представителей прошлого будут востребованы и оценены благодарными, нравственными потомками. «*Мечты, мечты, где ваша сладость?*»

Часть вторая. История рода

Родился Борис Николаевич Малиновский 24 августа 1921 года в семье Николая Васильевича и Любови Николаевны Малиновских, на время рождения сына учительствовавших на малой родине главы молодого семейства, в старинном костромском городке Лух, тогда входившем в состав Иваново-Вознесенской губернии. Помянутая территориальная единица, «собранная» из сопредельных волостей Костромской и Владимирской губерний, была учреждена после революции, в июне 1918 года, и просуществовала до 1929 года, когда была преобразована в Ивановскую область.

По этой причине, вопреки указанному административному переделу, следует относить малую родину Бориса Николаевича (как и его отца) — по историческим, этническим, культурным связям и традициям, по духу её — к Костромской земле, давшей почву родовым корням его фамилии, но никак не к новому областному центру Иваново, в прошлом — только сельцу во Владимиро-Суздальском крае.

Городъ Лухъ.

Гербъ города Луха—въ червленомъ полѣ золотая лѣстница, означающая, что этому городу учрежденіемъ наместничества даны средства для восхожденія на верхъ своего благосостоянія. Заштатный городъ Лухъ, юрьевскаго уѣзда, находится на р. Лухъ почти въ серединѣ уѣзда, въ разстояніи 67½ верст. отъ Юрьевца.

Время основанія Луха въ точности опредѣлить невозможно; известно только, что Лухъ, во время великаго князя Иоанна III, былъ уже городомъ, и пожалованъ имъ въ 1482 году выѣхавшему изъ Литвы князю Феодору Ивановичу Бальскому, звуку Ольгерда, который въ 1493 году былъ сюда сосланъ по подозрѣнію въ заговоръ на жизнь великаго князя. Знаменитый бояринъ Матвѣевъ во время изгнанія своего также жилъ въ некоторое время въ Лухѣ, и по просьбѣ его св. Дмитрій, бывшій впоследствии митрополитомъ ростовскимъ, приѣзжалъ въ Лухъ погребать родственника его Стрѣнева.

Изъ историческихъ памятниковъ остались въ Лухѣ: каменные остатки подваловъ на мѣстѣ бывшаго двора Бальскаго, каменный небольшой домъ, принадлежавшій, какъ говорятъ, Матвѣеву, валъ въ видѣ полигона, построенный для обезпеченія отъ нападенія литовскихъ и польскихъ наѣздовъ, и часовня на мѣстѣ бывшаго убогаго дома, какъ памятникъ морской язвы.

Впоследствии Лухъ былъ постояннымъ станомъ воеводскихъ канцелярій, и принадлежалъ съ своимъ уѣздомъ къ суздальской провинціи (а), а въ 1787 году причисленъ къ костромскому наместничеству, и съ уѣздомъ своимъ вошелъ въ составъ юрьевскаго.

Въ городѣ Лухѣ находится приходское училище съ 2 учащими и 39 учащихся. Въ 4 верстахъ отъ Луха въ казенной слободѣ находится мужеской монастырь.

Жители кромѣ торговли хлѣбомъ, покупаемымъ въ количествѣ, нужномъ для мѣстнаго употребленія, и разной мелочной торговли занимаются съ успѣхомъ огородничествомъ, особенно разведеніемъ лука, который большими партіями отправляется отсюда для продажи въ разныя мѣста.

Для поддержанія мѣстной торговли, въ Лухѣ учреждена ярмарка, известная подъ названіемъ казанской, бывающая 8 Іюля.

Городской доходъ Луха простирается до 3753 руб. 36½ к.

Старинное наименование этого финно-угорского края, перешедшее (в 1152 году, усердием князя Юрия Долгорукого) в название его новоявленного центрального города, историки определяют несколькими формулами, одна из которых увязывает его с древнеславянским божеством Костромой. Произошло это в пору, когда пассионарные потомки Ярослава Мудрого, стесненные тем учрежденной громоздкой и неоднозначной схемой лестничного наследования (от брата к брату, а не от отца к сыну), утомленные ею вызванными междоусобицами, устремились за новыми землями в верхневолжские края, где сформировали вскорости свой новый центр — Владимиро-Суздальскую Русь.

Именно так действовал Юрий Долгорукий, третий сын Владимира Мономаха, за пять лет до учреждения Костромы основавший Москву (хотя к исходу своего княжения добился причитающегося ему Киева, в котором и закончил

дни свои в 1157 году и был погребён в Выдубицком монастыре). С перенесением центра Руси на север переносились, как указывает Лев Николаевич Гумилёв, и названия для вновь учреждаемых городов — Галич, Переяслав, Холм...

Касательно происхождения названий Костромы, Галича и других населённых пунктов края иной точки зрения (связанной с прошлым коренного населения края) придерживался известный археолог и историк, Михаил Яковлевич Диев.

«Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...»

(Александр Блок)

Сын священника, воспитанник Костромской духовной академии, Михаил Яковлевич Диев (1794 года рождения) долгие годы служил протоиереем в Троице-Сыпановом монастыре города Нерехты Костромской губернии и одновременно был законоучителем и наблюдателем преподавания Закона Божия в Нерехтских мужском и женском училищах. Педагогику активно совмещал с изучением исторического прошлого Костромского края, влиянием на его культуру традиций древних финно-угорских народов, населявших эти земли до прихода славян, сохранением традиций древнего финно-угорского народа мерян костромской территории. По его мнению, на основе древнего мерянского наречия возник особый язык жителей города Галича Костромского уезда — елтонский (елманский):

«При переселении народа Мери из здешней стороны (т. е. Костромской губернии) за реку Оку в XII в. нельзя предполагать, чтобы из этого народа никого уже не осталось на прежнем месте, в Костромской стороне. Доказательством этого неоспоримо могут служить названия мест в Костромской губернии, как городов, селений, рек, которые носят имена не славянского языка, а финского и других наречий, большей частью ныне непонятных, то есть для славян. Здесь жил совершенно другой народ. Дольше в Костромской и смежных с нею губерниях в народе употреблен язык, не похожий на славянский, или русский, оставшийся в народе таинственным. Под названием в Нерехте Елтонского (елтын-безмен: язык безменников); этому языку одолжены названия здешних городов: Кострома, (костр, кострыга, город; прибавьте к этому Мордовское Мас. Красивый, следовательно, Кострома значит красивый город), Галича (из слов: галь, многолюдный, обрусевшее гиль; например, доселе говорят «галь народа», то есть многолюдно. Костргалея значит многолюдный город), Кинешмы (спокойная, красивая пристань; кинишь, приставать, спокойно стоять), Луха реки и города (лох по елтонски значит сосед, соседний), Олонеца (от слова олоно, давно, то есть старинный город). Ходячая монета в Костромской стороне зовется раги, что самое на древнем Финском значит деньги. На этом языке слово шунге значит песенник, песня. Следовательно, Шунга, село в 8 верстах от города Костромы, означает селение песенников».⁸⁵



В составленных им на склоне лет воспоминаниях помянул Диев многих значимых для него людей, с которыми пересекался и соприкасался на своём жизненном пути — историк Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, литератор и историк Михаил Петрович Погодин, издатель «Отечественных записок» Павел Петрович Свиньин, министры народного просвещения граф Сергей Семёнович Уваров и князь Платон Александрович Ширинский-Шахматов... Описал Михаил Яковлевич, как у помещицы села Есипова (в десяти километрах от Нерехты расположенного) Марьи Семёновны Аже он встретился на Страстной неделе 1817 года с её внуком Александром Карловичем Бошняком, ботаником и писателем, подружился с ним.

Позже Бошняк переехал в Елисаветград, где «прославился» доносом на будущих декабристов: «В 1825 году, когда осенью император Александр путешествовал в Крым, и когда находился в Елисаветграде, то, при содействии графа Витта, управлявшего военным там поселением, Александр Карлович, допущенный до аудиенции, открыл Государю о заговоре заменить монархическое правление России республиканским».⁷⁷

В предисловии к этим воспоминаниям краевед Андрей Александрович Титов даёт прелюбопытнейшую (для семьи Бориса Николаевича Малиновского) информацию о том, как заканчивал свою пастырскую деятельность протоиерей Диев, переживший в 1865 году апоплексический удар и написавший по этой причине прошение об отставке:

*«На вышеизложенном прошении о. Диева последовала резолюция преосвященного Платона: «1865 г. Августа 12 дня: 1) согласно прошению достопочтеннейший о. протоиерей увольняется от обязанностей приходского священника, благочинного церкви Сыпановой слободы и депутата при испытании в светских училищах; 2) церковь с. Сыпанова причислить ко второму благочинническому Нерехотскому округу; 3) на праздное священническое место перемещается священник Чухломского уезда, села Михайловского **Василий Малиновский**».*⁸⁵

Из последней ремарки напрашивается предположение, что помянутый выше священник Диева являлся прапрадедом Бориса Николаевича Малиновского, чей дед, священник Василий Иванович Малиновский, родившийся в 1864 году, был внуком переехавшего из Чухломы в Нерехтский округ священника. Но такая посылка остаётся только гипотезой, фактами не подтверждённой, тем более что фамилия Малиновских была достаточно распространённой в среде духовенства Костромской епархии.

Одним из первых её носителей, представленных в списке учеников Костромской духовной семинарии 1782 года значится некий Стефан Михайлович, сын пономаря Воскресенской церкви посада Большие Соли Нерехтского духовного управления, Михаила Алексева. Перемена фамилии Алексеев на Малиновский свидетельствует о том, что — согласно бытовавшему тогда (вплоть до середины девятнадцатого века) обычаю — поступавшим в семинарию ученикам её ректор мог присваивать новую фамилию.

Иногда он просто переводил на латынь или древнегреческий язык фамилию ученика (так из Надеждина появился Сперанский), иногда, дав волю фантазии, назначал новообращённым фамилии духовного (Рождественский, Вознесенский, Воскресенский) или какого-либо другого смысла (подобно Малиновскому ягодную фамилию Вишневатский получил более поздний выпускник семинарии, прежде бывший Козыревым).

Есть также версия польского происхождения этой фамилии, увязывающая её корневую основу с городом Малин, расположенном неподалёку от Житомира, есть и другие предположения, одно другого (по мнению авторов) убедительнее. Что ж — «хороший довод лучшему уступит».

Корни предков Бориса Николаевича Малиновского покоятся в священнической среде Костромского края и, кажется, имеют весьма значительное проникновение в его прошлое, если судить по значительному количеству Малиновских среди священнослужителей (и церковнослужителей) Костромской губернии. Первым приметным корешком в родословном древе фамилии является псаломщик Семён, чей сын Иван (по факту 1890 года) также служил псаломщиком в церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Макарьевское. Должность псаломщика относилась к низшей, «обслуживающей» ступени в «иерархии церковных должностей, квалифицировавшихся как «церковнослужители».

Чтобы стать православным священником Василию Ивановичу Малиновскому пришлось три года осваивать начала знаний в духовной (или церковно-приходской)

школе уездного города Кинешмы, а затем ещё шесть лет учиться в местной духовной семинарии. Прежде его родной город Лух был уездным городом, имел своё духовное управление, свои начальную школу и семинарию, но в 1854 году духовное управление переместилось в Кинешму, и вместе с ним переместились в этот приволжский город духовная школа и семинария.

(Лухское духовное управление было открыто в 1776 году в братских кельях Тихоновой пустыни и «обслуживало» приходские церкви Лухского, Кинешемского и Шуйского уездов. Кинешемцы хотели иметь управление у себя, но им было отказано по причине отсутствия там монастыря и отдаленности от границ Суздальской епархии. С 1787 года Лухское духовное правление находилось в ведении Костромской епархии. В 1791 году в стенах монастыря было открыто духовное училище, которое готовило кандидатов на замещение низших церковных должностей.)



Получить место священника в церкви при погосте города Лух Василий Иванович Малиновский мог по одному из трёх способов. Во-первых, место священника могло стать вакантным после кончины бездетного прежнего настоятеля этого храма. Во-вторых, молодой священник мог унаследовать священническую должность от отца. И наконец, в случае, если у предшествующего священника не было сына, а была только дочь (или дочери), то он мог выдать её замуж за молодого священника и тем передать новоиспечённому зятю, через дочь, в наследство свой приход.

Как схема стабилизации или улучшения имущественного положения сельских духовников в приходах утвердилась практика наследования церковных должностей, отвечавшая интересам многодетных семей церковнослужителей и священнослужителей, нередко имевших дом, либо выстроенный семейными усилиями на церковной земле, либо ими приобретённый у предшественника по должности.

Закрепить дом за семьёй после ухода за штат служитель мог, передав одному из своих сыновей должность в приходе, либо выдав замуж свою дочь за человека, могущего занять освободившееся («праздное») место. В то же время светские власти всячески стремились уменьшить число служителей в приходах, то укрупняя их, то ликвидируя малые, либо сокращая в них штаты. Преследуя цели увеличения собираемости налогов с населения, власти стремились в проводимых ревизиях выявить «лишних» церковников, живущих при приходах, но не состоящих на штатных должностях.

Вступление в брак являлось обязательным при определении на должность священника или дьякона. И хотя во второй половине девятнадцатого века имели место случаи, когда будущие священнослужители вступали в брак с представительницами не своего сословия, наиболее удачными по-прежнему считались внутрисословные семейные союзы. Отмечалось, что священник лучше всего может найти поддержку в своей жене, выросшей в духовной семье, с детства исполнявшей церковные уставы. Брачные союзы были формой поддержания этой замкнутости, формой выживания её представителей, поддержания корпоративного союза.

Василий Иванович Малиновский, 1864 года рождения, два десятка лет (с 1890 по 1910 год) был настоятелем Вознесенской церкви при погосте села Лазореве Вознесенского округа Кинешемской епархии. (Эта каменная, «при каменной ограде», весьма внушительных — для провинции — размеров церковь была воздвигнута при попечении Александры Куломзиной и Екатерины Мусиной-Пушкиной и при их участии была освящена в 1812 году. До наших дней «не дожила» — была разобрана на строительные материалы в послевоенные годы.)

По меркам того времени семья отца Василия и матушки Софии Малиновских была малочисленна — кроме первенца Николая (1887 года рождения), была ещё дочь



с редким и красивым именем, Павла. Её, красавицу-юницу с ясным, умным взглядом больших, чуть навывкате глаз можно видеть на старинном, 1910 года выпуска, фотоснимке в компании с братом, студентом Петербургской Духовной академии, приехавшим к родителям на каникулы. Выглядит Николай Малиновский — статный, рослый, с гордой посадкой головы — большой энергетикой человеком, сильным, уверенным в себе, в своей духовной и физической силе. Высокое чувство собственного достоинства этого молодого человека, донесенное до нас старинным, чёрно-белого формата снимком, имело под собой прочную основу — на время фотографирования был он не толь-

ко студентом-духовником, но и одновременно вольнослушателем столичного института археологии. Было в его планах, к этому времени сформировавшихся, отказаться от традиционного наследования духовного сана отца, заняться педагогикой, историей, краеведением и архивным делом, и он — с упорством человека редких волевых качеств — добивался поставленной цели.

Для любопытствующего исследователя прошлого являет собой Николай Васильевич Малиновский представителя того слоя русской интеллигенции, чьи добрые прошлые дела, увы, утонули в потоке времени, оставив по себе скромный внешний след в семейных архивах, фотоальбомах, в устных родовых воспоминаниях. Но, дополнив основательно эти скудные сведения выдержками из старых журналов, книг, воспоминаниями современников, можно — при желании — составить представление о давних животворных делах таких неординарных личностей, об их умственных интересах и широте интеллектуального кругозора, о круге знакомых, коллег, единомышленников в пору их жизненной активности. Всё это, суммарно, создаёт вокруг нетленных духовных образов такого класса людей особую историческую ауру, порождает уважение к ним со стороны небезразличных к прошлому потомков.

Духовенство формировалось в особой среде, при этом едва ли не решающее влияние на формирование священнослужителя оказывала не семья, а духовная школа. В восемь — девять лет мальчик уезжал от родителей в город для обучения в духовном училище, а затем в семинарии. На долгих десять лет он оказывался без родительского внимания и опеки. Именно в духовной школе формировался православный священнослужитель, в то время как дети из иных сословий могли постоянно учиться будущей социальной роли, оставаясь в семье, в кругу домочадцев.

Часть третья. Учёба в Костромской семинарии

Семилетним, в 1893 году, отправили родители Николая Малиновского к родственникам в город Юрьевец-Волжский, живя у которых, он два года обучался в духовном училище города Кинешма, расположенном в тридцати верстах от Юрьевца (в Юрьевце существовала только женская гимназия, основанная в 1899 году; в своё время, с 1792 года духовное училище существовало в Лухе, но в 1844 году было переведено в Кинешму). По завершении начального духовного образования был юный Малиновский отправлен родителями в Костромскую семинарию, где безвыездно (как свидетельствует хроника его семьи) прожил, обучаясь, семь лет, огорчаясь родительским отсутствием и невниманием.

Семинария была средним учебным заведением, кроме богословских дисциплин в ней преподавались и светские дисциплины в объеме классической гимназии. В соответствии с Высочайше утвержденным Уставом 1867 года семинария состояла из трех двухгодичных отделений. На низшем отделении изучались российская словесность,

алгебра, геометрия, всеобщая история, латинский и греческий языки, катехизис, пасхалия, введение в литургику и Священное Писание Ветхого Завета. В среднем отделении — логика, психология, естествознание, физика, русская история, библейская история, герменевтика, патристика, Священное Писание Ветхого Завета и древние языки. На высшем отделении семинаристы усваивали догматическое богословие, Священное Писание Нового Завета, нравственное богословие, пастырское богословие, обличительное богословие, литургику, гомилетику, каноническое право, общую церковную историю, историю Русской Церкви, а также — немецкий и французский языки, начала медицины и сельского хозяйства.

Основанная в 1747 году, Костромская семинария долгое время размещалась в Ипатьевском монастыре и только в 1866 году обрела своё помещение усилиями епископа Платона (Фивейского), купившего у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на улице Верхней Набережной. Постепенно, по мере обустройства, на этой улице возник целый комплекс семинарских зданий, включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные корпуса. Перед семинарией был разбит сад. Уже в 1868 году в одном из помещений семинарии появился храм во имя Всех Святых, а позднее, в 1878 году, был устроен размещившийся в верхнем этаже общежительного корпуса несравненно более обширный, с хорами храм во имя Сретения Господня. С 1887 года при семинарии стала действовать образцовая церковно-приходская школа.⁸⁶



Все то время, что семинария находилась на Верхней Набережной, она была одним из главных очагов культуры губернской Костромы. Хор духовной семинарии традиционно проявлял себя одним из лучших в епархии, уступая лишь архиерейскому хору. Большой известностью пользовались у костромичей художественные вечера и концерты, устраиваемые семинаристами (в конце мая 1899 года семинария отметила столетний пушкинский юбилей заупокойной литургией и большим концертом, на котором семинарский хор исполнил гимн в честь великого поэта).

Семинария являлась и одним из центров епархиальной жизни: в ее актовом зале в конце девятнадцатого начала двадцатого веков проходили ежегодные епархиальные съезды духовенства, проводились собрания действовавшего при епархии Церковно-Исторического общества и так далее. Семинарию обычно посещали приезжавшие в Кострому видные деятели Церкви, например, 5 октября 1902 года её посетил знаменитый протоиерей отец Иоанн Кронштадский, часто бывавший в Костромском крае.



Счастливо убереженная от всех пожаров, фундаментальная библиотека семинарии по праву считалась одной из самых богатых в губернии. Пополняясь нередко за счет пожертвований костромских архиереев, преподавателей и именитых выпускников, она имела большое количество духовной и богослужебной литературы, множество книг по всем отраслям человеческих знаний. Среди книг библиотеки было немало старопечатных изданий XV — XVIII веков, старинных рукописей, книг на латинском и греческом, на многих европейских и восточных языках, включая китайский, персидский, турецкий и так далее.

На рубеже XIX и XX веков ректорскую должность в семинарии отправлял выдающийся церковный историк протоиерей Иоанн Сырцов. Владыка Виссарион постоян-



но посещал семинарию, проводил службы в семинарском храме, присутствовал на экзаменах.

При нём семинария отметила — 24 и 25 сентября 1897 года — свой полуторавековой юбилей. В эти дни перед ликом принесенной в семинарский храм Феодоровской иконы Божией Матери епископом Виссарионом «в сослужении» большой группы духовенства, при пении двух хоров — архиерейского и семинарского, была отслужена литургия и провозглашена вечная память основателю семинарии епископу Сильвестру и ее дальнейшим устроителям, епископам: Геннадию, Дамаскину, Симону и архиепископу Платону, перенесшему семинарию на Верхнюю Набережную. Были молитвенно помянуты все руководители и преподаватели семинарии и все обучавшиеся в ее стенах за полтора века...

Но было бы неверно представлять, что всё в жизни семинарии этого периода было благополучно. Политические бури начала двадцатого века не могли миновать и ее — несколько раз в это время семинарию сотрясали волнения и забастовки, во время трагического столкновения 19 октября 1905 года на городской площади был зверски убит семинарист. Его гибель на какое-то время вынесла семинарию чуть ли не в центр политической борьбы в Костроме тех дней, явившись своего рода зловещим предзнаменованием будущей судьбы всей семинарии. Вообще, весь последний период жизни семинарии конца XIX — начала XX веков предстает сейчас перед нами незримо окрашенным трагическим духом предчувствия того, что ожидало впереди и саму семинарию, и огромное большинство ее выпускников.

Часть четвёртая. Учёба в Санкт-Петербургской духовной академии

Окончив в 1908 году Костромскую семинарию, Николай Малиновский уехал в Петербург набираться знаний в Духовной академии, находящейся в Александро-Невской лавре. Знания, ею даваемые своим слушателям, были основательными — широкими и глубокими. Помимо богословских и философских предметов, читались курс языков, палеографии, истории русской литературы, древнееврейского языка и библейской археологии, а также всеобщей и российской гражданской истории, сравнительного изучения западных исповеданий, истории и обличения русского раскола.

До начала девятнадцатого века семинария и академия — как две ступени образования — не различались, в той и другой учебные планы и программы были одинаковы, но лучшие из этих учебных заведений именовались академиями — Киевская, Славяно-греко-латинская. В конце восемнадцатого века, без каких-либо изменений системы преподавания, ранга академии были удостоены Казанская и Петербургская семинария. На вершине духовного учебного олимпа того времени находились Киевская, Московская, Петербургская академии и Троицкая семинария. В эту — дореформенную — пору в академии принимались подростки, имеющие начальное образование, то есть умеющие читать, писать, считать. Воспитанники как семинарий, так и академий, проучившись восемь классов (но не лет, коих могло быть от одного до пяти лет на класс), получали полное на то время образование.

Особенностью духовной школы восемнадцатого века — будь то семинария или академия — являлось основательное изучение латинского языка, на который, в начале обучения, приходила львиная доля занятий, далее же все прочие дисциплины читались на латинском. Ещё одной характерной особенностью старой школы было изучение разных наук в последовательности, поэтому классы назывались по осваиваемым предметам. Названия старших классов — риторика, философия, богословие — можно встретить

в гоголевском «Вие», в котором очень выразительно даны отличие риторика от философа, а философа от богослова: уже пробивающиеся усы и борода у одного, у другого — ломающийся голос. Богословие изучали только в восьмом классе, который продолжался не менее двух лет.

Реформа духовного образования, исполненная в 1808 году под началом бывшего семинариста Михаила Сперанского, утвердила начальные школы как начальную ступень образования для детей духовенства. Конечная ступень среднего образования — шестиклассная духовная семинария, в которой класс уже соответствовал одному году обучения. Высшее образование давала духовная академия, обучение в которой выстраивалось по образу и подобию немецкого богословия.



Утверждённая Александром I реформа началась со старой Санкт-Петербургской академии, которая обратилась в семинарию, над которой был надстроен «верхний этаж» — новая духовная академия, по-прежнему располагавшаяся в Александро-Невской лавре.

Годы обучения Николая Малиновского в Петербургской духовной академии были временем великих потрясений во всех слоях общества, в том числе в среде духовенства. В Академии под председательством епископа Сергия проходили религиозно-философские собрания. В них, при участии выдающихся представителей русской творческой интеллигенции «Серебряного века» Александра Николаевича Бенуа, Василия Васильевича Розанова, Дмитрия Сергеевича Мережковского, Валентина Александровича Тернавцева, князя Сергея Михайловича Волконского, профессоров Академии протоиерея Сергея Александровича Соллертинского, Петра Ивановича Лепорского, Александра Ивановича Бриллиантова дискутировались проблемы брака, отношения христианства и античной культуры, понимания власти и церковно-государственных отношений.

Представители Церкви воспринимали эти собрания лишь с позиции возможности миссионерства среди интеллигенции с целью возвращения ее в лоно православия. Собственно, это и было причиной, по которой обер-прокурор Константин Победоносцев вначале дал разрешение на проведение собраний. Однако увидев, что миссия среди «заумного люда» неэффективна, он же вольнодумные собрания запретил.

Выходцы из семей духовенства под влиянием либеральных идей не выказывали особой склонности следовать по пути отцов. Окончив семинарию, они поступали в военные училища и университеты или же на государственную службу. Сами родители все больше стремились отдавать своих сыновей не в духовные, а в светские учебные заведения. Для лиц других сословий труд священнослужителя не представлялся заманчивым, лишь немногие идеалисты были готовы идти наперекор общественным течениям и пополняли рedeющие ряды духовенства.

Большое число священников и диаконов, пожелавших после революции 1905 года стать вольнослушателями или студентами университетов, показывает, что жажда знаний в среде белого духовенства была велика. Летом 1908 года Святейшему Синоду пришлось издать указ, запрещающий священникам и диаконам обучение в высших учебных заведениях, потому что оно *«не соответствует непосредственным и истинным задачам пастырского служения»*.

В целом, духовенство с начала двадцатого века постепенно становилось в оппозицию к царской власти, стремясь освободиться от государственного надзора и опеки, получить возможность самоуправления и самоустроения. Это освобождение отождествлялось с падением царской власти, о чём весной и летом 1917 года духовен-

ством делались признания как в устных проповедях, так и в церковной периодической печати.

Действия, предпринимаемые представителями епископата в предреволюционные годы, были направлены на «десакрализацию» власти российского самодержца. Они сводились к укоренению в сознании паствы представлений о царе не как о духовно-харизматическом лидере народа и помазаннике Божиим, а как о мирянине, находящемся во главе государства. Духовенство (в частности, члены Синода Русской православной церкви) стремилось обосновать, что между царской властью и какой-либо формой правления нет никаких принципиальных отличий, поскольку *«всякая власть — от Бога»*.⁸⁷

В 1912 году Николай Малиновский завершил Обучение в петербургской духовной академии и был удостоен степени кандидата богословия второго разряда. Получавшие первый разряд выпускники становились соискателями степени магистра богословия без нового устного испытания. (С 1884 года наиболее успешно окончившим духовные академии выпускникам присваивались степени, остальным — звания «действительный студент». С этого же времени по результатам защиты диссертаций присуждались степени: «доктор богословия», «доктор церковной истории» и «доктор канонического права».)

Часть пятая. Учёба в Императорском археологическом институте

Помимо высшего духовного образования, получил Николай Васильевич Малиновский и второе, светское образование — в Императорском археологическом институте, расширившее и углубившее его и без того немалые знания, давшее тонкую шлифовку его интеллекту, подготовившее его к возможной научно-изыскательской деятельности в архивистике, коей он, судя по всему, намеревался заняться по возвращении в родной город.

Возникновением своим, случившимся в 1878 году, помянутое частное научное и учебное заведение было обязано инициативе и усилиям Николая Васильевича Калачова российского историка, правоведа, археографа, архивиста, академика Петербургской Академии Наук, автора трудов по теории и практике архивного дела, публикаций памятников древнерусского права.



Институт, при двухгодичном сроке обучения в нём, готовил археологов и архивистов, принимались в него лица с высшим образованием. До 1899 года обучение было бесплатным, более того — нуждающиеся получали пособия. Окончившим курс давалось звание действительного члена института либо члена-сотрудника (вольнослушателя). Примечательно, что в отдельные годы в стенах Санкт-Петербургского археологического института среди студентов было до трети выпускников средних и высших духовных заведений. Известно, что в 1897—1898 учебный год из ста сорока восьми слушателей сорок семь имели высшее образование, полученное в Санкт-Петербургской духовной академии.

Положение 1899 года разделило все предметы на основные и неосновные. К основным относились славяно-русская археография, славяно-русская палеография, архивоведение, первобытная археология (в особенности русская), христианская археология (памятники искусства, особенно византийские и русские), юридические древности, историческая география и этнография России, нумизматика (особенно русская), дипломатика. Неосновными предметами, которые слушать было необязательно, стали польско-литовские древности, греческая и латинская палеография.

Положение также разрешало институту с ведома Министерства народного просвещения открывать «*чтения и по другим отраслям древноведения*». Кроме того, по Положению 1899 года, для вольнослушателей была введена плата за обучение в размере тридцати рублей. Впоследствии плата за обучение была введена для всех студентов, а Совет института получил право устанавливать размер платежа.

Институт издавал «Сборник Археологического института» (1878 — 1898 годы) и «Вестник археологии и истории» (1885 — 1918 годы). В апреле 1905 года институту Высочайше было даровано наименование Императорского и в таком качестве он в 1922 году был преобразован новой властью в *Отделение археологии и истории факультета общественных наук* Петроградского университета.

Открытие археологического института пришлось на время, когда его учредитель (и первый директор), уже тринадцать лет возглавлявший Московский архив Министерства юстиции, имел богатый практический и научный опыт в архивистике, позволивший ему органично «дописать» её к археологии», включить её тематику в число дисциплин, изучаемых в новом учебном заведении (и тем добавить институту веса в глазах специалистов). Совмещая текущую работу в министерстве с институтским директорствованием, Калачов, без отрыва от этих занятий, разрабатывал систему ведения архивного дела в России, находившуюся в самом примитивном состоянии, при котором «залежавшиеся» документы в ведомственных архивах банально уничтожались.

С целью искоренения такого явления Калачов предложил создать губернские Архивные комиссии и первые четыре успел при жизни учредить. Последнюю, Костромскую губернскую комиссию, основал незадолго до кончины, в 1885 году, при содействии своего брата, костромского губернатора Виктора Николаевича Калачова.

Участники её учредительного собрания определили направления работы комиссии, в первую очередь — разбор архивов местных присутственных учреждений и монастырских архивов; исследование исторических памятников, находящихся в частных руках; археологические раскопки городищ и курганов; образование при комиссии музеев «доисторических древностей»; привлечение к работе в комиссии в качестве членов или корреспондентов лиц, занимающихся педагогической деятельностью, из духовенства и «*вообще, любителей старины*».

Выступивший на собрании видный церковный историк Николай Васильевич Покровский поставил Комиссии задачу всестороннего исследования памятников архитектуры, живописи и этнографии, подчеркнул неразрывную связь художественных памятников Костромы с памятниками Московской Руси шестнадцатого — семнадцатого веков.

В составе комиссии были представлены все слои тогдашнего провинциального общества: не состоящие на государственной службе помещики, чиновники, земские начальники, становые приставы, чины полиции, лица духовного звания, преподаватели учебных заведений, врачи, инженеры, юристы, сотрудники местной прессы, купцы, фабриканты. Богатые промышленники, купцы и помещики, владельцы крупных костромских, кинешемских и нерехтских льнопрядильных и бумаготкацких фабрик Брюхановы, Горбуновы, Зотовы, винокуренных заводов — Третьяковы привлекались в комиссию, прежде всего, в расчёте на пожертвования, и те не скупались. Научный вес в местном обществе и столичных кругах Костромской губернской архивной комиссии придавала группа почётных членов, в числе которых в разные годы были известные российские историки.⁸⁸

Первые годы, по причине безденежья, основное внимание комиссии было сосредоточено на ограниченном круге задач — разборе дел «присутственных мест» и формирование собственного исторического архива, который начал активно наполняться. Комиссия установила контакты с архивами центральных учреждений России с целью комплектования своего архива копиями документов, относящихся к истории края.

Отметившийся выступлением на учредительном собрании Костромской архивной комиссии Николай Васильевич Покровский с 1898 года исполнял обязанности директора Археологического института и в этой должности пребывал в пору обучения в институте своекоштного студента Малиновского. Был значим, высоко образован церковный историк Покровский — тайный советник, археолог, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, один из составителей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». В институте он преподавал *Христианскую археологию* (*Памятники древне-христианские, история Византийского и русского государства*).



Родился Николай Васильевич Покровский в 1848 году в семье священника, окончил Костромскую духовную семинарию, далее (в 1870 — 1874 годах) учился в Санкт-Петербургской духовной академии, по окончании которой был оставлен на кафедре церковной археологии и литургики.

Основными вопросами научной деятельности Николая Покровского были церковная археология и древнехристианское искусство. Он одним из первых в русской науке при изучении византийско-русского и древнехристианского искусства обратил внимание на отношение искусства к учению Церкви и текстам литургии, внёс в науку богатые материалы православно-восточного происхождения, восполнив этим западные исследования.

Подобно высокому директору института, был звёздным и его преподавательский состав. Вглядываясь в лучащиеся разумом лица этих людей на старинных фотографиях, вчитываясь в их научные и педагогические послужные списки, начинаешь понимать и оценивать высочайший уровень даваемых ими знаний, меру прелести интеллектуального общения с ними студентов, в том числе — Николая Малиновского.



Славяно-русскую археографию (вспомогательную историческую дисциплину, разрабатывающую теорию и практику издания письменных источников) преподавал Владимир Владимирович Майков (1863 года рождения). Доводился он племянником поэту Аполлону Николаевичу Майкову («*Порывы нежности обуздывать умея, на ласки ты скупа...*») и историку русской литературы, академику Леониду Николаевичу Майкову (выдвинувшему историческую точку зрения на происхождение русских былин). С 1886 года он по вольному найму работал в Археографической комиссии — исследовал древнерусские рукописи и заведовал библиотекой (до 1930 года).

С 1896 года и до кончины (в 1942 году, в блокадном Ленинграде) — сотрудник Публичной библиотеки.



Славяно-русскую палеографию (науку о внешнем виде и письме древних рукописей, определяющую время и место их возникновения) читал профессор Николай Михайлович Каринский, 1873 года рождения, филолог-славист, палеограф, диалектолог. В начале девятисотых годов работал в Публичной библиотеке; занимался древнерусскими рукописями, принимал участие в подготовке издания «Палеографические снимки с некоторых греческих, латинских и славянских рукописей Публичной библиотеки» (в 1914 году), в котором написал пояснения к славянским рукописям XI—XIV веков.

Помимо Археологического института, преподавал в Ксенинском и Екатерининском институтах, в Женском педагогическом институте, в Санкт-Петербургском

университете. После революции переехал в Вятку, где (до 1923 года) читал лекции в институте народного образования и где им был организован исследовательский институт по изучению местного края. Переехав в Москву, вплоть до кончины в 1935 году, Каринский работал учёным специалистом в Историческом музее.

Первобытную археологию вёл профессор Николай Иванович Веселовский (1848 года рождения). Научную карьеру он начал с исследования истории и археологии Средней Азии — вёл раскопки в Самарканде, первым исследовал причерноморские и скифские древности. В мире археологии имя профессора Веселовского связывается, прежде всего, с уникальной Майкопской культурой — археологической культурой Кубани и Причерноморья эпохи бронзы (IV тыс. до н. э.), начало изучению которой он положил, исследовав знаменитый пятнадцатиметровый майкопский курган. Всего же за тридцать лет своей жизни, которые Николай Иванович посвятил работе в Императорской Археологической комиссии, он провел такое же число полевых экспедиций. Сотни курганов и других памятников археологии, истории и культуры изучались под его руководством сначала в Туркестанском крае (близ Самарканда), а затем и на Днепре, в Крыму, на Дону, на Кубани. Умер в ноябре 1918 года.



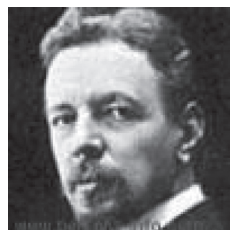
Юридические древности и источники русской истории читал Сергей Фёдорович Платонов (1860 года рождения), известный русский историк, член-корреспондент Петербургской академии наук (с 1909 года) по историко-филологическому отделению, действительный член Российской академии наук (с апреля 1920 года). Докторскую диссертацию «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. (опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время)» защитил в 1899 году в Киевском университете св. Владимира. С 1900 по 1905 год был деканом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета.

К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, посчитав её случайной, однако уже через несколько месяцев был вынужден пойти на сотрудничество с большевиками, помогая налаживать работу по спасению петроградских архивов и библиотек.

В январе 1930 год он был арестован, вместе со своей младшей дочерью Марией, по подозрению «в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной организации» (*Академическое дело*). После полутора лет пребывания в Доме предварительного заключения и в печально знаменитых ленинградских «Крестах» был выслан, в августе 1931 года, в сопровождении двух своих дочерей, Марии и Нины, в Самару. Здесь историк Платонов, 10 января 1933 года, скончался в больнице от острой сердечной недостаточности и был похоронен на городском кладбище.



Историческую географию и этнографию России вёл Сергей Михайлович Середонин. Специализировался он на русской истории второй половины шестнадцатого века, внутренней политике, исторической географии, издал труд по истории высших государственных учреждений России в девятнадцатом веке, исследовал и публиковал сочинения иностранцев о России.



С 1901 года Середонин — профессор Историко-филологического института Петербурга и профессор на кафедре исторической географии Археологического института. С 1892 года — приват-доцент Петербургского университета, где преподавал до

конца дней своих, наступившего в июле 1914 года (в возрасте пятидесяти четырёх лет).



Греческую палеографию преподавал Григорий Филимонович Церетели, 1870 года рождения, коренной петербуржец — филолог-классик, видный папиролог. С 1914 года — профессор по кафедре классической словесности Петербургского университета.

Осенью 1920 год он переехал в Грузию, став на исторической родине заведовать кафедрой классической филологии Тбилисского государственного университета, директорствуя одновременно в Научной библиотеке университета. Был почетным членом Папирологического общества Германии и Берлинского археологического института. Подвергался — без последствий — арестам в 1918, 1931 годах. В кровавом 1937 году вместо него, поначалу, был ошибочно арестован Георгий Васильевич Церетели (1904 года рождения), будущий основатель грузинской школы востоковедения и арабистики. Ошибку органы «исправили» — Григория Филимоновича арестовали и в 1938 году он погиб (то ли от расстрельной пули, то ли скончался в эшелоне, на этапе).



Дипломатику преподавал Николай Петрович Лихачёв — русский (и советский) историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики (исторической дисциплины, изучающей печати), по убеждениям — монархист, член Императорского Православного Палестинского Общества. С 1892 года он преподавал в Петербургском археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. Собрал уникальные многочисленные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет, византийских и русских печатей VI—XIV веков, икон, хранившиеся в специально построенном собственном доме,

где он жил в 1902 — 1936 годах. В 1930 году его арестовали по так называемому «Академическому делу». Умер в 1936 году, в Ленинграде.

Часть шестая. Работа Николая Малиновского в Костроме

«Россия, Волга, Кострома — в них история сама».

(Эдуард Асадов)

В Кострому Николай Васильевич Малиновский вернулся — с двумя высшими образованиями, одновременно полученными, — в 1912 году и был назначен учителем (курс психологии, педагогики и дидактики) в местное Епархиальное женское училище и, по совместительству, заведующим образцовой школой при означенном учебном заведении. Одновременно он стал заведовать библиотекой при Костромском Церковном историческом обществе.⁸⁹

Женские епархиальные училища были созданы в середине девятнадцатого века для бесплатного обучения дочерей православных священников и причетников, а также — уже за плату, определяемую местным духовенством — девиц из других общественных сословий. Духовенство ставило главной целью епархиальных училищ воспитать и приготовить из дочерей служителей своего сословия добрых, достойных, достаточно образованных жен священников, способных — как идеальный вариант — «поддерживать своего супруга, предохранять его от упадка духа, от нравственного усыпления и огрубения в материально-житейских помыслах и интересах, от дурного

общения, от грубых склонностей и привычек; она должна была уметь утешить и успокоить его в различных неудачах, тяготах, помочь в борьбе с искушениями»

Из предметов обучения обязательными в женских епархиальных училищах были Закон Божий, Священная История, пространный катехизис, объяснение богослужения, всеобщая и русская история Церкви. Кроме того, преподавались русский язык, русская словесность и практическое ознакомление со старославянским языком; арифметика и общие основания геометрии; география всеобщая и русская; гражданская история — всеобщая и русская; необходимые начальные элементы физики; педагогика; чистописание; церковное пение. При училище имелась образцовая женская начальная школа для девочек с особым законоучителем и учительницей, в которой воспитанницы старшего класса практически знакомились с методами преподавания в сельских начальных школах.

Первоначально Костромское женское епархиальное училище располагалось в невидном деревянном доме, а осенью 1906 года переехало в выстроенный по проекту костромского архитектора Ивана Васильевича Брюханова большое трёхэтажное здание из красного кирпича на улице Всесвятской. (В народе эта улица именовалась «Муравьёвкой», по имени губернатора Ивана Иннокентьевича Муравьёва, в середине пятидесятых годов обустроившего неприглядный уличный спуск к Волге.)

Появление нового строения было обязано местному жителю, эконому гимназии Павлу Ивановичу Сергееву, коему повезло выиграть в лотерею изрядную сумму, после чего он пожертвовал свой дом и участок земли местному епархиальному ведомству под новое строительство, за что был удостоен городскими властями звания «почётного жителя Костромы» и назначен попечителем женского училища.

Училище было восьмиклассным, ко времени поступления в него Николая Малиновского здесь обучались более шестисот воспитанниц. В здании на Муравьевке размещались учебные классы, домовая Покровская церковь, общежитие, квартиры начальницы и воспитанниц. При училище, помимо помянутой выше образцовой женской школы, находились больница, баня, сад, спортивная площадка.

Церковно-историческое общество Костромы — среда реализации интеллектуальных, научных устремлений Николая Васильевича Малиновского — было открыто в марте 1911 года благодаря, прежде всего, инициативе и усилиям выдающегося церковного историка, краеведа и публициста, преподавателя — с 1883 года — Костромской духовной семинарии, трудоголика и великого эрудита Ивана Васильевича Баженова (1854 года рождения, выпускника Тверской Духовной семинарии и Казанской Духовной академии).

Под его началом инициативная группа, в состав которой входили инспектор Епархиального училища (и публицист, исследователь костромской старины) Иван Михайлович Студицкий, ректор Костромской духовной семинарии Виктор Георгиевич Чекан, священник Павел Александрович Алмазов, составили проект устава учреждаемого общества, утверждённый в декабре этого же года Священным Синодом.

Общество имело своей целью изучение церковно-религиозной жизни в пределах Костромской епархии, в ее исторической и настоящей действительности, исследование сохранения и собирание памятников местной церковной древности и истории. Для достижения намеченной цели Общество бралось за работу по нахождению, описанию, систематизации архивов церквей, монастырей и других епархиальных учреждений; по изучению местных религиозных обычаев, преданий, церковных обрядовых особен-



ностей; по историческому исследованию церковно-религиозной жизни, в частности, возникновения расколов и сектантства; по распространению в обществе церковных, историко-археологических сведений, по устройству выставок и публичных чтений церковно-исторического и церковно-археологического характера; по публикации материалов и научных исследований церковной истории и археологии Костромского края.

В 1913 году Николай Васильевич Малиновский (вновь по совместительству) перешёл преподавателем немецкого языка и латыни в Костромскую духовную семинарию, продолжая преподавать в Епархиальном женском училище и заведовать Образцовой школой при училище; был он также избран членом Совета этого училища.

К слову, в это время он в течение года наставлял семинарским наукам её слушателя, будущего маршала Александра Михайловича Василевского (также уроженца Костромской губернии, сына православного священника). Об этом отрезке своей жизни маршал пишет в воспоминаниях, в частности, о семинарской «бузе» 1909 года.

«Наша семинария размещалась в нескольких корпусах на Верхне-Набережной улице. Весной и осенью мы любили с противоположного берега реки любоваться городом. За местом впадения в Волгу реки Костромы на лугу стоит Ипатьевский монастырь. Его история, стены и башни, расписанные чудесными фресками, заслуженно вызывали интерес у наших историков, у всех любителей старины и древнерусской истории. Справа на холме за Татарской слободой красовалась сосновая роща...

Упомяну также и о таком хорошо запомнившемся мне событии, как забастовка семинаристов. Это произошло в 1909 году, когда учащиеся нашей семинарии присоединились к всероссийской стачке семинаристов, вспыхнувшей в ответ на решение Министерства народного просвещения запретить доступ в университеты и институты лицам, окончившим четыре общеобразовательных класса семинарии. Тогда, насколько я помню, во всех семинариях России почти одновременно были прекращены занятия. К нам в семинарию приехал губернатор. Вместе с ректором он уговаривал учащихся прекратить забастовку, забрать петицию, врученную забастовочной комиссией администрации, и возобновить занятия. Но семинаристы оспивали их, и они вынуждены были покинуть актовый зал. Правда, вслед за тем полиция выдворила всех нас из Костромы в течение 24 часов. Семинарию закрыли, и мы вернулись в неё лишь через несколько месяцев, после того, как наши требования частично были удовлетворены».⁹⁰



В пору описанной будущим маршалом семинарской смуты выпускник Николай Малиновский ещё учился на первом курсе Духовной академии в Санкт-Петербурге. В 1913 году семинарист Василевский и его учитель Малиновский, как и все костромичи, волей-неволей участвовали в знаменательном для России событии — юбилейных торжествах по случаю 300-летия дома Романовых.

Кострома, считавшаяся колыбелью сменившей Юриковичей династии, готовилась праздновать эту дату с особенной торжественностью. Подготовка к празднованию ознаменовалась существенными градостроительными преобразованиями — постройкой электростанции, Романовского музея и Романовской больницы, открытием второй очереди водопровода, благоустройством городского центра, закладкой фундамента грандиозного памятника 300-летия династии Романовых.

Из всех представленных на конкурс проектов памятника комиссия выбрала вариант скульптора Амона Ивановича Адамсона (эстонца), предложившего его в виде сооружения высотой в тридцать шесть метров с двадцатью шестью скульптурами исторических личностей и с барельефами по кругу постамента, иллюстрирующими

важнейшие события русской истории. (Одна из скульптурных групп — воин-дружинник, символизирующий Россию, и лежащий у его ног жертвенный Иван Сусанин).⁸³

Были сооружены и временные (и очень затратные для городского бюджета) постройки, в том числе красивый павильон на обрыве Волги, несколько пристаней-дебаркадеров и — для выставки Костромского губернского земства — три десятка павильонов в древнерусском стиле из гладкоструганных брёвен со сложной резной отделкой. На выставочной площади соорудили бетонную скульптуру русского богатыря в полном вооружении, сидящего на могучем боевом коне и старинную деревянную звонницу с набором всей гаммы блестящих колоколов. Был представлен спиленный ствол сосны, имевшей возраст более трёхсот лет; наслоения на срубе были раскрашены по годам царствования представителей Дома Романовых — время Михаила Фёдоровича выделили золотой полосой в центре.



В одном из павильонов выставки экспонировались материалы, посвященные истории Костромской семинарии (подготовленные, в том числе, при участии Николая Малиновского). Центральное место среди них занимала большая диаграмма с изображением произрастающего из здания семинарии мощного ветвистого дерева, с именами пятидесяти трёх наиболее прославленных выпускников на её ветвях. И хотя после этого семинарии было суждено прожить еще пять лет, но, по сути, выставка 1913 года уже подводила итог всей её (к тому времени уже 165-летней) истории.

К юбилею возвели памятный «Романовский дом», и архитектурный стиль возведённого сооружения подпал уничижительной критике со стороны выдающегося знатока старорусской архитектуры Георгия Крескентьевича Лукомского: *«Но недавно рядом (с зданием Дворянского собрания) воздвигли ужасающее здание будущего дома Романовых. Этот ложнорусский стиль убьёт теперь всё очарование, что здесь давал шелест деревьев, ветви которых так низко и ласково свешиваются над львами и бросают прохладные тени на белые стены ограды»*. Точно так же, в ложнорусском стиле, было построено здание больницы на средства Фёдоровской общины Красногоского Креста.⁹¹

К юбилейным торжествам всех учащих мальчиков и юношей обязали обзавестись белыми тужурками и белыми чехлами для фуражек, а девочек и девушек — белыми фартуками, нарукавниками, пелеринами на форменные платья. Учителя, чиновники и все служащие обязывались иметь также парадную форму, при всех положенных чину регалиях. По этой причине небывало большая работа выпала на портных и портних, модисток, шапочников, сапожников и прочих ремесленников, их мастерские были завалены работой ещё за много месяцев до торжеств. Бойко торговали ходовыми товарами мануфактурные торговцы и галантерейщики.

Не покладая рук трудились в дни подготовки к приезду высокородных гостей судебные органы, жандармские отделения и полиция, очищавшие Кострому от смутьянов и политически неблагонадёжных личностей, коих выслали за губернские границы; подозрительных субъектов упрятали за решётку — в тюрьму или в камеру предварительного заключения. Люди охраны и полиция особенно тщательно следи-

Г. Кострома.

ПОРТНОЙ Сергѣй Аванасьевичъ РАХМАНЪ.

ЗАКРОЙЩИКЪ военного, штатскаго платья
и гражданскихъ формъ всѣхъ вѣдомствъ.

Обладающій многолѣтней практикой съ 1888 года.

Также исполняетъ заказы дамскаго верх-
няго платья по новѣйшимъ журналамъ.

Кострома, Руенина ул., д. № 25, кв. 6.



ла за всеми приезжающими в город гражданами, гласно и негласно проверяя каждого из них; выборочно проверялась почтовая корреспонденция. На ноги был поставлен весь актив тайной полиции, в помощь которому прибыли лейб-гренадёрский Эриванский полк из Петербурга, отборная сотня Кизляро-Гребенского казачьего полка и сотня 30-го Донского казачьего полка.

В канун празднования на улицах Костромы появились франтоватые офицеры и нижние чины столичной полиции и жандармерии, а сколько их было в цивильном — об этом горожане могли только догадываться.



Загодя, ещё в 1912 году, в отставку был отправлен костромской губернатор Пётр Петрович Шиловский, считавшийся столичными властями не в меру мягким и либеральным (его инженерно-изобретательские увлечения гироскопами, монорельсовыми железными дорогами считались несерьёзными для государственного человека); передвинули его, также губернатором и только на год, в Олонецкую губернию.

В преддверии юбилейного года начальствовать в Костромской губернии был назначен твёрдый монархист вылощенный царедворец Стремоухов (как и предшественник — Пётр Петрович), по воспоминаниям современников представлявший собою «симпатичного, добродушного, «барственного» губернатора, страстно любившего охоту».



Их. Величества извозить принимать хлеб-соль отъ городской депутация у городской пристани.

II, а также серебряные рубли, повторявшие внешне медали, с указанием юбилейной даты. Заблаговременно и в большом количестве были подготовлены именные ценные подарки для «достойных» — золотые и серебряные часы, портсигары, жетоны и прочая; были отпечатаны в большом количестве роскошные адреса, пригласительные билеты, специальные пропуска, программы празднеств. В последние предпраздничные дни городские гимназисты по несколько часов в день занимались шагистикой — маршировали по городским улицам с бутафорскими ружьями; гимназистки вышагивали с букетами цветов.

За пару-тройку дней до юбилея задали городские власти много работ домовладельцам, которых обязали восстановить фонари над воротами домов, покрасить фасады, заборы, фонарные столбы и уличные тумбы, подровнять тротуары, углубить водосточные каналы.

К празднику отчеканили юбилейные бронзовые медали с погрудным изображением царя Михаила Фёдоровича и императора Николая



Высочайший проезд по Спасской площади

Торжества празднования 300-летия Дома Романовыхъ въ Костромѣ 19 и 20 мая 1913 г.

Большие реставрационные работы были проведены в Ипатьевском монастыре, где прятался в тяжкие дни польской интервенции будущий первый Романов. Предполагали городские управители устроить в монастыре царскую резиденцию, но просчитались.

Празднование, начавшееся в Петербурге в феврале 1913 года, продолжилось в середине мая переездом царского поезда с многочисленной придворной свитой в Нижний

Новгород, откуда «обожаемый монарх» с семейством и сопровождавшими лицами поднялся вверх по Волге — с двухдневными остановками в Костроме, Ярославле и Угличе (то есть повторяя — обратным ходом — маршрут, по которому в 1613 году двигалось посольство из Москвы в Кострому для приглашения на царство боярина Михаила Фёдоровича Романова).

В преддверии празднеств в город съехались высшее офицерство и гражданские лица из царского окружения, министры и великие князья, а 19 мая в празднично украшенную Кострому кильватерной колонной вошла флотилия с царствующей семьёй и свитой — под удары большого соборного колокола и перезвон всех сорока церквей, под артиллерийский салют с заволжской стороны, под громогласное всенародное «ура».

Пароходы «Межень», «Стрежень», «Свияга», «Царевич Алексей» и «Царь Михаил Фёдорович», эскортируемые паровыми катерами речной инспекции, медленно проплыли мимо города к Ипатьевскому монастырю. Там высший генералитет, царская свита, представители костромского дворянства, сановники, «отцы города», после церемониала встречи проследовали в монастырский храм, где был отслужен торжественный молебен. Далее состоялся парад войск Костромского гарнизона совместно с прибывшими ереванцами, кизляро-гребенцами и донцами.

Осмотрели царственные гости и их окружение древности Ипатьевского монастыря, некогда укрывшего основателя их монархического рода, побывали в семейных помещениях предка-первопроходца, в так называемых «романовских палатах», занятых в то время библиотекой Церковно-исторического общества, которой заведовал Николай Васильевич Малиновский, думаемый, удостоившийся внимания (если не рукопожатия) царя Николая. Оглядев далее усыпальницу Годуновых, дворец Михаила Фёдоровича, гости водным путём отправились в Кострому, где были встречены (на высланной красным сукном пристани) городским начальством, после чего расселись по лакированным экипажам, управляемыми бородастыми кучерами в блестящих бутафорских костюмах, и церемониальной кавалькадой, с губернатором Стремоуховым на вороном рысаке во главе, отправились в центр города.

За губернатором следовал экипаж с царём (невысоким, худощавым, рыжебородым полковником, с внешне бесстрастным, холёным, чуть отёчным лицом), с его осанистой, неизменно надменной супругой и вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, далее следовали экипажи с царскими дочерьми и наследником Алексеем и при нём неизменно находившимся матросом Деревянко. Замыкали процессию свита и генералитет. Утверждают свидетели событий того дня, что был в числе свиты необычный гость, возрастом за сорок, с длинной чёрной бородой, стриженный «под кружок» (понимай — Гриша Распутин).

В первый день гости посетили губернаторский дом, где состоялся приём царём делегаций от всех учреждений и предприятий, религиозных общин и сект города, в Дворянском собрании монарх принял делегации местных дворян во главе с уездным предводителем. В завершение первого дня пребывания гости осмотрели недавно открытый музей («Дом Романовых»), после чего отправились на покой в свою плавающую резиденцию — на один из пароходов флотилии, взятый под неусыпный контроль речной полицией.

Торжественные завтраки и обеды следующего дня проходили в губернаторском доме, в Дворянском собрании, а также в Богоявленском и Ипатьевском монастырях. В этот день, после пышного утреннего богослужения в кафедральном соборе, процессия, с высшим духовенством во главе, направилась к специальному шатру, оборудованному в конце соборной площади для проведения церемонии закладки памятника 300-летию дома Романовых, фундамент которого уже был готов. После специального молебна в этом шатре, император, взяв два юбилейных серебряных рубля, заложил их

в лунку фундамента, то же сделали все члены царской фамилии, после чего её глава заложил первый кирпич, того не предполагая, кому — в историческом итоге — будет скоро перестроен неоконченный памятник. Там же, на площади, состоялся парад всех войсковых соединений, после которого состоялся обед у губернатора с последующим приёмом (при тёплой и ясной погоде) в губернаторском саду волостных старост и старшин, искренне и рьяно преданных властвующему монарху. Представители народа, все как на подбор, были одеты в новые суконные синие кафтаны, в синие картузы и смазанные дёгтем кожаные сапоги.



рейская депутация во главе с самыми богатыми и почётными купцами Гутманом, Домбеком и другими.

После приёма и торжественного обеда Николай II осмотрел экспозицию сельскохозяйственной выставки. Царица в свою очередь, вместе со свекровью и хороводом фрейлин (со скандально известной Анной Александровной Вырубовой во главе) посетила Богоявленский женский монастырь, приняв там участие в торжественной трапезе в покоях игуменьи Анны (в миру — княжны Левашовой). Народное гулянье в этот день испортил проливной послеобеденный дождь. С наступлением темноты город был иллюминирован плашками с горящим маслом, расставленными по тротуарным тумбам, украшен цветными фонариками, возбуждён фейерверками.



на, памятные подарки в виде именных золотых и серебряных часов, портсигаров и жетонов, а также высочайшие благодарности в указах. Государственным служащим, офицерству, полицейским и жандармам вручили, кроме прочих наград и подарков, ещё и юбилейные медали. Нижних чинов войсковых соединений одарили по одному юбилейному рублю.

Протоиерей отец Алексей Андроников получил орден святой Анны I степени и надел через плечо орденскую ленту. Полицмейстер Волонцевич и его заместитель Красовский были «пожалованы» именными золотыми часами с императорским гербом, а «шефиня» Николая Малиновского, начальница епархиального женского училища Любовь Ивановна Поспелова, как свидетельствует очевидец, «... в течение нескольких дней никому не давала руки, говоря: *«Её жал государь император».* Уж очень она кичилась золотым жетоном и юбилейной медалью...»

Печальной, как и всей царствующей династии, оказалась судьба заложенного её последним представителем монумента. К 1916 году был возведен его постамент, от-

Вечером костромичи проводили гостей. Под звон колоколов, игрой духовых оркестров, под салют артиллерийских орудий и крики «Ура!» царская флотилия, сопровождаемая катерами речной инспекции, покинула причальную стоянку и, взяв курс вверх по Волге, направилась в Ярославль.

Все активные участники встречи получили награды согласно заслугам: одни — должностные повышения, другие — орде-

литы и доставлены в Кострому двадцать бронзовых фигур, из которых установили только две, остальные остались в ящиках. После Февральской революции работы окончательно прекратились. Адамсон уехал из России. Победивший пролетариат использовал постамент для установки на нём (в 1922 году) скульптуры вождя, изготовленной из бетона, заменённой (в 1982 году) на стильную бронзовую фигуру Владимира Ильича.

В описанный юбилейный год результативное трудолюбие продемонстрировало и Костромское церковно-историческое общество. Его председатель, неутомимый Николай Васильевич Баженов, получив на то благословение архиепископа Костромского и Галичского Тихона, блестяще выступил в Дворянском собрании с докладом на тему «Призвание боярина Михаила Федоровича Романова на Московский и всея Руси царский престол».

Юбилей династии Романовых стал последним праздником, отмеченным столь широко в позднеимперской России. Идеализация минувших традиций в совокупности с сакрализацией власти определили содержание торжества 1913 года убедили императора, что в национальном мире у него была особая роль последователя царя Михаила, и уверили его в выпавшей на его долю миссии — восстановления личного самодержавия. Подобная убеждённость, как полагали современники, отражала особенности политического мировоззрения Николая II, считавшего себя *«главой своего народа или как бы крупным помещиком»*, преисполненного чувством долга перед своими подданными — *«он был проникнут чувством ответственности и не хотел, чтобы эта ответственность перекладывалась на другие плечи»*.

Мучила последнего российского императора нравственная раздвоенность (*«дихотомия»*) — он готов был уступить часть своей властной прерогативы, но не мог допустить посторонних вторжений в сферу его личных отношений с Богом (в итоге, отказавшись от *«неограниченности»*, неоднозначно высказался за сохранения второго предиката царского титула — *«самодержец»*).

Помянутая идеализация минувших традиций в совокупности с сакрализацией власти, определившие содержание празднование 300-летия дома Романовых могут показаться пиром в преддверии чумы, очень скоро охватившей Российскую империю. Тем более, что её симптомы проявились в несчастьях русско-японской войны, в расстреле перед Зимним дворцом жителей столицы, просивших милости у монарха, в расстреле трудящихся Ленских приисков в 1911 году, в надвигающихся со стороны Балкан первых громовых проявлений внешней угрозы в только закончившихся войнах между прогерманской Болгарией и пророссийской Сербией...

Объективную — не парадную — оценку прошедшим празднествам дал позже в своих мемуарах историк (и православный священник) Дмитрий Гаврилович Булгаковский: *«Воодушевления у народа не было. А уж про интеллигентный класс и говорить нечего. Церковь тоже лишь официально принимала участие в некоторых торжествах. По-видимому, торжество предназначалось к поднятию монархических чувств против будто бы убитой революции. Но это не удалось. И вся эта затея тоже была искусственной... Ясно, что идея 1913 года в подпочве своей имела робкое сознание озлобления царской идеологии не только среди интеллигенции, но и в массах. И понятно, что торжества были малоторжественны: отбывалась временная повинность»*.

Часть седьмая. Между Мировой войной и революцией

В наступившем 1914 году Николай Васильевич Малиновский ушёл из Епархиального училища, продолжая преподавать в Костромской семинарии и заведовать библиотекой церковно исторического общества.⁹² Возможно, причиной отставки

по собственному желанию, возможно (но не обязательно), стало его ухаживание за очаровательной коллегой по училищу, воспитательницей Любовью Николаевной Сокольской. Была она те не только лицом мила, но и, безусловно, украшала его умной, чуть загадочной улыбкой, что подтверждает позже появившаяся свадебная фотография четы Малиновских. О её уме говорит сам факт привлечения выпускницы Ярославского училища к преподаванию и наставлению нежного и чувствительного девичьего племени в аналогичном училище Костромы.

«Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но всё ты вдруг приобрела».

(Афанасий Фет)

В этом году, продолжая торжества года ушедшего, вышел в свет подготовленный членами Общества юбилейный сборник, посвященный 300-летию Дома Романовых. Можно не сомневаться, что прямое участие в его подготовке принимал участие молодой, высокого интеллекта сотрудник Церковно-исторического общества, распорядитель его библиотеки Николай Васильевич Малиновский.

В городском кинотеатре демонстрировалась кинолента «Трёхсотлетие царствования дома Романовых». В начале июля 1914 года — по случаю двадцатипятилетия окончания Костромской семинарии — в свою Alma mater, съехались её выпускники 1889 года, те же, что не смогли приехать, прислали письма и поздравительные телеграммы, в числе последних были Николай Кротков, в то время уже епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии Никодим, будущий архиепископ Костромской и Галичский и первый русский святой, вышедший из стен костромской семинарии, новомученик и исповедник Веры Христовой.

Начавшаяся летом 1914 года столь роковая в истории России война, позже названная Мировой (на начальном её этапе она именовалась Отечественной) сразу же безвозвратно переломила прежний ход жизни семинарии. С открытием боевых действий часть помещений семинарии была отведена под лазарет для раненых воинов, ушли на фронт около сорока семинаристов старших классов, в том числе будущий маршал Василевский:

«Заметный след оставили в моём политическом воспитании события, начавшиеся в Костроме весной 1914 года. Рабочие прядильной фабрики «Большой Кинешемской мануфактуры» потребовали тогда повысить заработную плату, отменить штрафы, уволить некоторых мастеров, ввести 8-часовой рабочий день, прекратить преследования за читку прогрессивных газет. Вслед за ними поднялись рабочие других фабрик. В июне бастовали рабочие всех фабрик Вичуги, Родников и Середы. Немалую роль в организации рабочих сыграл тогда депутат IV Государственной Думы от Костромской губернии большевик Н. Р. Шагов, уроженец деревни Клинцово. Он выступал на фабриках, призывал бастовавших действовать решительнее и смелее. 26 июня забастовка перекинулась в Кострому. Картина закрытых фабричных ворот, возбуждённых народных толп навсегда осталась в моей памяти. Забастовка набрала ещё больший размах с началом первой мировой войны. В результате массовой забастовки рабочие победили — фабриканты вынуждены были удовлетворить их требования.

В июле — августе 1914 года перед последним классом семинарии я проводил каникулы, как и прежде, у себя дома, работая вместе с другими членами нашей семьи в поле и огороде. Там-то 20 июля (по старому календарю) я узнал о начавшейся накануне первой мировой войне...

Война опрокинула все мои прежние планы и направила мою жизнь совсем не по тому пути, который намечался ранее. Я мечтал, окончив семинарию, поработать года три учителем в какой-нибудь сельской школе и, скопив небольшую сумму денег, поступить либо в агрономическое учебное заведение, либо в московский межевой институт. Но теперь, после объявления войны, меня обуревали патриотические чувства. Лозунги о защите отечества захватили меня. Поэтому я, неожиданно для себя и родных, стал военным. Вернувшись в Кострому, мы с несколькими одноклассниками попросили разрешения держать выпускные экзамены экстерном, чтобы затем отправиться в армию.

Наша просьба была удовлетворена, и в январе 1915 года нас направили в распоряжение костромского воинского начальника, а в феврале мы уже были в Москве, в Алексеевском военном училище».⁹⁰

Вспыхнувшая, почти весь земной шар охватившая война, по сути своей стала многосторонней схваткой за передел мира между двумя мощными коалициями, в одной из которых участвовала и Россия. Формально для России Первая мировая война 1914—1918 годов была оборонительной, поскольку Австро-Венгрия (и Германия) первыми объявила ей войну. Поводом для этого послужила начатая в России мобилизация в ответ на агрессивные действия Австро-Венгрии против российского союзника — Сербии.

По образу ведения боевых действий это была «смешанная» наступательно-оборонительная война, в которой мобильные боевые действия сменялись долгими периодами позиционной войны. Война велась Россией сначала на чужой, а затем преимущественно на своей территории. Основными противниками России были Германия, Австро-Венгрия и Турция.

В этой войне Россия потерпела поражение не только из-за неудач на полях сражений, но в значительной степени из-за революционных потрясений в тылу, распада общества и в результате — разложения армии. Заключив сепаратный мир с Германией, Россия оказалась проигравшей стороной, несмотря на то, что коалиция, в которой она участвовала, вышла из войны победителем. Но для России война не окончилась подписанием сепаратного мира — война внешняя переросла в войну внутреннюю, гражданскую, сопровождаемую интервенцией не только со стороны бывших противников в мировой войне, но и недавних союзников по Антанте.

В предреволюционный 1916 год составил семейный союз Николая Васильевича Малиновского и Любови Николаевны Сокольской. Отец новобрачной, Николай Иванович Сокольский, имел приход (храм Флора и Лавра) в селе Фролы Нерехтского уезда Костромской губернии и одновременно обучал Священному Писанию детей местных и окрестных поселян в земском училище; здесь же учительствовала и его дочь Варвара.⁹³

Всего в семье священника Сокольского было восемь детей, в числе которых преобладали дочери. (Вероятно, близкие предки Любови Николаевны были выходцами из Смоленской губернии, если принять на веру мнение, что — после разорения края в войне 1812 года — семь семейств из него переехали в Костромскую губернию и основали село Фролы.)

По причине своей многочисленности была семья Сокольских не сильного достатка, не могущей дать каждому из детей требуемый для самостоятельной жизни капитал. Это немаловажное обстоятельство вызвало, как свидетельствует хроника Малиновских, недовольство родителей Николая Васильевича его женитьбой на бес-



приданнице. Из-за малоденезья, ставшую Малиновской младшую дочь, её отец Николай Иванович в своё время отправил на учёбу в Ярославское епархиальное женское училище, начавшее действовать в 1880 году и предназначавшееся — в первую очередь — для бесплатного обучения, по гимназическому курсу, дочерей священников Ярославской, Костромской и Вологодской епархий и платного обучения девочек из других сословий, дававшее выпускникам учительское образование.

К началу 1917 года в Костромской губернии, как и во всей стране, сложилось тяжёлое положение. Патриотический подъём, вспыхнувший с началом войны и было устранивший вражду между властью и оппозицией, давно угас. Военные неудачи и оккупация противником значительных территорий на западе, огромные военные потери, с каждым днём войны возрастающие, разлад в экономической жизни страны привели к росту усталости и недовольства среди населения, видевшего главным виновником сложившейся ситуации правительство и — более — существующий политический строй. Требования реформ и кардинального обновления государственной системы раздавались не только с трибун Государственной Думы, но и в органах земского и городского самоуправления, в возникших с началом войны общественных организациях, занимавшихся военно-санитарной и благотворительной деятельностью, в кооперативном движении.

В истощённой войной стране особо остро стоял продовольственный вопрос. В Костроме — 11 января 1917 года — экстренное земское собрание, ознакомившись с состоянием продовольственного дела в губернии и во всей стране, пришло к заключению, что костромской уезд, как и вся губерния, находится на грани голода и причина тому — недееспособность правительства. Полагали костромские земцы, что только народное представительство в сотрудичестве с общеземским и губернским союзом сможет найти выход из кризиса.

В сложившейся обстановке, при поступлении в Кострому первых сведений о революционных событиях в столице городская дума обратилась к согражданам с воззванием, содержащим призыв оказать всеми силами поддержку временному комитету Государственной Думы, сформированному 27 февраля в Петрограде. При известии о формировании — 2 марта — Временного правительства в городской управе состоялось совещание представителей города, земства, утвердившее местный комитет для охраны порядка и спокойствия в Костроме и губернии, выразившее поддержку Временному правительству верноподданнической телеграммой, в его адрес направленной.

Иван Владимирович Хозиков, последний костромской губернатор и его администрация были бессильны что-либо предпринять. В первые дни Февральской революции призвал он население *«не нарушать обычного течения жизни, спокойно выжидать событий и помнить, что в настоящее тревожное время всякое нарушение порядка в тылу только на руку врагам»*. В переломный день 2 марта он дал распоряжение уездным исправникам немедленно прислать в Кострому всех стражников, имеющих в их распоряжении, но было поздно — войска костромского гарнизона перешли на сторону новой власти.

На следующий день камергер двора Хозиков — решением только созданного губернского объединённого комитета общественной безопасности — был (как и высшие чины полиции и жандармерии) арестован, помещён под домашний арест в губернаторском доме. Спустя некоторое время он покинул Кострому и указом Временного правительства был отрешён от службы. По некоторым данным — эмигрировал, работал таксистом.

Через несколько дней на имя председателя губернской земской управы Бориса Николаевича Зюзина поступила телеграмма от возглавлявшего Временное правительство Георгия Евгеньевича Львова с предписанием взять на себя обязанности по

управлению губернией в качестве комиссара Временного правительства. В ответной телеграмме Зюзин сообщил, что вся власть в губернии принадлежит объединённому комитету общественной безопасности и вводить должность комиссара Временного правительства и передавать ему управленческие полномочия недопустимо.⁹⁴

Выборы в костромскую думу состоялись в конце июня. Убедительную победу в них одержали социал-демократы, получившие в новой думе 46 мест (эсеры — 17 мест, кадеты — 11 мест). Правда, на первых порах не было единодушия в рядах победителей в вопросе отношения к войне и Временному правительству. В конце июля в Костроме, на проводимом социал-демократами митинге было принято постановление о необходимости продолжать оборонительную войну. Собравшиеся выразили полное доверие Временному правительству (при условии — пока в его составе находятся представители социал-демократической партии).

Однако ситуация с продовольствием в губернии продолжала оставаться чрезвычайно сложной, и в начале сентября на съезде городских голов и городских самоуправлений Костромской губернии было признано, что губерния находится на пороге голода и запасов на зиму нет. В такой обстановке Кострома встретила известия об октябрьских событиях в Петрограде.

Первая по счёту величайшая геополитическая катастрофа двадцатого века, разрушившая государство Российское, длившаяся с конца зимы по позднюю осень 1917 года, имеет — на сегодняшний день — множество объяснений, разъяснений, аналитических анализов и прочая и прочая. Но из всего обилия литературы подобного толка очень малая толика её описывает и оценивает непреложный исторический факт, что высшие иерархи Русской православной церкви отнюдь не скорбели по случаю падения монархического строя, приветствовали его свержший — в результате дворцового переворота — строй буржуазных либералов в образе Временного правительства.

И такому поведению отцов церкви в первых числах марта 1917 года есть, по моему разумению, своё толкование. Оно — в прилагающемся абрисе истории синодального периода русского православия, непосредственными участниками которого были, как показано выше, предки Бориса Николаевича Малиновского.

Абрис истории синодального периода русского православия.

После известных событий конца февраля 1917 года, в первых числах марта Синодом были получены многочисленные телеграммы от российских архиереев с запросом о необходимой форме моления за власть. В ответ первенствующий член Святейшего Синода митрополит Киевский Владимир 6 марта разослал от своего имени по всем епархиям Русской православной церкви телеграммы с распоряжением, что *«моления следует возносить за Богохранимую Державу Российскую и Благоверное Временное правительство ея»*. Иными словами, уже 6 марта российский епископат перестал на богослужениях поминать царскую власть.

Далее, 9 марта Святейший Правительствующий Синод обратился с посланием *«К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий»*, начинавшемуся словом: ***«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути»***.

А начиналось всё с реформ царя Петра, по которым православная церковь, лишённая патриаршего главенства в ней, была включена в государственную систему как её исполнительное звено, возглавляемое, контролируемое и направляемое Святейшим Правительствующим Синодом, определявшимся как *«соборное, обладающее в русской православной церкви всеми видами высшей власти и состоящее в сношениях с загранич-*

ными православными церквями правительство, через которое действует в церковном управлении верховная самодержавная власть, его учредившая». Члены Святейшего Синода назначались императором, равно как и представлявший его интересы в этом высшем державно-церковном органе обер-прокурор (по выражению Петра I, «ока государева и стряпчего о делах государственных в Синоде»).

Для церкви желанная, из Византии пришедшая идеальная схема православного государства, симфонией именуемая (ударение на предпоследнем слоге), которая обеспечивает двуединство светской и духовной властей, действующих автономно в части дел человеческих и божественных, осталась только мечтой, волей первого русского императора похороненной. Факт этот поэтически оценила Анна Андреевна Ахматова:

«Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От Русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьянённая блудница,
Не знала, кто берёт её...»

Петр I рассматривал духовенство, по меткому замечанию Юрия Фёдоровича Самарина, «как особый класс государственных чиновников, которым государство поручило нравственное воспитание народа. Но так как духовное сословие имело назначением трудиться для государства, и более никакого, то, следовательно, его устройство, управление, деятельность должны были условливаться государством как частный орган целым».

В таком случае труд на государство должен был оцениваться казённым жалованием, и вопрос этот ни шатко, ни валко решался весь синодальный период истории православной церкви — известно, что на начало двадцатого столетия содержание (около 440 рублей в год) получало духовенство трёх десятков тысяч российских приходов (в подавляющем числе городских), остальным — а это около одиннадцати тысяч приходов — жалование не полагалось.

Сельское духовенство с началом государевой службы оскудевало более века, и только в 1828 году император Николай I высказал пожелание, чтобы «чин духовный имел все средства к прохождению служения своего, не препираясь заботами о жизни». Во исполнение монаршьего намёка был образован Комитет по приисканию средств для обеспечения сельского духовенства. Отсутствие денежного вспомоществования власти пытались компенсировать наделением сельских пастырей землёй, которую они (и члены их семей) обрабатывали от весны до поздней осени, ничем не отличаясь в этом от духовно подначальных им крестьян

Дабы повысить интерес духовенства к серьёзному занятию хлебопашеством, с 1840 года в семинариях были введены новые учебные предметы — сельское хозяйство и естествоведение. Хотя митрополит Филарет ещё в 1826 году в своей записке, поданной лично императору, сомневался в полезности такого начинания, полагая, что из-за этого могут пострадать пастырские обязанности духовенства: «Если по обстоятельствам места возложит он (священник) руки на рало, то редко будет брать в руки книгу».

Тем не менее практика жизнеобеспечения сельского духовенства земельными наделами, кажется, длилась до последнего дня синодального периода церковной истории. Так было и в жизни семьи деда Бориса Николаевича Малиновского, об этом сын православного священника, маршал Александр Михайлович Василевский пишет в

своей книге «Дело всей жизни»: *«Я родился в селе Гольчиха 30 (17) сентября 1895 года. Через два года отца перевели священником в село Покровское. Скучного отцовского жалованья не хватало даже на самые насущные нужды многодетной семьи. Все мы от мала до велика трудились в огороде и в поле. Зимой отец подрабатывал, столярничал, изготавливая по заказам земства школьные парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для пчел».*

Доход приходского священника в первую очередь зависел от платы за требы, на которые твердых расценок фактически не было. Большое значение имели также субъективные моменты, такие, как популярность священника или его склонность и умение «выбивать» плату. Но главным препятствием было привычное для русского человека отношение к священнику и его деятельности.

Духовенство жаловалось на унижительную материальную зависимость от прихожан, на то, что зачастую приходится выпрашивать деньги у них, что наносило психологическую травму, особенно молодым, священникам и убивало у них желание духовно окормлять народ. Прихожане, в свою очередь, были недовольны завышенными, на их взгляд, денежными и материальными запросами служителей церкви.

Простой человек очень редко видел в своем священнике духовного пастыря, руководителя своей религиозной жизни. Для него, привыкшего высоко ценить таинства и обрядовую сторону церковной жизни, священник был необходимым посредником в общении с высшим миром, совершителем треб, без которых было невозможно «устроение души», и потому за своё «посредничество» имевший право на вознаграждение. Но при этом верующий считал себя вправе определять его величину, в зависимости от собственной оценки значимости для него той или иной требы. Такая воля в «ценообразовании» составляла органическую часть религиозного сознания простолюдина. Только он один, по его разумению, мог знать, сколько значила соответствующая служба для его души. Это глубинное, имевшее многовековые корни убеждение русского человека продолжало жить и в девятнадцатом, и в двадцатом веках. (Известно, что постепенно слово «поп» стало в народе нарицательным и потому, по велению верховной церковной власти, было запрещено к употреблению; вместо него вошло в обиход слово «священник».)

Привязка сельского духовенства к земле невыгодно сказалось на нём в части зависимости от помещиков и от недружественного отношения к нему со стороны крепостных крестьян. Первоначальные нормы Уложения 1649 года и последующие законы прикрепляли крестьянина только к земле, которую он обрабатывал и на которой жил, но не к личности землевладельца. Лишь Петр I, который посредством иерархической системы прав и обязанностей привязал сословия к государству, изменил эти юридические отношения, предоставив землевладельцу целый ряд прав в отношении крестьянина и сделал его посредником между крестьянством и государством.

Затем эта основа обросла плотью обычного права и в таком виде была окончательно кодифицирована при Николае I, в десятом томе Свода законов. Отныне помещик становился не только фактически, но и юридически собственником населявших его землю крестьян. Сельское же духовенство в течение полутора столетий являлось не просто свидетелем этого процесса, оно было им непосредственно затронуто на всех стадиях его модификации и в итоге оказалось в зависимости от дворянина-помещика, которая, хотя и не фиксировалась буквою закона, но практически была весьма заметна и постоянно усиливалась.

У помещика было достаточно власти, чтобы по своему произволу определять отношения между духовенством и крестьянами. Экономически священник был у него в руках и благосостояние его прямо зависело от того, какую землю решит выделить ему помещик. В результате, сельское духовенство оказалось в подчинении у трех властей: государства, епархиального архиерея и помещика, но власть последнего была для

него самой близкой и ощутимой. Эта власть проявлялась и после отмены крепостного права, весьма невыгодно отражаясь на авторитете духовенства в глазах крестьян. Искать защиты от злоупотреблений помещика у духовного начальства или у государства было для священнослужителя делом безнадежным.

Со временем православное духовенство оформилось в замкнутую корпорацию, касту с собственным бытом, традициями и обычаями, с собственной системой воспитания и образования. Должно отметить, что духовенство, став — силой петровских реформ начала восемнадцатого века — вторым (после дворянства) привилегированным сословием в державной табели о рангах, имело весьма существенные ограничения членства в нём. Принадлежность к духовному сословию усваивалась при рождении и при вступлении в ряды «белого духовенств» (в отличие от монашествующих и высших церковных иерархов, составлявших слой «чёрного духовенства»).

Дети священнослужителей и церковнослужителей наследовали их сословную принадлежность, но остающиеся при отцах до пятнадцатилетнего возраста без соответствующего обучения или исключённые из духовных училищ отроки (за непонятливость и леность) вычёркивались из духовного звания и должны были приписаться к какой-либо общине податного сословия — мещанской или крестьянской — или записаться в купцы; избирать себе род деятельности должны были и дети духовных лиц, добровольно покидавших своё сословие.

До шестидесятых годов девятнадцатого столетия для «излишних» детей духовенства периодически устраивались так называемые «разборы», при которых ребята, никуда не записанные и никуда не определённые, отдавались в солдаты. Принадлежность молодого человека к духовному сословию сохранялась только при поступлении его на священнослужительскую (священника или диакона) или церковнослужительскую должность, к примеру, псаломщика.

Выпускники духовных семинарий и духовных академий могли пожелать избрать для себя светскую карьеру, для чего они должны были уволиться из духовного ведомства. Рождённые в духовном звании при поступлении на гражданскую службу пользовались правами, одинаковыми с правами детей личных дворян (которые не передавали свою принадлежность к дворянству по наследству детям, но имели право поступления на гражданскую службу, могли получать почётное гражданство). При поступлении на военную службу дети служителей культа, окончившие среднее отделение духовной семинарии и не уволенные из семинарии за пороки, пользовались правами вольноопределяющихся.

На практике наиболее распространённым вариантом перемены сословной принадлежности для детей из духовенства было поступление в гражданскую службу в канцелярские служители до достижения первого классного чина, а позднее — в университеты и другие учебные заведения. (Впрочем, в 1884 году был введён (и некоторое время действовал) запрет на поступление выпускников семинарии в университеты.)

Тем не менее угнетаемое государственной властью и иерархией, презираемое либеральным обществом приходское духовенство в течение синодального периода смиренно отправляло свое церковное служение как само собой разумеющийся долг, не снискав себе за это никакого признания, хотя и вполне заслуженного. Его представители вынесли на своих плечах главный труд по сохранению Церкви, поистине совершив всё, что было в их силах.

Весь синодальный период в верхах православной церкви накапливалось неприятие своего зависимого положения, отнюдь не от «дома Романовых», а от воцарившейся — после дочери Петровой, Елизаветы — Гольштейн-Готторпской династии в лице её первого представителя Петра III. Как писал Кондратий Фёдорович Рылеев о личности своего будущего удушителя, Николая I:

«Царь наш — немец русский —
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь».

Все выше помянутые, только частично обозначенные сложности и неоднозначности в духовной жизни России привели к тому, что духовенство с начала двадцатого века в отношениях с царской властью перешло из оппозиции пассивной в оппозицию активную, стремясь, освободившись от государственного надзора и опеки, получить возможность самоуправления и самоустроения — добиться идеально желаемой симфонии. В эту пору, уже как активный участник общественной жизни видел, оценивал, принимал участие в происходящих процессах Николай Васильевич Малиновский и тем *«матери истории ценен»*.

Часть восьмая. Семья Малиновских после революции

В 1917 году у супругов Малиновских родился первенец — сын Костя, только год поживший, скончавшийся от скарлатины (по-народному — от «глотошной»). Лекарств от этой детской болезни тогда ещё не было, выживали немногие — *«Тоньше паутины из-под кожи щёк тлеет скарлатины смертный огонёк»*. В те послереволюционные годы, отмеченные не только реками крови гражданского противостояния, но и ему сопутствующими болезнями и эпидемиями, детская смертность, подгоняемая голодом и холодом, была много выше среднестатистической. (Потеряла в это время маленькую дочь Марина Цветаева, в одночасье лишились пары малышей — сына и дочери — супруги Анциферовы, супруги Еремеевы, мною в предыдущих книгах описанные.)

В 1919 году, в Костроме, на белый свет появился второй сын Малиновских, наречённый родителями Львом (в честь писателя графа Толстого). В губернском центре после этого события чета Малиновских пожила ещё год, после чего всем семейным составом переехали в Лух, к родителям Николая Васильевича — жизнь в небольшом городке давала больше шансов на выживание, да и следовало сменить обстановку для молодой супруги, долго не могшей оправиться после потери первенца. Жили в доме стариков, при Вознесенском погосте, располагавшемся в пятнадцати километрах от Луха. Отец Василий, после событий семнадцатого года, возобновил церковную службу, но священствовал недолго — скончался в 1920 году, за ним ушла на тот свет и его супруга.

Здесь, 24 августа 1921 года на белый свет вышел сын Борис. В Лухе он прожил только первый год своей жизни, но сюда не раз возвращался после переезда родителей в недалёкий городок Родники.⁹³



«Сомкнутые веки
Выси, Облака,
Воды, Броды, Реки,
Годы и Века».

(Борис Пастернак)

Что до истории Луха, то, побыв недолгое время центром небольшого удельного княжества, сменив несколько владельцев, он в середине шестнадцатого века числился уездным городом, охватывавшим двенадцать волостей, получившим интенсивное развитие после основания на правом берегу одноимённой реки монастыря. В пору Смутного времени (1608 — 1613 годы) город был одним из участников развернувшихся, судьбоносных для России событий — с изменами крестному целованию местных бояр, с верностью русских патриотов всех сословий новоизбранному монарху из рода Романовых, спасённому самопожертвованием Ивана Сусанина, с кровавыми побоищами ополченцев с отрядами интервентов — жолнёрами Лисовского и козаками Сагайдачного.

В результате административной реформы 1798 года, разделившей территорию России на восемь губерний, Лухский уезд вошел в состав Московской губернии Юрьев-Польской провинции, а в 1778 году перешёл в состав вновь образованной Костромской губернии.

В 1785 году, вместе с другими городами Костромского наместничества, Лух получил свой герб, на котором изображена ладья — символ Костромской губернии — на верхнем синем поле и золотая лестница на нижнем червленом поле, *«означающая, что сему городу учреждением наместничества даны средства для восхождения наверх своего благосостояния»*. В царствование Павла ряд уездов Костромской губернии был упразднён, в число которых попал Лух, ставший *«заштатным»* городом Юрьевецкого уезда.

В 1922 году Малиновские перебрались в недалёкий город Родники, где Николай Васильевич получил работу в местной школе — завучем. Ушли в прошлое занятия церковной историей, краеведением, жизнь требовала обеспечивать разрастающуюся семью (вскоре родилась чайная дочь Лена), не дать разворачивавшемуся преследованию лиц духовного сословия затронуть его, сына православного священника, но самого священником не ставшего.

Уже действовало *«Указание»*, данное Председателю ВЧК. Дзержинскому (от 1 мая 1919 года за №13666/2) Председателем ВЦИК Калининым и Председателем Совнаркома Ульяновым (Лениным): *«Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады»*.

Этот братоубийственный циркуляр действовал чуть более двадцати лет, пока Политбюро ЦК ВКП(б) на заседании от 11 ноября 1939 года (протокол №88) не отменило его: *«Признать нецелесообразным впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служащих РПЦ, преследования верующих»*. (Было бы наивно полагать, что преследования и репрессии служащих культа после этого сразу прекратились.)

Соученик Николая Васильевича Малиновского по Костромской гимназии, её выпускник 1909 года, Пётр Лебедев в 1921 году был рукоположен в протоиереи и назначен настоятелем Ильинского храма села Родники и благочинным уезда. Он, человек аскетического уклада жизни, бескорыстный, жил поначалу с семьёй в сторожке, с прихожан денег за требы не брал, за что те выстроили ему безвозмездно дом.

В 1932 году он был арестован, жену с пятью детьми местная власть из дома выгнала. Находясь в заключении, отец Пётр два с половиной года работал в совхозе под Иваново, постоянно подвергаясь насмешкам, издевательствам и оскорблениям. В 1935 году, выйдя из заключения, он вернулся в Родники, продолжил служить в местном храме. Когда власти решили храм закрыть, отец Пётр не побоялся собрать подписи с требованием отменить это решение. В ночь с седьмого на восьмое октября 1937 года

он, вместе со вторым священником храма, отцом Николаем Розановым, был арестован; священников расстреляли спустя три недели после ареста, во дворе Ивановской тюрьмы. (26 декабря 2003 года отец Пётр Лебедев определением Священного Синода был причислен к лику «*святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания*».)

Сестра Николая Малиновского, красавица Павла (не по любви — по воле родителей) была выдана замуж за протоиерея, священника Петра Сергеевича Рождественского, служившего в селе Мелечкино Родниковского района в храме Архангела Михаила. Пётр Сергеевич был хорошим хозяином, имел приличный дом, в его хозяйстве были лошадь, корова, сад, огород. Был он оклеветан односельчанином, написавшим на него клевету, в которой утверждал, что апроитоирей недоволен советской властью.

В апреле 1932 года Пётр Сергеевич был арестован, осуждён Тройкой ОГПУ по Ивановской Промышленной области и сослан в Казахстан, откуда его вскорости перевели в Муромский исправительно-трудовой лагерь. Приехавший к отцу на свидание сын не узнал его — выбитые зубы, потухший взгляд, от некогда статного мужчины остались кожа да кости; свидевшись с сыном, он вскоре умер.

После ареста мужа, Павла Николаевна пережила такое нервное потрясение, что ещё долго (как мне рассказывал её племянник Борис Николаевич Малиновский) боялась выходить из опустевшего дома, сторонилась людей. Она попала в разряд «лишенок», людей, вычеркнутых из жизни общества; жила на мизерные средства (мебель и скот были конфискованы). Помогали — деньгами, посылками — разъехавшиеся по стране дети. Только в семидесятые годы церковь назначила Павле Николаевне небольшую пенсию за незаконно репрессированного мужа. (Николай Васильевич помог сестре продать дом в Мелечкино и купить небольшой домик в Родниках.)

Её сына, Анатолия Рождественского, перед арестом отца поступившего в Ленинградский педагогический институт имени Герцена, из вуза отчислили. Жил он на заработки грузчика, перебивался с хлеба на воду, но выжил; после войны устроился на работу в Гусь-Хрустальный, стал уважаемым человеком. (Не смогли, как и Анатолий, получить высшее образование его сёстры — Зоя и Лиза.)

Преследование церковнослужителей, начавшееся с ленинского «Указания» 1919 года, в 1932 году превратилось в настоящий террор после введения в Уголовный Кодекс статьи 58 пункт 1 «контрреволюционная агитация и пропаганда», по которой, на первых порах давали пять лет ссылки, а вскоре — десять, двадцать пять ссылочных лет или присуждали расстрел. Только в 1939 году, после (как позже выяснилось) личного распоряжения Сталина репрессии в отношении духовенства были прекращены, начался пересмотр дел священнослужителей, освобождение тех из них, которых власть перестала считать социально опасными; была свёрнута антирелигиозная пропаганда, закрыт журнал «Безбожник».

В годы войны, после того как отгремели победные залпы Курской дуги, 3 сентября 1943 года был заключён так называемый «сталинский конкордат» между государством и православной церковью, которой (под контролем властных органов) было позволено вольно исполнять свои духовные функции на всей территории страны.

В тот день Сталин вызвал к себе высших иерархов Русской Православной Церкви — местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского), митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского) и митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича). Около двух часов продолжалась беседа о взаимоотношениях Церкви и государства, в которой были затронуты и вопросы подготовки священнослужителей. Митрополит Сергий говорил о необходимости открытия духовных учебных заведений, поскольку Церковь осталась практически без священников и диаконов. «А почему у вас нет кадров?» — спросил

Сталин, в упор глядя на своих собеседников. Алексей и Николай смутились... Всем было известно, куда «подевались» кадры. Но митрополит Сергей не растерялся: «Кадров у нас нет по разным причинам. Одна из них: мы готовим священника, а он становится маршалом...» (намёк на выпускника Костромской семинарии, маршала Василевского). Сталин усмехнулся, заметил: «Да, да. Как же. Я семинарист. Слышал тогда и о Вас». Затем стал вспоминать семинарские годы, сказав, что мать его до самой смерти сожалела, что он не стал священником.

О своём отношении к вере Борис Николаевич, потомок священнослужителей, говорит с реалистической ясностью: *«Я рос с чувством неприятия церкви, и даже после войны с трудом мог заставить себя зайти в церковь и не для молитвы, конечно, а просто так — посмотреть, как идёт служба. Теперь этого неприятия у меня нет, как и нет того, что называется верой, хотя основы христианской религии я признаю целиком и полностью».*⁹³

Первое время семья Малиновских жила в доме на Волковой улице, спустя пару лет, после переезда, глава семейства разобрал родительский дом в Вознесенье и собрал его на новом месте жительства, на городской окраине на противоположной стороне от фабричного его района. В примыкавшем в доме коровнике с сеновалом Малиновские завели корову, устроили птичник, разбили сад и огород. Коров держали многие горожане и по утрам, с ранней весны до поздней осени, общее стадо вышагивало по городу на пастбище. Вскоре после переезда родилась у супругов Малиновских чаянная дочь, Лена.

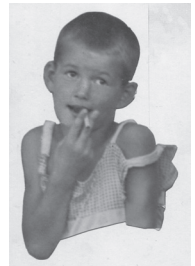
Денег семье катастрофически не хватало. Постепенно скромный запас фамильных драгоценностей взрослые выменяли на деньги в Торгсине. (Торгсином сокращённо именовалось созданная в 1931 году организация, занимавшаяся обслуживанием сограждан и зарубежных гостей, имеющих валютные ценности, которые они могли обменять на продукты питания и другие потребительские товары; действовала до 1936 года.)

«Мой старый дом, дом детства моего,
Души частичка там живет и ныне,
Калитка с вертушкой, распахнуто окно,
Сверчок за печкой, гроздь на рябине».

(Екатерин Винокурова-Кошелева)

В Родниках был свой стадион — с жаркими футбольными баталиями на нём, которые через невысокий забор наблюдали мальчишки; зимой на стадионе устраивали каток с ледяной горкой. Читать братья Малиновские, с помощью мамы, научились рано. Для Бориса любимой книгой стала книга Льва Евгеньевича Остроумова «Чёрный лебедь», «Новые приключения Макара-следопыта», изданная в 1930 году, очерки Виталия Бианки о природе. Позже, записавшись в библиотеку, малолетний Борис запоем перечитал Майн Рида, Жюль Верна; у друзей отца брал читать Джека Лондона. На чердаке дома в беспорядочной груде было свалено много книг, особенно по истории России, психологии, философии (видимо, отец убрал их подальше — на всякий случай, от недобрых людских глаз).

В Родниках братья Малиновские пошли в четырёхклассную школу. Долговязый Лев приступил к занятиям с четвёртого класса — знания предыдущих классов ему, дома, дал отец. Младший, Борис, как он



признаётся в воспоминаниях, поначалу учился усердно и неплохо, но с наступлением очередной детской весны стал прогуливать уроки, отдавая предпочтение играм со сверстниками на лужайке за школой.

В центре города располагался «комбинат народного питания» (Нарпит), куда строем водили школьников, кормили кашами — манной или перловой. Открывшийся городской кинотеатр демонстрировал озвученный фильм «Красные дьяволята», американские киноленты. В Родниках малолетний Борис Малиновский впервые увидел аэроплан — поглазеть на него, приземлившегося на пригородном поле, сбежались чуть ли не все горожане. Автомобилей в городке тогда не было, их впервые Борис увидел в Кинешме, куда приехал с мамой по семейным делам..

«Мы незаметно подрастали.
Весь мир нам во владенье дан!
Мы в пионеры поступали,
Мы колотили в барабан».⁹⁵

Лев Малиновский увлёкся моделированием макетов планеров и аэропланов, зачастил по этому поводу в Дом юного техника, делал и запускал в небо маленькие летающие аппараты с «мотором» из жгута резиновых нитей. Отец купил в семью детекторный приёмник, позволивший домочадцам слушать единственную тогда доступную радиостанцию «Коминтерна». Вместе с другими родниковскими пацанами братья Малиновские играли в футбол, гоняли мяч из тряпок (Борис стоял вратарём), катались на велосипеде, купленном им отцом, летом отправлялись в походы за грибами, зимой — на лыжные вылазки. Запомнилась пятикласснику Борису Малиновскому пароходная экскурсия по Волге, с остановками и экскурсиями — от Ярославля до Нижнего Новгорода.

Время подзабытое, из истории практически вычеркнутое — героическое, напряженное, тревожное время! Классовые битвы революции и гражданской войны еще не стали достоянием прошлого, а считались горячим, только вчерашним днём. Индустриализация промышленности сочеталась с НЭП (новой экономической политикой). Первым успехам в социалистическом строительстве противостояли провокационные угрозы международного империализма, пришедшие к власти фашисты в Италии, а затем — в Германии. Невиданный, массовый энтузиазм людей труда подкреплялся постоянной мобилизационной готовностью Советского государства дать отпор врагам революции. Это было время резких контрастов и непримиримых оценок, стремительно менявших всю жизнь, её традиции, весь бытовой уклад:

«Я, помню,
Не жалел под праздник
Ни черной туши, ни белил,
Весь мир на белых и на красных
Безоговорочно делил.
Я знал про домны Приазовья
И что опять бастует Рим.
И я к друзьям пылал любовью
И был к врагам непримирим».⁹⁵

Но было, кроме «высокого» в том времени и подлое, кровавое. В 1928 году на Николая Васильевича Малиновского поступил донос в «органы». Бдительная коллега сообщала, что он, сын служителя культа, спустя рукава проводит уроки обществоведения. В итоге, с Николая Васильевича сняли заведование учебной частью, оставили учителем русского языка и литературы; обидевшись, он покинул школу, перешёл в фабрично-заводское училище Родников.

«Несмотря на все трудности и притеснения, думаю, что отец воспринял выдвинутые революцией идеалы того времени, был патриотом страны, где родился и жил, и в этом духе воспитывал своих детей и многочисленных детей на уроках русского языка и литературы. Ученики его почитали и любили, долго переписывались с ним после окончания школы. Он не поддался культу личности Сталина, как это было со многими. Точнее, учитывая обстановку в стране, он, думаю, был вынужден кривить душой. На собраниях в школе нельзя было обойтись без восхваления вождя, и он понимал это. Но дома не раз, читая газеты, с возмущением говорил о статьях, где превозносились заслуги Сталина», — пишет об отце его сын, Борис Малиновский.

Из соображений будущей безопасности и в видах получения детьми высшего образования Николай Васильевич решил перебраться в Иваново. Вначале уехал один и некоторое время обустроивался на новом месте, преподавал русский язык и литературу в стахановской школе, затем — в общеобразовательной школе, купил плохонький дом.

В 1936 году он перевёз в областной центр семью и сделал это очень своевременно — в Родниках начались массовые аресты учителей. Как вспоминает Борис Николаевич:

«Моего учителя немецкого языка Апольцева, любившего путешествовать по Кавказу, «сделали» турецким шпионом и расстреляли, замечательного учителя русского языка и литературы Грамматина арестовали и отправили в лагерь. Это только те, которых я знал. Но были и многие другие.

Года за два до смерти отец рассказал мне, о чём молчал более тридцати лет. В 1937 г., когда наша семья только что переехала в Иваново, его вызвали в НКВД. Когда он явился в указанный в повестке кабинет, человек, сидевший за столом, удивлённо посмотрел на него:

— Николай Васильевич?! Это вы? — Уходите и никому не говорите, что были у меня!

Бывший ученик имел мужество спасти своего учителя. Так нашу семью миновало лихо 1937 года».⁹³

В Иваново братья Малиновские получили полное среднее образование. Старший из братьев, Лев, по окончании школы поступил в Ивановский энергетический институт и два года отучился в нём, младшему, Борису, только месяц довелось побыть студентом. Всё перерешила война, из всепожирающего пламени которой судилось вернуться только младшему брату.

Часть девятая. Война

В рядах миллионов советских людей, ставших на защиту Родины, была многочисленная её юная поросль — не доучившаяся, не долюбившая, только во взрослую жизнь вступающая. В их числе были и братья Малиновские.

*«Ах война, что ж ты сделала, подлая,
Стали тихими наши двory.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.*

*На пороге едва помаячили,
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад».⁹⁶*

Участию Бориса Николаевича Малиновского в войне с фашистскими захватчиками, вскоре после её начала названной Великой Отечественной и священной, предшествовали два года его срочной военной службы, на которую он был призван в октябре 1939 года, сразу после поступления на горно-электромеханический факультет Ленинградского горного института. Проходил он её в артиллерийском полку, дислоцированном в городе Пушкин, и факт этот подтверждает пожелтевший от времени фотоснимок, на котором он с приехавшими его навестить отцом и старшим братом (над всеми возвышающимся) запечатлены на одном из мостиков знаменитого, прежде именовавшимся «Царскосельским», парка.



Ещё одна встреча Бориса Малиновского с отцом произошла спустя два месяца после начала войны благодаря неожиданному, чудесному стечению обстоятельств. Тогда сержант Борис Малиновский, следуя в эшелоне своего артиллерийского полка через Иваново, получил возможность на два часа вырваться домой, повидаться родителями, сестрой Лёлей, от радости неожиданной встречи забывшими поздравить дорогого гостя с его двадцатым днём рождения. И — что ещё более чудесней — временный тыловой лагерь, куда прибыл его полк, обустроился у Ильина озера (неподалёку от города Горького), где находилось и танковое училище, курсантом которого был Лев Малиновский. Здесь братья получили счастливую возможность в продолжении двух месяцев тесно, радостно общаться и, в заключение, распрощаться — навсегда.

«Им нельзя задержаться, остаться —
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда».⁹⁷

Могли ещё раз встретиться братья жарким летом 1943 года, но — того не случилось. Тогда во время наступления на Курской дуге дивизии, в которых служили Борис и Лев Малиновские, смятая врага, двигались навстречу друг другу, но, завершая разгром, разминулись.

Крещение огнём, с выведшим его из строя ранением, сержант Борис Малиновский получил зимой сорок первого года в боях под Москвой. Лечился несколько месяцев в тюменском госпитале, после которого продолжил воевать в составе Северо-Западного фронта, созданного в первые дни войны на базе особого Прибалтийского округа. В ходе оборонительных боев летом и осенью 1941 года войска этого фронта оставили Прибалтику, отступили в район озера Ильмень и городка Демянска, где остановили наступление врага. Здесь фашисты устроили мощный укреплённый район, названный ими «Демянской крепостью» и семнадцать месяцев удерживали его как плацдарм для ударов по Северной группе советских войск. Всё это время войска Северо-Западного фронта вели перемежающиеся наступательные и оборонительные бои местного значения с вражескими формированиями.

В апреле 1942 года на Северо-Западный фронт, в составе 11-й армии, прибыла 55-я стрелковая дивизия второго формирования (её первое формирование практически было сведено на нет в боях с превосходящими силами противника в первые дни и месяцы войны). Позже, в первых числах мая этого же года, к новому месту дислокации этой дивизии подтянулся её артиллерийский дивизион, в списках которого, вплоть до выхода из боевых действий войны, числился Борис Николаевич Малиновский.

Северо-Западный фронт, ещё именовавшийся бойцами «Болотным фронтом», действовал на территории, имевшей мало дорог и направлений, пригодных для дей-

ствия большой массы войск. Всё её пространство занимали бесконечные топи и болота, бескрайние лесные чащи, с разбросанными и затерянными в них деревушками.

Связывающие войска фронта дороги были грунтовыми, в распутицу превращавшимися в болотное месиво, утопая в котором, бойцы вытаскивали на своих плечах орудия и боеприпасы, другое боевое снаряжение, грузовики с продовольствием. Зимой (а она в тот год было снежной и суровой) метели часто и основательно заносили пути продвижения, так что двигавшимся вперёд войскам приходилось с великим трудом прокладывать траншеи в гигантских сугробах.

В лютые морозы той зимы застывала смазка на тщательно протёртом оружии, ломти хлеба превращались в ледышку, а промокшие валенки, замёрзнув, ломались на ходу. (Оценивая фронтовой труд солдата, русский военный психолог Роман Константинович Дрейлинг отмечал, что *«труд, производимый, например, пехотинцем в полном вооружении и снаряжении, превосходит по количеству расходуемой энергии самые тяжёлые формы не только профессионального, но и каторжного труда»*.)

В таких условиях, природных и фронтowego быта, в состоянии постоянного психофизического перенапряжения в составе 84-го артиллерийского полка, входившего в состав 55-ой стрелковой дивизии, воевал на Северо-Западном фронте Борис Николаевич Малиновский.

«Молнией небо расколото,
Пламя во весь горизонт.
Наша военная молодость —
Северо-Западный фронт».⁹⁸

Всё, что причитается фронтвому бойцу, выпало на его боевую долю — всевозможные лишения, различные виды опасности или томительное ожидание их наступления, потерю личной свободы и принудительный характер поведения. Здесь он пережил многое и многих; многому, прежде неведомому, извёдал цену и, подобно другим бойцам, жил (точнее — пребывал) в предельных состояниях психики, ломавшейся и перестраивавшейся в условиях войны, — когда смерть становится привычным элементом быта, а ценность человеческой жизни как таковой нивелируется.⁹⁹ Жизнь солдата на войне состоит из пограничных околосомертных ситуаций, в которых, как писал Юрий Нагибин, *«каждый погибший откупает у гибели другого»*.

И неизбежное для солдата чувство страха, по-разному проявляющееся на передовой и вне её, пришлось много раз испытать (и побороть) солдату войны Малиновскому, ибо страх, как подсознательная сфера психики человека, является его врождённым свойством, и полностью преодолеть его нельзя, ибо страху в разной степени подвержены все люди, но в сильной — фронтвые солдаты. Совершенно бесстрашных солдат не бывает.

«Если человек провёл на фронте полгода и после этого уверяет, будто никогда не испытывал чувства страха, будто нервы его никогда не сдавали и он не знает, как от испуга бешено стучит сердце и пересыхает в горле, — значит есть что-то в нём ненормальное, сверхчеловеческое, либо он просто лжёт».

(Ричард Олдингтон)

Всё это есть в прекрасной мемуарной книге Бориса Николаевича Малиновского «Через огонь, воду и медные трубы», в которой он — спустя много лет после завершения войны — рассказывает о своём боевом пути в рядах 55-й Мозырьской Краснознамённой стрелковой дивизии. Время не ослабило, а усилило у него горечь от невозполнимых утрат, позволило ему по-настоящему пересчитать раны и ряды товарищей и сверстников — редевшие и восполнявшиеся.

Книга, написанная прекрасным слогом, в форме сборника небольших новелл, не только излагает хронику и содержание фронтовых событий, но и являет собой своеобразный компендиум по военной психологии, с точки зрения которой оценивается поведение человека в экстремальных условиях войны, его бытие перед лицом смерти.

И главное психологическое впечатление, которое оставляет эта книга — подтверждение известной мысли, что *«характер неизменен»* (или — *«характер человека — его судьба»*). В переложении на язык фронтовых реалий это означает, что все элементы психологии бойца формируются его характером ещё в мирное время, а фронт выявляет их с наибольшей определённой, акцентируя те или иные качества, связанные с условиями военного времени. В бою находят своё предельное выражение все присущие человеку качества — и лучшие, и худшие.

Наихудшее, страшнейшее из них — паника, проявления которой видел Борис Николаевич, о которой пишет, в том числе анализируя знаменитый приказ, афористично именуемый *«Ни шагу назад!»* Был он издан 28 июля 1942 года под номером 227 Наркомом обороны СССР в связи с угрожающей ситуацией, сложившейся на Юго-Западном фронте, когда за неполный месяц, с 28 июня до 24 июля, наши войска в большой излучине Дона отошли на восток почти на четыреста километров со среднесуточным темпом отхода около пятнадцати километров, когда потребовались резкие, неординарные меры, чтобы остановить отступление, грозившее гибелью стране.

Приказ №227 устанавливал в армии *«строжайший порядок и железную дисциплину»*, для чего создавались *штрафные батальоны*, в которых *«провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости»* командиры и политработники могли *«искупить кровью свои преступления против Родины»*. В том же приказе говорилось о формировании *«заградительных отрядов»*, которые следовало поставить *«в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной»*. Можно по-разному, сквозь толщу лет, относиться к помянутому приказу, но нельзя не признать, что он переломил настроение в войсках, дал возможность победить не только в скоро последовавшей битве под Сталинградом, но и в войне.

«Приказ этот запомнился мне, как поворотный пункт в войне: наступление немцев под Сталинградом было остановлено! День за днём мы продолжали следить за сводками. Сталинград не сдавался! Накал боёв стал предельным, мужество защитников города — небывалым. Это был героический пример выполнения необычного приказа, и он сыграл великую роль!»⁹²

Помянутый приказ усиливал борьбу с проявлениями паники в войсках, на преодоление которой нацеливал ранее (16 августа 1941 года) изданный приказ №270, обязывавший каждого военнослужащего, оказавшегося в окружении, *«драться до последней возможности»* и, независимо от своего служебного положения, уничтожать трусов и дезертиров, сдающихся в плен врагу, *«всеми средствами, как наземными, так и воздушными»*. Особой силой давлением на сознание солдат отступающей армии был пункт приказа, гласивший, что семьи нарушивших его фронтовиков будут подвергнуты аресту.

К сказанному можно прибавить, что 5 февраля 1945 года начальник германского генерального штаба, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал приказ, призванный исключить панические настроения в фашистской армии и, в том числе, гласивший: *«За тех военнослужащих вермахта, которые, попав в плен, совершают государственную измену и за это по имперским законам должны приговариваться к смертной казни, отвечают их родные своим имуществом, свободой или жизнью»*. Не помогло.

Триста боевых дней, как подсчитал Борис Николаевич, провёл он на Северо-Западном фронте, здесь был ранен, но остался жив, в отличие от многих его однополчан, навеки упокоившихся в древней славянской земле. Её неглубокие недра по сей день исследуют благодарные потомки в поисках останков здесь погибших бойцов. С ними, положившими жизни свои «*ради жизни на земле*», памятью своей общается Борис Николаевич Малиновский — среди болотных топей, меж дубов, осин и елей:

«Лес таинственный, лиственный,
весь малиновками освистанный.
То сырой и бодрящий, то молчащий в оцепенении,
потерявший, как усталая рота, равнение.
Все мне чудится: вот сойдутся дубы, и осины, и ели.
И повторят привалов уют.
Над кострами развешат шинели
и домашнее что-то, щемящее запоют».

(*Булат Окуджава*)

Следующий отрезок боевого пути Бориса Николаевича — Курская битва, занимающая особое место в Великой Отечественной войне, длившаяся пятьдесят дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Здесь, у посёлка Поныри, сражались, защищаясь и атакуя, погибали, но не сдавались его однополчане. «*С обеих сторон в ней участвовало свыше 4 млн человек, 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков, около 12 тыс. боевых самолётов*».

Эта грандиозная битва многократно описана в мемуарах, в художественных произведениях, зрительно представлена в кинофильмах. Воспоминания Малиновского прекрасно дополняют и, наверное, завершают весь литературный цикл воспоминаний об этом судьбоносном для советской армии противостоянии с врагом, завершившимся его разгромом и стратегическим отступлением на запад — в сторону фатерлянда.

Преследуя фашистов, бойцы 55-й стрелковой дивизии прошагали с боями до днепровского водного рубежа почти семь сотен километров. Перешли Десну по понтонному мосту, форсировали Днепр и, закрепившись на песчаных пространствах правого берега реки, у белорусского местечка Деражичи, отбивали яростные контратаки фашистов.

Далее, атакуя и преследуя врага по правому берегу реки Припять, 55-я дивизия освободила Мозырь. За отважное участие в этой крупной боевой операции, за личные боевые достоинства Борис Николаевич был повышен в звании до «лейтенанта» и награждён орденом Красной Звезды.

*«При форсировании Днепра 55-я стрелковая дивизия входила в состав 61-й армии, которая понесла здесь большие потери. После войны, в год 20-летия Победы, в Деражичах был установлен памятник воинам 61-й армии, навсегда оставшимся на песчаных берегах Днепра».*⁹²

Следующий этап боевого пути лейтенанта Малиновского — бои по освобождению Белоруссии в составе Первого Белорусского фронта, начавшего в июне 1944 года стратегическую наступательную операцию под названием «Багратион». Здесь, в Припятских болотах будто повторились для Бориса Николаевича боевые эпизоды Северо-Западного фронта, здесь он был серьёзно ранен (осколком «прыгающей» мины). После излечения в госпитале Мозыря вернулся Борис Николаевич, осенью 1944 года, в родной полк, уже приписанный (в составе 55-й стрелковой дивизией) к Третьему Прибалтийскому фронту.

С боями, со всеми фронтовыми лишениями гнали на запад (в рижском направлении) врагов ненавистных советские бойцы, однополчане Бориса Николаевича. И

каждый из них, предчувствуя скорую Победу, фатально верил, что доживёт до неё, и очередной прожитый на фронте день укреплял эту веру, и не могла поколебать её неизменная потеря боевых друзей, не вернувшихся из боя:

«Почему всё не так? Вроде всё, как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода
Только он не вернулся из боя».⁹²

Для солдат и командиров 55-й стрелковой дивизии война (точнее — участие в её боевых действиях) закончилась в начале октября 1944 года, когда решением высшего военного руководства дивизия была снята с фронтовой линии, передана в состав Краснознамённого Балтийского флота и, переименованная в Первую дивизию морской пехоты, передислоцировалась в капитулировавшую Финляндию. Здесь, на созданной по решению Советского главнокомандования военно-морской базе Портккала-Удде бойцы «многострадальной» 55-й стрелковой дивизии и встретили День Победы.

Казалось бы такой исход противостояния с судьбой, должен был вполне устраивать Бориса Николаевича, но боль за погибшего, в декабре 1944 года, в боях под Невелем старшего брата занозой впившаяся в его сердце, не оставляла его до последнего дня войны и не оставила в послевоенные годы. (Следует сказать, что как студент-старшекурсник Лев Малиновский призыву не подлежал, но он пошёл на фронт добровольцем. И ещё — летом 1942 года всех недоучившихся студентов вернули из армии в институты, однако Лев Малиновский продолжил воевать.)

В своей книге военных воспоминаний Борис Николаевич Малиновский приводит текст прекрасного, великой психологической силы письма однокурсницы погибшего брата, Галины Сергеевны Градовцевой, любившей его, долго ждавшей его с войны и только спустя много лет после её окончания узнавшей, из письма Бориса Николаевича, о гибели любимого человека:

«...Не могу передать, как потрясло меня Ваше письмо. Оно всколыхнуло всё пережитое, хотя и прошло тридцать лет. Вспомнишь, так и сейчас сердце болит, трудно писать... Десять лет я не выходила замуж, ждала возвращения Лёвы с войны...

Каким я помню Лёвушку? Он был умный, скромный, честный, добрый, тактичный, застенчивый, как девушка, заботливый, как самый близкий. Всегда рядом, но не на виду. Мы, студенты курса, очень его любили. Очень стеснялся своего роста...

...Перед уходом на фронт принёс мне карточку (вместе с папой), сказал:

— Это мой отец, я как-то не успел тебя с ним познакомить...

В последнем треугольнике написал о тех ужасах, которые видел после отступления немцев. Жаловался, что ему мешают длинные ноги, мешают сидеть в танке... Больше от него писем не получала. Ответа на мой запрос в часть не прислали.

...Очень хотелось побывать на могиле Лёвы, буду растить махровую сирень. Он так любил сирень!»

Закljučая свой, только контурно обозначенный пересказ о боевом пути Бориса Николаевича Малиновского, хочу вернуться к одному, им в книге описанному жуткому эпизоду, когда 55-я дивизия, после победы в Курской битве гнала врага через Черниговщину к Днепру. По дороге наши бойцы освободили Корюковку, выжженную и опустошённую, названную Борисом Николаевичем в своей книге воспоминаний «Украинской Хатынью»:

«Чрезвычайная государственная комиссия по преступлениям оккупантов в Черниговской области позднее установила, что в марте 1943 года гитлеровцы сожгли в Корюковке 1290 домов из 1300 существовавших и уничтожила большую часть

жителей местечка. Всего в районе было расстреляно 7 640 человек, 1 129 — угнаны в фашистское рабство. А за годы оккупации с Черниговщины было принудительно вывезено 41 478 человек...

В марте 1943 года гитлеровцы оцепили Корюковку и учинили дикую расправу над населением. Они врываются в дома и расстреливали всех, кого заставляли на месте, не щадили не женщин, ни детей. Тех же, кто бежал из горящих домов, ловили и сгоняли на центральную площадь.

В местном ресторане шла попойка. Одуревшие от спирта садисты-эсесовцы требовали развлечений. И тогда с площади в ресторан стали приводить женщин. Тут же, среди столиков, под звуки губных гармошек, игравших нечто отвратительно сентиментальное, женщин насиловали и убивали. Потом, покинув ресторан, стреляли из автоматов по толпе. Обливали бензином живых и мёртвых и поджигали.

В одну ночь было убито свыше 6 700 человек. А тех, кто уцелел в марте, ждала новая ночь ножей и крови в сентябре».⁹²

Приведённую выдержку из книги Бориса Николаевича Малиновского хочу дополнить цитатой из книги «Россия в войне. 1941–1945» британского журналиста Александра Верга, всю войну проведшего в Советском Союзе в качестве корреспондента газеты «Санди таймс» и радиокompании Би-би-си:

«Для Гитлера, Геринга, Гимmlера и Эриха Коха украинцы, как и русские, были «недочеловеками». Говорят, что Геринг однажды сказал: «Лучше всего было бы перебить на Украине всех мужчин... а затем послать туда эсесовских жеребцов».

В 1941 г. его также очень радовала перспектива, что в будущем году в России умрёт от голода 20 — 30 млн. человек. Кох, представитель самой крайнего направления «недочеловеков», был назначен правителем Украины по настоянию Геринга...

Для немцев Украина была, во-первых (и главным образом), источником продовольствия, во-вторых, источником угля, железа и других полезных ископаемых и, в-третьих, источником рабского труда...»⁵⁸

Эта добавка от английского автора — для беспамятных представителей старшего поколения некогда единой страны и для той части молодой поросли новых державных образований, которые не знают или не хотят осмыслить страшные уроки сравнительно недавнего военного прошлого своих народов и могут позволить себе залить бетоном Вечный огонь, в память погибших предков зажжённый, или выступить в германском бундестаге с оправданием преступлений немецких фашистов.

С точки зрения высокой морали, неизменная, от поколения к поколению передаваемая благодарность потомков своим предкам за достойные, героические деяния их есть показатель уровня нравственности общества, на что старинная русская поговорка указывает: «Спасибо тому, кто поит и кормит, а более тому, кто хлеб-соль помнит». И наоборот — невысока культура жизни в том обществе, в котором власть предерживающие корректируют в угоду своим политическим интересам историческую память, прививают согражданам, превращая тех в пустопорожних обывателей, полное забвение лучших страниц своей истории, её выдающихся представителей.

Всё сказанное в полной мере относится к оценке событий сравнительно недавнего прошлого, к годам, в которые историческая общность, именованная «советский народ», защитила, уберегла свою великую страну от уничтожения и порабощения остатков её населения фашистскими захватчиками и, разгромив врага ненавистного, избавила от подобной участи европейские народы.

Подвиг этот — бессмертен и память о нём и как бы ни пытались исказить его ситуативные политики и отутюженное общественное мнение, будет передаваться от поколения к поколению, если не громогласно, то в народных сказаниях, пересказах и, пока существует планета Земля, будет жить в благодарных потомках победителей как этический стержень их бытия.

«Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые».¹⁰¹

Очень краткий эпилог

Пройдя огонь, воду и медные трубы практически полного боевого пути войны, счастливо судьбой отмеченный, — израненный, не искалеченный, боевыми наградами увенчанный — вернулся молодой воин-победитель Малиновский в позабытую мирную тишину, ступил, как и другие (но отнюдь не все!) братья по оружию, под кров пережившего военное лихолетье родительского дома:

«Над всем царила тишина,
А позади была война.
В зеркально чистых сапогах,
В скрипучих кожаных ремнях,
Под звон медалей, блеск погон
Они входили в отчий дом...»¹¹⁴

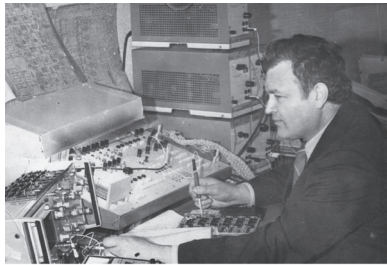
Ещё много послевоенных лет лучшие из лучших представителей фронтового братства определяли нравственный фон общественной жизни. На них, особого закала людей, равнялись, на примерах их боевого мужества и патриотизма воспитывалось подрастающее поколение. Да и сами они, вернувшись с войны, не сидели, сложа руки, наслаждаясь заслуженными славой и покоем, а вместе со всем трудовым народом поднимали из руин страну, наращивали её мощь, трудились во благо сограждан. И в их числе был Борис Николаевич Малиновский, натура целеустремлённая, энергичная, богато — природой и родителями — одарённая.

Вернувшись с войны, он поступил в Ивановский энергетический институт, в котором не только с блеском отучился, но и встретил в его стенах верную и надёжную спутницу жизни, Октябристу Николаевну Аккуратнову — *«студентку, комсомолку, активистку и просто красавицу»*. Далее молодая семья перебралась в Киев, где её молодой глава существенно повысил свой научный интеллект учёбой в аспирантуре, где родились у супругов Малиновских их дети — Лев, Вера и Николай. Здесь Борис Николаевич, увлёкшись вычислительным разделом в быстро прогрессирующей электронике, достиг в новой научно-технической отрасли высоких результатов и был за это заслуженно отмечен всевозможными наградами и званиями, мной перечисленными в начале настоящей новеллы-эссе. Можно только добавить, что свой многолетний путь в науке отметил он авторством (и соавторством) более двух сотен научных работ и изобретений, фундаментальными монографиями по истории советской (и украинской) вычислительной техники.

Одним из собирателей, читателей и толкователей помянутых исторических штудий Бориса Николаевича (и его пожизненным почитателем) является мой коллега по прошлым инженерным трудам Владимир Данилович Осипенко — 1939 года рождения, уроженец села Новосёлки Макаровского района Киевской области. Всякое наше общение, затрагивающее тему совместной работы на производственном объединении «Электронмаш», он неизменно сопровождает фразой примерно следующего содер-



жания: *«Саша! Благодаря этим замечательным людям я, сын простого пастуха, имел умственную, хорошо оплачиваемую работу, платил копейки за вкусное и разнообразное заводское питание, получил бесплатно квартиру, был независимым, уважаемым человеком...»* («Замечательными людьми» мой собеседник определяет генерального директора производственного объединения «Электронмаш», легендарного Апполинария Фёдоровича Незабитовского и Бориса Николаевича Малиновского — руководителя научно-конструкторского коллектива киевского института кибернетики, разработавшего электронную вычислительную машину «Днепр», с выпуска которой производственная жизнь указанного объединения и началась.)



Начальные знания электроники Владимир Данилович усвоил ещё в школьные годы и развил их

до достаточно высокого уровня радиоспециалиста в пору армейской службы. После демобилизации несколько лет трудился на оборонных предприятиях Урала, вернувшись на родину, устроился на завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), предтечу производственного объединения «Электронмаш».

Человек цельного характера, высокой порядочности, в делах точный и скрупулёзный, он, благодаря этим внутренним достоинствам, не отрываясь от основной работы, приобрёл среднее техническое образование в Киевском индустриальном техникуме и два высших — в Киевском политехническом институте и Киевском университете. Могу засвидетельствовать — был он фанатично предан своему электронному делу, признавался (в рамках союзного министерства) лучшим специалистом по доводке «до ума» вычислительных комплексов.

Всё это было — да сплыло. Ныне только пустые глазницы окон, да укоренившиеся на крышах корпусов деревца позорят прежнее величие электронного гиганта Украины. В одном из корпусов, где работал Владимир Осипенко, располагается торговый центр. Заходя время от времени сюда за покупками, Владимир Данилович подходит с замирающим сердцем к месту, где прежде стояло его электронное отладочное оборудование. Теперь здесь, за электронными кассовым аппаратом и весами восседает необразованный (и без перспективы на образованность, не по своей вине — по вине новых «хозяев жизни») молодой человек и очень ловко обслуживает покупателей.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда». А ведь мог бы сидеть молодой умница и отлаживать отечественные ноутбуки, «айфоны» и прочие «смартфоны»... Недостачи талантов у нас никогда не было! Борис Николаевич Малиновский, давно на украинской земле укоренившийся, его благотворный труд, добавивший ума и обеспечивший достойную жизнь многим согражданам, — одно из немногих тому подтверждений.





Борис Евгеньевич Патон

«Гением мы называем того, кто видит дальше и постигает глубже других, а также обладает иной системой этических оценок и энергией, позволяющей претворить своё особое видение и свои оценки в деятельность, максимально соответствующую его особым дарованиям».

(Бернард Шоу)

Из всего обилия литературы о Борисе Евгеньевиче Патоне, мной прочитанной, более других глянулась мне книга Бориса Николаевича Малиновского «Академик Патон — труд на всю жизнь». Привлекательность и значимость (в моих глазах) этого труда определяется всесторонним и очень дружественным освещением всех сторон жизни выдающегося учёного и организатора науки, чему способствовали давние добрые отношения автора книги со своим героем — как личные, так и в академической среде.

Предлагаемая ниже новелла-эссе написана мною по просьбе автора выше упомянутой книги, к вековому юбилею Бориса Евгеньевича Патона, и являет собой обобщённое выражение благодарности — от инженеров и научных работников шестидесятих годов ушедшего века — этому изумительному человеку, его феноменальному отцу.

Часть первая. Слово восхищения и благодарности

Удивительно обаятелен — внутренне и внешне — Борис Евгеньевич Патон. Обаятелен, прежде всего, своей доступностью, душевной мягкостью, простотой в межлических отношениях. Эти чудные свойства его натуры, его лица необщее выражение отмечают, восхищаясь, как люди имевшие (и имеющие) возможность регулярно общаться с ним, так и те, кому довелось иметь недолгие научные, производственные, деловые или бытовые контакты с этим легендарным, высокого общественного положения человеком. *«Так ясное спокойствие волны скрывает тайну светлой глубины».*

Как знать, возможно, высокая культура поведения, врождённые учтивость и деликатность, тонкий аристократизм стиля общения, другие сильные черты характера передались ему таинственным генетическим током от его шотландских предков, перебравшихся — предположительно в начале восемнадцатого века — в Россию, на государеву службу и с честью её исполнявшие, на что сам Борис Евгеньевич указывает: *«Я горд, что мои предки были люди достойные! Патоны всегда верно служили Отчизне. Я получил от предков главное — слав характера. Это честность и любовь к независимости, это гордость, несовместимая с заискиванием, это требовательность к себе и фанатическая настойчивость в осуществлении намеченной цели!»*

Был взыскан судьбой Борис Евгеньевич, давшей ему в отцы Евгения Оскаровича Патона, выдающегося учёного-практика, изначально крупного учёного мостостроителя, добавившего в предвоенные годы к своей основной инженерной квалификации ещё одну — электросварку, ставшего в этой отрасли знаний корифеем мирового уровня, создавшего в Киеве соответствующий этому направлению научно-производственной деятельности институт.

От доброго дерева добрый плод. Передал Евгений Оскарович младшему сыну высокий уровень интеллекта, строгую умственную дисциплину, целеустремлённость, силу аналитического мышления, непреклонный методичный ум. Качества эти, развитые и усиленные младшим Патонам образованием, систематическим трудом, научными занятиями, выковали из него достойного преемника отцу. (Не обделил Евгений Оскарович наследственными интеллектуальными задатками и старшего сына, Владимира, ставшего коллегой отцу и брату, проявившего себя в связке с ними выдающимся инженером-конструктором, пионером сварочных работ в космосе.)

А ещё — привил отец детям высочайшие моральные устои, духовность, совестливость, те достоинства человеческой природы, которые определили принадлежность этого прекрасного семейного круга к замечательному общественному сословию, в середине девятнадцатого века сформировавшемуся и поныне именуемому интеллигенцией.

Родившись в 1918 году в Киеве, стал Борис Евгеньевич Патон его пожизненным обитателем и патриотом. Во дворе местного политехнического института, в котором преподавал (имея в нём служебную квартиру) его отец, он провёл детство своё изначальное, в стенах этого учебного заведения получил высшее электротехническое образование.



И только в военное лихолетье оставил молодой инженер Патон свою малую родину на два года, проведя их в трудах — физически и творчески напряжённых — в Нижнем Тагиле, куда на время оккупации был эвакуирован из Киева институт электросварки. Здесь слаженный институтский коллектив, Евгением Оскаровичем Патонам руководимый, на производственных площадях также эвакуированного (из Харькова) танкового завода внедрял в производство новый метод сварки под флюсом, дававший сварным швам на броне прославленных танков Т-34 крепость непреодолимую. За этот весомый вклад в дело победы лучшие из лучших институтских сотрудни-

ков были удостоены высоких государственных наград, а директору института было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В этом уральском городе встал на крыло Борис Евгеньевич, и в мыслях отца был «назначен» будущим продолжателем дела его.

По возвращении — в начале июня 1944 года — института электросварки в Киев разработка новых методов сварочных работ продолжилась на качественно новом уровне, достигнутом на уральской земле, выверенном в жестоких условиях боевых действий. Продолжая некоторое время работы, связанные с танковой и другими отраслями оборонной промышленности, институт стал шире и шире применять автоматическую сварку в народном хозяйстве, в том числе в мостостроении, по которому правительство страны в 1946 году приняло специальное постановление.⁹⁴

Во исполнение державной директивы в 1951 году в Киеве началось строительство крупнейшего в мире цельносварного шоссейного моста через Днепр, успешно завершённое в июле 1953 года. Стал этот мост, названный именем его сотворителя, первого директора института электросварки, монументальным памятником трудам и до-

стижениям этого великого человека, инженера и учёного, закончившего свой земной путь через месяц после знаменательного события.

Согласно воле почившего, перешло к Борису Евгеньевичу Патону руководство институтом, уже три года бывшего в нём заместителем директора, имевшего учёную степень доктора технических наук. Сын память отца не посрамил. Заступив на его место, он с первых шагов своего управления институтским коллективом блистательно проявил себя организатором научных исследований, безошибочно угадывающим их перспективность, доводящим их до широкого практического использования.

Это был период *«бури и натиска»* в жизни института, в течение которого он превратился в мощный научно-исследовательский центр с опытным заводом и опытно-конструкторским бюро. Уже в начальную пору директорства молодого Патона этим центром были решены наиболее важные проблемы электрошлаковой сварки, что позволило внести существенные изменения в технологии изготовления сложных изделий тяжёлого машиностроения —ковка и литьё уступили место быстрой, экономной и эффективной электросварке.

Выдающихся успехов добился институт в разработке принципиально новых способов сварочных работ, в частности, в среде углекислого газа тонкой электродной проволокой. Ещё одним научно-техническим прорывом в новые технологии стало применение электрошлакового метода для улучшения качества металлов и сплавов, породившее новое направление в металлургии, названное электрошлаковым переплавом, позволившее существенно улучшить свойства жаропрочных, нержавеющей, инструментальных, шарикоподшипниковых, других сталей и специальных сплавов.

Ещё одно мощное и результативное направление исследовательской деятельности института — изучение процессов сварки давлением, давшее производственную жизнь новым технологиям контактной сварки: многоточечной и рельефной сварки каркасных конструкций при изготовлении вагонов, автомобилей, сельскохозяйственной техники; стыковой и точечной сварки арматуры железобетонных блоков; стыковочной сварки рельсов, в производстве сварных труб больших диаметров.

В конце пятидесятых годов под непосредственным руководством Бориса Евгеньевича Патона были начаты работы по рафинированию металлов и сплавов при помощи электронного луча, завершившиеся созданием физико-химических основ технологий, позволявших получать новые конструкционные материалы, к примеру, особо чистые медь и никель для электронной техники, ниобий и тантал для авиационной и ракетной техники.

Увенчали десятилетие научного творчества (или подвига) Бориса Евгеньевича разработанная по его инициативе и утвержденная, в 1960 году, правительством страны семилетняя программа развития сварочного дела в Советском Союзе под координирующим и научным началом Киевского института электросварки, а также избрание (в 1962 году) его директора действительным членом Академии наук СССР по специальности «металлургия и технология металлов». В тот же год академик Патон был избран президентом Академии наук Украины, действительным членом которой состоял с 1958 года. Казалось, он объял необъятное!

Став у кормила правления Академией, её новый президент — *«чтоб делом мысль венчать»* — все свои знания, опыт, недюжинные качества научного лидера положил на динамичный, качественный и количественный рывок академической науки и в деле этом преуспел изрядно. Генеральной целью поставил он широкомасштабное создание научно-технических комплексов, являющих собой организации с единой научно-исследовательской и конструкторской базой, могущих перспективную научную разработку своего профессионального профиля довести до промышленного использования, обеспечив её высокого уровня технологическим процессом. Для утверждения такого двуединства президент Патон положил все силы на создание его

базиса, на реорганизацию уже имеющихся и создание новых академических отделений, научно-исследовательских институтов фундаментального профиля — проблем прочности, теоретической физики, геотехнической механики, ядерных исследований, онкологии, сверхтвёрдых материалов... В соответствии с требованиями нового Устава республиканская Академия взяла на себя научное руководство отраслевыми научно-исследовательскими институтами и вузами республики. Для выполнения этой задачи в регионах были созданы крупные научные центры.

Всё это было сделано вопреки воле тогдашнего управителя страны, бесшабашного Никиты Сергеевича Хрущёва, вдруг решившего оторвать от союзной Академии целый ряд научно-исследовательских институтов и передать их в ведение отраслевых министерств.

В процессе создания новых научно-технических учреждений Борис Евгеньевич руководствовался своим точным прогнозом в оценке того или иного научного направления, даром предвидеть, отличать кажущееся от действительного, иллюзии от реального хода вещей, своим талантом интеллектуальной проницательности, развитым им до высшей степени совершенства, своим богатым практическим опытом. Эти качества руководителя высшего ранга, сочетаясь с его высокой и разносторонней эрудицией, позволили ему уверенно принимать принципиальной значимости решения и в сфере наук гуманитарных, медицинских, биологических.

Дальше — больше. С развитием научно-технических комплексов, ориентированных на определённые производства, началось неспешное, но уверенное объединение их (в зависимости от текущих перспективных потребностей отечественного производства) в межотраслевые формирования. Теперь Академия наук Украины фактически превратилась в генеральный штаб научно-технического прогресса республики (и не только её). Являла она собой в это время гелиоцентрическую систему, в которой солнцем ясным и одухотворяющим блистал Борис Евгеньевич Патон, вокруг которого обращались мощные планетарные системы — высокочисленные академические институты с благомудрым директоратом во главе. Продолжая образность в оценках роли украинской науки того времени, можно сказать, что была она бриллиантом первой величины в короне науки всесоюзной, занимая во многих её направлениях ведущее положение.

«Время — вперёд!» То была эпоха свершений, время стремительного научно-технического прогресса. Строились новые предприятия, атомные и гидроэлектростанции, сваривались швы труб большого диаметра на газопроводах и нефтепроводах, на корпусах кораблей, самолётов, ракет, прокладывались новые железнодорожные пути, осваивалось космическое пространство, развивалась медицинская, биологическая промышленность и прочая, и прочая. И всё это — при самом непосредственном участии научно-технической элиты Украины.¹⁰²

В самом институте электросварки её директором был определён переход к принципиально новым технологиям сварочных работ — к использованию для этой цели ультразвуковых колебаний, сил трения, энергии взрыва, что, в итоге, позволило оперативно решить вопросы сварки на морских глубинах, металлов с неметаллами, сварки в космосе, создания там новых материалов путём напыления, в проектировании для этой цели специальной аппаратуры. Добрались лучшие институтские умы — птенцы гнезда Патонова — и до решения проблемы сваривания живых тканей в медицине. Всё это было, было, было...

*«Полны чудес сказанья давно минувших дней про громкие деянья былых богатей».*¹⁰³ Кануло в лету время, когда академическая наука держалась не только на творчестве её лучших представителей, но и на твёрдом стержне государственной заботы о ней, на всеобщем общественном уважении. Иное время — иное бремя. Привелось Борису Евгеньевичу Патону, его окружению пережить время, когда юродствующие

и кликушествующие сограждане пытались внести заразу хамства, осквернения и разрушения в стены Академии, а лучшим её умам «*услышать суд глупца и смех толпы холодной*». Но — выдюжили, а украинская академическая наука, пережив трагедию воистину шекспировского размаха, умалившись в возможностях своих, продолжает жить и развиваться благодаря, прежде всего, охранительной деятельности её мудрого лидера, гениального — с точки зрения вечности — Бориса Евгеньевича Патона.

«Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...»¹⁰⁴

Часть вторая. Абрис истории рода Патонов

Ныне утвердившейся у специалистов по генеалогии точке зрения на шотландские корни рода Патонов долгое время сопутствовало предположение об их германских предках, и повод тому давали принадлежность членов этой фамилии к лютеранско-евангельской конфессии, их связи со многими лютеранскими семьями немецкого и шведского происхождения, а также написание в документах их фамилии как «фон Патон».¹⁰⁵⁻¹⁰⁷

Ещё Оскар Петрович Патон — дед Бориса Евгеньевича Патона — числился протестантом, но поскольку его супруга была православной, то по законам Российской империи их дети, Оскар и Михаил, крестились по вере матери. (Да и сам Оскар Петрович, в итоге, принял православие.)

В России Патоны появились предположительно в первой половине восемнадцатого века. И первым документально зафиксированным представителем русской ветви этой фамилии был упоминаемый где-то в середине семисотых годов **Георг Патон**, служивший кухмистером при царском дворе.

О его сыне, Петре Георге (или в православном оформлении — **Петре Юрьевиче**), родившемся 1733 году и умершем в 1809 году, известно, что изучал он архитектуру под началом Пьетро Антонио Трезини, работая его помощником в течение двух лет, что далее, работая с 1749 года у его архитектурного соперника, Бартоломео Растрелли, разрабатывал чертежи для строящегося Зимнего дворца. За проявленное мастерство и усердие был Пётр Юрьевич, в 1752 году, высоко аттестован своим патроном и рекомендован им в Канцелярию «*архитектурии помощником третьего класса*» — в чине прапорщика и с окладом восемьдесят рублей в год.

Известно также, что был Пётр Юрьевич архитектором Ораниенбаума, что по его проекту в 1797 году выстроился так называемый «Секретный дом» — одноэтажная каменная тюрьма на двадцать одиночных камер при Алексеевском рavelине Петропавловской крепости. За долгую и беспорочную службу был он награждён орденом Святого Владимира Четвёртой степени, имел чин коллежского советника.

Достигнутый Петром Юрьевичем Патонем высокий социальный статус дал возможность его сыновьям сделать хорошую карьеру — **Павел** (родившийся около 1751 года) в звании полковника командовал Софийским полком; **Иван** (1755 года рождения) дослужился до чина надворного советника, получил во владение село Решино Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии; дочь **Мария** (родилась около 1759 года) была женой командира Софийского пехотного полка Карла Густава Врангеля, в звании генерала от инфантерии ставшего комендантом Выборга.

Пётр Иванович Патон (годы жизни: 1796 — 1871) решением Санкт-Петербургского депутатского собрания от 12 июля 1862 года вместе со старшими сыновьями (Оскаром и Николаем) был признан в российском наследственном дворянстве с вне-

сением во Вторую часть Дворянской родословной книги Санкт-Петербургской губернии и заключительным утверждением указом Сената по Департаменту герольдии 14 января 1863 года под №292.

Службу Отечеству он начал в шестнадцать лет — 15 февраля 1812 года поступил колонновожатым в свиту его величества. (Колонновожатыми называли унтер-офицеров, готовящихся к сдаче экзаменов на офицерский чин.)

Экзамен Пётр Иванович «сдал» в сражении под Клястицам, и за проявленную в бою отвагу был произведён в прапорщики. Далее участвовал в делах под Полоцком (и был награждён орденом Анны IV степени за храбрость), под Старым Борисовым, при переправе французов через Березину и при деле у деревни Судянки.

В 1813 году он участвовал в блокаде Данцига, бил супостата при деревне Доничка и Скирницы, при бомбардировании крепости Виза; за отвагу, проявленную в боевых действиях при городах Бар-сюр-Об, Труа получил чин поручика; далее вместе с союзными войсками вступил в столицу Франции.

Уже как прославленный боевой офицер Пётр Оскарович Патон участвовал во многих сражениях Турецкой войны 1828—1829 годов, за отличие в которых был произведён в полковники. Бил турок при Шумле, в боях при Кулевче, в сражении при Чафликке, при взятии редута на позиции у Киприкиой, в переходе через Балканы и занятии Адрианополя. За сражение при селе Яникиой получил орден Святого Владимира IV степени с бантом.

В 1840 году, уже будучи генерал-майором (с января 1838 года), Пётр Иванович Патон находился в походе на судах Черноморского флота, участвовал в занятии форта Лазарев и других делах на восточном берегу Чёрного моря.

В январе 1844 года бригада под командованием Патона выступила против горцев на Кавказской линии. Бравый генерал командовал авангардом при взятии позиций Чах-Киры в августе 1844 года; со своим отрядом он занял с бою позицию на реке Аргуни при ауле Хозен-Юрт и руководил всеми работами по постройке укрепления (где и пробыл до 1845 года).

В 1846 году Петра Ивановича Патона назначили командующим резервной дивизией Четвёртого пехотного корпуса; через три года он был произведён в генерал-лейтенанты. Отвоевав отважно на Кавказе, он весной 1850 года получил назначение комендантом в Оренбурге, а в декабре 1853 года с оставлением армии был назначен сенатором. За ревностную службу в армии и сенате 26 ноября 1869 года Пётр Иванович Патон был отмечен чином генерала от инфантерии, и награда сия достойно увенчала его государственную и военную деятельность.

Его старший сын Оскар-Иоганн-Яков (или **Оскар Петрович Патон**) родился 8 ноября 1823 года в Вознесенске Херсонской губернии. В четырнадцать лет поступил в Инженерное училище со средним баллом «четыре». В 1843 году, по окончании офицерских классов училища был выпущен прапорщиком в полевые инженеры и направлен на службу в Инженерный корпус. Вместе с ним в это же учреждение был направлен служить его «однокашник» и друг Фёдор Михайлович Достоевский, пребывавший в состоянии творческой угнетённости, о чём много позже сообщал брат прославленного писателя, Андрей Михайлович:

«...Впрочем и обстоятельства расстраивали его. То и дело он нанимал писарей для переписки своих черновых сочинений и выходил из себя, видя их ошибки и бесполезно истраченные деньги. Между тем время шло и Фёдор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе ещё ни одним печатным сочинением.

Друзья его, как-то Григорович в 1844 году поставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом; Патон оканчивал перевод «Истории польского восстания Смиттена», Михаил Михайлович оканчивал перевод «Дона Карлоса» Шиллера; я сам помещал разные статейки на немецком языке в «Магазине для немецких

читателей в России» Л. Т. Эльснера, Фёдор Михайлович, глубоко веривший в своё литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов, но не успел ещё составить ни одного вполне оконченного литературного труда».¹⁰⁵

При таком положении дел и твёрдом желании вступить уверенно в русскую литературу, развязавшись одновременно с накопившимися долгами, Фёдор Достоевский решил начать с переводов и для этого вовлёк в дело небесталанного Оскара Патона. Свой план по этому поводу Фёдор Михайлович изложил в письме к брату Михаилу 31 декабря 1843 года: *«Из долгов нужно как-нибудь выбраться. Под сидячий камень вода не потечёт. — Судьба благословила меня идею предприятием, назови как хочешь. Так как оно выгодно до нельзя, то спешу тебе сделать предложение участвовать в трудах, риске и выгодах. — Вот в чём сила».¹⁰⁵*

Суть затеянного Фёдором Михайловичем предприятия состояла в том, чтобы перевести и издать роман французского писателя Эжена Сю «Матильда» и выручкой от его продажи решить свои долговые проблемы и дать доход приятелям. Заручившись согласием Оскара Патона, Фёдор Михайлович ещё одним соучастником затеянного дела пригласил родного брата Михаила:

«Патон, я и ежели хочешь ты, соединяем труд, деньги и усилия для выполнения предприятия и издаём перевод к Святой неделе. — Предприятие, держится нами в тайне, рассмотрено со всех сторон, и irrévocablement принято нами.

— Вот как будет происходить дело. — Мы разделяем перевод на три равные части и усидчиво трудимся над ним. Рассчитано, что ежели каждый может переводить по 20 страничек Врихелл'ского маленького издания Матильды, то к 15 февраля кончит свой участок. Переводить нужно начисто прямо, то есть разборчиво. У тебя хороша рука и ты можешь это сделать. — По мере выхода перевода он будет цензурован. Патон знаком с Никитенко, главным цензором и дело будет сделано скорее обыкновенного...

У Патона готово 700. Мне пришлют в Генваре рублей 500. (Ежели же нет, я возьму вперёд жалование)... Вот наше предприятие: хочешь вступить в союз или нет. Если хочешь, то начни переводить в «la cinquieme partie».

...Переводи как можно более, насчёт границ перевода твоего напишу. Пиши не медля. Хочешь или нет? Пиши не медля. Прощай».¹⁰⁸

Несколько алармический стиль письма, попытка автора убедить, прежде всего, самого себя в успехе им составленной комбинации, его горячность оправдываются будто бы успешным (и синхронным с вновь затеянным) ходом его перевода романа Бальзака «Евгения Гранде. Кажется Фёдору Михайловичу, что нашёл он свою стезю в литературе как переводчик и стремится достигнутый успех закрепить в новой коллективной работе: *«Теперь к делу; это письмо деловое. Наши обстоятельства идут хорошо... Редакторство поручено мне, перевод хорош будет. Патон человек драгоценный, когда дело дойдёт до интереса... Ты непременно нам помоги, и постарайся перевести щегольски».*

Фёдор Михайлович торопится, нервничает, торопит брата, готов сдвинуть сроки завершения перевода, в суетливости своей начинает повторяться — не первый раз указывает на знакомство Оскара Патона с цензором Никитенко:

«Переводи с перепиской. Не худо, если бы крайним сроком прислал бы ты нам перевод к 1-му Марта. Тут мы сами все кончим свои участки и перевод пойдёт в Цензуру. Цензор Никитенко знаком Патону, и обещал процензурировать в 2 недели. 15 марта печатаем всё разом и много что к половине Апреля выдаём... Спросишь, где достали деньги; я сколочусь и дам 500. Патон он 700; у него они есть; и маменька Патона, 2000. — Она даёт деньги сыну по сорок процентов. — Этих денег вельми довольно, для печатания. Остальное в долг».¹⁰⁸

Пили, ели, веселились; подсчитали — прослезились». Суровая правда жизни скоро сменила радужные ожидания, и Фёдор Михайлович был вынужден банально просить

у брата денег, правда, ссылаясь на скорое финансовое вознаграждение его перевода Бальзака:

*«Миленький побратим, есть до тебя subtilная просьбица. Я теперь без денег. Нужно тебе знать, что на праздниках я перевёл Евгению Grandet Бальзака (чудо! чудо!) Перевод бесподобный. — Самое крайнее мне дадут за него 350 рублей ассигнациями. — Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже; ради Ангелов небесных пришли 35 рублей ассигнациями (цена переписки). Клянусь Олимпом и моим жидом Янкелем (оконченной драмой), и чем ещё? разве усами, кои, надеюсь, когда-нибудь выростут, что, половина того, что возьму за Евгению, будет твоя».*¹⁰⁸

В этом письме без труда угадываются нотки настроения, предвещающие крах затеянной Фёдором Достоевским литературной авантюры. Чувствуется по развитию событий, что все увещания Фёдора Достоевского, все его lamentации дают обратный эффект. Даже мать Оскара Патона (Анна Григорьевна, дочь банкира Генриха-Грегора Геймана) фантастически высокими процентами ссуды пытается, кажется, охладить пыл, неуёмное желание товарища его сына. И очевидный крах произошёл, что следует из оправдательного и объяснительного письма Фёдора Михайловича брату Михаилу Михайловичу:

«Видишь ли: я по-настоящему не имею никакого основания подозревать неудачу. Но осторожность не излишня ни в каком случае. Что до меня, то я переводить продолжаю. Тебя же прошу остановиться до времени, чтобы во всяком случае не утруждать себя понапрасну. Мне и так очень прискорбно, милый мой, что, может быть, ты и теперь уже потерял время. — Подозреваемая мной неудача находится не в самом переводе, и не в литературном его успехе (предприятие было бы блистательно), но в странных обстоятельствах, возникших между переводчиками. 3-й переводчик был Патон, который за условленную цену от себя нанял капитана Гартонга поправлять свой перевод. Он тот самый Гартонг, который переводил Плик и Плок, Хромоногий бес и написал в Библиотеку для Чтения повесть Панихида. Дело шло очень хорошо. Деньги нам давала взаймы мать Патона, которая дала в том честное слово. Но Патон в Апреле едет на Кавказ, служить под командою отца, вместе с своею матерью...

*Все эти причины понудили меня просить тебя. Друг мой, оставь покамест перевод. Весьма в недалгом времени уведомя тебя последним решением; но, вероятно, не в пользу перевода: суди сам. А как жалко, друг мой, как мне до тебя жалко. Извини, голубчик, и меня бедняка...»*¹⁰⁸

Фёдор Михайлович всё ещё продолжает надеяться, что переводами можно жить, даже — разбогатеть. Он убеждает брата в этом, пытается вдохновить его на переводы Шиллера, верит, что издавая за свой счёт, можно с выгодой распродавать книги и иметь приличный доход. Берётся даже за перевод романа Жорж Санд «Последняя Альдини» и, почти закончил его. Однако выполненный Достоевским перевод «Евгении Гранде» не принёс ему ни славы, ни денег. Имя переводчика не было указано в публикации, критики не заметили шедевра, книгоиздатели не предложили отдельное издание; сам переводчик не рискнул издать роман за свой счёт.

Не удался и перевод «Матильды» Эжена Сю. И отнюдь не причине выхода из дела Оскара Патона — его отъезд на Кавказ не состоялся, как и не состоялась командировка Достоевского в одну из крепостей, находившейся под техническим надзором Инженерного корпуса. Оскару Патону выпала возможность более быстрого и видного карьерного продвижения.

Фёдор Михайлович вышел в отставку, занялся решением сложных наследственных дел с сестрой, отказался от занятий переводами и только после написания романа «Бедные люди» был объявлен «неистовым Виссарионом» гением.

Так разошлись пути-дороги молодых друзей. Ещё в пору совместного писательского проекта, в августе 1841 года, Оскар Петрович Патон, имея от роду семнадцать лет, был произведён в полевые инженер-прапорщики, с оставлением в том же, Главном инженерном училище, для прохождения курса наук в нижнем офицерском классе; через год его перевели в верхний офицерский класс. И ещё через год он был выпущен из Училища и зачислен по спискам петербургской инженерной команды (вместе с Достоевским).

Вместо предполагавшейся командировки на Кавказ в августе 1844 года Патон был прикомандирован к лейб-гвардии конно-пионерскому дивизиону. После четырёх лет службы он был произведён в прапорщики, а в январе 1840 года был откомандирован в учебную команду для *«изучения Гальванических занятий»*, здесь же был произведён в поручики. Далее участвовал в оборонительных мероприятиях для обеспечения защиты берегов Балтийского моря в военном противостоянии с Англией и Францией, уже как командующий Первого конно-пионерского дивизиона с вверенными ему войсковыми подразделениями брал участие в коронационных торжествах Александра II, в Москве, в июле 1856 года.

Точку в его военной карьере поставила реорганизация в войсках. В конце осени 1856 года при реформировании лейб-гвардии конно-пионерского дивизиона в эскадрон Оскар Патон лишился своей должности и в начале мая 1857 года уволился с военной службы для определения к статским делам, с переименованием в надворные советники. Через некоторое время получил он назначение в департамент уделов в министерстве императорского двора и в ноябре 1857 года — определён управляющим одного из отделений самарской удельной конторы.

В июне 1859 года Оскар Петрович Патон обвенчался с Екатериной Дмитриевной Шишковой (дочерью штаб-ротмистра), а спустя четыре месяца уволился по прошению в отставку, в которой находился почти шесть лет, занимаясь хозяйством в имениях, устраивая семейную жизнь. Пошли дети — 23 июня 1860 года родилась дочь Наталия, после неё, 18 июня 1862 года, появилась на свет дочь Александра, далее, 11 октября 1863 года — сын Александр и 5 августа 1865 года — сын Михаил. (Как помечено в формулярном списке, супруга и дети *«вероисповедания православного»*.)

С учётом действовавшей системы учёта и расстановки верных монархическому строю кадров Оскар Петрович оставался на виду у властей и 30 октября 1865 года был возвращён к службе консулом в Ниццу. Назначение состоялось после того, как император Александр II с супругой Марией Александровной провели в этом французском городке несколько недель возле умирающего от туберкулёза костей старшего сына Николая — наследника престола. В Ницце у супругов Патон родились сыновья Владимир (28 августа 1867 года), Евгений (20 апреля 1870 года) и Пётр (21 сентября 1872 года).

В июне 1866 года Оскар Петрович был переведён консулом в Бреславль, а в сентябре 1893 года он уволился со службы по собственному прошению, после чего проживал в селе Хребтееве Новоушицкого уезда Подольской губернии. Окончил он дни свои в 1909 году и был похоронен на местном кладбище. В его честь старший сын Михаил воздвиг часовню, позже снесённую неумными представителями советской власти.

Николай (Николай Петрович) Патон родился 3 января 1827 года и был крещен 24 октября 1828 года в евангелической церкви Святой. Екатерины в Санкт-Петербурге (что на Невском проспекте). Крестными родителями выступили: купец первой гильдии Демид Шведов и генеральша фон Врангель.

Образовывался Николай Патон (с 1841 по 1847 год) в Главном (Николаевском) инженерном училище. Свой послужной список открыл должностью командира бата-

льона Санкт-Петербургского гренадерского полка и получил, в 1850 году, звание майора. Отслужив двенадцать лет, далее — уже как действительный статский советник — перешёл на статскую службу, был помощником управляющего водно-акцизными сборами в Тульской и Тверской губерниях. После 1880 года возвысился в должности до чиновника по особым поручениям Министерства финансов Российской империи, с прикомандированием к Новгородской и Тверской губерниям. Выйдя, в 1896 году, в отставку, проживал в им приобретённом имении Тимошкино Новоторжского уезда Тверской губернии, в котором и окончил дни свои, в мае 1909 года, и был погребён рядом с прежде него скончавшейся супругой — баронессой **Ольгой Андреевной фон Арпсгофен**.

Иван Петрович Патон родился в Полоцке, тогда числившимся в Царстве Польском, 19 ноября 1837 года и был крещен 23 июля 1838 года в евангельской Аугсбургской церкви, в Варшаве, при восприемниках: генерал-лейтенанте Михаиле Чаадаеве и Елене Гейман.

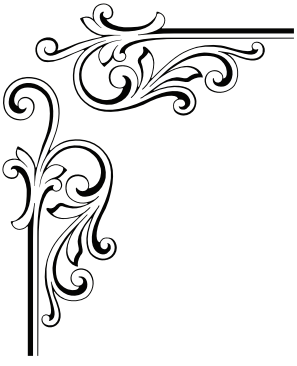
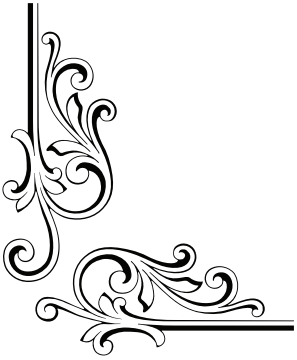
Образование Иван Патон получил в именитом Императорском Александровском лицее. В последовавшей служебной деятельности отметил как прокурор Смоленского окружного суда при чине действительного статского советника. Скончался он в апреле 1911 года.

Оскар (Оскар Николаевич) Патон родился в Нарве Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии, 13 апреля 1858, крещен был 15 мая 1858 в евангелическо-лютеранской церкви Святого Иоанна в Нарве. Крестные родители: полковница Эмилия фон Арпсгофен, рожденная Рюль, и надворный советник Оскар Патон.

Прокурорский Надзоръ. Прокуроръ — с. с. Дмитрій Ал-ев. Коптевъ (Рейтар., 11). Товарищи Прокурора: Аристархъ Діонис. Поставскій (Стрѣл., 18), т. с. Оскаръ Никол. Патонъ (Львов., 18),

С 1890 по 1892 год служил товарищем прокурора Луцкого окружного суда, затем в такой же должности исполнял те же обязанности в Киеве. О последнем свидетельствуют «Памятные книжки Киевской губернии», выкопировка из которой, за 1894 год, приводится. (В горячке архивного изыскательства этот Оскар Патон поначалу невольно увязался в моём представлении с другим Оскаром Патоном — отцом Евгения Патона.)

В должности товарища прокурора Оскар Николаевич проработал до конца своей государственной службы — после Киева, вплоть до 1914 года, служил в Санкт-Петербурге. Был награждён орденом Святого Станислава, имел чин статского советника. О дате его кончины сведений добыть не удалось.



Телевизионное древо рода Намон
(продолжение)

Георг Намон
Придворный кухмистр,
упоминается в
1748—1751 годах.

Николай Георгиевич Намон
(*Намон Георгий*)

Родился в 1733 году в Санкт-Петербурге.
Умер там же в 1869 году. Архитектор,
коллекционный советник, кавалер
ордена св. Владимира 4 ст.

Николай
(род. около 1751 г.)
Подполковник,
Свердловский полк.

Иван Намон
Родился в 1753 году,
Измайровский полк,
Свердловский полк.

Мария
(родилась около 1759 г.)

Олег Николаевич-Александрович Намон
(*Олеп Намон*)
Родился в Волынецком Уездной
губернии 08.11.1823 г. — умер в Ново-Ушице
Волынской губернии около 1893 года.
Был военным инженером, консулом
в Ницце в 1865—1886 гг.

Александр Намон
Родился 03.10.1827 г. — умер в пленении
Польскими войсками в 1909 году в
Тверской губернии (21.05.1909)
Командир батальона С-Пб. полка,
чинownik особых поручений
Мин-на финансах.

Николай Иванович Намон
Родился в 1796 году,
умер в Санкт-Петербурге 2.12.1871 г.
Командова пехотной бригадой и дивизией.
Состоял в отделе пожалованного забората
(21.11.1838 г. С.Пб.) в Царстве
(Царство Польское) и родового поместья
в Подляцкой губернии.

Екатерина Петровна Намон
воспитанница
Екатерининского института
в Санкт-Петербурге

Иван Намон
Родился в Цинке (Царство Польское)
03.11.1817 г., умер в Санкт-Петербурге
17.09.1911 г. Был председателем
окружного суда, действительным
статским советником.

Анна
Род. 07.04.1860 г.
в Вятской губернии

Александр
Род. 18.6.1862 г. в Ницце,
умер в Ницце
в 16.02.1943 г.

Александр
Род. 11.10.1863 г. в Ницце.
Был управляющим Чистополь-
ским отделением Государст-
венного банка

Мария
Род. 05.08.1865 г. в Ницце.
Был агро-защитником
Проборженского полка,
действит. статским
советником.

Владимир
Род. 28.08.1867 г. в Ницце

Евгений
Родился 20.02.1870 г. в Ницце,
умер в Киеве 12.08.1953 г.
Его сыновья —
Борис и Владимир

Николай
Род. 21.09.1872 г. в Ницце
Был управляющим Речской
уездной земской управы

Анна-Мария
Родилась 09.09.1854 г.
в Нарве

Александр
(Родился в Нарве 06.09.1855 г.;
Умер до 1872 г.)

Владимир
Родился в Москве 17.11.1856 г.
Умер до 1872 г.

Олеп
Родился в Нарве 13.04.1858 г.
Был старшим прокурором
Душине (1890-1892 гг.), Киевского
оружейного завода (1892-1896 гг.),
С-Пб. Окруж. суда (с 1906 г.) и
судовой палаты (с 1914 г.).
Год смерти неизвестен.

Олеп
Родился в Нарве 01.08.1859 г.
Умер до 1872 г.

Евгения
Родилась 18.09.1862 г.;
умерла в Жене 27.10.1937 г.;
была лесоводом,
незамужем.

Мария
Родилась в 1867 году,
умерла в 1854 году,
во Франции (в деп. Эсон).

Александр
Родился 08.06.1872 года

Часть третья. Абрис жизни и научно-инженерного творчества Евгения Оскаровича Патона

О рождении Евгения Оскаровича Патона свидетельствует метрическая выписка из православной церкви Ниццы:

*«1870 года февраля двадцатого дня у российского консула отставного полковника гвардии Оскара Петровича Патона, лютеранского исповедания, и законной его жены Екатерины Дмитриевны, православного исповедания, — оба первым браком — родился сын Евгений, который того же года марта двадцать девятого дня крещён священником Владимиром Левицким и псаломщиком Феодосием Гуляевым. Восприемниками были; Его Императорское Высочество великий князь Вячеслав Константинович и Её Императорское Высочество княгиня Александра Иосифовна, место коей заступила фрейлина графиня Келлер».*¹⁰⁵

Восприемниками (то есть крестными), согласно канонам православной церкви, могут быть лица, достигшие совершеннолетия, поэтому девятилетний на ту пору великий князь Вячеслав Константинович (кстати, поживший ещё только семь лет) воспринимается ирреально. Возможно, подростка представлял кто-то из взрослых, по доверенности (если, конечно, такое допускалось).

Сам Евгений Оскарович в своих воспоминаниях пишет:



«Я родился в семье русского консула в Ницце, бывшего гвардейского полковника Оскара Петровича Патона. Это был год, когда разразилась франко-прусская война...

Уже много лет мой отец жил на чужбине и часто признавался домашним в острой тоске по родине. Он опасался, как бы его дети, родившиеся за границей, не выросли иностранцами, людьми без роду и племени, как бы не схватили они прилипчивую, отвратительную болезнь, гораздо более опасную, чем все известные хвори: страсть к праздному ничего неделанию. Он считал очень полезным родной воздух и часто на лето отсылал нас с матерью в Россию. Впоследствии, в мои студенческие годы, отец был искренне доволен тем, что я отбывал в России воинскую повинность.

*Я любил и побаивался отца. Это был суровый, немногословный человек, скупой на внешние проявления чувств, но в действительности отзывчивый и сердечный. В семье царил строгая дисциплина. Нас, детей, в семье было семеро — пять братьев и две сестры. Больше всего отец не терпел лени и праздности. Девочкам еще давались поблажки, но с мальчиков в семье спрашивали по всей строгости. Отец требовал, чтобы дома все говорили между собой по-русски, но он же настоял, чтобы все мы, кроме родного языка, изучили еще французский, английский и немецкий. За это я был благодарен отцу и через десятки лет...»*¹¹³

Не имея стабильного и солидного достатка, супруги Патон беспокоились чрезвычайно об устройстве в будущей взрослой жизни своих многочисленных детей, имея на эту задачу несовпадающие (точнее — антагонистические) взгляды: *«Мать хотела видеть в будущем своих детей «самостоятельными людьми», на которых работали бы другие. Конечно, она желала детям добра, но на то, в чём заключается это добро, у неё были свои взгляды... Отцу мало улыбались подобные планы. Роль помещика ему всегда претила... Прослужив до сорока лет в армии, он, военный инженер, хорошо знал, что такое «царская служба» в тогдашней России. Отец тоже хотел видеть своих детей независимыми, но чтобы независимость эта основывалась не на паразитизме, а на своём собственном месте в жизни, завоеванном честным трудом...»*¹¹³

За этой краткой выдержкой из воспоминаний Евгения Оскаровича Патона видится не замутнённая годами безмерная любовь сына к отцу, Оскару Петровичу Патону — человеку чистой совести и безупречной нравственности, передававшему эти прекрасные человеческие качества своему даровитому сыну. О последнем свидетельствует дальнейший текст воспоминаний, в которых Евгений Оскарович много раз, с позиций справедливости и гуманности, оценивает как поступки людей, пересекавших его жизненный путь, так и события, ему на нём сопутствовавшие.

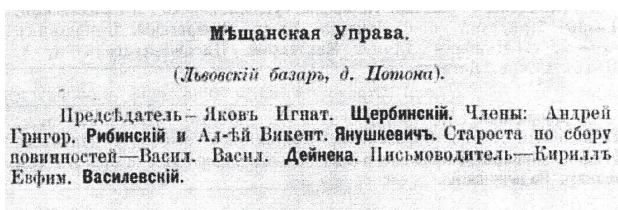
Итогом педагогического противостояния супругов Патон стало компромиссное решение, согласно которому два их сына отправились обучаться в Санкт-Петербургский пажецкий корпус, а сына Евгения и двух его братьев родители определили в гимназию: *«Учились мы в Штутгарте. Отец полагал, что преподавание в немецких гимназиях поставлено основательнее, чем во французских. Вместе с нами пришлось переехать в Штутгарт и матери. В реальной гимназии, куда меня определили сразу в седьмой класс, директором был математик. Мне приходилось много и упорно работать, чтобы догнать своих соучеников... Мать недолго пробыла с нами в Штутгарте: ей пришлось по делам уехать в Россию, что-то улаживать и как-то распутывать бесконечные неурядицы с именем...»¹¹³*

Гимназическое образование Евгению Патону и его братьям пришлось завершать в Бреславле (по-нынешнему — во Вроцлаве), куда по делам службы перевели отца, Оскара Петровича. Касательно выбора следующего (гражданского или военного) высшего учебного заведения для сына Евгения меж родителями состоялся очередной жаркий диспут, в котором воля отца и желание сына, видевшего себя в будущем инженером-строителем, совпали:

«Осенью 1888 года я поступил на инженерно-строительный факультет Дрезденского политехнического института. Я был тогда рослым, плечистым и физически сильным юношей с большим запасом энергии и сил. На первом же курсе я выработал твёрдые правила жизни и поведения и дал самому себе слово не отступать от них. Я не делил лекции на важные и второстепенные и не позволял себе пропускать ни одной из них, вёл подробные записки-конспекты... С большим увлечением работал в студенческом инженерном кружке. Читал я запоем и дома и в публичной Дрезденской библиотеке. Я старался не ограничиваться рамками учебных программ, расширять свои знания... Вежливо, но твёрдо отклонял предложения принять участие в студенческих попойках...»¹¹³

После трёх лет обучения в Дрезденском политехникуме, по достижении известного возраста, Евгений Оскарович (если основываться на его беглой оговорке в начале воспоминаний и верить неутомимым его биографам) был призван на действительную воинскую службу и проходил её на исторической родине. Более точно, воинский долг юный, сильный и обаятельный Евгений Патон, прервав на время обучение в Германии, исполнял артиллеристом в Киеве — то ли по направлению военного ведомства, то ли имея там какие-то родственные «зацепки». На последнюю возможность чуть намекают выдержки из киевских адрес-календарей конца девятнадцатого века, указывающие на наличие в городском центре «дома Потона». Вырезка из одного таких календарей приводится — в нём указывается, что в означенном доме для своих нужд занимала помещения Киевская мещанская управа (хотя, вполне возможно, речь идёт о каком-то ином домовладельце по фамилии Потон).

Как утверждают дотошные биографы, артиллерийский полк, в котором служил Евгений Патон, некоторое время квартировал на Жилианской улице, после



чего отправился на манёвры в Курскую губернию. И, смею предположить, видимо, по дороге к артиллерийским стрельбищам, в городе Чернигове (или в одном из губернских городков) случился у младшего фейерверкера Патона роман с Евгенией Петровной Киселевской, вдовой отставного капитана, превосходившей возрастом своего юного возлюбленного на целых восемнадцать лет (как тут не вспомнить первую вспышку чувственности у юного Александра Блока к много его старшей Ксении Михайловне Садовской, известной любителям поэзии по инициалам «К. М. С.»).

«Кто Богу не грешен, царю не виноват». Роман разновозрастных влюблённых завершился их тайным венчанием, совершившимся после демобилизации Евгения Патона и перед его возвращением на довершение учёбы в Германию. Можно предположить, что супруги жили совместно до 1913 года, на что указывает один из биографов семейства Патон, обнаруживший в «Воспоминаниях» Оскара Евгеньевича, в записи 1913 года, фразу: «*Всё реже и реже ходили мы с женой в гости*».¹¹³

Вернувшийся — после втайне совершившегося брачного обряда в Дрезден — свежий муж скоро, в 1894 году, довершил обучение в институте, результаты которого высоко оценили его, уже бывшие, наставники:

«Сразу же по окончании Дрезденского института я получил несколько предложений. В самом институте мне предложили занять место при кафедре статистики сооружений и мостов. Это сулило в будущем профессуру. Я колебался. Немного страшил столь быстрый переход от роли студента к роли преподавателя. Но мне напомнили, как однажды я несколько недель не без успеха заменял на лекциях заболевшего профессора — и я согласился.

Проектное бюро по строительству нового дрезденского вокзала предоставило мне должность конструктора. Отец посоветовал принять это предложение: не следует замыкаться только в преподавательской скорлупе. Отец всегда одобрял сделанный мной выбор профессии, ведь это была и его профессия в прошлом. Смягчила, утешилась и мать и уже поговаривала о том, что, может быть, в самом деле её представления о том, как надо сейчас жить на белом свете устарели...»¹¹³

Совмещая преподавание в Дрезденском политехническом институте с инженерной работой, молодой специалист Патон активно и небезуспешно участвовал в разработке проектов и строительстве не только городского вокзала, но шоссейных мостов на немецкой территории. И по мере того, как набирал он новых знаний и увеличивал педагогический и инженерный опыт, крепло в нём желание вернуться в Россию и плодотворно трудиться на её благо: «*Я внимательно присматривался ко всему, всюду искал то полезное, что можно почертнуть из практики, и упорно думал всё о том же — о переезде в Петербург, о русском дипломе... Мечтал горячо и видел в своём воображении далёкие беспредельные просторы России, нескончаемые, уходящие к горизонту стальные нити рельсов и ажурные красавицы мосты, соединяющие берега могучих и полноводных русских рек...»¹¹³*

Твёрдо решив вернуться в Россию, Евгений Патон, как он пишет, «бомбардировал русское министерство путей сообщения письмами», в которых просил допустить его к защите диплома в Петербургском институте путей сообщения. Он знал, что это «против правил», но продолжал стоять на своём, аргументируя свою просьбу тем, что как сын русского консула жил за границей и вынужденно получал там высшее образование. «*Когда я уже окончательно потерял надежду на ответ из русского министерства путей сообщения, долгожданное письмо всё же пришло... В письме сообщалось: согласие на просьбу господина Е. О. Патона, причём в виде особого исключения, может быть дано, однако при условии, если он соблаговолит поступить на пятый курс Петербургского института путей сообщения, сдать экзамены по всем предметам и составить пять выпускных проектов*».

После долгих мучительных размышлений Евгений Оскарович принял решение отказаться от интересной, перспективной работы в дрезденском проектном бюро, от

инженерной карьеры в Германии и в августе 1895 года приехал в Петербург. Здесь он за восемь месяцев освоил пару новых наук, выполнил требуемые проектные работы и, сдав двенадцать экзаменов, из рук директора института, ведущего специалиста-мостовика, Михаила Николаевича Герсеванова, получил русский диплом инженера-путища.

Сменив скромную студенческую тужурку на солидный мундир инженера, Оскар Евгеньевич принял предложение глубоко им чтимого математика и талантливому мостостроителю профессора Феликса Станиславовича Ясинского, занимавшего должность начальника службы Николаевской железной дороги, и поступил под его начало. Здесь с выдающимся новатором-мостовиком, Лавром Дмитриевичем Проскуряковым, молодой специалист Патон набирался практического ума-разума в проектировании, преимущественно вспомогательном, попутно наблюдая и критически оценивая мздоимство как чиновников, отвечавших за подряды на строительство мостов, так и взыскующих выгоды инженеров.

Весной 1897 года Проскуряков получил назначении инспектором в только созданное в Москве инженерное училище путей сообщения, взяв к себе в коллеги Патона. На первых пора учебная загрузка у экстраординарного профессора Патона была незначительной, поэтому он по совместительству устроился в управление пути Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги — начальником технического отдела. Проработав в этой должности (без особого удовольствия, но с большим толком) два года, он только в 1899 году начал читать лекции студентам в училище. В это время он подготовил и защитил, летом 1901 года, в Петербургском институте путей сообщения докторскую диссертацию (получил звание адъюнкта), издал двухтомный учебник по проектированию мостов и тем приобрёл — в тридцать с небольшим лет — высокий авторитет в учёном мире как теоретик и практик мостостроения.

Последнее обстоятельство стало причиной тому, что Киевский политехнический институт предложил Евгению Оскаровичу заведовать кафедрой мостов, он его принял и летом 1904 года переехал к новому месту учебной и практической деятельности. Первые впечатления от положения дел в этом, сравнительно молодом учебном заведении у него были отнюдь не благостными. К примеру, не воспринимал он так называемый предметный подход учебного процесса, приводивший к тому, что *«нередко студенты, заканчивая институт, имели не сданные зачёты по первому курсу»*. С такой системой обучения Патон боролся. В том числе в должности декана, в которой он некоторое время побыл, но безуспешно — только нажил себе врагов. К студентам был Евгений Оскарович чрезвычайно требователен, но достойных из них выделял. В это время он, не смущаемый революционными событиями, захватившими в том числе и институт, написал третью и четвёртую книги своего теоретического труда по проектированию мостов, коих он за это время соорудил немало. Один из них — красавец мост, возведённый уникальным способом в ноябре 1909 года, в парке Купеческого собрания в Киеве. (Ажурный серповидный мост собрали на ссыпавшейся с откоса земле, после чего земляную массу убрали, сделав таким образом проход к Петровской аллее парка.)

Между тем отношения с консервативной профессурой института у Патона усложнились до такой степени, что ввели его чуть не в состояние полной прострации:

«В сорок три года, в расцвете сил, я почувствовал себя безмерно одиноким и уставшим, почти стариком. Конечно, у меня есть много учеников, они-то, надо надеяться, помянут меня добрым словом, думал я. Но и у них уже своя жизнь, свои пути-дороги... Да, одиночество и пустота. Стоит ли в таком случае продолжать?»

*Позже я с изумлением вспоминал свое тогдашнее состояние и настроение: дойдя до середины своего жизненного пути, я потерял вкус к жизни, внутренне надломился».*¹¹³

В таком тяжёлом душевном состоянии «перегоревший» в трудах Евгений Оскарович заболел легкими и отправился их лечить в Крым, откуда (ещё до начала войны 1914 года) перебрался в Ниццу, где сестра уговаривала его остаться навсегда. Но, избавившись от хвори, набравшись сил, воспрянув, Патон обходными путями, в феврале 1915 года, вернулся в Киев к своему любимому занятию — проектированию и возведению мостов и преподаванию в политехническом институте.

К этому периоду деятельности неутомимого Патона относится строительство по его теоретическим разработкам стальных составных мостов, которые так и назывались, «мостами Патона», и предназначались для быстрой замены разрушенных мостов.

В 1916 году Евгений Оскарович женился на Наталии Викторовне Будде, выпускнице Киевской Фундуклеевской гимназии, дочери начальника пехотной дивизии Виктора Эммануиловича Будде. Для оформления этого брака потребовалось совершить, официально и документально, процедуру развода. Итог её звучал так: «... было дано разрешение духовной консисторией по причине более чем трёхлетнего отсутствия супруги при муже. После трехлетней безвестного отсутствия жены разведен в августе 1915 Киевским епархиальным начальством, это решение утверждено указом Святейшего Синода от 23 октября — 1 ноября 1915 и приказом Святейшего Синода от 25 января 1916 за N 472 получил разрешение на второй брак с Натальей Викторовной Будде». В 1917 году у супругов Патон родился сын Владимир, в 1918 году — Борис.

Как впоследствии писал Евгений Оскарович, революцию он встретил «рассеянно», но стал сотрудничать с советской властью, провозгласившей новое отношение к труду. В 1920 году он взялся за восстановление киевских мостов (Дарницкого и Подольского), организовав одновременно мостоиспытательную станцию, где занялся научными вопросами сопротивления материалов, статики и динамики мостов.

Из всей цепочки воспоминаний об этой поре жизни Евгения Оскаровича Патона и его семьи выделяются его, будто из сердца источённый рассказ о гибели жемчужины Киева — Николаевского цепного моста, взорванного отступающими белополяками 9 июня 1920 года. Мост этот, названный в честь императора Николая I, был введён в строй в 1853 году на месте старинной киевской переправы и заменил долго действовавший плавучий Спасский мост (в нынешних координатах — у современного моста метро). Для творца мостов Патона такой поступок пришлых поляков был равен святотатству:

«Никогда не забыть мне этого дня. В окнах моей институтской квартиры на Брест-Литовском шоссе задребезжали все стекла. В них ударила звуковая волна огромной силы. На второй взрыв отозвалась посуда в буфете, и словно чья-то невидимая рука распахнула все двери.

Резко отшвырнув стул, я выбежал на балкон. Моя жена Наталья Викторовна бросилась вслед за мной. Вцепившись руками в перила, я напряженно смотрел в сторону Днепра. Оглушительные раскаты взрывов гремели над Киевом, и после каждого из них я все ниже опускал голову. Оглянувшись, я увидел печальный взгляд жены: она все поняла сразу.

Где-то над рекой взметнулся далекий султан дыма, потом он расплылся в зловещую сизо-черную тучу, и все небо заволкло пеленой. Раскаленный июньский полдень мгновенно потускнел.

— Цепной, — упавшим голосом проговорил я, не отрывая взгляда от горизонта. — И как могла подняться рука?

— Быть не может! — зябко повела плечами Наталья Викторовна.

— Не может? Сбросили же они шесть других мостов в Днепр! Что им до того, что это мост — единственный в Европе? Вот уж буквально жгут за собой мосты.

— Идем к детям, — мягко проговорила жена, — мальчики, наверное, очень напуганы.

Ей, видимо, хотелось чем-нибудь отвлечь меня от горестных мыслей. Я ничего не ответил, и Наталья Викторовна тихо прикрыла за собой двери в комнату.

Взрывов больше не было. Погружаясь в днепровские воды, недалеко отсюда умирал мост, известный во всем мире своей красотой и оригинальностью. Над Днепром остались только сиротливо торчащие каменные быки.

Я прошел через квартиру и спустился на шоссе.

Белополяки... В последние дни я несколько раз выходил на Брест-Литовское шоссе взглянуть на них. Оборванная, оципанная орда еще недавно щеголеватых, оперно-красивых уланов и легионеров без оглядки неслась на Запад.

— Эй, паны, кто тут из вас Пилсудский? — озорно кричали им вслед мальчишки, прячась за заборами...»¹¹³



К 1924 году Евгений Оскарович Патон разработал проект, по которому был восстановлен взорванный мост, который стали именовать именем революционерки Евгении Бош. (Увы, и он был взорван в октябре 1941 года, уходившими из Киева частями Красной Армии.)

В 1925 — 1928 годах Патон занимался восстановлением железнодорожного транспорта, подготовкой новых кадров мостовиков и написанием новых учебников. Он положил начало новейшей советской школе мостостроения, придав ей направление, которое в значительной мере сохраняется до сих пор. В 1929 году за свои несомненные заслуги Патон был избран действительным членом Украинской академии наук.



Летом 1928 года в жизни Евгения Оскаровича Патона произошло событие, которое иллюстративностью своей и последующей значимостью сопоставимо с эффектом падающего с дерева яблока, позволившего Ньютону открыть все свои силовые законы. В этот день он, киевский учёный-мостовик, приехавший на маленькую железнодорожную станцию принять в эксплуатацию капитально отремонтированный мост, увидел, с какой скоростью и ловкостью рабочий с помощью электросварки завершает последние мостовые работы: *«Не знаю, сколько я так простоял. Мысль моя работала напряженно, стремительно. Может быть, это и есть он — тот ответ на давно мучающий меня вопрос! Может быть, электросварка — и есть та чудодейственная сила, которая способна заменить клепку и вытеснить ее из мостостроения. Какой удивительно простой и экономный способ соединения металла! Кто знает, может быть, ему суждено совершить настоящую революцию в строительстве мостов, стальных конструкций, вагонов, кораблей, цистерн?..»*

С этого времени и до конца жизни Евгений Оскарович Патон принялся за развитие сварочного дела — со всей мощью своего острого ума и внутренней энергии, дарованных ему отцом:

«От отца я унаследовал: 1. Любовь к независимости. 2. Гордость, несовместимую с заискиванием перед начальством. Поэтому я всегда стыдился просить за себя. 3. Слабо развитая общительность, вследствие чего я мало вращался в обществе и имел малый круг знакомых. 4. Сильно развитый практицизм. Во всякой работе меня всегда прежде всего интересует ее цель и практическая целеустремленность. 5. Спешка в работе. 6. Требовательность к подчиненным и к себе тоже. 7. Настойчивость в осуществлении намеченной цели.»¹¹³

Глубокая самодисциплина, внутренняя энергия позволили Евгению Оскаровичу в немалых годах совершить важный перелом в своей профессиональной деятельности, превратить уже известную сварку в мощный промышленный рычаг научно-технического прогресса страны.

Уже в 1929 году он организовал в Киеве небольшую сварочную лабораторию, при которой, год спустя, по инициативе организатора был учреждён общественный комитет по сварке металлов, занявшийся распространением этого вида работ, их развитием. В 1933 году лаборатория была преобразована в первый в мире научно-исследовательский институт электросварки Украинской академии наук, приступивший к исследованиям прочности сварочных соединений, последствий напряжений и деформаций, возникающих в металлах в процессе сварки. В институте были разработаны новые методы проектирования, расчетов и возведения сварных конструкций, разработан (в 1932 году) аппарат для сварки открытой дугой.

Начиная с 1938 года, электросварка стала интенсивно внедряться в серийное производство железнодорожных цистерн и вагонов, паровых котлов и речных судов. В это время Патон разработал свою знаменитую автоматическую сварку под слоем флюса, в несколько раз увеличившего производительность труда. В 1940 году он издал книгу «Автоматическая электросварка голым электродом под слоем флюса», ставшую первой в мире работой на эту тему. Метод Патона был утверждён на государственном уровне для внедрения в практику промышленности.



Во время войны, как писалось выше, Евгений Оскарович Патон принимал участие в поточном производстве бронированных плит для танков на Урале, а по возвращении в Киев, в 1944 году, продолжил работы по электросварке. Государство достойно отметило выдающиеся достижения учёного-практика — в 1941 году ему была присуждена Государственная премия, в 1943 году — было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1945 году Патон уже на посту вице-председателя Украинской академии наук торжественно отмечал свои юбилеи — 75-летие со дня рождения и 50-летие инженерной, педагогической и общественной деятельности; его имя было присвоено Научно-исследовательскому институту электросварки.

Возрасту вопреки, Евгений Оскарович продолжал активно работать и за пять послевоенных лет разработал новый метод сварки, в частности, полуавтоматический и скоростной, с помощью двух дуг. Он разработал также технологию сварки стальных сплавов, внедрил систему вертикальной сварки и метод бездуговой сварки. Пионер и изобретатель в области сварки, автор более чем полусотни трудов по мостостроению, Патон получил известность далеко за рубежами Советского Союза.

После смерти Евгения Оскаровича Патона, последовавшей 12 августа 1953 года, его имя было присвоено возведённому в Киеве сварному дорожному мосту через Днепр.

Часть четвёртая.

Борис Евгеньевич Патон как добрый гений уманского парка «Софиевка»

Мудрое спокойствие, простая величавость Бориса Евгеньевича Патона, его гигантский — духовный и интеллектуальный — внутренний мир, его бесспорный мировой авторитет в области электросварки, его умение отделять «зёрна от плевел» в оцениваемых им научных идеях, на возможность их эффективной практической реализации, сделали его уникальным руководителем Академии Наук Украины — в её республиканскую и державную пору. Так, вкратце, можно охарактеризовать стиль жизни,

научной и общественной деятельности этого замечательного, высоконравственного человека, им во многом от отца унаследованный.

Широко известны плодотворные президентские деяния Бориса Евгеньевича, дававшего ход новым академическим институтам и с ними связанным производствам, поощрявшего всемерно перспективные научные направления, исполнявшего звучные социальные акции. Им несть числа, как долог ряд проблемам, решённых без его прямого участия, его подчинёнными, благодаря той добротворной атмосфере взаимной уважительности, исполнительности, им в академической среде созданной.

Из числа таковых, для меня, коренного уманчанина, особо значимым является поддержка Академией наук ей подчинённого (через Центральный ботанический сад) парка «Софиевка», пережившего весной 1980 года страшную природную катастрофу, основательно разрушившую этот шедевр паркового искусства мирового уровня.

Тогда невероятным напряжением сил работников парка, горожан удалось восстановить порушенный стихией парк и, при поддержке республиканской Академии наук, дать воссозданной «Софиевке» вторую жизнь, развить и расширить её парковый ансамбль новыми гармоничными включениями. С той поры Борис Евгеньевич Патон стал дорогим и желанным гостем для сотрудников парка, что подтверждает групповая фотография, сделанная в один из его приездов в Умань; здесь его считают добрым гением парка «Софиевка».



«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Так сложилось, что перед природным бедствием весны 1980 года новым директором парка «Софиевка» был назначен Иван Семёнович Косенко. Предшествующего директора президиум Академии освободил от занимаемой должности по причине давно возникшей напряжённости в его отношениях с сотрудниками парка.

Новый директор, имея неполных сорок лет отроду, прежде для него судьбоносного назначения работал преподавателем агрономических дисциплин в Уманском техникуме механизации сельского хозяйства и по принятой в то время практике был включён в резерв на замещение возможной руководящей должности. К такому важному рубежу своего профессионального и карьерного роста он, полусирота, сын погибшего в войне украинского крестьянина, подошёл, имея за плечами два высших образования, полученных в Уманском сельскохозяйственном институте и в Украинской сельскохозяйственной академии.¹⁰⁹



В связи с возникшей административной коллизией в парковом руководстве, Иван Семёнович Косенко, как перспективный член кадрового резерва городского комитета партии, в декабре 1979 года был вызван в отдел кадров Академии наук, где прошёл требуемое собеседование, по позитивному итогу которого академическим руководством было принято решение о его скором назначении на должность директора парка. Такое состоялось 2 апреля 1980 года — введение в новую должность Ивана Семёновича, с приёмом дел от предше-



го директора парка провела представитель Академии наук, заместитель директора её Ботанического сада Татьяна Михайловна Черевченко.

Приняв дела, изучив ситуацию в парке, обнаружил новый директор Косенко, что в парке сложилась тяжёлая гидрологическая ситуация с возможностью сильного наводнения. Прошедшая зима того года была экстраординарной по своему протеканию. Ещё в начале ноября 1979 года температура долговременно опускалась до минус двадцати градусов, земля промёрзла почти на полтора метра, ледовый покров парковых и внепарковых прудов достиг семидесяти сантиметров. Сама зима была бесснежной, и лишь в начале марта 1980 года сильнейшая пурга укрыла землю полуметровым слоем снега, долго таявшим в последовавших дневных оттепелях и ночных заморозках. В итоге, на промёрзшем грунте скопились громадные массы снега, льда и воды.



Беду предотвратить не удалось, и в ночь с 3 на 4 апреля 1980 года сформировавшийся селевый поток, размыв плотину Красноставского водохранилища мощным потоком ринулся в Верхний пруд и, преодолев по верху его плотину, устремился в долину реки Каменки далее — в Нижний пруд, ломая и корёжа на своём пути все самые ценные парковые объекты. Были разрушены

мраморные вазы над гротом Фетиды, гранитные пилоны с вазами возле главного входа, до основания была уничтожена дорожно-аллейная система парка.



Не пощадила дикая стихия на своём бедоносном пути деревянные (в том числе на острове Любви) и металлические мосты, шлюзы, отдельные скульптуры и малые архитектурные формы (такие, как Фазанник, Чёртов мостик), смыла с гранитной основы фонтанную скульптуру Змеи, уничтожила гранитные вазы у павильона Флоры, повредила его колонны. Одна из входных башен

Главного входа оказалась сдвинута и повернута, примыкавшая к ней часть ограды — повалена. Под напором селевого удара погибли или получили существенные повреждения часть вековых деревьев, ценных пород, кустарников.

«Не ропщите — всё проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда».

(Евгений Баратынский)

Стихия поставила перед Иваном Семёновичем Косенко серьёзнейшую задачу, которую он с блеском разрешил и много позже вспоминал о первых днях после катастрофы, о начале восстановительных работ:

«Для Умани — и для актива, и для общественности города, и для коллектива сотрудников парка — катастрофа стала настоящим потрясением. Необходимо было действовать без промедления. Уже в девять часов утра возле софиевских ворот собрались руководители промышленных предприятий и организаций, научных учреждений и коммунальных служб города. За каждым руководителем закрепили конкретный участок парка, за восстановление которого он лично отвечал... Город дружно взялся спасти «Софиевку»... Коллектив «Софиевки» работал без выходных и праздничных дней весь апрель... Листаю документы, что сохранились с того време-

ни, протоколы собраний и совещаний. Как напряжённо работали люди, сколько было самоотдачи, энтузиазма. И не только работники, занятые на ремонтах и восстановлении парка, но и многие уманчане, добровольные помощники — студенты, пенсионеры, школьники».¹⁰⁹

И, следует добавить, что в первые, после катастрофы, дни в Умань прибыли посланцы президента Патона, оценившие размеры бедствия и размер требуемых для восстановления парка средств. Сам Борис Евгеньевич проинспектировал состояние восстановленного парка в конце лета этого года.

Основные реставрационные, ремонтно-восстановительные работы в парке были выполнены в течение четырёх месяцев после удара стихии. Укрепили дамбу Красноставского водохранилища (в дни моего детства именовавшимся Третьим прудом), восстановили рельеф на Елисейских полях, в Темпейской долине, вдоль реки Каменки и прочая и прочая. В итоге рекреационный сезон 1980 года в парке «Софиевка» прошёл на самом высоком уровне.

Кроме того, за время восстановительных работ была заложена основа для дальнейшего развития «Софиевки». Началось осмысленное освоение прирезанной к парку территории, прежде принадлежавшей воинской части, на ней была, в том числе, создана мощная многофункциональная административно-хозяйственная зона.

Высокий темп восстановительных работ, установившийся в парке с их началом, не прервался с их завершением, чему способствовала умная предусмотрительность Ивана Семёновича Косенко, толково использовавшего время подготовки к двухсотлетию «Софиевки», торжественно и с размахом отмеченного в 1996 году. Ещё за одиннадцать лет до этого события он, заручившись поддержкой Бориса Евгеньевича Патона и его окружения, подготовил перечень мероприятий, направленных, прежде всего, на дальнейшее развитие паркового комплекса и одобренных академическим руководством в конце 1987 года.

Разработанный Генеральный план развития, благоустройства, обновления и расширения парка несколько лет реализовывался на достаточные средства Академии наук, кои, после приснопамятных событий 1991 года, стали совершенно мизерными. Разрешило проблему обращение к державным верхам, после чего, решением первого Президента Украины и Совета Министров, празднование юбилея «Софиевки», в середине 1993 года, было поднято до государственного уровня, с приличествующим ему финансовым и материально-техническим обеспечением.

Во исполнение решений верховной власти, под организующее начало Ивана Семёновича Косенко пришла большая группа киевских архитекторов (в их числе — Валерий Борисович Харченко, Евгения Ивановна Лопушинская, Юрий Каретник), разработавших проекты как ремонтно-восстановительных работ, так и работ по созданию новых парковых ансамблей на его новых территориях, трудолюбием работников парка и привлечённых строителей исполненные.

За это время, если вкратце, были реставрированы беседка на Тарпейской скале, паромная переправа к острову «Любви», Амстердамский шлюз и с ним связанная подземная речка Ахеронт, Партерный амфитеатр, обелиск «Орёл», грот Дианы, все мосты, беседка «Грибок», был полностью реконструирован Главный вход, существенно расширена аллеяная система, улучшен парковый рассадник.

По тальвегу Грековой балки, в соответствии с парковой картой 1855 года, были восстановлены три пруда, вошедшие в новую зону обслуживания туристов, начинающуюся у южной парковой окраины и наилучшим образом обустроенную. Здесь же выстроили новый научно-лабораторный корпус, в котором в скором времени разместился созданный — по инициативе Ивана Семёновича Косенко и по апрельскому, 2005 года, указу Бориса Евгеньевича Патона — академический научно-исследовательский институт.

Высокий темп парковых работ не прекратился и после достойно отмеченного двухсотлетия «Софиевки», более того — он усилился, стал ещё более осмысленным, с глубоким проникновением в прошлое парка, с бережным восстановлением его исторического ядра. Исходя из этих принципов, был реконструирован Партерный амфитеатр, Площадь собраний, дубовая рощица («Дубинка»), урочище Зверинец, Арборетум и прочая, и прочая. Можно только добавить, что по предложению Ивана Семёновича был восстановлен позабытый (ещё в 1857 году засыпанный) грот Аполлона над Вторым прудом.

Список выполненных за время директорства Ивана Семёновича Косенко восстановительных и новых парковых работ впечатляет, но больше этого восхищает стремительный рост его профессионализма. В терминах эпохи Просвещения стал он истинным «садоводом», который владеет техническими, художественными и общегуманитарными знаниями, позволяющими ему определять как растительно-архитектурный облик парка, так и его идейно-философскую программу.

Парк «Софиевка» создавался в пору, когда в польском садовом (или парковом) искусстве смешались все его жанры и все его творения именовались «парками среднего жанра».



От преобладающего английского (или нерегулярного, пейзажного) паркового устройства была взята идея единства человека и природы. «Садовое искусство должно быть поставлено выше других искусств, — писал польский теоретик Вацлав Сераковский, — ибо оно теснее, чем они, соединено с природой ... оно даёт нам возможность наслаждаться её красотами, прелестями, лобезностями и дарами, оно умножает и совершенствует представление о Боге, приносит ... радость и утешение, пробуждает человеколюбие... Все изящные искусства только подражание природе, садовое же — сама прирождённая природа».¹¹⁰

Сады Китая дали свободу композиций, сопоставление контрастных настроений, наличие открытых видов с журчащими ручьями, прохладными гротами, кучами тенистых деревьев с ниспадающими ветвями, разбросанными по холмам беседками.

Итальянские пейзажи привнесли польским садам века философов взаимосвязь природы и искусства, сочетание ландшафта с руинами античной архитектуры. Италия представлялась счастливой страной, гармоничной средой обитания — «Et in Arcadia ego» («И я был в Аркадии»). Из Италии в пейзажный парк пришли многие растения, архитектурные мотивы и детали, террасные композиции, ренессансный принцип расположения основных строений на возвышенности, с которой открывается широкий вид на окрестности; из античности — Элизиум (или Елисейские поля, «долина прибытия»), являвший собой ту часть загробного мира, где, по мнению древних, царит вечная весна и избранные герои проводят дни без печали и забот. По философии пейзажных парков восемнадцатого века в их Елисейских полях просветители, относясь к истории как к нравоучению, в мысленном общении с великими людьми прошлого искали мудрости для решения своих проблем.

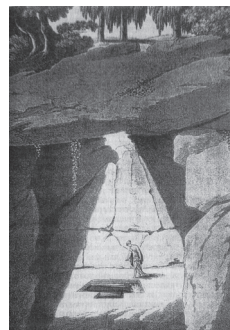
Хотя в век философов пейзажный парк жёстко противопоставлялся регулярному, французскому парку мотивы, отдельные включения последнего в польских парках-садах присутствуют. Парки этой эпохи, ориентированные на зрительское восприятие, должны были вызывать постоянный интерес посетителей, в том числе неожиданными внутренними эффектами.

Но неожиданностью мог быть и целый парк, о таком эффекте, описывая посещение «Софиевки», сообщает Люциан Семеньский: «Издали ничто не предвещало, что впереди перед тобой прячется страна чудес... Этот парк — истинная неожиданность, напоминающая те восточные повести, в которых перед королевичем, потерявшимся в пустыне, вдруг предстаёт зачарованный замок... Неожиданности здесь встречаются на каждом шагу».¹¹⁰

Всегда притягательная и плодотворная в обсуждении тема эзотерики (то есть масонства), полагающаяся пейзажному парку, присутствует и в устройстве «Со-

фиевки». Возможно, роль обязательной рощи друидов играет старинная посадка дубов — «Дубинка». Возможно, предполагался внутри обязательного для масонов павильона Флоры, исполненного в виде семиступенчатой ротонды, неперемный жертвенный алтарь. «Эти ступени могли символизировать преодоление масонами семи грехов, семь испрашиваемых даров или усердие к семи свободным наукам».¹¹⁰

Рекомендовали также верховные масоны устанавливать в пейзажном парке сломанную колонну, служившую «символом незавершённости знания», а под скалой, оттуда проложить подземный вход в грот, а под скалой устроить ванную комнату и комнату для отдыха в «египетском вкусе».¹¹⁰ Колонна печали в Софиевском парке имеется, правда без подземного хода в подземную комнату отдыха. Есть в парке и грот Дианы, со всей атрибутикой по приёму в масоны новообращённых.



Подводя итог краткому изложению концепции создания парка «Софиевка», могу высказать своё сугубо личное мнение, что Иван Семёнович Косенко, глубоко освоив её, оценив все нюансы паркового обустройства, сумел очень взвешенно и гармонично дополнить его новыми включениями, сохранившими восприятие паркового ансамбля во всей его изначальной самобытности, давшими ему современный акцент.

«Простых господь умудряет». Можно только гадать, по каким извилям генеалогического древа, из каких родовых далей пришли к этому человеку выдающиеся качества научного работника, охранителя и творца, мудрого высококонкретного руководителя (способного, по моему твёрдому убеждению, не то что парк — страну разумно обустроить).

Но более других достоинств привлекает в нём удивительная человечность, деликатность, умение ценить и благодарить других людей. Так, в своих воспоминаниях он высокой похвалой отзывается о своём предшественнике на директорском посту, Захаре Григорьевиче Головерде, благодарит за проделанную им работу. Неизменно тепло отзывается он о своих коллегах, трудолюбивых и исполнительных сотрудниках парка «Софиевка».

И самые добрые чувствования, высочайший пиетет проявляет Иван Семёнович к благодетелю парка, его воистину доброму гению — Евгению Борисовичу Патону, и высаженный в парковой зоне молоденький дубок в честь высокого гостя (да при его соучастии) — их искреннее проявление.



«Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов...»

(А. С. Пушкин)





Заключение

«Нет, я не просто книгу издаю –
Я открываю вам судьбу свою».
(Ашот Граши)

Писательство, коим усердно и, кажется, небезуспешно стал заниматься по достижении возраста седин, по сути своей является изысканной формой наполнения моего немалого досуга занятием, соответствующим как уровню гуманитарных знаний, мной накопленным пожизненным книголюбием, так и формуле Гюстава Флобера: *«В конце концов, работа — это всё-таки лучший способ обмануть жизнь»*.

При такой доктрине концовки земного бытия востребованность моих книг читающим людям не имеет для меня первенствующего значения, тем более что любителей пообщаться с умной, хорошо изданной книгой, насладиться её живительным содержанием год от года становится меньше и меньше. Более того, если рассматривать это явление как одно из следствий буйных «девяностых», как закономерную тенденцию, то не за горами время, когда будущие земляки мои будут вполне удовлетворяться начальными знаниями грамматики — для прочтения коммуникационных, бытовых, деловых текстов, в лучшем случае, не туманящего голлову «чтива».



К сказанному можно добавить, что свой вклад в развитие упомянутой тенденции внесла и культурно-нравственная деградация западного социума, который — свыше и неуёмно — декларируется нашим согражданами как образцовый, как пример для подражания.

И всё же, негативным обстоятельствам вопреки, верю в возврат к всеохватывающему культурному росту в нашем обществе, и веру в такое развитие событий укрепляют во мне, прежде всего, семьи, в которых не *«прервалась связь времён»* и житейские, умственные накопления старших родичей передаются по воспитательным цепочкам их наимладшим представителям, нашим *«цветам жизни»* — детям.

«Вы за мною? Я готов.
Нагрели, так ответим.
Нам — острог, но им — цветов...
Солнца, люди, нашим детям!»

(Иннокентий Анненский)

Судьба улыбнулась однажды мне, дав познакомиться с двумя представителями такого семейного симбиоза, будущими носителями его духовного и интеллектуального кода — четырёхлетней Маргаритой и десятилетним Глебом.

Она — само очарование, основой которого является не только естественная прелесть ребёнка, но и лучащийся, не по-детски серьёзным умом и проницательностью, взгляд её карих глазок. Она, прекрасно воспитанная девочка, знает безмерное число сказок, детских рассказов и стихов и на всякую мою попытку прочитать что-либо из такой литературы (и тем порадовать её чем-то «новеньким») отвечает: «Я это знаю». И я этому верю, ибо шкафчик в её комнате сверху донизу упакован детскими книгами, которые ей перед сном читают то прабабушка, то бабушка, то мама.

*«Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными — читайте им сказки.
Если вы хотите, чтобы они были еще умнее — читайте им больше сказок».*

(Альберт Эйнштейн)

Маргарита чрезвычайно энергична и подвижна, как ртуть. Под настроение и соответствующее музыкальное сопровождение может изобразить в танце (изящно и темпераментно, с требуемым надрывом чувств) Одетту из «Лебединого озера» и сорвать за это громкие и продолжительные аплодисменты от взрослых зрителей. Но главное её желание на момент написания этих строк — закончив усвоение азбуки, поскорее выучиться грамоте, дабы читать книги без помощи взрослых. И в деле этом у неё явные достижения.

Её брат, Глеб, давно миновал «сказочную пору» своего образовательного подъёма и много серьёзных книг уже прочитано им. Человек он исключительно самостоятельный и серьёзный, увлекается успешно спортом, прекрасно для своего возраста играет в шахматы. Тяготеет к точным наукам, но точного своего профессионального выбора ещё не почувствовал. Взрослые же его в этом деле не торопят, только поощряя его в каждом новом увлечении, как на то Тарас Григорьевич Шевченко (в повести «Близнецы») указывает:



«Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумлённые глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити».

Завершая, хочу пожелать моим маленьким друзьям вырасти здоровыми, счастливыми и умными, приобрести хорошую профессию и, обеспечив ею самодостаточность и независимость в подлунном мире, не позабыть наполнить духовностью и интеллектом свой внутренний мир. И перечитав для этого ещё много-много хороших книг, не позабыть и эту.



Перечень используемой литературы (упрощённый)

1. Балтушайтис Юргис. Элегия.
2. Надсон Семён Яковлевич. Из письма М. В. Ватсон.
3. Комаровский Евграф Федотович. Записки графа Е. Ф. Комаровского.
4. Григорович Н. Канцлер князь Безбородко. Опыт разработки материалов его биографии. Русский архив, 1876, №№9-12.
5. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в XVII – XVIII в, собираемые А. М. Лазаревским. Безбородки. Русский архив 1875, №3.
6. Модзалевский Вадим Львович. Малороссийский родословник, том 1. Киев, 1908.
7. Светлейший князь Безбородко. Опыт обозрения жизни сановников, управляющих иностранными делами России. Соч. А. Терещенко.
8. Екатерина II во время войны с Швециею, Русская старина, 1887, том 53.
9. Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй.
10. Архив Воронцовых. Обзор И. Троицкого.
11. Карнович Е. П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. Князь А. А. Безбородко. С.-Петербург, Издание А. С. Суворина, 1884.
12. Записки Александра Михайловича Тургенева. Русская старина. 1885, том 47, сентябрь.
13. Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы.
14. Греч Н. И. Воспоминания о моей жизни.
15. Суворов А. В. Письма.
16. Либеральный цензор и профессор-пессимист. Исторический вестник, 1893, том 54, №№ 10, 11, 12.
17. Ефименко А. Я. Южная Русь (в двух томах), 1905 год.
18. Летопись гадячского полковника Григория Грабянки. Перевод из староукраинского Романченко Романа Григорьевича. Киев, 1992.
19. Из недавнего прошлого Слободской Украины. Киевская старина, 1896, №4, №5.
20. Бережной А. В. Заселение Юго-Востока Белгородской области в XVIII веке.
21. Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник. 1826–1877, 3 тт., СПб, 1893.
22. Штерич А. А. Род Штеричей в России в XVIII – XXI веках.
23. Глинка Михаил Иванович. Мемуары.
24. Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной.
25. Керн Анна Петровна. Мемуары.
26. Некрасов Н. А. Уныние.
27. Сенковский Осип Иванович. Письма к А. В. Никитенко. Пушкин: исследования и материалы. СПб, Наука, 2004.
28. Николаенко Александр Иванович. Великий таганрожец Нестор Васильевич Кукольник.
29. Гончаров И. А. Собрание сочинений в восьми томах, Москва, 1952–1955.
30. Милорадович Г.А. Родословная книга Черниговской губернии. С-Петербург, 1901.
31. Описание старой Малороссии. Прилуцкий полк. С. Сокиренцы. Киевская старина, 1901, №10.

32. Три документа истории экономических отношений в Малороссии в XVIII столетии. Киевская старина, 1884, №1.
33. Из истории сёл и селян Левобережной Малороссии, Киевская старина, 1891, №1.
34. Очерки малороссийских фамилий. Галаганы. Русский архив, 1875, том третий
35. Украинские женщины, Киевская старина, 1883, №6.
36. Марія Будзар. Місце жінки в сімейній історії українського панства: чотири Катерини.
37. Южно-русский дворянин XVIII века. Киевская старина, 1885, №4.
38. Частная переписка Г. П. Галагана. Киевская старина, 1899, №5.
39. Галагановский фамильный архив. Киевская старина, 1883, №9.
40. Дневник Г. П. Галагана,. Киевская старина, 1898, №9.
41. Воспоминания Ф. В. Чижова. Исторический вестник, 1883, том 1.
42. Ф. В. Чижев к художнику А. А. Иванову. Русский архив, 1884, №1.
43. Два письма Ф. В. Чижова к Г. П. Галагану. Киевская старина.
44. Л. М. Жемчужников. Мои воспоминания из прошлого.
45. Жур П. В. Труды и дни Кобзаря.
46. Василенко Николай Прокофьевич. Первые шаги по введению Положения 19 февраля 1861 года в Черниговской губернии. Киевская старина, 1901, №3.
47. Лазаревский А. М. Отрывки из черниговских воспоминаний. Киевская старина, 1901, №3, №5.
48. Симонова И. А. Фёдор Чижев. Жизнь замечательных людей.
49. Мищенко Ф. Г. П. Галаган. (Некролог), Киевская старина, 1888, №2.
50. Шевченко Т. Г. Художник.
51. Минувшее. Исторический альманах, вып. 7. М., «Феникс», 1992.
52. Анненский Иннокентий Фёдорович, Дети.
53. Комаров М. К биографии В. Н. Забелы. Киевская старина, 1886, №9.
54. Стасов Владимир Васильевич. Михаил Иванович Глинка. Избранные сочинения в трёх томах, Москва, 1952.
55. Записки Дмитрия Селецкого. Киевская старина. 1884, №7.
56. Письма Гоголя к В. В. Тарновскому. Киевская старина, 1883, №5.
57. Гиппиус Василий. Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники.
58. Тарновский В. В. Мелочи из жизни Шевченка. Воспоминания о Тарасе Шевченко, Киев, 1988.
59. Лебедева Т. В. Сергей Маковский. Страницы жизни и творчества.
60. Памяти В. В. Тарновского, А. М. Лазаревского и Н. В. Шугурова. Киевская старина., 1902, №№ 7, 8.
61. Вяземский П. А. Дорожная дума.
62. Петров Н. Из истории колонизации Слободской Украины. Киевская старина, 1888, № 4.
63. Альбовский Евгений. Валки, украинный город Московского Государства. Харьков. Типография «Печатное дело» кн. К.Н. Гагарина, Клочковская ул. д. № 5, 1905 г.
64. Нитич Мила. «Дети войны».
65. Гурченко Л. М. Моё взрослое детство. Журнал «Наш современник». 1980.
66. Верт Александр. Россия в войне. 1941–1945.
67. Торжество украинской песни. Киевская старина, 1904, №1.

68. Козловский Яков. «Слова».
69. Брюсов Валерий. «Лестница».
70. Байрон Джордж Гордон. «Манфред».
71. Волошин Максимилиан. «Я люблю усталый шелест».
72. Некрасов Николай Алексеевич. «Кому на Руси жить хорошо».
73. Грин Александр Степанович. «Бегущая по волнам».
74. Брюсов Валерий. «Сонет к форме».
75. Дорошевич Влас Михайлович. Собрание сочинений.
76. Цветаева Марина. «Как правая и левая рука».
77. Толстой Алексей Константинович. «Иоанн Дамаскин».
78. Малиновский Борис Николаевич. История вычислительной техники. Академик С. Лебедев. Киев, 1992.
79. Малиновский Борис Николаевич. Академик Глушков. Киев, 1993.
80. Малиновский Борис Николаевич. Нет ничего дороже. Киев, 2005.
81. Малиновский Борис Николаевич. Маленькие рассказы о больших учёных. Киев, 2013.
82. Малиновский Борис Николаевич. Документальная трилогия. Киев, 2011.
83. Вознесенский Андрей. Прощание с Политехническим.
84. Вяземский Пётр Андреевич. «Бессознательность».
85. Благотетели рода моего. Воспоминания священника Михаила Диева. Русский архив, 1891, №5.
86. Громов А. Кострома – душа России.
87. Памятная книжка Императорского археологического института в С.-Петербурге. 1878–1911 гг. С.-Петербург, 1911.
88. Шипилов Александр Дмитриевич. Костромская губернская учёная архивная комиссия (1885–1917): организация и становление.
89. Адрес-календарь по городу Костроме, 1912 год.
90. Василевский Александр Михайлович. Дело всей жизни.
91. Виноградов Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19–20 мая 1913., Кострома, 1993.
92. Адрес-календарь по городу Костроме, 1914 год.
93. «Наша родословная. Книга для семейного чтения». Изд. Горобец, Киев. 2005.
94. Матвиевский Илья Николаевич. Кадеты в Костромской губернии между февралём и октябрём 1917 года.
95. Винокуров Евгений Михайлович. Стихи о детстве.
96. Окуджава Булат. Ах война, что ж ты сделала, подлая.
97. Кончаловский Андрей. Не танцуйте сегодня, не пойте.
98. Матусовский М. Пушки молчат дальнбойные.
99. Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. Москва. РОССПЭН, 1999.
100. Малиновский Б. Н. Через огонь, воду и медные трубы – Киев, 2016.
101. Высоккий Владимир. Он вчера не вернулся из боя.
102. Малиновский Борис Николаевич. Академик Патон – труд на всю жизнь.
103. Песнь о нибелунгах.
104. Некрасов Николай Алексеевич. На смерть Добролюбова.

105. Воротников Ю., Захаров В. Жизнь причудливо прядёт судьбы великих людей. Из родословной академика Патона.
106. Марія Дмитрієнко, Валерій Томазов Патнои та фон-Патно-де Веррайон. Поколінний розпис.
107. Онопрієнко Валентин Іванович. Рід Патонів, історія, генеалогія, видатні представники.
108. Достоевский Фёдор Михайлович. Полное собрание сочинений в 30 томах.
109. «Софіївко», тобою живу... Збірка статей. Полтава. Дивосвіт. 2015.
110. Свирида И. И. Сады в Польше. Москва, «Наука», 1994.
111. Царствование императора Александра II. Императорская главная квартира.
112. Миллер Алексей. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века).
113. Патон Евгений Оскарович. Воспоминания (Литературная запись Юрия Буряковского).
114. Иваницкий Игорь Александрович. Из книги «Недосказанные слова».
115. Толстой А. К. «Ты помнишь ли, Мария?».

Содержание

Предуведомление	5
Александр Андреевич Безбородко	7
Александр Васильевич Никитенко	51
Григорий Павлович Галаган	111
Тарновские	167
Владимир Лукашѐв и Ирина Нестеренко	209
Сага о Малиновских	249
Борис Евгеньевич Патон	297
Заключение	320
Перечень используемой литературы	322

Літературно-художнє видання

Головцов Олександр Леонтійович

PRIMUS INTER PARES
(О первых меж равных)
Книга Первая

(російською мовою)

Верстка *Є. С. Ткаченко*
Дизайн обкладинки *О. В. Лисенко*

Фото на обкладинці Шамаєв Ф.

Видано згідно з наданих матеріалів замовника

Підп. до друку 12.02.18. Формат 70x100/16.
Папір офсет. №1. Гарнітура PetersburgС.
Друк цифр. Ум. друк. арк. 38
Наклад 100 пр. Зам. № 0113/01.18-АР

Видавництво ТОВ «Альфа Реклама»
Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 1–5
Тел.: (044) 272-00-30, (096) 218-99-63
www.izdat-knigu.com

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
ДК №3421 від 11.03.2009

Віддруковано ТОВ «Альфа Реклама»
Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 1–5